



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Stanford University Libraries



3 6105 120 797 860





STANFORD LIBRARIES
THE HOOVER LIBRARY
ON
WAR, REVOLUTION, AND PEACE

1954

1954

7

ОЧЕРКИ
ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРІОДА
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

57
58
59

Chernyshevskii, N. G.

О Ч Е Р К И
ГОГОЛЕВСКАГО ПЕРІОДА

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(Современникъ 1855—1856 гг.)

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

М. Н. Чернышевскаго.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія и Литографія В. А. Тиханова, Садовая № 27.

1893.

AM

PG 3011
C 521
ed. 2

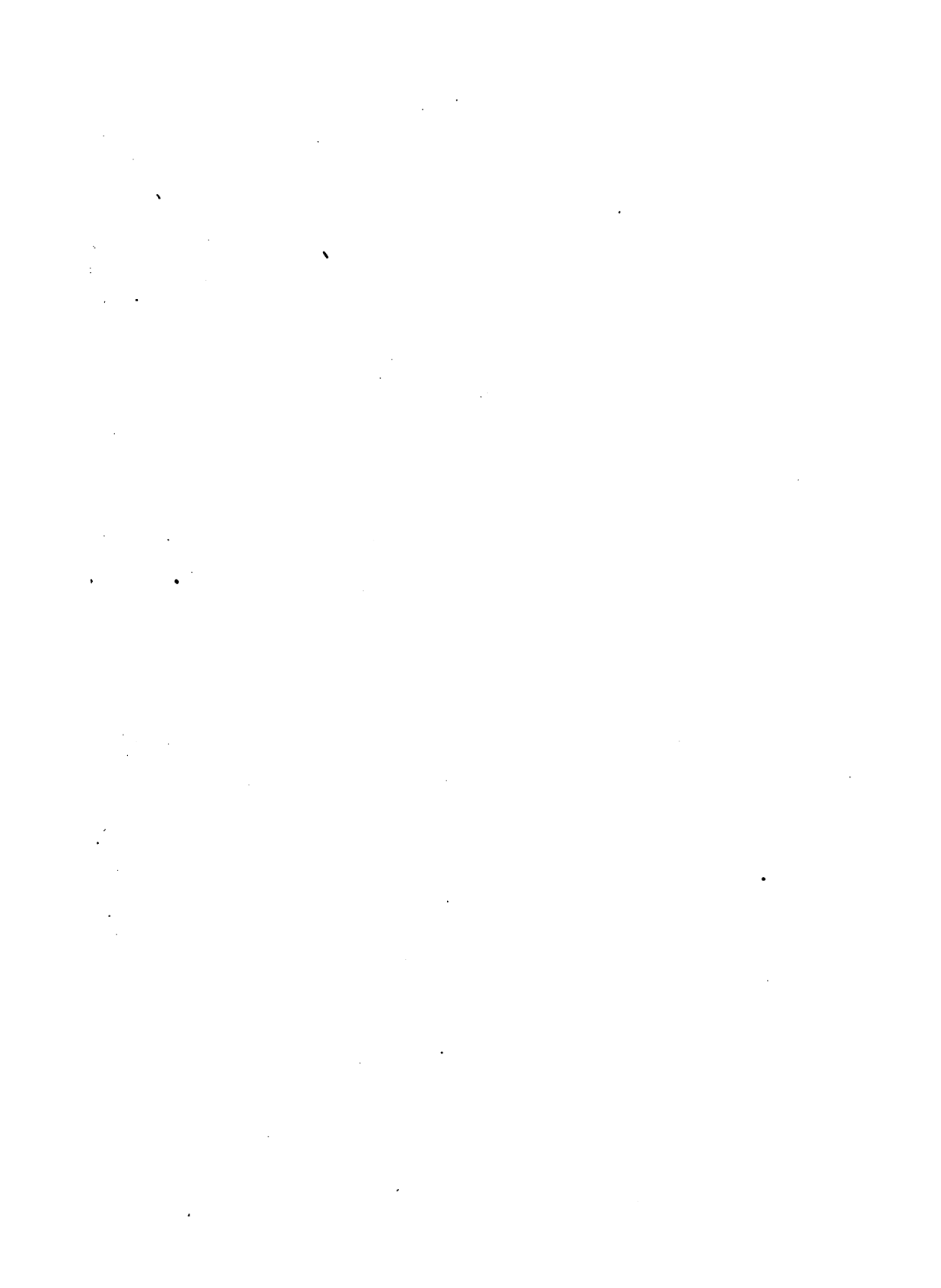
186936



186936

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стран.
Глава I. Общія замѣчанія. Н. А. Полевой	1— 49
» II. Сенковскій (баронъ Брамбеусъ)	50— 90
» III. Погодинъ. Кирѣевскій. Шевыревъ. кн. Вяземскій. Плетневъ	91—163
» IV. Надеждинъ	164—219
» V. Надеждинъ. Бѣлинскій	220—246
» VI. Бѣлинскій.	247—282
» VII. Бѣлинскій.	283—331
» VIII. Бѣлинскій.	332—355
» IX. Бѣлинскій.	356—382
Указатель именъ	383—386



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

(Предисловіе къ первому изданію).

Издаваемые нынѣ «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы» печатались въ журналѣ «Современникъ» 1855—1856 гг. и въ свое время обратили на себя большое вниманіе, какъ первый опытъ обстоятельнаго историко-литературнаго объясненія отношеній «Гоголевскаго періода»; они были и первою оцѣнкою дѣятельности Бѣлинскаго: не названный въ первыхъ главахъ, по условіямъ того времени, онъ только въ концѣ книги является съ его собственнымъ именемъ. Въ такой живой, и вмѣстѣ популярной, формѣ картина литературы тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ не была въ другой разъ воспроизведена и до сихъ поръ. Послѣдующіе историки нашей литературы цитировали «Очерки», какъ изслѣдованіе, цѣнное и по фактическимъ указаніямъ, и по критической точкѣ зрѣнія; новѣйшія детальныя изысканія о той эпохѣ не уменьшили значенія этого труда и, излагая обыкновенно подробности безъ общаго историческаго освѣщенія, можетъ быть, дѣлаютъ еще болѣе необходимымъ такой цѣльный обзоръ эпохи, какой въ свое время и предпринялъ авторъ «Очерковъ».

Мих. Чернышевскій.

15 марта, 1892.



ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКАГО ПЕРІОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(Сочиненія Николая Васильевича Гоголя. *Четыре тома. Изданіе второе.*
Москва. 1855.

Сочиненія Николая Васильевича Гоголя, найденныя послѣ его смерти.
Похожденія Чичикова или Мертвая Души. Томъ второй. (Пять главъ). *Москва. 1855).*

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ древности, о которой сохраняются нынѣ лишь темныя, неправдоподобныя, но дивныя въ своей невѣроятности воспоминанія, какъ о времени мифическомъ, какъ объ «Астреѣ», по выраженію Гоголя,—въ этой глубокой древности былъ обычай начинать критическія статьи размышленіями о томъ, какъ быстро развивается русская литература. Подумайте (говорили намъ) — еще Жуковский былъ въ полномъ цвѣтѣ силъ, какъ ужъ явился Пушкинъ; едва Пушкинъ совершилъ половину своего поэтическаго поприща, столь рано пресѣченнаго смертью, какъ явился Гоголь — и каждый изъ этихъ людей, столь быстро слѣдовавшихъ одинъ за другимъ, вводилъ русскую литературу въ новый періодъ развитія, несравненно высшаго, нежели все, что дано было предъидущими періодами. Только двадцать пять лѣтъ раздѣляютъ «Сельское кладбище» отъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», «Свѣтлану» отъ «Ревизора», — и въ этотъ краткій промежутокъ времени, русская литература имѣла три эпохи, русское общество сдѣлало три великіе шага впередъ по пути умственнаго и нравственнаго совершенствованія. Такъ казались критическія статьи въ древности.

Эта глубокая, едва памятная нынѣшнему поколѣнію древность была не слишкомъ давно, какъ можно предполагать изъ того, что въ преданіяхъ ея встрѣчаются имена Пушкина и Гоголя. Но—хотя мы отдѣлены отъ нея очень немногими годами,—она рѣшительно устарѣла для насъ. Въ томъ увѣряютъ насъ положительныя свидѣтельства почти всѣхъ людей, пишущихъ нынѣ о русской литературѣ—какъ очевидную истину, повторяютъ они, что мы уже далеко ушли впередъ отъ критическихъ, эстетическихъ и т. п. принциповъ и мнѣній той эпохи; что принципы ея оказались односторонними и неосновательными, мнѣнія—утрированными, несправедливыми; что мудрость той эпохи оказалась нынѣ суесловіемъ, и что истинные принципы критики, истинно мудрыя воззрѣнія на русскую литературу — о которыхъ не имѣли понятія люди той эпохи — найдены русскою критикою только съ того времени, какъ въ русскихъ журналахъ критическія статьи начали оставаться неразрѣзанными.

Въ справедливости этихъ увѣреній еще можно сомнѣваться, тѣмъ болѣе, что они высказываются рѣшительно безъ всякихъ доказательствъ; но то остается несомнѣннымъ, что въ самомъ дѣлѣ, наше время значительно разнится отъ незапамятной древности, о которой мы говорили. Попробуйте, на примѣръ, начать нынѣ критическую статью, какъ начинали ее тогда, соображеніями о быстромъ развитіи нашей литературы — и съ перваго же слова вы сами почувствуете, что дѣло не ладится. Сама собою представится вамъ мысль: правда, что за Жуковскимъ явился Пушкинъ, за Пушкинымъ Гоголь, и что каждый изъ этихъ людей вносилъ новый элементъ въ русскую литературу, расширялъ ея содержаніе, измѣнял ея направленіе; но что новаго внесено въ литературу послѣ Гоголя? И отвѣтомъ будетъ: Гоголевское направленіе до сихъ поръ остается въ нашей литературѣ единственнымъ сильнымъ и плодотворнымъ. Если и можно припоминать нѣсколько сносныхъ, даже два или три прекрасныхъ произведенія, которыя не были проникнуты идеею сродною идеѣ Гоголевыхъ созданій, то, несмотря на свои художественныя достоинства, они остались безъ вліянія на публику, почти безъ значенія въ исторіи литературы. Да, въ нашей литературѣ до сихъ поръ продолжается Гоголевскій періодъ—а вѣдь двадцать лѣтъ прошло со времени появленія «Ревизора», двадцать пять лѣтъ съ появленія «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки»:—прежде, въ *такой промежутокъ смѣнялись* два-три направленія. Нынѣ—господ-

ствуешь одно и то же, и мы не знаемъ, скоро-ли мы будемъ въ состояніи сказать: «начался для русской литературы новый періодъ».

Изъ этого ясно видимъ, что въ настоящее время нельзя начинать критическихъ статей такъ, какъ начинали ихъ въ глубокой древности,—размышленіями о томъ, что едва мы успѣваемъ привыкнуть къ имени писателя, дѣлающаго своими сочиненіями новую эпоху въ развитіи нашей литературы, какъ уже является другой, съ произведеніями, которыхъ содержаніе еще глубже, которыхъ форма еще самостоятельнѣе и совершеннѣе,—въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться, что настоящее не похоже на прошедшее.

Чему же надобно приписать такое различіе? Почему Гоголевскій періодъ продолжается такое число лѣтъ, какого въ прежнее время было достаточно для смѣны двухъ или трехъ періодовъ? Быть можетъ сфера Гоголевскихъ идей такъ глубока и обширна, что нужно слишкомъ много времени для полной разработки ихъ литературою, для усвоенія ихъ обществомъ,—условія, отъ которыхъ, конечно, зависитъ дальнѣйшее литературное развитіе, потому что, только поглотивъ и переваривъ предложенную пищу, можно алкать новой, только совершенно обезпечивъ себѣ пользованіе тѣмъ, что уже приобрѣтено, должно искать новыхъ приобрѣтеній, — быть можетъ, наше самосознаніе еще вполне занято разработкою Гоголевскаго содержанія, не предчувствуетъ ничего другаго, не стремится ни къ чему болѣе полному и глубокому? Или пора было бы явиться въ нашей литературѣ новому направленію, но оно не является вслѣдствіе какихъ нибудь постороннихъ обстоятельствъ? Предлагаая послѣдній вопросъ, мы тѣмъ самымъ даемъ поводъ думать, что считаемъ справедливымъ отвѣчать на него утвердительно; а говоря: «да, пора было бы начаться новому періоду въ русской литературѣ», мы тѣмъ самымъ ставимъ себѣ два полные вопроса: въ чемъ же должны состоять отличительныя свойства новаго направленія, которое возникнетъ и отчасти, хотя еще слабо, нерѣшительно, уже возникаетъ изъ Гоголевскаго направленія? и какія обстоятельства задерживаютъ быстрое развитіе этого новаго направленія? Послѣдній вопросъ, если хотите, можно рѣшить коротко—хотя бы, напримеръ, и сожалѣнемъ о томъ, что не является новый гениальный писатель. Но вѣдь опять можно спросить: почему же онъ не является такъ долго? Вѣдь прежде являлись же, да еще какъ быстро одинъ за другимъ—Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Кольцовъ, Лермонтовъ, Гоголь...

пять человѣкъ, почти въ одно и то же время—значить не принадлежать же они къ числу явленій, столь рѣдкихъ въ исторіи народовъ, какъ Ньютонъ или Шекспиръ, которыхъ ждетъ человѣчество по нѣскольку столѣтій. Пусть же теперь явился бы человѣкъ, равный хотя одному изъ этихъ пяти, онъ началъ бы своими твореніями новую эпоху въ развитіи нашего самосознанія. Почему же нѣтъ нынѣ такихъ людей? Или они есть, но мы ихъ не замѣчаемъ? Какъ хотите, а этого не слѣдуетъ оставлять безъ разсмотрѣнія. Дѣло очень зазусное.

А иной читатель, прочитавъ послѣднія строки, скажетъ, качая головою: «не слишкомъ то мудрые вопросы; и гдѣ-то я читалъ совершенно подобныя, да еще и съ отвѣтами, — гдѣ, дайте припомнить; ну, да, я читалъ ихъ у Гоголя, и именно въ слѣдующемъ отрывкѣ изъ подневныхъ «Записокъ сумасшедшаго»:

Декабря 5. Я сегодня все утро читалъ газеты. Странныя дѣла дѣлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Пишутъ, что престолъ упраздненъ, и что чины находятя въ затруднительномъ положеніи о избраніи наслѣдника. Мнѣ кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можетъ быть престолъ упраздненъ? На престолѣ долженъ быть король. „Да“, говорятъ, „нѣтъ короля“—не можетъ статься, чтобъ не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король есть, да только онъ гдѣ нибудь скрывается въ неизвѣстности. Онъ, статься можетъ, находится тамъ же, но какія нибудь или фамильныя причины, или опасенія со стороны сосѣдственныхъ державъ, какъ-то: Франціи и другихъ земель, заставляютъ его скрываться, или есть какія нибудь другія причины.

Читатель будетъ совершенно правъ. Мы дѣйствительно пришли къ тому же самому положенію, въ какомъ былъ Аксентій Ивановичъ Поприщинъ. Дѣло только въ томъ, чтобы объяснить это положеніе на основаніи фактовъ, представляемыхъ Гоголемъ и новѣйшими нашими писателями, и переложить выводы съ діалекта, которымъ говорятъ въ Испаніи, на обыкновенный русскій языкъ.

Критика вообще развивается на основаніи фактовъ, представляемыхъ литературою, произведенія которой служатъ необходимыми данными для выводовъ критики. Такъ, вслѣдъ за Пушкинымъ съ его поэмами въ Байроновскомъ духѣ и «Евгеніемъ Онѣгинимъ», явилась критика «Телеграфа»; Когда Гоголь приобрѣлъ господство надъ развитіемъ нашего самосознанія, явилась *такъ называемая* критика 1840-выхъ годовъ... Такимъ образомъ

развитіе новыхъ критическихъ убѣжденій каждый разъ было слѣдствіемъ измѣненій въ господствующемъ характерѣ литературы. Понятно, что и наши критическія воззрѣнія не могутъ имѣть притязаній ни на особенную новизну, ни на удовлетворительную законченность. Они выведены изъ произведеній, представляющихъ только нѣкоторыя предвѣстія, начатки новаго направленія въ русской литературѣ, но еще не выказывающихъ его въ полномъ развитіи, и не могутъ содержать болѣе того, что дано литературою. Она еще не далеко ушла отъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», и наши статьи не могутъ много отличаться по своему существенному содержанию отъ критическихъ статей, явившихся на основаніи «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ». По существенному содержанию, говоримъ мы, — достоинства развитія зависятъ исключительно отъ нравственныхъ силъ пишущаго и отъ обстоятельствъ; и если вообще должно сознаться, что наша литература въ послѣднее время измельчала, то естественно предполагать, что и наши статьи не могутъ не носить того же характера, по сравненію съ тѣмъ, что мы читали въ старину. Но какъ бы то ни было, не совершенно же бесплодны были эти послѣдніе годы — наша литература приобрѣла нѣсколько новыхъ талантовъ, если и не создавшихъ еще ничего столь великаго, какъ «Евгеній Онѣгинъ» или «Горе отъ ума», «Герой нашего времени» или «Ревизоръ» и «Мертвыя Души», то все же успѣвшихъ уже дать намъ нѣсколько прекрасныхъ произведеній, замѣчательныхъ самостоятельными достоинствами въ художественномъ отношеніи и живымъ содержаніемъ, — произведеній, въ которыхъ нельзя не видѣть залоговъ будущаго развитія. И если въ нашихъ статьяхъ отразится хотя сколько нибудь начало движенія, выразившееся въ этихъ произведеніяхъ, онѣ будутъ не совершенно лишены предчувствія о болѣе полномъ и глубокомъ развитіи русской литературы. Удастся ли намъ это — рѣшатъ читатели. Но мы смѣло и положительно сами присудимъ своимъ статьямъ другое достоинство, очень важное: онѣ порождены глубокимъ уваженіемъ и сочувствіемъ къ тому, что было благороднаго, справедливаго и полезнаго въ русской литературѣ и критикѣ той глубокой древности, о которой говорили мы въ началѣ, древности, которая, впрочемъ, только потому древность, что забыта отсутствіемъ убѣжденій или кичливостью и въ особенности мелочностью чувствъ и понятій, — намъ кажется, что необходимо обратиться къ изученію высшихъ

стремлений, одушевлявших критику прежняго времени; безъ того, пока мы не вспомнимъ ихъ, не проникнемся ими, отъ нашей критики нельзя ожидать никакого вліянія на умственное движеніе общества, никакой пользы для публики и литературы; и не только не будетъ она приносить никакой пользы, но и не будетъ возбуждать никакого сочувствія, даже никакого интереса, какъ не возбуждаетъ его теперь. А критика должна играть важную роль въ литературѣ, пора ей вспомнить объ этомъ.

Читатели могутъ замѣтить въ нашихъ словахъ отголосокъ безсильной нерѣшительности, овладѣвшей русскою литературою въ послѣдніе годы. Они могутъ сказать: «вы хотите движенія впередъ, и откуда же предлагаете вы почерпнуть силы для этого движенія?» Не въ настоящемъ, не въ живомъ, а въ прошедшемъ, въ мертвомъ. Неодобрительны тѣ воззванія къ новой дѣятельности, которыя ставятъ идеалы себѣ въ прошедшемъ, а не въ будущемъ. Только сила отрицанія отъ всего прошедшаго есть сила, создающая нѣчто новое и лучшее». Читатели отчасти будутъ правы. Но и мы не совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги; и что же дѣлать, если наше время не выказываетъ себя способнымъ держаться на ногахъ собственными силами? И что же дѣлать, если этотъ падающій можетъ опереться только на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежатъ въ этихъ гробахъ? Не живые ли люди похоронены въ нихъ? По крайней мѣрѣ, не гораздо ли болѣе жизни въ этихъ покойникахъ, нежели во многихъ людяхъ, называющихся живыми? Вѣдь если слово писателя одушевлено идеею правды, стремленіемъ къ благотворному дѣйствию на умственную жизнь общества, это слово заключаетъ въ себѣ сѣмена жизни, оно никогда не будетъ мертво. И развѣ много лѣтъ прошло съ того времени, когда эти слова были высказаны? Нѣтъ; и въ нихъ еще столько свѣжести, они еще такъ хорошо приходятся къ потребностямъ настоящаго времени, что кажутся сказанными только вчера. Источникъ не изсякаетъ оттого, что лишившіеся людей, хранившихъ его въ чистотѣ, мы по небрежности, по легкомыслію, допустили завалить его хламомъ пустословія. Отбросимъ этотъ хламъ,—и мы увидимъ, что въ источникѣ еще живымъ ключемъ бьетъ струя правды, могущая, хотя отчасти, *утолить нашу жажду*. Или мы не чувствуемъ жажды? Намъ хо-

чется сказать «чувствуемъ»,—но мы боимся, что придется прибавить: «чувствуемъ», только не слишкомъ сильно».

Читатели могли видѣть уже изъ того, что нами сказано, и увидятъ еще яснѣе изъ продолженія нашихъ статей, что мы не считаемъ сочиненія Гоголя безусловно удовлетворяющими всѣмъ современнымъ потребностямъ русской публики, что даже въ «Мертвыхъ Душахъ» (*) мы находимъ стороны слабыя, или по крайней

*) Мы говоримъ здѣсь только о первомъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», какъ и вездѣ, гдѣ не означено, что рѣчь идетъ о второмъ. Кстати, надобно сказать хотя нѣсколько словъ о второмъ томѣ, пока придетъ намъ очередь разбирать его подробно, при обзорѣ сочиненій Гоголя. Напечатанныя нынѣ пять главъ втораго тома «Мертвыхъ Душъ» уцѣлѣли только въ черновой рукописи, и безъ сомнѣнія въ окончательной редакціи имѣли совершенно не тотъ видъ, въ какомъ теперь мы читаемъ ихъ — извѣстно, что Гоголь работалъ туго, медленно, и только послѣ множества поправокъ и передѣлокъ, успѣвалъ придать истинную форму своимъ произведеніямъ. Это обстоятельство, значительно затрудняющее при рѣшеніи вопроса: «ниже или выше перваго тома «Мертвыхъ Душъ» въ художественномъ отношеніи было бы ихъ продолженіе, окончательно обработанное авторомъ», не можетъ еще заставить насъ совершенно отказаться отъ сужденія о томъ, потерялъ или сохранилъ Гоголь всю громадность своего таланта въ эпоху новаго настроенія, выразившагося «Перепискою съ друзьями». Но общій приговоръ о всемъ черновомъ эскизѣ, сохранившемся отъ втораго тома, дѣлается невозможнымъ потому, что этотъ отрывокъ самъ, въ свою очередь, есть собраніе множества отрывковъ, написанныхъ въ различное время, подъ вліяніемъ различныхъ настроеній мысли, и кажется, написанныхъ по различнымъ общимъ планамъ сочиненія, наскоро перечеркнутыхъ безъ пополненія вычеркнутыхъ мѣстъ,—отрывковъ, раздѣленныхъ пробѣлами, часто болѣе значительными, нежели самыя отрывки, наконецъ потому, что многія изъ сохранившихся страницъ были, какъ видно, отброшены самимъ Гоголемъ, какъ неудачныя, и замѣнены другими, написанными совершенно вновь, изъ которыхъ нѣкоторыя—быть можетъ, въ свою очередь также отброшенныя — дошли до насъ, другія — и вѣроятно большее число — погибли. Все это заставляетъ насъ рассматривать каждый отрывокъ порознь, и произносить сужденіе не о «пяти главахъ Мертвыхъ Душъ», какъ дѣльнымъ, хотя и черновомъ эскизѣ, а только о различной степени достоинствъ различныхъ страницъ, не связанныхъ ни единствомъ плана, ни единствомъ настроенія, ни одинаковостью довольства ими въ авторѣ, ни даже единствомъ эпохи ихъ сочиненія. Многіе изъ этихъ отрывковъ рѣшительно такъ же слабы и по выполненію и особенно по мысли, какъ слабѣйшія мѣста «Переписки съ друзьями»; таковы особенно отрывки, въ которыхъ изображаются *идеалы самого автора, напримѣръ, дивный воспитатель Тентетникова, мно-*

мѣрѣ, недостаточно развитыя, что наконецъ въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ послѣдующихъ писателей мы видимъ залогов болѣе полнаго и удовлетворительнаго развитія идей, которыя Гоголь обнималъ только съ одной стороны, не сознавая вполне ихъ сдѣп-

гія страницы отрывка о Костанжогло, многія страницы отрывка о Муравовѣ; но это еще ничего не доказываетъ. Изображеніе идеаловъ было всегда слабѣйшею стороною въ сочиненіяхъ Гоголя, и вѣроятно не столько по односторонности таланта, которой многіе приписываютъ эту неудачность, сколько именно по силѣ его таланта, состоявшей въ необыкновенно тѣсномъ родствѣ съ дѣйствительностью: когда дѣйствительность представляла идеальныя лица, они превосходно выходили у Гоголя, какъ напримѣръ, въ «Тарасѣ Бульбѣ» или даже въ «Невскомъ Проспектѣ» (лицо художника Пискарева). Если же дѣйствительность не представляла идеальныхъ лицъ, или представляла въ положеніяхъ, недоступныхъ искусству — что оставалось дѣлать Гоголю? Выдумывать ихъ? Другіе, привыкшіе лгать, дѣлаютъ это довольно искусно; но Гоголь никогда не умѣлъ выдумывать, онъ самъ говоритъ это въ своей «Исповѣди», и выдумки у него выходили всегда неудачны. Въ числѣ отрывковъ втораго тома «Мертвыхъ Душъ» много выдуманыхъ, и нельзя не видѣть, что они произошли отъ сознательнаго желанія Гоголя внести въ свое произведеніе отрадный элементъ, о недостаткѣ котораго въ его прежнихъ сочиненіяхъ такъ многіе и такъ много и громко кричали и жужжали ему въ уши. Но мы не знаемъ, суждено ли было бы этимъ отрывкамъ уцѣлѣть въ окончательной редакціи «Мертвыхъ Душъ» — художественный тактъ, котораго такъ много было у Гоголя, вѣрно сказалъ бы ему при просмотрѣ сочиненія, что эти мѣста слабы; и мы не имѣемъ права утверждать, что стремленіе разлить отрадный колоритъ по сочиненію пересилило бы тогда художественскую критику въ авторѣ, который былъ и неутомимымъ къ себѣ и пронизательнымъ критикомъ. Во многихъ случаяхъ эта фальшивая идеализація происходитъ, повидимому, чисто отъ произвола автора; но другіе отрывки обязаны происхожденіемъ искреннему, произвольному, хотя и несправедливому убѣжденію. Къ числу такихъ мѣстъ относятся по преимуществу монологи Костанжогло, представляющіе смѣсь правды и фальши, вѣрныхъ замѣчаній и узкихъ, фантастическихъ выдумокъ; эта смѣсь удивить своею странною пестротою каждаго, кто не знакомъ коротко съ мнѣніями, которыя часто встрѣчались въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ журналовъ и принадлежатъ людямъ, съ которыми Гоголь былъ въ короткихъ отношеніяхъ. Чтобы охарактеризовать эти мнѣнія какимъ нибудь именемъ, мы держась правила: *nomina sunt odiosa*, назовемъ только покойнаго Загоскина,—многія страницы втораго тома «Мертвыхъ Душъ» кажутся пронянуты его духомъ. Мы не думаемъ, чтобы именно Загоскинъ имѣлъ хотя малѣйшее вліяніе на Гоголя, и даже не знаемъ, въ какихъ отношеніяхъ они были между собою. Но мнѣнія, проникающія *насквозь* послѣдніе романы Загоскина и имѣющія лучшимъ изъ своихъ *многочисленныхъ источниковъ* простодушную и недалекновидную любовь къ пат-

ленія, ихъ причинъ и слѣдствій. И однако же мы осмѣлимся сказать, что самыя безусловныя поклонники всего, что написано Гоголемъ, превозносяще до небесъ каждое его произведеніе, каждую

ріархальности, господствовали между многими ближайшими къ Гоголю людьми изъ которыхъ иные отличаются большимъ умомъ, а другіе начитанностью или даже ученостью, которая могла обольстить Гоголя, справедливо жалуящагося, что не получилъ образованія, соотвѣтственнаго его таланту, и, можно прибавить, великимъ силамъ его нравственнаго характера. Ихъ-то мнѣніямъ конечно подчинялся Гоголь, изображая своего Костанжогло, или рисуя слѣдствія, происшедшія отъ слабости Тентетникова (стр. 24—26). Подобныя мнѣнія, встрѣчавшіяся въ «Перепискѣ съ друзьями», болѣе всего содѣйствовали осужденію, которому подвергся за нее Гоголь. Впослѣдствіи мы постараемся разсмотрѣть, до какой степени его слѣдуетъ осуждать за то, что онъ поддался этому вліянію, отъ котораго, съ одной стороны, долженъ былъ предохранять его пронизательный умъ, но противъ котораго, съ другой стороны не имѣлъ онъ достаточно твердой подпоры ни въ прочномъ современномъ образованіи, ни въ предостереженіяхъ со стороны людей, прямо смотрящихъ на вещи — потому что, къ сожалѣнію, судьба или гордость держала Гоголя всегда далеко отъ такихъ людей. Сдѣлавъ эти оговорки, внушенныя не только глубокимъ уваженіемъ къ великому писателю, но еще болѣе чувствомъ справедливаго снисхожденія къ человѣку, окруженному неблагоприятными для его развитія отношеніями, мы не можемъ, однако же, не сказать прямо, что понятія, внушившія Гоголю многія страницы втораго тома «Мертвыхъ Душъ», не достойны ни его ума, ни его таланта, ни особенно его характера, въ которомъ, несмотря на всѣ противорѣчія, до нынѣ остающіяся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы должны сказать, что на многихъ страницахъ втораго тома, въ противорѣчіе съ другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатомъ законности; впрочемъ, мы увѣрены, что онъ принималъ эту законность за что-то доброе, обольщаясь нѣкоторыми сторонами ея, съ односторонней точки зрѣнія могущими представляться въ поэтическомъ или кроткомъ видѣ и закрывать глубокія язвы, которыя такъ хорошо видѣлъ и добросовѣстно изобличалъ Гоголь въ другихъ сферахъ, болѣе ему извѣстныхъ, и которыхъ не различилъ въ сферѣ дѣйствій Костанжогло, ему не столь хорошо знакомой. Въ самомъ дѣлѣ, второй томъ «Мертвыхъ Душъ» изображаетъ бытъ, котораго Гоголь почти не касался въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ. Прежде у него на первомъ планѣ постоянно были города и ихъ жители, преимущественно чиновники и ихъ отношенія; даже въ первомъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», гдѣ является такъ много помѣщиковъ, они изображаются не въ своихъ деревенскихъ отношеніяхъ, а только какъ люди, входящіе въ составъ такъ называемаго образованнаго общества, или чисто съ психологической стороны. Коснутся ли вскользь сельскихъ отношеній Гоголь задумалъ только во второмъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», и новость его на этомъ поприщѣ можетъ до нѣкоторой сте-

его строку, не сочувствуютъ такъ живо его произведеніямъ, какъ сочувствуемъ мы, не приписываютъ его дѣятельности столь громаднаго значенія въ русской литературѣ, какъ приписываемъ мы. Мы называемъ Гоголя безъ всякаго сравненія величайшимъ изъ

пени объяснить его заблужденіи. Быть можетъ, при ближайшемъ изученіи предмета, многія изъ набросанныхъ имъ картинъ совершенно измѣнили бы свой колоритъ въ окончательной редакціи. Такъ или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ мы имѣемъ положительныя основанія утверждать, что каковы бы ни были нѣкоторые эпизоды во второмъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», преобладающій характеръ въ этой книгѣ, когда бъ она была окончена, остался бы все-таки тотъ же самый, какимъ отличается и ея первый томъ и всѣ предыдущія творенія великаго писателя. Въ этомъ ручаются намъ первыя же строки изданныхъ нынѣ главъ:

«Зачѣмъ же изображать бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства?—Чтожь дѣлать, если уже таковы свойства сочинителя, и заблѣвъ собственнымъ несовершенствомъ, уже не можетъ онъ изображать ничего другаго, какъ только бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства?...»

Очевидно, что это мѣсто, служащее программю второму тому, написано уже тогда, когда Гоголь былъ сильно занятъ толками о мнимой односторонности его произведеній; когда онъ, считая эти толки справедливыми, уже объяснялъ свою мнимую односторонность собственными нравственными слабостями,—однимъ словомъ, оно принадлежитъ эпохѣ «Переписки съ друзьями»; и однако же программю художника остается, какъ видимъ, прежняя программа «Ревизора» и перваго тома «Мертвыхъ Душъ». Да, Гоголь — художникъ оставался всегда вѣрнѣе своему призванію, какъ бы ни должны мы были судить о перемѣнахъ, происшедшихъ съ нимъ въ другихъ отношеніяхъ. И дѣйствительно, каковы бы ни были его ошибки, когда онъ говоритъ о предметахъ для него новыхъ,—но нельзя не признаться, перечитывая уцѣлѣвшія главы втораго тома «Мертвыхъ Душъ», что едва онъ переходитъ въ близко знакомыя ему сферы отношеній, которыя изображалъ въ первомъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», какъ талантъ его является въ прежнемъ своемъ благородствѣ, въ прежней своей силѣ и свѣжести. Въ уцѣлѣвшихъ отрывкахъ есть очень много такихъ страницъ, которыя должны быть причислены къ лучшему, что когда либо давалъ намъ Гоголь, которыя приводятъ въ восторгъ своимъ художественнымъ достоинствомъ, и что еще важнѣе, правдивостью и силою благороднаго негодованія. Не перечисляемъ этихъ отрывковъ, потому что ихъ слишкомъ много; укажемъ только нѣкоторые: разговоръ Чичикова съ Бетрицевымъ о томъ, что всѣ требуютъ себѣ поощренія, даже воры, и анекдотъ объясняющій выраженіе: «полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбить», описаніе мудрыхъ учрежденій Кашкарева, судопроизводство надъ Чичиковымъ и гениальныя поступки опытнаго

русскихъ писателей, по значенію. По нашему мнѣнію, онъ имѣлъ полное право сказать слова, безмѣрная гордость которыхъ смутила въ свое время самыхъ жаркихъ его поклонниковъ, и которыхъ неловкость понятна и намъ:

„Русь! Чего ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таятся между нами? Что глядишь ты такъ и за чѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?“

Онъ имѣлъ полное право сказать это, потому что какъ ни высоко цѣнимъ мы значеніе литературы, но все еще не цѣнимъ его достаточно: она неизмѣримо важнѣе почти всего, что ставится выше ея. Байронъ въ исторіи человѣчества лицо едва ли не болѣе важное, нежели Наполеонъ, а вліяніе Байрона на развитіе человѣчества еще далеко не такъ важно, какъ вліяніе многихъ другихъ писателей, и давно уже не было въ мірѣ писателя, который былъ бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи.

юрисконсульта; наконецъ, дивное окончаніе отрывка—рѣчь генераль-губернатора, ничего подобнаго которой мы не читали еще на русскомъ языкѣ, даже у Гоголя. Эти мѣста человѣка самаго предубѣжденнаго противъ автора «Переписки съ друзьями» убѣждать, что писатель, создавшій «Ревизора» и первый томъ «Мертвыхъ Душъ», до конца жизни остался вѣрнѣе себя, какъ художникъ, несмотря на то, что какъ мыслитель могъ заблуждаться;—убѣждать, что высокое благородство сердца, страстная любовь къ правдѣ и благу всегда горѣли въ душѣ его, что страстною ненавистью ко всему низкому и злему до конца жизни кипѣлъ онъ. Что же касается чисто юмористической стороны его таланта, каждая страница, даже наименѣе удачная, представляетъ доказательства, что въ этомъ отношеніи Гоголь всегда оставался прежнимъ великимъ Гоголемъ. Изъ большихъ отрывковъ, проникнутыхъ юморомъ, всѣми читателями втораго тома «Мертвыхъ Душъ» были замѣчены удивительные разговоры Чичикова съ Гентетниковымъ, съ генераломъ Бетрищевымъ, превосходно очерченные характеры Бетрищева, Петра Петровича Пѣтуха и его дѣтей, многія страницы изъ разговоровъ Чичикова съ Платоновыми, Костанжого, Кашкаревымъ и Хлобуевымъ, превосходные характеры Кашкарева и Хлобуева, прекрасный эпизодъ повѣдки Чичикова къ Дѣницыну и наконецъ множество эпизодовъ изъ послѣдней главы, гдѣ Чичиковъ попадаетъ подъ судъ. Однимъ словомъ, въ этомъ рядѣ черновыхъ отрывковъ, которые намъ остались отъ втораго тома «Мертвыхъ Душъ», есть слабыя, которые безъ сомнѣнія были бы передѣланы или уничтожены авторомъ при окончательной отдѣлкѣ романа, но въ большей части отрывковъ, несмотря на ихъ неотдѣланность, великій талантъ Гоголя является съ прежнею своею силою, свѣжестью, съ благородствомъ направленія, врожденнымъ его *высокой натурѣ*.

Прежде всего скажемъ, что Гоголя должно считать отцомъ русской прозаической литературы, какъ Пушкина—отцомъ русской поэзіи. Слѣшимъ прибавить, что это мнѣніе не выдуманно нами, а только извлечено изъ статьи «О русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя», напечатанной ровно двадцать лѣтъ тому назадъ («Телескопъ», 1835 г., часть XXVI) и принадлежащей автору «Статей о Пушкинѣ». Онъ доказываетъ, что наша повѣсть, начавшаяся очень недавно, въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, первымъ истиннымъ представителемъ своимъ имѣла Гоголя. Теперь, послѣ того какъ явились «Ревизоръ» и «Мертвыя Души», надобно прибавить, что точно также Гоголь былъ отцомъ нашего романа (въ прозѣ) и прозаическихъ произведеній въ драматической формѣ, то есть, вообще русской прозы (не надобно забывать, что мы говоримъ исключительно объ изящной литературѣ). Въ самомъ дѣлѣ, истиннымъ началомъ каждой стороны народной жизни надобно считать то время, когда эта сторона раскрывается замѣтнымъ образомъ, съ нѣкоторою энергіею, и прочнымъ образомъ утверждаетъ за собою мѣсто въ жизни, — всѣ предшествующія отрывочныя, исчезающія безъ слѣда, эпизодическія проявленія должны быть считаемы только прорывами къ осуществленію себя, но еще не дѣйствительнымъ существованіемъ. Такъ, превосходныя комедіи Фонвизина, не имѣвшія вліянія на развитіе нашей литературы, составляютъ только блестящій эпизодъ, предвѣщающій появленіе русской прозы и русской комедіи. Повѣсти Карамзина имѣютъ значеніе только для исторіи языка, но не для исторіи оригинальной русской литературы, потому что русскаго въ нихъ нѣтъ ничего, кромѣ языка. Притомъ же, и онѣ скоро были подавлены наплывомъ стиховъ. При появленіи Пушкина, русская литература состояла изъ однихъ стиховъ, не знала прозы, и продолжала не знать ея до начала тридцатыхъ годовъ. Тутъ—двумя или тремя годами раньше «Вечеровъ на Хуторѣ», надѣлалъ шума «Юрій Милославскій»,—но надобно только прочесть разборъ этого романа, помѣщенный въ «Литературной Газетѣ», и мы осязательно убѣдимся, что если «Юрій Милославскій» нравился читателямъ, не слишкомъ требовательнымъ относительно художественныхъ достоинствъ, то для развитія литературы онъ и тогда не могъ считаться важнымъ явленіемъ,—и дѣйствительно, *Загоскинъ* имѣлъ только одного подражателя—себя самого. *Романы Лажечникова* имѣли болѣе достоинства,—но не столько

чтобъ утвердить право литературнаго гражданства за прозою. Затѣмъ остаются романы Нарѣжнаго, въ которыхъ нѣсколько эпизодовъ, имѣющихъ несомнѣнное достоинство, служатъ только къ тому, чтобы ярче выставить неуклюжесть разсказа и несообразность сюжетовъ съ русскою жизнью. Они, подобно Ягубу Скупалову, болѣе походятъ на лубочныя издѣлія, нежели на произведенія литературы, принадлежащей образованному обществу. Русская повѣсть въ прозѣ имѣла болѣе даровитыхъ дѣятелей,—между прочими Марлинскаго, Полеваго, Павлова. Но характеристику ихъ представляетъ статья, о которой мы говорили выше, и для насъ довольно будетъ сказать, что повѣсти Полеваго признавались самыми лучшими изъ всѣхъ, существовавшихъ до Гоголя,—кто забылъ ихъ и хочетъ составить себѣ понятіе о ихъ отличительныхъ качествахъ, тому советуемъ прочесть превосходную народію, помѣщенную нѣкогда въ «Отечественныхъ Запискахъ», (если не ошибаемся, 1843 г.)—«Необыкновенный Поодинокъ»; а для тѣхъ, кому не случится имѣть ее подъ руками, помѣщаемъ въ выноскѣ характеристику лучшаго изъ беллетристическихъ произведеній Полеваго — «Аббаддону». Если таково было лучшее изъ прозаическихъ произведеній, то можно себѣ вообразить, каково было достоинство всей прозаической отрасли тогдашней литературы *). Во всякомъ случаѣ, повѣсти были

*) «Г. Полевой хотѣлъ выразить въ своемъ романѣ идею противорѣчія поэзіи съ прозою жизни. Для этого онъ представилъ молодаго поэта въ борьбѣ съ сухимъ, эгоистическимъ и прозаическимъ обществомъ. Но... во первыхъ, его поэтъ, этотъ Рейхенбахъ, есть то, что нѣмцы называютъ «прекрасная душа» (schöne Seele). Слова «прекрасная душа» имѣли у нѣмцевъ то благородное значеніе, которое имѣютъ они до сихъ поръ у насъ. Но теперь они у нѣмцевъ употребляются какъ выраженіе чего-то комическаго, смѣшнаго. Такъ точно, еще недавно слова «чувствительность» и «чувствительный» употреблялись у насъ для отличія людей съ чувствомъ и душою отъ людей грубыхъ, животныхъ, лишенныхъ души и чувства; а теперь употребляются для выраженія слабаго, расплывающагося, растлѣннаго и притворнаго чувства. Выраженіе «прекрасная душа» получило теперь у нѣмцевъ значеніе чего-то добраго, теплаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣтскаго, безсильнаго, фразерскаго и смѣшнаго. Рейхенбахъ г. Полеваго есть полный представитель такой «прекрасной души»,—и онъ тѣмъ смѣшнѣе, что почтенный сочинитель нѣсколько не думалъ надѣваться надъ нимъ, но отъ чистаго сердца убѣжденъ, что представилъ намъ въ своемъ Рейхенбахѣ истиннаго поэта, душу глубокую пламенную, могучую. И потому его Рейхенбахъ есть что-то уродливое, смѣшное, не образъ и не фигура, а какая-то каравулька, начерченная на сѣрой

несравненно лучше романовъ, и если авторъ статьи, о которой мы упоминали, подробно обозрѣвъ всѣ существовавшія до Гоголя повѣсти, приходитъ къ заключенію, что, собственно говоря, «у насъ еще не было повѣсти» до появленія «Вечеровъ на Хуторѣ» и «Миргорода», то еще несомнѣннѣе, что у насъ не существовало романа. Были только попытки, доказывавшія, что русская литература готовится имѣть романъ и повѣсть, обнаруживавшія въ ней стремленіе къ произведенію романа и повѣсти. Относительно драматическихъ произведеній нельзя сказать и этого: прозаическія пьесы, дававшіяся на театрѣ, были чужды всякихъ литературныхъ качествъ, какъ водевили, передѣлываемые нынѣ съ французскаго.

Такимъ образомъ, проза въ русской литературѣ занимала очень мало мѣста, имѣла очень мало значенія. Она стремилась существовать, но еще не существовала.

и толстой бумагѣ дурно очиненнымъ перомъ. Въ немъ нѣтъ ничего поэтическаго: онъ просто добрый малый, и весьма недалекій малый,—а между тѣмъ, авторъ поставилъ его на весьма высокія ходули. Люди оскорбляютъ его не истинными своими недостатками, а тѣмъ, что не мечтаютъ, когда надо работать, и не восхищаются вечернею зарею, когда надо ужинать. Авторъ даже и не намекнулъ на истинныя противорѣчія поэзіи съ прозою жизни, поэта съ толпою.

Рейхенбахъ любить Генриетту, простую дѣвушку безъ образованія, безъ эстетическаго чувства, но хорошенькую, добренькую и молоденькую. Кто не былъ мальчикомъ и не влюблялся такимъ образомъ и въ кузину, и въ сосѣдку, и въ подругу по дѣтскимъ играмъ? Но у кого же такая любовь и продолжалась за эту эпоху, когда воротнички à l'enfant мѣняются на галстухъ? Рейхенбахъ думаетъ объ этомъ иначе и, во чтобы то ни стало, хочетъ обожать Генриетту до гробовой доски. Она тоже не прочь отъ этого. Но въ ихъ отношеніяхъ нѣтъ ничего поэтическаго, невыговариваемаго авторомъ, но понятнаго для читателей. Вся любовь ихъ испаряется въ словахъ, въ дерзкихъ пощадкахъ со стороны поэта, и въ «ахъ, что вы это?» со стороны хорошенькой мѣщаночки. Вдругъ, Рейхенбаху предстаетъ Леонора. Это актриса,—*femme étagée* нашего времени, жрица искусства и любви. Любовница министра, дряхлаго, развратнаго старичишки, она томится жаждою любви глубокой и возвышенной. Въ Рейхенбахѣ находитъ она свой идеаль. И вотъ, вы думаете, что она перерождается, какъ баядера Гёте,—ничего не бывало! Она только говоритъ о перерожденіи, о восстаніи, о пламени любви своей. Вы думаете, что Рейхенбахъ оставляетъ для этой сильной, пламенной и страстной души, столь обаятельной для юношей,—оставляетъ для нея свою ребяческую любовишку къ добренькой кухарочкѣ,—ничего не бывало! Онъ только колеблется между тою и другою, и въ этомъ колебаніи высказывается вся *слабость его слабенькой натуры*. Наконецъ Генриетта рѣшительно побѣждаетъ,

Въ строгомъ смыслѣ слова, литературная дѣятельность ограничивалась исключительно стихами. Гоголь былъ отцомъ русской прозы, и не только былъ отцомъ ея, но быстро доставилъ ей рѣшительный перевѣсъ надъ поэзію, перевѣсъ, сохраняемый ею до сихъ поръ. Онъ не имѣлъ ни предшественниковъ, ни помощниковъ въ этомъ дѣлѣ. Ему одному проза обязана и своимъ существованіемъ, и всѣми своими успѣхами.

«Какъ! не имѣлъ предшественниковъ или помощниковъ? Развѣ можно забывать о прозаическихъ произведеніяхъ Пушкина?»— Нельзя, но во-первыхъ, они далеко не имѣютъ того значенія въ исторіи литературы, какъ его сочиненія, писанныя стихами: «Капитанская дочка» и «Дубровскийъ»—повѣсти, въ полномъ смыслѣ

особенно потому что Леонора впадаетъ въ бѣшенство и неистовствуетъ, какъ пьяная гетера, вмѣсто того, чтобы представлять изъ себя плачущую слезами любви и раскаянія падшую пери. И чѣмъ же оканчивается любовь нашего великаго поэта? а вотъ чѣмъ, послушайте: «Генриетта ни за что не хотѣла соглашаться съ Вильгельмомъ, который увѣрялъ, что съ этихъ поръ онъ перестанетъ писать стихи. На усиленные просьбы Генриетты не оставляя стиховъ, онъ отвѣчалъ, смѣясь, что готовъ писать, но—только колыбельныя пѣсни для своихъ дѣтей. Тутъ нескромному Вильгельму зажали ротъ маленькою рукою, краснѣли и не знали куда дѣваться, пока другіе собесѣдники смѣялись громко...» О, честное компанство добрыхъ мѣщанъ? О, великій поэтъ, вышедшій изъ маленькой фантазіи! Видите ли, какъ ложная, натянутая идеальность сходится наконецъ съ пошлою прозою жизни, мирится съ нею на конфектныхъ страстишкахъ, картофельныхъ вѣжностяхъ и шоссныхъ шуткахъ?.. Это не то, что на человѣческомъ языкѣ называется «любить», а то, на мѣщанскомъ языкѣ называется «амуриться»...

«Вообще, многое въ романѣ г. Полеваго можетъ быть прочтено не безъ удовольствія, а иное и съ удовольствіемъ, но цѣлое странно: теперь оно развѣ усыпится сладко, и ужъ никого не увлечетъ. Когда, рисуя смѣшное, авторъ знаетъ, что онъ рисуетъ смѣшное,—картина можетъ быть великимъ созданіемъ; но когда авторъ изображаетъ намъ Донъ-Кихота, думая изображать Александра Македонскаго или Юлія Цезаря,—картина выйдетъ сурдальская, дубочная литографія съ изображеніемъ райской птицы и наивною надписью:

Райская птица Сирень,
Гласъ ея въ пѣніи зѣло силенъ:
Когда Господа воспѣваетъ,
Сама себя позабываетъ...

Поэзія, поэтъ, любовь, женщина, жизнь, ихъ взаимныя отношенія,—все это въ «Аббадонѣ» похоже на цвѣты, сдѣланные изъ старыхъ тряпокъ...

(Отч. Зап. 1841 г., томъ XV, библиограф. хроника).

слова превосходныя; но укажите, въ чемъ отразилось ихъ вліяніе? гдѣ школа писателей, которыхъ было бы можно назвать послѣдователями Пушкина, какъ прозаика? А литературныя произведенія бываютъ одолжены значеніемъ не только своему художественному достоинству, но даже (или даже еще болѣе) своему вліянію на развитіе общества или, по крайней мѣрѣ, литературы. Но главное—Гоголь явился прежде Пушкина, какъ прозаика. Первыми изъ прозаическихъ произведеній Пушкина (если не считать незначительныхъ отрывковъ) были напечатаны «Повѣсти Бѣлкина»—въ 1831 г.; но всѣ согласятся, что эти повѣсти не имѣли большого художественнаго достоинства. Затѣмъ, до 1836 года, была напечатана только «Школьная дама» (въ 1834 году)—никто не сомнѣвается въ томъ, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишетъ ей особенной важности. Между тѣмъ, Гоголемъ были напечатаны «Вечера на хуторѣ» (1831—1832), «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» (1833), «Миргородъ» (1835)—то есть, все, что въ послѣдствіи составило двѣ первыя части его Сочиненій; кромѣ того, въ «Арабескахъ» (1835)—«Портретъ», «Невскій проспектъ», «Записки сумасшедшаго». Въ 1836 году Пушкинъ напечаталъ «Капитанскую дочку»—но въ томъ же году явился «Ревизоръ», и кромѣ того «Коляска», «Утро дѣловаго человѣка» и «Носъ». Такимъ образомъ, большая часть произведеній Гоголя, и въ томъ числѣ «Ревизоръ», были уже извѣстны публикѣ, когда она знала еще только «Школьную даму» и «Капитанскую дочку» («Арапъ Петра Великаго», «Лѣтопись села Горохина», «Сцены изъ рыцарскихъ временъ» были напечатаны уже въ 1837 г., по смерти Пушкина, а «Дубровскій» только въ 1841)—публика имѣла довольно времени проникнуться произведеніями Гоголя прежде, нежели познакомилась съ Пушкинымъ, какъ прозаикомъ.

Въ общемъ теоретическомъ смыслѣ, мы не думаемъ отдавать предпочтенія прозаической формѣ надъ поэтической, или наоборотъ—у каждой изъ нихъ есть свои несомнѣнныя преимущества; но что касается собственно русской литературы, то смотря на нее съ исторической точки зрѣнія, нельзя не признать, что всѣ предыдущіе періоды, когда преобладала поэтическая форма, далеко уступаютъ въ значеніи и для искусства и для жизни послѣднему, Гоголевскому періоду, періоду господства прозы. Что принесетъ лите-

ратурѣ будущее, мы не знаемъ; мы не имѣемъ основаній отказывать нашей поэзіи въ великой будущности; но должны сказать, что до настоящаго времени прозаическая форма была и продолжаетъ быть для насъ гораздо плодотворнѣе стихотворной, что Гоголь далъ существованіе этой важнѣйшей для насъ отрасли литературы, и единственно онъ доставилъ ей тотъ рѣшительный перевѣсъ, который она сохраняетъ до настоящаго времени и по всей вѣроятности сохранить еще надолго.

Нельзя сказать, напротивъ того, чтобы Гоголь не имѣлъ предшественниковъ въ томъ направленіи содержанія, которое называютъ сатирическимъ. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы. Не будемъ дѣлать распространеній на эту общепризнанную истину, не будемъ говорить о Кантемирѣ, Сумароковѣ, Фонвизинѣ и Крыловѣ, но должны упомянуть о Грибоѣдовѣ. «Горе отъ ума» имѣетъ недостатки въ художественномъ отношеніи, но остается до сихъ поръ одною изъ самыхъ любимыхъ книгъ, потому что представляетъ рядъ превосходныхъ сатиръ, изложенныхъ то въ формѣ монологовъ, то въ видѣ разговоровъ. Почти столь же важно было вліяніе Пушкина, какъ сатирическаго писателя, какимъ онъ явился преимущественно въ «Онѣгинѣ». И однако же, несмотря на высокія достоинства и огромный успѣхъ комедіи Грибоѣдова и романа Пушкина, должно приписать исключительно Гоголю заслугу прочнаго введенія въ русскую изящную литературу сатирическаго — или, какъ справедливѣе будетъ называть его, критическаго направленія *).

*) Въ новѣйшей наукѣ, критикою называется не только сужденіе о явленіяхъ одной отрасли народной жизни—искусства, литературы или науки, но вообще сужденіе о явленіяхъ жизни, провозносимое на основаніи понятій, до которыхъ достигло человѣчество, и чувствъ, возбуждаемыхъ этими явленіями при сличеніи ихъ съ требованіями разума. Понимая слово «критика» въ этомъ обширнѣйшемъ смыслѣ, говорятъ: «Критическое направленіе въ изящной литературѣ, въ поэзіи» — этимъ выраженіемъ обозначается направленіе до нѣкоторой степени сходное съ «аналитическимъ направленіемъ, анализомъ» въ литературѣ, о которомъ такъ много говорили у насъ. Но различіе состоитъ въ томъ, что «аналитическое направленіе» можетъ изучать подробности житейскихъ явленій и воспроизводить ихъ подъ вліяніемъ самыхъ разнородныхъ стремленій, даже безъ всякаго стремленія, безъ мысли и смысла; а «критическое направленіе» при подробномъ изученіи и воспроизведеніи явленій жизни, проникнуто сознаніемъ о соответствіи или несоответствіи изученныхъ явленій

Несмотря на вопросъ, возбужденный его комедіею, Грибоѣдовъ не имѣлъ послѣдователей, и «Горе отъ ума» осталось въ нашей литературѣ одинокимъ, отрывочнымъ явленіемъ, какъ прежде комедіи Фонвизина и сатиры Кантемира, осталось безъ замѣтнаго вліянія на литературу, какъ басни Крылова *). Что было тому причиною? Конечно, господство Пушкина и плеяды поэтовъ, его окружавшей. «Горе отъ ума» было произведеніемъ, на столько блестящимъ и живымъ, что не могло не возбудить общаго вниманія; но гений Грибоѣдова не былъ такъ великъ, чтобы однимъ произведеніемъ приобрѣсть съ перваго же раза господство надъ литературою. Что же касается до сатирическаго направленія въ произведеніяхъ самого Пушкина, то оно заключало въ себѣ слишкомъ мало глубины и постоянства, чтобы производить замѣтное дѣйствіе на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало въ общемъ впечатлѣніи чистой художественности, чуждой опредѣленнаго направленія, — такое впечатлѣніе производятъ не только всѣ другія лучшія произведенія Пушкина — «Каменный гость», «Борисъ Годуновъ», «Русалка» и проч., но и самый «Онѣгинъ»: — у кого есть сильное предрасположеніе къ критическому взгляду на явленія жизни, только на того произведутъ вліяніе бѣглыя и легкія сатирическія замѣтки, попадающіяся въ этомъ романѣ; — читателями, не предрасположенными къ нимъ, они не будутъ замѣчены, потому что дѣйствительно составляютъ только второстепенный элементъ въ содержаніи романа.

Такимъ образомъ, не смотря на проблески сатиры въ «Онѣгинѣ» и блестящія филиппики «Горе отъ ума», критическій элементъ игралъ въ нашей литературѣ до Гоголя второстепенную роль. Да и не только критическаго, но и почти никакого другаго опредѣленнаго элемента нельзя было отыскать въ ея содержаніи, если смотрѣть на общее впечатлѣніе, производимое всею массою

съ нормою разума и благороднаго чувства. Потому «критическое направленіе» въ литературѣ есть одно изъ частныхъ видовъмѣненій «аналитическаго направленія» вообще. Сатирическое направленіе отличается отъ критическаго, какъ его крайность, не заботящаяся объ объективности картинъ, и допускающая утрировку.

*) Мы говоримъ о направленіи литературы, о ея духѣ, стремленіяхъ, а не о развитіи литературнаго языка, — въ послѣднемъ отношеніи, какъ уже тысячу разъ было замѣчаемо въ нашихъ журналахъ, Крыловъ долженъ быть *считаемъ* однимъ изъ предшественниковъ Пушкина.

сочиненій, считавшихся тогда хорошими или превосходными, а не останавливаться на немногихъ исключеніяхъ, которыя, являясь случайными, одинокими, не производили замѣтной переменны въ общемъ духѣ литературы. Ничего опредѣленнаго не было въ ея содержаніи,—сказали мы,—потому что въ ней почти вовсе не было содержанія. Перечитывая всѣхъ этихъ поэтовъ—Языкова, Козлова и проч., дивисься тому, что на столь бѣдныя темы, съ такимъ скуднымъ запасомъ чувствъ и мыслей, успѣли они написать столько страницъ,—хотя и страницъ написано ими очень немного—приходишь наконецъ къ тому, что спрашиваешь себя: да о чемъ же они писали? и писали ли они хотя о чемъ нибудь; или просто ни о чемъ? Многихъ не удовлетворяетъ содержаніе Пушкинской поэзіи,—но у Пушкина было во сто разъ больше содержанія, нежели у его сподвижниковъ, взятыхъ вмѣстѣ. Форма была у нихъ почти все, подъ формою не найдете у нихъ почти ничего.

Такимъ образомъ за Гоголемъ остается заслуга, что онъ первый далъ русской литературѣ рѣшительное стремленіе къ содержанію, и притомъ стремленіе въ столь плодотворномъ направленіи, какъ критическое. Прибавимъ, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью. За періодомъ чистыхъ подражаній и передѣлокъ, какими были почти всѣ произведенія нашей литературы до Пушкина, слѣдуетъ эпоха творчества, нѣсколько болѣе свободнаго. Но произведенія Пушкина все еще очень близко напоминаютъ или Байрона, или Шекспира, или Вальтера-Скотта. Не говоримъ уже о Байроновскихъ поэмахъ и «Онѣгинъ», котораго несправедливо называли подражаніемъ «Чайльдъ-Гарольду», но который однако же дѣйствительно не существовалъ бы безъ этого Байроновскаго романа; но точно также «Борисъ Годуновъ» слишкомъ замѣтно подчиняется историческимъ драмамъ Шекспира, «Русалка»—прямо возникла изъ «Короля Лира» и «Сна въ лѣтнюю ночь», «Капитанская дочка»—изъ романовъ Вальтера-Скотта. Не говоримъ уже о другихъ писателяхъ той эпохи,—ихъ зависимость отъ того или другаго изъ европейскихъ поэтовъ слишкомъ ярко бросается въ глаза. То ли теперь?—повѣсти г. Гончарова, г. Григоровича, Л. Н. Т., г. Тургенева, комедіи г. Островскаго также мало наводятъ васъ на мысль о заимствованіи, также мало напоминаютъ вамъ, что либо чужое, какъ романъ Диккенса, Теккерея, Жоржа-Санда. Мы не думаемъ дѣлать сравненія между

этими писателями по таланту или значенію въ литературѣ; но дѣло въ томъ, что г. Гончаровъ представляется вамъ только г. Гончаровымъ, только самимъ собою, г. Григоровичъ также, каждый другой даровитый нашъ писатель также,—ничья литературная личность не представляется вамъ двойникомъ какого нибудь другаго писателя, ни у кого изъ нихъ не выглядывалъ изъ-за плечъ другой человекъ, подсказывающій ему—ни о комъ изъ нихъ нельзя сказать «Сѣверный Диккенсъ», или «Русскій Жоржъ-Сандъ», или «Теккерей сѣверной Пальмиры». Только Гоголю мы обязаны этою самостоятельностью, только его творенія своею высокою самобытностью подняли нашихъ даровитыхъ писателей на ту высоту, гдѣ начинается самобытность.

Впрочемъ, какъ ни много почетнаго и блестящаго въ титулѣ «основатель плодотворнѣйшаго направленія и самостоятельности въ литературѣ»—но этими словами еще не опредѣляется вся великость значенія Гоголя для нашего общества и литературы. Онъ пробудилъ въ насъ сознаніе о насъ самихъ—вотъ его истинная заслуга, важность которой не зависитъ отъ того, первымъ или десятымъ изъ нашихъ великихъ писателей должны мы считать его въ хронологическомъ порядкѣ. Разсмотрѣніе значенія Гоголя въ этомъ отношеніи должно быть главнымъ предметомъ нашихъ статей,—дѣло очень важное, которое быть можетъ признали бы мы превосходящимъ наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже исполнена, такъ что намъ, при разборѣ сочиненій самаго Гоголя остается почти только приводить въ систему и развивать мысли, уже высказанные критикою, о которой мы говорили въ началѣ статьи;—дополненій, собственно намъ принадлежащихъ, будетъ немного, потому что, хотя мысли, нами развиваемыя, были высказываемы отрывочно, по различнымъ поводамъ, однако же если свести ихъ вмѣстѣ, то немного останется пробѣловъ, которые нужно дополнить, чтобы получить всестороннюю характеристику произведеній Гоголя. Но чрезвычайное значеніе Гоголя для русской литературы еще не совершенно опредѣляется оцѣнкою его собственныхъ твореній: Гоголь важенъ не только, какъ гениальный писатель, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ глава школы—единственной школы, которою можетъ гордиться русская литература,—потому что ни Грибоѣдовъ, ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Кольцовъ не имѣли *учениковъ, которыхъ имена были бы важны для исторіи русской*

литературы. Мы должны убѣдиться, что вся наша литература, на сколько она образовалась подъ вліяніемъ нечужеземныхъ писателей, примыкаетъ къ Гоголю и только тогда представится намъ въ полномъ размѣрѣ все его значеніе для русской литературы. Сдѣлавъ этотъ обзоръ всего содержанія нашей литературы въ ея настоящемъ развитіи, мы будемъ въ состояніи опредѣлить, что она уже сдѣлала и чего мы должны еще ожидать отъ нея, — какіе залогов будущаго представляетъ она, и чего еще не достаетъ ей, — дѣло интересное, потому что состояніемъ литературы опредѣляется состояніе общества, отъ котораго всегда она зависитъ.

Какъ ни справедливы мысли о значеніи Гоголя, высказанныя здѣсь, — мы можемъ, нисколько не стѣсняясь опасеніями самохвальства, называть ихъ совершенно справедливыми, потому что онѣ высказаны въ первый разъ не нами, и мы только усвоили ихъ, слѣдовательно самолюбіе наше не можетъ ими гордиться, оно остается совершенно въ сторонѣ, — какъ ни очевидна справедливость этихъ мыслей, но найдутся люди, которымъ покажется, что мы слишкомъ высоко ставимъ Гоголя. Это потому, что до сихъ поръ еще остается много людей, возстующихъ противъ Гоголя. Литературная судьба его въ этомъ отношеніи совершенно различна отъ судьбы Пушкина. Пушкина давно уже всѣ признали великимъ, неоспоримо великимъ писателемъ; имя его — священный авторитетъ для каждаго русскаго читателя и даже нечитателя, какъ, на примѣръ, Вальтеръ Скоттъ авторитетъ для каждаго англичанина, Ламаргинъ и Шатобрианъ для француза, или, чтобы перейти въ болѣе высокую область, Гете для нѣмца. Каждый русскій есть почитатель Пушкина, и никто не находитъ неудобнымъ для себя признавать его великимъ писателемъ, потому что поклоненіе Пушкину не обязываетъ ни къ чему, пониманіе его достоинствъ не обуславливается никакими особенными качествами характера, никакимъ особеннымъ настроеніемъ ума. Гоголь, напротивъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, любовь къ которымъ требуетъ одинаковаго съ ними настроенія души, потому что ихъ дѣятельность есть служеніе опредѣленному направленію нравственныхъ стремленій. Въ отношеніи къ такимъ писателямъ, какъ на примѣръ, къ Жоржу Занду, Беранже, даже Диккенсу и отчасти Теккерю, публика раздѣляется на двѣ половины: одна не сочувствующая ихъ стремленіямъ, негодуетъ на нихъ; но та, которая сочувствуетъ, до предан-

ности любить ихъ, какъ представителей ея собственной нравственной жизни, какъ адвокатовъ ея собственныхъ горячихъ желаній и задумевнѣйшихъ мыслей. Отъ Гете никому не было ни тепло, ни холодно; онъ равно привѣтливъ и утонченно деликатенъ къ каждому — къ Гете можетъ являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уваженіе — уступчивый, мягкій и въ сущности довольно равнодушный ко всему и ко всѣмъ, хозяинъ ни кого не оскорбитъ не только явною суровостью, даже ни однимъ щекотливымъ намекомъ. Но если рѣчи Диккенса или Жоржа Санда служить утѣшеніемъ или подкрѣпленіемъ для однихъ, то уши другихъ находятъ въ нихъ много жестокаго и въ высшей степени не пріятнаго для себя. Эти люди живутъ только для друзей; они не держатъ открытаго стола для каждаго встрѣчнаго и поперечнаго; иной, если сядетъ за ихъ столъ, будетъ давиться каждымъ кускомъ и смущаться отъ каждаго слова; и убѣжавъ изъ этой тяжелой бесѣды, вѣчно будетъ онъ «поминать лихомъ» суроваго хозяина. Но если у нихъ есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда «незлобивый поэтъ» не можетъ имѣть такихъ страстныхъ почитателей, какъ тотъ, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебнымъ словомъ отрицанья» противъ всего гнуснаго «проповѣдуетъ любовь» къ добру и правдѣ. Кто гладитъ по шерсти всѣхъ и все, тотъ, кромѣ себя, не любитъ никого и ничего; кѣмъ довольны всѣ, тотъ не дѣлаетъ ничего добраго, потому что добро невозможно безъ оскорбленія зла. Кого никто не ненавидитъ, тому никто ничѣмъ не обязанъ.

Гоголю многимъ обязаны тѣ, которые нуждаются въ защитѣ; онъ сталъ во главѣ тѣхъ, которые отрицаютъ злое и пошлое. Потому онъ имѣлъ славу возбудить во многихъ вражду къ себѣ. И только тогда будутъ всѣ единогласны въ похвалахъ ему, когда исчезнетъ все пошлое и низкое, противъ чего онъ боролся!

Мы сказали, что наши слова о значеніи произведеній самого Гоголя будутъ только въ немногихъ случаяхъ дополненіемъ, а по большей части только сводомъ и развитіемъ возрѣвнѣй, выраженныхъ критикою Гоголевскаго періода литературы, центромъ которой были «Отечественныя Записки», главнымъ дѣятелемъ тотъ критикъ, которому принадлежатъ «Статьи о Пушкинѣ». Такимъ образомъ, эта половина нашихъ статей будетъ имѣть по преимуществу

историческій характеръ. Но исторію надобно начинать съ начала,— и прежде, нежели будемъ мы излагать мнѣнія, которыя принимаемъ, должны мы представить очеркъ мнѣній, высказанныхъ относительно Гоголя представителями прежнихъ литературныхъ партій. Это тѣмъ болѣе необходимо, что критика Гоголевскаго періода развивала свое вліяніе на публику и литературу въ постоянной борьбѣ съ этими партіями, что отголоски сужденій о Гоголѣ, высказанныхъ этими партіями, слышатся еще до сихъ поръ, — и наконецъ потому, что этими сужденіями отчасти объясняются «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями»—этого столь замѣчательнаго, и повидимому, страннаго факта въ дѣятельности Гоголя. Мы должны будемъ касаться этихъ сужденій, и нужно знать ихъ происхождение, чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить степень ихъ добросовѣстности и справедливости. Но, чтобы не слишкомъ растянуть нашъ обзоръ отношеній къ Гоголю людей, литературныя мнѣнія которыхъ неудовлетворительны, мы ограничимся изложеніемъ сужденій только трехъ журналовъ, бывшихъ представителями важнѣйшихъ изъ второстепенныхъ направленій въ литературѣ.

Сильнѣйшимъ и достойнѣйшимъ уваженія изъ людей, возставшихъ противъ Гоголя, былъ Н. А. Полевой. Всѣ другіе, когда не повторяли его слова, нападая на Гоголя, выказывали въ себѣ только отсутствіе вкуса, и потому не заслуживаютъ большаго вниманія. Напротивъ того, если нападенія Полеваго и были рѣзки, если иногда переходили даже границы литературной критики и принимали, какъ тогда выражались, «юридическій характеръ»,—то всегда въ нихъ видѣнъ умъ, и, какъ намъ кажется, Н. А. Полевой, не будучи правъ, былъ однако же добросовѣстенъ, возставая противъ Гоголя не по низкимъ расчетамъ, не по внушеніямъ самолюбія или личной вражды, какъ многіе другіе, а по искреннему убѣжденію.

Послѣдніе годы дѣятельности Н. А. Полеваго нуждаются въ оправданіи. Ему не суждено было счастье сойти въ могилу чистымъ отъ всякаго упрека, отъ всякихъ подозрѣній,—но многимъ ли изъ людей, долго принимавшихъ участіе въ умственныхъ или другихъ преніяхъ, достается на долю это счастье? Самъ Гоголь также нуждается въ оправданіяхъ, и намъ кажется, что Полевой можетъ быть оправданъ гораздо легче, нежели онъ.

Важнѣйшимъ пятномъ на памяти Н. А. Полеваго лежитъ то.

что онъ, сначала столь бодро выступившій однимъ изъ предводителей въ литературномъ и умственномъ движеніи,—онъ, знаменитый редакторъ «Московского Телеграфа», столь сильно дѣйствовавшего въ пользу просвѣщенія, разрушившаго столько литературныхъ и другихъ предубѣжденій, подъ конецъ жизни сталъ ратовать противъ всего, что было тогда здороваго и плодотворнаго въ русской литературѣ, занялъ съ своимъ «Русскимъ Вѣстникомъ» то самое положеніе въ литературѣ, которое нѣкогда занималъ «Вѣстникъ Европы», сдѣлался защитникомъ неподвижности, закостѣлости, которую столь сильно поражалъ въ лучшую эпоху своей дѣятельности. Умственная жизнь у насъ началась еще такъ недавно, мы пережили еще такъ мало фазисовъ развитія, что подобныя перемѣны въ положеніи людей кажутся намъ загадочными; между тѣмъ, въ нихъ нѣтъ ничего страннаго,—напротивъ, очень естественно, что человѣкъ сначала стоявшій во главѣ движенія, дѣлается отсталымъ и начинаетъ возставать противъ движенія, когда оно неудержимо продолжается далѣе границъ, которыя онъ предвидѣлъ, далѣе цѣли, къ которой онъ стремился. Не будемъ приводить примѣровъ изъ всеобщей исторіи, хотя они скорѣе всего могли бы пояснить дѣло. И въ исторіи умственнаго движенія недавно былъ великій, поучительный примѣръ подобной слабости человѣка, отстающаго отъ движенія, главою котораго онъ былъ — этотъ прискорбный примѣръ мы видѣли на Шеллингѣ, котораго имя въ послѣднее время было въ Германіи символомъ обскурантизма, между тѣмъ какъ нѣкогда онъ придавалъ могущественное движеніе философіи; но Гегель повелъ философію далѣе границъ, которыхъ не могла переступить система Шеллинга,—и предшественникъ, другъ, учитель и товарищъ Гегеля сталъ его врагомъ. И если бы самъ Гегель прожилъ нѣсколько лѣтъ долѣе, онъ сдѣлался бы противникомъ лучшихъ и вѣрнѣйшихъ своихъ учениковъ,—и, быть можетъ, его имя сдѣлалось бы также символомъ обскурантизма.

Мы не безъ намѣренія упомянули о Шеллингѣ и Гегелѣ, потому что для объясненія перемѣны въ положеніи Н. А. Полеваго, надобно припомнить его отношеніе къ разнымъ системамъ философіи. Н. А. Полевой былъ послѣдователемъ Кузена, котораго считалъ разрѣшителемъ всѣхъ премудростей и величайшимъ философомъ въ мірѣ. На самомъ же дѣлѣ, философія Кузена была *составлена изъ довольно произвольнаго смѣшенія научныхъ понятій,*

зайствованныхъ отчасти у Канта, еще болѣе у Шеллинга, отчасти у другихъ нѣмецкихъ философовъ, съ нѣкоторыми обрывками изъ Декарта, изъ Локка и другихъ мыслителей,—и весь этотъ разнообразный наборъ былъ въ добавокъ передѣланъ и приглаженъ такъ, чтобы не смущать никакою смѣлою мыслью предрасудковъ французской публики. Эта кашлица называвшаяся «эклектическою философіею», не могла имѣть большого научнаго достоинства, но она была хороша тѣмъ, что легко переваривалась людьми, еще не готовыми къ принятію строгихъ и рѣзкихъ системъ нѣмецкой философіи, и во всякомъ случаѣ была полезна, какъ приготовленіе къ переходу отъ прежней закоснѣлости и іезуитскаго обскурантизма къ болѣе здравымъ воззрѣніямъ. Въ этомъ смыслѣ полезна была она и въ «Московскомъ Телеграфѣ». Но само собою разумѣется, что послѣдователь Кузена не могъ примириться съ Гегелевскою философіею, и когда Гегелевская философія проникла въ русскую литературу,—ученики Кузена оказались отсталыми людьми,—и ничего нравственно преступнаго съ ихъ стороны не было въ томъ, что они защищали свои убѣжденія и называли нелѣпнымъ то, что говорили люди, опередившіе ихъ въ умственномъ движеніи: нельзя обвинять человѣка за то, что другіе, одаренные болѣе свѣжими силами и болѣею рѣшительностью, опередили его,—они правы, потому что ближе къ истинѣ, но и онъ не виноватъ, онъ только ошибается.

Новая критика опиралась на идеяхъ, принадлежащихъ строгой и возвышенной системѣ Гегелевой философіи,—вотъ первая и едва ли не важнѣйшая причина того, что Н. А. Полевой не понималъ этой новой критики, и не могъ не возстать противъ нея, какъ человѣкъ, одаренный живымъ и горячимъ характеромъ. Что это несогласіе въ философскихъ воззрѣніяхъ было существеннымъ основаніемъ борьбы, видимъ изъ всего, что было писано и Н. А. Полевымъ и его молодымъ противникомъ,—мы могли бы привести сотни примѣровъ, но довольно будетъ и одного. Начиная свои критическія статьи въ «Русскомъ Вѣстникѣ», Н. А. Полевой предпосылаетъ имъ profession de foi, въ которомъ излагаетъ свои принципы и показываетъ, чѣмъ будетъ отличаться «Русскій Вѣстникъ» отъ другихъ журналовъ, и вотъ какъ онъ характеризуетъ направленіе журнала, въ которомъ господствовали новыя воззрѣнія:

Въ одномъ изъ журналовъ нашихъ предлагали намъ жалкіе, уродливые обложки Гегелевской схоластики, *излагая ее языкомъ, едва ли даже для самихъ издателей журнала понятнымъ*. Все еще устремляясь уничтожать прежнее, вслѣдствіе спутанныхъ и перебитыхъ теорій своихъ, но чувствуя необходимость какихъ нибудь авторитетовъ, дико вопили о Шекспирѣ, создавали себѣ крошечные идеальчики и преклоняли колѣни передъ дѣтскою игрою бѣдной самодѣльщины, а вмѣсто сужденія употребляли брань, какъ будто брань доказательство *).

Видите ли, основнымъ пунктомъ обвиненія была приверженность къ «Гегелевской схоластикѣ», и всѣ остальные грѣхи противника выставляются какъ слѣдствія этого основнаго заблужденія. Но почему же Полевой считаетъ Гегелевскую философію ошибочною? потому что она для него непонятна, это прямо говоритъ онъ самъ. Точно также и противникъ его, основнымъ недостаткомъ, главною причиною паденія прежней романтической критики, выставлялъ то, что она опиралась на шаткую систему Кузена, не знала и не понимала Гегеля.

И дѣйствительно, несогласіе въ эстетическихъ убѣжденіяхъ было только слѣдствіемъ несогласія въ философскихъ основаніяхъ всего образа мыслей,—этимъ отчасти объясняется жестокость борьбы—изъ-за одного разногласія въ чисто эстетическихъ понятіяхъ нельзя было бы такъ ожесточаться, тѣмъ болѣе, что въ сущности оба противника заботились не столько о чисто эстетическихъ вопросахъ, сколько вообще о развитіи общества, и литература была для нихъ драгоценна преимущественно въ томъ отношеніи, что они понимали ее какъ могущественнѣйшую изъ силъ, дѣйствующихъ на развитіе нашей общественной жизни. Эстетическіе вопросы были для обоихъ по преимуществу только полемъ битвы, а предметомъ борьбы было вліяніе вообще на умственную жизнь.

Но что бы ни было существеннымъ содержаніемъ борьбы, прищемъ ея были чаще всего эстетическіе вопросы, и намъ должно припомнить, хотя бѣглымъ образомъ, характеръ эстетическихъ убѣжденій школы, представителемъ которой былъ Н. А. Полевой, и показать ея отношеніи къ новымъ воззрѣніямъ.

Не будемъ однако слишкомъ подробно говорить о романтизмѣ,

*) Прежде Полевой говорилъ, что разрушеніе старыхъ авторитетовъ было *его дѣломъ*, и вообще ясно, что своего противника онъ считаетъ своимъ *ученикомъ*, въ ослѣпленіи зашедшимъ далѣе границъ, поставленнымъ учителемъ.

о котором писано уже довольно много; скажемъ только, что французскій романтизмъ, поборниками котораго были и Марлинскій, и Полевой, надобно отличать отъ нѣмецкаго, вліяніе котораго на нашу литературу не было такъ сильно. (Баллады Саути, переведенныя Жуковскимъ, представляютъ уже англійское видоизмѣненіе нѣмецкаго романтизма). Нѣмецкій романтизмъ, гласными источниками котораго были—съ одной стороны,—фальшиво перетолкованныя мысли Фихте, съ другой — утрированное противодѣйствіе вліянію французской литературы XVIII вѣка, былъ странною смѣсью стремленій къ задушевности, теплотѣ чувства, лежащей въ основаніи нѣмецкаго характера, съ такъ называемою тевтономанією, пристрастіемъ къ среднимъ вѣкамъ, съ дикимъ поклоненіемъ всему, чѣмъ средніе вѣка отличались отъ новаго времени, — всему, что было въ нихъ туманнаго, противорѣчащаго ясному взгляду новой цивилизаціи,—поклоненіемъ всѣмъ предрасудкамъ и нелѣпостямъ среднихъ вѣковъ. Этотъ романтизмъ представляетъ очень много сходства съ мѣншіями, которыми одушевлены у насъ люди, видящіе идеаль русскаго челоуѣка въ Любимѣ Торцовѣ. Еще страннѣе сдѣлался романтизмъ, перешедши во Францію. Въ Германіи дѣло шло преимущественно о направленіи, духѣ литературы: нѣмцамъ было ненужно много хлопотать о ниспроверженіи условныхъ псевдоклассическихъ формъ, потому что Лессингъ уже давно показалъ ихъ нелѣпость, а Гёте и Шиллеръ представили образцы художественныхъ произведеній, въ которыхъ идея не втискивается насильно въ условную, чуждую ей форму, а сама изъ себя рождаетъ форму, ей свойственную. У французовъ этого еще не было, — имъ еще нужно было освободиться отъ эпическихъ поэмъ съ возваніями къ Музѣ, трагедій съ тремя единствами, торжественныхъ одъ, избавиться отъ холодности, чопорности, условной и отчасти пошлой гладкости въ слогѣ, однообразномъ и вяломъ,—однимъ словомъ, романтизмъ засталъ у нихъ почти то самое, что было у насъ до Жуковскаго и Пушкина. Потому борьба обратилась преимущественно на вопросы о свободѣ формы; на самое содержаніе смотрѣли французскіе романтики съ формалистической точки зрѣнія, стараясь сдѣлать все наперекоръ прежнему: у псевдоклассиковъ лица раздѣлялись на героевъ и злодѣевъ, — противники ихъ рѣшили, что злодѣи не злодѣи, а истинные герои; страсти изображались у *классиковъ съ жеманной, холодной сдержанностью,—романтическіе*

герои начали неистовствовать и руками, и особенно языкомъ, беспощадно кричать всякую гиль и чепуху; классики хлопотали о щеголеватости, — противники ихъ провозгласили, что всякая благовидность есть пошлость, а дикость, безобразіе — истинная художественность и т. д.; однимъ словомъ // романтики имѣли цѣлью не природу и челоуѣка, а противорѣчіе классикамъ; / планъ произведенія, характеры и положенія дѣйствующихъ лицъ, и самый языкъ создавались у нихъ не по свободному вдохновенію, а сочинялись, придумывались по расчету, и по какому же мелочному расчету? — только для того, чтобы все это вышло рѣшительно противъ того, какъ было у классиковъ. Потому-то у нихъ все выходило такъ же искусственно и натянуто, какъ и у классиковъ, только искусственность и натянутость эта была другаго рода: у классиковъ приглаженная и прилизанная, у романтиковъ — преднамѣренно растрепанная. Здравый смыслъ былъ идиоломъ классиковъ, незнавшихъ о существованіи фантазіи; романтики сдѣлались врагами здраваго смысла, и искусственно раздражали фантазію до болѣзненнаго напряженія. Послѣ этого очевидно, насколько у нихъ могло быть простоты, естественности, пониманія дѣйствительной жизни и художественности, — ровно никакихъ слѣдовъ. Таковы были произведенія Виктора Гюго, предводителя романтиковъ. Таковы же были у насъ произведенія Марлинскаго и Полеваго, для которыхъ, особенно для Полеваго, Викторъ Гюго былъ идеаломъ поэта и романиста. Кто давно не перечитывалъ ихъ повѣстей и романовъ и не имѣетъ охоты пересмотрѣть ихъ, тотъ можетъ составить себѣ достаточное понятіе о характерѣ романтическихъ созданій, пробѣжавъ разборъ «Аббадонны», приведенный нами выше. Откуда взялъ авторъ своего Рейхенбаха? развѣ одинъ изъ характеристическихъ типовъ нашего тогдашняго общества составляли пылкіе, великіе поэты съ глубоко-страстными натурами? — вовсе нѣтъ, о такихъ людяхъ не было у насъ и слуху. Рейхенбахъ просто придуманъ авторомъ; и развѣ основная тема романа — борьба пламенной любви къ двумъ женщинамъ, дана нравами нашего общества? развѣ мы походимъ на итальянцевъ, какими они представляются въ кровавыхъ мелодрамахъ? нѣтъ, на Руси съ самаго призванія варяговъ до 1835 года вѣроятно не было ни одного случая, подобнаго тому, *какой* сочинился съ Рейхенбахомъ; и что для насъ интереснаго, *что для насъ важнаго* въ изображеніи столкновеній, рѣшительно

чуждыхъ нашей жизни?—Эти вопросы о близкомъ соотношеніи поэтическихъ созданій къ жизни общества не приходили и въ голову романтическимъ сочинителямъ, — они хлопотали только о томъ, чтобы изображать бурныя страсти и раздирательныя положенія неистово фразистымъ языкомъ.

Мы вовсе не въ укоръ романтизму припоминаемъ его характеристику, а только для вывода соображеній о томъ, могъ ли человекъ, пропитавшійся насквозь подобными понятіями объ искусствѣ, понимать истинную художественность, могъ ли онъ восхищаться простотою, естественностью, вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Мы не хотимъ смѣяться надъ романтиками, — напротивъ, помянемъ ихъ добрымъ словомъ: они у насъ были въ свое время очень полезны: они возстали противъ закоснѣлости, неподвижной заплесневѣлости; еслибъ имъ удалось повести литературу по дорогѣ, которая имъ нравилась, это было бы дурно, потому что дорога вела къ вертепамъ фантастическихъ злодѣевъ съ картонными кинжалами, жилищамъ фразёровъ, которые тщеславились выдуманными преступленіями и страстями; но это не случилось, — романтики успѣли только вывести литературу изъ неподвижнаго и прѣснаго болота, и она пошла своей дорогой, не слушаясь ихъ возгласовъ; слѣдовательно вреда ей они не успѣли сдѣлать, а пользу сдѣлали, — за что же бранить ихъ, и какъ же не помянуть добрымъ словомъ ихъ услуги?

Намъ нужно знать ихъ понятія не для того, чтобы смѣяться надъ ними, — это бесполезно, посмѣемся лучше надъ тѣмъ, что въ насъ остается еще нелѣпаго и дикаго, — а для того, чтобы понять искренность и добросовѣстность ихъ борьбы противъ тѣхъ, которые явились послѣ нихъ, которые были лучше ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, могъ ли поклонникъ Виктора Гюго, авторъ «Аббадонны», понимать эстетическую теорію, которая главными условіями художественнаго созданія ставила простоту и одушевленіе вопросами дѣйствительной жизни? Нѣтъ, и его нельзя обвинять за то, что онъ не понималъ того, чего не понималъ; должно только сказать, что были правы его противники, защищавшіе ученіе болѣе высокое и справедливое нежели понятія, которыхъ онъ держался.

Мы не думаемъ принимать сторону Н. А. Полеваго, какъ противника критики и литературы Гоголевскаго періода; ~~напротивъ~~,

онъ былъ совершенно неправъ, его противникъ совершенно правъ,—мы утверждаемъ только, что основнымъ побужденіемъ къ борьбѣ и у Н. А. Полеваго, какъ у его противника, было неподдѣльное, непритворное убѣжденіе.

Борьба была жестока, и естественнымъ образомъ, влекла за собою безчисленныя оскорбленія самолюбію партизановъ той или другой стороны,—въ особенности стороны отсталой и слабѣйшей, потому что побѣдитель можетъ прощать обиды ослабѣвающему противнику, но самолюбіе побѣждаемаго бываетъ раздражительно и непримиримо. Потому очень можетъ быть, что желчность различныхъ выходокъ Н. А. Полеваго усиливалась горькимъ чувствомъ сознанія въ томъ, что другіе заняли мѣсто впереди его, лишили его (и его убѣжденія, потому что онъ дорожилъ своими убѣжденіями) первенства, господства въ критикѣ, что литература перестала признавать его своимъ верховнымъ судьей, сознанія, что онъ не побѣждаетъ, какъ прежде, а побѣжденъ,—и болѣзненными криками глубоко уязвляемаго самолюбія; но все это было только второстепеннымъ элементомъ, развившимся въ теченіе борьбы,—а истинными главными причинами борьбы были убѣжденія, безкорыстныя и чуждыя низкихъ расчетовъ или мелочнаго тщеславія. Въ свое время, нельзя было не опровергать ошибочныхъ сужденій писателя, имѣвшаго столь сильный авторитетъ; но изъ-за ошибочнаго направленія его дѣятельности нельзя было забывать ни того, что въ сущности онъ всегда оставался человѣкомъ, достойнымъ уваженія по характеру, ни въ особенности того, что въ прежнее время онъ оказалъ много услугъ русской литературѣ и просвѣщенію. Это было съ обычною прямоюю всегда признаваемо его противникомъ и съ жаромъ высказано въ брошюрѣ «Николай Алексѣевичъ Полевой».

Жестокія нападенія на Гоголя принадлежатъ къ числу важнѣйшихъ ошибокъ Н. А. Полеваго; они были одною изъ главныхъ причинъ нерасположенія, которое питало къ Полевому публика и лучшіе писатели прошедшаго десятилѣтія. Но должно только сообразить, что онъ никогда не могъ выйти изъ круга понятій разработанныхъ французскими романтиками, распространенныхъ у насъ его первымъ журналомъ, «Московскимъ Телеграфомъ», практически осуществившихся въ его повѣстяхъ и «Аббадоннѣ»,—и мы убѣдимся, что Полевой не могъ понимать Гоголя, не могъ понимать лучшей стороны его произведеній, важнѣйшаго

ихъ значенія для литературы. Не могъ понимать—и слѣдовательно ему долженъ былъ казаться несправедливымъ восторгъ, возбужденный въ позднѣйшей критикѣ этими произведеніями; какъ человекъ, привыкшій горячо защищать свои мнѣнія, онъ не могъ не подать громкаго голоса въ дѣлѣ, котораго важность была столь сильно указываема и противникомъ Полеваго и жаркими толками въ публикѣ. Что это мнѣніе, основанное на эклектической философіи и романтической эстетикѣ, было въ высшей степени неблагоприятно Гоголю, нимало не удивительно, — напротивъ, иначе и быть не могло. Въ самомъ дѣлѣ, эклектическая философія всегда останавливалась на серединѣ пути, старалась занять «золотую середину», говоря «нѣтъ», прибавлять и «да», признавая принципъ, не допуская его приложеній, отвергая принципъ, допуская его приложенія. «Ревизоръ» и «Мертвыя Души» были рѣшительно противоположною этому правилу портить впечатлѣніе цѣлаго примѣсъ ненужныхъ и несправедливыхъ оговорокъ — они, какъ произведенія художественныя, оставляютъ эффектъ цѣльный, полный, опредѣленный, неослабляемый посторонними и произвольными придѣлками, чуждыми основной идеѣ,—и потому для послѣдователя эклектической философіи они должны были казаться односторонними, утрированными, несправедливыми по содержанию. По формѣ они были совершенною противоположною любимымъ стремленіямъ французскихъ романтиковъ и ихъ русскаго послѣдователя: «Ревизоръ» и «Мертвыя Души» не имѣютъ ни одного изъ тѣхъ качествъ, за которыя Н. А. Полевой признавалъ великимъ созданіемъ искусства «Notre Dame de Paris» Виктора Гюго, и которыя старался онъ придать своимъ собственнымъ произведеніямъ: тамъ хитрая завязка, которую можно придумать только при высочайшей раздраженности фантазіи, характеры придуманные, небывалые въ свѣтѣ, положенія исключительныя, неправдоподобныя, и восторженный, горячечный тонъ; тутъ — завязка обиходный случай, извѣстный каждому, характеры — обыденные, встрѣчающіеся на каждомъ шагѣ, тонъ — также обыденный. Это вяло, пошло, вульгарно, по понятіямъ людей, восхищающихся «Notre Dame de Paris». Н. А. Полевой поступалъ совершенно послѣдовательно, осуждая Гоголя и какъ мыслитель, и какъ эстетикъ. Нѣтъ сомнѣнія, что тонъ осужденія былъ бы не такъ рѣзокъ, если бы другіе не хвалили такъ Гоголя, и еслибы эти другіе не были противниками

Н. А. Полеваго, — но сущность сужденія осталась бы та же; она зависѣла отъ философскихъ и эстетическихъ сужденій критика, а не отъ личныхъ его отношеній. И нельзя ставить ему въ вину рѣзкости этого тона: когда хвалители говорятъ громко, и необходимо и справедливо, чтобы люди, несогласные съ ихъ мнѣнiемъ, высказывали свои убѣжденія столь же громко, — на чьей бы сторонѣ ни была правда, она выиграетъ отъ того, что пренiе ведется во всеуслышанiе: современники яснѣе будутъ понимать сущность вопроса, да и приверженцы праваго дѣла ревностиѣе будутъ защищать его, когда поставлены въ необходимость вести борьбу съ противниками, оспаривающими каждый шагъ смѣло и по возможности сильно. И когда

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ,

исторiя скажетъ, что если побѣдители были правы и честны, то и нѣкоторые изъ побѣжденныхъ были честны; она признаетъ даже за этими честными побѣжденными ту заслугу, что ихъ упорное сопротивление дало возможность вполнѣ высказаться силѣ и правотѣ дѣла, противъ котораго они боролись. И если исторiя будетъ считать достойнымъ памяти время, въ которое жили мы и наши отцы, она скажетъ, что Н. А. Полевой былъ честенъ въ дѣлѣ о Гоголѣ. Взглянемъ же ближе на его мнѣнiя объ этомъ писателѣ.

Нѣкоторые люди, съ глазами болѣе свѣжими и пронизательными, увидѣли въ «Вечерахъ на хуторѣ», «Миргородѣ» и повѣстяхъ, помѣщенныхъ въ «Арабескахъ», начало новаго періода для русской литературы, въ авторѣ «Тараса Бульбы» и «Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» — преемника Пушкину. Авторъ статьи «О русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя», напечатанной въ 1835 г., когда еще не былъ извѣстенъ «Ревизоръ», заключаетъ свой обзоръ слѣдующими словами, которыя могли бы служить однимъ изъ блестящихъ доказательствъ его критической пронизательности, еслибъ доказательства ея нужны были людямъ, хотя сколько нибудь слѣдившимъ за русскою литературою:

„Изъ современныхъ писателей никого не можно назвать поэтомъ, съ болшей увѣренностью и нисало незадумываясь, какъ г. Гоголя.. Отличный характеръ повѣстей г. Гоголя составляютъ: простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевленiе, всегда *побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынiя*. Причина всѣхъ этихъ ка-

честь заключается въ одномъ источникѣ: г. Гоголь поэтъ, поэтъ жизни, дѣй-
тельной. Г. Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно наше
дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, ко-
торыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ та-
лантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ на-
стоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ.

Другіе тогдашніе критики не воображали этого. «Вечера на ху-
торѣ» понравились всѣмъ веселостью разсказа; въ авторѣ замѣ-
тили даже нѣкоторую способность довольно живо изображать лица
и сцены изъ простонароднаго малороссійскаго быта; болѣе въ нихъ
ничего не замѣтили, и были правы. Но неправы были старые кри-
тики въ томъ, что на Гоголя они до конца его дѣятельности смо-
трѣли, какъ на автора «Вечеровъ на хуторѣ», мѣряя всѣ слѣдую-
щія его произведенія аршиномъ, который годенъ былъ только для
этихъ первыхъ опытовъ, не понимая въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ
Душахъ» ничего такого, чего еще не было въ «Вечерахъ на ху-
торѣ» и видя признаки паденія таланта во всемъ, что въ послѣ-
дующихъ сочиненіяхъ Гоголя не было похоже на «Вечера».

Такъ было и съ Н. А. Полевымъ. Только первыя и слабѣйшія
произведенія Гоголя остались для него понятны и хороши, потому
что въ нихъ еще не преобладало новое начало, превышавшее уро-
вень его понятій. Онъ всегда продолжалъ находить прекрасными
«Вечера на хуторѣ», «Носъ», «Коляску»,—справедливо видя въ
нихъ признаки большого дарованія, хотя, также справедливо, и не
видя въ нихъ произведеній гениальныхъ, колоссальныхъ. Но вотъ
явился «Ревизоръ»; люди, понявшіе это великое твореніе, провоз-
гласили Гоголя гениальнымъ писателемъ; Н. А. Полевой, какъ и
слѣдовало ожидать, не понялъ и осудилъ «Ревизора» за то, что
онъ не похожъ на «исторію о носѣ». Это очень любопытно, и было
бы странно, еслибъ мы не видѣли, что философско-эстетическія
убѣжденія критика были слишкомъ нерѣшительны и фантастичны
для вмѣщенія идеи, выраженной «Ревизоромъ», и пониманія худо-
жественныхъ достоинствъ этого великаго произведенія. Вотъ какія
мысли возбудилъ «Ревизоръ» въ Н. А. Полевомъ:

„Сочинитель „Ревизора“ представилъ намъ собою печальный примѣръ, ка-
кое зло могутъ причинить человѣку съ дарованіемъ духъ партій и хвалебныя
вопли друзей, корыстныхъ прислужниковъ, и той бессмысленной толпы, кото-

рая является окрестъ людей съ дарованіемъ. Благодарить Бога надобно скорѣе за неприязнь, нежели за дружбу того народа, о которомъ говорилъ Пушкинъ.

Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!

„Никто не сомнѣвается въ дарованіи г. Гоголя, и въ томъ, что у него есть свой безспорный участокъ въ области поэтическихъ созданій. Его участокъ—добродушная шутка, малороссійскій „жанръ“; похожій нѣсколько на дарованіе г. Основьяненки, но отдѣльный и самобытный, хотя также заключающійся въ свойствахъ малороссіяня. Въ шуткѣ своего рода, въ добродушномъ разсказѣ о Малороссии, въ хитрой простотѣ взгляда на міръ и людей, г. Гоголь превосходитъ, неподражаемъ. Какая прелесть его описаніе ссоры Ивана Ивановича, его „Старосвѣтскіе помѣщики“, его изображеніе запорожскаго казацкаго быта въ Тарасѣ Бульбѣ (исключая тѣ мѣста, гдѣ запорожцы являются героями и смѣшать каррикатурой на Донъ-Кихота), его исторія о носѣ, о продажѣ коляски.

„Такъ и „Ревизоръ“ его—фарсъ, который нравится именно тѣмъ, что въ немъ нѣтъ ни драмы, ни пѣли, ни завязки, ни развязки, ни опредѣленныхъ характеровъ. Языкъ въ немъ неправильный, лица—уродливые гротески, характеры—китайскія тѣни, происшествіе—несбыточное и нелѣпое, но все вмѣстѣ уморительно смѣшно, какъ русская сказка о тяжбѣ ерша съ лещомъ, какъ повѣсть о Дурнѣ, какъ малороссійская пѣсня:

Танцовала рыба съ ракомъ,
А петрушка съ пастернакомъ,
А цыбуля съ чеснокомъ...

„Не подумайте, чтобы такіа созданія было легко писать, чтобы всякой могъ писать ихъ. Для нихъ надобно дарованіе особенное, надобно родиться для нихъ, и притомъ еще часто то, что вамъ кажется произведеніемъ досуга, дѣломъ минуты, слѣдствіемъ веселаго расположенія духа, бываетъ трудомъ тяжелымъ, долговременнымъ, слѣдствіемъ грустнаго расположенія души, борьбою рѣзкихъ противоположностей.

„Съ „Ревизоромъ“ обошлись у насъ весьма несправедливо. Справедливо поступила только публика вообще, которая увлекается впечатлѣніемъ общаго, безотчетнымъ, и почти никогда въ немъ не ошибается; но несправедливы были всѣ наши судьи и запасные критики. Одни вздумали разбирать „Ревизора“ по правиламъ драмы, чопорно оскорбились его шутками и языкомъ и сравняли его съ грязью. Другіе, напротивъ, мнимые друзья автора, увидѣли въ „Ревизорѣ“ что-то Шекспировское, превознесли его, прославили, и вышла та же исторія, какая была съ Озеровымъ. Досадно вспомнить, какія были притомъ побужденія къ неумѣреннымъ похваламъ. Но если они и были искренны, за то ошибочны; и посмотрите, какое зло онѣ причинили: видя осужденіе однихъ и похвалы другихъ, авторъ почелъ себя неузнаннымъ гениемъ, *не понявъ направленія своего дарованія*, и вмѣсто того, чтобы не браться за

то, что ему не дано, усилить дѣятельность въ томъ направленіи, которое приобрѣло ему общее уваженіе и славу, вспомнить слова Сумарокова:

Слагай, къ чему тебя влечетъ твоя природа,—
Лишь просвѣщеніе, писатель, дай уму,

началъ писать исторію, разсужденія о теоріи изящнаго, о художествахъ, принялся за фантастическіе, патетическіе предметы, точно такъ какъ Лафонтенъ нѣкогда доказывалъ, что онъ беретъ образцы у древнихъ классиковъ. Разумѣется, авторъ проигралъ свою тяжбу. Все, что здѣсь сказано, не выдумка наша и сказано не наобумъ: прочтите приложенное при новомъ изданіи «Ревизора» письмо автора, которое можно сохранить, какъ любопытную историческую черту, и какъ матеріалъ для исторіи человѣческаго сердца. Развѣ Шекспиръ только могъ бы такъ писать о себѣ и о своихъ твореніяхъ, и такъ говорить о характерѣ своего Гамлета, какъ г. Гоголь говоритъ о характерѣ Хлестакова. И съ тѣмъ вмѣстѣ письмо это дышитъ такою добродушною, поэтической грустью.

„Но, скажутъ намъ, слѣдственно, чѣмъ же тутъ виноваты хвалители автора?—Тѣмъ, что не увлекли они самолюбія авторскаго въ ошибку, осужденія могли благотѣльно подѣйствовать на автора и обратить его на прямой путь. Осужденія не погубятъ никогда, а восхваленія часто и почти всегда губятъ насъ. Таковъ человѣкъ.

„И какъ не имѣть столько уваженія къ самимъ себѣ, что изъ мелкаго расчета корысти не стыдятся показать себя надувателями мыльныхъ пузырей! Если же хваленія происходятъ отъ безотчетнаго увлеченія, какъ до такой степени не отдавать себѣ отчетовъ о своихъ понятіяхъ, не научиться изъ опытовъ прошедшаго не повторять въ каждомъ поколѣніи одну и ту же докучную сказку!“ *).

Возможно ли обвинять человѣка за то, что онъ не можетъ видѣть въ «Ревизорѣ» «ни драмы, ни цѣли, ни завязки, ни развязки, ни *опредѣленныхъ характеровъ*»? Это все равно что обвинять читателя «Русской сказки о тяжбѣ ерша съ лещемъ» за то, что онъ не понимаетъ «Гамлета» и не восхищается «Каменнымъ гостемъ» Пушкина. Онъ не понимаетъ этихъ произведеній, и только; чтожь прикажете съ нимъ дѣлать! Такова степень его эстетическаго развитія. Можно и должно сказать, что онъ ошибается, если онъ сказалъ, что «Гамлетъ» пустъ, а «Каменный гость» скученъ; можно прибавить, что онъ не судья этимъ произведеніямъ; но видѣть въ его сужденіяхъ преднамѣренное эстетическое преступленіе, желаніе ввести другихъ въ заблужденіе — невозможно: они слыш-

*) „Русскій Вѣстникъ“, 1842 г., № 1.

комъ наивны, слишкомъ компрометируютъ умъ произносящаго ихъ— ихъ можетъ произносить только тотъ, кто въ самомъ дѣлѣ не видитъ достоинствъ осуждаемыхъ имъ произведеній. Еслибъ онъ понималъ хотя сколько нибудь, еслибъ хотѣлъ преднамѣренно вводить другихъ въ заблужденіе, повѣрьте, онъ не сказалъ бы такъ, повѣрьте, онъ придумалъ бы хитрость нѣсколько лучшую. Рецензія, нами выписанная, рѣзка до грубости, — но нельзя не видѣть, что собственно противъ Гоголя авторъ ея не имѣетъ враждебнаго расположенія. Напротивъ, сквозь тонъ, рѣзкій до оскорбительности, слышно доброжелательное стремленіе возратить талантливое заблудшее овца на путь истинный. Наставникъ ошибается, — тотъ, кого онъ считаетъ блуднымъ сыномъ, идетъ по прямому пути и не долженъ покидать его, — но вѣдь нельзя же осуждать человѣка, если онъ возвышаетъ голосъ, чтобъ онъ достигъ до слуха погибающаго юноши, оглушеннаго, по мнѣнію совѣтника, коварными льстецами. Что эти люди не льстецы, мы знаемъ; что они не имѣли — къ сожалѣнію — особеннаго вліянія на Гоголя, мы также знаемъ: иначе онъ не писалъ бы такихъ «писемъ къ друзьямъ», и не сжегъ бы втораго тома «Мертвыхъ Душъ». Но вѣдь не называютъ же преступникомъ врача, который отсталъ отъ современнаго движенія науки, прописываетъ замысловатые рецепты, заставляющіе пожимать плечами отъ удивленія, — о немъ просто говорятъ, что онъ пересталъ быть хорошимъ врачомъ и перестаютъ обращать вниманіе на его совѣты. — Но вотъ вышли «Мертвыя Души» — и возбудили восторгъ, какому не было примѣровъ на Руси, были восхвалены до небесъ, какъ колоссальнѣйшее созданіе русской литературы; — съ точки зрѣнія, къ которой приросъ Н. А. Полевой, это столь превозносимое произведеніе должно было показаться еще хуже «Ревизора», и надобно было еще возвышать голосъ, чтобы онъ слышенъ былъ среди оглушительныхъ хвалебныхъ криковъ. И Полевой выразилъ свое сужденіе о новомъ произведеніи погибающаго талантливаго писателя обстоятельнѣе, — не голословно, какъ другіе, но съ доказательствами подробными, хорошо изложенными, касающимися не внѣшнихъ мелочей, но важныхъ сторонъ дѣла:

„Мы сказали мнѣніе наше о литературныхъ достоинствахъ г. Гоголя, оцѣняя въ немъ, что составляетъ его безспорное достоинство. Повторимъ слова наши (*выписана первая половина рецензіи, приведенной выше*). Осмѣливаемся думать, что такого мнѣнія не назовутъ мнѣніемъ, которое внушило бы пре-

дуббленіе, пристрастіе, личность противъ автора. Тѣмъ откровеннѣе скажемъ мы, что „Похожденія Чичикова или Мертвья души“, подтверждаю наше мнѣніе, показываютъ справедливость и того, что мы прибавили къ мнѣнію нашему о дарованіи г. Гоголя (*выписана другая половина рецензіи*). Похожденія Чичикова также любопытная замѣтка для исторіи литературы и человѣческаго сердца. Здѣсь видимъ, до какой степени можетъ увлечься съ прямой дороги дарованіе, и какія уродливости создаетъ оно, иля путемъ превратнымъ. Съ чего началъ „Ревизоръ“, то кончилъ „Чичиковъ“...

„Изъ всего, что пишетъ и что о самомъ себѣ говоритъ Гоголь, можно заключить, что онъ превратно смотритъ на свое дарованіе. Покупая созданія свои тяжкимъ трудомъ, онъ не думаетъ шутить, видитъ въ нихъ какія-то философическо-гуморическія творенія, почитаетъ себя философомъ и дидактикомъ, составляетъ себѣ какую-то ложную теорію искусства, и очень повятно, что почитая себя гениемъ универсальнымъ, онъ считаетъ самый способъ выраженія, или языкъ свой, оригинальнымъ и самобытнымъ. Можетъ быть, такое мнѣніе о самомъ себѣ необходимо по природѣ его, но мы не перестанемъ однакожъ думать, что, при совѣтахъ благоразумныхъ друзей, г. Гоголь могъ бы убѣдиться въ противномъ. Вопросъ: производилъ ли бы онъ тогда, или нѣтъ, свои прекрасныя созданія, можетъ быть рѣшенъ положительно и отрицательно *).

«Легко могло бы быть, что г. Гоголь отвергъ бы тогда все, что вредило ему и также легко могло бы случиться, что разочарованный въ высокомъ мнѣніи о самомъ себѣ, онъ съ горестью бросилъ бы перо свое, какъ орудіе недостойной его величія шутки. Человѣкъ—загадка мудрая и сложная; но мы скорѣе склоняемся на первое изъ сихъ мнѣній,—сказать ли?—даже лучше желали бы, чтобъ г. Гоголь вовсе пересталъ писать, нежели, чтобы постепенно болѣе и болѣе онъ падалъ и заблуждался. По нашему мнѣнію, онъ уже и теперь далеко устранился отъ истиннаго пути, если сообразить всѣ сочиненія его, начиная съ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Дякавкы“ до „Похожденій Чичикова“. Все, что составляетъ прелесть его увѣреній, постепенно исчезаетъ у него. Все, что губить ихъ, постепенно усиливается».

«Гоголя захвалили,—говоритъ Полевой:—онъ возмечталъ, что призванъ писать высоко-философскія созданія, вообразилъ, что даже прекрасенъ языкъ, которымъ онъ пишетъ, когда вдается въ высокопарныя мечтанія, и посмотрите, къ чему это привело его—къ произведеніямъ, подобнымъ отрывку «Римъ», недавно напечатанному. «Римъ»—это «наборъ ложныхъ выводовъ, дѣтскихъ наблюденій, смѣшныхъ и ничтожныхъ замѣтокъ, не проникнутыхъ ни одною свѣтлою или глубокою мыслью, изложенныхъ языкомъ изломаннымъ, дикимъ, нелѣпнымъ»—тутъ есть и «смола волосъ», и «сіяющій свѣгъ лица», и «призракъ пустоты, который видится во

* Изъ сравненія съ предъидущими выписками очевидно, что подъ „прекрасными“ должно здѣсь принимать преимущественно: „Вечера на хуторѣ“ и *славѣшшія*, по нынѣшнему мнѣнію публики, изъ слѣдующихъ повѣстей.

всемъ», и «женщины, которыя подобно зданіямъ—или дворцы, или лачужки»,—однимъ словомъ. «Римъ»—это «галиматья». Въ этомъ отзывѣ о «Римѣ» есть своя доля правды, и доля значительная. Мы должны будемъ еще обратиться къ «Риму», говоря о постепенномъ развитіи идей Гоголя, и тогда замѣтимъ, что опустил изъ виду Полевой, называя безусловно галиматьею «Римъ» — этотъ отрывокъ, дѣйствительно представляющій много дикаго, не лишенъ поэзіи. Не будемъ останавливаться и на замѣчаніяхъ относительно языка,—съ ними прійдется еще намъ имѣть дѣло. «Признаемся» — продолжаетъ Полевой — «что прочитавши *«письмо»* при «Ревизорѣ» и «Римѣ», мы уже немногаго ожидали отъ «Мертвыхъ Душъ», предвозвѣщенныхъ, какъ нѣчто великое и чудное. Подлинно чудное: «Мертвыя Души» превзошли всѣ наши ожиданія».

„Мы совсѣмъ не думаемъ осуждать г. Гоголя за то, что онъ назвалъ „Мертвыя Души“ поэмою. Разумѣется, что такое названіе—шутка. „Для чего запрещать шутку? Наше осужденіе „Мертвыхъ Душъ“ коснется болѣе важнаго.

„Начнемъ съ содержанія—какая бѣдность! Не помнимъ, читали или слышали мы, что кто то назвалъ „Мертвыя Души“ *старой поудкой на новый ладъ*. Дѣйствительно: „Мертвыя Души“ сколокъ съ „Ревизора“—опять какой-то мошенникъ пріѣзжаетъ въ городъ, населенный плутами и дураками, мошенничаетъ съ ними, обманываетъ ихъ, боясь преслѣдованія уѣзжаетъ тиховько, и— „конецъ поэмъ“!—Надобно ли говорить, что шутка, въ другой разъ повторенная, становится скучна, а еще болѣе, если она растянута на 475 страницъ? Но если мы къ тому прибавимъ, что „Мертвыя Души“ составляя грубую карикатуру, держатся на небывалыхъ и несбыточныхъ подробностяхъ; что лица въ нихъ всѣ до одного небывалыя преувеличенія, отвратительные мерзавцы или пошлые дураки,—всѣ до одного, повторяемъ; что подробности разсказа наполнены такими выраженіями, что иногда бросаете книгу невольно; и наконецъ, что языкъ разсказа, какъ языкъ г. Гоголя въ „Римѣ“ и „Ревизорѣ“ можно назвать собраніемъ ошибокъ противъ логики и грамматики, —спрашиваемъ, что сказать о такомъ созданіи? Не должно ли съ грустнымъ чувствомъ видѣть въ немъ упадокъ дарованія прекраснаго, и пожалѣть еще объ одной изъ утраченныхъ надеждъ нашихъ, пожалѣть тѣмъ болѣе, что паденіе автора умышленно и добровольно?—Карикатура, конечно, принадлежитъ къ области искусства, но карикатура неперешедшая за предѣлы изящнаго. Русская повесть объ Еремущкѣ и повивальной бабушкѣ, какъ русская сказка о дьячкѣ Савушкѣ, романы Диккенса ¹⁾, неистовые романы новѣйшей французской словесности исключаются изъ области изящнаго, ²⁾ если и допустимъ въ низшій

¹⁾ Романы Диккенса исключаются изъ области изящнаго.

²⁾ Здѣсь подражываются преимущественно романы Жоржъ-Санда—они *исключаются изъ области изящнаго!*

отдѣлъ искусства грубые фарсы, итальянскія буффонады, эпическія поэмы на *изнанку* (*tragedie*), поэмы въ родѣ „Елисея“ *). Можно ли не пожалѣть, что прекрасное дарованіе г. Гоголя тратится на подобныя созданія!

«Искусству нечего дѣлать, не въ чемъ разсчитываться съ „Мертвыми Душами“.

Видите ли, Полевой отказывается отъ мелочныхъ придирокъ къ заглавію «Мертвыхъ Душъ» — ужъ за это одно онъ заслуживаетъ отличія отъ другихъ рецензентовъ, остроуміе которыхъ бесконечно потѣшалось надъ тѣмъ, что «Похожденія Чичикова» названы поэмою. Бѣдность содержанія въ «Мертвыхъ Душахъ» — опять одно изъ тѣхъ сужденій, искренность которыхъ доказывается ихъ невообразимою наивностью замѣчаній, которыя возбуждаютъ жалость къ сдѣлавшему ихъ и совершенно обезоруживаютъ несогласнаго съ нимъ читателя. Но замѣтите, однако же, что Полевой начинаетъ съ существенныхъ сторонъ вопроса и достигаетъ даже нѣкоторой мѣткости упрековъ, замѣчая, что «Мертвыя Души» схолокъ съ «Ревизора» — это не придетъ въ голову никому изъ понимающихъ разницу между существеннымъ содержаніемъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»: паеосъ одного произведенія составляетъ вѣточничество, различные безпорядки и т. д., однимъ словомъ, преимущественно официальная сторона жизни, паеосъ другаго — частная жизнь, психологическое изображеніе различныхъ типовъ пустоты или одичалости. Но Полевой, не замѣчая существеннаго различія, смотрѣлъ на сюжеты обоихъ произведеній съ той чисто внѣшней точки зрѣнія, съ которой можно находить, что «Горе отъ ума» есть повтореніе «Гамлета», потому что и здѣсь и тамъ главное лицо — юноша съ умомъ и прекраснымъ сердцемъ, окруженный дурными людьми, остающійся чистъ среди ихъ, негодующій, говорящій много такого, что кажется нелѣпо его слушателямъ, признаваемый наконецъ человѣкомъ сумасшедшимъ, опаснымъ, и немогущій жениться на дѣвушкѣ, которую любитъ. Сближеніе сюжетовъ «Ревизора» съ «Мертвыми Душами» такъ же нелѣпо, какъ и сбли-

*) И такъ романы Диккенса и Жоржъ-Санда ниже самыхъ грубыхъ фарсовъ и буффонадъ, ниже даже поэмы „Елисей или раздраженный Вакхъ“, ниже „Энеиды“ вывороченной на изнанку Н. Осиповымъ и А. Котельничкинымъ, — это все еще принадлежитъ хотя „нижнему отдѣлу“ искусства, а произведенія Диккенса и Жоржъ-Санда совершенно „исключаются изъ области вѣщнаго“.

женіе сюжетовъ «Гамлета» и «Горе отъ ума»; но Полевой умѣлъ выставить натянутыя черты мнимаго сходства довольно искуснымъ образомъ. Не придумано ли это сближеніе нарочно? нѣтъ, искренность его опять доказывается его наивностью, — только отъ искренней души можетъ умный человѣкъ, каковъ безъ сомнѣнія былъ Н. А. Полевой, говорить такія странныя вещи. Далѣе начинаются жалобы на утрировку характеровъ и положеній, на неправдоподобность ихъ и проч. Отложимъ разборъ этихъ обвиненій до того времени, когда будемъ разсматривать «Мертвыя Души», а теперь ограничимся замѣчаніемъ, что отношенія романтической эстетики къ новѣйшимъ произведеніямъ искусства, сбросившимъ растрепанную изысканность французскихъ романтиковъ, къ людямъ, выучившимся писать романы съ лицами и положеніями, непохожими на «исполинскіе образы Виктора Гюго въ его «Notre Dame de Paris», достаточно опредѣляются тѣмъ, что Н. А. Полевой исключаетъ романы Диккенса и Жоржа Санда изъ области искусства, ставятъ ихъ ниже самыхъ пошлыхъ фарсовъ, на одну степень съ «Сказкою о дурнѣ» — неужели противъ Диккенса и Жоржа Санда Н. А. Полевой имѣлъ какія нибудь личности? Неужели и ихъ осуждалъ онъ не по убѣжденію, а изъ какихъ нибудь постороннихъ видовъ? Кстати, о Лермонтовѣ онъ судитъ совершенно такъ же, какъ о Гоголѣ. Вотъ подлинныя его слова:

„Вы говорите, что ошибка прежняго искусства состояла именно въ томъ, что оно румянило природу и становило жизнь на ходули. Пусть такъ; но избирая изъ природы и жизни только темную сторону, выбирая изъ нихъ грязь, навозъ, развратъ и порокъ, не впадаете ли вы въ другую крайность, и изображаете ли вѣрно природу и жизнь? Природа и жизнь, такъ какъ онѣ есть, представляютъ намъ рядомъ жизнь и смерть, добро и зло, свѣтъ и тѣнь, небо и землю. Избирая въ картину свою только смерть, зло, тѣнь, землю, вѣрно ли списываете вы природу и жизнь? Вамъ скучны прежніе герои искусства, — но поважите же намъ человѣка и людей, да, человѣка, а не мерзавца, не чудовище, людей, а не толпу мошенниковъ и негодяевъ. Иначе лучше примемся за прежнихъ героевъ, которые иногда скучны, но не возмущаютъ, по крайней мѣрѣ, нашей души, не оскорбляютъ нашего чувства. Изобразить человѣка съ его добромъ и зломъ, мыслью неба и жизнью земли, примирить для насъ видимый раздоръ дѣйствительности изящною идеею искусства, постигшаго тайну жизни, — вотъ цѣль художника: но къ ней ли устроены *Герои нашего времени* и *Мертвыя Души*? Напрасно будете вы ссылаться на Шекспира, на Виктора Гюго, на Гёте. Кромѣ того, что худое у Шекспира худо, Шекспиръ не тѣмъ великъ, что Офелія поетъ у него неблагопрістойную пѣсню, Фаль-

стафъ ругается и нянька Юлія говоритъ двусмысленности, — но похожи ли ваши грязныя каррикатуры на созданія высокаго гумора Шекспирова, на исполнинскіе образы Виктора Гюго (мы говоримъ объ его Notre Dame de Paris), на многостороннія созданія Гёте?“

Зачѣмъ мы приводимъ буквально столько отрывковъ изъ грубыхъ рецензій Н. А. Полеваго? Затѣмъ, что онѣ имѣютъ одно несомнѣнное достоинство: связность, логичность, послѣдовательность въ образѣ сужденій. Надобно же намъ видѣть, съ какими понятіями объ искусствѣ необходимо связаны упреки Гоголю въ односторонности направленія, — упреки, которые до сихъ поръ повторяются людьми, непонимающими ихъ значенія, непонимающими, что кто называетъ Гоголя одностороннимъ и сальнымъ, долженъ въ такой же степени одностороннимъ и сальнымъ, называть и Лермонтова, находить, что «Герой нашего времени» произведеніе грязное и гадкое, что романы Диккенса и Жоржъ-Санда не только отвратительны, но и слабы въ художественномъ отношеніи, слабѣе послѣдняго нелѣпѣйшаго водевиля, уродливѣе послѣдняго фарса, — при этомъ необходимо ставить Виктора Гюго между Шекспиромъ и Гёте, немного ниже перваго, гораздо выше послѣдняго. Кто такъ думаетъ о Викторѣ Гюго, Лермонтовѣ, Диккенсѣ и Жоржъ-Сандѣ, тотъ долженъ упрекать Гоголя въ односторонности и сальности, — но заслуживаетъ ли опроверженій, заслуживаетъ ли вниманія мнѣніе такого цѣнителя? Важно иногда бываетъ знать происхожденіе мнѣнія и первобытный, подлинный видъ, въ которомъ оно выразилось, — часто этого бываетъ довольно, чтобы вполне оцѣнить годность этого мнѣнія для нашего времени, — часто оказывается, что оно принадлежитъ неразрывно къ системѣ понятій, невозможныхъ въ наше время. Самую жалкую фигуру представляютъ не тѣ люди, которые имѣютъ ошибочный образъ мыслей, а тѣ, которые не имѣютъ никакого опредѣленнаго, послѣдовательнаго образа мыслей, которыхъ мнѣнія — сборъ безсвязныхъ обрывковъ, неклеящихся между собою. Прочитавъ рецензіи Полеваго, мы убѣждаемся, что всѣ упреки, дѣлаемые до сихъ поръ иными людьми Гоголю, заимствованы изъ этихъ рецензій; разница только въ томъ, что у Н. А. Полеваго упреки имѣли смыслъ, будучи логическимъ выводомъ изъ системы убѣжденій, хотя неудовлетворительной для нашего времени, но все-таки бывшей прекрасною и полезною въ свое время; между тѣмъ какъ въ устахъ людей, повторяющихъ

нынѣ эти нападенія, они лишены всякаго основанія, всякаго смысла. Представивъ множество примѣровъ «тривіальнаго» и «неправдоподобнаго» въ «Мертвыхъ Душахъ», множество примѣровъ того, что Гоголь пишетъ неправильнымъ и низкимъ языкомъ (тутъ выставлено на видъ и то, что Чичиковъ не можетъ съ перваго раза дѣлать помѣщикамъ предложенія о продажѣ мертвыхъ душъ, и то, что Ноздревъ не можетъ на балѣ сѣсть на полъ и ловить танцующихъ за ноги, и Петрушка съ запахомъ жилой комнаты, и капля, падающая въ супъ Оемистоклюса и т. д., и «глупѣйшій рассказъ» о капитанѣ Копейкинѣ, и слова «тюрюкъ», «взбутетенить» и пр.,—однимъ словомъ, все, что только служило пищею для послѣдующихъ остроумныхъ шутокъ и благородныхъ негодованій на Гоголя), Н. А. Полевой оканчиваетъ свою рецензію такъ:

Не будемъ болѣе говорить о слогѣ, объ образѣ выраженія, но скажемъ въ заключеніе: каково понятіе автора объ искусствѣ и цѣли его, если онъ думаетъ, что художникъ можетъ быть уголовнымъ судьей современнаго общества? Да если и положимъ, что такова дѣйствительно обязанность писателя, такъ развѣ выдумками на современное общество, развѣ небывалыми карриатурами укажетъ онъ на зло и предупредить его? Беремъ на себя кажущееся смѣшнымъ автору названіе патриотовъ, даже «такъ называемыхъ патриотовъ», пусть назовутъ насъ Кифами Мокіевичами,—но мы спрашиваемъ его: почему въ самомъ дѣлѣ, современность представляется въ такомъ непріязненномъ видѣ, въ какомъ изображаетъ онъ ее въ своихъ «Мертвыхъ Душахъ», въ своемъ «Ревизорѣ»,—и для чего не спросить: почему думаетъ онъ, что каждый русскій человѣкъ носитъ въ глубинѣ души своей зародыши Чичиковыхъ и Хлестаковыхъ? Предвидимъ негодованіе и оскорбленіе защитниковъ автора: они представятъ насъ поддѣльными патриотами, лицемерами, быть можетъ чѣмъ нибудь еще хуже—вѣдь за такими бездѣлками у многихъ дѣло не станетъ!. Ихъ воля, но мы скажемъ прямо и утвердительно, что приписывая предубѣжденіе автора добродушному намѣренію, нельзя не замѣтить какого-то превратнаго взгляда его на многое. Вы скажете, что Чичиковъ и городъ, гдѣ онъ является, не изображенія цѣлой страны, но посмотрите на множество мѣстъ въ «Мертвыхъ Душахъ»: Чичиковъ, выхавши отъ Ноздрева, ругаетъ его *нехорошими словами*—«что дѣлать», прибавляетъ авторъ, «русскій человѣкъ, да еще и въ сердцахъ!»—Пьяный кучеръ Чичикова съѣхался съ встрѣчнымъ экипажемъ и начинаетъ ругаться—«русскій человѣкъ», прибавляетъ авторъ, «не любитъ сознаваться передъ другимъ, что онъ виноватъ!..» Изображается городъ; фризловая шинель (необходимая принадлежность города, по мнѣнію автора) плетется по улицѣ, «зная только одну (увы!) слишкомъ протертую русскимъ забубеннымъ народомъ дорогу!»—Какіе то купцы позвали на пирушку другихъ купцовъ—«пирушку на русскую ногу», и «пирушка (прибавляетъ авторъ), какъ водится, кончилась дракой...» Спрашиваемъ, такъ ли изображаютъ, такъ ли говорятъ о

томъ, что мило и дорого сердцу? Квасной патріотизмъ!.. Милостивые государи, мы сами не терпимъ его, но позвольте сказать, что квасной патріотизмъ все же лучше космополитизма... какого бы?.. да мы понимаемъ другъ друга!

Не знаемъ, придется ли намъ заняться подробнымъ разсмотрѣніемъ этого упрека, едва ли не самаго существеннаго изъ всего, что было говорено противъ Гоголя. А пока напомнимъ читателю, что самъ Гоголь превосходно разъяснилъ сущность вопроса анекдотомъ о Киѣ Мокіевичѣ и слѣдующимъ мѣстомъ въ «Разъѣздѣ изъ Театра» послѣ представленія «Ревизора».

Господинъ П. Помилуй, братецъ, ну что это такое? какже это въ самомъ дѣлѣ?

Господинъ В. Что?

Господинъ П. Ну да какже выводить это?

Господинъ В. Почему же нѣтъ?

Господинъ П. Ну да самъ посуди ты: ну какже, право? Все пороки, да пороки; ну какой примѣръ подается черезъ это зрителямъ?

Господинъ В. Да развѣ пороки хвалятся? Вѣдь они же выведены на смѣяніе.

Господинъ В. Но позвольте однако же замѣтить, что все это, нѣкоторымъ образомъ, есть уже оскорбленіе, которое болѣе или менѣе распространяется на всѣхъ.

Господинъ П. Именно. Вотъ это я самъ хотѣлъ ему замѣтить. Это именно оскорбленіе, которое распространяется.

Господинъ В. Чѣмъ выставлять дурное, зачѣмъ же не выставлять хорошее, достойное подражанія?

Господинъ В. Зачѣмъ? Странный вопросъ: «зачѣмъ». Зачѣмъ одинъ отецъ, желая исторгнуть своего сына изъ безпорядочной жизни, не тратилъ словъ и наставленій, а привелъ его въ лазаретъ, гдѣ предстали предъ нимъ во всемъ ужасѣ страшные слѣды безпорядочной жизни? Зачѣмъ онъ это сдѣлалъ?

Господинъ В. Но позвольте намъ замѣтить: это уже нѣкоторымъ образомъ наши общественныя раны, которыя надобно скрывать, а не показывать.

Господинъ П. Это правда. Я съ этимъ совершенно согласенъ. У насъ дурное надо скрывать, а не показывать. (*Господинъ В уходитъ; подходит князь N*). Послушай, князь!

Князь N. А что?

Господинъ П. Ну, однакожь скажи: какъ это представлять? На что это похоже?

Князь N. Почему-жь не представлять?

Господинъ П. Ну да посуди самъ, ну да какже это: вдругъ на сценѣ плутъ,—вѣдь это все наши раны.

Князь N. Какія раны?

нынѣ эти нападенія, они лишены всякаго основанія, всякаго смысла. Представивъ множество примѣровъ «тривіальнаго» и «неправдоподобнаго» въ «Мертвыхъ Душахъ», множество примѣровъ того, что Гоголь пишетъ неправильнымъ и низкимъ языкомъ (тутъ выставлено на видъ и то, что Чичиковъ не можетъ съ перваго раза дѣлать помѣщикамъ предложенія о продажѣ мертвыхъ душъ, и то, что Ноздревъ не можетъ на балѣ сѣсть на полъ и ловить танцующихъ за ноги, и Петрушка съ запахомъ жилой комнаты, и капля, падающая въ супъ Оемистоклюса и т. д., и «глупѣйшій рассказъ» о капитанѣ Копейкинѣ, и слова «тюрюкъ», «взбутететенить» и пр.,—однимъ словомъ, все, что только служило пищею для послѣдующихъ остроумныхъ шутокъ и благородныхъ негодованій на Гоголя), Н. А. Полевой оканчиваетъ свою рецензію такъ:

Не будемъ болѣе говорить о слоgѣ, объ образѣ выраженія, но скажемъ въ заключеніе: каково понятіе автора объ искусствѣ и цѣли его, если онъ думаетъ, что художникъ можетъ быть уголовнымъ судьей современнаго общества? Да если и положимъ, что такова дѣйствительно обязанность писателя, такъ развѣ выдумками на современное общество, развѣ небывалыми карриатурами укажетъ онъ на зло и предупредить его? Беремъ на себя кажущееся смѣшнымъ автору названіе патриотовъ, даже «такъ называемыхъ патриотовъ», пусть назовутъ насъ Кифами Мокіевичами,—но мы спрашиваемъ его: почему въ самомъ дѣлѣ, современность представляется въ такомъ непріязненномъ видѣ, въ какомъ изображаетъ онъ ее въ своихъ «Мертвыхъ Душахъ», въ своемъ «Ревизорѣ»,—и для чего не спросить: почему думаетъ онъ, что каждый русскій человѣкъ носитъ въ глубинѣ души своей зародыши Чичиковыхъ и Хлестаковыхъ? Предвидимъ негодованіе и оскорбленіе защитниковъ автора: они представятъ насъ поддѣльными патриотами, лицемерами, быть можетъ чѣмъ нибудь еще хуже—вѣдь за такими бездѣлками у многихъ дѣло не станетъ!. Ихъ воля, но мы скажемъ прямо и утвердительно, что приписывая предубѣжденіе автора добродушному намѣренію, нельзя не замѣтить какого-то превратнаго взгляда его на многое. Вы скажете, что Чичиковъ и городъ, гдѣ онъ является, не изображенія цѣлой страны, но посмотрите на множество мѣстъ въ «Мертвыхъ Душахъ»: Чичиковъ, выхавши отъ Ноздрева, ругаетъ его *нехорошими словами*—«что дѣлать», прибавляетъ авторъ, «русскій человѣкъ, да еще и въ сердцахъ!»—Пьяный кучеръ Чичикова съѣхался съ встрѣчнымъ экипажемъ и начинаетъ ругаться—«русскій человѣкъ», прибавляетъ авторъ, «не любитъ сознаваться передъ другимъ, что онъ виноватъ!..» Изображается городъ; фризловая шинель (необходимая принадлежность города, по мнѣнію автора) плетется по улицѣ, «зная только одну (увы!) слишкомъ протертую русскимъ забубеннымъ народомъ дорогу!»—Какіе то купцы позвали на пирушку другихъ купцовъ—«*пирушку на русскую ногу*», и «пирушка (прибавляетъ авторъ), какъ водится, кончилась дракой...» Спрашиваемъ, такъ ли изображаютъ, такъ ли говорятъ о

томъ, что мило и дорого сердцу? Квасной патриотизмъ!.. Милостивые государи, мы сами не терпимъ его, но позвольте сказать, что квасной патриотизмъ все же лучше космополитизма... какого бы?.. да мы понимаемъ другъ друга!

Не знаемъ, придется ли намъ заняться подробнымъ разсмотрѣніемъ этого упрека, едва ли не самаго существеннаго изъ всего, что было говорено противъ Гоголя. А пока напомнимъ читателю, что самъ Гоголь превосходно разъяснилъ сущность вопроса анекдотомъ о Кифѣ Мокіевичѣ и слѣдующимъ мѣстомъ въ «Развѣздѣ изъ Театра» послѣ представленія «Ревизора».

Господинъ П. Помилуй, братецъ, ну что это такое? какже это въ самомъ дѣлѣ?

Господинъ В. Что?

Господинъ П. Ну да какже выводить это?

Господинъ В. Почему же нѣтъ?

Господинъ П. Ну да самъ посуди ты: ну какже, право? Все пороки, да пороки; ну какой примѣръ подается черезъ это зрителямъ?

Господинъ В. Да развѣ пороки хвалятся? Вѣдь они же выведены на осмѣяніе.

Господинъ В. Но позвольте однако же замѣтить, что все это, нѣкоторымъ образомъ, есть уже оскорбленіе, которое болѣе или менѣе распространяется на всѣхъ.

Господинъ П. Именно. Вотъ это я самъ хотѣлъ ему замѣтить. Это именно оскорбленіе, которое распространяется.

Господинъ В. Чѣмъ выставять дурное, зачѣмъ же не выставять хорошее, достойное подражанія?

Господинъ В. Зачѣмъ? Странный вопросъ: «зачѣмъ». Зачѣмъ одинъ отецъ, желая исторгнуть своего сына изъ безпорядочной жизни, не трагилъ словъ и наставленій, а привелъ его въ лазаретъ, гдѣ предстали предъ нимъ во всемъ ужасѣ страшные слѣды безпорядочной жизни? Зачѣмъ онъ это сдѣлалъ?

Господинъ В. Но позвольте намъ замѣтить: это уже нѣкоторымъ образомъ наши общественныя раны, которыя надобно скрывать, а не показывать.

Господинъ П. Это правда. Я съ этимъ совершенно согласенъ. У насъ дурное надо скрывать, а не показывать. (*Господинъ В уходитъ; подходит князь N*). Послушай, князь!

Князь N. А что?

Господинъ П. Ну, однакожь скажи: какъ это представлять? На что это похоже?

Князь N. Почему-жь не представлять?

Господинъ П. Ну да посуди самъ, ну да какже это: вдругъ на сценѣ плутъ,—вѣдь это все наши раны.

Князь N. Какія раны?

Господинъ П. Да, это наши раны, наши, такъ сказать, общественныя раны.

Князь Н. Возьми ихъ себѣ. Пусть онѣ будутъ твои, а не мои раны
Что ты мнѣ ихъ тычешь? *(Уходитъ).*

Именно, такъ! именно, это «нѣкоторымъ образомъ наши раны!» именно «дурное у насъ надо скрывать, а не показывать!», именно это «оскорбленіе, которое распространяется!» Правъ, тысячу разъ правъ Господинъ П.! Но отчего же вы сами гг. недовольные Гоголемъ, находите Господина П. смѣшнымъ и нелѣпымъ? Если онъ нелѣпъ, то и не повторяйте же его словъ. Они имѣютъ смыслъ только на его языкѣ.

Въ рецензіи «Ревизора» нельзя не замѣтить, что Н. А. Полевой еще не отчаивается въ исправленіи Гоголя, приписывая всю вину только его «льстецамъ»; еще не отказывается отъ Гоголя:— послѣ выхода «Мертвыхъ Душъ» онъ уже считаетъ его человѣкомъ, безвозвратно погибшимъ для искусства, неисцѣлимо закоснѣлымъ въ своей сумасбродной гордости—писать такія нелѣпыя вещи, изъ которыхъ первую былъ «Ревизоръ». Вотъ послѣднія строки разбора «Мертвыхъ Душъ».

«Если бы мы осмѣлились взять на себя отвѣтъ автору отъ имени Руси, мы сказали бы ему: милостивый государь! Вы слишкомъ много о себѣ думаете, ваше самолюбіе даже забавно, но мы сознаемъ, что у васъ есть дарованіе, и только та бѣда, что вы немножко «сбились съ панталыку!» Оставьте въ покоѣ вашу «вьюгу вдохновенія», поучитесь русскому языку, да рассказывайте намъ прежнія ваши сказочки объ Иванѣ Ивановичѣ, о коляскѣ и носѣ, и не пишите, ни такой галиматіи, какъ вашъ «Римъ», ни такой чепухи, какъ ваши «Мертвыя Души!» Впрочемъ, воля ваша!»

Мы кончили наши выписки изъ сужденій Н. А. Полеваго о Гоголѣ. Къ нѣкоторымъ изъ мнѣній, высказанныхъ имъ въ первый разъ, мы еще должны будемъ возвратиться, говоря о мнѣніяхъ, высказываемыхъ иными еще и теперь. Другія можно оставить безъ разбора, потому что крайняя наивность ихъ дѣлаетъ излишнимъ всякое опроверженіе. Но здѣсь намъ остается сдѣлать два замѣчанія, вызываемыя приговорами Н. А. Полеваго.

Въ томъ, что Гоголь возмечталъ о себѣ не какъ о невинномъ шутникѣ, но какъ о великомъ писателѣ съ глубоко философскимъ *направленіемъ*, Полевой обвиняетъ «льстецовъ» Гоголя. Смѣшно

было бы въ наше время думать, что произведенія, подобныя «Ревизору» и «Мертвымъ Душамъ», могутъ быть обязаны своимъ происхожденіемъ чьему бы то ни было постороннему вліянію, — созданія, столь глубоко прочувствованныя, бывають плодомъ только собственной глубокой природы самого автора, а не постороннихъ наущеній. Кромѣ того, мы уже говорили, что люди, которые лучше другихъ понимали значеніе этихъ высокихъ созданій искусства, не имѣли вліянія на Гоголя. Въ слѣдующей статьѣ мы увидимъ, какъ мало понимали «Мертвыя Души» другіе люди, которые, будучи поклонниками Гоголя, были въ то же время и его друзьями—эти мудрые варягоруссы, если и были въ чемъ нибудь виноваты, то развѣ въ «Перепискѣ съ друзьями», притомъ же, они и не были знакомы съ Гоголемъ, и не играли въ литературѣ значительной роли въ 1834 году, когда уже былъ написанъ «Ревизоръ» (*). Пушкинъ зналъ Гоголя гораздо раньше, имѣлъ нѣкоторое вліяніе на начинавшаго юношу и хвалилъ его произведенія, но невозможно, чтобы его считалъ Полевой «льстецомъ» Гоголя, — напротивъ, каждому извѣстно, что Жуковский и Пушкинъ были покровителями Гоголя, занимая въ литературѣ и въ обществѣ гораздо почетнѣйшее мѣсто, нежели онъ, безвѣстный юноша. А между тѣмъ, онъ будучи еще совершенно безвѣстнымъ и ничтожнымъ молодымъ человѣкомъ, уже печаталъ философскія и высокопарныя статейки, въ которыхъ видитъ Полевой уже слѣдствіе лести, вскружившей ему голову. Нѣкоторыя изъ этихъ статей перепечатаны въ «Арабескахъ», нѣкоторыя другія исчислены г. Геннади (**). Вообще, надобно сказать, что въ развитіи своемъ, Гоголь былъ независимѣе отъ постороннихъ вліяній, нежели какой либо другой изъ нашихъ первоклассныхъ писателей. Всѣмъ, что высказано прекраснаго въ его произведеніяхъ, онъ обязанъ исключительно своей глубокой натурѣ. Это

(*) См. Письмо Гоголя къ Максимовичу, отъ 14 августа 1834 г., въ „Опытѣ біографіи Гоголя“, г. Николая М., помѣщенномъ въ „Современникѣ“ 1854 г.

(**) См. Списокъ сочиненій Гоголя, составленный г. Геннади, въ „Отеч. Зап.“ 1853 г. Изъ этихъ статей большая часть, какъ, напримѣръ, „Скульптура, живопись и поэзія“, „объ Архитектурѣ“, „Жизнь“ принадлежатъ еще 1831 году, и написаны, конечно, прежде, нежели фамилія Гоголя упоминалась печатнымъ образомъ.

очевидно нынѣ для каждаго, нечуждаго понятія о русской литературѣ. И если гордость Гоголя вовлекала его когда нибудь въ ошибки, то, во всякомъ случаѣ, надобно сказать, что источникомъ этой гордости было его собственное высокое понятіе о себѣ, а не чужія похвалы. Нѣкоторые люди питаютъ такое гордое и высокое понятіе о себѣ, что чужія похвалы не могутъ ужь имѣть на нихъ особеннаго вліянія,—кто знавалъ подобныхъ людей, легко увидитъ изъ писемъ и авторской исповѣди Гоголя, что онъ принадлежалъ къ числу ихъ.

Другое наше замѣчаніе относится къ самому Н. А. Полевому. По двумъ послѣднимъ отрывкамъ изъ его рецензіи на «Мертвыя Души», иные, быть можетъ, заключатъ, что онъ какъ издатель «Русскаго Вѣстника», сдѣлался невѣренъ собственнымъ мнѣніемъ, которыя были съ такою энергіею выражаемы въ «Московскомъ Телеграфѣ»; это заключеніе было бы несправедливо. Мы не то хотимъ сказать, чтобы рѣшительно о каждомъ отдѣльномъ вопросѣ Н. А. Полевой былъ готовъ повторить въ 1842 году то самое, что сказалъ въ 1825. Мнѣнія человѣка мыслящаго не бываютъ никогда окаменѣlostями,—съ теченіемъ времени онъ можетъ во многихъ предметахъ замѣчать стороны, которыя опускалъ изъ виду прежде, потому что онѣ еще не были довольно раскрыты историческимъ движеніемъ. Но дѣло въ томъ, что человѣкъ съ самостоятельнымъ умомъ, достигнувъ умственной зрѣлости и выработавъ себѣ извѣстныя основныя убѣжденія, обыкновенно остается навсегда проникнуть ихъ существеннымъ содержаніемъ, и эта основа всѣхъ мнѣній остается у него уже навсегда одинаковою, какъ бы ни мѣнялись окружающіе его факты. И не надобно считать измѣною убѣжденіямъ, если сообразно измѣненію окружающихъ фактовъ, такой человѣкъ, сначала заботившійся преимущественно о томъ, чтобы выставить на видъ одну ихъ сторону, впоследствии считалъ необходимымъ сильнѣе выставлять другую. Онъ можетъ сдѣлаться человѣкомъ отсталымъ, переставая быть вѣренъ себѣ. Такъ было и съ Н. А. Полевымъ. Онъ ратовалъ противъ классиковъ,—но потомъ, когда классики были сбиты во всѣхъ пунктахъ, онъ увидѣлъ новыхъ людей, которые, не обращая вниманія на классицизмъ, уже совершенно обезсилѣвшій, борются противъ романтизма. Ихъ убѣжденія гораздо болѣе разнились отъ убѣжденій Н. А. Полеваго, нежели убѣжденія Н. А. Полеваго отъ убѣжденій

классиковъ,—оба послѣдніе отгѣнка принадлежали одной и той же сферѣ понятій, только различнымъ образомъ измѣняемыхъ—новыя литературныя понятія раздѣлялись отъ нихъ цѣлою бездною. И Н. А. Полевой, нисколько не измѣняя своимъ романтическимъ убѣжденіямъ, могъ сказать: «ужь лучше цѣтика Буало, нежели эстетика Гегеля. Лучше классицизмъ, нежели произведенія новѣйшей литературы». И дѣйствительно. Жанлись ближе къ Виктору Гюго, нежели Диккенсъ или Жоржъ Сандъ, «Бѣдная Лиза» имѣетъ съ «Аббадоною» болѣе родства, нежели «Герой нашего времени» или «Мертвыя Души». Жанлись и Викторъ Гюго, «Бѣдная Лиза» и «Аббадонна» сходны хотя въ томъ, что изображаютъ людей вовсе не такими, каковы они на самомъ дѣлѣ. А что у нихъ общаго съ романами новой литературы?

И этимъ то объясняется странный повидимому фактъ, что человѣкъ съ такимъ замѣчательнымъ умомъ, какъ Н. А. Полевой, не могъ понимать произведеній новой—не только русской, но и вообще всей европейской литературы, объясняется странная до невѣроятности смѣсь умныхъ и дѣльныхъ критическихъ приемовъ съ наивными и рѣшительно несправедливыми выводами въ статьяхъ «Русскаго Вѣстника» и другихъ журналовъ, издававшихся имъ въ послѣднюю половину жизни. Онъ дѣлалъ правильные выводы изъ принциповъ, сдѣлавшихся съ теченіемъ времени неудовлетворительными,—и ни его умъ, ни его добросовѣстность ни мало не теряютъ въ глазахъ справедливаго судьи отъ нелѣпости выводовъ. Напротивъ, сильный умъ обнаруживается въ каждой строкѣ этихъ до чрезвычайности наивныхъ статей,—а что касается ихъ добросовѣстности,—мы въ ней ни мало не сомнѣваемся, и думаемъ, что каждый безпристрастный человѣкъ дойдетъ до того же убѣжденія, если выкинетъ въ сущность дѣла, краткій обзоръ котораго мы представили.

Послѣдняя половина литературной дѣятельности Н. А. Полеваго нуждается въ оправданіи, сказали мы въ началѣ этого обзора; и по нашему мнѣнію, она можетъ быть удовлетворительно оправдана,—пора снять пятно съ памяти человѣка, который, дѣйствуя въ послѣдніе годы ошибочно, могъ быть противникомъ литературнаго развитія, и подвергаться за то въ свое время справедливымъ укорузнамъ,—но теперь миновала опасность, которую представляло тогда его вліяніе на литературу,—и потому теперь должно

признаться: онъ справедливо говорилъ о себѣ, что всегда былъ человѣкомъ честнымъ и желавшимъ добра литературѣ, и что за нимъ остаются неотъемлемо важныя заслуги въ исторіи нашей литературы и развитія, — признаться, что онъ, издавая собраніе своихъ критическихъ статей, имѣлъ право сказать въ предисловіи:

«Кладу руку на сердце, и дерзаю сказать въ слухъ, что никогда не увлеклся я ни злобою,—чувствомъ, для меня презрительнымъ, ни завистью—чувствомъ, котораго не понимаю,—никогда то, что говорилъ и писалъ я, не разногласило съ моимъ убѣжденіемъ, и никогда сочувствіе добра не оставляло сердца моего; оно всегда сильно билось для всего великаго, полезнаго и добраго. Смѣю прибавить, что такое постоянное стремленіе доставляло мнѣ минуты прекрасныя, усладительныя, награждавшія меня за горести и страданія жизни моей. Сколько разъ слышалъ я искреннюю благодарность и привѣтъ юношей, говорившихъ, что мнѣ одолжены они нравственнымъ наслажденіемъ и вѣрою въ добро! Не скажете обо мнѣ, кто приметъ на себя трудъ познакомиться съ тѣмъ, что было мною писано,—не скажете, чтобы я чѣмъ либо обезславилъ званіе, которое всегда высоко цѣню и цѣнилъ—званіе литератора. Мои слова не самохвальство, но искренній голосъ человѣка и литератора, который дорожитъ названіемъ честнаго. Между тѣмъ какъ человѣкъ, я платилъ горькую дань несовершенствамъ и слабостямъ человѣка... Пусть вержетъ за то на меня камень тотъ, кто самъ не испыталъ обмана и разочарованія въ окружающемъ его и—что еще грустнѣе—въ самомъ себѣ! Если ты еще юнъ, собрать мой,—ты не судья мнѣ: дай пробиться сѣдинѣ на головѣ твоей, дай похолодѣть сердцу твоему, дай утомиться силамъ твоимъ отъ труда и времени, и тогда говори и суди меня!..

«Я не судья самъ себѣ. Но никто не оспорить у меня чести, что первый я сдѣлалъ изъ критики постоянную часть журнала русскаго, первый обратилъ критику на всѣ важнѣйшіе современные предметы. Мои опыты были несовершенны, неполны, — скажутъ мнѣ—и послѣдователи мои далеко меня обогнали въ сущности и самомъ образѣ воззрѣнія. Пусть такъ, да и стыдно было бы новому поколѣнію не стать выше насъ, поколѣнія уже преходящаго, потому выше, что оно старше насъ, послѣ насъ явилось, продолжаетъ, что мы начинали, и мы должны быть довольны, если наши труды будутъ имѣть для него цѣну историческую... Самъ чувствую, перечитывая нынѣ, неполноту, несовершенство многого... Многое обновляетъ для меня въ настоящемъ чувство утѣшительное, но еще больше внушаетъ чувство грустное, сознаніе недостигнутой мечты, невыраженныхъ идеаловъ. Такое чувство, думаю, естественно каждому, кто жилъ сколько нибудь и мыслилъ. Только невѣжество, только глупость получили на сей землѣ (впрочемъ, не знаю, счастливую ли) участь самодовольства. Есть другая награда, болѣе драгоцѣнная, которую благославляетъ насъ Провидѣніе: мысль, что если Богъ далъ намъ что нибудь, сильно горѣвшее въ душѣ нашей, сильно тревожившее насъ въ дни нашей юности, еще безсознательнымъ, теплымъ ощущеніемъ, мы не погубили его потомъ въ суетѣ и бѣд-

ствіяхъ жизни, не зарыли таланта въ землю... Пусть мы не достигли иско-
мыхъ нами идеаловъ,—по крайней мѣрѣ порадуемся, что не безплодно утра-
ченная протекла жизнь наша...»

Сколько благородства въ этихъ словахъ, и какую правдою
вѣетъ отъ нихъ! Кто такъ говоритъ, тотъ не лжетъ, и дѣйстви-
тельно, не безплодно протекла жизнь этого человѣка, и не съ осуж-
деніемъ, а съ признательностью должны мы вспоминать его.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Обозрѣвая мнѣнія, высказанныя о Гоголѣ представителями различныхъ направленій, существовавшихъ въ русской критикѣ, мы начали съ сужденій, произнесенныхъ Н. А. Полевымъ. Главною мыслью нашей было показать зависимость этихъ сужденій о частномъ вопросѣ, насъ теперь занимающемъ, отъ общаго характера той системы понятій, замѣчательнѣйшимъ послѣдователемъ которой у насъ былъ Н. А. Полевой. И если приговоры его произведеніямъ Гоголя, дѣйствительно, были только слѣдствіемъ его общихъ убѣжденій, то уже ясно, что не стоитъ заниматься подробнымъ опроверженіемъ этихъ ошибочныхъ нападеній, — довольно было сказать: они — ни болѣе и ни менѣе, какъ логическій выводъ изъ ученій Виктора Гюго и Кузена. Нынѣ каждому очевидно, что ученія Гюго и Кузена неудовлетворительны; а кто отвергаетъ основанія, тотъ не можетъ согласиться и съ выводами.

Теперь мы должны говорить о мнѣніяхъ критиковъ, которые играли нѣкоторую роль въ литературѣ послѣдующихъ годовъ, до того времени, когда «Отечественныя Записки» приобрѣли рѣшительное господство. Критиковъ этихъ было два: писатель, называвшій себя иногда Тютюнджи-Оглу, чаще барономъ Брамбеусомъ, а подъ нѣкоторыми статьями подписывавшій и свое настоящее имя—О. И. Сенковскій *), и г. Шевыревъ. Припоминая ихъ суж-

*) О томъ, что баронъ Брамбеусъ и Тютюнджи-Оглу были псевдонимы г. Сенковского, есть много указаній. Мы приведемъ одно изъ статьи Гоголя „О движеніи журнальной литературы“ („Современникъ“ 1836 г., № 1, стр. 197): „Г. Сенковскій является въ своемъ журналѣ какъ критикъ, какъ повѣствователь, какъ ученый, какъ сатирикъ, какъ глашатай новостей и проч., и проч., является въ видѣ Брамбеуса, Морозова, Тютюнджи-Оглу, А. Бѣлкина, наконецъ въ собственномъ видѣ“.

денія о Гоголѣ, мы будемъ держаться прежняго правила—стараться показывать отношеніе мнѣній того или другаго критика объ отдѣльномъ вопросѣ къ общему характеру его критической дѣятельности: этимъ чрезвычайно облегчается и уясняется дѣло. Едва ли нужно замѣчать, что въ воспоминаніяхъ о дѣятельности барона Брамбеуса и г. Шевырева въ настоящее время нельзя руководиться ничѣмъ инымъ, кромѣ чисто историческаго интереса. Хотя оба эти писателя не покинули литературнаго поприща, но ихъ вліяніе на литературу и на публику принадлежитъ времени, уже прошедшему, и литературныя отношенія настоящаго уже не должны имѣть вліянія на сужденія объ этихъ писателяхъ, потому что не имѣютъ никакого сопрікосновенія ни съ важными статьями г. Шевырева, которыми иные поучались лѣтъ пятнадцать, ни съ легкими статьями барона Брамбеуса, которыя въ извѣстномъ классѣ публики производили фуроръ лѣтъ двадцать тому назадъ. И самые журналы бывшіе нѣкогда органами этихъ критиковъ, хотя существуютъ донынѣ, но уже совершенно измѣнили свое направленіе, и, какъ намъ кажется, къ лучшему. «Москвитянинъ» въ послѣдніе годы былъ органомъ г. А. Григорьева, который, по нашему мнѣнію, очень часто, или, чтобы говорить точнѣе, почти постоянно поддается страннѣйшему обольщеніямъ, но въ самыхъ странныхъ тирадахъ котораго виднѣнъ умъ живой, энергическій и искреннее, горячее увлеченіе тѣмъ, что представляется ему истиною. Въ нынѣшнемъ журналѣ «Библіотека для Чтенія» критическія статьи часто содержатъ мысли болѣе основательныя, нежели прежнія сужденія. Такимъ образомъ, то, что мы должны будемъ говорить о писателяхъ, нѣкогда господствовавшихъ въ критическомъ отдѣлѣ «Библіотеки для Чтенія» и «Москвитянина», нисколько не относится и не можетъ быть примѣняемо къ характеру этихъ журналовъ въ настоящее время.

Послѣ этихъ оговорокъ, нужныхъ только для немногихъ изъ читателей, потому что почти всѣ и безъ объясненій пишущаго чувствуютъ, какъ далеки литературныя интересы настоящаго времени отъ всякаго соотношенія съ старинными статьями прежняго «Москвитянина» и прежней «Библіотеки для Чтенія»,—мы уже можемъ, не стѣсняясь никакими посторонними соображеніями, перейти къ характеристикѣ той роли, какую играли нѣкогда баронъ Брамбеусъ и г. Шевыревъ. Начинаемъ съ воспоминаній о баронѣ Брамбеусѣ, потому что блестящая эпоха его критики относится къ бо-

лѣе раннимъ годамъ, нежели окончательное развитіе возрѣній г. Шевырева.

Грустнымъ, но поучительнымъ примѣромъ можетъ служить для русскихъ писателей исторія литературной дѣятельности барона Брамбеуса: имѣть столько дарованій—и растратить ихъ совершенно понапрасну, безъ всякой пользы для литературы, между тѣмъ, какъ даже наименѣе даровитые писатели часто приносили у насъ нѣкоторую пользу, заслужили себѣ право на нѣкоторую признательность,—это грустно; имѣть столько силы—и не оказать рѣшительно никакого вліянія, между тѣмъ, какъ писатели съ самымъ незначительнымъ запасомъ силъ имѣли у насъ свою долю вліянія, утвердили за собою мѣсто въ исторіи литературы, — это грустно, это покажется почти невѣроятно людямъ, которые не будутъ уже, подобно нашему поколѣнію, очевидцами явленія, столь ненатурального.

Баронъ Брамбеусъ имѣлъ почти всѣ качества, нужныя для того, чтобъ играть важную и плодотворную роль въ литературѣ, особенно въ журналистикѣ.

Одна изъ главныхъ задачъ журналиста есть распространеніе положительныхъ знаній между своими читателями, ознакомленіе публики съ фактами науки. Въ нашей литературѣ, гдѣ еще такъ мало дѣльныхъ ученыхъ книгъ, да и тѣ находятся въ рукахъ самой ничтожной по числу части публики, исполнять эту обязанность журналистамъ еще необходимѣе, нежели въ другихъ литературахъ. Публика наша хочетъ имѣть въ журналѣ не только журналъ, то есть органъ извѣстнаго мнѣнія, но и ученый сборникъ. Писатель, извѣстный подъ именемъ барона Брамбеуса, имѣлъ средства удовлетворять этой потребности публики. Онъ обладалъ обширною начитанностью по всѣмъ отраслямъ знанія, а по многимъ и основательными познаніями. Мы не будемъ, для болѣе поразительнаго контраста между средствами и результатами, говорить о его учености въ преувеличенныхъ выраженіяхъ: намъ всегда казалось забавно мнѣніе нѣкоторыхъ простодушныхъ людей, будто бы свѣтъ никогда не производилъ такого энциклопедиста, какъ баронъ Брамбеусъ. Даже въ кружкѣ нашихъ литераторовъ, всегда столь малочисленномъ, были около того времени, когда явился Брамбеусъ, люди, не уступавшіе ему обширностью познаній, на примѣръ Н. А. Полевой; были даже люди, далеко превосходившіе его, на примѣръ,

г. Надеждинъ. Но то справедливо, что, не будучи ни единственнымъ, ни лучшимъ нашимъ энциклопедистомъ, этотъ писатель обладалъ дѣйствительно замѣчательною начитанностью. Во многихъ случаяхъ его знанія оказывались ^{своими} почерпнутыми изъ устарѣлыхъ или плохихъ источниковъ особенно по философіи, эстетикѣ, политической экономіи, нѣкоторымъ отдѣламъ всеобщей исторіи, наконецъ по индо-европейской филологіи. Но естественныя науки онъ любилъ и зналъ основательно; а что касается Востока, онъ былъ въ свое время однимъ изъ лучшихъ ориенталистовъ въ Европѣ.

Мы указали недостаточность его знаній по многимъ важнѣйшимъ наукамъ; но ему не было бы затруднительно восполнить этотъ недостатокъ: ему стоило только захотѣть, и онъ легко ознакомился съ результатами какой угодно науки; мѣсяца ему достаточно на то, для чего человѣку съ обыкновенными способностями нуженъ былъ годъ. Однимъ изъ примѣровъ этой способности былъ переводъ «Эймундовой Саги», въ свое время поразившій многихъ: извѣстно было, что г. Сенковскій употребилъ только полтора или два мѣсяца для изученія исландскаго нарѣчія, которое было ему совершенно неизвѣстно. Изумительнаго въ этомъ фактѣ не было ничего: кто знаетъ по-нѣмецки и по-англійски, тому изучить третье видоизмѣненіе общаго германскаго семейства языковъ—исландское нарѣчіе, такъ же легко, какъ русскому, знающему по-малороссійски, выучиться переводить съ польскаго; для человѣка съ хорошею памятью это дѣло нѣсколькихъ недѣль. Не надобно забывать и того, что г. Сенковскій, изучивъ уже много восточныхъ и европейскихъ языковъ, очень хорошо зналъ удобнѣйшія методы для пракческаго изученія языковъ. Надобно прибавить, что латинскій переводъ, приложенный къ исландскому тексту, значительно помогалъ труду. Но, во всякомъ случаѣ, не будучи фактомъ необычнымъ, переводъ «Эймундовой Саги» послѣ двухмѣсячныхъ занятій свидѣтельствуетъ объ острой памяти и быстрой способности соображенія въ переводчикѣ. Другой подобный примѣръ былъ менѣе замѣтенъ тогдашними литераторами, но, безъ сомнѣнія, болѣе замѣчательнъ. Г. Сенковскій выучился очень хорошо писать на русскомъ языкѣ также въ очень непродолжительное время. Правда, литературные враги находили въ его языкѣ много ошибокъ; но эти придирки были почти всѣ несправедливы. Слогъ г. Сенковскаго могъ имѣть свои недостатки—это зависитъ отъ вкуса, а не отъ знаній въ языкѣ—

но русскій языкъ г. Сенковскаго былъ съ самыхъ первыхъ его статей очень легкою и чистою. Человѣку зрѣлыхъ лѣтъ въ годъ, въ два года выучиться хорошо владѣть языкомъ, на которомъ не привыкъ онъ говорить съ младенчества, — вещь гораздо болѣе рѣдкая, нежели выучиться въ два мѣсяца понимать писанныя на немъ книги.

Мы упомянули объ этихъ двухъ фактахъ для того, чтобы выставить ихъ въ истинномъ свѣтѣ. Тотъ и другой часто принимаются превратно: изученіе исландскаго нарѣчія въ два мѣсяца считаютъ многіе дѣломъ необычайнымъ, обнаруживая тѣмъ только собственное незнакомство съ дѣломъ, другіе нападаютъ на русскій языкъ г. Сенковскаго, не понимая того, что даровитый человѣкъ можетъ владѣть нѣсколькими языками лучше, нежели бездарный однимъ своимъ собственнымъ, и смѣшивая недостатки слога съ неправильностями языка, которыхъ безпристрастный читатель не найдетъ у г. Сенковскаго. Но мы вовсе не думаемъ, чтобы эти случаи были единственными или лучшими доказательствами быстроты и силы ума, которымъ одаренъ этотъ писатель. Не всѣ его статьи удачны, — многія слабы, какъ у всякаго, кто пишетъ много и печатаетъ все, что пишетъ; но въ самыхъ неудачныхъ постоянно видны очень замѣчательныя проблески сильнаго ума, а въ лучшихъ этотъ умъ блеститъ на каждой страницѣ. Мы и здѣсь не хотимъ ничего преувеличивать, чтобы сдѣлать ярче противоположность между дарованіями и ихъ употребленіемъ: въ статьяхъ барона Брамбеуса нѣтъ такой силы ума, какая видна у лучшихъ тогдашнихъ журналистовъ: Марлинскаго, Н. А. Полеваго, г. Надеждина; но, во всякомъ случаѣ, писатель этотъ — человѣкъ замѣчательнаго ума.

Не должно смѣшивать умъ съ остроуміемъ. Объ этомъ послѣднемъ качествѣ, которымъ въ особенности славился баронъ Брамбеусъ, надобно сказать нѣсколько подробнѣе. Во время его славы, лучшіе тогдашніе литераторы, какъ Пушкинъ, Гоголь, кн. Вяземскій, Н. А. Полевой и проч., не были нимало ослѣплены насчетъ его остроумія... Но у нихъ остроуміе употреблялось въ дѣло только кстати, когда требовалъ того предметъ рѣчи, какъ и должно быть подчиняясь другимъ, высшимъ чертамъ ихъ литературнаго характера. Напротивъ, баронъ Брамбеусъ избралъ остроумничанье своею *спеціальностью*, старался ни одного слова не сказать безъ укра-

пенія остроуміємъ. Исключительность всегда рѣзче бросается въ глаза, нежели гармоническое равновѣсіе дарованій. Такъ, напримеръ, втеченіе нѣкотораго времени Языковъ былъ болѣе извѣстенъ, какъ «пѣвецъ вина», а Козловъ какъ «пѣвецъ грусти», нежели Пушкинъ, хотя у Пушкина и эти стороны жизни выразились сильнѣе и полнѣе, нежели у Языкова и Козлова. Такъ въ наше время изображенія купеческаго быта у г. Островскаго многихъ занимаютъ болѣе, нежели сцены въ «Ревизорѣ» и «Женитьбѣ», изъ того же быта, хотя внимательное сравненіе покажетъ, что у г. Островскаго (мы говоримъ, конечно, о достоинствахъ, а не о недостаткахъ его комедій) очень немного прибавлено къ тому, что уже указано Гоголемъ. Совершенно подобнымъ образомъ для большинства читателей остроуміе у барона Брамбеуса было замѣтнѣе, нежели у Н. А. Полеваго или г. Надеждина, хотя у послѣднихъ его было гораздо больше. У нихъ вниманіе читателя, не останавливаясь на формѣ, остроуміи, обращалось къ сущности, мысли статей; у барона Брамбеуса читатель останавливался исключительно на остроуміи, потому что кромѣ замысловатыхъ фразъ не на чемъ было останавливаться. Эта мысль далеко не новая, какъ и все, что мы говорили до сихъ поръ, и потому едва ли нуждается въ доказательствахъ; но кому вздумается остановиться на ней, того мы просимъ сравнить выписки изъ рецензій барона Брамбеуса, которыя мы приведемъ ниже, съ отрывками изъ разборовъ Н. А. Полеваго въ предъидущей нашей статьѣ. Если остроуміе состоитъ въ новости, непринужденности, разнообразіи, неожиданности, мѣткости сближеній, въ живости, ѣдкости фразеологіи, то не можетъ оставаться сомнѣнія въ огромномъ превосходствѣ на сторонѣ Н. А. Полеваго. Не знаемъ, скоро ли намъ представится случай говорить о «Телескопѣ» и г. Надеждинѣ, но каждый, кто помнитъ статьи «эксъ-студента Надоумко», скажетъ, что кромѣ Пушкина не кого изъ тогдашнихъ писателей сравнивать съ нимъ. Не говоримъ уже объ удивительномъ остроуміи самого Пушкина.

Почему же баронъ Брамбеусъ успѣлъ прославиться остроуміемъ, далеко уступая многимъ изъ тогдашнихъ журналистовъ въ этомъ отношеніи? Одну изъ причинъ мы уже видѣли — исключительное стремленіе его къ остроумію, мимо всякихъ другихъ цѣлей. Воейковъ, раздѣлявшій съ нимъ едва ли завидную выгоду заботиться преимущественно объ остроуміи, также легко достигъ въ свое вре-

мя цѣли и считался едва ли не первымъ острякомъ, по крайней мѣрѣ, въ низшихъ слояхъ литературнаго кружка. Но въ публикѣ онъ далеко не пользовался такою извѣстностью, какъ баронъ Брамбеусъ: это потому, что ни одинъ изъ тогдашнихъ журналовъ не былъ такъ распространенъ, какъ «Библиотека для Чтенія». Въ 1830—1838 годахъ едва ли хотя одинъ журналъ расходился въ тысячѣ экземпляровъ *), а «Библиотека для Чтенія» въ первые годы расходилась въ числѣ отъ четырехъ до пяти тысячъ экземпляровъ. Очень естественно, что она была единственною распространительницею извѣстности въ массѣ публики. Баронъ Брамбеусъ былъ главнымъ лицомъ въ этомъ журналѣ, онъ единовластно управлялъ его мнѣніями, всѣ критическія и библиографическія статьи приписывались ему, и справедливо, потому что онъ передѣлывалъ и тѣ немногія, которыя были писаны не имъ; онъ самъ говорилъ о своихъ заслугахъ русской литературѣ, и до большинства публики не достигалъ ничей другой голосъ. Но, быть можетъ, не онъ обязанъ своею популярностью «Библиотекѣ для Чтенія», а самый этотъ журналъ обязанъ ею его управленію? Если такъ, распространеніе круга журнальныхъ читателей—столь важная услуга общественному образованію, что надобно было бы барона Брамбеуса поставить на ряду съ Новиковымъ, Карамзинымъ, Пушкинымъ, Гоголемъ, какъ сильнаго двигателя нашего просвѣщенія. Но онъ самъ нигдѣ не приписываетъ себѣ этой заслуги, хотя не забываетъ часто объяснять читателямъ всѣ свои права на высокое значеніе въ литературѣ; очевидно, ему даже не приходило на мысль, что «Библиотека для Чтенія» расширила кругъ русской публики. Оно и дѣйствительно было такъ. Масса людей, не имѣвшихъ прежде привычки читать, была привлечена къ чтенію произведеніями Пушкина и его сподвижниковъ. Душою русской книжной торговли былъ почтенный А. Ф. Смирдинъ. Довѣріе къ имени Смирдина было такъ велико, литературныя и коммерческія связи его такъ обширны, что изданіе имъ предпринимаемое, всегда должно было имѣть несравненно боль-

*) Пушкинъ, въ 1832 году, говорилъ даже только о 500. „Одна газета, издаваемая двумя извѣстными литераторами, имѣя около 3,000 подписчиковъ, естественно должна имѣть большое вліяніе на читающую публику. Журналы литературныя, вмѣсто 3,000 подписчиковъ, имѣютъ едва ли и 500,—слѣдственно, голосъ ихъ вовсе не дѣйствителенъ“. Сочин. Пушк., изд. П. А. Анненкова, томъ 1-й, стр. 358.

пій успѣхъ, нежели подобное же предиріятіе какого-нибудь другаго лица. Писатель, который сдѣлался душою «Библиотеки для Чтенія», понялъ это и очень основательно поступилъ, внушивъ А. Ф. Смирдину мысль быть издателемъ журнала, имъ задуманнаго. Всѣ лучшіе русскіе литераторы были привлечены Смирдинымъ къ участию въ журналѣ. Такимъ образомъ, редакторъ «Библиотеки для Чтенія» умѣлъ воспользоваться обстоятельствами. Но кругъ русскихъ читателей былъ распространенъ Пушкинымъ и его сподвижниками, а не «Библиотекою для Чтенія»; «Библиотека для Чтенія» была обязана своимъ успѣхомъ участию Пушкина и почти всѣхъ другихъ литературныхъ знаменитостей и положенію своего издателя, Смирдина, въ книжной торговлѣ, а не редактору. Напротивъ, дѣйствія редактора были причиною паденія журнала. Все это вещи извѣстныя, и выписки изъ статьи Гоголя «О движеніи журнальной литературы за 1834 и 1835 годы», которыя будутъ намъ нужны для объясненія отношеній Брамбеуса къ Гоголю, представлять подробности послѣдняго факта.

Но если вліяніе барона Брамбеуса было вредно для журнала, то, ужь конечно, не потому, чтобы редакторъ недостаточно заботился о сообщеніи журналу тѣхъ качествъ, которыя считалъ для него полезными. Трудно найти въ исторіи новой русской журналистики другаго редактора, который такъ неумоимо заботился бы о своемъ изданіи, употреблялъ бы на него столько трудовъ. Не говоримъ уже о томъ, что баронъ Брамбеусъ самъ писалъ чрезвычайно много, такъ что можетъ поспорить своимъ добровольнымъ трудолюбіемъ съ невольною неусыпностью самаго прилежнаго изъ такъ называемыхъ журнальныхъ чернорабочихъ. Но едва ли какойнибудь редакторъ такъ неумоимо и прилежно перерабатывалъ каждую статью своихъ сотрудниковъ: перечитывая первые годы «Библиотеки», вы рѣшительно во всѣхъ неподписанныхъ статьяхъ Критики, Литературной Лѣтописи, Смѣси находите совершенное единство слога, манеры, самыхъ мнѣній, — всѣ онѣ кажутся написаны одною рукою: такъ заботливо исправлены и передѣланы онѣ неумоимымъ редакторомъ. Въ этомъ отношеніи «Библиотека для Чтенія» доведена была до совершенства почти идеальнаго, потому что единство въ характерѣ всѣхъ этихъ чисто журнальныхъ статей, безъ сомнѣнія, должно быть цѣлью cadaго журнала. Если нельзя похвалить «Библиотеку» старыхъ годовъ за ея характеръ, то нельзя

не похвалить ее за точную выдержанность характера. На статьяхъ въ отдѣлѣ Иностранной Словесности очень часто замѣтны также слѣды неумолимой передѣлки; то же самое часто, или, лучше сказать, почти постоянно, замѣтно даже въ подписанныхъ именами авторовъ оригинальныхъ русскихъ повѣстяхъ, постоянно въ неподписанныхъ, а иногда и въ подписанныхъ своими авторами статьяхъ по отдѣлу Наукъ. Однимъ словомъ, этотъ человекъ нѣсколько лѣтъ писалъ, быть можетъ, по сту печатныхъ листовъ и внимательно переправлялъ до самыхъ мелочныхъ подробностей почти все, что писали другіе для его журнала, часто вставляя по нѣскольку страницъ въ чужія статьи. Невольно думаешь: какъ много полезнаго произвела бы такая неумолимая дѣятельность, если бы направлена была къ какой нибудь важной цѣли!

Нельзя забыть еще двухъ великихъ достоинствъ, которыми отличался баронъ Брамбеусъ: онъ былъ одаренъ способностью писать очень легко и популярно и завиднымъ искусствомъ излагать свои мысли о самыхъ щекотливыхъ предметахъ съ достаточною ясностью.

Способность писать легко и популярно доказываютъ не тѣ его многочисленныя статьи, въ которыхъ онъ пародируетъ истины науки, съ цѣлью быть забавнымъ и занимательнымъ—это искусство легкое, оно по плечу каждому—но тѣ страницы, на которыхъ онъ излагаетъ свои собственные теоріи съ искреннимъ намѣреніемъ убѣдить читателя. Сюда относятся многія мѣста изъ его статей объ «Иліадѣ» и «Одиссеѣ», о вавилонскихъ памятникахъ, о различныхъ вопросахъ изъ русской исторіи, напримѣръ о Несторовой Лѣтописи, о значеніи Литвы для русской народности, объ имени «славянинъ» и проч., о теоріи образованія словъ въ языкѣ и т. д. Эти мнѣнія до такой степени оригинальны, что многіе принимали ихъ за шутку. Но внимательное чтеніе всего, что написано было ихъ авторомъ, убѣждаетъ въ противномъ: одну и ту же шутку, почти одними и тѣми же словами, нельзя продолжать двадцать лѣтъ. Во первыхъ, нельзя вѣчно помнить ее; остроумный человекъ скоро забываетъ свои остроты, потому что прежнія безпрестанно вытѣсняются изъ его ума новыми; во вторыхъ, такой умный человекъ, какъ ученый, о которомъ мы говоримъ, не сдѣлалъ бы этого, чтобы не наскучить своимъ читателямъ. И дѣйствительно, предметы *своихъ шутокъ и пародій* онъ безпрестанно измѣняетъ и, говоря

объ одномъ, не остерегается противорѣчить мнѣніямъ, которыя высказывалъ полгода или мѣсяць назадъ, говоря о другомъ. Но въ этихъ случаяхъ онъ безпрестанно повторяетъ то, что сказалъ однажды, повторяетъ кстати и не кстати, и каждый разъ съ величайшими подробностями. Нѣтъ сомнѣнія, что это его задушевные, любимыя мысли, которыя онъ хочетъ внушить читателямъ. Нельзя хвалить основательность этихъ мыслей, но нельзя не хвалить той удобопонятности, съ какою изложены онѣ и ихъ доказательства, по большей части заимствованныя изъ самыхъ специальныхъ фактовъ науки, совершенно незнакомыхъ читателю: тонкости арабской филологіи, греческихъ діалектовъ излагаются ученымъ журналистомъ съ такою популярностью, что читатель не затрудняясь понимаетъ сущность и подробности вопроса, потому съ охотою пробѣгаетъ статью чрезвычайно специальную: благодаря искусству изложенія она кажется ему легкою и занимательною. Нѣтъ надобности говорить, какъ важно это достоинство въ журналистѣ,—и за это мы отдаемъ полную честь г. Сенковскому.

Нельзя не отдать справедливости ему и за то, что онъ гордо уклонялся отъ всякой полемики. На него отовсюду сыпались укоризны, часто несправедливыя, часто грубыя до оскорбительности. Онъ, при случаѣ, не щадилъ своихъ противниковъ, но никогда не принималъ вызововъ на перебранку, что было тогда въ большой модѣ. Онъ отзывался о своихъ противникахъ иногда очень жестко, но всегда такъ, что въ словахъ его слышался голосъ журналиста, высказывающаго свои мнѣнія, а не раздраженнаго человѣка. Это прекрасное, и нынѣ рѣдкое, а въ тѣ времена еще болѣе рѣдкое доказательство глубокаго сознанія собственного достоинства и силы.

Сколько залоговъ плодотворной дѣятельности! Ученость, проницательность и живой умъ, остроуміе, умѣнье вѣрно понять обстоятельства, подчинить ихъ себѣ, приобрести огромныя средства для дѣйствія на публику, трудолюбіе, сознаніе собственного достоинства—все въ высокой степени соединялось въ этомъ писателѣ. Мы не думаемъ говорить, чтобы онъ былъ человѣкомъ необыкновеннымъ, далеко превышавшимъ всѣхъ своихъ соперниковъ; напротивъ, не только по употребленію силъ, но и по самымъ силамъ таланта должно нѣкоторыхъ, напримѣръ, Н. А. Полеваго и особенно г. Надеждина, поставить выше барона Брамбеуса. Но, во всякомъ случаѣ, *этотъ человѣкъ былъ одаренъ отъ природы замѣчательными*

качествами и многія изъ нихъ успѣлъ развить до очень значительной силы. И однако же, что онъ сдѣлалъ для нашей литературы, для нашего просвѣщенія, или для науки? Посмотрите: люди съ гораздо меньшими дарованіями имѣли въ свое время нѣкоторое участие въ развитіи нашей литературы, или просвѣщенія—скоро мы будемъ говорить объ одномъ изъ такихъ людей, именно о г. Шевыревѣ,—а баронъ Брамбеусъ, который былъ гигантъ передъ ними,—не сдѣлалъ ничего, совершенно ничего, и въ той жатвѣ, которая нынѣ зрѣетъ повемногу, нѣтъ ни одного колоса, который бы выросъ изъ сѣмени, брошеннаго его рукою. Почему же такъ? Причина очень простая: онъ пренебрегалъ такимъ простымъ дѣломъ, какъ посѣвъ хлѣба, да пренебрегалъ и самимъ хлѣбомъ, какъ пищею не довольно пряною и не довольно легкою: онъ хотѣлъ собрать вокругъ себя какъ можно больше почитателей; онъ вздумалъ, что дѣтей больше, нежели взрослыхъ людей; что дѣти лучше любить лакомства, нежели хлѣбъ, и занялся раздачею лакомствъ, которыя таяли на языкѣ, чѣмъ и кончалось дѣло. Прибавить можно развѣ то, что дѣти не слишкомъ разборчивы на лакомства, потому онъ мало заботился о качествахъ лакомствъ, лишь бы только раздавать ихъ побольше; а дешеваго можно раздать больше, нежели дорогого, потому лакомства барона Брамбеуса по большей части были самыя дешевыя.

Смѣшно осуждать самолюбіе вообще: оно производитъ очень много хорошаго,—но только тогда, когда, подъ вліяніемъ разсудка и любви, избираетъ себѣ возвышенную цѣль; иначе оно, какъ всякая страсть, заведетъ человѣка на фальшивую дорогу, и онъ растратитъ свои силы бозполезно для другихъ, бозполезно и для собственной славы. Баронъ Брамбеусъ, до самаго того времени, какъ сдѣлался русскимъ писателемъ, не зналъ ни русской литературы, ни русской публики, будучи уже очень хорошо знакомъ съ богатыми иностранными литературами, зная, какъ высоко развиты понятія и знанія въ публикѣ западной Европы. Совершенно позволительно,—потому что очень естественно и справедливо,—было ему, узнавъ новую сферу, въ которой пришлось ему дѣйствовать, вывести, по сравненію, не очень высокое заключеніе объ этой сферѣ. Очень естественно было ему, имѣя высокое понятіе о себѣ, почесть себя человѣкомъ, стоящимъ гораздо выше этой сферы,—и *за это слишкомъ высокое мнѣніе о себѣ нельзя судить его: въ*

собственномъ дѣлѣ трудно быть безпристрастнымъ судьей. Но должно замѣтить, что уже съ этого пункта начинается ошибка: вообще говоря, наша литература была мелка, наша публика мало развита; но между литераторами были люди, достойные всякаго уваженія, а въ публикѣ было стремленіе къ развитію. Но чтожь оставалось дѣлать человѣку, который думаетъ, что все окружающее ниже его?—Таково было задушевное мнѣніе многихъ нашихъ литераторовъ, между прочимъ, и самого Гоголя. Гоголь поставилъ цѣлью своего самолюбія помочь окружающимъ его людямъ возвыситься до него,—и это есть истинное самолюбіе, потому что только похвалы равныхъ могутъ быть лестными похвалами. Но помогать, улучшать, развивать—дѣло медленное и трудное; чтобы предаться ему, необходимо быть увѣренну въ томъ, что общество, о которомъ идетъ дѣло, способно и готово къ развитію—разсудительный человѣкъ не станетъ хлопотать понапрасну; надобно любить это общество, потому что никто не захочетъ трудиться на пользу тѣхъ, кого не любить.

Но мы думаемъ, что онъ былъ не правъ самъ передъ собою, изъ высокаго мнѣнія о себѣ и невысокаго мнѣнія о насъ сдѣлавъ заключеніе, что ему надобно потѣшаться надъ нами. Геркулесъ могъ поражать пигмеевъ, хотя и въ этомъ ему не было особенной славы; но мнѣ не говорить, чтобъ онъ терялъ время въ потѣхахъ надъ ними. Наше мнѣніе довольно ясно было высказано прежде: баронъ Брамбеусъ не былъ Геркулесомъ; и между нами были люди, которые скорѣе его могли имѣть право на это имя; но мы становимся на точку зрѣнія человѣка, о дѣйствіяхъ котораго говоримъ. Скажите, человѣкъ, считающій себя Геркулесомъ, а окружающихъ его пигмеями, не сдѣлался ли бы ничтожнѣе самыхъ пигмеевъ, еслибъ всю дѣятельность свою растратилъ на потѣхи надъ нѣкоторыми изъ пигмеевъ для потѣхи другихъ пигмеевъ? Одно только было сообразно съ его достоинствомъ: отвернуться отъ пигмеевъ и заняться другими подвигами, болѣе приличными силамъ, которыя онъ въ себѣ предполагаетъ. Пусть этотъ человѣкъ занялся бы борьбою съ Гаммеромъ, но не передъ профанами, въ «Энциклопедическомъ Лексиконѣ» Плюшара, съ Кювье и Шампольйономъ, но опять не передъ профанами, въ «Фантастическихъ Путешествіяхъ», а передъ лицомъ ученаго свѣта, хотя бы, наприимѣръ, въ «Бюллетеняхъ» С.-Петербургской Академіи Наукъ или въ *Journal*

nal des Savants. Тогда и мы, пигмеи, посмотрѣли бы, чѣмъ кончится борьба, и присоединили бы наши единодушныя похвалы къ похваламъ великихъ судей ученаго міра.

Но лиллипутскія забавы соблазнили барона Брамбеуса: на нихъ расстратилъ онъ всѣ свои силы, забывъ о всякой другой аренѣ. Изъ этого мы должны заключать, что лиллипутская арена была для него совершенно удовлетворительна, и что ошибался онъ, считая себя слишкомъ многимъ выше лиллипутовъ. Заменяемъ слово «пигмеи» лиллипутами для ясности: то мы говорили съ его точки зрѣнія, теперь уже отъ себя. Въ той сферѣ, гдѣ онъ находился, были люди различнаго роста. Какихъ онъ выбралъ своими товарищами, своими судьями? самыхъ малорослыхъ. Кого онъ хвалилъ? г. Тимоеева, котораго ставилъ соперникомъ Пушкину, г. Масальскаго, котораго называлъ талантливымъ и остроумнымъ писателемъ, г. фанъ-Дима, г. Бернетта, г. Очкина, г. В. Зотова, и т. д., и т. д. Вы скажете, что это была шутка? Но какъ бы низко ни думали мы о людяхъ, всегда надобно предполагать, что есть между ними нѣкоторые, не совершенно лишенные хотя небольшой частички здраваго смысла: передъ ними нельзя шутить подобныхъ шутокъ, нельзя, для собственнаго развлечения, ставить г. Тимоеева выше Пушкина. Съ подобными рѣчами можно обращаться не къ публикѣ вообще, а только къ «избранной» публикѣ. Трудно предполагать, чтобы человѣкъ добровольно сдѣлалъ подобный выборъ. Вѣроятно же всего, надобно объяснять загадочную роль Брамбеуса слѣдующимъ образомъ: отъ природы онъ получилъ довольно сильную склонность блестять остроуміемъ и нѣкоторую склонность къ парадоксамъ, что почти нераздѣльно одно съ другимъ,—кромѣ того, большую увѣренность въ собственныхъ силахъ. Увѣренность эта и счастливыя обстоятельства, въ которыя онъ умѣлъ себя поставить, такъ что наконецъ сдѣлался полнымъ распорядителемъ единственнаго сильнаго журнала, внушили ему мысль, что онъ можетъ вертѣть этою литературою и этою публикою, какъ ему вздумается. Онъ вздумалъ, что такъ какъ наша исторія еще мало разработана, наша литература еще мало развита, съ иностранными литературами мы еще мало знакомы, литературныя мнѣнія еще шатки въ большинствѣ публики, которая мало еще знакома и вообще съ наукою, то онъ можетъ сдѣлаться первымъ нашимъ беллетристомъ,—*недостатокъ повѣствовательнаго таланта можно замѣнить заимство-*

ваніями у иностранныхъ писателей,—этого не откроютъ читатели, очень мало съ ними знакомые; можетъ передѣлать всю нашу исторію блестящими гипотезами—вѣдь она мало разработана: кто же докажетъ неосновательность этихъ предположеній?—можетъ увѣрять публику во всемъ, что ему вздумается, вѣдь ея литературныя мнѣнія шатки, а знанія слабы. И онъ началъ писать повѣсти, передѣлывая и переводя Бальзака, Жюль Жанена, Марриета, Вольтера, Лесажа, Фильдинга, Рабле, и т. д., и т. д. *). Онъ рѣшился доказывать, что языкъ Несторовой Лѣтописи—польскій, что литовцы—коренные русскіе славяне, что «славянинъ» значитъ «человѣкъ», а «славяне»—«человѣки», что китайскій языкъ отличается отъ еврейскаго только интонаціею, что «Иліада» и «Одиссея» писаны на бѣлорусскомъ нарѣчій, что Киръ и его персы говорили нарѣчіемъ, очень близкимъ къ бѣлорусскому, такъ что персепольскія гвоздеобразныя надписи скорѣе всего можно прочесть на бѣлорусскомъ нарѣчій, и т. д., и т. д. Но оказалось, что наша публика не такъ легковѣрна, а литераторы и ученые наши не такіе невѣжды, какими надлежало имъ быть для успѣха въ столь смѣлыхъ предпріятіяхъ: заимствованія были открыты, неосновательность гипотезъ обнаружилась, и тогда самолюбіе заставило барона Брамбеуса систематически и преднамѣренно продолжать то, что было начато, быть можетъ, только необдуманно, отчасти по излишней увѣренности въ собственныхъ дарованіяхъ, отчасти по неосновательности знаній въ тѣхъ наукахъ, которыя онъ вздумалъ пересоздавать. Кого не удовлетворяетъ это объясненіе, тотъ можетъ прочесть другое, болѣе простое, въ статьѣ «Менцель» (Отечественныя Зависки, томъ VIII, Наука, на страницахъ 27—29).

Мы самымъ краткимъ образомъ говорили о повѣствовательной и ученой дѣятельности барона Брамбеуса, но должны сказать нѣсколько подробнѣе о характерѣ его критическихъ статей и рецензій, съ одной стороны потому, что на нихъ преимущественно опиралось мнѣніе о немъ, какъ объ остроумнѣйшемъ изъ русскихъ писателей, нѣкоторое время господствовавшее въ извѣстномъ классѣ публики, съ другой потому, что критическая его дѣятельность бли-

*) Предѣлы статьи заставляютъ насъ ограничиться только указаніемъ на статью «Брамбеусъ и юная словесность», помѣщенную въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1836 г., томъ 2. Тамъ приведены доказательства.

жайшимъ образомъ относится къ нашему предмету. Признаемся, мы прочитывали эти статьи со скукою, потому что остроуміе ихъ очень однообразно и вложено въ нихъ почти всегда чисто механическимъ способомъ, который по плечу каждому рецензенту, даже наименѣе остроумному. Все искусство состоитъ обыкновенно въ томъ, чтобы ловить неправильныя фразы въ разбираемой книгѣ и потомъ повторять ихъ нѣсколько разъ; если заглавіе книги не совсѣмъ удачно, то посмѣяться и надъ заглавіемъ; если же можно, то прибрать какія нибудь подобнозвучныя или подобозначащія слова заглавію или фамиліи автора и, повторяя ихъ нѣсколько разъ, перемѣшивать, напримѣръ «Московского Наблюдателя» называть то «Московскимъ Надзирателемъ, то «Московскимъ Надирателемъ», то «Московскимъ Соглядатаемъ», то «Московскимъ Подзирателемъ». Разбирая книжку, на которой авторъ, конечно какой нибудь Протопоповъ, выставилъ свою фамилію такъ: Пр. т. п. п. въ (невинная скромность, употребительная въ тѣ блаженныя времена), разъ двадцать повторить: «говорить г. П. п. п. п. въ», «говорить г. П. р. р. р. р. въ», «говорить г. П. п. п. р. р. р. въ», и т. д. Однимъ словомъ, по этому очень незамысловатому рецензенту остроумный разборъ «Мертвыхъ Душъ» могъ бы быть написанъ слѣдующимъ образомъ. Выписавъ заглавіе книги: «Прохлажденія Чичикова или Мертвыя души», начинать прямо такъ: «Прохлажденія Чхи! чхи! кова—не подумайте читатель, что я чихнулъ, я только произношу вамъ заглавіе новой поэмы г. Гоголя, которой пишеть такъ, что его можетъ понять только одинъ Гегель... Я отдохнулъ и продолжаю: Чхи... Это грузинецъ: у грузинцевъ ни одна фамилія не обходится безъ Чхи! чхи!... Итакъ. «Прегражденія Чичикова, или Мертвыя Туши... Не знаемъ, о тушинцахъ ли, сосѣдяхъ грузинъ, говоритъ авторъ, или о Тушинскомъ Ворѣ, или о бурой коровѣ, или о своихъ любимыхъ животныхъ, которыхъ такъ часто описываетъ съ достойнымъ ихъ искусствомъ», и т. д., и т. д. Лѣтъ двадцать тому назадъ находились читатели, которымъ это казалось остроуміемъ. Тогда могли найтись даже читатели, которые поняли бы тонкій каламбуръ, скрытый въ словахъ «прохлажденія... пригвожденія... прегражденія Чхичхикова», и сказали: «ай-да молодець! раскритиковалъ! Ужъ подлинно, такъ прохладилъ да пригвоздилъ, что преградить писаніе такихъ нечестей. Вѣрно не разъ чихнетъ авторъ отъ этой критики!» И чи-

татель былъ доволенъ собою, слѣдовательно восхищенъ ловкимъ критиканомъ, доставившимъ ему случай не только разсмѣяться, но и самому сказать остроуту! О, благословенныя времена! Какъ легко было прослыть тогда остроумцемъ въ извѣстномъ кругу читателей,) |
 объ одномъ изъ которыхъ упоминаетъ несравненный лейтенантъ Жевакинъ. «У насъ въ эскадрѣ капитана Волдырева былъ мичманъ Пѣтуховъ, Антонъ Ивановичъ: тоже этакъ былъ веселаго нрава. «Бывало, ему ничего больше, покажешь этакъ одинъ палець — «вдругъ засмѣется, ей Богу! и до самаго вечера смѣется. Ну, глядя «на него, и самому сдѣлается смѣшно, и смотришь наконецъ, и «самъ, точно, смѣешься» (Сочин. Гоголя, 4 часть, 308 стр. новаго изданія). Мало уже нынѣ Пѣтуховыхъ, Антоновъ Ивановичей! Воля ваша, скажешь Гоголемъ: «скучно на свѣтѣ, господа!», особенно скучно, когда по необходимости перечитываешь то, надъ чѣмъ такъ смѣялись Антоны Ивановичи, лѣтъ за двадцать.

Это объ остроуміи; что же касается содержанія и смысла рецензій и критикъ барона Брамбеуса, мы находимъ у Гоголя совершенно справедливый отзывъ (О движеніи журнальной литературы, «Современникъ» 1836 г., № 1):

Въ разборахъ и критикахъ г. Сенковскій никогда не говорилъ о внутреннемъ характерѣ разбираемаго сочиненія, не опредѣлялъ вѣрными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, въ которой рецензентъ отъ всей души тѣшился собственными фразами, или хула, въ которой отзывалось какое-то странное ожесточеніе. Она состояла въ мелочахъ, ограничивалась выпискою двухъ-трехъ фразъ и насмѣшкою. Ничего не было сказано о томъ, что предполагалъ себѣ цѣлю авторъ разбираемаго сочиненія, какъ оное выполнилъ и, если не выполнилъ, какъ долженъ былъ выполнить. Больше всего г. Сенковскій занимался разборомъ разнаго литературнаго сора, множествомъ всякаго рода пустыхъ книгъ: надъ ними шутилъ, трюнилъ и показывалъ то остроуміе, которое такъ нравится нѣкоторымъ читателямъ; наконецъ даже завязалъ цѣлое дѣло о двухъ мѣстоимѣніяхъ, „сей“ и „оній“, которыя показались ему, неизвѣстно почему, неумѣстными въ русскомъ языкѣ. Объ этихъ мѣстоименіяхъ писаны были имъ цѣлые трактаты, и статьи его, разсуждавшія о какомъ бы то ни было предметѣ, всегда оканчивались тѣмъ, что мѣстоименія „сей“ и „оній“ совершенно неприличны. Это напомнило старый процессъ Тредьяковскаго за букву ижицу и десятиричное і: книга, въ которой встрѣчались эти двѣ частицы, была торжественно признаваема написанною дурнымъ слогомъ.

Къ этимъ совершенно справедливымъ словамъ надобно прибавить замѣчаніе о томъ, откуда взятъ былъ тонъ и слогъ этихъ ста-

той, — изъ литературныхъ фельетоновъ Жюля Жанена, который тогда былъ въ цвѣтѣ молодости и на вершинѣ своей славы. И вотъ мы пришли къ необходимости вникнуть въ предполагаемыя нѣкоторыми заслуги барона Брамбеуса передъ русскою литературою. Никто не скажетъ теперь, чтобы его повѣсти были особенно хорошимъ приобритеніемъ для нашей беллетристики, никто не скажетъ, чтобы отъ его ученыхъ статей хотя сколько нибудь выиграла или наука, или публика; но въ старые годы Антона Ивановичи Пѣтуховы получили обыкновеніе повторять его слова, что онъ ввелъ въ русскую литературу легкій прозаическій слогъ, первый началъ писать у насъ живымъ и свѣтскимъ языкомъ. Чтобы говорить это, надобно не имѣть понятія о нашихъ журналахъ 1825—1833 годовъ. Полевой и его сотрудники писали, когда то было сообразно съ предметомъ, самымъ легкимъ языкомъ. Не говоримъ уже о томъ, что для присужденія барону Брамбеусу заслугъ относительно языка надобно думать, что онъ былъ учителемъ Пушкина и его сподвижниковъ. «Телеграфъ», «Молва» и почти всѣ другіе журналы показываютъ, что около 1825—1830 года искусство писать легкимъ языкомъ не было даже принадлежностью одной пушкинской школы, а рѣшительно всѣхъ грамотныхъ и небездарныхъ прозаиковъ. Странная ошибка, въ которую впалъ баронъ Брамбеусъ, приписывая себѣ заслугу введенія у насъ легкой прозы, что уже было сдѣлано задолго до него, происходитъ оттого, что ему самому единственнымъ превосходнѣйшимъ прозаическимъ языкомъ казалась жюль-жаненовская манера, которую, дѣйствительно, ввелъ онъ у насъ, какъ нѣкогда иные вводили фонтенелевскую манеру, другіе стерновскую, третьи юнгъ-штиллинговскую или эккартсгаузеновскую манеру. Дѣло просто въ томъ, что каждый подражатель поддѣлывался подъ слогъ своего образца. Баронъ Брамбеусъ смѣшалъ понятія «языкъ», который бываетъ въ данную эпоху почти одинаковъ у всѣхъ грамотныхъ писателей, и «слогъ», то есть особенную манеру каждого писателя. Онъ былъ у насъ первымъ подражателемъ Жюля Жанена и, дѣйствительно, первый изъ литераторовъ, игравшихъ замѣтную роль, началъ поддѣлываться подъ его слогъ; считая этотъ слогъ идеаломъ совершенства и не зная различія между языкомъ и слогомъ, онъ, по нашему мнѣнію, совершенно добродушно, пришелъ къ заключенію, что онъ первый у насъ началъ писать превосходнымъ прозаическимъ языкомъ, о чемъ для

человѣка, хотя немного понимающаго дѣло и читавшаго хотя нѣскольکو страницъ пушкинской прозы, не могло быть и рѣчи въ 1834 или 1833 году. Но можетъ быть рѣчь о томъ, хороша ли манера Жюль Жанена и не должно ли считать заслугою барона Брамбеуса хотя то, что онъ, подражая Жюлю Жанену, писалъ хорошимъ слогомъ, хотя хорошій слогъ тогда уже не былъ новостью. Вотъ до чего мы дошли! Неужели надобно серьезно говорить о такомъ писателѣ, какъ Жюль Жаненъ? Ужели надобно доказывать, что слогъ его растянутъ, вычуренъ, приторенъ, что ни естественно-сти, ни жизни, ничего, чѣмъ отличается слогъ хорошихъ писателей, въ немъ нѣтъ? Одинъ фельетонъ пишетъ онъ, заключая каждую фразу восклицательнымъ знакомъ, — замѣтьте, буквально каждую фразу, не пропуская ни одной; другой — послѣ каждыхъ двухъ-трехъ словъ ставя нѣсколько точекъ; третій—начиная каждую фразу словами *oh! que j'aime*; четвертый—словомъ *hélas!* и т. д., и т. д., но повсюду остается онъ вѣренъ двумъ правиламъ: говорить какъ можно меньше о дѣлѣ и какъ можно больше о пустякахъ, и растягивать фразы до безконечности наборомъ десяти, пятнадцати синонимовъ, безконечнаго ряда прилагательныхъ или глаголовъ, такимъ образомъ: «юный, свѣжій, розовый, цвѣтушій, весенній, ароматный румянецъ ея щекъ прельщаль насъ такъ недавно, и—*hélas!*—она увяла, поблекла, поблѣднѣла, уснула покинула насъ... не хочу сказать: умерла — умереть значитъ пережить себя, быть забытымъ, и т. д., и т. д. А такое чудное, дивное, упоительное, восхитительное, очаровательное и т. д. существо можетъ ли быть когда нибудь забыто? *Oh, non, ты всегда будешь лучшимъ, прекраснѣйшимъ и т. д. воспоминаніемъ*», и т. д., и т. д. на пятнадцать столбцовъ,—и замѣтьте, что это говорится о смерти какой нибудь сорокалѣтней, неуклюжей танцовщицы, и замѣтьте, что она вовсе не думала умирать, а краснорѣчивый плачь написанъ для того, чтобы завтра публика, увидѣвъ ея имя на афишѣ, толпою бросилась въ театръ рукоплескать воскресшему «юному, дивному, прелестному, очаровательному и т. д. существу». Или переимѣнимъ тему: надобно сказать: «я изумленъ и обрадованъ». Жюль-жаненовскимъ слогомъ говорится это такъ: «я пыхчу, я задыхаюсь, я волнуясь, я потѣю, я холодѣю, я трепещу отъ восторга, отъ удивленія, отъ изумленія, и т. д., и т. д.» Писать самому такимъ слогомъ и рекомендовать его другимъ не составляетъ особенной заслуги.

Повѣсти барона Брамбеуса, его критическія статьи и рецензіи постоянно писаны въ манерѣ Жюля Жанена. О повѣстяхъ мы не будемъ говорить: но въ критическихъ статьяхъ есть значительная разница между этими двумя рецензентами: несмотря на всю реторику, всю натянутость изложенія и постоянныя усилія выдать дурное за хорошее и наоборотъ, у Жюля Жанена очень часто замѣтенъ эстетическій вкусъ,—слишкомъ утонченный, изысканный, но все-таки тонкій; кромѣ того, его фельетоны, несмотря на всю свою пустоту, болѣе или менѣе проникнуты одною идеею, — тою самой, лучшимъ представителемъ которой служить его газета, *Journal des Débats*. Эта идея очень мелка, но все-таки она даетъ нѣкоторый смыслъ, нѣкоторую внутреннюю цѣнность болтовнѣ Жюля Жанена: лучше что нибудь, нежели ничего. У барона Брамбеуса вмѣсто этихъ качествъ замѣтно болѣе учености, нежели у поверхностнаго Жюля Жанена; но вы рѣшительно не видите, чего хотять его рецензіи, и доходите до убѣжденія, что рецензентъ лишень вкуса. Вы постоянно видите, что для него не замѣтно различія между дурнымъ и хорошимъ въ художественномъ отношеніи. Для него самого незамѣтно—сказали мы — потому что недостаточно объяснять его ошибки преднамѣренностью, желаніемъ посмѣяться, ввести въ заблужденіе читателей или автора: всему есть свои предѣлы; напримѣръ, называть Тимофеева Пушкинымъ можно только тогда, когда самъ не замѣчаешь различія между этими двумя писателями. Мы могли бы привести безчисленное множество подобныхъ примѣровъ, но довольно будетъ и двухъ: одинъ, самый извѣстный, изумившій многихъ въ свое время, есть разборъ драматической фантазіи г. Кукольника, «Торквато Тассо»; эту статью дебютировала критика «Библиотеки для Чтенія» (1834 г. № 1); другой примѣръ—отзывъ о поэмѣ г. В. Зотова, «Послѣдній Хеакъ».

Разборъ «Торквато Тассо» начинается тѣмъ, что драматическая фантазія г. Кукольника признается явленіемъ столь же высокаго достоинства, какъ «Послѣдній день Помпеи». Поводомъ къ сравненію было то обстоятельство, что оба эти произведенія сдѣлались извѣстными публикѣ въ одинъ и тотъ же годъ.

Но — продолжаетъ критикъ, подписавшійся именемъ Тютюнджи-Оглу—публика наша, къ сожалѣнію, встрѣтила «Торквато Тассо» очень холодно. Впрочемъ, это ничего не доказываетъ: «первыя творенія музы Байрона встрѣтили точно такую же холодность

въ англійской публикѣ», лордъ Брумъ, знаменитый въ свое время дѣятель литературныхъ явленій, «совѣтовалъ даже ему никогда не писать стиховъ», и только Вальтеръ Скоттъ объяснилъ англичанамъ величіе новаго поэтического гениа. «Я желалъ бы, чтобы Вальтеръ-Скоттъ воскресъ изъ могилы и оказалъ другую подобную «услугу намъ, русскимъ: по скромной недовѣрчивости къ собственнымъ нашимъ силамъ, мы не смѣемъ подумать, чтобы между нами «возникъ необыкновенный поэтический талантъ — молодой Кукольникъ». Разказавъ содержаніе поэмы и выписавъ изъ нея два или три «превосходные отрывка», критикъ доходитъ до видѣнія большаго Тассо въ домѣ сумасшедшихъ, этой «чудесной, единственной сцены, достойной величайшаго поэтического гениа, истинной, «выспренней поэзіи ужаса». Для тѣхъ, кто позабылъ этотъ удивительный отрывокъ, красоты котораго столь вѣрно воспроизведены во второмъ отрывкѣ, «Доменикино Фети», драматической фантазіи Новаго Поэта, скажемъ, что въ этой сценѣ «Торквато Тассо» безпрестанно свергаетъ молнія, при блескахъ которой возникаетъ «Черный духъ съ крыльями», Тассо бросается обнимать его, «но «упавшая за самымъ окномъ съ ужаснымъ трескомъ молнія нѣсколько моментовъ ярко освѣщаетъ комнату», духъ исчезаетъ, Тассо «обнимаетъ воздухъ», «неволью падаетъ на колѣни» и начинаетъ изъяснять свое отчаяніе высокопарными словами, потомъ «подъемлетъ голову, но, увидѣвъ надъ собою золотой вѣнецъ въ «сіяніи, падаетъ ницъ». Представивъ читателямъ это нескладное, напыщенное подражаніе первымъ сценамъ «Фауста», критикъ говоритъ: «Если это не поэзія, не самая высокая драматическая поэзія, то во мнѣ нѣтъ души. Этой сцены нельзя читать безъ трепета. Одинъ Тальма былъ бы въ состояніи представлять ее: въ «его рукахъ она произвела бы такой же ужасный и гораздо «высшій эффектъ, какъ прославленная сцена лунатизма въ Макбетѣ». Почти также прекрасно драматизирована, на взглядъ критика, смерть Лукреціи, приключившаяся такимъ манеромъ:

«Тассъ подбѣгаетъ и падаетъ у ея кровати на колѣни. Лукреція хватается за сердце.

ЛУКРЕЦІЯ.

Ахъ, сердце, сердце!

(Съ пронзительнымъ крикомъ)

Гя! разорвалось! (Умираетъ).

Всѣ эти удивительно поэтическія мѣста «приносятъ» (по словамъ критика) величайшую честь поэтическимъ дарованіямъ юнаго нашего Гете», и «я также громко восклицаю (говоритъ онъ): *«великій Кукольникъ!* передъ его видѣніемъ Тасса и кончиною Лу-«креціи, какъ восклицаю: *великій Байронъ!* передъ многими мѣстами твореній Байрона».

Обыкновенно принимали этотъ разборъ за насмѣшку надъ публикою и авторомъ. Смыслъ этой статьи можетъ быть только таковъ: собственно говоря, «Манфредъ» Байрона такъ же плохъ или хорошъ, какъ «Тассо» г. Кукольника, и я рѣшительно не знаю, хорошъ или дуренъ «Манфредъ»—вы, публика, думаете, что онъ хорошъ—такъ вотъ вамъ другое произведеніе, которое не хуже его.—Вотъ отзывъ того же критика о «Послѣднемъ Хеакѣ»:

«Не должно судить о дарованіи г. Зотова по этой поэмѣ: она его первая поэма, а первая поэма бываетъ всегда слаба, хотя бы, напримѣръ, «Хаджи Абрекъ» Лермонтова. «Мы уговаривали даровитаго Лермонтова не печатать своей первой поэмы», увѣряя его, что онъ будетъ писать хорошо впоследствии времени, а первая поэма его слаба; но «юный поэтъ не отставалъ», и «чтобы удовлетворить эту невинную мечту неопытности», мы «напечатали «Хаджи Абрека» въ сокращеніи, съ выпускомъ главнѣйшихъ длиннотъ и страшнѣйшихъ картинъ».—«Между Абрекомъ и Послѣднимъ Хеакомъ» мы видимъ большое сходство. Здѣсь также встрѣчаются очень скучныя длинноты, но, такъ же, какъ и въ «Абрекѣ», есть мѣста, предвѣщающія рѣшительный талантъ». Рецензентъ доказываетъ это длинными отрывками изъ «Хеака»,—отрывками, достоинство которыхъ читатели могутъ вообразить себѣ и безъ нашихъ объясненій. «Послѣ этихъ выписокъ (заключаетъ рецензентъ) намъ остается только пожелать, чтобы невольное сближеніе послѣдняго Хеака съ Абрекомъ принесло счастье юному поэту, и чтобы г. В. Зотовъ, уже товарищъ Лермонтову по первому поэтическому грѣху, точно также загладилъ свою поэму истинными успѣхами въ искусствѣ и явился современемъ товарищемъ ему по таланту и славѣ».

Здѣсь опять то же самое: вы, публика, говорите, что «Хаджи Абрекъ» въ цѣломъ слабъ, но имѣетъ мѣста, предвѣщающія рѣшительное дарованіе. Вы говорите, что Лермонтовъ великій поэтъ. *Не знаю, такъ ли это; но «Послѣдній Хеакъ», на мой взглядъ,*

ничѣмъ не отличается отъ «Хаджи Абрека»; потому надобно пред-рекать, что современемъ вы, публика, будете находить, что г. В. Зотовъ «товарищъ Лермонтову по таланту и славѣ». Можно морочить публику относительно Кювье и Шампольйона, потому что публика не читала и не будетъ читать ихъ; но Лермонтова она прочла, Байрона также знаетъ довольно хорошо, и говорить о нихъ такіа странныя вещи можно только проговариваясь.

Невольнымъ сознаніемъ передъ собою въ своей неспособности оцѣнивать достоинства и недостатки литературныхъ произведеній надобно объяснять постоянное правило барона Брамбеуса: съ одной стороны, о замѣчательныхъ явленіяхъ нашей словесности упоминать только вскользь, отдѣлываясь отъ нихъ нѣсколькими общими фразами, одною или двумя страничками, почти всегда повторяя только то, что уже было сказано другими, но, чтобы придать оригинальность заимствованнымъ сужденіямъ, повторяя ихъ въ утрированной формѣ; и, съ другой стороны распространяться о сѣробумажныхъ книжкахъ, въ которыхъ главное дѣло не художественныя недостатки—къ эстетикѣ не имѣютъ онѣ никакого отношенія— а просто бессмысленность и безграмотность. Для того, чтобы умѣть осудить ихъ, не впадая въ промахи, довольно быть человѣкомъ грамотнымъ и неглупымъ. Въ началѣ баронъ Брамбеусъ попробовалъ писать большія статьи о романахъ и драмахъ, которыя хотѣлъ расхвалить или побранить: такъ, въ первыхъ номерахъ «Библиотеки» помѣщены были обширные критическіе разборы «Торквато Тассо» и нѣкоторыхъ другихъ произведеній г. Кукольника, «Мазепы» г. Булгарина, «Черной Женщины» г. Греча. Но скоро онъ пересталъ пускаться въ подобныя предпріятія, вѣроятно, самъ, какъ человѣкъ умный, замѣтивъ, что они не въ характерѣ его способностей. Критическій отдѣлъ «Библиотеки для Чтенія» сталъ наполняться почти исключительно разборами ученыхъ сочиненій, а Литературная Лѣтопись—длинными рецензіями о пустыхъ, незаслуживающихъ вниманія книжкахъ. Вотъ, на примѣръ, заглавія литературныхъ произведеній, которыя удостоены очень длинныхъ рецензій въ послѣднихъ номерахъ «Библиотеки для Чтенія» 1842 г.

«Сенсаціи и замѣчанія госпожи Курдюковой за границею, данъ л'этранже», «Княжна Хабиба», повѣсть въ стихахъ Александры Фуксъ, «Мечты и звуки поэзіи Юсіфа Грузинова», «Завѣтныя думы», «Осенніе цвѣты и Вечерніе досуги», стихотворенія М. Демидова.

«Послѣдній Хеакъ», поэма В. Зотова; «Мать и дочь», романъ, сочиненіе Михайла Чернявскаго, «Сердце женщины», романъ М. Воскресенскаго, «Etaincelles et Cendres, poésies par mademoiselle E. Oulybueff». Moscou. 1842, «Любовь музыканта», романъ А. Ярославцева, «Повѣсти для добрыхъ москвитянъ», сочиненіе Эммануила Люмина.

О каждой изъ этихъ книгъ говорится преподробно, объ иныхъ на 15, объ иныхъ на 20 страницахъ. Зато въ старыхъ годахъ «Библіотека», начиная съ 1838 г. (въ 1836 и 1837 гг. разборы для этого журнала доставлялъ Н. А. Полевой), напрасно стали бы вы искать хотя такихъ статей, какъ разборы «Торквато Тассо» и «Черной Женщины». А между тѣмъ, журналъ проникнуть былъ сильною потребностью хвалить романистовъ и поэтовъ, къ которымъ благоволилъ. Онъ и хвалилъ ихъ безпрестанно, но только общими фразами, чувствуя, что подробные разборы даже посредственныхъ произведеній ему не по силамъ.

Теперь нѣтъ надобности намъ распространяться о томъ, могли ли баронъ Брамбеусъ сказать о Гоголѣ что нибудь въ самомъ дѣлѣ замѣчательное. Кто не сказалъ ни о комъ ничего, тотъ, конечно, ничего особеннаго не сказалъ и о Гоголѣ. Сначала «Библіотека для Чтенія» вѣрно держалась своего правила: о «Миргородѣ» и «Арабесахъ» она сказала только по нѣскольку словъ, довольно благосклонныхъ, потому что всѣ другіе журналы отозвались объ этихъ книгахъ выгодно. О «Вечерахъ на Хуторѣ близъ Диканьки» было сказано («Библіотека для Чтенія» 1834 г. № 5), что «у автора есть большое дарованіе», и съ обычною мѣткостью эстетическихъ сужденій барона Брамбеуса было прибавлено, что «у него нѣтъ чувства», между тѣмъ, какъ на cadaго читателя, не лишеннаго вкуса, сильнѣйшее впечатлѣніе производятъ «Вечера на Хуторѣ» именно своею задушевностью и теплотою. О «Миргородѣ», въ 3-мъ номерѣ «Библіотеки» 1836 года, было сказано:

Впродолженіе двухъ томовъ вы только и видите, что малороссійскихъ мужиковъ, казаковъ, дьячковъ, мастеровыхъ. Публика г. Гоголя «утрагетъ носъ полюю своего балахона» и жестоко пахнетъ дегтемъ, и всѣ его повѣсти, или правильнѣе, сказки, имѣютъ одинаковую физиономію. Литература эта, конечно, невысока, эта публика еще одной степенью ниже знаменитой публики польде-кововой; однакожъ, книга читается съ большимъ удовольствіемъ, потому что она писана слогомъ плавнымъ, пріятнымъ, исполненнымъ непринужденной вѣселости, для которой часто прощаешь автору неправильность языка и грам-

матическія ошибки. Самое замѣчательное качество манеры г. Гоголя—когда г. Гоголь не вдается въ сужденія объ ученыхъ предметахъ—есть то особенное малороссійское забавничанье, та простодушная украинская насмѣшка, которыми онъ обладаетъ въ высшей степени и которыя столько же различны съ англійскимъ юморомъ, сколько съ французскими тюрлюпинадами, или съ тѣмъ, что во Франціи называютъ *gouenardise*. Что это отнюдь не *esprit*, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія; а тѣмъ, которые принимали манеру автора «Вечеровъ на Хуторѣ» за *humour*, имѣемъ честь доложить, со всѣмъ должнымъ почтеніемъ къ ихъ проникаемости, что они, повидимому, не имѣютъ яснаго понятія объ юморѣ. Мы настаиваемъ на эти различія, которыя не каждому дано чувствовать въ равной степени, и хотя, слава Богу, не смѣшиваемъ малороссійской потѣхи съ юморомъ Стерна, Лема или Гогга, желали-бъ, однакожь, двухъ вещей: чтобы г. Гоголь не оставлялъ своей манеры, потому что она оригинальна, забавна и носить неподдѣльный отпечатокъ народности ума, и чтобы другіе не подражали его манерѣ, если они не родились въ Малороссіи, потому что она такъ же неподражаема и самобытна, какъ *esprit* и какъ юморъ. Дѣйствующія лица этихъ сказокъ принадлежать къ самымъ низкимъ сословіямъ и говорятъ языкомъ, приличнымъ своему званію: при всемъ томъ языкъ этотъ не поражаетъ читателя ни пошлыми оборотами бесѣды въ присядку, ни грубостью, слишкомъ вѣрною черной природѣ. Какъ не полюбить этихъ молодыхъ казачекъ, съ такими круглыми бровями, съ такимъ свѣжимъ и румянымъ лицомъ? Какъ не находить удовольствія въ картинѣ этихъ нравовъ, добродушныхъ, простыхъ, забавныхъ? Самая малая сказка—«Ночь передъ Рождествомъ»; она очень весела, очень *drole*... вѣрнѣе мы не умѣемъ выразить ея свойства. Здѣсь часто попадается и остроуміе, и вообще вы читаете ее съ наслажденіемъ и любопытствомъ съ начала до конца. «Иванъ Федоровичъ Шпонька» есть единственная въ цѣломъ сочиненія повѣсть, въ которой нѣтъ мужиковъ и казаковъ, и она именно столько занимательна, сколько нужно, чтобы пожалѣть о томъ, что она не кончена.

Самый недовѣрчивый читатель согласится, что эта рецензія написана въ благосклонномъ тонѣ. Но не дальше, какъ черезъ два мѣсяца, въ 5 номерѣ «Библиотеки» того же года, былъ помѣщенъ разборъ «Ревизора» совершенно въ другомъ родѣ. Мы возвратимся къ нѣкоторымъ мѣстамъ этой рецензіи, а теперь замѣтимъ только, что Н. А. Полевой, не слишкомъ церемонившійся съ Гоголемъ называетъ ее «бранью» и считаетъ нужнымъ отклонить отъ себя подозрѣніе, что она писана имъ. Послѣ того «Библиотека», втеченіе семнадцати или восемнадцати лѣтъ, постоянно нападала на Гоголя. Было бы слишкомъ долго припоминать всѣ ея выходки противъ этого писателя; да это и не представляетъ особеннаго интереса, потому что онъ слишкомъ однообразенъ: три-четыре колкости, показавшіяся рецензенту остроумными, повторяются безко-

нечное число разъ; иная отправляетъ службу безсмѣнно цѣлый годъ, иная и нѣсколько лѣтъ. Особенно долговѣчны были каламбуры съ словомъ «носъ», какъ-то: «лучшее средство достигъ до безсмертія есть писать о носѣ», «хорошо описать носъ есть верхъ остроумія», и т. д. Оставляя въ сторонѣ всѣ эти безчисленныя нападенія, статьи и статейки, по поводу разныхъ повѣстей Гоголя и особенно «Переписки съ Друзьями», по поводу упоминаній о Гоголѣ въ другихъ журналахъ и проч., мы приведемъ только нѣкоторые факты остроумія, порожденные первымъ изданіемъ «Мертвыхъ Душъ» только въ двухъ нумерахъ «Библіотеки» 1842 года: достаточно будетъ и этихъ примѣровъ, чтобы судить о степени мѣткости и остроты въ нападеніяхъ на Гоголя, составлявшихъ едва ли не единственную живую сторону Литературной Лѣтописи «Библіотеки» до послѣдняго времени.

Литературная лѣтопись того нумера «Библіотеки для Чтенія», въ которомъ помѣщенъ разборъ «Мертвыхъ Душъ», начинается статейкою о трехъ стихотворныхъ брошюркахъ Алипанова, стихи котораго своими качествами соотвѣтствовали прозѣ Ѳедота Кузмичева, А. А. Орлова, Сигова и прочихъ. Выписывая заглавія этихъ книжонокъ, рецензентъ вездѣ прибавляетъ слово «поэма». 1) Теофиль, «поэма» Е. Алипанова. Спб. 1842. 2) Военныя пѣсни. «Поэмы» Е. Алипановъ. Спб. 1842. 3) Досуги для дѣтей. «Поэмы» Е. Алипанова. Спб. 1842. Вдоволь натѣшившись надъ нелѣпыми его виршами, выписавъ изъ нихъ множество отрывковъ такого рода:

Какъ лѣтні настали
Прекрасны деньки,
Въ лѣсу выростали
Младые грибки,

и т. д. рецензентъ говоритъ, что Алипановъ сочиняетъ чудесныя *поэмы*. «Я не смѣю (продолжаетъ онъ) провозглашать Алипанова «величайшимъ изъ современныхъ поэтовъ, потому что въ нашей «литературѣ есть уже другой величайшій изъ современныхъ поэтовъ; но, по моему мнѣнію, смѣло можно автору «Досуговъ для дѣтей» и проч. дать первое мѣсто послѣ величайшаго.—Самая поэтическая поэма», въ «Досугахъ для дѣтей»—посланіе къ шестилѣтнему мальчику о томъ, какъ хорошо сдѣлалъ «крестьянинъ, другъ людей» подавъ милостыню нищему. «Въ нынѣшнемъ поло-

«женіи поэтическихъ дѣлъ и при настоящихъ понятіяхъ о поэзиі «нельзя и желать прекраснѣйшей поэмы. Но вѣкъ нашъ обилёнъ «чудесами. Я вокругъ себя вижу однѣ только поэмы, одна плѣнительнѣе другой. Что значитъ эта поэма (о брестыянинѣ, другѣ лю-«дей) въ сравненіи съ тою, о которой я сейчасъ буду имѣть честь «вамъ представить! Вотъ она «*Похожденія Чичикова*», или «Мерт-«вья Души». Поэма Н. Гоголя.

„Вы видите меня въ такомъ восторгѣ, въ какомъ еще никогда не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю отъ восхищенія: объявляю вамъ о такомъ литературномъ чудѣ, какого еще не бывало ни въ одной словесности. Поэма! Да еще какая поэма! Одиссея, Неистовый Орландъ, Чайльдъ-Гарольдъ, Фаустъ, Онѣгинъ, съ позволенія сказать *дрямъ* въ сравненіи съ этой поэмой. Поэтъ! Да еще какой поэтъ! поэтъ, передъ которымъ Гомеръ, Аріосто, Пушкинъ, лордъ Байронъ и Гёте, съ позволенія сказать, то, чѣмъ Ноздревъ называетъ Чичикова *). Это, можетъ быть, превосходить всѣ силы вашего соображенія, но это дѣйствительно такъ, какъ я вамъ докладываю. Никогда еще геній человѣческій не производилъ подобной поэмы. Никогда смертный родъ Адама не удивлялся такому великому поэту. Книга названа поэмой не въ шутку. Поэтъ провозглашенъ первымъ современнымъ поэтомъ не въ насмѣшку. Все это, увѣряю васъ, серьезно, и очень серьезно. Можно съ ума сойти отъ радости если хоть немножко любишь искусство, русскій языкъ и честь своей литературы“.

Потомъ рецензентъ начинаетъ разговоръ съ читателемъ. Читатель спрашиваетъ, возможно ли поэмы писать прозою, а не стихами: рецензентъ отвѣчаетъ, что вещи «необъятныя, какъ грезы титеславія въ бреду», выше «всякаго понятія, всякой похвалы, всякаго порицанія», что невозможно и порицать ихъ, а можно только знакомить съ ними читателей посредствомъ выписокъ. Начинаются выписки. Читатель безпрестанно прерываетъ текстъ «Мертвыхъ Душъ», замѣчаніями о неправильности выраженій, жесткости слога, неприличіи многихъ словъ въ литературномъ языкѣ. Замѣчанія большею частію такого достоинства: вѣтеръ и дымъ имѣютъ въ родительномъ падежѣ вѣтру, дыму, а не вѣтра, дыма; сказать «хотя... но», неправильно; надобно говорить: «хотя... однако»; нельзя сказать «совершенно никакого», должно говорить просто «никакого»; «слуги *возились* около экипажа», «слуга рассказывалъ ему *всякій вздоръ*»—выраженія низкія, грязныя. Рецензентъ отвѣчаетъ, что

*) Далѣе написано, что Ноздревъ называетъ Чичикова свинтусомъ.

въ этихъ выраженіяхъ именно и заключается истинная поэзія, высочайшее остроуміе; восклицаетъ, что онъ «отъ восторга становится на колѣни передъ первымъ современнымъ поэтомъ». Наконецъ читатель останавливаетъ его и говоритъ, что «Мертвыя Души» то же самое, что романы Поль-де-Кока, съ тою только разницею, что у Гоголя менѣе хорошаго и болѣе грязнаго, нежели у Поль-де-Кока.

Послѣ того всѣ остальные книги, разбираемыя въ Литературной Лѣтописи, называются «поэмами»: «Холодная вода, какъ всегдашнее лекарство», сочиненіе доктора медицины Вайгерсгейма. «Эта «удивительная поэма описываетъ насморки. Холодной водой докторъ Вайгерсгеймъ вылечиваетъ всѣхъ людей отъ всѣхъ болѣзней, «въ томъ числѣ и посредственныхъ романистовъ отъ гордости и «тщеславія». — «Общая анатомія», сочиненіе доктора медицины «Ивана Быстрова, и «О распознаваніи и леченіи аневризмовъ», «сочиненіе И. Гильдебранда—«двѣ очень любопытныя и полезныя «поэмы». — «Практическія упражненія въ физикѣ, переводъ съ французскаго» — «поэма бесполезная и недлюбопытная». «Древняя флора, «или описаніе растущихъ въ Россійскомъ государствѣ деревь и «кустарниковъ» — «поэма, изданная книгопродавцемъ, для извѣстной «ему цѣли».

Изъ многихъ продолженій этого остроумія по поводу «Мертвыхъ Душъ» выбираемъ только одинъ примѣръ — остроуміе, поводъ къ которому подала брошюра г. К. Аксакова, написанная въ восторженномъ тонѣ. Вотъ рецензія на эту книжку:

Нѣсколько словъ о поэмѣ „Похожденія Чичикова или Мертвыя Души“ сочиненіе Константина Аксакова. Москва. 1842. Эта брошюра имѣетъ цѣлью доказать, что авторъ поэмы „Похожденія Чичикова“—Гомеръ, а сама поэма „Похожденія Чичикова“—Иліада; что въ „Иліадѣ“ является Греція съ своимъ міромъ“ а „въ эпическомъ созерцаніи“ автора поэмы „Похожденія Чичикова“ является чортъ знаетъ что, но тоже съ своимъ міромъ; что это „эпическое его созерцаніе и есть чистый древній эпосъ, совершенно то же, что у Гомера, что это—„чудное, чудное явленіе!“ и прочая, и прочая. Это плохо! Когда люди издають, на свои деньги, такія похвальныя брошюры, это очень плохо! Это показываетъ то, что поэма нехороша!“ (Слова, напечатанныя курсивомъ, такъ напечатаны въ самой „Библиотекѣ для Чтенія“).

И, не давая испариться букету остроумія, рецензентъ тотчасъ же переноситъ его въ отзывѣ о романѣ Поль-де-Кока, поставленный въ слѣдъ за отзывомъ о брошюрѣ г. К. Аксакова:

Парижская красавица. Романъ Поль-де-Кока. Спб. 1842. Въ подлинникѣ эта *поэма* называется *La jolie fille du faubourg*. Всѣ *поэмы* Поль-де-Кока переводятся на русскій языкъ. Это единственный изъ современныхъ писателей, котораго „созданія“ (курсивъ и язвительныя—„сохранены, какъ поставлены въ „Библіотекѣ для Чтенія“) удостоиваются у насъ такой чести. Мы не пропускаемъ ни одного его созданія. Можно ли, послѣ этого, сомнѣваться въ нашемъ рѣшительномъ вкусѣ къ *поль-де-коковскимъ поэмамъ*? „Парижская красавица“ довольно скучное „созданіе“. Переводъ довольно плохъ. Но это не удержитъ читателей. Мы такъ любимъ Поль-де-Кока, что между его родомъ и Одиссеей уже не дѣлаемъ никакого различія, увѣряемъ, что это—*совершенно одно и то же*, и всякаго, кто творитъ подобные романы, нѣкоторые называютъ *Гомеромъ*, не страшась нисколько, что если Европа услышитъ это, то она подумаетъ, что они—въ бѣлой горячкѣ.

Здѣсь для насъ непонятно только одно: какимъ образомъ можно было сказать, по поводу панегирика, написаннаго г. К. Аксаковымъ: «Когда люди издадутъ на свои деньги такія похвальныя брошюры, это очень плохо! Это показываетъ, что *поэма* плоха!» Смыслъ этихъ выраженій ясенъ: Гоголь заказалъ г. К. Аксакову похвальную брошюру и напечаталъ ее на свой счетъ. Можно не соглашаться съ г. К. Аксаковымъ, нѣтъ преступленія и острить надъ нимъ, если угодно; но между русскими писателями едва ли былъ тогда, или есть теперь, хотя одинъ, столь мало знакомый съ общественнымъ положеніемъ и личнымъ характеромъ г. К. Аксакова, чтобы незнаніе давало ему право дѣлать предположенія, будто бы г. К. Аксаковъ можетъ писать панегирики по заказу и печатать ихъ на чужой счетъ. Велика должна была быть досада рецензента, если доводила его до столь несообразныхъ намековъ. Довольно остротъ уже мы выписали. Если Гоголь еще не убитъ ими во мнѣніи читателя, то всѣ остальные уже не нанесли бы ему новыхъ ранъ, потому что онъ только варіаціи на малочисленныя темы, которыя достаточно истощены и выписанными у насъ отрывками. Пора поговорить о томъ, отчего эти убійственныя нападенія были такъ многочисленны.

Помѣщая длинныя статьи о Гоголѣ, баронъ Брамбеусъ нарушалъ свое неизмѣнное во всѣхъ другихъ случаяхъ правило уклоняться отъ подробныхъ разборовъ замѣчательныхъ явленій нашей словесности. Это одно заставляетъ предполагать особенныя причины для объясненія его исключительнаго вниманія къ Гоголю: кто не считалъ нужнымъ говорить съ своими читателями о Пушкинѣ, Лер-

монтовъ, Кольцовъ, не сталъ бы распространяться и о Гоголѣ, еслибъ, не имѣлъ на то своихъ частныхъ побужденій. Притомъ же мы замѣтили, что тонъ его отзывовъ слишкомъ рѣшительно измѣнился втеченіе короткаго времени, отдѣлявшаго третій нумеръ «Библіотеки для Чтенія» 1836 года отъ пятой книжки того же года: въ первыхъ числахъ марта онъ говорилъ о Гоголѣ благосклонно, въ первыхъ числахъ мая отзывался о немъ уже такъ, что самому Н. А. Полевому разборъ этотъ казался неприличною «бранью». Эта быстрая и рѣзкая перемѣна совершенно объясняется тѣмъ, что въ первыхъ числахъ апрѣля вышелъ первый томъ пушкинскаго «Современника», заключавшій въ себѣ статью «О движеніи журнальной литературы», одну выписку изъ которой привели мы выше. Вотъ другой отрывокъ, объясняющій исторію возникновенія пушкинскаго журнала и отношенія его издателя и сотрудниковъ къ барону Брамбеусу. Сказавъ, что въ 1833 году всѣ прежніе журналы наши «имѣли постный видъ» и тѣсный кругъ читателей, авторъ статьи продолжаетъ:

«Въ это время книгопродавецъ Смирдинъ, давно уже извѣстный своею дѣятельностью и добросовѣстностью, рѣшился издавать журналъ обширный, энциклопедическій, завоевать всѣхъ литераторовъ, сколько ихъ ни есть въ Россіи, и заставить ихъ участвовать въ своемъ предпріятіи. Въ программѣ были выставлены имена почти всѣхъ нашихъ писателей. Профессоръ арабской словесности, г. Сенковскій, взялся быть распорядителемъ журнала. Къ нему былъ присоединенъ редакторъ г. Гречъ. Никто тогда не заботился о весьма важномъ вопросѣ: долженъ ли журналъ имѣть одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнѣніе, или быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣній и толковъ? Журналъ на сей счетъ отозвался глухо, обыкновеннымъ объявленіемъ, что критика будетъ самая благонамѣренная и безпристрастная, чуждая всякой личности и неприличности—объщаніе, которое даетъ всякій журналистъ. Съ выходомъ первой книжки публика ясно увидѣла, что въ журналѣ господствуютъ тонъ, мнѣнія и мысли одного, что имена писателей, которыхъ блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавнаго листка, взяты были только напрокатъ, для привлеченія большаго числа подписчиковъ. Главнымъ дѣятелемъ и движущею пружиною всего журнала былъ г. Сенковскій. Имя г. Греча выставлено было только для формы. Но какая была цѣль редакціи этого журнала, какую задачу предположила она рѣшить? Здѣсь мы поневолѣ должны задуматься, что, безъ сомнѣнія, сдѣлаетъ и читатель. Въ программѣ начево не сказалъ г. Сенковскій о томъ, какой начерталъ для себя путь, какую выбралъ для себя цѣль; всѣ увидѣли только, что онъ взошелъ незамѣтно въ первый нумеръ, а въ концѣ его развернулся, какъ полный хозяинъ. Но на что преимущественно было обращено вниманіе сего хозяина, были ли гдѣ замѣтны тѣ

неподвижны правила, безъ коихъ человекъ дѣлается безхарактернымъ, которыя опредѣляютъ его физиономію? Прочитавъ все помѣщенное имъ въ этомъ журналѣ, невольно остановимся въ изумленіи: что это такое? что заставляло писать этого человека? Послѣдуемъ за распорядителемъ во всѣхъ родахъ его сочиненій».

Авторъ обзора пересматриваетъ ученые статьи, критическія статьи и повѣсти этого писателя и отзывается о нихъ справедливо, но вовсе не съ похвалою, замѣчая, какъ главный недостатокъ, что во всѣхъ этихъ повѣстяхъ и статьяхъ нѣтъ единства мысли, опредѣленныхъ убѣжденій, нѣтъ никакой цѣли. Мы выпи-сали уже сужденіе автора обзора о содержаніи рецензіи барона Брамбеуса. Нѣсколькими строками раньше, еще точнѣе опредѣляется общій характеръ его разборовъ: «Въ критикѣ г. Сенковский пока-заль отсутствіе всякаго мнѣнія: *въ его рецензіяхъ нѣтъ ни поло-жительнаго, ни отрицательнаго вкуса, вовсе никакого.* (Подчер-кнуто въ подлинникѣ). То, что ему нравится сегодня, завтра дѣ-лается предметомъ его насмѣшекъ; у него рецензія не есть дѣло «убѣжденія и чувства, а просто слѣдствіе расположенія духа и об-стоятельствъ. Онъ никогда не заботится о томъ, что говорить, и «въ слѣдующей статьѣ уже не помнить вовсе написаннаго въ «предыдущей». Выборъ статей для отдѣла оригинальной и пере-водной словесности «показывалъ очень мало вкуса».

«Въ «Библиотекѣ для Чтенія» случилось еще одно дотогѣ неслыханное на Руси явленіе. Распорядитель ее сталъ переправлять и передѣлывать всѣ почти статьи, въ ней печатаемыя. Такой странной опеки до сихъ поръ на Руси еще не бывало. Многие писатели начали отказываться отъ участія въ изданіи сего журнала. Число сотрудниковъ такъ умалилось, что на другой годъ издатели уже не выставили длиннаго списка именъ и упомянули глухо, что участвуютъ лучшіе литераторы, не означая какихъ. Статьи замѣтно начали быть хуже. «Библиотеку» уже менѣ читали въ столицахъ».

Другіе журналы (продолжаетъ авторъ) были слабы по объему и по числу подписчиковъ по сравненіи съ «Библиотекою для Чтенія». Что же было дѣлать литераторамъ, которые увидѣли себя въ необходимости отказаться отъ участія въ «Библиотекѣ для Чте-нія»? *).

*) Чтобы представить читателямъ хотя одинъ примѣръ того, какимъ обра-зомъ передѣлывались въ «Библиотекѣ для Чтенія» статьи самыхъ извѣст-ныхъ литераторовъ, приведемъ объясненіе Н. А. Полеваго изъ «предисловія»

новый журнал: «онъ былъ нуженъ 1) для тѣхъ, которые желали «имѣть пріютъ для своихъ мнѣній, ибо «Библіотека для Чтенія» не «принимала никакихъ критическихъ статей, если не были онѣ по «вкусу главнаго распорядителя: 2) для тѣхъ, которые видѣли съ «изумленіемъ, какъ на ихъ собственныя сочиненія наложена была «рука распорядителя, ибо г. Сенковскій началъ уже переправлять, «безо всякаго разбора лицъ, всѣ статьи, отдаваемыя въ «Библіотеку для Чтенія». Такимъ образомъ явился «Московскій Наблюдатель». Черезъ нѣсколько времени, по тѣмъ же самымъ причинамъ и побужденіямъ, основанъ былъ Пушкинымъ «Современникъ». — Очень понятно, съ какими чувствами «Библіотека для Чтенія» и ея

къ его „Очеркамъ русской литературы“. Тутъ мы видимъ замѣчательный примѣръ того, какимъ образомъ всѣ литераторы, отъ участія которыхъ зависѣли достоинство и успѣхъ журнала, были привлечены къ „Библіотекѣ для Чтенія“ почтеннымъ А. Ф. Смирдинымъ, и какимъ образомъ распорядитель „Библіотеки“ лишилъ этотъ журналъ ихъ полезнаго содѣйствія. Мы еще помнимъ, какъ, перечитывая въ старыя гды „Библіотеку“, мы были поражены чрезвычайно рѣзкимъ удрученіемъ ея критической части въ 1836 году: тонъ статей оставался почти всегда прежній, но онѣ подробно говорили о замѣчательныхъ литературныхъ произведеніяхъ, чего не было прежде; содержаніе разборовъ было несравненно дѣльнѣе, а развитіе мыслей гораздо основательнѣе и остроумнѣе прежняго. Черезъ нѣсколько времени попались намъ въ руки „Очерки литературы“, и дѣло объяснилось.

„Не здѣсь мѣсто (говоритъ Н. А. Полевой) излагать мое мнѣніе о ней (Библіотекѣ для Чтенія) или рассказывать о моихъ отношеніяхъ къ ея почтенному редактору. Скажу одно, что съ самаго начала сего журнала я былъ рѣшительно не согласенъ съ его цѣлью, планомъ, возрѣніемъ и отрекался отъ всякаго постояннаго въ немъ участія, хотя неоднократно былъ убѣдительно приглашаемъ къ тому. Въ 1836 году, когда давно уже прекратился журналъ, мною издававшійся, я пріѣзжалъ въ Петербургъ, и — для чего скрывать? о подобныхъ поступкахъ надобно говорить во всеуслышаніе — добрый, благородный издатель „Библіотеки для Чтенія“, А. Ф. Смирдинъ, оказалъ мнѣ тогда безкорыстную и важную услугу въ моихъ тогдашнихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, — услугу, когда люди, называвшіеся моими друзьями, — люди, которымъ я имѣлъ, быть можетъ, нѣкогда случай быть полезнымъ, отвергли меня, показали мнѣ себя въ самой темной краскѣ безчувственнаго эгоизма... Богъ съ ними, я давно простилъ имъ! тѣмъ съ большею признательностью вспоминаю о немногихъ, тѣмъ благодарнѣе былъ и всегда буду я добромъ, благородному А. Ф. Смирдину, который за услугу свою требовалъ участія моего въ „Библіотекѣ для Чтенія“. Отказаться я не могъ. Мы сошлись съ редакторомъ ея. Послѣ продолжительнаго съ нимъ *переговора*, я *взялъ на себя отдѣленія критики и библіографіи* и началъ доста-

«распорядитель» встрѣтили оба эти журнала. О враждѣ против «Московского Наблюдателя» не будемъ говорить; но вотъ какія слова вырвались у распорядителя «Библиотеки для Чтенія», когда онъ узналъ о намѣреніи Пушкина издавать журналъ и прочиталъ программу этого изданія:

«Африканскій король Ашантиевъ, говорятъ, объявилъ войну Англии и уже открылъ кампанію. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, въ исходѣ весны, тоже вступаетъ на поле брани: онъ хочетъ издавать альманахъ или журналъ «Современникъ». Этотъ журналъ или альманахъ учреждается нарочно противъ «Библиотеки для Чтенія», съ явнымъ и открытымъ намѣреніемъ при помощи Божіей уничтожить ее въ прахъ!» «О вы, которые читаете разные русскіе журналы, скажите намъ по милости, который это уже журналъ возникаетъ съ этимъ благимъ намѣреніемъ? Четвертый, кажется? или пятый?» «Библиотека для Чтенія» поставила себѣ правиломъ не вступать въ полемику съ другими журналами;

влять изъ Москвы статьи по обоимъ отдѣленіямъ. Съ перваго шага всѣ условія моего сотрудничества были нарушены редакторомъ. Не мое было дѣло отвѣчать за статьи самого редактора и другихъ сотрудниковъ; но, къ изумленію моему, редакторъ наложилъ право нестерпимаго ценсорства на всѣ мои статьи, передѣлывалъ въ нихъ языкъ по своей методѣ, переправлялъ ихъ, прибавлялъ къ нимъ, убавлялъ изъ нихъ, и многое являлось въ такомъ извращенномъ видѣ, что, читая «Библиотеку для Чтенія», иногда вовсе я не могъ отличить, что такое хотѣлъ я сказать въ той или другой статьѣ... Возраженія мои были тщетны, и, несмотря на все желаніе мое исполнить желаніе добраго А. Ф. Смирдина, я принужденъ былъ рѣшительно отказаться отъ всякаго участія въ «Библиотецѣ для Чтенія»... До какой степени мысли мои были измѣнены, повѣрить трудно. Приведу три или четыре примѣра. Я послалъ редактору статью о комедіи М. Н. Загоскина «Недовольные», гдѣ говорилъ о комедіи Грибоѣдова, изъясняя безпристрастно мѣнѣе мое и отдавая справедливость и прекрасному произведенію М. Н. Загоскина, и превосходному произведенію Грибоѣдова. Редакторъ прибавилъ брань на «Ревизора», комедію г. Гоголя, и придалъ словамъ моимъ о Грибоѣдовѣ такой смыслъ, что ими оскорбилъ всѣхъ почитателей памяти Грибоѣдова и прежде всѣхъ—перваго меня... (Слѣдуютъ примѣры искаженія трехъ другихъ статей). Но всего забавнѣе было приключеніе съ статьею о стихотвореніяхъ г. Соколовскаго, «Миряданіе» и «Хеверъ». Желая показать, что поэтъ совершенно превратно смотритъ на предметъ свой, я написалъ статью, гдѣ подробно изложилъ свои мысли о повѣи духовной и о сочиненіяхъ г. Соколовскаго. Редакторъ «Библиотеки для Чтенія», какимъ-то непостижимымъ для меня образомъ, умѣлъ вырвать изъ статьи нѣкоторыя частіцы и помѣстилъ ихъ въ

она только позволяет себѣ увѣдомить публику о программѣ новаго журнала». «Но съ появленіемъ первой его книжки водворяется глу-
 «бокое и краснорѣчивое молчаніе: ни слова объ этомъ журналѣ,
 «особенно, если онъ плохъ и смѣетъ еще браниться!» Журналъ Пуш-
 «кина будетъ содержать въ себѣ обзорѣнія русской журналистики.
 Этого не дѣлаютъ англійскіе Reviews и французскіе Revues,—слѣ-
 «довательно журналъ Пушкина самъ объявляетъ, что будетъ принад-
 «лежать къ журнальной черни», которая одна занимается литера-
 «турою полемикою. «Какъ горько, какъ прискорбно видѣть, когда
 «геній, каковъ Александра Сергѣевича Пушкина, рожденный вить
 «безсмертные вѣнки на вершинѣ зеленаго Геликона, нарвавъ тамъ
 «горсть колючихъ остротъ, бѣжитъ стремглавъ по скату горы въ
 «объятія собравшейся на равнинѣ толпы Віоэанъ, которая обѣ-
 «щаетъ, за подарокъ, наградить его грубымъ хохотомъ! Берегитесь,
 «неосторожный геній! Послѣдніе слои горы обрывисты, и у самаго
 «подножія Геликона лежитъ Михонское болото,—бездонное боло-
 «то, наполненное черною грязью! Эта грязь—журнальная поле-
 «мика, самый низкій и отвратительный родъ прозы, послѣ прямо-
 «ванныхъ пасквилей». Быть можетъ, Александръ Сергѣевичъ на-
 «дѣется придать своему журналу болѣе занимательности войною съ

«Библиографіи», а остальному далъ названіе «О духовной поэзіи» и въ видѣ
 статьи отдѣльной напечаталъ въ отдѣленіи «Прозы», съ моимъ именемъ. Въ
 этой статьѣ столько нашелъ я прибавокъ, урѣзокъ, измѣненій, что вовсе не
 понималъ и теперь не понимаю, о чемъ идетъ въ ней рѣчь. Статья начинается,
 напримѣръ, небывалымъ анекдотомъ, будто Пушкинъ разговаривалъ нѣкогда
 съ Батюшковымъ о русскихъ стихахъ. Но Батюшкова съ 1817 года не было
 уже въ Петербургѣ, когда Пушкинъ былъ еще ученикомъ въ Лицеѣ, писалъ
 дѣтскіе стихи и не могъ разсуждать о поэзіи русской съ однимъ изъ кори-
 феевъ тогдашней русской поэзіи. По крайней мѣрѣ, я ничего подобнаго не
 слыхивалъ отъ Пушкина и ничего не писалъ о разговорѣ его съ Батюшко-
 вымъ. Радуюсь, что теперь, печатая «Очерки», могу освободить себя отъ не-
 принадлежащаго мнѣ и непризнаваемаго мною. Беру изъ «Библиотеки для
 Чтенія» тѣ только мои статьи, которымъ (не имѣя у себя прежнихъ origi-
 наловъ) могъ я памятью возвратитъ, по возможности настоящій смыслъ ихъ.
 Отъ всего остального, что писано въ «Библиотекѣ для Чтенія» 1836 и 1837
 годовъ, я рѣшительно отрекаюсь и ничего тамъ помѣщеннаго прошу не по-
 читать моимъ: оно ни мое, ни редакторова, а Богъ знаетъ чье, и что оно
 такое, я первый менѣе всѣхъ понимаю».

Намъ понадобится это объясненіе Н. А. Полеваго, когда мы возвратимся
 къ разбору «Ревизора», помѣщенному въ «Библиотекѣ для Чтенія» 1836 года
 и содержащему такое внезапное объявленіе непримиримой войны Гоголю.

«Библиотекою для Чтенія», «но онъ ошибается въ расчетѣ: «Библиотека для Чтенія» никогда не унижится до отвѣта другимъ журналамъ. И зачѣмъ вамъ отвѣчать, друзья? Не лучшей ли вамъ отвѣтъ — молчаніе? Вообще, не бесполезно знать, что презрѣнія у насъ достанетъ для всѣхъ нападокъ, отъ кого бы онѣ ни происходили». (Библиотека для Чтенія. 1836 г., апрѣльская книжка).

Въ тонѣ этихъ словъ столько гнѣва и вражды, что они, безъ всякаго сомнѣнія, диктованы чувствомъ оскорбленнаго самолюбія. Того, что Пушкинъ обѣщалъ въ своемъ журналѣ помѣщать обзорнія журнальной литературы, было бы недостаточно для столь сильнаго раздраженія рецензента «Библиотеки»; но ему, безъ сомнѣнія, уже за нѣсколько дней до появленія первой книжки пушкинскаго журнала, въ то время, какъ писалъ онъ эту филиппику, было извѣстно, въ какой степени неблагопріятны для барона Брамбеуса будутъ отзывы новаго журнала; да и могло ли это быть неизвѣстно? Двадцать лѣтъ тому назадъ, литературныхъ слуховъ и толковъ въ пишущемъ кружкѣ было гораздо болѣе, нежели теперь; а еще и нынѣ о каждомъ замѣчательномъ литературномъ явленіи каждому нечуждому литературнаго кружка приходится волею или неволею слышать задолго до выхода книги въ свѣтъ. Невозможно сомнѣваться въ томъ, что баронъ Брамбеусъ зналъ впередъ, какова будетъ въ новомъ изданіи первая статья о журналистикѣ, и что рѣзкія выходки «Библиотеки» писаны подъ влияніемъ этихъ слуховъ. Когда явился первый томъ новаго изданія съ статьею, отрывки изъ которой мы привели, писатель, противъ котораго она была направлена, также не могъ волею или неволею не услышать, кто такой былъ авторомъ этой статьи. Люди чуждые литературному кружку, могли приписывать статью самому Пушкину; но въ литературномъ кружкѣ не могло быть тайною, что писалъ ее Гоголь и скоро Пушкинъ печатнымъ образомъ объявилъ, что статья «О движеніи журнальной литературы» принадлежитъ не ему. Для людей, знающихъ нашу литературу, всѣ подобныя объясненія совершенно излишни: они знаютъ, что въ нашей литературѣ тайны невозможны, и теперь у насъ пишущихъ людей такъ мало, что всѣ псевдонимы, и анонимы — пустая игрушка, прозрачный флёръ, ничего не прикрывающій. Хотя бы даже вовсе того не желалъ онъ, литератору нѣтъ возможности не знать истиннаго автора каждой анонимной статьи, возбуждающей нѣкоторое вниманіе.

Такимъ образомъ, баронъ Брамбеусъ имѣлъ двѣ основательныя причины измѣнить тонъ своихъ сужденій о Гоголѣ. Во первыхъ, Гоголь явился однимъ изъ главныхъ участниковъ пушкинскаго журнала: въ первой же книжкѣ «Современника» были помѣщены два произведенія, подписанныя его именемъ: «Коляска» и «Утро дѣловаго человѣка»; въ одной изъ слѣдующихъ—«Ночь». Во вторыхъ, что еще важнѣе, Гоголь былъ авторъ неблагоприятной ему статьи «О движеніи журнальной литературы». Самъ баронъ Брамбеусъ обнаружилъ третью причину своего нерасположенія къ автору «Ревизора»: онъ считалъ его, какъ юмористическаго писателя, своимъ соперникомъ. Вотъ предварительныя замѣчанія изъ «брани на Ревизора», вставленной распорядителемъ «Библіотеки для Чтенія» въ статью Н. А. Полеваго о «Горѣ отъ Ума» и «Недовольныхъ» Загоскина, какъ мы видѣли изъ свидѣтельства самого Полеваго. Очевидно, что въ этомъ отрывкѣ остались нѣкоторыя выраженія, написанныя Полевымъ. Но читатель легко отличить фразы, которыя могъ написать только баронъ Брамбеусъ:

„Перейдемъ къ „Ревизору“. Здѣсь прежде всего надобно привѣтствовать въ его авторѣ новаго комическаго писателя, съ которымъ можно поздравить русскую словесность. Первый опытъ г. Гоголя (*т. е. первый опытъ въ комедіи*) вдругъ обнаружилъ въ немъ необыкновенный даръ комики, и еще такой комики, которая обѣщаетъ поставить его между отличнѣйшими въ этомъ родѣ писателями. Мы съ удовольствіемъ предаемся этой пріятной надеждѣ, хотя одинъ весьма умный человѣкъ сказалъ намъ въ отвѣтъ на подобное предсказаніе: „Ничего не будетъ! его захватятъ!“ Въ самомъ дѣлѣ, опасность, кажется, угрожаетъ автору съ этой стороны, и если у него есть самолюбіе, онъ не можетъ употребить его съ большею пользою для себя и для литературы, какъ поручивъ ему оберегать себя отъ яда необдуманныхъ похвалъ. Кажется, что одна изъ котерій, которая чрезвычайно нуждается въ примѣчательномъ талантѣ, для того, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, избрала его своимъ героемъ и условилась превозносить до небесъ каждое его сочиненіе, скрывая отъ него и отъ публики ихъ несовершенство. Ежели это правда, то нельзя не предостеречь г. Гоголя, что онъ стоитъ на пропасти, прикрытой цвѣтами, и можетъ упасть въ нее со всею своею будущею славой. Что касается до насъ, то мы никогда не были въ состояніи усмотрѣть малѣйшаго сходства между талантомъ г. Гоголя и таинственнаго барона и не понимаемъ, какимъ образомъ литературная досада могла ослѣпить котерію до того, чтобы она вздумала слѣлать изъ автора „Вечеровъ на хуторѣ“ и „Миргорода“ соперника автору „Фантастическихъ путешествій“ и „Похожденій одной ревжской души“. Если г. Гоголь примѣтитъ это вовремя, то его личное самолюбіе *можетъ ему воспользоваться* замѣчаніями тѣхъ, которые ничего столько не

желаютъ, какъ полного развитія его таланта, не довърять умышленнымъ панегирикамъ и усовершенствовать свое дарованіе“.

«Котерія, нуждающаяся въ примѣчательномъ талантѣ, для того, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, избравшая Гоголя своимъ героемъ и условившаяся превозносить до небесъ каждое его сочиненіе, чтобы сдѣлать его соперникомъ таинственнаго барона», по смыслу словъ и по тогдашнимъ отношеніямъ, могла означать только Пушкина и его сподвижниковъ. Но гдѣ жь баронъ Брамбеусъ нашелъ доказательство этого намѣренія? Въ то время былъ изданъ только одинъ томъ пушкинскаго журнала, а единственнымъ мѣстомъ, относившемся въ этомъ томѣ къ Гоголю, была небольшая рецензія втораго изданія «Вечеровъ на хуторѣ», которую мы вполнѣ приводимъ въ примѣчаніи *).

Читатели видятъ, что несовершенства произведеній Гоголя все не скрываются этою рецензіею, и она не заключаетъ ни самаго отдаленнѣйшаго намека на противопоставленіе Гоголя таинственному барону, если не видѣть этого намека въ подчеркнутомъ нами выраженіи «мы, не смѣявшіеся со временъ Фонвизина». Надобно принимать одно изъ двухъ: или слова барона написаны по дошедшимъ до него слухамъ, что Пушкинъ въ разговорахъ ставитъ Гоголя выше барона Брамбеуса—и это служило бы новымъ подтвер-

*) «Читатели наши, конечно, помнятъ впечатлѣніе, произведенное надъ ними появленіемъ «Вечеровъ на хуторѣ»: всѣ обрадовались этому живому описанію племени поющаго и пляшущаго, этимъ свѣжимъ картинамъ малороссійской природы, этой веселости, простодушной и вмѣстѣ лукавой. Какъ изумились мы русской книгѣ, которая заставила насъ смѣяться, — мы, не смѣяшіеся со временъ Фонвизина! Мы были такъ благодарны молодому автору, что охотно простили ему *неровность и неправильность его слога, безсвязность и неправдоподобіе нѣкоторыхъ разсказовъ*, предоставивъ сіи недостатки на поживу критики. Авторъ оправдалъ такое снисхожденіе. Онъ съ тѣхъ поръ непрестанно развивался и совершенствовался. Онъ издалъ «Арабески», гдѣ находится его «Невскій проспектъ», самое полное изъ его произведеній. Вслѣдъ затѣмъ явился «Миргородъ», гдѣ съ жадностью всѣ прочли и «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», эту шутивую, трогательную идиллію, которая заставляеть васъ смѣяться сквозь слезы грусти и умиленія, и «Тараса Вульбу», коего начало достойно Вальтера Скота. Г. Гоголь идетъ еще впередъ. Желаетъ и надѣемся имѣть часто случай говорить о немъ въ нашемъ журналѣ. — Надняхъ будетъ представлена на здѣшнемъ театрѣ его комедія «Ревизоръ».

жденіемъ нашему прежнему объясненію рѣзкой выходки противъ Пушкина—или слова барона Брамбеуса вызваны неудовольствіемъ на то, что Гоголь поставленъ прямымъ наслѣдникомъ Фонвизина, безъ оговорки, что юмористическія статьи барона Брамбеуса также превосходны,—и это послужило бы новымъ подтвержденіемъ мнѣнія о его щекотливости.

Какъ бы то ни было, но факты, нами сведенные, не оставляютъ сомнѣнія, что въ отзывахъ барона Брамбеуса о Гоголѣ участвовало оскорбленное самолюбіе. И чѣмъ дальше шло время, тѣмъ сильнѣе должно было становиться это побужденіе, потому что удивленіе барону Брамбеусу, какъ «отличнѣйшему юмористу», сначала очень сильное въ извѣстномъ кружкѣ читателей, съ каждымъ годомъ быстро ослабѣвало, а слава Гоголя быстро увеличивалась. Только этимъ личнымъ отношеніемъ — мыслью барона Брамбеуса видѣть въ Гоголѣ своего противника — можно объяснить фактъ, что баронъ въ отзывахъ о Гоголѣ отступалъ отъ постояннаго правила своей критической дѣятельности: какъ можно менѣе говорить о замѣчательныхъ явленіяхъ словесности, чтобы избѣжать промаховъ въ дѣлѣ, для котораго нуженъ вкусъ. Еще разительнѣе его отступленіе отъ постоянной тактики въ томъ, что онъ неизмѣнно продолжалъ говорить о Гоголѣ лѣтъ пятнадцать то же самое, что сказалъ въ 1836 году. Обыкновенно онъ поступалъ иначе: какъ скоро замѣчалъ онъ, что восхваленный имъ писатель уничтоженъ критикою другихъ журналовъ, онъ тотчасъ же начиналъ повторять мнѣнія, высказанныя критикомъ-побѣдителемъ, не заботясь о творчествѣ этихъ мнѣній съ его прежними высренними похвалами; и наоборотъ, когда слава писателя утверждалась, онъ начиналъ также хвалить его, вслѣдъ за другими журналами. Примѣры послѣдняго излишни: всѣ наши талантливые писатели довольно долго сначала не обращали на себя никакого вниманія барона Брамбеуса, какъ люди, не обнаруживающіе дарованій, или даже были имъ осмѣиваемы, не по злему умыслу, а просто по неумѣнью его отличить, дѣйствительно ли они талантливы; а потомъ всѣхъ ихъ онъ хвалилъ, когда другими критиками были объяснены ему ихъ достоинства. Что же касается примѣровъ того, какъ онъ покидалъ своихъ прежнихъ кліентовъ, когда слава ихъ была разрушена другими, расскажемъ одинъ случай. Мы привели отрывки изъ разбора «Торквато Тассо», гдѣ это произведеніе было превознесено до не-

бесь; черезъ два-три мѣсяца съ автора были сняты чинъ Байрона и санъ «великаго», объявлено было даже, что баронъ Брамбеусъ, хваля его, только забавлялся: критику вздумалось, говорила «Библиотека для Чтенія», сѣсть у окна и бросить вѣнокъ славы на голову первому прохожему, прохожій, т. е. г. Кукольникъ, не въ мѣру возгордился, и надобно снять съ него вѣнокъ, данный по капризу, а не по заслугѣ. Это объясненіе, повидимому столь откровенное, возмутило многихъ и надѣлало въ свое время большаго шума: «какъ! раздавать и снимать вѣнки байроновской славы по одному капризу!» говорили всѣ съ негодованіемъ. Но, разобравъ дѣло ближе, мы увидимъ, что негодовать на барона было почти не за что: онъ, кажется, говорилъ о капризѣ только для оправданія своей переменчивости въ обращеніи съ г. Кукольниковъ, а на самомъ дѣлѣ поступалъ по своему искреннему убѣжденію и крайнему разумнію. Исторія повышенія и низложенія г. Кукольника въ «Библиотеку для Чтенія» произошла слѣдующимъ образомъ. Н. А. Полевой помѣстилъ въ «Телеграфѣ» краткій отзывъ о «Торквато Тассо», въ томъ смыслѣ, что «юный авторъ подаетъ надежды и уже выказалъ большое дарованіе».—Изъ этого отзыва и выросла восторженная статья барона Брамбеуса. Потомъ Полевой помѣстилъ въ «Телеграфѣ» подробный разборъ «Торквато Тассо», гдѣ, какъ обыкновенно бываетъ при подробномъ разборѣ, рядомъ съ достоинствами указалъ и недостатки драматической фантазіи г. Кукольника, кстати и мимоходомъ замѣтивъ, что «Библиотека для Чтенія» уже слишкомъ далеко зашла въ похвалахъ этому произведенію, и что странно видѣть въ г. Кукольникѣ Байрона. Вслѣдъ за этимъ и «Библиотека» перестала безусловно восхищаться г. Кукольниковъ, даже почла за нужное унижить его. Видите ли, какъ просто было дѣло! Если капризъ и участвовалъ въ увѣнчаніи и развѣнчаніи русскаго юнаго Байрона, то участвовалъ очень мало; и мы готовы даже хвалить барона Брамбеуса за то, что онъ, взявъ слишкомъ высокую ноту съ чужаго голоса, съ такимъ послушаніемъ понизилъ ее, какъ скоро наставникъ замѣтилъ ему его промахъ. То же самое было съ его сужденіями о Марлинскомъ, Загоскинѣ и проч. Такъ бывало постоянно. Пока никто еще не хвалилъ и не бранилъ писателя, баронъ Брамбеусъ хвалилъ или бранилъ его на удачу. Какъ скоро сильнѣйшіе голоса въ критикѣ произнесли *свое сужденіе*, онъ повторялъ ихъ слова.

Относительно одного Гоголя не могъ онъ, увлеченный личнымъ чувствомъ, пересилить себя и до конца повторять свои первые отзывы, сдѣланные съ голоса Н. А. Полеваго, хотя и видѣлъ, что сильнѣйшіе голоса говорятъ противное. Не будемъ осуждать этой ошибки: надобно же уступать человѣку въ некоторую свободу въ чувствахъ, не всегда же можно требовать отъ человѣка, чтобъ онъ дѣйствовалъ только по внушенію благоразумнаго расчета и холоднаго разсудка. Ужели вы изгоняете изъ міра поэзію? вѣдь увлеченіе чувствомъ и есть поэзія.

Такимъ-то образомъ, увлеченный до поэзіи чувствомъ своимъ, баронъ Брамбеусъ семнадцать лѣтъ повторять то, что было когда-то сказано о Гоголѣ Н. А. Полевымъ. Дѣйствительно, сличивъ статьи того и другаго критика, мы увидимъ, что всѣ, рѣшительно всѣ сужденія о Гоголѣ заимствованы барономъ Брамбеусомъ у Н. А. Полеваго,—даже знаменитое сравненіе Гоголя съ Поль-де-Коккомъ, даже замѣчанія относительно разныхъ мелочей. Одно остается у него свое — остроумныя насмѣшки надъ тѣмъ, что «Мертвыя Души», сочиненіе написанное въ прозѣ, названо поэмою. Какого вниманія онѣ заслуживаютъ, предоставляемъ судить читателю. Мы знаемъ только то, что на отзывы барона Брамбеуса о Гоголѣ публика обращала несравненно менѣе вниманія нежели наши журналы; говоря по всей справедливости, надобно даже сказать, что сужденія барона Брамбеуса о Гоголѣ не произвели на публику ровно никакого вліянія.

И не только ѣдкіе отзывы барона Брамбеуса о Гоголѣ, но и вся его продолжительная многосторонняя, неутомимая журнальная дѣятельность едва ли произвела хотя малѣйшее дѣйствіе на публику, или имѣла хотя слабое вліяніе на развитіе литературы, въ полезномъ или вредномъ смыслѣ. Потому и исторія литературы, если мало будетъ говорить о его заслугахъ, то мало скажетъ и въ осужденіе ему. Она только пожалѣетъ, какъ жалѣемъ и мы, что этотъ человѣкъ растратилъ свои дарованія отчасти на предпріятія, несвойственныя его таланту и знаніямъ, — на примѣръ, на поверхностныя гипотезы въ наукахъ, чуждыхъ его специальности, на усилія пріобрѣсть славу романиста и быть законодателемъ въ области изящной словесности, при недостаткѣ эстетическаго вкуса, — отчасти на мелочи, которыми также надѣялся онъ пріобрѣсти славу. Къ *этимъ мелочамъ относимъ мы желаніе отличатся оригинальностью*

слога, приведшее его къ вычурности; стремленіе выдавать себя за преобразователя русской прозы, которая не нуждалась въ преобразованіяхъ, по крайней мѣрѣ, подобныхъ тѣмъ мелочнымъ нововведеніямъ, какія онъ считалъ нужными и важными; стремленіе прослыть остроумнѣйшимъ изъ русскихъ писателей. Всю эту напрасную растрату силъ надобно будетъ приписать тому, что онъ, вслѣдствіе ли своей природы, или вслѣдствіе своего фальшиваго положенія въ нашей литературѣ, не имѣлъ въ своей дѣятельности ни одной изъ тѣхъ возвышенныхъ цѣлей, безъ стремленія къ которымъ нельзя писателю достигнуть истинной славы. Но, съ другой стороны, исторія литературы скажетъ, что, не будучи ни гениемъ, ни даже даровитѣйшимъ или ученѣйшимъ изъ современныхъ ему русскихъ журналистовъ, онъ обладалъ замѣчательными силами: и знаніями, и проицательнымъ умомъ, и остроуміемъ, и неутомимою жаждою славы и дѣятельности. Она прибавитъ также, что если самолюбіе вовлекало его въ ошибки, то, по нравственному характеру, его невозможно сравнивать съ людьми, которые достойны «презрѣнія» (чтобы выразиться его терминомъ): у него было много истинной гордости,—силы, исключительно и неотъемлемо принадлежащей личностямъ благороднымъ по всей натурѣ, каковы бы ни были обстоятельства ихъ дѣятельности. И если мы захотимъ вникнуть въ отношенія и интриги нѣкоторыхъ литературныхъ котерій (чтобы опять употребить его терминъ) того времени, когда онъ успѣлъ прочно занять столь важное для литературы мѣсто распорядителя единственнаго журнала, бывшаго тогда сильнымъ, то мы должны будемъ сказать, что умѣнье его поставить себя на это видное мѣсто было, хотя отрицательнымъ образомъ, очень полезно для русской литературы: не займи онъ этого мѣста, еще Богъ знаетъ, кто захватилъ бы этотъ столь важный постъ, и, по всей вѣроятности, захватилъ бы его тотъ или другой изъ людей, съ которыми какъ мы выразились, невозможно его смѣшивать. Онъ не хотѣлъ дѣлать ничего дурнаго, не сдѣлалъ ничего вреднаго; нѣкоторые другіе на его мѣстѣ хотѣли бы дурнаго и успѣли бы сдѣлать много вреднаго. И наконецъ, чтобы назвать положительную заслугу его, скажемъ, что, дѣйствительно, ему принадлежитъ честь изгнанія изъ русскаго литературнаго языка, въ самомъ дѣлѣ вредныхъ его легкости, мѣстоименій «сей» и «оный».

Внимательный читатель замѣтитъ, что вся настоящая статья есть только развитіе относящихся къ барону Брамбеусу эпизодовъ изъ статьи Гоголя «О движеніи журнальной литературы» а во многихъ мѣстахъ должна быть названа только парафразомъ словъ Гоголя. И если изъ нашей характеристики слѣдуетъ, что баронъ Брамбеусъ гораздо рѣже, чѣмъ думаютъ многіе, писалъ съ намѣреніемъ подшутить надъ публикою и гораздо чаще, нежели думаютъ, писалъ серьезно, не дурача никого, а излагая свои настоящія мнѣнія, только въ формѣ нѣсколькихъ манерной, то это опять мысль Гоголя и мысль совершенно справедливая. И если она представляетъ лучшее оправданіе для литературной дѣятельности барона Брамбеуса, то намъ опять пріятно сказать, что именно съ такимъ сознаніемъ и выражается она у Гоголя, который, осуждая многія изъ дѣйствій своего противника, постоянно прибавляетъ, что нравственный характеръ этого писателя выше подозрѣній и что онъ все дѣлалъ не съ другою какою-нибудь цѣлью, но именно съ тою, чтобы сдѣлать, какъ ему казалось, лучше. Это, кажется, совершенно справедливо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Представивъ характеристику критической дѣятельности и отношеній къ Гоголю Н. А. Полеваго и г. Сенковскаго, мы перейдемъ прямо къ журналамъ и журналистамъ, бывшимъ на сторонѣ Гоголя, не упоминая ни однимъ словомъ о нѣкоторыхъ другихъ журналистахъ, бранившихъ автора «Мертвыхъ Душъ». Не считаемъ также, съ другой стороны, нужнымъ беспокоить нѣкоторыхъ невинныхъ журналистовъ припоминаніями о ихъ простодушныхъ сомнѣніяхъ къ Гоголю: добрые люди давно простили имъ грѣхъ невѣдѣнія, въ которомъ они находились, а иные изъ нихъ, быть можетъ, еще и по сѣ пору находятся, повторяя разныя обвиненія, вычитанныя изъ статей Н. А. Полеваго. Такимъ образомъ, мы можемъ, оставивъ въ сторонѣ различныхъ мелкихъ воителей, усилившихся подвизаться противъ Гоголя, перейти къ изложенію критической дѣятельности и мнѣній о Гоголѣ тѣхъ журналистовъ, которые считали Гоголя великимъ писателемъ.

Еслибъ кто, придерживаясь исключительно строгаго хронологическаго порядка, рѣшился разрывать тѣсно связанные между собою факты, при изложеніи различныхъ мнѣній о Гоголѣ, ему пришлось бы начать свой обзоръ свидѣтельствомъ Пушкина о достоинствахъ «Вечеровъ на хуторѣ», потому что Пушкинъ не только первый похвалилъ Гоголя, но и вообще былъ первымъ изъ всѣхъ, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, заговорившимъ нашей публикѣ о Гоголѣ. Поставивъ себѣ цѣлью дать не безсвязный хронологическій перечень статей о Гоголѣ, а изложеніе распространенія въ литературномъ мірѣ и въ публикѣ понятій о значеніи Гоголя, мы должны были соединять въ одну цѣльную характеристику все, что *было говорено о Гоголѣ съ той и ли другой точки зрѣнія, соблюдая*

порядокъ, въ какомъ одно направленіе пріобрѣло первенство надъ другимъ въ литературѣ. Такимъ образомъ, надобно было начать нашъ обзоръ сужденіями журналистовъ, бывшихъ представителями направленій, господствовавшихъ въ нашей критикѣ до того времени, когда пріобрѣли рѣшительное преобладаніе «Отечественныя Записки», которымъ, въ числѣ другихъ заслугъ, принадлежитъ и честь прочнаго утвержденія въ публикѣ справедливыхъ понятій о Гоголѣ. Слѣдуя этому плану, намъ должно, прежде нежели мы займемся изложеніемъ этихъ нынѣ господствующихъ и совершенно раздѣляемыхъ нами мнѣній, представить обзоръ литературныхъ воззрѣній «Москвитянина», который, въ продолженіе первыхъ двухъ или трехъ лѣтъ своего существованія, имѣлъ нѣкоторую долю вліянія на публику и литературу, пока, отчасти по причинамъ, лежавшимъ въ сущности его собственнаго характера, отчасти по неудержимо возрастающему вліянію «Отечественныхъ Записокъ», совершенно ослабѣлъ. Это рѣшительно обозначилось въ 1844, если еще не въ 1843 году. Послѣ того существованіе «Москвитянина» было едва замѣтно въ литературѣ до 1849 или 1850 года, когда «молодая редакція» (терминъ, употребленный самимъ издателемъ) обновила его силы. Мы здѣсь говоримъ о мнѣніяхъ, которыя существовали въ русской литературѣ до пріобрѣтенія «Отечественными Записками» совершеннаго преобладанія; потому исключительно говоримъ о «Москвитянинѣ» первой редакціи,—«Старомъ Москвитянинѣ», если можно такъ выразиться, и (повторяемъ слова, сказанныя въ началѣ предъидущей статьи) выводы наши нимало не относятся къ обновленному, или «новому» «Москвитянину». Но кромѣ этой краткой оговорки необходима другая, требующая болѣе обстоятельнаго развитія.

Старый «Москвитянинъ» иногда называли журналомъ славянофильскимъ. Поводомъ къ этому мнѣнію было то, что изъ всѣхъ существовавшихъ до нынѣшняго года журналовъ онъ по преимуществу, или даже онъ одинъ, высказывалъ относительно нѣкоторыхъ вопросовъ понятія, довольно, повидимому, близкія къ славянофильскимъ: Но только въ «нѣкоторыхъ вопросахъ» и только «повидимому»; въ сущности же старый «Москвитянинъ» былъ органомъ г. Погодина и г. Шевырева, какъ новый «Москвитянинъ»— органомъ г. Погодина и г. А. Григорьева. Иногда помѣщались въ *этомъ журналѣ* и чисто славянофильскія статьи; однажды (въ

1845 г.) завѣдывалъ имъ одинъ изъ славянофиловъ, но только три или четыре нумера журнала въ этомъ году были замѣчательны, остальные не представляли ничего интереснаго; а отдѣльныя статьи, являвшіяся изрѣдка въ другіе годы, не имѣли вліянія на общій характеръ журнала.

Мы не знаемъ, много или мало соотвѣтствія съ своимъ образомъ мыслей находятъ славянофилы въ мнѣніяхъ г. Погодина; но, во всякомъ случаѣ, это мнѣнія отдѣльнаго человѣка, а не цѣлой школы. Что же касается мнѣній г. Шевырева, не подлежитъ сомнѣнію, что гг. Аксаковы, Кирѣевскіе, Хомяковъ не считаютъ г. Шевырева своимъ. Изъ этихъ словъ очевидно, что мы не находимъ особенной близости въ характерѣ понятій гг. Шевырева и Погодина, а еще менѣе возможнымъ считаемъ присоединять г. Шевырева къ славянофиламъ, и что изъ нашей характеристики образа понятій г. Шевырева не должно выводить никакихъ сужденій ни о г. Погодинѣ, ни тѣмъ болѣе о славянофилахъ.

Но этого отрицательнаго указанія было бы недостаточно. У многихъ понятія о г. Шевыревѣ, о г. Погодинѣ, о славянофильствѣ такъ тѣсно связаны, что, для предупрежденія ошибочныхъ заключеній, необходимо точнѣе опредѣлить различіе въ литературномъ характерѣ двухъ редакторовъ стараго «Москвитянина» и высказать опредѣлительное мнѣніе о славянофильствѣ.

Г. Погодинъ не принималъ на себя роли критика художественныхъ произведеній, потому о немъ здѣсь мы можемъ упомянуть только эпизодически: его дѣятельность, какъ журналиста, ограничивавшаяся статьями или чисто ученаго, или публицистическаго содержанія, не входитъ въ границы нашихъ очерковъ; содержаніе его статей не касается нашего предмета. Мы обратимъ вниманіе читателя только на ихъ изложеніе. Слогъ г. Погодина богатъ странностями, которыя подавали даже поводъ къ забавнымъ пародіямъ. Но невозможно не признаться, что точность, мѣткость, оригинальность, непринужденность, сжатость, энергія, совершенная естественность, составляютъ неотъемлемыя его качества. Нельзя также не прибавить, что наблюдательность, пронизательность, отсутствіе всякаго педантства, строгая логика въ развитіи мыслей и вообще замѣчательная сила здраваго смысла — неизмѣнныя достоинства всего, что было написано господиномъ Погодинымъ. Мы не принадлежимъ къ числу его поклонниковъ, — но справедливость

требуетъ назвать его ученымъ основательнымъ; и самые противники его согласятся, что онъ оказалъ своей спеціальной наукѣ — русской исторіи—значительныя услуги. Та же справедливость требуетъ сказать, что въ его любви къ наукѣ нѣтъ ни жеманства, ни притворства, что онъ защитникъ просвѣщенія, и что какъ бы ни казались намъ странны нѣкоторыя его мнѣнія, но никто не можетъ и подумать назвать его обскурантомъ. Этого достаточно, чтобы вынудить у каждого здравомыслящаго человѣка сочувствіе къ нему во многихъ случаяхъ и во всякомъ случаѣ обезпечить ему право на уваженіе.

Мы никогда не раздѣляли и не чувствуемъ ни малѣйшаго влеченія раздѣлять мнѣнія славянофиловъ *), но по всей справедливости должны сказать, что если понятія ихъ и надобно признать ошибочными, то нельзя не сочувствовать имъ, какъ людямъ, проникнутымъ сочувствіемъ къ просвѣщенію. Отчасти въ увлеченіи жаромъ полемики, еще болѣе потому, что смѣшивали истинныхъ славянофиловъ съ людьми, которые пустоту и кичливость своихъ мнѣній прикрываютъ напыщенными родомонтадами на отрывочныя и непонятныя мысли, заимствованныя на прокатъ у славянофиловъ, эту школу обвиняли во враждѣ къ наукѣ, въ обскурантизмѣ, въ стремленіи возвратить Россію «ко двамъ Кошихина» и т. д. Упреки эти дѣлались не по слѣпой ненависти, не по желанію взвести на противниковъ предосудительную небывальщину, а по искреннему убѣжденію въ ихъ справедливости; но они несправедливы, — по крайней мѣрѣ, относительно такихъ людей, какъ гг. Аксаковы, Кошелевъ, Кирѣевскіе, Хомяковъ, рѣшительно несправедливы. Горячая ревность къ основному началу всякаго блага, просвѣщенію, одушевляетъ ихъ. Нѣтъ нужды лично знать ихъ, чтобы быть твердо убѣжденному, что они принадлежатъ къ числу образованнѣйшихъ, благороднѣйшихъ и даровитѣйшихъ людей въ русскомъ обществѣ; а эти качества достаточно ручаются за чистоту и возвышенность ихъ намѣреній. Считаемо излишнимъ прибавлять, что личный ха-

*) Мы употребляемъ это имя, какъ наиболѣе всѣмъ извѣстное; но намъ кажется, что, будучи придумано въ то время, когда мнѣнія лучшихъ послѣдователей школы были еще мало извѣстны, оно не имѣетъ въ настоящее время никакого внутренняго смысла. Мы готовы съ удовольствіемъ замѣнить его другимъ, какое будетъ намъ указано самими послѣдователями мнѣній, о которыхъ идетъ рѣчь.

характеръ каждаго изъ этихъ людей выше всякой укоризны. Кто знакомъ съ славянофилами только по полемикѣ, которую нѣкогда вели петербургскіе журналы противъ стараго «Москвитянина», тотъ ихъ не знаетъ. Мы не возьмемъ на себя смѣлости отъ своего лица излагать передъ читателями полную систему ихъ убѣжденій, какъ мы ихъ понимаемъ: система эта представляется намъ не во всѣхъ пунктахъ достаточно ясною, и мы не хотимъ подвергаться опасности ввести читателей въ заблужденіе; вѣрнѣе будетъ, если мы представимъ извлеченіе изъ статьи г. И. Кирѣевскаго «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи» *). Она пока остается едва ли не лучшимъ выраженіемъ славянофильства. Мы будемъ совершенно строго держаться собственныхъ словъ автора.

„Еще не очень давно то время, когда вопросъ объ отношеніи русскаго просвѣщенія къ западному былъ почти невозможенъ, или разрѣшался такъ легко, что не стоило труда его предлагать. Тому тридцать лѣтъ, едва ли можно было встрѣтить мыслящаго человѣка, который бы постигалъ возможность другаго просвѣщенія, кромѣ заимствованнаго отъ западной Европы. Общее мнѣніе было таково, что различіе между просвѣщеніемъ Европы и Россіи существуетъ только въ степени, а не въ духѣ или основныхъ началахъ образованности. У насъ (говорили тогда) было прежде только варварство: образованность наша начинается только съ той минуты, какъ мы начали учиться у Европы. Оттого, тамъ учителя, мы—ученики“.

„Но съ тѣхъ поръ въ просвѣщеніи западномъ и въ просвѣщеніи русскомъ произошла перемѣна. Европейское просвѣщеніе достигло той полноты развитія, гдѣ его особенное начало выразилось съ очевидною ясностью. Результатомъ этой полноты развитія, ясности итоговъ было общее чувство недовольства. Правда, науки процвѣтали, внѣшняя жизнь устраивалась благоприятно. Но жизнь лишена была своего существеннаго смысла, ибо, не проникнутая никакимъ общимъ, сильнымъ убѣжденіемъ, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни согрѣта глубокимъ сочувствіемъ. Анализъ разрушилъ всѣ основы, на которыхъ стояло европейское просвѣщеніе съ самаго начала своего развитія. И съ тѣмъ вмѣстѣ этотъ анализъ, эта логическая дѣятельность, этотъ отвлеченный разумъ дошелъ до сознанія своей ограниченной односторонности. Онъ убѣдился, что высшія истины ума, его существенныя убѣжденія лежатъ внѣ отвлеченнаго круга его діалектическаго процесса. Этотъ результатъ европейской образованности выраженъ передовыми мыслителями Запада. Теперь западному человѣку остается или ограничиться равнодушіемъ ко всему, что выше чувственныхъ интересовъ,—но это неестественно и унизительно, или возвратиться къ тѣмъ отвергнутымъ убѣжденіямъ, которыя одушевляли Западъ прежде конечнаго развитія отвлеченнаго разума,—но эти убѣжденія уже раз-

*) «Московскій Сборникъ» 1852 г., стр. 1—68.

рушены. Потому-то почти каждый, чтобъ избѣгнуть этой мучительной пустоты, началъ изобрѣтать въ своей головѣ для всего міра новыя общія начала жизни и истины, мѣшая старое съ новымъ, возможное съ невозможнымъ“.

„У насъ большая часть людей, слѣдившихъ за явленіями европейской жизни, убѣдившись послѣ этого въ неудовлетворительности европейской образованности, обратили вниманіе свое на тѣ особенныя начала просвѣщенія, не опѣнныя европейскимъ умомъ, которыми прежде жила Россія, и которыя теперь еще замѣчаются въ ней помимо европейскаго вліянія.—Эти основныя начала, которыхъ мы не замѣчали прежде, по пристрастію къ западной образованности и безотчетному предубѣжденію противъ своей старины, представлявшейся варварскою, совершенно отличны отъ тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ составилось просвѣщеніе европейскихъ народовъ“.

„Основными элементами въ развитіи западной Европы были: римская церковь, древне-римская образованность и государственность (общественное устройство), возникшая посредствомъ завоеванія и изъ борьбы побѣжденныхъ съ побѣдителями. Всѣ эти три элемента были совершенно чужды древней Россіи. Она приняла христіанство изъ Византіи, древне-языческая образованность переходила къ ней уже сквозь ученіе христіанское, русское государство основалось и утвердилось самобытно, не испытавъ завоеванія“.

„Развитіе элементовъ западной образованности обнаружило ихъ неудовлетворительность и односторонность. Потому намъ нужно прибѣгнуть къ своимъ основнымъ элементамъ образованности, исчисленнымъ выше, гораздо полнѣйшимъ и плодотворнѣйшимъ. Тогда возможна будетъ въ Россіи наука, основанная на самобытныхъ началахъ, отличныхъ отъ тѣхъ, какія намъ предлагаетъ просвѣщеніе европейское. Тогда возможно будетъ въ Россіи искусство, на самородномъ корнѣ разцвѣтающее. Тогда жизнь общественная въ Россіи утвердится въ направленіи, отличномъ отъ того, какое можетъ ей сообщить образованность западная“.

„Однако же, говоря: „направленіе“, я не излишнимъ почитаю прибавить, что этимъ словомъ я рѣзко ограничиваю весь смыслъ моего желанія. Ибо, если когда-нибудь случилось бы мнѣ увидѣть во снѣ, что какая-либо изъ внѣшнихъ особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдругъ воскресла среди насъ и въ прежнемъ видѣ своею вмѣшалась въ настоящую жизнь нашу, то это видѣніе не обрадовало бы меня. Напротивъ, оно испугало бы меня. Ибо такое перемѣщеніе прошлаго въ новое, отжившаго въ живущее, было бы то же, что перестановка колеса изъ одной машины въ другую, другаго устройства и размѣра: въ такомъ случаѣ или колесо должно сломаться, или машина. Одного только желаю я... чтобы эти высшія начала, господствуя надъ просвѣщеніемъ европейскимъ и не вытѣсняя его, но, напротивъ, обнимая его своею полнотою, дали ему высшій смыслъ и послѣднее развитіе“.

Изъ читателей, которые не принадлежатъ къ числу записныхъ послѣдователей славянофильства, очень немногимъ понравятся эти *выписанныя нами мѣста*, если только они потрудятся внимательнѣе

всмотрѣться въ смыслъ основныхъ мыслей и подумать о выводахъ, до которыхъ могутъ и должны привести эти основанія, будучи логически развиты. А тѣмъ, которые читали самую статью г. И. Кирѣвскаго, она, безъ сомнѣнія, понравилась еще гораздо менѣе, нежели наше извлеченіе: въ ней слишкомъ ярко выставлены на первый планъ иные слишкомъ сомнительные тезисы, которые мы почли удобнѣйшимъ сдѣлать едва замѣтными въ нашемъ изложеніи, потому что у другихъ славянофиловъ они дѣйствительно не играютъ особенно важной роли; мы старались извлечь изъ статьи г. Кирѣвскаго общія всей школѣ положенія, а не принадлежащія лично автору преувеличенія тѣхъ или другихъ мнѣній школы. Другіе, можетъ быть, сообщили бы этимъ тезисамъ развитіе болѣе обольстительное, и самъ г. И. Кирѣвскій въ другихъ случаяхъ говорить гораздо завлекательнѣе. Чтобы дать примѣръ этого, укажемъ на его статью «Обозрѣніе современнаго состоянія словесности». Специальный смыслъ ея, по нашему мнѣнію, также существенно несправедливъ, и многіе факты также приведены или поняты ошибочно,—да иначе и быть не могло, иначе она была бы помѣщена не въ «Москвитиниѣ» 1845 года, иначе не явился бы и «Московский Сборникъ» съ статьею И. Кирѣвскаго; но дѣло не въ томъ: мы указываемъ на «Обозрѣніе современнаго состоянія словесности» съ цѣлью выставить на видъ, что въ этой статьѣ очень много есть мыслей вѣрныхъ и прекрасныхъ. Ея введеніе, представляемое нами въ выноскѣ, достаточно убѣдить въ этомъ читателя *). А превосходное заключеніе статьи послужитъ для насъ наилучшимъ заключеніемъ эпизода о славянофильствѣ.

*) Было время, когда говоря: «словесность», разумѣли обыкновенно изящную литературу: въ наше время изящная литература составляетъ только незначительную часть словесности. Можетъ быть, отъ самой эпохи, такъ называемаго возрожденія наукъ въ Европѣ, никогда изящная литература не играла такой жалкой роли, какъ теперь, особенно въ послѣдніе годы нашего времени, хотя, можетъ быть, никогда не писалось такъ много во всѣхъ родахъ и никогда не читалось такъ жадно все, что пишется. Еще XVIII вѣкъ былъ по преимуществу литературный; еще въ первой четверти XIX вѣка чисто литературные интересы были одною изъ пружинъ умственнаго движенія народовъ; великіе поэты возбуждали великія сочувствія; различія литературныхъ мнѣній производили страстныя партіи. Но теперь отношеніе изящной литературы къ обществу измѣнилось; изъ великихъ всеуваживающихъ поетовъ не осталось ни одного; при множествѣ стиховъ и, скажемъ еще, при

Но возвратимся къ статьѣ «Московскаго Сборника» и рассмотримъ главные положенія, изъ которыхъ развита система возрѣній, въ ней изложенная. Существеннѣйшимъ основаніемъ всему служить въ ней аксіома: западная цивилизація оказалась неудовлетворительною и одностороннею. Анализъ показалъ, что элементы, изъ которыхъ она развивалась, односторонни, и не далъ новыхъ основаній для жизни и убѣжденій. Да откуда же извѣстно все это? Ужь конечно, не изъ твореній тѣхъ «передовыхъ мыслителей», на

множествѣ замѣчательныхъ талантовъ, нѣтъ поэзіи; не замѣтно даже ея потребности; литературныя мнѣнія повторяются безъ участія; изъ первой блистательной роли изящная словесность сошла на роль наперсницы другихъ героинь нашего времени. Мы читаемъ много, читаемъ больше прежняго, читаемъ все, что попало, но все мимоходомъ, безъ участія, какъ чиновникъ прочитываетъ входящія и исходящія бумаги, когда онъ ихъ прочитываетъ. Читая, мы не наслаждаемся, еще менѣе можемъ забыть, но только принимаемъ къ соображенію, ищемъ извлечь примѣненіе, пользу; и тотъ живой безкорыстный интересъ къ явленіямъ чисто-литературнымъ, та отвѣченная любовь къ прекраснымъ формамъ, то наслажденіе стройностію рѣчи, то упоительное самозабвеніе въ гармоніи стиха, какое мы испытали въ нашей молодости, наступающее поколѣніе будетъ знать о немъ развѣ только по преданію.

Въ наше время изящную словесность замѣнила словесность журнальная.— И не надобно думать, чтобы характеръ журнализма принадлежалъ однимъ періодическимъ изданіямъ: онъ распространяется на всѣ формы словесности, съ весьма немногими исключеніями. Въ самомъ дѣлѣ, куда ни оглянемся, вездѣ мысль подчинена текущимъ обстоятельствамъ, чувство приложено къ интересамъ партіи, форма приравнена къ требованіямъ минуты. Романъ обратился въ статистику нравовъ, поэзія въ стихи на случай; исторія, бывъ отголоскомъ прошедшаго, старается быть вмѣстѣ и зеркаломъ настоящаго или доказательствомъ какого нибудь общественнаго убѣжденія, цитатой въ пользу какого нибудь современнаго возрѣнія; философія, при самыхъ отвѣченныхъ созерцаніяхъ вѣчныхъ истинъ, постоянно занята ихъ отношеніемъ къ текущей минутѣ; даже произведенія богословскія на Западѣ по большей части порождаются какимъ нибудь постороннимъ обстоятельствомъ внѣшней жизни.

Впрочемъ, это общее стремленіе умовъ къ событіямъ дѣйствительности, къ интересамъ дня, имѣть источникомъ своимъ не одиѣ личныя выгоды или корыстныя цѣли, какъ думаютъ нѣкоторые. Хотя выгоды частныя и связаны съ дѣлами общественными, но общій интересъ къ послѣднимъ происходитъ не изъ одного этого расчета. По большей части это просто интересъ сочувствія. Умъ разбуженъ и направленъ въ эту сторону. Мысль человека *спросилась съ мыслию о чловѣчествѣ*,—это стремленіе любви, а не вы-

которыхъ ссылается авторъ. Они говорятъ совершенно противное: анализъ ихъ показалъ новыя основанія для жизни и убѣжденій; они вовсе не находятъ, чтобы западная цивилизація дошла до своего «полнаго развитія»: напротивъ, они утверждаютъ, что нравственныя науки еще только начинаютъ развиваться, общественныя

годы. Онъ хочетъ знать, что дѣлается въ мірѣ, въ судьбѣ ему подобныхъ, часто безъ малѣйшаго отношенія къ себѣ. Онъ хочетъ знать, чтобы только участвовать мысля въ общей жизни, сочувствовать ей изнутри своего ограниченнаго круга.

Несмотря на то, однако, кажется, не безъ основанія, жалуются многие на это излишнее уваженіе къ минутѣ, на этотъ всепоглощающій интересъ къ событіямъ дня, къ внѣшней, дѣловой сторонѣ жизни. Такое направленіе, думаютъ они, не обнимаетъ жизни, но касается только ея наружной стороны, ея несущественной поверхности. Скорлупа, конечно, необходима, но только для сохраненія зерна, безъ котораго она свищъ. Можетъ быть, это состояніе умовъ понятно, какъ состояніе переходное; но бессмыслица, какъ состояніе высшаго разряда. Крыльцо къ дому хорошо, какъ крыльцо; но если мы расположимся на немъ жить, какъ будто оно весь домъ, тогда намъ оттого можетъ быть и тѣсно и холодно.

Впрочемъ, замѣтимъ, что вопросы собственно политическіе, правительственные, которые такъ долго волновали умы на Западѣ, теперь уже начинаютъ удаляться на второй планъ умственныхъ движеній, и хотя при поверхностномъ наблюденіи можетъ показаться, будто они еще въ прежней силѣ, потому что по прежнему еще занимаютъ большинство голосовъ, но это большинство уже отсталое; оно уже не составляетъ выраженія вѣка; передовые мыслители рѣшительно переступили въ другую сферу—въ область вопросовъ общественныхъ, гдѣ первое мѣсто занимаетъ уже не внѣшняя форма, но сама внутренняя жизнь общества, въ ея дѣйствительныхъ, существенныхъ отношеніяхъ.

Умственные движенія на Западѣ совершаются теперь съ меньшимъ шумомъ и блескомъ, но очевидно имѣютъ болѣе глубины и общности. Въмѣсто ограниченной сферы событій дня и внѣшнихъ интересовъ, мысль устремляется къ самому источнику всего внѣшняго — къ человѣку, какъ онъ есть, и къ его жизни, какъ она должна быть. Западные писатели начинаютъ понимать, что подъ громкимъ обращеніемъ общественныхъ колесъ таится неслышимое движеніе нравственной пружины, отъ которой зависитъ все, и потому въ мысленной заботѣ своей стараются перейти отъ явленія къ причинѣ, отъ формальныхъ внѣшнихъ вопросовъ хотятъ возвыситься къ тому объему идеѣ общества, гдѣ и минутныя событія дня, и вѣчныя условія жизни, и политика, и философія, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религія, и вмѣстѣ съ ними словесность народа, сливаются въ одну необозримую задачу: ус-вершенствованіе человѣка и его жизненныхъ отношеній.—*Москвитинъ 1845 г. № 1.*

отношенія тоже, приложенія науки къ жизни—тоже, и за что ни возьмись—то же самое: всѣ отрасли знанія (исключая чистую математику и астрономію, которыя уже достигли очень высокой степени совершенства) всѣ сферы жизни находятся еще въ первыхъ періодахъ развитія, быстро развиваются и черезъ сто, даже черезъ пятьдесятъ лѣтъ далеко уйдутъ впередъ по пути развитія. Однимъ словомъ, Западъ — не человѣкъ преклонныхъ лѣтъ, который говоритъ: «карьера моя уже сдѣлана, и сдѣлана неудовлетворительно: увы! жизнь моя шла по ложному пути; а начинать новую жизнь мнѣ уже не подъ силу... увы, увы!» Нѣтъ, — Западъ юноша, и юноша еще очень молодой и свѣжій, который (устаами своихъ «передовыхъ мыслителей») говоритъ: «кое-что (и довольно много (я знаю; но очень многому мнѣ еще остается учиться, я еще горюжаждою большаго знанія и учусь довольно успѣшно. Я не совершенно неопытенъ; но мнѣ еще нужно приобрѣсть гораздо болѣе опытности. Моя карьера только что еще начинается, я едва еще только начинаю отгадывать, что такое жизнь и какъ устроится моя жизнь. Мнѣ еще остается много трудиться, чтобы обезпечить себѣ прочное, безбѣдное существованіе; но трудиться я готовъ: силы у меня довольно, и, пожалуйста, не отчаивайтесь за мою будущность: я уже имѣю нѣкоторые вѣрные залого того, что моя будущность мало по малу устроится довольно хорошо».—Вотъ что говоритъ Западъ устаами своихъ «передовыхъ мыслителей». Возьмите французскаго, нѣмецкаго, англійскаго ученаго, все равно, лишь бы только онъ былъ человѣкъ умный и дѣльный: каждый изъ нихъ скажетъ вамъ то же самое.

Откуда же взялась у насъ (да и у нѣкоторой части западной публики) мысль, или, лучше сказать, не мысль, а мелодраматическая фраза, о томъ, что Западъ дряхлый старецъ, который извлекаетъ изъ жизни уже все, что могъ извлечь, который иетоощился жизнью, и т. д.? Да все изъ разныхъ западныхъ же пустынькихъ или тупоумненькихъ книжонокъ и статейекъ, потому что, нечего грѣха таить, и на Западѣ много сочиняется пустыхъ книжекъ и статейекъ, по крайней мѣрѣ, по десяти на одну дѣльную; все равно, какъ и у насъ, на одну умную статью г. И. Кирѣвскаго приходится по крайней мѣрѣ десятокъ жалкихъ статей, написанныхъ на ту же, *ловидимому*, тему, но написанныхъ педантами или людьми ограниченными. По преимуществу эти унылыя книжки и статейки пишутся

на французскомъ діалектѣ; главныя богадѣлни для этихъ беззубыхъ воздыханій—различныя Revue des deux Mondes, Revue Contemporaine, Revue de Paris и газеты съ фельетонами. Пишутся они отчасти французскими Маниловыми, отчасти французскими Чичиковыми, потому что, опять нечего грѣха таить, во Франціи, какъ и повсюду, есть свои Маниловы и Чичиковы, отчасти людьми плутоватыми, отчасти добродушными, но вообще людьми отсталыми. Основаніе для вздоховъ и оховъ о бѣдной европейской цивилизаціи, о погибшей Европѣ—то, что они, по поверхностному простодушію, не могутъ или по расчету не хотятъ понять строгихъ, но благихъ идей современной науки, выраженныхъ «передовыми мыслителями». Для низшихъ слоевъ публики, упивающихся переводами домасовскихъ романовъ, эти книжки и статейки въ огромномъ количествѣ переводятся и на нѣмецкій языкъ. Впрочемъ, и нѣмецкіе Маниловы фабрикують подобныя книжки и статейки въ изрядномъ количествѣ и качествахъ, потому что Германія, довольно скудная Чичиковыми, преизобилуетъ Маниловыми. Переводятся и передѣлываются онѣ также и въ Англіи, но въ меньшемъ количествѣ, потому что англичане мало расположены къ маниловщинѣ, какъ народъ сухой, а Чичиковы тамъ заняты биржевыми и фабричными продѣлками. Читая воздыханія людей, поневолѣ впадешь въ тоску объ участи европейской литературы, науки, цивилизаціи и т. д., все равно, какъ, перечитывая въ старомъ «Москвитянинѣ» статьи г. М. Дмитріева, г. А. Студитскаго, г. Шевырева и т. д., мы впадали въ совершенную тоску объ участи русской науки, литературы и и т. д. Но мы извиняемся, по крайней мѣрѣ, необходимостью пересмотрѣть старый «Москвитянинъ» для дѣла, которымъ теперь занимаемся; а кому какая необходимость читать произведенія Сентъ-Бева, Филарета Шаля, Сентъ-Рене-Тальяндье, Луи Ребо, Мишеля Шевалье и т. д. и т. д.? Тутъ ужъ совершается чисто произвольный грѣхъ. Зато и наказаніе за этотъ грѣхъ посылается тяжкое: оплакивать скоропостижную дряхлость и безнадежную погибель цѣлой части свѣта! Чтобы составить себѣ справедливое понятіе о современномъ состояніи европейской науки и цивилизаціи, надобно, дѣйствительно, изучать его въ произведеніяхъ «передовыхъ мыслителей» Запада. И кто пойметъ значеніе ихъ трудовъ, тому общій вопросъ о Европѣ и объ отношеніи Россіи къ западной Европѣ представится столь же простымъ, какъ представлялся, по мнѣнію автора,

тридцать лѣтъ тому назадъ. А въ частности онъ будетъ думать о старинной Руси точно такъ же, какъ думалъ о ней Петръ Великій, который очень близко, кажется, зналъ ее по собственному опыту. Относительно понятій о различіи основныхъ элементовъ старинной русской жизни отъ элементовъ жизни западной онъ также будетъ судить очень скромно, потому что современная европейская наука хотя и не занималась специально разработкою русской старины но достаточно уяснила вопросы объ исторической жизни многихъ другихъ народовъ, которые находились или находятся въ положеніи, очень похожемъ на состояніе до-петровской Руси, или имѣли на старинную нашу жизнь вліяніе. Результаты излѣдованій нашихъ собственныхъ ученыхъ о нашей старинѣ совершенно подтверждаютъ справедливость общихъ понятій современной науки о тѣхъ спеціальныхъ элементахъ, присутствіе которыхъ въ старинной Руси кажется автору столь важнымъ и оригинальнымъ. Кстати, невозможно сомнѣваться въ томъ, что славянофилы говорятъ объ этихъ элементахъ безъ непосредственнаго знакомства съ объясненіями и взглядами лучшихъ специалистовъ нашихъ и европейскихъ. По всему очевидно, что они представляютъ себѣ эти элементы не въ томъ истинномъ видѣ, какъ они излагаются въ спеціальныхъ сочиненіяхъ, а сообразно своимъ личнымъ понятіямъ,—понятіямъ диллетантовъ, не углублявшихся въ тяжелыя спеціальныя сочиненія, а узнавшихъ о содержаніи этихъ сочиненій изъ рецензій, писанныхъ людьми отсталыми.

Кромѣ главной мысли объ односторонности западной цивилизаціи и неспособности ея къ дальнѣйшему развитію — мысли, навѣянной журналами въ родѣ *Revue des deux Mondes*, есть еще другая основная мысль въ системѣ славянофиловъ—одностороннее припаденіе къ своему. Чувство любви къ своему хорошо: но оно должно быть повѣряемо анализомъ фактовъ. Мы долго придумывали, какъ бы объяснить это удовлетворительнымъ образомъ, но вспомнили, что очень удовлетворительно объясненъ этотъ вопросъ въ стихотвореніи г. Хомякова («Московскій Сборникъ» 1852 г. стр. 141):

«Мы родъ избранный», говорили
Сіона дѣти въ старину,
«Намъ божья грома осушила
«Морей волнистыхъ глубину.»

«Для насъ Синай одѣлся въ пламя,
«Дрожала горь кремнистыхъ грудь,
«И дымъ и огонь, какъ Божье знамя,
«Въ пустыняхъ намъ казали путь.

«Намъ камень лилъ воды потоки,
«Дождили манной небеса,
«Для насъ законъ, у насъ пророки,
«Въ насъ Божьей силы чудеса».

Не терпите Богъ людской гордыни;
Не съ тѣми онъ, кто говоритъ:
«Мы соль земли, мы столбъ святыни,
«Мы Божій мечъ, мы Божій щитъ!»

Не съ тѣми Онъ, кто звуки слова
Депечетъ рабскимъ языкомъ
И, мертвенный сосудъ живаго
Душею мертвъ и спить умомъ.

Онъ съ тѣмъ, кто гордости лукавой
Въ слова смиренья не радилъ... и т. д.

Вообще должно сказать, что славянофильство навѣяно къ намъ съ Запада: нѣтъ ни одной существенной мысли въ немъ (рѣшительно *ни одной*), которая не была бы заимствована изъ нѣкоторыхъ второстепенныхъ французскихъ и нѣмецкихъ писателей, преимущественно изъ писателей, недовольныхъ тѣмъ, что ихъ различныя отсталыя понятія или наивныя ожиданія не подтверждаются наукою. Но извѣстно, что многое уже ненужное въ одной странѣ еще можетъ приносить нѣкоторую пользу въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. Многія понятія, сдѣлавшіяся въ своемъ отечествѣ уже совершенно отсталыми, нисколько не основательными, въ другихъ странахъ еще могутъ получить достоинство относительной свѣжести и основательности, потому что противопоставляются мыслямъ, еще болѣе отсталымъ, еще менѣе основательнымъ, могутъ имѣть интересъ живости и новости, и въ этомъ качествѣ возбуждать дѣятельность ума, направлять его къ дальнѣйшимъ успѣхамъ,—однимъ словомъ, приносить пользу. Объяснимся примѣромъ. Для Германіи уже устарѣли системы Канта и Шеллинга, когда Кузенъ передѣлалъ ихъ для Франціи; но во Франціи онѣ были еще новостью и, несмотря на то, что искажены были въ передѣлкѣ.

принесли довольно значительную пользу. И наоборот, многія сочиненія, уже устарѣлыя для Франціи, приносили свою пользу въ Германіи, будучи переводимы или передѣлываемы на нѣмецкій языкъ. Такъ надобно смотрѣть и на наше славянофильство. Оно основано на заимствованіи мыслей, устарѣвшихъ на ихъ родинѣ; но у насъ эти мысли могутъ еще для очень многихъ имѣть новизну, возбуждать дѣятельность ума, приносить пользу. Не говоримъ уже о томъ, что онѣ живительно дѣйствуютъ на развитіе въ нашей литературѣ дѣйствительно современныхъ мыслей, вызывая противодѣйствіе.

Но мало сказать въ оправданіе славянофильства, что оно приноситъ относительную, или отрицательную пользу. Есть въ немъ нѣкоторыя стороны и безусловно хорошія. Посредственные французскіе или нѣмецкіе писатели, которыми они навѣяно, конечно, сами не могли бы придумать ничего особенно хорошаго; зато они мало и придумали своего: почти все у нихъ взято изъ писателей дѣйствительно хорошихъ. Правда, многія изъ книгъ, откуда они почерпали, слишкомъ залесневѣли отъ ветхости; но кое-что, и даже довольно многое (преимущественно критика всѣхъ пережитыхъ современною наукою и жизнью ступеней развитія), заимствовано изъ современныхъ гениальныхъ писателей. Правда, они иногда порядочно искажаютъ заимствуемыя гениальныя мысли, но все-таки не все живое стерли съ нихъ. Правда, эти свѣжія мысли вплетены въ систему, сущность которой довольно ветха; но новыя заплаты на ветхомъ платьѣ тѣмъ ярче блещутъ свѣжестью своихъ красокъ,—онѣ безобразяютъ самое платье, но сами по себѣ еще больше выигрываютъ отъ его безобразія. Если бы въ посредственную повѣсть какого-нибудь дюжиннаго беллетриста была вставлена глава изъ «Мертвыхъ Душъ», повѣсть въ цѣломъ стала бы вдвое безобразнѣе, но прелесть отрывка изъ «Мертвыхъ Душъ» была бы—хотя бы онъ былъ даже отчасти передѣланъ къ худшему—вдвое поразительнѣе въ этой повѣсти, нежели въ самыхъ «Мертвыхъ Душахъ». И скажите, развѣ было бы бесполезно прочитать эту повѣсть человѣку, который еще не имѣлъ (и, быть можетъ долго не будетъ имѣть) случая прочитать «Мертвыя Души»? И не бойтесь продолжительности его заблужденія: такъ или иначе, но онъ услышитъ, что отрывокъ, ему понравившійся, заимствованъ изъ Гоголя, *и тогда никто его не удержитъ отъ чтенія самого Гоголя. Есть*

люди требовательные, неуступчивые, которые говорят: «все или ничего, клочки и обрывки никуда не годятся»; но иногда самый требовательный человекъ видитъ себя въ необходимости съ благо-разумною уступчивостью говорить: «лучше хлѣбъ съ мякиной, нежели совершенно ничего».

Это о положительномъ содержаніи славянофильства. Что же касается его стремленій, нельзя не отдать ему полной справедливости. Въ извлеченіи статьи г. И. Кирѣевскаго: «О характерѣ просвѣщенія Европы», послѣднія строки, отмѣченныя у насъ вносными знаками, выписаны нами безъ всякихъ перемѣнъ и составляютъ заключеніе въ самомъ подлинникѣ: истязуйте эти строки, какъ хотите, но вы не можете найти въ нихъ вражды къ просвѣщенію, напротивъ, онѣ внушены горячею ревностью къ просвѣщенію и къ улучшенію русской жизни. Можно и должно не соглашаться съ почтеннымъ авторомъ въ средствахъ къ достиженію, но нельзя не признаться: цѣль его—цѣль всѣхъ благомыслящихъ людей.

Можно отыскать и много другихъ хорошихъ сторонъ въ славянофильствѣ: но мы боимся, что уже утомили читателей слишкомъ длиннымъ отступленіемъ. Потому скажемъ только, что для развитія той части русской публики, которая имъ увлекается, эти убѣжденія гораздо болѣе полезны, нежели вредны, служа переходною ступенью отъ умственной дремоты, отъ индифферентизма или даже вражды противъ просвѣщенія къ совершенно современному взгляду на вещи, къ совершенному разрыву съ нашей старинной бездѣйствительностью и холодностью въ дѣлѣ общемъ. Потому-то люди, которыхъ въ насмѣшку называли «западниками», и славянофилы, несмотря на жаркіе споры между собою, были сподвижники въ одномъ общемъ стремленіи, которое тѣмъ и другимъ было въ сущности дороже всего остальнаго, что ихъ раздѣляло. Что же касается этихъ пунктовъ несогласія, мы изложили о нихъ мнѣніе, которое кажется намъ справедливо, и можемъ прибавить только, что довольно было бы выставить на видъ основныя мысли, напримѣръ, изъ приведеннаго нами въ выноскѣ начала статьи самого г. И. Кирѣевскаго «Обозрѣніе современнаго состоянія словесности»,—и эти его собственныя понятія обличили бы несправедливость его выводовъ относительно дряхлости западной цивилизаціи. Но къ чему это? лучше будетъ окончить нашъ эпизодъ о славянофилахъ цре-

восходнымъ заключеніемъ, которое далъ г. Кирѣвскій своей статьѣ о современномъ состояніи словесности:

Мы думаемъ, что всѣ споры о превосходствѣ Запада или Россіи, о достоинствахъ исторіи европейской или нашей и тому подобныя разсужденія принадлежать къ числу самыхъ бесполезныхъ, самыхъ пустыхъ вопросовъ, какіе только можетъ придумать празднолюбіе мыслящаго человѣка. И что, въ самомъ дѣлѣ, за польза намъ отвергать или порочить то, что было или есть добраго въ жизни Запада? Не есть ли она, напротивъ, выраженіе нашего же начала, если наше начало истинное? Вслѣдствіе его господства надъ нами (*то есть господства этого истиннаго начала*) все прекрасное, благородное, по необходимости намъ свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское. Голосъ истины не слабѣетъ, но усиливается своимъ созвучіемъ со всѣмъ, что является истиннаго, гдѣ бы то ни было («Москвитянинъ» 1845, № 2).

Теперь, хотя въ общихъ чертахъ опредѣливъ наше понятіе о славянофилахъ, мы можемъ перейти къ характеристикѣ критической дѣятельности г. Шевырева. Г. Шевыревъ многими былъ считаемъ за славянофила, и онъ самъ отчасти подавалъ къ тому поводъ, очень часто, или, лучше сказать, постоянно въ каждой статьѣ своей, развивая три или четыре темы, повидимому, только въ томъ, что г. Шевыревъ выражалъ эти мнѣнія гораздо краснорѣчивѣе, и такъ какъ краснорѣчіе состоитъ въ употребленіи различныхъ фигуръ, какъ то: усугубленія, нарощенія, напряженія и тому подобныхъ, то, по необходимости, мысли эти выражались у него гораздо сильнѣе, нежели у г. Аксакова, г. Кирѣвскаго или г. Хомякова. Мы сказали бы даже: выраженіе этихъ мыслей было у него отчасти доведено до излишней! утрировки, если бы могло быть излишество въ столь пріятной вещи, какъ краснорѣчіе. Изъ этихъ трехъ, четырехъ темъ самою любимою было такъ называемое на языкѣ г. Шевырева «гнѣеніе Запада». Самые ревностные славянофилы не выражались объ этомъ предметѣ и въ десятую долю такъ сильно и картинно, какъ г. Шевыревъ. Приводимъ одинъ только примѣръ:

„Въ нашихъ искреннихъ, дружескихъ, тѣсныхъ сношеніяхъ съ Западомъ, мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, носящимъ въ себѣ злой, заразительный недугъ, окруженнымъ атмосферою опаснаго дыханія. Мы цалуемся съ нимъ, обвиняемъ, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства—и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ въ потѣхъ пира будущаго

трупа, которымъ онъ уже пахнетъ. Онъ увлечъ насъ роскошью своей образованности; онъ возитъ насъ на своихъ окривленныхъ пароходахъ, катаетъ по желѣзнымъ дорогамъ, угождаетъ безъ нашего труда всѣмъ прихотямъ нашей чувственности, расточаетъ передъ нами остроуміе мысли, наслажденіе искусства. Мы рады, что попали на пиръ къ такому богатому хозяину. Мы упоены, намъ весело такъ дешево вкусить то, что такъ дорого стоило. Но мы не замѣчаемъ, что въ этихъ яствахъ таятся сокъ, котораго не вынесетъ свѣжая природа наша; мы не предвидимъ, что пресыщенный хозяинъ, обольстивъ насъ всѣми прелестями великолѣпнаго пира, развратитъ умъ и сердце наше; что мы выйдемъ отъ него опьянѣлые не по лѣтамъ, съ тяжкимъ впечатлѣніемъ отъ оргіи, намъ непонятной. („Москвитянинъ“ 1841. № 1, стр. 247—8. „Взглядъ русскаго на образованіе Европы“).

Ужасная картина! Вообразите только: «мы дѣлимъ трапезу мысли и пьемъ чашу чувства съ трупомъ!» Если мы не ошибаемся, истинные славянофилы назовутъ эти выраженія болѣе поэтическими, нежели точными; вѣроятно, прибавятъ даже, что отъ подобнаго взгляда на западную цивилизацію они столь же далеки, какъ и отъ безусловнаго поклоненія Западу. Впрочемъ, если мы не имѣемъ прямыхъ указаній на то, какъ думаютъ славянофилы о мнѣніяхъ г. Шевырева, зато г. Шевыревъ достаточно опредѣлилъ свои понятія о славянофилахъ,—напримѣръ, хотя бы въ слѣдующихъ строкахъ, заимствованныхъ изъ его статьи объ «Одиссее», переведенной Жуковскимъ. Въ поясненіе этого отрывка предварительно замѣтимъ, что понятіе о преобладаніи «міра», общины надъ отдѣльною личностью въ древней Руси—одно изъ самыхъ дорогихъ убѣжденій для славянофиловъ, и подчиненіе личнаго произвола въ отдѣльномъ человѣкѣ общественной волѣ—едва ли не существеннѣйшая черта ихъ идеала въ будущемъ. Мы не подозреваемъ себя въ пристрастіи славянофильскому образу мыслей, но должны сказать, что ученіе объ отношеніи личности къ обществу—здоровая часть ихъ системы и вообще достойно всякаго уваженія по своей справедливости. Г. Шевыревъ выразился объ этомъ предметѣ слѣдующимъ образомъ, разсуждая о циклопахъ:

Главный источникъ ихъ дикости (*т. е. дикости циклоповъ*)—отсутствіе вѣры въ боговъ. Когда Одиссей вздумалъ убѣждать циклопа именемъ Зевса, бога гостелюба и заступника странниковъ, тотъ отвѣчалъ ему:

Видно, что ты издалека, иль вовсе безуменъ пришелецъ,
Если могъ вздумать, что я побоюсь иль уважу безсмертныхъ.
Намъ, циклопамъ, нѣтъ нужды ни въ богѣ Зевесѣ, ни въ прочихъ

Вашихъ блаженныхъ богахъ; мы породой ихъ всѣхъ знаменитѣй.
 Страхъ громовержца Зевеса разгнѣвать меня не принудитъ
 Васъ попадать; поступлю я, какъ мнѣ самому то угодно.

Такое безвѣріе соединено въ циклопѣ съ отсутствіемъ всякаго понятія о личности человѣческой. Человѣкъ ему ни почемъ. Онъ считаетъ его наравнѣ съ бараномъ. Такое безуміе объясняетъ намъ, почему циклопъ, правда, пьяный, повѣрилъ тому, что человѣкъ можетъ называться *Никто* и не имѣть никакого личнаго имени. Разумная хитрость Одиссея здѣсь вполне торжествуетъ надъ грубою дикостью людюда, не признающаго личности человѣческой. При этомъ кстати нельзя не вспомнить, что нѣкоторые мнимые мыслители наши, увлекшись нѣмецкою философіею, вздумали было навязать такія циклопическія понятія объ личности человѣческой народу древней Руси, иные умышленно, съ неуваженіемъ къ ея значенію, другіе же съ добродушнымъ отсутствіемъ всякаго умысла, а принося отъ чистой русской души безсознательную жертву русской же непонятой ими народностію въ пользу германскаго любомудрія».

(Москвитянинъ 1849. № 3. Критика, стр. 109).

Послѣ этого, конечно, никто не будетъ смѣшивать г. Шевырева съ славянофилами; а внимательное разсмотрѣніе статей ученаго автора приведетъ cadaго къ рѣшительному убѣжденію, что если г. Шевыревъ находитъ нѣкоторыя отдѣльныя ихъ мысли полезными, но слишкомъ недостаточно развитыми и слишкомъ слабо выраженными у самихъ славянофиловъ, и потому старается повторять эти мысли какъ можно чаще, въ самыхъ энергическихъ выраженіяхъ, сообщая имъ самое всеобъемлющее значеніе, прилагая ихъ ко всякому данному предмету,—если, говоримъ мы, онъ дѣлаетъ это, то дѣлаетъ какъ мыслитель своеобразный. Опредѣлить его образъ мыслей было бы очень затруднительно, потому мы и не беремся за это, предоставляя каждому читателю выводить изъ фактовъ, представляемыхъ нами на слѣдующихъ страницахъ этой статьи, такія заключенія, какія ему покажутся естественными. Мы можемъ сказать только одно: г. Шевыревъ мыслитель своеобразный. Считаемо также не бесполезнымъ замѣтить, что писатели, вступавшіе въ учено-литературныя пренія съ г. Шевыревымъ, конечно, напрасно жаловались, будто онъ, въ возраженіяхъ своимъ противникамъ, переступалъ иногда границы чисто ученаго или литературнаго пренія, вовлекая въ сферу спора предметы и понятія, которыхъ у насъ ни въ какой полемикѣ не должно касаться; что *несправедливо утверждали* также, будто бы иногда онъ увлекался

даже въ нѣкоторыя опасенія противъ просвѣщенія. Несправедливость всѣхъ этихъ упрековъ до очевидности изобличается тѣмъ, что, разбирая сочиненіе князя Вяземскаго «Фонъ-Визинъ», ученый критикъ выписываетъ изъ этой книги слѣдующія благородныя и прекрасныя строки:

„Немного такихъ истинъ несомнительныхъ, немного такихъ правилъ непреложныхъ, коихъ святость должна пребыть несомнѣнною и тогда, когда противорѣчатъ имъ послѣдствія частныя, случайныя и независимыя отъ воли людей. Но, посвятивъ себя на служеніе одной изъ сихъ истинъ, должно пребыть ей вѣрнымъ безъ изыятія примѣняя къ себѣ рыцарское восклицаніе французскихъ роялистовъ: *Vive le Roi quand même!* Польза просвѣщенія есть одна изъ малаго числа сихъ исключительныхъ истинъ. Почитая его единымъ, прочнымъ основаніемъ благосостоянія общаго и частнаго, совѣстью правительствъ и лицъ, простиительно ли, напримѣръ, пугаться малодушно нѣкоторыхъ прискорбныхъ явленій, приписываемыхъ просвѣщенію, или, положимъ, и влекущихся за нимъ по неисповѣдимымъ законамъ Провидѣнія, которое отказало въ совершенствѣ всему, что ни есть на землѣ? Писатель, который, по званію своему, обязанъ быть проповѣдникомъ просвѣщенія, а вмѣсто того бываетъ доносчикомъ на него, подобенъ врагу, который, призванъ будучи къ больному, пугаетъ его невѣрностію своей науки и раскрываетъ передъ нимъ гибельныя ошибки врачеванія. Пусть каждый остается въ духѣ своего званія. Довольно и безъ писателей найдется людей, которые готовы остерегать отъ властолюбивыхъ посяганій разума и даже клеветать на него при удобномъ случаѣ“.

И не только выписываетъ г. Шевыревъ эти строки, но и положительно называетъ «прекрасными». (Москвитянинъ, 1848 г. № 7, стр. 18).

Будучи извѣстенъ, какъ одинъ изъ нашихъ почетнѣйшихъ критиковъ, г. Шевыревъ столько же извѣстенъ, какъ поэтъ и знаменитъ, какъ ученый. Здѣсь насъ занимаетъ исключительно его критическая дѣятельность; поэтическихъ и ученыхъ его произведеній мы должны коснуться только мимоходомъ, на сколько то нужно для дополненія общаго понятія объ ученомъ критикѣ.

«Теорія поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ» до сихъ поръ остается изъ ученыхъ сочиненій г. Шевырева лучшимъ въ научномъ отношеніи. Это — полезная компиляція, въ которой своеобразная мыслительность автора еще едва проглядываетъ, но достаточно — и не во вредъ компиляціи — обнаруживается порядочная начитанность. «Исторія поэзіи у всѣхъ народовъ» началась и окончилась первымъ томомъ. «содержащимъ

(какъ сказано въ заглавіи) исторію поэзіи индѣйцевъ и евреевъ, съ присовокупленіемъ двухъ вступительныхъ чтеній о характерѣ образованія и поэзіи главныхъ народовъ западной Европы».—Этотъ единственный изъ многихъ предполагавшихся томовъ былъ поводомъ къ полемикѣ, знаменитой въ лѣтописяхъ нашей журналистики. Нѣкоторые эпизоды ея могли бы быть занимательны, но отвлекали бы насъ отъ предмета. Лѣтъ черезъ десять послѣ того явились первыя двѣ части «Исторія русской словесности, преимущественно древней». Это самое ученое и самое важное сочиненіе г. Шевырева. Хорошую сторону его составляетъ то, что факты, относящіеся къ исторіи литературы, собраны довольно полно: слабая сторона—то, что они переплетены съ гипотезами и мечтами, не выдерживающими самой снисходительной критики. Это было бы еще не очень вредно для книги, если бы авторъ дѣлалъ хотя какое нибудь различіе между положительными фактами и созданіями своего поэтического воображенія: почему же и не пофантазировать? Но ученое достоинство сочиненія теряетъ оттого, что всѣ эти гипотезы и фантазіи высказаны догматически, что ничѣмъ не отличены онѣ отъ достовѣрныхъ фактовъ: авторъ совершенно одинаковымъ тономъ говоритъ и о томъ, что Владиміръ Мономахъ написалъ ученіе своимъ дѣтямъ, и о томъ, что гегелева философія возникла изъ мыслей, изложенныхъ въ посланіи Никифора къ Мономаху; и о томъ, что «Слово о полку Игоревѣ» проникнуто грустью о междоусобицахъ, и о томъ, что Москва возвысилась благодаря не другому кому, какъ именно Даніилу Паломнику. Какая связь между Гегелемъ и Никифоромъ, Даніиломъ Паломникомъ и Москвою, этого ужъ мы не беремъ объяснить: надобно было бы выписывать подлинныя слова; а у насъ и безъ того слишкомъ много выписокъ. О мелкихъ ошибкахъ въ изложеніи фактовъ мы не говоримъ,—не говоримъ и о томъ, справедливо ли воззрѣніе г. Шевырева на исторію русской литературы: невольную ошибку легко извинить; но произвольность фантазій, два примѣра которыхъ мы представили, должна быть очевидна каждому, каковы бы ни были его понятія о старинной русской литературѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти пылкія мечты должно объяснять желаніемъ ученаго автора сообщить своему сочиненію художественныя достоинства: извѣстно, что въ художественномъ созданіи форма, т. е. краснорѣчіе, важна не менѣе содержанія. Авторъ очень успѣшно достигъ этой цѣли.

Его сочиненіе отличается вдохновеннымъ краснорѣчіемъ; но, какъ ученымъ пособіемъ, пользоваться имъ затруднительно. «Поѣздка въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь» имѣетъ въ двухъ томахъ двѣ интересныя страницы: одна изъ нихъ представляетъ не лишнюю цѣну для науки выписку изъ «Паисіевскаго Сборника» о языческихъ суевѣріяхъ; другая страница содержитъ знаменитое размышленіе о томъ, что «не жаденъ русскій человѣкъ, не завистливъ: летаетъ вокругъ его птица—онъ не бьетъ ее, плаваетъ рыба—онъ не ловитъ ее, а довольствуется скудною и неудобоваримою пищею», зная, что пища и питье—суета, заботясь только о неземныхъ благахъ. Все остальное въ «Поѣздкѣ» не имѣетъ особенной важности.

Переходя къ чисто-поэтическимъ созданіямъ г. Шевырева, мы не будемъ произносить сужденія о ихъ достоинствахъ: достоинства эти очевидны. Немногіе изъ знаменитыхъ критиковъ писали стихи; но если кто изъ нихъ писалъ, то стихи всегда бывали такого рода, что доставляли ему славу лучшаго поэта своей эпохи. Иначе и быть не могло: критикъ долженъ быть одаренъ тонкимъ вкусомъ и плохихъ стиховъ не почтетъ достойными печати, хотя бы они были его собственные. Вспомнимъ Буало, Попе: будучи хорошими критиками, они были и лучшими поэтами своего времени. То же и у насъ—вспомнимъ Карамзина и Мерзлякова: судите, какъ хотите о ихъ поэтическомъ талантѣ, плохихъ стиховъ вы у нихъ не найдете. Изъ всего этого очевидно, что стихи г. Шевырева должны также быть хороши. Это мнѣніе нѣкоторымъ читателямъ можетъ показаться довольно смѣло. Но мы докажемъ его фактами. Жалѣемъ, что недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ украсить этихъ страницъ гармоническими октавами ученаго поэта; ограничимся двумя другими, меньшими отрывками. По случаю начала постройки Московскій желѣзной дороги г. Шевыревъ написалъ стихотвореніе, изъ котораго мы приводимъ только одну строфу:

„Что-то будетъ?“—православный
 Думу думаетъ народъ:
 „Аль Москвѣ перводержавной
 Позабыть свои семьсотъ?
 Загудѣвъ колоколами
 Золотой своей главы,
 Двинуть всѣми сороками,
 Да итти на брегъ Невы?“

Этотъ энергитескій порывъ мысли къ дивнымъ картинамъ не есть въ его талантѣ черта временная или случайная: до послѣдняго времени она сохранилась во всякой живости. Такъ, напримѣръ, одно изъ стихотвореній, писанныхъ г. Шевыревымъ въ 1853 г., начинается слѣдующимъ образомъ:

Пушкинъ! встань, проснись изъ гробу!
Гдѣ твой голосъ и языкъ?
Поражай враговъ и злобу,
Зачинай побѣдный крикъ:
Но ты спишь; умолекъ Жуковскій!
Миръ вашъ вѣмъ, какъ стихшій громъ,
Будто колоколъ кремлевскій
Съ отлетѣвшимъ языкомъ.
Если вѣстники къ вамъ гости
Прилетаютъ съ нашихъ странъ, —
О! твои играютъ кости,
Словно радостный органъ!... и т. д.

Самые завистники поэта согласятся, что въ этихъ смѣльныхъ образахъ выразилась титаническая сила фантазіи.—Мы упоминали о стихахъ г. Шевырева собственно потому, что увѣрены въ ихъ достоинствѣ: хорошій критикъ можетъ писать плохіе стихи, но не будетъ печатать ихъ,—по крайней мѣрѣ, не будетъ печатать ихъ въ продолженіе тридцати лѣтъ.

Мы уже отказались отъ слишкомъ трудной задачи положительнымъ образомъ опредѣлить мнѣнія г. Шевырева. Приступая теперь къ изложенію его критической дѣятельности, сообразно своему рѣшенію, мы не будемъ отыскивать принциповъ его критики, вовсе даже не будемъ касаться ихъ. Пусть они будутъ справедливы, — тѣмъ лучше; пусть они будутъ неудовлетворительны, — это не помѣшаетъ намъ отдать полную честь вѣрности его сужденій объ отдѣльныхъ фактахъ, тонкости и провицательности его вкуса. Вѣдь теоретическіе принципы Буало, Лагарпа, Попе, Карамзина, Мерзлякова были неудовлетворительны въ научномъ отношеніи, а между тѣмъ, эти критики, благодаря своему уму и вкусу, объ отдѣльныхъ произведеніяхъ литературы судили очень здраво, хорошими называли дѣйствительно лучшихъ писателей своего времени, восхищались именно тѣмъ, что было у этихъ писателей лучшаго. *Возьмемъ примѣры еще ближе:* Пушкинъ не былъ отличнымъ те-

оретикомъ, а его сужденія объ отдѣльныхъ писателяхъ и произведеніяхъ литературы удивительно вѣрны и мѣтки. Гоголь былъ абсолютно плохимъ теоретикомъ, а судилъ о литературныхъ произведеніяхъ тоже съ изумительною вѣрностью и проникаемостью. Иначе и быть не могло, потому что у этихъ людей не было недостатка ни въ здоровомъ умѣ, ни въ эстетическомъ вкусѣ. Чтобы вѣрно дѣлать общіе выводы, или вѣрно прилагать къ фактамъ общіе принципы, нужны и особенная привычка и специальная способность къ тому. Но чтобы отличить г. Бенедиктова отъ Лермонтова, или Гоголя отъ Аріоста, вовсе не требуется быть мыслителемъ.

Г. Шевыревъ пріобрѣлъ извѣстность, какъ критикъ, задолго до основанія «Москвитянина». Не говоря ужъ о «Московскомъ Вѣстникѣ» и «Телескопѣ» съ «Молвою», въ которыхъ онъ еще не игралъ первой роли, упомянемъ только, что при основаніи «Московского Наблюдателя» онъ явился главнымъ лицомъ въ этомъ журналѣ, первая книжка котораго начиналась статьею г. Шевырева «Словесность и торговля», — статьею, которая въ свое время подала поводъ ко многимъ насмѣшкамъ, — потому мы оставимъ ее въ покоѣ; замѣтимъ только, что Гоголь (въ статьѣ о движеніи журнальной литературы) справедливо удивляется тому, какъ автору удалось, заговоривъ объ отношеніяхъ (денежныя отношенія литераторовъ), представляющихъ столь много сторонъ, достойныхъ порицанія, выбрать для своихъ нападеній какъ будто нарочно единственную хорошую сторону этихъ отношеній (именно то, что литературный трудъ началъ у насъ въ Россіи хотя нѣсколько вознаграждаться, какъ и всякій другой трудъ, въ томъ числѣ и ученый). Не будемъ припоминать и другихъ его статей въ «Московскомъ Наблюдателѣ», даже знаменитаго въ свое время разбора стихотвореній г. Бенедиктова, въ которомъ было доказано, что г. Бенедиктовъ есть «поэтъ мысли», и съ нимъ въ первый разъ является въ русской литературѣ мысль, — оставимъ все это въ покоѣ: въ то время г. Шевыревъ только еще начиналъ развивать своеобразность своихъ понятій, и участіе въ «Московскомъ Наблюдателѣ» еще не было блестящею эпохою его дѣятельности. Мы хотимъ ограничиться изученіемъ его критики во времена полнѣйшаго ея развитія: прочную извѣстность г. Шевыревъ, какъ критикъ, пріобрѣлъ только уже тогда, когда «Москвитянинъ» сдѣлался его органомъ. Займемся же изученіемъ этихъ статей.

Общій взглядъ свой на всю русскую словесность г. Шевыревъ выразилъ, или общалъ выразить, въ статьяхъ, подъ заглавіемъ: «Взглядъ на современное направленіе русской литературы». Изъ нихъ первая, «Темная сторона», явилась въ первой книжкѣ «Москвитянина» за 1842 годъ. Она очень замѣчательна, и мы должны дать подробный отчетъ въ ея содержаніи.

Статья начинается размышленіемъ объ огромности пространства, занимаемаго Россією, и о томъ, что все въ ней имѣетъ громадныя размѣры. — Въ разсужденіи объ этомъ авторъ доходитъ до поэтического предположенія, которое въ свое время поразило ужасомъ бѣдныхъ итальянцевъ:

„Разгульно текутъ многоводныя наши рѣки; невольно подумаешь что если бы: Волгу, Днѣпръ да Уралъ скатить въ три потока съ Альповъ на Италію, куда бы дѣлись отъ нихъ итальянцы? развѣ спаслись бы на высотахъ аппенинскихъ“.

И не только итальянцы, даже русскіе были смущены этимъ ужаснымъ и новымъ предположеніемъ, этимъ неслыханнымъ бѣдствіемъ, угрожающимъ цѣлой странѣ. До 1842 года только однажды было высказано столь роковое опасеніе *). Но, не останавливаясь на участи итальянцевъ, авторъ удивляется особенно тому, что въ Россіи двѣ столицы **), и подробно описываетъ одну изъ нихъ, Петербургъ. О вѣрности этого описанія можно судить изъ того, что авторъ хвалитъ чистоту здѣшнихъ каналовъ. «Каналы, какъ чистыя рѣки, голубыми лентами переплели городъ». Эта черта замѣчена была до 1842 года опять только однимъ Гоголемъ, въ описаніи Невскаго проспекта. Рано поутру, говоритъ Гоголь, на Невскомъ видны только рабочіе люди, напримѣръ, «русскіе мужики, спѣшащіе на работу, въ сапогахъ, запачканныхъ известью, которыхъ и Екатерининскій каналъ, извѣстный своею чистотою, не въ состояніи былъ бы обмыть». Послѣ того авторъ совѣтуетъ читателю «посмотрѣть на чудо-городъ»—то есть Петербургъ—съ вершины Александровской

*) „Меня чрезвычайно огорчило событіе, имѣющее быть завтра. Завтра въ семь часовъ совершится странное явленіе: земля сядетъ на луну. Объ этомъ и знаменитый англійскій химикъ Велингтонъ пишетъ. Признаюсь, я ощутилъ сердечное безпокойство, когда вообразилъ себѣ необыкновенную вѣжность и непрочность луны....“ (Соч. Гоголя, ч. 3, стр. 348).

**) Но вѣдь въ Японіи тоже двѣ: Іеддо и Міако; въ Великобританіи съ Ирландією даже три: Лондонъ, Единбургъ, Дублинъ.

колонны, вѣроятно, предполагая, что внутри ея существуетъ витая лѣстница, какъ въ траяновой колоннѣ — смѣшеніе неудивительное, потому что г. Шевыревъ очень хорошо знаетъ Италію. Когда вы взберетесь на вершину Александровской колонны и посмотрите внизъ, то, отгадайте, что представится вашимъ глазамъ? Вѣроятно, величественныя зданія, окружающія площадь, гдѣ поставлена колонна? Нѣтъ! «необыкновенная, безобразная куча, въ родѣ муравьиной», въ которой «безыменныя насѣкомыя работаютъ надъ «ничтожною кучею бесполезнаго сора». Эта куча — петербургская журнальная литература. «Какъ могла появиться эта безобразная куча на томъ мѣстѣ, гдѣ недавно работалъ плотникъ и зодчій исторіи государства російскаго, то есть Карамзинъ? Въ отвѣтъ на это излагается вся исторія нашей литературы, и результатъ обзора — важная истина, что труды Ломоносова, Карамзина и Пушкина пробудили у насъ охоту къ чтенію, и петербургскіе журналы удовлетворяютъ этой пробужденной потребности. Повидимому, тутъ нѣтъ ничего ужаснаго. Но авторъ приходитъ въ негодованіе, которое изливается слѣдующею аллегоріею.

„Весело стоитъ на полѣ и тяжелымъ колосомъ гнется внизу поспѣлая нива: честные земледѣльцы положили въ нее трудъ свой; благосклонное небо ее поливало и грѣло; осталось одно легкое, послѣднее дѣло — снять и потребить ее. Но вотъ — смотрите — что это тамъ за сѣрая туча на небосклонѣ? Какъ будто изъ мелкихъ точекъ вся соткана и летитъ быстро, жадно на чужой плодъ. Это саранча — настоящій потребитель приготовленной жатвы. Нагло предоставляетъ она себѣ послѣднее, легкое дѣло, бросается на ниву и ѣстъ ее“.

По прямому смыслу аллегоріи должно бы казаться, что саранчею, потребляющею жатву, г. Шевыревъ называетъ читателей; но онъ объясняетъ самъ, что хочетъ разумѣть не читателей, а тогдашнихъ (1842) журналистовъ. Въ такомъ случаѣ, аллегорія составлена неправильно. Читатели извиняютъ насъ, если мы подвергнемъ «мертвящему анализу разсудочной науки» поэтически-живую филиппику ученаго и почтеннаго автора по правиламъ, предписываемымъ для аллегорій теоріями краснорѣчія и піитики. Ученость необходимо разбирать ученымъ образомъ. Итакъ, первое правило аллегоріи, по ученію піитикъ: каждый избранный символъ долженъ сохранять одно и то же значеніе во все продолженіе аллегоріи. *Примѣнимъ это правило къ филиппикѣ ученаго автора. Въ началѣ*

приведенной нами тирады «спѣлая жатва» означаетъ плоды наукъ, просвѣщеніе; «пожать эту жатву», значитъ посредствомъ чтенія сдѣлаться просвѣщеннымъ человѣкомъ; люди, для которыхъ она зрѣеть — читатели; сообразно тому — «саранча пожрала жатву», должно значить «неразборчивые читатели или злонамѣренные читатели поглотили, съ жадностью прочли все»; но г. Шевыревъ хочетъ выразить этою фразою: «нынѣшніе (1842) журналисты пользуются тѣмъ, что приготовили Карамзинъ и Пушкинъ, и портятъ вкусъ публики» — воля ваша, аллегорія составлена неправильно. Понять ее въ смыслѣ ученаго автора, значитъ погрѣшить противъ реторики. Но согласимся понимать ее, какъ то угодно г. Шевыреву. Что же слѣдуетъ изъ нея и въ этомъ случаѣ? Въ чемъ обвинялъ г. Шевыревъ петербургскихъ журналистовъ? По смыслу его собственной рѣчи, въ томъ что въ 1842 году въ петербургскихъ журналахъ не помѣщали своихъ статей ни Ломоносовъ, ни Карамзинъ, ни Пушкинъ,—но что же дѣлать, если эти великіе писатели не дожили до 1842 года? Ни журналисты, ни г. Шевыревъ не виноваты въ этомъ. Второе правило аллегорій—выбирать символы, дѣйствительно соотвѣтствующіе по своему значенію тѣмъ понятіямъ, о которыхъ должны напоминать. Если литература, просвѣщеніе — жатва, то саранча, истребляющая жатву, никакъ не можетъ обозначать какихъ бы то ни было читателей или литераторовъ, хотя бы самыхъ плохихъ: саранча въ этомъ случаѣ можетъ означать только враговъ литературы и просвѣщенія, обскурантовъ. Воля ваша, а аллегорія составлена не по правиламъ піитики и реторики. Впрочемъ, это не мѣшаетъ намъ восхищаться ея высоколирическимъ пареніемъ.

Кстати, замѣтимъ, что правила, предписываемыя реторикой для аллегорій, никогда не соблюдаются ученымъ авторомъ. Такъ, напримѣръ, въ другой своей капитальной статьѣ о положеніи нашей словесности: «Очерки современной русской литературы» («Москвитянинъ», 1848 г. № 1), онъ даетъ слѣдующій — конечно, прекрасный—совѣтъ нашимъ (тогдашнимъ) молодымъ беллетристамъ, особенно гг. Гончарову, Григоровичу и Тургеневу.

„Наши писатели должны бы были помнить мнѣ объ Антѣѣ. Когда онъ боролся съ Гerkулесомъ, то земля придавала ему силы, лишь только онъ касался ея. Чтобы обезсилить его, Гerkулесъ долженъ былъ отвѣчь его отъ

земли и задушить на воздухѣ. Таковъ и поэтъ и писатель вообще. Большая же часть нашихъ писателей современныхъ, развивающихъ свою личность въ какой-то отвлеченной сферѣ, чуждой основнымъ началамъ народной жизни, похожи на Антея, но въ ту самую минуту, когда онъ поднятъ былъ Геркулесомъ ногами на воздухъ и тамъ въ отвлеченной пустотѣ дрыгалъ ими, отчаявшись въ возможности коснуться родной земли, которая даетъ силу“ (стр. 42).

Совѣтъ прекрасенъ; но аллегорическая одежда для него шита не по правиламъ. Припомнимъ, что символы должны соответствовать предметамъ, символами которыхъ служатъ. Вѣдь Антей былъ гигантъ; а г. Шевыревъ, во все продолженіе своей статьи, доказываетъ, что вышепоименованные молодые писатели, которымъ онъ даетъ совѣтъ, очень мелкій народъ,—какъ же послѣ этого начинать аллегорію объ Антѣ? И притомъ, каждый символъ долженъ въ аллегоріи имѣть опредѣленное значеніе. Спрашивается теперь, кто же этотъ Геркулесъ, который отрываетъ Антея (то есть ничтожныхъ писателей, каковы гг. Гончаровъ, Григоровичъ, Тургеневъ) отъ матери-земли? Рѣшительно, не придумаемъ; кажется, никто никогда не думалъ совѣтовать имъ писать повѣсти не изъ русскаго быта. И хотя на одной страницѣ какой бы то ни было своей повѣсти отрывался ли хотя одинъ изъ нихъ отъ изображеній роднаго быта? Какимъ же образомъ и когда они «дрыгали ногами въ отвлеченной пустотѣ?» Воля ваша, ничего нельзя понять. А не оттого непонятно, чтобы совѣтъ былъ нехорошъ: нѣтъ! просто оттого, что выраженъ онъ неудачно; да развѣ еще оттого, что нимало не прилагается къ данному случаю: вѣдь согласитесь, что гг. Гончарову, Григоровичу и Тургеневу совершенно излишне читать назиданія о томъ, чтобы они вѣрно изображали русскій бытъ: другаго ничего никогда и не дѣлали они. Намъ очень занимаютъ вопросы о риторическихъ красотахъ ученаго автора потому, что краснорѣчіе есть существеннѣйшее достоинство его ученыхъ и критическихъ произведеній. Но возвратимся къ статьѣ о темной сторонѣ русской литературы.

Послѣ притчи о жатвѣ и сараячѣ, г. Шевыревъ довольно подробными чертами и самыми темными красками рисуетъ портреты петербургскихъ журналистовъ и рецензентовъ, людей, возбуждающихъ его неудовольствіе,—въ этихъ картинахъ опять восхитителенъ пѣнитическій колоритъ; но опять насъ приводитъ въ недоумѣніе невыдержанность характеровъ; смѣшеніе нѣсколькихъ фізіоно-

мій въ одинъ портретъ, раздробленіе одного лица на нѣсколько портретовъ, такъ что въ цѣломъ галлерей портретовъ представляеть страшный и смутный хаосъ. Стрѣлы, направленныя противъ одного, напримѣръ, противъ «Русскаго Вѣстника», летятъ въ другаго, кажутся направленными, напримѣръ противъ «Библіотеки», «Сына Отечества» или «Эконома» и не попадаютъ ни въ кого. Видно, что авторъ руководился болѣе паэсоомъ, нежели наблюдательностью. Исключеніе остается за однимъ портретомъ, который обработанъ съ особенною подробностью: это «рыцарь безъ имени, на щитѣ котораго громадными кривыми буквами написано *«убѣжденіе»*. Тутъ уже нѣтъ смѣшенія: всѣ собранныя авторомъ черты должны, по нѣкоторымъ внѣшнимъ признакамъ, относиться къ одному человѣку, писавшему въ «Отечественныхъ Запискахъ». Нельзя претендовать на чрезвычайную жесткость выраженій въ этомъ очеркѣ: если въ полемикѣ сохраняется прямота, она всегда жестка, и, во всякомъ случаѣ, прямота лучше косвенныхъ намековъ; дурно только то, когда жесткость формы сопровождается разными намеками. Но странно то, какъ неудачно выбранъ г. Шевыревымъ пунктъ нападеній. Вообразите, какой существенный порокъ избличаетъ онъ въ «рыцарѣ безъ имени?»—перемѣнчивость и отсутствіе убѣжденій. Это рѣшительно невѣроятно, этого никакъ невозможно было бы ожидать. Но вотъ слова ученаго автора:

„Всякое странное мнѣніе, всякая негѣпость, сказанная рѣшительно и громко, прикрываются всегда щитомъ и яркимъ его девизомъ, который бросается въ глаза, особенно неопытной молодежи, легко увлекающейся благороднымъ значеніемъ самаго слова. Но если бы это убѣжденіе было постоянно и вѣрно,—будь оно убѣжденіемъ хотя младенца или соннаго человѣка,—еще можно было бы его уважать. А когда видишь, что оно такъ часто мѣняется и падаетъ иногда на предметы, совершенно того недостойные, что рыцарь сегодня скажетъ одно, а завтра другое, и всѣ противорѣчія прикрываетъ однимъ и тѣмъ же щитомъ своимъ, то подъ конецъ еще болѣе отвращаешься отъ такой маски, на которую употреблено чувство совѣсти, чувство внутреннее и священное“.

Rem аси tetigisti, какъ разъ попали вы въ цѣль! Только этуо ученою фразою и можно выразить удивленіе, возбуждаемое столь удачнымъ выборомъ слабой стороны въ противникѣ. Обвинять его *за измѣнчивость и отсутствіе убѣжденій* то же самое, что обвинять *Пушкина за недостатокъ поэтическаго элемента въ его сти-*

хажь или г. Шевырева за недостатокъ ученыхъ цитатъ въ его ученыхъ статьяхъ. «Но», восклицаетъ съ негодованіемъ г. Шевыревъ, «мимо этихъ дразгъ, отъ которыхъ отвращаемъ глаза съ чувствомъ стѣсненнымъ!» Взглянемъ на свѣтлую сторону русской литературы, противоположную характеру петербургской журналистики. Тутъ опять овладѣваетъ паоосъ:

«Но что же случилось съ тѣми писателями, которые не могутъ сочувствовать направленію современному? Гдѣ она? гдѣ наши таланты? Ужели ими оскудѣла Россія? О, нѣтъ! они есть! Но, смотрите, они тамъ, укрылись въ тѣни. Чувствуя свое истинное призваніе и питая уваженіе къ дѣлу литературы, они отошли въ сторону отъ торжища, по невольному движенію благороднаго стыда и приличія. Не сознавая въ себѣ достаточныхъ силъ, чтобы противодѣйствовать толпѣ, которая кричитъ зажмура глаза, зная, что наглость дѣятельна, они не выходятъ на сцену. Видъ прежняго ихъ поприща, занятаго теперь рынокомъ, наводитъ даже какое-то оцѣпенѣніе на ихъ производительность, которая прежде была живѣе. Слово боится они имени литератора, опасаются, чтобы не смѣшали ихъ съ тѣми, которыхъ не презирать они не могутъ. Взгляните на ихъ почти онѣмѣлыя группы!..

«Между тѣмъ, капиталы русскаго ума, воображенія, сокровища мыслей знаній языка, находятся въ рукахъ талантовъ по большей части бездѣйственныхъ. Довольствуясь мирными бесѣдами пріятельскими, расточая въ нихъ по мелочи игру живыхъ способностей, болѣе и болѣе отвыкая отъ труда и частыми отказами отълучая отъ себя вдохновеніе, они почти не пускаютъ капитала своихъ дарованій въ оборотъ всенародный.

«Грустно, грустно дойти до такого заключенія»...

Въ самомъ дѣлѣ, какъ грустно!

— «Гдѣ наши таланты?

— «Смотрите, они тамъ (идѣ же это «тамъ?»), укрылись въ тѣни!»

Прискорбный разговоръ! Но если бы фразы г. Шевырева были справедливы, не слишкомъ выгодное заключеніе надобно бы вывести о силѣ дарованій въ ихъ талантливыхъ людяхъ, «которые не чувствуютъ въ себѣ достаточно силъ», чтобы «выйти на сцену прежняго своего поприща», и въ «безсиліи стоять (гдѣ-то «тамъ») въ тѣни оцѣпенѣлыми, почти онѣмѣлыми группами». Г. Шевыревъ неостороженъ въ выборѣ выраженій: онъ болѣе заботится о ихъ силѣ или картинности, нежели о томъ, къ какимъ заключеніямъ подають они поводъ. Но дѣло въ томъ, что изъ его словъ не надобно выводить никакихъ заключеній: цѣль всѣхъ этихъ картинныхъ изображеній—въ нихъ самихъ; они—прекрасныя поэтическія украшения рѣчи, имѣющія своимъ назначеніемъ не выраженіе фак-

товъ дѣйствительности, а осуществленіе идеальныхъ воззрѣній творческой фантазіи поэта. Въ самомъ дѣлѣ, ужели около 1841—1842 годовъ тѣ писатели, которыхъ г. Шевыревъ, подобно другимъ журналистамъ, признавалъ лучшими нашими талантами, стояли «вдали отъ торжища литературы онѣмѣлыми группами?» Вовсе нѣтъ: Жуковскій трудился надъ переводомъ «Одиссеи», переводилъ «Рустема и Зораба», Гоголь печаталъ «Римъ», приготовлялъ къ изданію первый томъ «Мертвыхъ Душъ» и четыре части своихъ сочиненій, — все это было извѣстно г. Шевыреву; г. Вельтманъ быстро издавалъ одинъ романъ за другимъ; Загоскинъ тоже, и въ той самой книжкѣ «Москвитянина», гдѣ выражена эта жалоба, помѣщенъ отрывокъ изъ его «Мирошева»; г. Хомяковъ писалъ новыхъ стихотвореній, правда, немного, но не менѣе, нежели когда нибудь; Г-жа Павлова писала болѣе, нежели когда нибудь; г-жа Ростопчина тоже; казакъ Луганскій тоже. А ихъ г. Шевыревъ признавалъ во второй своей статьѣ хорошими писателями. О петербургскихъ молодыхъ писателяхъ, которыхъ не признавалъ г. Шевыревъ, мы не говоримъ. Неумоимо писали и г. М. Дмитріевъ и дѣвица Зражевская, въ которыхъ ученый критикъ специально признавалъ талантъ. Вся патетическая тирада, которою заключается первая его статья, скорѣе принадлежитъ области поэзіи, нежели прозы.

Однимъ словомъ сожалѣніе о томъ, что въ 1841—1842 годахъ наши лучшіе таланты ничего не писали, и скорбь о печальномъ положеніи нашей литературы не могутъ быть, по своей основательности, сравнены ни съ чѣмъ инымъ, какъ съ слѣдующею элегіею г. М. Дмитріева о грустномъ положеніи русскихъ дѣвицъ въ томъ же 1842 году. Кстати, эта элегія съ эпиграфомъ изъ Кольриджа:

O, my brethrem! I have told
Most bitter, truth, but without bitterness *).

напечатана тотчасъ вслѣдъ за статьєю г. Шевырева, какъ бы составляя продолженіе ея. Потому считаемъ необходимою выписать первые куплеты:

*) O, братья мои! горьчайшую правду, но безъ горечи сказалъ я.

ЖАЛЬ МНѢ ВАСЪ.

Жаль мнѣ васъ младыя дѣвы,
 Что родились вы въ нашъ вѣкъ,
 Какъ молчать любви напѣвы
 И туманенъ человекъ!

Ваши матери весною
 Дней безоблачныхъ своихъ
 Для любви цвѣли красою
 И для пѣсенъ золотыхъ.

Вы цвѣтете безъ привѣта;
 Въ вашихъ пляскахъ—скуки слѣдъ;
 На любовь вамъ нѣтъ отвѣта,
 На красу вамъ пѣсенъ нѣтъ! и т. д.

Вотъ удивительное было время! Вообразите себѣ: въ 1842 году по Р. Х. молодые люди не влюблялись въ дѣвицъ, даже не писали имъ сладенькихъ стиховъ («на красу вамъ пѣсенъ нѣтъ»), даже не говорили имъ комплиментовъ («вы цвѣтете безъ привѣта»); а дѣвицы съ своей стороны не пѣли романсовъ («молчать любви напѣвы») и скучали танцами, не любили танцевать («въ вашихъ пляскахъ скуки слѣдъ»). Странное было время въ 1842 году, по словамъ г. Шевырева и М. Дмитриева.

Начало второй статьи г. Шевырева («Свѣтлая сторона». «Моск.», 1842 г. № 2) патетичностью тона соотвѣтствуетъ окончанію первой

„Прочь, прочь, несносная пѣсень, которая подъ обманчивою личиною весенней зелени скрывала отъ насъ ясный потокъ современной русской литературы! Прочь, прочь ея тяжкій напѣвъ! Сметемъ, счистимъ его въ нашемъ воображеніи! Удалимъ преждее неприятое впечатлѣніе и, освѣжившись очами, взглянемъ теперь на свѣтлую, желанную сторону нашего предмета“.

Свѣтлую, желанную сторону предмета ученый авторъ предполагалъ обозрѣть съ нѣсколькихъ различныхъ точекъ зрѣнія и описать, сообразно тому, въ нѣсколькихъ статьяхъ: въ первой онъ хотѣлъ «изобразить современное состояніе русскаго языка и слова»; во второй—«дѣятельность нашихъ стихотворцевъ», въ третьей—«картину нашихъ прозаиковъ», въ четвертой—«вліяніе иностранныхъ литературъ на нашу отечественную», въ пятой *какое-небудь*—«общую картину образованія русскаго, развитія науки въ

нашемъ отечествѣ и въ особенности познанія Россіи».—Исполненіе этой «трудной задачи, которую онъ задавалъ себѣ», казалось ему «необходимымъ и полезнымъ» дѣломъ, казалось даже «нравственнымъ подвигомъ». Однако же, это «необходимое дѣло» не было совершено, этотъ «нравственный подвигъ» не былъ исполненъ,—потому ли, что охота совершать нравственные подвиги можетъ охлаждаться, или потому, что иногда, поразмысливъ, перестаешь считать полезнымъ то, что показалось на первый взглядъ необходимымъ. Почему бы то ни было, но изъ обѣщанныхъ многочисленныхъ «картинъ» была напечатана ученымъ авторомъ только одна, изображающая состояніе языка и слога; ни «дѣятельность нашихъ стихотворцевъ», ни «картина нашихъ прозаиковъ», ни всѣ дальнѣйшіе интересные предметы не были обсуждены ученымъ авторомъ. Какая причина лишила русскую литературу этихъ интересныхъ разсужденій, неизвѣстно намъ, въ чемъ мы ужъ и признались; можно поручиться только за одно: виною остановки не было сомнѣніе почтеннаго автора въ собственныхъ силахъ,—этого сомнѣнія никогда не обнаруживалъ г. Шевыревъ. Впрочемъ, вообще мы должны замѣтить, что ученныя занятія, какъ увѣдомляетъ во многихъ мѣстахъ «Москвитянина» самъ почтенный авторъ, часто отрывали его отъ журнальной работы. Этому скорѣе всего надобно приписать то, что вообще онъ не сдѣлалъ для «Москвитянина» многого изъ того, что первоначально предполагалъ сдѣлать. Напримеръ, въ одномъ 2 номерѣ «Москвитянина» за первый годъ изданія (1841) мы находимъ два подобныя предположенія. Въ своей статьѣ «Вмѣсто введенія», служащей предисловіемъ къ его критикѣ, г. Шевыревъ обѣщалъ «предлагать читателямъ теоретическія статьи по эстетикѣ». Исполненіемъ этого намѣренія можно считать только небольшое разсужденіе «О смѣшномъ», явившееся черезъ двѣнадцать лѣтъ (въ 1853 г.). На страницѣ 538-й той же 2-й книжки онъ говоритъ, что «далъ обѣщаніе г. издателю «Москвитянина» заниматься въ его журналѣ разборомъ замѣчательныхъ произведеній литературы отечественной и иностранной»—ни одного разбора замѣчательныхъ твореній «иностранной литературы» ученый авторъ, кажется, не помѣстилъ въ «Москвитянинѣ».—Отчасти уже и теперь могутъ судить читатели, незнакомые съ старымъ «Москвитяниномъ», а еще точнѣе увидятъ изъ всего продолженія нашей *характеристики*, до какой степени оправдалось исполненіемъ предпо-

ложеиіе ученаго критика, выраженное въ слѣдующихъ строкахъ его «Вмѣсто введенія»:

„Мы вмѣнимъ себѣ въ особенную обязанность подмѣчать движеніе общественной жизни въ нашей словесности, мы употребимъ всѣ усилія, необходимыя для разрѣшенія вопроса жизненнаго: въ какой степени словесность наша отражаетъ жизнь нашего общества? Что беретъ она у жизни и что отдаетъ ей? какими вопросами съ нею связана?—Разрѣшеніе всего этого можетъ привести насъ къ нѣкоторому сознанію настоящей минуты нашего отечественнаго быта, можетъ указать намъ на наши недостатки и достоинства, можетъ опредѣлить наше положеніе въ настоящемъ и надежду на будущее“. (Стр. 509).

Въ свое время петербургскіе журналы чрезвычайно огорчались тѣмъ, что судьба не даетъ осуществиться въ надлежащемъ размѣрѣ ни одному изъ интересныхъ обѣщаній автора, и каждый изъ его трактатовъ, обѣщавшихъ разъяснить очень важныя и, по мнѣнію г. Шевырева, худо понимаемыя другими журналами вопросы, всегда останавливается на введеніи, которое содержитъ только нѣкоторыя обличенія петербургскимъ журналамъ на нѣсколько замѣчаній о слогѣ, каррарскомъ мраморѣ и галлерей Доріа, съ которыми мы скоро встрѣтимся. Мы упоминаемъ объ этомъ потому, что раздѣляемъ огорченіе тогдашнихъ петербургскихъ журналовъ; но «горемъ дѣлу не поможешь», и мы должны тѣмъ внимательнѣе изучать ехordium'ы которые одни дано намъ читать. Возвратимся же къ продолженію неоконченныхъ статей ученаго автора.

Вмѣсто любопытной характеристики русской литературы по ея духу и художественнымъ достоинствамъ, господинъ Шевыревъ далъ своимъ читателямъ только трактатъ изъ реторики — «О языкѣ и слогѣ». Впрочемъ, рассуждая объ этомъ предметѣ, повидимому, исчерпанномъ и потерявшемъ интересъ послѣ трактата почтеннаго Шишкова «О старомъ и новомъ слогѣ», ученый авторъ высказалъ столько поразительно вѣрныхъ сужденій, что, при самомъ высокомъ понятіи объ оригинальности воображенія и взглядовъ глубокомысленнаго критика, трудно рѣшить, могли ли бы его статьи о содержаніи и художественной формѣ въ нашей литературѣ быть интереснѣе его статьи о языкѣ и слогѣ. Перечисляя писателей, которые отличаются хорошимъ слогомъ, авторъ сначала хвалитъ Карамзина, Жуковскаго, князя Вяземскаго, Пушкина, Лермонтова и нѣкоторыхъ другихъ. Тутъ нѣтъ еще ничего особеннаго; должно только сказать, что онъ поступилъ справедливо, начавъ свой перечень ихъ

именами; но въ продолженіи списка лучшихъ литераторовъ встрѣчаются сужденія болѣе интересныя. Такъ, напримѣръ, о г. О. Глинкѣ ученый авторъ говоритъ, что «слогъ его осыпается яркими искрами», и желаетъ, чтобы онъ больше писалъ «своимъ пылкимъ перомъ»; слогъ г. Греча прежде былъ очень хорошъ, но «испортился» отъ подражанія слогу барона Брамбеуса. Къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій нашей литературы, вмѣстѣ съ господиномъ О. Глинкою, принадлежатъ госпожа Шишкина и дѣвица Зражевская: первая «придала особенную прелесть вкуса простонародному слогу, какой онъ не имѣлъ до нея», а «рѣзвое перо г-жи Зражевской отличается непринужденной разговорчивостью». Къ замѣчательнѣйшимъ писателямъ принадлежатъ, между прочимъ, гг. Масальскій и Каменскій: слогъ перваго «отличается какою-то благородною чистотою», а въ послѣднемъ главная черта—«пылкая живость».—Это все наши лучшіе писатели; ихъ произведенія составляютъ свѣтлую сторону нашей литературы. Напротивъ того, Полевой, баронъ Брамбеусъ и г. Кукольникъ очень плохо владѣютъ русскимъ языкомъ: они подвергаются подробнымъ выговорамъ за то, что не умѣютъ писать такъ хорошо, какъ г-жа Шишкина и дѣвица Зражевская, какъ гг. Масальскій и Каменскій. Но всѣ эти частности незначительны въ сравненіи съ главною, общею мыслью всей статьи: г. Шевыревъ доказываетъ, что всѣ хорошіе прозаики по 1842 годъ включительно писали «слогомъ Карамзина»; даже Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь не сообщили своей прозаической рѣчи оригинальнаго характера: всѣ они писали «слогомъ Карамзина». Ученый авторъ, вѣроятно, не признавалъ справедливымъ, что у cadaго хорошаго писателя бываетъ свой собственный слогъ, или, быть можетъ, это какая нибудь аллегорія.

Отъ этихъ своеобразныхъ взглядовъ на темную и свѣтлую стороны нашей литературы перейдемъ къ другой капитальной статьѣ о русской литературѣ вообще, именно къ «Очеркамъ современной русской словесности», помѣщеннымъ въ I книжкѣ «Москвитянина» за 1848 годъ. Существенное содержаніе этихъ «очерковъ» — объясненіе того, что всѣ молодые (т. е. бывшіе тогда молодыми) беллетристы, которыхъ петербургскіе журналы, въ особенности «Отеч. Записки» и «Современникъ», называютъ талантливыми людьми, пишутъ очень плохо. Положимъ на минуту, что это мнѣніе справедливо: *вѣдь мы уже сказали, что не будемъ спорить съ г. Шева-*

ревимъ относительно того, что худо, что хорошо, а будемъ только изучать своеобразный способъ развитія его воззрѣній и оригинальную методу его доказывать справедливость своихъ понятій. Положимъ, что всѣ эти беллетристы писали дурно; но какимъ же способомъ доказываетъ это ученый авторъ? Слѣдующимъ: всѣ лучшіе петербургскіе молодые беллетристы составляютъ одну школу, которая тогда была называема натуральною; глава этой школы—г. Никитенко. Докажемъ же, что г. Никитенко ошибается въ своихъ теоріяхъ,—и дѣло будетъ рѣшено. Вслѣдствіе этого, большая половина «очерковъ» посвящена изобличенію ошибочной теоріи г. Никитенко. Что сказать объ этомъ умозаключеніи? Никому не запрещается искать ошибокъ у г. Никитенко, какъ и у всякаго другаго писателя; но какое дѣло г. Никитенко до всей петербургской беллетристики? Когда онъ объявлялъ себя или какой поводъ подавалъ онъ считать себя ея представителемъ? Вѣдь каждому извѣстно что г. Никитенко всегда стоялъ внѣ всякихъ партій и школъ, въ журнальных преніяхъ не пускался и никогда не имѣлъ мысли образовать вокругъ себя какую бы то ни было школу. Съ другой стороны, какое дѣло беллетристамъ натуральной школы до справедливости или несправедливости теорій г. Никитенко? Развѣ они объявляли себя, или кто нибудь считалъ ихъ учениками г. Никитенко? Вѣдь каждому, кто имѣлъ въ рукахъ хотя одну книжку «Отч. Зап.» или «Современника», было въ то время извѣстно, что теорія г. Никитенко и натуральная школа—предметы, нимало другъ отъ друга независимые. Какимъ же образомъ можно было вообразить, что, опровергая теорію г. Никитенко, можно поразить натуральную школу, а для пораженія натуральной школы необходимо нападать на теорію г. Никитенко? «Да, много такого пишется на землѣ, другъ Горацио, чего не понять мудрецамъ», невольно скажешь примѣняя къ этому непостижимому случаю слова Гамлета. Но вотъ, за длинными опроверженіями теоріи г. Никитенко, слѣдуютъ въ самомъ концѣ статьи, краткіе выговоры, уже прямо обращенные къ натуральной школѣ: она уничтожена критикою теоріи г. Никитенко, слѣдовательно много толковать съ нею не для чего.—Дѣло рѣшено: искусство въ Россіи погибаетъ отъ теоріи г. Никитенко. Остается только указать признаки упадка. Признаки эти, отысканные преимущественно у г. Григоровича и г. Тургекева, слѣдующіе:

„Укажемъ на признаки этого паденія искусства въ школѣ, которая всѣхъ дѣятельнѣе участвуетъ въ современной словесности. Первый признакъ отсутствіе художественной совѣсти въ большей части ея произведеній. Рѣдко замѣтите вы свободу личнаго чувства, которое совершенно увлекалось бы искусствомъ и служило бы ему по призванію. Рѣдко коснется васъ творчество вдохновенія, рѣдко повѣсть свѣжестью дара; все большею частью сочиненія дѣланья, прошедшія иногда черезъ скуку усилій, которая отзывается даже и въ лучшихъ произведеніяхъ школы.

„Второй признакъ—эфемерность рождающихся талантовъ. Прежде у насъ былъ моръ и дарованія. Какой-то таинственный рокъ ихъ преслѣдовалъ, — и мы оплакивали преждевременную ихъ кончину. Теперь таланты умираютъ живо. Первая повѣсть пробудить въ васъ надежду, вторая ослабить ее, третья приведетъ въ отчаяніе, а четвертой вы уже и не читаете.

„Третій признакъ—какое-то совершенное отрицаніе коренныхъ началъ народной жизни, той основной сущности, той живой истины, которая глубоко лежитъ въ народѣ... Всего болѣе нападаютъ на низшіе слои народа и клеветуютъ на его дѣйствительность въ дурную сторону. Народъ нашъ, главными свойствами своего большинства, конечно, не заслужилъ такихъ навѣтовъ со стороны литературы отечественной.. Какую же цѣль имѣетъ наша литература, возбуждая въ образованномъ обществѣ почти отвращеніе къ народу своими литературными доносами? Иные, читая все это, пожалуй, подумаютъ, что народъ нашъ едва ли достоинъ какого нибудь улучшенія своей участи. Мы рѣшительно не понимаемъ здѣсь цѣли нашихъ писателей“.

(„Москвитинъ“ 1848, № 1, стр. 49).

Мы опять говоримъ: насъ занимаетъ не то, хвалить или осуждаетъ г. Шевыревъ, а то, какъ и за что хвалить или осуждаетъ онъ. Почему не искать недостатковъ и у лучшихъ тогдашнихъ (и нынѣшнихъ) беллетристовъ? Но странно находить, что у нихъ недостаетъ именно того, чѣмъ они особенно богаты. Какъ понять первый признакъ упадка, мы не придумаемъ: кто заставлялъ или что заставляло г. Григоровича и г. Тургенева насиловать дарованіе? Ужели теорія г. Никитенко? По ходу рѣчи, должно быть или онъ, или, скорѣе, тотъ загадочный Гераклесъ, который, какъ мы выше видѣли, подымалъ ихъ въ отвлеченную пустоту, гдѣ они дрягали ногами? Должно быть, онъ, потому что онъ выведенъ на сцену именно въ этой статьѣ. Но кто онъ? Этого не разрѣшили бы ни Конфуцій, ни Лао-дзы. Какъ блистательно оправдывается второй признакъ — эфемерность талантовъ, мы постоянно видимъ, было очень хорошо видно и въ то время. Дѣйствительно, г. Григоровичъ послѣ своей «Деревни», а г. Тургеневъ, послѣ перваго изъ *«Рассказовъ Охотника»*—«Хоръ и Калинычъ» — не написали уже

ничего сноснаго, и въ настоящее время имена ихъ уже давно забыты публикою. Мы готовы держать пари, что изъ тысячи читателей едва ли одинъ припомнитъ теперь, что существовали когда-то г. Григоровичъ и г. Тургеневъ. Но удачнѣе всего выбранъ третій признакъ. Можно говорить противъ писателей нами названныхъ, что угодно; но упрекать ихъ въ недостатокъ любви къ народу, упрекать въ томъ, что ихъ произведенія возбуждаютъ отвращеніе къ народу,—да вѣдь это все равно, что упрекать огонь въ холодности, Говарда въ эгоизмъ, Вильберфорса въ жестокости.

Кромѣ всѣхъ исчисленныхъ причинъ, погибель русской литературѣ предстояла въ наискорѣйшемъ времени отъ порчи языка въ петербургскихъ журналахъ неправильными и чудовищными выраженіями. Г. Шевыревъ былъ такъ возмущенъ этой страшной опасностью, что рѣшился для спасенія русскаго языка составлять и печатать въ «Москвитянинѣ» словарь «барбаризмовъ», солецизмовъ и прочихъ измовъ». Необходимость и пользу его онъ объясняетъ слѣдующимъ образомъ: «Съ нѣкоторыхъ поръ русскій языкъ до того началъ страдать отъ нововведеній, что становится и больно и страшно за родное слово всякому, кто его любитъ и уважаетъ». Для противодѣйствія этой погибели роднаго слова, онъ обѣщается поостоянно выдавать словарь всѣхъ чудовищныхъ выраженій, которыми такъ особенно богата наша періодическая словесность». Этотъ словарь принесетъ пользу литературѣ, «производя въ публикѣ тотъ комическій хохотъ, который будетъ весьма спасителенъ для русскаго слова».—Обѣщаніе «выдавать поостоянно» столь полезный трудъ, конечно, не состоялось: за первымъ, довольно большимъ, отрывкомъ явился въ слѣдующей книжкѣ «Москвитянина» второй, гораздо меньшій отрывокъ словаря. Тѣмъ дѣло и кончилось. Но интересно познакомить читателя съ нѣкоторыми образцами тѣхъ «чудовищныхъ выраженій», которыя угрожали погибелью родному слову и которыя, по мнѣнію почтеннаго автора, должны были «произвести въ публикѣ комическій хохотъ». Вотъ какого рода эти «чудовищныя выраженія»:

«Изъ-подъ салфетки, покрывавшей столъ, высовывалась голова лягавой собаки.—Онъ началъ подымать взоры.—Толстый, рослый мужчина, который послѣ протызыванія зубовъ, ни разу не былъ боленъ.—Миньятюрная старушка, съ повисшими бровями и тоненькими блѣдными губами.—Люди глупые, разбитые, паралички», и т. д. и т. д.

«Комическій хохоть» должны возбуждать преимущественно слова, напечатанныя курсивомъ.

Читатели, можетъ быть, еще помнятъ, что въ этомъ благомъ дѣлѣ ученый составитель словаря имѣлъ столь же искуснаго но болѣе неутомимаго преемника—г. И. Покровскаго, который, года два или три тому назадъ, постоянно обогащалъ каждую книжку «Москвитянина» своимъ превосходнымъ. «Памятнымъ листкомъ опибокъ противъ русскаго языка». Пріятно намъ замѣтить, что г. Шевыревъ имѣлъ и достойнаго предшественника, именно извѣстнаго нашего журналиста князя Шаликова, который украсилъ одну изъ книжекъ «Москвитянина» за 1841 годъ небольшою, но очень полезною статью подъ заглавіемъ, столь же остроумнымъ, какъ заглавіе, данное ученымъ авторомъ своему словарю,—именно статью «О литературномъ размежеваніи». Вотъ небольшой отрывокъ изъ этого прекраснаго труда, послужившаго образцомъ для г. Шевырева:

„Подражать въ прозѣ Карамзину, а въ стихахъ Пушкину значить избрать лучшіе образцы. Повиноваться же номоветамъ бездарнымъ единственно потому, что размножилось ихъ число—смѣшная и жалкая слабость, которая наконецъ можетъ проникнуть во все системы нашей литературы, *имитъ*, кажется болѣе нежели когда нибудь похожей на энееву ладію, не управляемую рулемъ усерднаго, ревностнаго Палинура, извергнутаго коварнымъ *Морфеємъ* въ морскія бездны, и бросаемую во все стороны мятежными волнами. не подчиненными въ *замыслахъ* нашей литературы спасательному трезубцу Нептуна, за нимѣніемъ сего божества.—Кто, напримѣръ, оспоритъ насъ, если скажемъ видимую истину, что къ намъ изъ младенчества русскаго словесности возвратились самые грубые галицизмы, солецизмы, барбаризмы, изгнанные великимъ ея законодателемъ? И кому же она обязана сею пагубною амнистіею? Тѣмъ *первокласснымъ* (какъ очевидно они думаютъ о себѣ) современнымъ писателямъ, которые замѣнили предлогъ о предлогомъ *про* и пишутъ про Римъ, про балъ, про родину,—нисколько вмѣсто нисколько, разъ вм. однажды, надо вм. надобно, да вмѣсто такъ.. О, времена! *Князь Шаликовъ*“.

(„Москвитянинъ“ 1841 г., № VII, стр. 236—238).

Замѣтимъ, однако, что въ одномъ пунктѣ (только въ одномъ) мнѣнія князя Шаликова и г. Шевырева расходились. Издатель «Дамскаго Журнала» былъ, какъ извѣстно, ревностнымъ послѣдователемъ Карамзина, а г. Шевыревъ блистательнымъ образомъ защищалъ понятія Шишкова. Ученый адмиралъ и ученый профессоръ одинаково утверждали, что славянскія слова чрезвычайно *вышпаютъ и украшаютъ* русскую рѣчь. Оба они были непреклонны

въ борьбѣ противъ людей, думавшихъ, что по русски надобно писать на русскомъ, а не на славянскомъ языкѣ, и приводили въ примѣръ нашимъ поэтамъ выраженіе:

Сobleщеть молнія мечу *).

Но г. Шевыревъ шелъ гораздо далѣе Шишкова, который хотѣлъ только, чтобы въ слогѣ подражали Ломоносову, между тѣмъ, какъ для г. Шевырева учителемъ русскаго современнаго языка былъ Кирилль Туровскій, жившій за 600 лѣтъ до Ломоносова и совершенно чистый отъ галлицизмовъ. Г. Шевыревъ совѣтовалъ нашимъ поэтамъ возстановить употребленіе мѣстоименія *иже, яже, еже* и дательнаго самостоятельнаго падежа, именно писать такимъ образомъ: «волнующемуся морю (то есть *при морскомъ волненіи, отъ морскаго волненія*) корабль, иже входилъ въ гавань, подвергался опасности, а лодкѣ, яже была выслана къ нему на встрѣчу, потонувшей (*когда лодка, высланная къ нему на встрѣчу, потонула*), гибель стала неизбѣжна». Желающіе могутъ видѣть примѣры и доказательства красоты такого слога въ «Исторіи русской словесности» г. Шевырева и въ его отвѣтѣ на разборъ этой книги, помѣщенный въ «Сынѣ Отечества». Шишковъ, кажется, не предполагалъ возможности возстановить дательный самостоятельный.

Кстати о слогѣ самого г. Шевырева. Ученый критикъ писалъ, безъ сомнѣнія, очень цвѣтисто и патетично; но, къ сожалѣнію, слогъ его вообще растянуть и напыщенъ, а языкъ неточенъ и неправиленъ. Никто изъ русскихъ журналистовъ, со времени Свиньина, прославившагося дивнымъ слогомъ своего романа «Якубъ Скупаловъ», не владѣлъ языкомъ такъ дурно, какъ г. Шевыревъ. Мы конечно, не упомянули бы объ этомъ дѣлѣ, если бы самъ г. Шевыревъ не толковалъ такъ много о языкѣ и слогѣ. Ошибки противъ языка или логики рѣжутъ глаза почти въ каждой его фразѣ, потому и не нужно приводить примѣровъ: желающій найдетъ ихъ десятки въ каждой нашей выпискѣ изъ статей г. Шевырева. На всякій случай, разберемъ хотя первую фразу въ первомъ изъ помѣщенныхъ у насъ сужденій его о Гоголѣ. Оно принадлежитъ еще 1835 году; въ послѣдствіи г. Шевыревъ писалъ гораздо хуже, и мы нарочно указываемъ лучшую по слогу изъ его статей. «Авторъ Ве-

*) Москвитининъ 1854 г., № 7, статья г. Шевырева о Фонвизинѣ.

черовъ Диканьки» (то есть Вечеровъ на Диканькѣ, или на хуторѣ близъ Диканьки) имѣеть отъ природы чудный даръ схватывать безсмыслицу въ жизни человѣческой и обращать ее (жизни или безсмыслицу)? въ неизясняемую (то есть неизяснимую) поэзію смѣха». На двухъ строкахъ двѣ ошибки противъ языка и одна неточность. Такъ писалъ г. Шевыревъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ». Въ «Москвитянинѣ» онъ писалъ еще неправильнѣе. О напыщенности и натянутости слога мы ужъ и не говоримъ.

Читатели, быть можетъ, думаютъ, что достаточно познакомились съ критическими статьями г. Шевырева? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Вѣдь опредѣлительнѣе всего характеризуетъ человѣкъ нравственную или умственную сторону своей личности сужденіями объ отдѣльныхъ фактахъ: общія сужденія, какъ бы ни были ярки, всегда бываютъ безцвѣтны въ сравненіи съ приговорами объ индивидуальныхъ явленіямъ. Скажемъ, напримѣръ: вообще литература вздоръ, побасенки, — это будетъ мысль удивительная, но если мы въ частности скажемъ: Шекспиръ писалъ вздоръ, блескъ этого сужденія будетъ уже превышать всякую мѣру изумительности. Возьмемъ другой примѣръ: «Гоголь есть Гомеръ» — мысль довольно поразительная; но скажите: «Чичиковъ есть Ахиллесъ» — и мысль сдѣлается еще въ тысячу разъ поразительнѣе. Все это мы говоримъ только къ примѣру, что способность каждаго критика съ наибольшимъ блескомъ выказывается именно въ сужденіяхъ его объ отдѣльныхъ писателяхъ и объ отдѣльныхъ произведеніяхъ литературы.

Перейдемъ же къ статьямъ г. Шевырева объ отдѣльныхъ русскихъ писателяхъ. Посмотримъ, напримѣръ, какія мысли высказаны имъ въ критическомъ разборѣ сочиненій Пушкина («Москвитянинъ» 1841, № IX).

Прежде всего и болѣе всего занимаетъ ученаго критика вопросъ о томъ, не ошибочно ли поступалъ Пушкинъ въ томъ, что одни произведенія написалъ прозою, а другія стихами. Отвѣтъ: онъ поступилъ хорошо. Удовлетворительно разрѣшивъ эту важнѣйшую задачу, онъ уже совершенно исполнилъ все, что въ правѣ ожидать читатель отъ критической оцѣнки Пушкина. Остается только сказать по нѣскольку словъ о разныхъ мелочахъ — отношеніи Пушкина къ предшествовавшимъ ему поэтамъ и о значеніи его произ-

веденій. Первое обстоятельство излагается такъ: до Пушкина были двѣ школы въ нашей поэзіи—пластическая и музыкальная; главою пластической былъ Державинъ,—у него недоставало мелодичности; корифеями музыкальной — Батюшковъ и Жуковский; у нихъ мало было пластики. Пушкинъ соединялъ оба эти направленія. Какъ же могло случиться, что въ стихъ Батюшкова оказалось мало пластичности? Вѣдь каждому извѣстно, что онъ въ особенности знаменитъ этимъ качествомъ. Но къ чему наши вопросы? Лучше послушаемъ, что составляетъ существенную черту въ поэзіи Пушкина, что такое вообще произведенія Пушкина. «Главная черта Пушкина — эскизность». Въ «Москвитянинѣ» это опредѣленіе поэзіи Пушкина указано только краткимъ намекомъ, потому что прежде уже было подробно развито въ «Московскомъ Наблюдателѣ» (часть XII, стр. 316). «Пушкинъ, столько прилежный и рачительный въ исполненіи, почти всегда довольствовался однимъ эскизомъ въ изображеніи. Эскизъ былъ стихіею неукротимаго Пушкина» и т. п. Примѣромъ этому служить «Мѣдный Всадникъ», продолжаетъ статья «Москвитянина». Если взглянуть «мыслящимъ взоромъ внутрь этого произведенія», то мы найдемъ, что сюжетъ «Мѣднаго Всадника»... вы думаете, знаменитое наводненіе, вы думаете, апотеозъ Петра Великаго, какъ творца Петербурга? Нѣтъ, «соотвѣтствіе между хаосомъ природы и между хаосомъ ума, пораженнаго утратою. Здѣсь, по нашему мнѣнію, главная мысль, зерно и единство художественнаго созданія. Жаль только, что этотъ основной мотивъ не довольно развитъ»; но его неразвитостью именно и догадывается, что основная черта поэзіи Пушкина—эскизность. Прекрасно! Теперь мы узнали существенную черту поэзіи Пушкина. Интересно узнать, что такое «произведенія Пушкина, рассматриваемыя въ ихъ совокупности». Этотъ вопросъ предложенъ въ самомъ концѣ статьи, и на него данъ очень удовлетворительный отвѣтъ строками, исполненными высокою картинности:

„Произведенія Пушкина, рассматриваемыя въ ихъ совокупности—чудныя массы, готовые колонны, или стоящія на мѣстѣ, или ждущія руки воздвигающей, dokonченные архитравы, выдѣланныя рѣзцомъ украшенія и при этомъ богатый запасъ готоваго дивнаго матеріала. Да, да, вся поэзія Пушкина представляетъ чудный, богатый эскизъ недоконченнаго зданія, которое русскому народу и многимъ вѣкамъ его жизни предназначено долго, еще долго страдать и славно докончить“.

Точка. Конецъ. Мы нарочно напечатали эти слова мелкимъ шрифтомъ, чтобы читатели видѣли, что мы не прибавили и не убавили въ нихъ ни одной буквы. Кромѣ этой прекрасной, въ живописномъ отношеніи, тирады, вы ничего не найдете въ статьѣ г. Шевырева о содержаніи поэзіи Пушкина, ея значеніи въ нашей литературѣ, ея отношеніяхъ къ обществу. Зато очень много говорится объ Италіи. Напримѣръ, скажетъ ли г. Шевыревъ, что у Пушкина былъ «русскій глазъ» тотчасъ же прибавитъ: «подъ именемъ русскаго глаза мы разумѣемъ тотъ вѣрный глазъ, который «подмѣчаетъ точно и подробно всѣ образы виѣшняго міра. Онъ «имѣетъ много сходства съ итальянскимъ». Говоритъ ли онъ, что трудно писать такіе прекрасные стихи, какіе писалъ Пушкинъ, тотчасъ же пояснитъ дѣло: «Въ Италіи есть поговорка о Рафаэлѣ, «что онъ унесъ съ собою въ могилу тайну своихъ красокъ. У насъ «то же самое можно сказать о Пушкинѣ, что онъ взялъ съ собою «тайну своего стиха». Черезъ нѣсколько страницъ еще больше разъясненъ вопросъ о рѣзцѣ Пушкина: «Это рѣзецъ Кановы или «Тенерани, покорившій себѣ до конца всю звонкую твердость нашего мрамора. Мы желали бы расположить сочиненія Пушкина «по эпохамъ стиля, какъ располагаютъ стиль Рафаэля или Гвидо-Рени». Что такое «нашъ звонкій мраморъ», доскажетъ г. Шевыревъ черезъ нѣсколько страницъ. Вообще «русскій языкъ—каррарскій мраморъ лучшаго сорта», а «русскій стихъ у Пушкина до-«стигъ до прозрачности алебастра восточнаго, воздѣланнаго рѣзцомъ фидіевымъ». Какъ «расположенъ стиль Рафаэля», онъ вамъ разъяснить въ другомъ мѣстѣ: «въ Перуджіи есть зала, которую «можно назвать пеленки и колыбель живописца Рафаэля», и т. д. Но объ Италіи довольно. Много другаго интереснаго могли бы мы заимствовать изъ разбора сочиненій Пушкина: но пора перейти къ мнѣніямъ г. Шевырева о Лермонтовѣ: они еще интереснѣе. Загтимъ только, что ученый критикъ, справедливо находя, что изданіе Пушкина 1835—1841 годовъ наполнено опечатками, очень удачно поправляетъ ихъ. Между прочимъ, въ одномъ изъ лицейскихъ стихотвореній есть выраженіе:

Бранной забавы

Любить нельзя.

Пушкинъ-лицеистъ не могъ такъ написать, по мнѣнію г. Шевырева. Г. Шевыревъ не знаетъ, какъ именно была написана эта

фраза въ автографѣ Пушкина; но онъ «увѣренъ», что ее надлежитъ возстановить слѣдующимъ образомъ:

Бранной забавы
Любить не я.

Не подумайте, что у насъ вкралась опечатка. Нѣтъ, именно такъ; «Любить не я». «Этой поправки хвалить не я», и потому скорѣе «переходить мы» къ разбору «Героя Нашего Времени» и «Стихотвореній Лермонтова». Кстати прибавимъ: неудивительно, если критикъ, столь проникательно отгадывающій ошибки и столь вѣрно понимающій условія грамматической правильности, находитъ, что языкъ Лермонтова неправиленъ и что этотъ поэтъ «вообще не умѣлъ совладѣть съ грамматическимъ смысломъ», хотя каждому извѣстно, что рѣшительно ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ до 1841 года включительно (когда была написана эта статья) не писалъ стиховъ такимъ безукоризненнымъ языкомъ, какъ Лермонтовъ; у самого Пушкина неправильныхъ и натянутыхъ оборотовъ болѣе, нежели у Лермонтова. Лермонтовъ вообще не пользовался особенною благосклонностью со стороны г. Шевырева, утверждавшаго, что онъ только подавалъ хорошія надежды, но еще не оправдалъ ихъ. Мы не будемъ останавливаться на этомъ: насъ интересуетъ не сущность мнѣній г. Шевырева, а ихъ развитіе. Итакъ что же говорить г. Шевыревъ, напримѣръ, о характерахъ, изображенныхъ въ «Героѣ Нашего Времени»? Во первыхъ, онъ желалъ бы, чтобъ Лермонтовъ сдѣлалъ изъ княжны Мери и Балы одно лицо: тогда это была бы хорошая женщина или дѣвица. «Если «бы можно было слить Балы и Мери въ одно лицо, вотъ былъ бы «идеаль женщины!» Впрочемъ, характеръ княжны Мери заимствованъ у какого-то русскаго повѣствователя,—у какого, мы не можемъ придумать. На всякій случай, вотъ подлинныя слова ученаго критика: «Въ княжнѣ Мери есть черты, взятыя съ другой княжны»—не отгадаетъ ли кто этой загадки? Вѣра, характеръ которой очерченъ Лермонтовымъ съ такою нѣжною любовью,—«Вѣра есть лицо непривлекательное ничѣмъ». Въ характерѣ Печорина есть двѣ важныя ошибки: во первыхъ, такой человѣкъ не можетъ любить природу. Ученому критику было легко рѣшить это, потому что ему неизвѣстно, что люди, утомленные жизнью, *скачущіе съ людьми, съ двойною силою привязываются къ при-*

родѣ. Во вторыхъ, г. Шевыревъ «никакъ не думаетъ, чтобы прошедшее сильно дѣйствовало на Печорина», и потому неправдоподобно, чтобы онъ велъ дневникъ. Да вѣдь онъ скучаетъ: почему жь отъ скуки не вести ему дневника? Настоящее наводитъ на него тоску; будущее безотрадно: какже ему не возвращаться мыслю къ прошедшему? И вѣдь эгоизмъ силенъ въ Печоринѣ; а чѣмъ болѣе развитъ эгоизмъ въ человѣкѣ, тѣмъ больше думаетъ онъ о своей личности и о всемъ, что до нея касается. Кажется, это очень просто; да притомъ и самъ Печоринъ объясняетъ это. Но главный недостатокъ въ характерѣ Печорина: «онъ не имѣетъ въ себѣ ничего существеннаго относительно къ чисто русской жизни, которая изъ своего прошедшаго не могла извергнуть такого характера»; потому онъ «призракъ». Послѣ этого не нужно говорить, до какой степени понятенъ для г. Шевырева и до какой степени нравится ему «Герой Нашего Времени». Но интересно замѣтить, чѣмъ болѣе всего занимается онъ въ своей статьѣ объ этомъ романѣ—никакъ не угадаете... защитою Москвы. Да гдѣ же Лермонтовъ нападаетъ на Москву въ своемъ романѣ? Кажется, нигдѣ. Какъ нигдѣ? Вы забыли, что княгиня Лиговская, которая любитъ поговорить, какъ и всѣ почти пожилыя женщины въ Россіи и во Франціи, въ Китаѣ и въ Каффаріи, жила нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ: вѣдь это кровная, по мнѣнію г. Шевырева, обида Москвѣ. И на нѣсколькихъ страницахъ онъ доказываетъ, что напрасно Лермонтовъ взвелъ такую клевету на Москву. Вотъ это именно и значить, по выраженію Гоголя, «какъ разъ смекнуть, въ чемъ дѣло». Замѣтимъ также, что по поводу Кавказа опять является на сценѣ Италія. Еще любопытнѣе разборъ «Стихотвореній» Лермонтова. Знаете ли, какое отличительное свойство въ талантѣ Лермонтова? «Протеизмъ», безхарактерность, отсутствіе определенной фizioноміи. Помилуйте! можно было бы назвать стихотворенія Лермонтова монотонными, однообразными; но какже говорить, что они не имѣютъ одного оригинальнаго характера, рѣзко обозначавшагося на каждомъ—мало того, стихотвореніи—на каждомъ стихѣ? Скорѣе можно было назвать «протеемъ» кого угодно изъ нашихъ поэтовъ, только—воля ваша—никто, кромѣ г. Шевырева не могъ бы замѣтить у Лермонтова безхарактерности или *протеизма*. Но вы еще не знаете, что «въ галлерейхъ живописи отгадываютъ безъ каталога, чья картина», а стихотворенія Лермонтова

не носить на себѣ такихъ характерныхъ примѣтъ; г. Шевыревъ, не видѣвъ подписи имени на пьесѣ, отгадаетъ стихъ Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, кн. Вяземскаго, г. Ѳ. Глинка, а не можетъ сказать этого о стихѣ Лермонтова. Публика, скажете вы, говорить, что именно стихъ Лермонтова угадать легче всего; но это она говоритъ только по незнанію важнаго обстоятельства: Лермонтовъ былъ не болѣе, какъ подражатель Пушкина и Жуковскаго, и не только этихъ двухъ великихъ поэтовъ, но также г. Бенедиктова. «Когда вы внимательно прислушиваетесь къ звукамъ новой лиры, «вамъ слышатся попеременно звуки то Жуковскаго, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова, иногда мелькаютъ обороты «Баратынскаго, Дениса Давыдова». Удивительно тонкій слухъ, изумительно зоркій глазъ! Каждому извѣстно, что нѣкоторыя изъ наименѣе зрѣлыхъ стихотвореній Лермонтова по внѣшней формѣ — подражанія пьесамъ Пушкина, но только по формѣ, а не по мысли; потому что идея и въ нихъ чисто-лермонтовская, самобытная, выходящая изъ круга пушкинскихъ идей. Но въдѣ такихъ пьесъ у Лермонтова немного: онъ очень скоро совершенно освободился отъ внѣшняго подчиненія Пушкину и сдѣлался оригинальнѣйшимъ изъ всѣхъ бывшихъ у насъ до него поэтовъ, не исключая и Пушкина. Въдѣ это извѣстно каждому. Но дѣло не въ томъ, подражатель онъ, или самобытный поэтъ: интересно знать, какъ развивается г. Шевыревъ свою мысль. Въ какихъ пьесахъ, напримѣръ, видно вліяніе Жуковскаго? Вы, быть можетъ, ожидаете, что ученый критикъ укажетъ на единственное изъ всѣхъ стихотвореній Лермонтова, хотя самымъ отдаленнымъ образомъ напоминающее Жуковскаго, укажетъ на пьесу «Вѣтка Палестины», въ которой можно видѣть нѣкоторое сходство съ пьесой Жуковскаго:

Онъ былъ весной своей
Въ землѣ Обѣтованной...

хотя, собственно говоря, и «Вѣтка Палестины» подражаніе не Жуковскому, а Пушкину («Цвѣтокъ засохшій, безуханный»). Нѣтъ, не то, вы недогадливы: Лермонтовъ подражалъ Жуковскому въ «Русалкѣ» (!); «Мцыри» тоже подражаніе Жуковскому (!); «Три Пальмы» тоже, хотя каждому извѣстно, что это чрезвычайно близкое подражаніе стихотворенію Пушкина, «И путникъ усталый на Бога ропталъ», откуда не только размѣръ, но едва ли не половина стиховъ

почти цѣликомъ заимствованы Лермонтовымъ. Нужды нѣтъ, пусть будутъ «Три Пальмы» подражаніемъ Жуковскому, у котораго нѣтъ ничего похожего: вѣдь заимствовалъ же у него Лермонтовъ «Мцыри». Но гдѣ же подражанія Бенедиктову? Ужели вы не знаете?— «Молитва» (Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою) и «Тучи» дотога отзываются звуками, оборотами, выраженіемъ лиры Бенедиктова, что могли бы быть перенесены въ собраніе его стихотвореній.— Читая эти стихи, кто не припомнитъ *Полярную Звѣзду* и *Незабвенную* Бенедиктова? Далѣе уже не такъ интересно. «Бородино»— подражаніе Денису Давыдову (!); «Не вѣрь, не вѣрь себѣ мечтатель молодой!» и «Печально я гляжу на наше поколѣнье»— подражаніе Баратынскому (!); «Демонъ»— подражаніе Марлинскому; «Казачья Колыбельная Пѣсня»— подражаніе Вальтеру-Скотту. Мы отъ себя можемъ прибавить только, что стихи:

Есть рѣчи, значенье
Темно иль ничтожно...

должны быть подражаніемъ г. Шевыреву: только авторская скромность помѣшала ему это замѣтить. Но довольно о частностяхъ. Бросимъ вмѣстѣ съ г. Шевыревымъ еще разъ общій взглядъ на Лермонтова. Хороши ли грустныя стихотворенія Лермонтова? И какъ вы думаете, былъ ли грустный тонъ этихъ пѣснь (т. е. рѣшительно всѣхъ пѣснь, потому что пѣснь другаго тона нѣтъ у него) существенной чертой поэзіи Лермонтова? Нѣтъ, не былъ, по мнѣнію г. Шевырева: грустныя стихотворенія у Лермонтова «только мгновенные плоды какой-то мрачной хандры, посѣщающей повременамъ поэта», и не просто плохи они: они не заслуживали бы чести быть напечатанными—«лучше было бы таить ихъ про себя и не повѣрять взыскательному свѣту». Правда. Правда. Правда.

Но вѣдь Лермонтовъ, хотя и писалъ очень плохо, все заслуживалъ нѣкотораго сочувствія, по своей, правда, жалкой страсти къ стихоплетенію. Г. Шевыревъ совѣтуетъ Лермонтову писать не такъ, какъ онъ писалъ прежде; вотъ заключеніе его статьи:

«Поэты русской лиры! если вы сознаете въ себѣ высокое призваніе, прозрѣвайте же отъ Бога даннымъ вамъ предчувствіемъ въ великое будущее Россіи; передавайте намъ видѣнія ваши и создайте міръ русской мечты изъ всего того, что есть свѣтлаго и прекраснаго въ небѣ и природѣ, святаго, великаго и благороднаго въ душѣ человѣческой!»

Ну, теперь вздохнемъ свободнѣе: исторія о нѣкоемъ стихокропателѣ Лермонтовѣ, который напрасно печаталъ свои стихотворенія, кончилась. А тяжело намъ было присутствовать при его истязаніи, тяжело было видѣть, какъ одно за другимъ обрываютъ чужія перья съ этой нарядившейся въ павлиньи перья вороны, то есть съ Лермонтова. Видимъ, что строгій критикъ справедливъ; но по человѣчеству жаль, по человѣчеству! Кончилась исторія!.. Какъ бы не такъ! По разсѣянности—проклятая разсѣянность!—мы едва не забыли чрезвычайно тонкаго замѣчанія о характерѣ таланта Лермонтова. «Нѣтъ ли въ немъ—замѣчаетъ ученый критикъ—признаковъ того, что Жанъ-Поль въ своей эстетикѣ такъ прекрасно назвалъ женственнымъ гениемъ?» Это предположеніе, впрочемъ, едва ли принадлежитъ самому г. Шевыреву. Такъ мы думаемъ, основываясь на словахъ Пигасова (въ повѣсти г. Тургенева: «Рудинъ»): «Мужчина можетъ ошибаться. Но, знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вотъ какая: мужчина можетъ, на примѣръ, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три съ половиною, а женщина скажетъ, что дважды-два — стеариновая свѣчка». Поэтому мы думаемъ, что г. Шевыревъ заимствовалъ иногда свои критическія замѣчанія изъ разговоровъ съ дамами.

Много другихъ замѣчательныхъ сужденій о г. Каменскомъ, г. Вельтманѣ, Кольцовѣ (пѣсни котораго далеко хуже русскихъ пѣсень Дельвига), Баратынскомъ (котораго губило отсутствіе мысли), г. Павловѣ (который выдвинулъ всѣ ящики въ бюро женскаго сердца и котораго г. Шевыревъ долго предпочиталъ Гоголю), Языковѣ, г. Хомяковѣ, г. Майковѣ и вообще почти о каждомъ изъ русскихъ писателей могли бы мы привести изъ критическихъ статей г. Шевырева; но если, какъ онъ самъ выразился,

Что въ морѣ купаться, что Данта читать,

то хотѣтъ исчерпать все замѣчательное въ критическихъ статьяхъ ученаго автора — все равно, что хотѣтъ вычерпать море: трудъ рѣшительно невозможный; потому мы не возьмемъ за дѣло, столь необозримо-великое.

Мы затруднялись и теперь затрудняемся высказать наше мнѣніе о г. Шевыревѣ, какъ критикѣ, но не можемъ не сказать, что *чтеніе его статей* должно доставить высокое наслажденіе каждому.

кто способен слѣдить за смѣлыми полетами мысли глубокомысленнаго критика. Неожиданность выводовъ и замѣчаній превышаетъ въ нихъ самыя смѣлыя надежды. Впечатлѣніе, которое производятъ онѣ, когда перечитываешь ихъ подъ-рядъ, можно сравнить только съ тѣмъ, какъ если бы смотрѣть картины нѣсколько распатавшейся въ пружинахъ народной нашей панорамы, то есть такъ называемаго въ просторѣчїи «райка». Приложишь глазъ къ стеклу—видна широкая рѣка, на берегу стоятъ пирамиды — «видъ итальянскаго города Неаполя», поясняетъ народный нашъ чичероне; повертывается ручка — являются Тюильри, Лувръ, вдали Notre-Dame de Paris — «Морская викторія при Гангутѣ, одержанная Петромъ Великимъ надъ шведами», поясняетъ народный чичероне; опять повертывается ручка — является храмъ св. Петра въ Римѣ — «вотъ это самая и есть Москва златоглавая», поясняетъ чичероне, и т. д., и т. д. Вы недоумѣваете, но не можете оторваться отъ панорамы съ интересными поясненіями чичероне. А онъ стоитъ серьезно поглаживая бороду, и думаетъ: «погоди, еще не такія штуки покажемъ».

Мы сказали, что отказываемся выражать свое мнѣніе о томъ, ошибочны или справедливы мнѣнія г. Шевырева, но видѣли, что ученый авторъ не долженъ быть причисляемъ къ славянофиламъ. Теперь, познакомивъ читателя съ нѣкоторыми фактами его учено-критической дѣятельности, мы полагаемъ дѣломъ, не подлежащимъ спору, что г. Шевыревъ долженъ быть считатьъ, какъ мыслитель въ высочайшей степени своеобразный, главою особенной школы въ нашей литературѣ. Важнѣйшими изъ второстепенныхъ писателей этой школы надобно считать г. М. Дмитріева, г. А. Стурдзу, г. Н. Иванчина-Писарева, г. А. Студитскаго. Первыхъ трехъ читатели, безъ сомнѣнія, знаютъ; но необходимо имъ познаться съ г. А. Студитскимъ, котораго они, вѣроятно, не знаютъ и который былъ дѣятельнѣйшимъ сподвижникомъ г. Шевырева въ старомъ «Москвитянинѣ». Его осужденія также отличались диктаторскимъ тономъ; онъ, подобно г. Шевыреву, обо всемъ мыслить совершенно своеобразно и, о какомъ бы предметѣ ни заговорилъ, ни въ чемъ не раздѣлялъ мнѣній суетумудствующаго Запада. Онъ показалъ ничтожность санскритскаго языка, опровергъ Боппа и Гримма, не говоря уже о всѣхъ нашихъ филологахъ отъ г. Востокова до г. Буслаева, и положилъ новыя основанія филологїи; онъ опровергъ

Кеплера и Ньютона—уступкою съ его стороны должно считать, что онъ принималъ систему Коперника, и то, конечно, только въ уваженіе его славянскаго происхожденія—и положилъ новыя основанія астрономіи (понимайте все это буквально, безъ малѣйшаго преувеличенія); онъ опровергъ всѣхъ философовъ отъ Канта до Гегеля и положилъ новыя основанія психологіи, метафизики и проч.; опровергъ Либиха, Кювье, Гумбольдта и Араго и положилъ новыя основанія физиологіи, геологіи, метеорологіи, химіи,—дѣйствительно, положилъ, потому что это былъ умъ по преимуществу творческой, неограничивавшейся критикою, но занимавшей и возсозданіемъ разрушеннаго. Девизъ его былъ, подобно девизу г. Шевырева, «*Destruam et aedificabo*»—«раззорю и созижду». Для убѣжденія читателей въ томъ, что мы ничего не преувеличиваемъ, приводимъ въ выноскѣ небольшой отрывокъ изъ его критики на гипотезу Гумбольдта объ аэролитахъ *). Какая смѣлость, оригинальность и твердость мысли! Все это мы говоримъ, желая показать, что у г. Шевырева были достойные сподвижники и что его надобно считать главою совершенно особенной школы, которая принадлежала исключительно Москвѣ, но мнѣнія которой имѣли большое родство съ ученіями петербургскаго журнала «Маякъ».

Послѣ всѣхъ фактовъ, приведенныхъ выше, естественно родится недоумѣнію: какимъ же образомъ г. Шевыревъ, столь своеобразно мыслившій и о Лермонтовѣ, и о писателяхъ, бывшихъ

*) Главная мысль Гумбольдта состоитъ въ томъ, что аэролиты—обломки малыхъ небесныхъ тѣлъ, блуждающихъ въ пространствѣ и случайно попадающихъ въ предѣлы нашей атмосферы. Съ перваго взгляда на эту мысль, видно, что она обязана своимъ происхожденіемъ не ученому сознанію, а недостатку ученаго сознанія.—«Въ пространствѣ, гдѣ нѣтъ ничего, плаваютъ малыя тѣла»—не правда ли, это очень замысловато?—«Эти тѣла, заблудившись, попадаютъ въ предѣлы земной атмосферы»—еще замысловатѣе.—«Самыя эти тѣла не падаютъ, а падаютъ только ихъ обломки»—еще замысловатѣе.—Вообще говоря, мы не находимъ, чтобы:

- 1) Были достаточныя причины для построенія такой гипотезы.
- 2) Было достаточное оправданіе ея въ наблюденіяхъ.
- 3) Не было возможности объяснить ее иначе и гораздо проще.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что неорганическая химія въ нашемъ столѣтіи сдѣлала огромные успѣхи; но чтобы она рѣшила все, что ей должно рѣшить, въ этомъ мы не повѣримъ ни Дэви, ни Берцелиусу, ни Гумбольдту и т. д.

учениками Гоголя, — г. Шевыревъ, отвергавшій всякій грустный тонъ въ литературѣ, совѣтовавшій писателямъ заниматься исключительно возведеніемъ къ улыбающемуся идеалу свѣтлыхъ сторонъ жизни, — какимъ образомъ могъ онъ сочувствовать «Мертвымъ Душамъ»? Какимъ образомъ онъ могъ быть поклонникомъ Гоголя, и какъ онъ могъ понимать его, — онъ, столь глубоко понимавшій содержаніе и столь занимавшійся жизненными вопросами въ произведеніяхъ каждаго изъ нашихъ писателей? А вѣдь существуетъ у многихъ воспоминаніе, что г. Шевыревъ былъ поклонникомъ Гоголя и понималъ его. Изученіе статей его о Гоголѣ разрушитъ всё недоумѣніе.

Вотъ существенныя мѣста изъ его статьи о «Миргородѣ». Мы оставили въ сторонѣ только колонны, фронтисписы, архитравы, рѣзцы и картинныя галлерей, но не опустили ни одной фразы, относящейся къ дѣлу. Правда, отъ этого изъ довольно большой статьи вышло въ нашей выпискѣ менѣе одной страницы, но, повторяемъ, остальные страницы разбора наполнены архитравами.

„Авторъ Вечеровъ Дикаянки имѣеть отъ природы чудный даръ схватывать безсмыслицу въ жизни человѣческой и обращать ее въ неизясняемую поэзію смѣха. Въ этомъ дарѣ его мы видимъ зародышъ истиннаго комическаго таланта. Но желательнo бы было, чтобъ онъ обратилъ свой наблюдательный взоръ и мѣткую кисть на общество, насъ окружающее. До сихъ поръ, за этимъ смѣхомъ онъ водилъ насъ или въ Миргородъ, или въ лавку жестяныхъ дѣлъ мастера Шиллера, или въ сумасшедшій домъ. Мы охотно за нимъ слѣдовали всюду, потому что вездѣ и надъ всѣмъ пріятно посмѣяться. Но столица уже довольно смѣялась надъ провинціею и деревенщиной, хотя никто такъ не смѣшился ими, какъ авторъ „Миргорода“: высшій и образованный классъ общества всегда смѣется надъ низшимъ: потому и немудрено разсмѣшить и жестяныхъ дѣлъ мастеромъ. Но какъ бы хотѣлось, чтобы авторъ, который, кажется, какимъ-то магнетомъ притягиваетъ къ себѣ все смѣшное, разсмѣшилъ насъ нами же самими, чтобы онъ открылъ эту безсмыслицу въ нашей собственной жизни, въ кругу такъ называемомъ образованномъ, въ нашей гостиной, среди модныхъ фраковъ и галстуховъ, подъ модными головными уборами. Вотъ чтó ожидаетъ его кисти! Какъ ни рисуйте намъ вѣрно провинцію; все ова покажется карриатурой, потому что она не въ нашихъ нравахъ. Я увѣренъ, что Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ существовали. Такъ они живо написаны. Но общество наше не можетъ повѣрить въ ихъ существованіе. Для него это или прошлое столѣтіе, или смѣшная мечта автора. Конечно, авторъ началъ свой дебютъ въ комическомъ съ того, что ярче нарисовалось въ его памяти — съ своихъ малороссійскихъ преданій; но должно надѣяться, что *онъ соберетъ намъ впечатлѣнія и съ той общественной жизни, въ которой*

жить теперь и разовьетъ блистательно свой комическій талантъ въ томъ высшемъ кругу, который есть средоточіе русской образованности“.

(„Московскій Наблюдатель“, томъ I).

Кажется въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ», въ «Тарасѣ Бульбѣ», въ «Повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» есть нѣчто, кромѣ смѣшнаго и веселаго; кажется, что каждая изъ этихъ повѣстей въ своемъ цѣломъ производитъ впечатлѣніе нисколько не водевильное: «Тарасъ Бульба» — чисто трагическое, остальные — глубоко-грустное. Ученый критикъ нисколько не замѣтилъ этого. Гоголь въ «Миргородѣ» — беззаботный весельчакъ, который для столичныхъ свѣтскихъ людей рисуетъ преуморительныя карикатуры провинціи, не имѣющей понятія о модныхъ галстукахъ. Очень удовлетворительное понятіе. Еще лучше мнѣніе, что лица, изображенныя Гоголемъ, едва ли существуютъ въ дѣйствительности. Оно хорошо и тѣмъ, что критикъ откровенно высказываетъ, что вовсе не знаетъ провинціальной жизни. Но всего лучше совѣтъ — перестать о провинціи и описывать высшее свѣтское общество: этотъ совѣтъ восхитителенъ. Вотъ, если бы Гоголь послушался — нечего сказать, одолжилъ бы насъ, людей въ модныхъ галстукахъ! Съ тою же мѣткостью, которая помогла критику открыть у Лермонтова заимствованія изъ Марлинскаго и Бенедиктова, онъ замѣчаетъ, что Гоголь — подражатель Тика и Гофмана:

„Нельзя не замѣтить, что въ новыхъ повѣстяхъ, которыя мы читаемъ въ „Арабескахъ“, этотъ юморъ малороссійскій не устоялъ противъ западныхъ искуненій и покорился въ своихъ фантастическихъ созданіяхъ вліянію Гофмана и Тика. И мнѣ это досадно. Ужели ничто оригинально русское не можетъ устоять противъ нѣмецкаго? Можетъ быть, это есть вліяніе Петербурга на автора“.

Да вѣдь нужно было бы спросить, слыхивалъ ли Гоголь въ 1835 году о Гофманѣ и Тикѣ? о Гофманѣ — безъ сомнѣнія, потому что въ «Невскомъ Проспектѣ» сапожникъ, помогавшій своему пріятелю Шиллеру въ совершеніи неучтиваго поступка надъ поручикомъ Пироговымъ, называется Гофманомъ; и писатель Гофманъ былъ тогда уже нѣсколько извѣстенъ русской публикѣ. Но какимъ бы образомъ Гоголь могъ подчиняться вліянію Тика, котораго едва ли хоть сколько нибудь зналъ? Считаемъ ненужнымъ замѣчать, что съ Гофманомъ у Гоголя нѣтъ ни малѣйшаго сходства: одинъ самъ придумываетъ, самостоятельно изобрѣтаетъ фантасти-

ческія похождения изъ чисто нѣмецкой жизни, другой буквально пересказываетъ малорусскія преданія («Вій») или общеизвѣстные анекдоты («Носъ»); какое же тутъ сходство? Уже послѣ этого «Пѣсня о Калашниковѣ» не есть ли подражаніе «Гёцу фонъ-Берлихенгену?» вѣдь у Гете тоже изображено владычество «кулачнаго права», Faustrecht; съ Тикомъ, этимъ празднымъ фантазеромъ, у Гоголя еще меньше сходства. Но довольно для г. Шевырева заглавія «фантастическая повѣсть» — и дѣло рѣшено, подражаніе открыто. Удивительно!

Замѣтимъ еще, что критикъ и у Гоголя, какъ у Пушкина, главною чертою всѣхъ произведеній нашель эскизность. Видите ли, слогъ Гоголя нехорошъ, какъ и слѣдовало ожидать: «Виною этому, кажется, скоропись, которою увлекается повѣствователь. Онъ слишкомъ эскизуетъ свои прекрасныя созданія. Даже самый «Тарасъ Бульба» отзывается скоростью эскиза». — «Миргородъ», какъ мы видѣли, собраніе водевильныхъ повѣстей; но пронизательный критикъ замѣтилъ въ немъ одинъ эпизодъ грустный — только одинъ небольшой эпизодъ, — именно въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» теплое, страстное размышленіе о силѣ привычки (въ новомъ изданіи, стр. 35—36). Этотъ эпизодъ принадлежитъ къ числу самыхъ лучшихъ, самыхъ глубоко-прочувствованныхъ страницъ, когда либо написанныхъ Гоголемъ; г. Шевыревъ ужасно имъ недоволенъ и хочетъ вычеркнуть его, какъ совѣтоваль Лермонтову «скрывать отъ взыскательнаго свѣта» свои стихотворенія: «Мнѣ не нравится тутъ (въ «Старосв. Помѣщ.») одна только мысль, — убійственная мысль о «привычкѣ, которая какъ будто разрушаетъ нравственное впечатлѣніе цѣлой картины. Я бы вымаралъ эти строки». Прекрасно! Разрушаетъ впечатлѣніе цѣлой картины». А въ этихъ строкахъ и высказанъ существенный мотивъ всего разсказа.

Отъ «Миргорода» перейдемъ прямо къ «Мертвымъ Душамъ», минуя «Ревизора»: мнѣніе г. Шевырева объ этой комедіи увидимъ послѣ. Критическая статья о «Мертвыхъ Душахъ» помѣщена г. Шевыревымъ въ VII и VIII книжкахъ «Москвитянина» за 1842 годъ.

Въ разборѣ «Миргорода» г. Шевыревъ не дѣлаетъ ни малѣйшаго намека на то, что можно считать Гоголя великимъ писателемъ; онъ кажется ему не болѣе какъ хорошимъ беллетристомъ шутивлаго характера. Мы видѣли, что за «Миргородъ» и «Арабски», нѣкоторый другой критикъ уже называлъ Гоголя главою

русскихъ писателей, преемникомъ Пушкина. Г. Шевыревъ не только не видитъ, но и не предчувствуетъ этого: для него многіе изъ тогдашнихъ, нынѣ полузабытыхъ, беллетристовъ продолжаютъ стоять выше Гоголя. Въ «Тарасѣ Бульбѣ», «Невскомъ Проспектѣ», «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», какъ мы видѣли, г. Шевыревъ находилъ еще только «зародышъ таланта». Возвысился ли Гоголь въ глазахъ его изданіемъ «Ревизора», увидимъ послѣ; но еще въ «Москвитянинѣ» 1841 года мы могли бы найти доказательства, что г. Шевыревъ продолжалъ ставить Гоголя ниже нѣкоторыхъ изъ второстепенныхъ тогдашнихъ писателей. Но «Мертвыя Души» онъ уже разбираетъ какъ высоко-художественное произведение; о значеніи Гоголя въ русской литературѣ онъ говоритъ, правда, очень уклончиво, о значеніи его для развитія общества, о смыслѣ «Мертвыхъ Душъ» не говоритъ ровно ничего, но все-таки осмѣливается отчасти обнаруживать, что ставитъ Гоголя очень высоко, хотя не дерзаетъ рѣшительно поставить на ряду съ Жуковскимъ или Пушкинымъ и вообще смотреть на него еще свысока, не оставляя его благими поученіями. Все-таки похвально ужъ и то, что онъ считаетъ «Мертвыя Души» высокимъ художественнымъ произведеніемъ. Разборъ написанъ съ точки зрѣнія исключительно художественной. Мысль, руководящая критикомъ, та, что въ художественномъ произведеніи все развитіе плана и всѣ подробности необходимо вытекаютъ изъ общей идеи созданія. Правда, какъ ни высоки художественныя достоинства «Мертвыхъ Душъ», но видѣть въ Гоголѣ только художественныя достоинства значить вовсе не понимать Гоголя; но не будемъ подражать «взыскательному свѣту», будемъ рады и тому, что хотя художественная сторона, если не содержаніе «Мертвыхъ Душъ», кажется ученому критику достойною похвалы. И прежде всего намъ очень пріятно замѣтить слѣдующее справедливое объясненіе закона прогрессивности, по которому расположены различныя главы «Мертвыхъ Душъ»:

«Взгляните на разстановку характеровъ: даромъ ли они выведены въ такой перспективѣ? Сначала вы смѣтаетесь надъ Маниловымъ, смѣтаетесь надъ Коробочкою, нѣсколько серьезнѣе взглянете на Ноздрева и Собакевича, но увидѣвъ Плюшкина, вы уже вовсе задумаетесь: вамъ будетъ грустно при видѣ этой развалины человѣка.

«А герой поэмы? Много смѣшить онъ васъ, отважно двигая впередъ своей странной замыселъ и заводя всю эту кутерьму между помѣщиками и въ го-

родъ: но когда вы прочли всю исторію его жизни и воспитанія, когда поэтъ разоблачилъ передъ вами всю внутренность человѣка, не правда ли, что вы глубоко задумались?

«Наконецъ представимъ себѣ весь городъ N. Здѣсь, кажется, ужь донельзя разыгрался комическій юморъ поэта, какъ будто къ концу тома сосредоточивъ всѣ свои силы... Но и тутъ даже, гдѣ смѣшное достигло своихъ крайнихъ предѣловъ, гдѣ авторъ, увлеченный своимъ юморомъ, отрѣшилъ мѣстами фантазію отъ существенной жизни и нарушилъ тѣмъ ея характеръ,—и здѣсь смѣхъ при концѣ смѣняется задумчивостью, когда, среди этой праздно суматохи, внезапно умираетъ прокуроръ и всю тревогу заключаютъ похороны. Невольно припоминаются слова автора о томъ, какъ въ жизни веселое мигомъ обращается въ печальное».

Чтобы выставить на первый планъ все хорошее въ статьѣ г. Шевырева о «Мертвыхъ Душахъ», приведемъ здѣсь и замѣчанія его о томъ, что въ двухъ или трехъ мѣстахъ авторъ едва ли не нарушаетъ строгой объективности своихъ лицъ, заставляя ихъ говорить вещи, которыя удобнѣе могъ бы сказать прямо отъ себя:

«Комическій демонъ шутки иногда увлекаетъ до того фантазію поэта, что характеры иногда выходятъ изъ границъ своей истины; правда, что это бываетъ очень рѣдко. Такъ, напримѣръ, неестественно намъ кажется, чтобы Собакевичъ, человѣкъ положительный и солидный, сталъ выхвалять свои мертвыя души и пустился въ такую фантазію. Даже самое краснорѣчіе, этотъ даръ слова, который онъ внезапно по какому-то особенному наитію обнаружилъ въ своемъ панегирикѣ каретнику Михееву, плотнику Пробкѣ и другимъ мертвымъ душамъ, кажутся противны его обыкновенному слову, которое кратко и се рубить топоромъ, какъ его самого обрубилъ природа. Авторъ самъ это чувствовалъ и оговорился словами: „откуда взялись рысь и даръ слова въ Собакевичѣ». —То же самое можно замѣтить о Чичиковѣ: прекрасны его думы о мертвыхъ душахъ, имъ купленныхъ, но напрасно приписаны онѣ самому Чичикову, которому, какъ человѣку положительному, едва ли могли бы прийти въ голову такіа чудныя поэтическія были о Степанѣ Пробкѣ, о Максимѣ Телятниковѣ - сапожниковѣ, и особенно о грамотѣѣ Поповѣ безпапортномъ, да объ Ѳыровѣ Абакумѣ, гуляющемъ съ бурлаками. Мы не понимаемъ, почему всѣ эти размышленія поэтъ не предложилъ отъ себя. Неестественно также намъ показалось, чтобы Чичиковъ ужь до того напился пьянъ, что Селифану велѣлъ сдѣлать всѣмъ мертвымъ душамъ поголовную перекличку. Чичиковъ человѣкъ солидный и едва ли напьется до того, чтобы впасть въ подобное мечтаніе».

Быть можетъ, этимъ не нарушается объективность характера ни Чичикова, который любилъ пофантазировать въ чувствительномъ родѣ, какъ всѣ положительные и плутоватые люди, и который, дѣй-

ствительно, во многихъ мѣстахъ поэмы фантазируетъ (напримѣръ, при встрѣчѣ на дорогѣ съ губернаторскою дочкою), ни Собакевича, который не любитъ говорить попусту, а для своихъ выгодъ не поскупится на слова — удивительно, въ самомъ дѣлѣ, какъ самые холодные, дубовые люди оживляются и дѣлаются краснорѣчивы при продажѣ и покупкѣ, — однако же, справедливо или несправедливо замѣчаніе г. Шевырева объ этихъ случаяхъ, все-таки оно не заключаетъ въ себѣ ничего нелѣпаго, скорѣе даже можетъ быть названо остроумнымъ; но, къ сожалѣнію; только и можетъ быть найдено хорошаго въ его статьяхъ. Вообще говоря, критикъ слишкомъ далеко заходитъ, желая рѣшительно о каждой мелочи доказать, что она рѣшительно необходима именно на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ помѣщена Гоголемъ: онъ совершенно упускаетъ изъ виду, что, выражаясь ученымъ образомъ: «необходимость облакается въ искусствѣ формою случайности», то есть, напримѣръ, Чичиковъ могъ бы встрѣтить на дорогѣ къ Манилову не одного, а двухъ или трехъ мужиковъ, деревня Манилова могла бы лежать налѣво, а не направо отъ большой дороги, Собакевичъ могъ бы назвать единственнымъ порядочнымъ человѣкомъ въ городѣ не прокурора, а председателя гражданской палаты или вице-губернатора, и такъ далѣе, и художественное достоинство «Мертвыхъ Душъ» нисколько не потеряло бы и не выиграло бы отъ этого. А г. Шевыреву кажется, что все это рѣшительно такъ же существенно неизмѣняемо, такъ же вытекаетъ изъ идеи «Мертвыхъ Душъ», какъ, напримѣръ, характеръ Чичикова или общая фizioномія губернскаго города N, гдѣ происходитъ дѣйствіе поэмы. Ограничимся однимъ примѣромъ: излагая главу о Коробочкѣ, критикъ говоритъ:

„Вся птица, какъ замѣтно, ужъ такъ приучена заботливою хозяйкою, составляетъ съ нею какъ будто одно семейство и близко подходитъ къ окнамъ ея дома: вотъ отчего у Коробочки только могла произойти не совсѣмъ учтивая встрѣча между индѣйскимъ пѣтухомъ и Чичиковымъ... Вы замѣтили, что мужики Коробочки отличаются отъ другихъ помѣщичьихъ мужиковъ все какими-то необыкновенными прозвищами: знаете ли, почему это? Коробочка себѣ на умѣ: ужъ у ней что ея, то крѣпко ея, и мужики такъ же помѣчены особыми именами, какъ птица помѣчается у аккуратныхъ хозяевъ, чтобы не сбѣжала. Вотъ почему такъ трудно было Чичикову уладить съ нею дѣло: она хоть и любитъ продать и продать всякій продуктъ хозяйственный, но зато и на мертвыя души смотреть такъ же, какъ на свиное сало, на пеньку или на мекъ, полагая, что и онѣ въ хозяйствѣ могутъ сповадобиться“.

Ужели Коробочка не продаетъ мертвыхъ душъ по расчетливости? напротивъ, просто по глупости: тупоумная старуха никакъ не можетъ понять предложеній Чичикова. И почему у нея именно крестьяне имѣютъ длинныя прозвища? Почему не имѣютъ этихъ прозвищъ крестьяне Собакевича, который занимается хозяйствомъ лучше Коробочки? Просто, Гоголю нужно было дать чьимъ нибудь крестьянамъ длинныя прозвища, какія встрѣчаются въ иныхъ околоткахъ; а чьихъ именно крестьянъ окрестить длинными именами, было рѣшительно все равно. И почему индюкъ могъ закудаhtать только подъ окномъ у Коробочки, а не у Собакевича или Ноздрева, или не подъ окномъ городской гостинницы? Критикъ думаетъ, что только Коробочка, кормившая птицу изъ своихъ рукъ, могла приучить птицу бродить подъ окнами; но вѣдь домовитыя хозяйки бросаютъ кормъ птицы не сидя подъ окномъ, а съ крыльца. Изъ окна, чувствительно и романически, могли скорѣе кормить птицу Маниловы. Сорю и крошекъ изъ оконъ выбрасывалось въ гостинницѣ больше, нежели у Коробочки, и птица чаще нежели гдѣ нибудь бродила подъ окнами гостинницы. Однимъ словомъ, той необходимости, которую видитъ критикъ, нѣтъ въ незначительныхъ мелочахъ «Мертвыхъ Душъ», какъ и вообще не бываетъ въ художественныхъ произведеніяхъ. Объ этомъ подробно и основательно говорится, напримѣръ, въ эстетикѣ Гегеля (чтобы и намъ блеснуть ученостью). Но критикъ механически, а не по внушенію собственнаго вкуса, развивая заимствованную и не вполнѣ понятую мысль о необходимости выводить подробности художественнаго произведенія изъ его идеи, подробно излагаетъ все содержаніе «Мертвыхъ Душъ». при каждой фразѣ безъ всякаго разбора повторяя «такъ! иначе и не могло быть!» Это изложеніе занимаетъ большую половину его критики. Частью держится онъ въ немъ словъ самого Гоголя и тутъ, конечно, рисуетъ характеры и событія безъ особенныхъ промаховъ; но иногда дополняетъ слова автора собственными соображеніями, и тутъ-то надобно подивиться своеобразности его взгляда! Приведемъ одинъ примѣръ—понятіе критика о главномъ дѣйствующемъ лицѣ, Чичиковѣ:

„Изъ всѣхъ пріобрѣтателей, Чичиковъ отличился необыкновеннымъ поэтическимъ даромъ въ вымыслѣ средства къ пріобрѣтенію. Не правда ли, что *въ этомъ замыслѣ* (покупать мертвыя души) есть какая то гениальная бой

кость, какая-то удаля плутовства, *фантазія и иронія*, соединенныя вмѣстѣ. Чичиковъ въ самомъ дѣлѣ, герой между мошенниками, поэтъ своего дѣла: посмотрите, затѣвая свой подвигъ, какою мыслью онъ увлекается: „А главное то хорошо, что предметъ-то покажется всѣмъ невѣроятнымъ—никто не повѣритъ“. Онъ веселится своему необычайному изобрѣтенію, радуется будущему изумленію міра, который до него не могъ выдумать такого дѣла, и почти не заботится о послѣдствіяхъ, въ порывѣ своей предпринимчивости. Самопожертвованіе мошенничества доведено въ немъ до крайней степени: онъ закаленъ въ него какъ Ахиллъ въ свое безсмертіе“.

Изумительно! Да вѣдь, кажется, ясно, что Чичиковъ восхищается необыкновенностью задуманнаго плутовства потому, что легко будетъ его исполнить; никто не догадается, не повѣритъ. Онъ восхищенъ тѣмъ, что впередъ увѣренъ въ удачѣ. Чичиковъ—Ахиллъ самопожертвованія! изумительно!

Но, конечно, не изумитъ читателей, что въ разборѣ «Мертвыхъ Душъ» Италія не сходитъ со сцены. Говорить ли критикъ о Плюшкинѣ, онъ объясняетъ: «Плюшкинъ такъ живо видится намъ, какъ будто бы мы его припоминаемъ на картинѣ Альберта Дюрера въ галлерей Доріа»; описываетъ ли Гоголь сѣроватыми красками русскую дорогу—это оттого, видите ли, что «пышная Италія дивами своего искусства и природы затмила все, что и могло бы на однообразной дорогѣ русской сказаться сердцу поэта»; случится ли Гоголю поэтически очерчивать различіе русскаго языка отъ нѣмецкаго, англійскаго, французскаго,—опять-таки «замѣчательно что поэтъ въ числѣ языковъ не отмѣтилъ рѣзкимъ карандашомъ своимъ итальянскаго слова, хотя, конечно, имѣлъ всѣ данныя передъ собою, чтобы судить о немъ: это не потому ли, что русскій народъ въ мѣткости и живучести слова сходится съ художникомъ-итальянцемъ, такъ какъ и во многомъ другомъ, несмотря на то, что жаръ и морозъ раздѣлили оба народа?»

Вы скажете: да какимъ же образомъ и зачѣмъ тутъ Италія? а я скажу: да развѣ можно объяснить, почему припоминаешь то или другое? Иногда это бываетъ и совершенно безъ причины. Напримеръ, осудите ли вы меня, если мнѣ совершенно не кстати припоминаются слова Гоголя о начальникѣ Чичикова: «Начальникъ былъ такого рода человекъ, котораго хотя и водили за носъ (впрочемъ, безъ его вѣдома), но зато уже, если въ голову ему западала какая нибудь мысль, то она была тамъ все равно, что желѣзный гвоздь: ничѣмъ нельзя было ее оттуда вытерѣбить». («Мертвая

Души», 3 изд., стр. 445). Осудите ли вы меня, если мнѣ вздумается даже замѣнить тутъ слова: «котораго водили за носъ», словами: «который подъ носомъ у себя ничего не видѣлъ?» вѣдь это моя фантазія, а въ фантазіяхъ всякій воленъ.

Все это, какъ мы сказали, не покажется читателю удивительно; но удивительно покажется то, что на «Мертвыхъ Душахъ», по мнѣнію критика, ярко отразились итальянскія краски, что талантъ Гоголя воспитанъ не русскою жизнью, а итальянскою природою и картинами Рафаэля, не бесѣдою съ русскими людьми, а обращеніемъ съ итальянскими живописцами. Читайте и убѣждайтесь:

„Только близорукій не замѣтитъ, что небо Италіи, прозрачный ея воздухъ, ясность каждаго оттѣнка и каждаго очерка въ предметѣ, картинныя галлерей, мастерскія художниковъ и частое обращеніе съ ними, наконецъ поэзія Италіи воспитали въ Гоголѣ фантазію тою стороною, которою обращена она ко всему внѣшнему міру, и дали ей такое живописное направленіе, такую полноту и оконченность.—Говоря объ этомъ, нельзя не обратить вниманія на симпатію Гоголя къ Италіи, на душевное влеченіе его къ странѣ изящнаго. Откуда объяснить это? Изъ того только, что истинный художникъ, что искусство — его призваніе. Если такъ, то какая же другая сфера могла удовлетворить ему кромѣ Италіи, и въ самой Италіи какой городъ могъ онъ избрать, если не Римъ, гдѣ минувшее величіе, природа и искусство сочетались въ одно и образовали для всякаго современнаго художника чудный пріютъ, волшебное окруженіе?—Яркій отпечатокъ природы, живописи, поэзій изящнаго полудня Европы лежитъ на колоритѣ „Мертвыхъ Душъ“ и на всемъ, что составляетъ внѣшнюю сторону изображаемаго въ нихъ міра. Содержаніе, разумѣется, дано Россію, и поэтъ всегда ему вѣренъ; но ясновидѣніе и сила фантазій, съ какими возсоздаетъ онъ далекій міръ отчизны, воспитаны въ Гоголѣ итальянскимъ окруженіемъ. Въ одномъ мѣстѣ видно даже, что Италія неволью бросила нѣсколько жаркихъ красокъ на самое содержаніе картины, а именно въ описаніи сада Плюшкина, гдѣ зеленая облака и трепетлистые куполы деревьевъ, лежащихъ на небесномъ горизонтѣ, напоминаютъ ландшафты юга.—Говоря объ этой полуденной стихіи въ поэмі Гоголя, какъ забыть чудныя сравненія, встрѣчающіяся нерѣдко въ „Мертвыхъ Душахъ“! Ихъ полную художественную красоту можетъ постигнуть только тотъ, кто изучалъ сравненія Гоголя и итальянскихъ эпиковъ, Аріоста и особенно Данта“.

Тутъ слѣдуетъ очень подробное поясненіе послѣдней мысли, — именно, что сравненія у Гоголя заимствованы изъ Гомера, Аріоста и Данта. Эта счастливая мысль критика была въ свое время по достоинству превознесена петербургскими журналами, потому остав-
ляетъ ее безъ объясненій; да и вообще объясненія на статьи г. Ше-

вырева писать гораздо труднѣе, нежели комментаріи на самого Данта. Читаемъ далѣе:

„Все, къ чему ни прикасается волшебная кисть Гоголя, все живетъ въ его яркомъ словѣ и каждый предметъ сквозитъ изъ него и выдается своимъ видомъ и цвѣтомъ. И это свойство своей фантазіи русскій поэтъ могъ возвести на такую степень искусства только тамъ, гдѣ творилъ Дантъ, гдѣ Аріостъ дружили съ Рафаэлемъ и въ его мастерской, созерцая безсмертную кисть, переносилъ живыя ея краски въ итальянское жаркое слово. Кто не понимаетъ сочувствія Гоголя къ Италіи, тотъ не пойметъ и всей красоты въ пластическомъ внѣшнемъ элементѣ его фантазіи. Мы объяснили внѣшнюю сторону ясновидящей фантазіи поэта, показали ея воспитаніе (т. е. въ Италіи) и отношеніи къ сторонѣ внутренней; перейдемъ теперь къ сей послѣдней. Подъ именемъ ея мы разумѣемъ ясное созерцаніе всего внутренняго человѣка въ различныхъ его видахъ. Въ этомъ отношеніи Гоголь является достойнымъ ученикомъ поэзи сѣвера, и особенно Шекспира и Вальтера Скотта“.

Положимъ, что Гоголь былъ ученикъ Шекспира, хотя въ томъ смыслѣ, въ какомъ и Лермонтовъ, и г. Григоровичъ, и г. Гончаровъ, и г. Тургеневъ, и всѣ хорошіе писатели, настоящіе и будущіе,—ученики этого великаго человѣка: вѣдь особеннаго вліянія Шекспира на Гоголя не замѣтно; положимъ, что онъ ученикъ и Вальтера Скотта, хотя онъ вовсе не былъ ученикомъ его; но что жъ изъ того? Какъ что! развѣ вы не предчувствуете:

„Заключимъ же: учителя юга и сѣвера, Италія и Шекспиръ, положили печать свою на внѣшней и внутренней сторонѣ фантазіи поэта въ отношеніи къ ясновидѣнію жизни. Такое сочетаніе двухъ элементовъ, замѣтное у насъ и въ другихъ поэтахъ, особенно же въ Пушкинѣ, общааетъ въ будущемъ для русской фантазіи и для русскаго искусства развитіе многостороннее и совершенно полное. О, если бы мы могли совмѣстить въ себѣ внѣшній югъ съ внутреннимъ сѣверомъ, изящную пластику и форму первого и глубокую идею второго, мы достигли бы идеала въ искусствѣ. Пріятно мечтать о томъ и еще пріятнѣе видѣть, что наша мечта начала осуществляться“.

А! вотъ къ чему шло дѣло! т. е. вотъ къ чему: Дантъ писатель великій, но односторонній: у него мысль подавлена формою; Шекспиръ тоже великій писатель, но опять односторонній: у него мысль подавила форму. Иначе и быть не могло: вѣдь Западъ погрязаетъ въ односторонностяхъ. А вотъ у насъ такъ будутъ, а отчасти ужъ и есть писатели лучше вашихъ Шекспировъ. Соглашаемся, соглашаемся: вѣдь мы уже увидѣли себя внѣ возможности возражать ученому критику. Но если «Мертвыя Души» вну-

шаютъ вамъ столь высокое ожиданіе и отчасти уже оправдываютъ его, то, по крайней мѣрѣ, хорошая ли вещь эти «Мертвыя Души»? Мы хотимъ слышать о нихъ отъ васъ не комплименты и художественныя фразы,—нѣтъ, намъ нуженъ прямой отвѣтъ: правда или вздорная фантазія «Мертвыя Души», пустая выдумка празднаго воображенія или картина дѣйствительнаго быта? и, во всякомъ случаѣ, хороша ли основная идея этого созданія?—Увы! по мнѣнію г. Шевырева: «нѣтъ!» Онъ говоритъ, что общество, которое изображено въ «Мертвыхъ Душахъ», не существуетъ, не можетъ существовать на самомъ дѣлѣ: создавая городъ N (куда является Чичиковъ), «фантазія поэта разыгралась въ волю и почти отрѣшилась отъ существенной жизни» (№ VII, стр. 220). Эта фраза повторяется нѣсколько разъ. Но «городъ N придуманъ сообразно характеру героя», стало быть, и Чичиковъ лицо болѣе фантастическое, нежели дѣйствительное.—А каковы характеры другихъ лицъ? И хотя фантастическимъ образомъ, но удовлетворительно ли изображена жизнь общества, которое состоитъ изъ этихъ лицъ? Нѣтъ, нѣтъ! и характеры изображены неудовлетворительно, и жизнь также всюду у Гоголя односторонность:

„Великъ талантъ Гоголя въ созданіи характеровъ; но мы искренно выскажемъ и тотъ недостатокъ, который замѣчаемъ въ отношеніи къ полнотѣ ихъ изображенія или произведенія въ дѣйствіе. Комическій юморъ, подъ условіемъ коего поэтъ созерцаетъ всѣ эти лица, и комизмъ самаго событія, куда они замѣшаны, препятствуютъ тому, чтобы они предстали всѣми своими сторонами и раскрыли всю полноту жизни въ своихъ дѣйствіяхъ. Мы догадываемся, что кромѣ свойствъ, въ нихъ теперь видимыхъ, должны быть еще другія добрыя черты, которыя раскрылись бы при иныхъ обстоятельствахъ: такъ, напримѣръ, Маниловъ, при всей своей пустой мечтательности, долженъ быть весьма добрымъ человѣкомъ, милостивымъ и кроткимъ господиномъ съ своими людьми и честнымъ въ житейскомъ отношеніи; Коробочка съ виду крохоборка, погружена въ одни матеріальные интересы своего хозяйства, но она непремѣнно будетъ набожна и милостива къ нищимъ и т. д.“

„То, что сказали мы о характерахъ, должно повторить и о возсозданіи всей русской жизни въ поэмѣ Гоголя.. И здѣсь будетъ та же самая оговорка со стороны нашей, что комическій юморъ автора мѣшаетъ иногда ему обхватывать жизнь во своей ея полнотѣ и широкомъ объемѣ. Это особенно ясно въ тѣхъ яркихъ замѣткахъ о русскомъ бытѣ и русскомъ человѣкѣ, которыми усѣяна поэма. По большей части мы видимъ въ нихъ одну отрицательную, смѣшную сторону, пол-обхвата, а не весь обхватъ русскаго міра“.

Итакъ, характеры и жизнь у Гоголя односторонны, невѣрны,

фантастичны. Тутъ ужъ не помогутъ художественныя совершенства плана и подробностей: вѣдь форма безъ содержанія ничтожна, форма съ фальшивымъ содержаніемъ фальшива; слѣдовательно, всѣ похвалы ей также обращаются въ ничтожество и фальшь. Сравнимъ эту послѣднюю, и единственную существенную выписку—потому что она одна касается сущности дѣла, всѣ предъидущія толкуютъ еще объ архитравахъ и колоннахъ, о рѣзцахъ и картинныхъ галлерейхъ—сравнимъ ее съ рецензіями Н. А. Полеваго: вѣдь она вся цѣликомъ какъ будто взята изъ нихъ; но Полевой имѣлъ твердость высказать свое мнѣніе и, такъ какъ содержаніе «Мертвыхъ Душъ» ему казалось неправдою, имѣлъ прямогу сказать, что «Мертвыя Души» — произведеніе фальшивое. Почему же г. Шевыревъ, въ сущности думая объ изображеніи характеровъ и жизни въ «Мертвыхъ Душахъ» тоже самое, что Н. А. Полевой, осыпаетъ, однако же, похвалами это произведеніе? Причинъ много; изъ нихъ первую объясняетъ самъ же г. Шевыревъ на первой же страницѣ своей критики: видите ли, лишь только явились «Мертвыя Души», какъ тотчасъ же

„Изъ тѣсныхъ рядовъ толкачаго рынка литературы (мы знаемъ уже, что это прозвище дано было петербургскимъ журналамъ) выскочило наглое самохвальство въ видѣ крикливаго пигмея, съ мѣднымъ лбомъ и размахистою рукою (то есть выскочилъ рыцарь безъ имени, на щитѣ котораго кривыми буквами написанъ былъ девизъ: „убѣжденіе“); обрадовавшись случаю изъ-за похвалы Гоголю похвалить самого себя, оно, ставши передъ произведеніемъ, палить на немъ свою тощую фигуру, силится прикрыть его собою, и потомъ показать вамъ, и увѣрить васъ, что точно оно вамъ его показало, а безъ того вамъ бы его не увидѣть“.

Вотъ это-то хвастливое невѣжество такъ громко кричало о высокомъ значеніи «Мертвыхъ душъ», что, подь опасеніемъ прослыть отсталымъ человѣкомъ, нельзя было не служить эхомъ хвастливому писателю. Другая причина: Гоголь самъ не задолго передъ изданіемъ «Мертвыхъ Душъ» объяснилъ значеніе своихъ произведеній въ пьесѣ «Разъѣздъ»; третья причина: голосъ публики въ пользу Гоголя сталъ слишкомъ громокъ; четвертая причина—надежды на исправленіе Гоголя, поданныя нѣкоторыми мѣстами перваго тома «Мертвыхъ Душъ», гдѣ авторъ обѣщается представить добродѣтельнаго русскаго человѣка, добродѣтельную русскую дѣвицу, *передъ которыми плохи покажутся всѣ добродѣтельные люди всѣхъ*

другихъ странъ—«наглое невѣжество рыцаря безъ имени» предвѣдѣло въ этихъ обѣщаніяхъ сильную опасность для таланта Гоголя; а г. Шевыревъ получилъ надежду, что за легкомысленнымъ и пустымъ первымъ томомъ «Мертвыхъ Душъ» послѣдуютъ произведенія болѣе удовлетворительныя и серьезныя, и рѣшился ради этихъ слѣдующихъ благихъ дѣлъ похвалить и начало ихъ: во второй части Гоголь искупить односторонность перваго тома, докажетъ, что талантъ его неодностороненъ:

«Да не подумаютъ читатели, чтобъ мы признавали талантъ Гоголя одностороннимъ, способнымъ созерцать только отрицательную половину человѣческой и русской души. О, конечно, мы такъ не думаемъ. Если въ первомъ томѣ его поэмы мы видимъ русскую жизнь и русскаго человѣка по болѣе части отрицательною ихъ стороною, то отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы фантазія Гоголя не могла вознестись до полнаго объема всѣхъ сторонъ русской жизни. Онъ самъ обѣщаетъ намъ далѣе представить «все несмѣтное богатство русскаго духа», и мы увѣрены заранѣе, что онъ славно сдержитъ свое слово. Къ тому же и въ этой части онъ чувствовалъ необходимость восполнить недостатокъ другой половины жизни, и потому въ частыхъ отступленіяхъ, въ яркихъ замѣткахъ брошенныхъ эпизодически, далъ намъ предчувствовать и другую сторону русской жизни, которую современемъ раскроетъ во всей полнотѣ ея.

Ради этихъ немногихъ отступленій и преимущественно ради этого благаго обѣщанія, прощаются пустота и легкомысліе перваго тома.— Какъ, развѣ первый томъ «Мертвыхъ Душъ» не только одностороннее и фальшивое, но и пустое, легкомысленное произведеніе?— А вы думали, нѣтъ? Вотъ вамъ доказательство:

«Взгляните на вихорь: въ началѣ бури легко и низко проносится онъ сперва; взметааетъ пыль и всякую дрянъ съ земли; перья, листья, лоскутки летятъ вверхъ и вьются, — и скоро весь воздухъ наполняется его своеобразнымъ круженіемъ. Легокъ и незначителенъ кажется онъ сначала; но въ этомъ вихрѣ скрываются слезы природы и страшная буря. Таковъ точно и комическій юморъ Гоголя. Но вотъ налетѣли тучи. Сверкнула молнія. Громъ раскатился по небу. Дождь хлынулъ потоками. Земля и небо смѣшались вмѣстѣ. Не такова ли будетъ вторая часть его поэмы, въ которой обѣщаетъ онъ вамъ *лирическое теченіе*, горизонтъ *раздающихся* и величавый громъ другихъ рѣчей?»

Кажется, ясно, что первая часть «Мертвыхъ Душъ», гдѣ нѣтъ «лирическаго теченія»—вихорь, который «легокъ и незначителенъ», который самъ по себѣ ничтоженъ и будетъ заслуживать нѣкотораго вниманія только тогда, когда «раздастся громъ другихъ рѣчей», иначе сказать, пустота прощается первой части «Мертвыхъ

Душъ» только съ условіемъ и только въ надеждѣ, что вторая часть не будетъ нимало походить на первую.

«Прощается», сказали мы, первый томъ Гоголю, ради слѣдующихъ... да, именно прощается, потому что онъ былъ дѣйствительно преступленіемъ со стороны Гоголя. Вамъ угодно доказательство? Оно въ статьѣ г. Шевырева, написанной по поводу «Переписки съ Друзьями». Цѣль этой статьи—опровергнуть упреки, со всѣхъ сторонъ раздавшіеся противъ этой книги. Намъ нѣтъ нужды говорить, какъ г. Шевыревъ оправдываетъ Гоголя. Болѣе страннаго оправданія никто никогда не читывалъ: всѣ главнѣйшіе упреки повторяетъ онъ отъ своего лица и думаетъ, что говорить похвалы Гоголю. А если вникнуть въ сущность статьи, то оказывается, что дѣло въ ней идетъ вовсе не о Гоголь, а собственно о самомъ г. Шевыревѣ. Не обращая никакого вниманія на истинный смыслъ словъ «Переписки», онъ старается только доказать ея справедливость различныхъ своихъ теорій, хотя и этого не достигаетъ, потому что, каковы бы ни были мнѣнія, запутавшія мысль Гоголя въ эпоху «Переписки съ Друзьями», но, во всякомъ случаѣ, они существенно различны отъ мнѣній г. Шевырева. Вѣдь очень сходныя слова имѣютъ различное значеніе, если произносятся по различнымъ побужденіямъ, если произносятся людьми различныхъ натуръ. «Я не доволенъ прежнею своею жизнью», говоритъ Фаустъ. «И я не доволенъ прежнею твоею жизнью», говоритъ ему Вагнеръ. Согласитесь, что Фаустъ говоритъ вовсе не о томъ, о чемъ говоритъ Вагнеръ. Одинъ недоволенъ собою потому, что не столько пользы принесъ людямъ, сколько хотѣлъ бы; другой не доволенъ потому, что Фаустъ думалъ прежде о такомъ вздорѣ, какъ грубая жизнь глупаго — то есть, неученаго — народа. Но какое намъ дѣло до Фауста и Вагнера? Мы хотѣли сказать, что васъ интересуеетъ не то, что говорилъ г. Шевыревъ о «Перепискѣ съ Друзьями», а тѣ откровенности насчетъ его мнѣній о прежнихъ сочиненіяхъ Гоголя, на которыя даетъ ему отвагу «Переписка съ Друзьями». Въ разборѣ «Мертвыхъ Душъ» правда засыпана комплиментами; въ статьѣ по поводу «Переписки» она высказана безъ обиняковъ. Тамъ г. Шевыревъ имѣлъ передъ глазами «наглое невѣжество», которому противорѣчить страшно, голосу котораго подчиняются иногда мнѣнія самыхъ ученыхъ людей; здѣсь онъ былъ безопасенъ подъ щитомъ, на которомъ,—кривыми или прямыми буквами—не знаемъ, было

написано: «вѣдъ самъ Гоголь осуждаетъ свои прежнія сочиненія». Посмотримъ же, какъ онъ говорилъ въ это счастливое для откровенности время. Выписка длинна, но очень интересна и должна имѣть для читателя ту прелесть, что она послѣдняя выписка наша изъ статей г. Шевырева. — Гоголь дурно дѣлалъ, что писалъ сочиненія, подобныя «Ревизору» и «Мертвымъ Душамъ», говорить г. Шевыревъ, и нельзя не считать ихъ важными проступками съ его стороны:

«Виновать ты художникъ. Будь увѣренъ, что мы сумѣемъ оправдать тебя сами въ твоемъ комизмѣ и въ твоемъ хохотѣ, на сколько ты достоинъ и заслуживаешь оправданія, на сколько ты самъ остаешься неволенъ въ своемъ смѣхѣ, и на сколько въ немъ виновна жизнь, тебя окружающая. Но сознайся въ томъ, что ты часто находилъ самоуслаждение въ этомъ хохотѣ, черезъ мѣру заливался своимъ смѣхомъ, въ чемъ мы тебя и прежде попрекали, слишкомъ тѣшился своимъ даромъ смѣшить другихъ и забывалъ иногда о тѣхъ глубокихъ слезахъ, которыя тяготѣли у тебя на душѣ, и забвение которыхъ отнимало у твоего смѣха глубину и силу, и отзывался онъ тогда чѣмъ-то пустымъ и даже приторнымъ. Отчего же, чуя въ себѣ другую, высшую сторону русскаго человѣка, не давалъ ты ей простора въ широкихъ предѣлахъ твоей фантазій? Отчего измѣнялъ другой, лучшей половинѣ своей мысли? Мы не обвинили бы тебя, если бы ты самъ не обвинилъ себя въ этомъ своими же словами, которыя невольно сорвались съ пера твоего, какъ бы въ собственное твое обличеніе: «мнѣ хотѣлось попробовать, говоришь ты, что скажетъ вообще русскій человѣкъ, если его *попотчуетъ* *его же собственной пошлостью*». Въ искусствѣ никогда не должно *хотѣться пробовать*: искусство должно быть свободно отъ всякихъ преднамѣреній личности. Стало, ты не всегда смѣялся свободно и искренно, по призыву вдохновенія? И чѣмъ же захотѣлось тебѣ попотчивать русскаго человѣка? — его же пошлостью! Хорошо подчиванье, хорошо гостепріимство художника! Для того, чтобы лучше это выполнить, ты сталъ свою собственную дрянь, какъ говоришь, наваливать на героевъ своихъ. Для тебя хорошо, если ты такимъ способомъ очистилъ душу свою, но хорошо ли для искусства, которое черезъ твою дрянь могло впасть въ односторонность-особливо лишенное комическаго дара, принадлежащаго лицу твоему?»

«Но продолжать ли намъ свои обвиненія? Художникъ наказанъ двояко за злоупотребленіе своего дара въ одну сторону и за свои увлеченія. Если отъ высокаго до смѣшнаго одинъ шагъ, то, наоборотъ, отъ смѣшнаго до высокаго нѣтъ пути: между ними бездна. Когда вся пошлость дѣйствительной жизни поднята была хохотомъ въ міръ поэзій, тогда хохотъ одолѣлъ все; и когда поэтъ захотѣлъ обратить глаза на другой міръ, на другую высокую сторону жизни, ему показалось страшно: онъ побоялся уже за своихъ исполнителей, чтобы они не пали передъ Собакевичами и Ноздревыми, — и пепель втораго тома «Мертвыхъ Душъ» былъ первымъ ему же наказаніемъ. Другое наказаніе въ той *школѣ, которую онъ произвелъ, самъ, конечно, не воображая, что она родится*

и выведетъ отъ него свою родословную. Смѣшно быть отцомъ дѣтей, которыхъ не знаешь и которыя навязываются къ тебѣ съ нѣжнымъ наименованіемъ папешки... Гоголь самъ испугался той школы, которую нехотя произвелъ, и въ этомъ испугѣ объявилъ прежнія созданія свои бесполезными». («Москв.». 1848 г. № 1, Критика, стр. 26—29).

Вотъ, что правда, съ тѣмъ нельзя не согласиться. Гоголь напрасно говорилъ, что подь его смѣхомъ скрываются горькія слезы: смѣхъ его былъ безъ всякой глубины, отъывался чѣмъ-то пустымъ и притворнымъ. Онъ виноватъ не только передъ русскою жизнью, но и передъ искусствомъ, съ которымъ обращался эгоистически, наваливая на него свою дрянь. Зато онъ и наказанъ: ему никогда не создать высокихъ произведеній искусства: «отъ смѣшнаго до высокаго нѣтъ пути».

Вотъ это мы называемъ прямою, вѣрностью своимъ убѣжденіямъ, непреклонная чистота которыхъ только на время была возмущена восторгомъ неученой толпы и криками «наглаго невѣжества», восторженными криками «рыцаря безъ имени». — «Переписка съ Друзьями» дала г. Шевыреву силу высказать то, что онъ давно ужъ думалъ о Гоголѣ; а свидѣтельство о томъ, какъ онъ думалъ о Гоголѣ, сохранено въ «Отечественныхъ Запискахъ». Однажды «Москвитянинъ» намекнулъ о томъ, что «Московскій Наблюдатель», въ которомъ г. Шевыревъ былъ главнымъ критикомъ и вообще главнымъ лицомъ, первый оцѣнилъ Гоголя, и что статья, оцѣнившая Гоголя, была написана г. Шевыревымъ. На это «Отечественныя Записки» отвѣчали:

„Изъ журналовъ первый оцѣнилъ Гоголя „Телескопъ“ (въ статьѣ „О русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя“, какъ мы говорили въ началѣ нашихъ „Очерковъ“), а совсѣмъ не тотъ, другой московскій журналъ, который отказался принять повѣсть Гоголя „Носъ“ по причинѣ ея пошлости и тривіальности, и не тотъ вменитый критикъ, который отказался писать о „Ревизорѣ“, какъ опять о тривіальномъ и грязномъ произведеніи“. („Отечественныя Записки“, томъ XXV, Смѣсь, стр. 107).

Мы сдѣлали обзоръ мнѣній тѣхъ журналовъ, которые не хотѣли понимать Гоголя. Теперь переходимъ къ мнѣніямъ людей, которые понимали и цѣнили его.

Отрадно вспомнить, что первый оцѣнилъ Гоголя, первый заговорилъ о немъ печатно тотъ самый человѣкъ, который до Гоголя

былъ величайшимъ изъ нашихъ писателей. Радужнымъ привѣтомъ встрѣтилъ, благословеніемъ своимъ напустивалъ Пушкинъ двадцатилѣтняго одинокаго юношу, который сдѣлался преемникомъ его славы. И не только какъ писатель писателя встрѣтилъ и ободрилъ онъ его, и какъ человѣкъ для человѣка сдѣлалъ онъ для него все, что могъ. Радостно и тепло становится душѣ при подобныхъ воспоминаніяхъ.

Вотъ первая статья изъ всѣхъ явившихся о Гоголѣ въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ. Она прислана была Пушкинымъ въ «Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду», и напечатана въ этой газетѣ въ 79 номерѣ 1831 года.

„Сейчасъ прочелъ *„Вечера близъ Диканьки“*. Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не образумился. Мнѣ сказывали, что когда издатель вошелъ въ типографію, гдѣ печатались *„Вечера“*, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая ротъ рукою. Факторъ объяснилъ ихъ веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смѣху, набравъ его книгу. Мольеръ и Фильдингъ, вѣроятно, были бы рады разсмѣшить своихъ наборщиковъ. Поздравляю публику съ истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнѣйшихъ успѣховъ“.

„Ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновенію, нападуть на неприличіе его выраженій, на дурной тонъ и проч. Пора намъ осмѣять les gracieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующихъ вѣчно о прекрасныхъ читательницахъ, которыхъ у нихъ не бывало, о высшемъ обществѣ, куда ихъ не просятъ, и все это слогомъ камердинера профессора Тредьяковскаго“.

Какою задушевною радостью о новомъ необыкновенномъ талантѣ проникнута эта статья! И какъ въ ней много сказано, не смотря на ея краткость! И какъ вѣрно и мѣтко все въ ней сказанное! Не укрылась отъ Пушкина и та грусть, которая послѣ стала существеннѣйшею чертою гоголевскихъ созданій, но которая такъ немногими замѣчается въ его первыхъ, еще такъ ярко озаренныхъ радостью жизни произведеніяхъ.

Другую статью о Гоголѣ, помѣщенную въ первой книжкѣ пушкинскаго «Современника», мы уже привели въ предъидущей нашей статьѣ.

По смерти Пушкина, друзья его продолжали быть и друзьями *Гоголя, какъ человѣка*, и почитателями его таланта. Изъ этихъ лю-

дей, двое, князь Вяземскій и г. Плетневъ, были журналистами, и оба они очень вѣрно понимали произведенія Гоголя. Все написанное ими о немъ принадлежитъ къ числу лучшаго, что только было написано о Гоголѣ.

Князь Вяземскій занимаетъ нынѣ такое высокое положеніе, что мы отважились бы на характеристику его критической дѣятельности только въ такомъ случаѣ, еслибъ обязанность историка требовала обнаружить въ ней какія нибудь ошибки. Читатели поймутъ чувство, которое заставляетъ насъ уклониться отъ полной характеристики критической дѣятельности этого писателя и ограничиться замѣчаніемъ, что онъ былъ достойный сподвижникъ Пушкина, достойный другъ Жуковскаго, Пушкина и Гоголя.

Потому мы просто безъ всякихъ эпитетовъ представимъ только краткое извлеченіе изъ статьи князя Вяземскаго о «Ревизорѣ». Она помѣщена въ пушкинскомъ «Современникѣ». Да и это мы дѣлаемъ только потому, что статья князя Вяземскаго слишкомъ важный фактъ въ исторіи распространенія справедливыхъ сужденій о Гоголѣ.

Разборъ этотъ начинается замѣчаніями о томъ, что въ нашей литературѣ рѣдки «событія», рѣдки книги заслуживающія вниманія, возбуждающія интересъ въ публикѣ—«Ревизоръ»—такое событіе; это первая русская комедія, какая появилась со времени «Горя отъ Ума». Блистательный успѣхъ его на сценѣ доказалъ то. Въ чтеніи комедія Гоголя доставляетъ едва ли не болѣе наслажденія, нежели даже на сценѣ, какъ и всегда бываетъ, когда пьеса написана съ умомъ и талантомъ, съ заботою не столько о сценическихъ эффектахъ, сколько объ истинномъ комизмѣ. Но какъ ни блистателенъ успѣхъ «Ревизора», эта комедія подверглась нѣкоторымъ оговоркамъ и осужденіямъ. Они могутъ быть раздѣлены на три разряда: замѣчанія литературныя, нравственныя и общественныя.

Нѣкоторые говорятъ, что «Ревизоръ» не комедія, а фарсъ. Дѣло не въ названіи: можно написать гениальный фарсъ, и пошлую комедію. Къ тому же, въ «Ревизорѣ» нѣтъ ни одной сцены въ родѣ «Сканиновыхъ обмановъ» «Доктора по Неволѣ», «Пурсоньяка» или расиновыхъ *Les Plaideurs*; нѣтъ нигдѣ вымышленной карикатуры, переодѣваній. За исключеніемъ паденія Бобчинскаго, нѣтъ ни одной минуты, сбывающейся на фарсъ. Въ «Ревизорѣ» есть карикатурная природа,—это дѣло другое. Въ природѣ не все изыщно; но въ подражаніи природѣ неизящной можетъ быть изыщность въ художественномъ

отношеніи. Смотрите на картины Тенъера, на корову Поля Потера *) и спросите послѣ: какъ могло возвышенное искусство посвящать кисть свою на подобные предметы?... Говорятъ, что языкъ (комедія Гоголя) низокъ. Высокое и низкое высоко и низко по сравненію и отношенію! низкое, когда оно на мѣстѣ, не низко, — оно въ пору и въ мѣру... Ваши требованія доказываютъ, что вы придерживаетесь традицій классическаго вѣка... Это въ глазахъ нашихъ не бездѣлица, вопреки мнѣнію тѣхъ, которые ставятъ ни во что аристократическія традиція гостинныхъ вѣка Людовика XIV или Екатерины II. Но именно по сей же самой терпимости, которую мы исповѣдуемъ какъ законъ истинной образованности... мы въ искусствѣ любимъ просторъ. Мы полагаемъ, что гдѣ есть природа и истина, тамъ вездѣ можетъ быть и изящное подражаніе оной. А тамъ уже дѣло вкуса или правильнѣе, вкусовъ, избирать любое для подражанія и въ подражаніяхъ. Между тѣмъ, не излишнимъ будетъ замѣтить, что Фонвизинъ читалъ своего «Бригадира» и своего «Недоросля» при просвѣщенномъ и великолѣпномъ дворѣ Екатерины II.—Такъ; но въ этихъ комедіяхъ встрѣчаются Добролюбовы, Стародумы, Милоны, а въ «Ревизорѣ» нѣтъ ни одного Добролюбова, хоть для примѣра. — Согласны, но вотъ маленькая оговорка: когда играли «Недоросля» при Императрицѣ, то немилосердно сокращали благородныя роли Стародума и Милона, потому что онѣ скучны и неумѣстны; сохранялись же въ неотъемлемой цѣлости низкія роли Скотинина, Простаковыхъ, Кутейкина. При однихъ добродѣтельныхъ лицахъ своихъ, Фонвизинъ остался бы незамѣченнымъ писателемъ, не читалъ бы своихъ комедій Екатерина Великая и не былъ бы и по нынѣ типомъ русской комической оригинальности. Вывели его къ безсмертію лица, которыя не выражаютъ ни одного благороднаго чувства, ни одной свѣтлой мысли, ни одного въ человѣческомъ отношеніи отраднаго слова. А не въ отсутствіи ли всего этого обвиняете вы лица, представленныя г. Гоголемъ?»

«Другіе говорятъ... что коренная основа «Ревизора» неправдоподобна, что городничій не могъ такъ легковѣрно вдаваться въ обманъ, а долженъ былъ потребовать подорожную и проч. Конечно такъ, — но авторъ въ этомъ случаѣ помнилъ болѣе психологическую пословицу, чѣмъ полицейскій порядокъ, и для комика, кажется, не ошибся. Онъ помнилъ, что *у страха глаза велики*. Къ тому же, и минуя пословицу, въ самой сущности дѣла нѣтъ ни малѣйшаго насилія правдоподобию. Извѣстно, что ревизоръ пріѣдетъ инкогнито, слѣдовательно, можетъ пріѣхать подъ чужимъ именемъ. Извѣстіе о пребываніи въ гостинницѣ неизвѣстнаго человѣка падаетъ на городничаго и сотоварищей его въ критическую минуту паническаго страха, по прочтеніи роковаго письма. Далѣе почему не думать городничему, что у Хлестакова двѣ подорожныя, два *вида*, изъ коихъ настоящій будетъ предъявленъ, когда нужно? Тутъ нѣтъ никакой натяжки, все натурально... Въ одной изъ нашихъ губерній былъ, дѣйствительно, случай, подобный описанному въ «Ревизорѣ»: по сходству фамилій, приняли одного молодаго пріѣзжаго за извѣстнаго государственнаго чинов-

*) Критикъ говоритъ о знаменитой картинѣ Поля Потера „*Vache qui pisse*“, составляющей одно изъ драгоцѣннѣйшихъ украшеній Эрмитажа.

ника. Все городское начальство засуетилось и пріѣхало къ молодому человѣку *лѣзться*. Не знаемъ, случилось ли ему тогда нужда въ деньгахъ, какъ проигравшемуся Хлестакову, но вѣроятно нашлись бы заимодавцы. Все это въ порядкѣ вещей, не только въ порядкѣ комедіи».

Нѣкоторые критики,—продолжаетъ защитникъ Гоголя,—не довольны простонародностью языка въ «Ревизорѣ», не понимая, что выведенныя лица не могутъ говорить другимъ языкомъ. Они находятъ у Гоголя слова, по ихъ мнѣнію, неупотребительныя въ высшемъ обществѣ. Это показываетъ только, что подобные «жеманные словоловы» стараются показаться людьми хорошаго тона, котораго не знаютъ: хорошій тонъ состоитъ въ непринужденности, натуральности, и лучшее общество доказываетъ, что вовсе не оскорбляется естественностью языка въ «Ревизорѣ»: «лучшее общество сидитъ въ ложахъ и креслахъ, когда его играютъ; брошюрка «Ревизора» лежитъ на модныхъ столикахъ работы Гамбса».

„Говорятъ, что „Ревизоръ“—комедія безнравственная, потому что въ ней выведены одни пороки и глупости людскія, что уму и сердцу не на комъ отдохнуть отъ негодованія и отвращенія; нѣтъ свѣтлой стороны челоуѣчества для примиренія зрителей съ челоуѣчествомъ, для назиданія ихъ... Мы признаемъ безнравственнымъ сочиненіемъ только то, которое вводитъ въ соблазнъ и въ искушеніе. Безпристрастное изложеніе самаго соблазна не можетъ быть безнравственно. Авторъ, слѣдуя въ этомъ случаѣ Провидѣнію, допускаетъ зло, предоставляя волѣ и совѣсти читателя и зрителя пользоваться представленнымъ урокомъ по своимъ чувствамъ и правиламъ. Не должно забывать, что есть литература взрослыхъ людей и литература малолѣтнихъ: конечно, между людьми взрослыми бываютъ и такіе, которые любятъ до старости быть подъ указкою учителя; говорите имъ внятно: вотъ это дѣлайте! а того не дѣлайте, за это скажутъ вамъ: „пай, дитя“, поглядятъ по головкѣ и дадутъ сахарцу! за другое: „фи, дитя“, выдерутъ за ухо и поставятъ въ уголь. Но какъ же требовать, чтобы каждый художникъ посвятилъ себя на должность школьнаго учителя или дядьки? На что вамъ честные люди въ комедіи, если они не входили въ планъ комическаго писателя? Живописецъ представилъ вамъ сцену разбойниковъ; вамъ этого недовольно: для нравственной симметріи, вы требуете, чтобы на первомъ же планѣ былъ изображенъ челоуѣкъ, который отдаетъ полный кошелекъ свой нищему, иначе зрѣлице слишкомъ прискорбно и тяжело дѣйствуетъ на нервы ваши. Вы и въ театрѣ не можете просидѣть двухъ часовъ безъ того, чтобы не явился вамъ хотя одинъ честный челоуѣкъ, одинъ герой добродѣтели,—именно герой: ибо въ представленіи просто добраго челоуѣка не было бы никакой дѣли: нѣтъ нужна сопротивная сила для отпора и сокрушенія порочныхъ,—однимъ словомъ „барыня требуетъ весь туалетъ!“ Да помилуйте! въ жизни и въ свѣтѣ не два часа просидишь иногда безъ бла-

городнаго, утѣшительнаго сочувствія. Кто изъ зрителей „Ревизора“ пожелалъ бы быть Хлестаковымъ, Земляникомъ или даже и невинными Петрами Ивановичами Добчинскимъ и Бобчинскимъ? Вѣрно, никто! Слѣдовательно, въ дѣйствіи, провозводимомъ комедію, нѣтъ ничего безнравственнаго,—можетъ быть впечатлѣніе непріятное, какъ во всякой сатирѣ, изображающей недуги общества: это дѣло другое. Но это непріятное дѣйствіе умѣрено смѣхомъ. Слѣдовательно, условія искусства выдержаны, комикъ правъ.

„Сущность общественныхъ замѣчаній сбивается во многомъ на вышеприведенныя замѣчанія. Говорятъ, что эта комедія поклепъ на русское общество, перебираютъ въ Зябловскомъ и Арсеньевѣ всѣ уѣзды великороссійскихъ, малороссійскихъ, западныхъ и восточныхъ губерній и заключаютъ, что такого города нѣтъ и въ государствѣ. Да есть ли на бѣломъ свѣтѣ люди, похожіе на тѣхъ, которые выведены въ комедіи? Безспорно, есть! Довольно этого“.

И возможно ли упрекать Гоголя въ томъ, что онъ употребляетъ слишкомъ черныя краски? Въ «Ябедѣ» Капниста злоупотребленія изображаются гораздо безпощаднѣйшимъ языкомъ.

„Всѣ возможныя сатурналіи и вакханаліи Феиды, во всей наготѣ, во всемъ безчиствѣ своемъ раскрываются тутъ на сценѣ гласно и торжественно. Гражданская палата засѣдаетъ, слушаетъ и судитъ дѣла въ той же комнатѣ, гдѣ за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ бушевала оргія; вчерашнія бутылки валяются подъ присутственнымъ столомъ, прикрытымъ краснымъ сукномъ, которое, по мнѣнію повытчика,

множество привыкло прикрывать

И не такихъ грѣховъ!

„Деньги тутъ даются не въ займы, а въ явный подкупъ. Предсѣдатель гражданской палаты, члены, прокуроръ поютъ хоромъ:

Бери,—большой тутъ нѣтъ науки, —

Бери, что только можно взять!

На что жъ привѣшены намъ руки,

Какъ не на то, чтобъ брать, брать, брать?“

Конечно, (продолжаетъ критикъ) и тогда находились многіе, называвшіе комедію Капниста клеветою на общество, какъ нынѣ говорятъ то же о комедіи Гоголя. Но благородныя чувства поэта были оцѣнены Императоромъ Павломъ Петровичемъ, который разрѣшилъ посвятить пьесу Капниста своему имени. Разборъ заключается прекрасными словами:

„Конечно, чувство патриотической щекотливости благородно: народное достоинство есть святыня, оскорбляющаяся малѣйшимъ прикосновеніемъ. Но при этихъ чувствахъ не должно быть одностороннимъ въ понятіяхъ своихъ. При излишней щекотливости вы стѣсняете талантъ и искусство, стѣсняете самое *нравственное дѣйствіе* благонамѣренной литературы. Комедія, сатира, романъ

правовъ исключаются изъ нея при допущеніи подобнаго чувства въ безусловное и непреложное правило. Послѣ того ни одно злоупотребленіе не можетъ подлежать кисти или клеиму писателя, ни одинъ писатель не можетъ быть *по мѣрѣ силъ споспѣшникомъ* общаго блага, по выраженію Капниста *). Личность, званіе, національность, а наконецъ и человѣчество будутъ ограждать злоупотребителей опасеніемъ нарушить уликю въ злоупотребленіи уваженіе къ тому, что подъ нимъ скрывается достойнаго уваженія и неприкосновеннаго. Но міръ нравственный и міръ гражданскій имѣютъ свои противорѣчія, свои прискорбныя уклоненія отъ законовъ общаго благоустройства. Совершенство—цѣль недостижимая; но совершенствованіе есть, не менѣе того, обязанность и свойство природы человѣческой. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного умнаго человѣка; неправда: уменъ авторъ. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного честнаго и благомыслящаго лица; неправда: честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое, силою закона поражая злоупотребленія, позволяетъ и таланту исправлять ихъ оружіемъ насмѣшекъ. Въ 1783 году оно допустило представленіе „Недоросля“, въ 1799—„Ябеды“, а въ 1836—„Ревизора“.

И, можно прибавить теперь, въ 1842 году—печатаніе первой, а въ 1855 году—второй части «Мертвыхъ Душъ».

Благородна ли эта статья, справедлива ли она, давно уже рѣшено и публикою и признано лучшимъ нашимъ критикомъ, который очень часто на нее ссылался.

Мы не будемъ также говорить подробно о критической дѣятельности г. Плетнева. Опять скажемъ только, что его имя неразрывно связано съ именами Жуковскаго, Пушкина и Гоголя. Припомнимъ еще, что «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» изданы были по совѣту г. Плетнева, да и самое заглавіе этой книгѣ дано по его же совѣту. (Биографія Пушкина, г. Анненкова, въ I томѣ «Сочиненій А. С. Пушкина», стр. 366). Считаю неловкимъ говорить о г. Плетневѣ болѣе, мы ограничимся тѣмъ, что представимъ — также безъ всякихъ эпитетовъ—извлеченіе изъ статьи о «Мертвыхъ Душахъ», которую онъ, подъ псевдонимомъ С. Ш., напечаталъ въ XXVII томѣ издававшагося тогда имъ «Современника».

Цѣль этого разбора, такъ же, какъ статьи князя Вяземскаго о «Ревизорѣ» — доказать недѣлность обвиненій и упрековъ противъ

*) Слова Капниста въ посвященіи „Ябеды“ Императору Павлу I:
 Подъ Павловымъ щитомъ пощю невредимъ,
 Но, бывъ по мѣрѣ силъ споспѣшникомъ Твоимъ,
 Сей слабый трудъ Тебѣ я посвятить дерзаю.
 Да Именемъ Твоимъ успѣхъ его вѣнчаю.

Гоголя. Критикъ сначала объясняетъ, почему произведенія Гоголя въ художественномъ смыслѣ неизмѣримо выше всего остальнаго въ тогдашней русской литературѣ: они—созданія живаго, гениальнаго творчества. Сюжетъ «Мертвыхъ Душъ» немногосложенъ и превосходно развитъ. Жизнь и характеры изображены съ поразительною живописью, съ изумительною полнотою, въ высшей степени объективно. Въ самыхъ спокойныхъ сценахъ обнаруживаетъ авторъ гениальную проницательность, знаніе жизни и человѣческаго сердца, обнаруживаетъ безъ всякихъ усилій, самымъ непринужденнымъ и естественнымъ образомъ. Это доказывается примѣрами, между прочимъ разговоромъ Чичикова съ Коробочкою (эта сцена, вовсе неблестательная для поверхностнаго читателя, дѣйствительно, принадлежитъ къ числу самыхъ гениальныхъ въ художественномъ отношеніи). Гоголь не только не впадаетъ въ каррикутуру или фарсъ: онъ даже не намѣренъ ни одного слова сказать съ тѣмъ, чтобы разсмѣшить васъ. Онъ заботится только о вѣрности съ жизнью, объ истинѣ; а если эта жизнь кажется вамъ нелѣпа и смѣшна, это уже ея качество, а не его намѣреніе. И ошибочно было бы думать, что сильнѣйшее впечатлѣніе, производимое «Мертвыми Душами»—смѣхъ: напротивъ эта книга очень серьезная и грустная. Всѣ лица въ ней живыя, всѣ имѣютъ глубокій смыслъ для того, кто хочетъ постичь нашу жизнь. При этомъ г. Плетневъ, по нашему мнѣнію, очень справедливо и тонко, замѣчаетъ, что типы Манилова и Плюшкина нѣсколько уступаютъ въ значеніи для нашей жизни остальнымъ лицамъ «Мертвыхъ Душъ», хотя и они очень важны. Тѣсная связь съ жизнью, серьезное значеніе для жизни—высочайшее качество художественнаго сознанія. Въ этомъ отношеніи нѣтъ въ нашей литературѣ ничего равнаго «Мертвымъ Душамъ». Однако же, хотя и нѣтъ ничего имъ равнаго, «Мертвыя Души» не совсѣмъ удовлетворяютъ критика въ этомъ существеннѣйшемъ смыслѣ—мысль чрезвычайно замѣчательная; мы просимъ читателей обратить на нее особенное вниманіе и, выписывая вполнѣ все это мѣсто изъ разбора г. Плетнева, не можемъ желать лучшаго, болѣе вѣрнаго и значительнаго заключенія для нашей статьи:

«При всѣхъ достоинствахъ поэма, конечно, поразить каждаго недостаткомъ важнымъ. Въ ней нѣтъ того, чего мы еще не встрѣчаемъ въ нашей жизни—серьезнаго общественнаго интереса. Я не умѣлъ придумать другаго

названія тому качеству нашихъ разговоровъ, мыслей и поступковъ, которое не отнимая у нихъ обязанностей національности, придаетъ имъ цѣнность общую и вводитъ ихъ въ соприкосновеніе съ интересами другихъ народовъ. Самыя поразительныя мѣста, отъ которыхъ приходишь въ восхищеніе, не выносятъ души на тотъ горизонтъ, откуда она обозрѣваетъ подобныя явленія иностранныхъ писателей. Во всемъ чувствуешь мелочность и ограниченность. Для иностранца, который не въ состояніи трепетать отъ художественнаго мастерства автора, вся прелесть исчезаетъ, за недостаткомъ жизни болѣе цѣнной и болѣе общепонятной. Это все нисколько не говоритъ противъ Гоголя, напротивъ, еще оправдываетъ его. Авторъ безъ такта, привыкнувшій обманываться въ своихъ ощущеніяхъ, легко подымающійся на ходули, когда не на чемъ болѣе показаться высокимъ, обыкновенно поддѣлывается подъ какой нибудь извѣстный ему тонъ и, такимъ образомъ, все рисуетъ ложно. Гоголь возвратилъ обществу то, что оно могло дать ему само. Какъ прежняя, такъ и нынѣшняя наша общезительность хранить въ своей исторіи любопытныя доказательства въ оправданіе того, что и у всѣхъ, самыхъ великихъ писателей русскихъ, степень развитія общественныхъ интересовъ всегда была ниже, нежели у писателей другихъ народовъ. («Соврем.» 1842 г., часть XXVII, стр. 55—56).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ критическихъ статьяхъ, или, лучше сказать, замѣчаніяхъ Пушкина (замѣчаніяхъ, говоримъ мы, потому что его рецензіи почти всѣ очень невелики по объему и набросаны, кажется, наскоро, подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія) почти всегда блестятъ тонкій и вѣрный вкусъ нашего великаго поэта. Иначе и быть не могло, какъ ни важно участіе бессознательной творческой силы въ созданіи поэтическихъ произведеній, какъ ни достовѣрна всѣми нынѣ признаваемая истина, что безъ этого элемента непосредственности, составляющей существеннѣйшее качество таланта, невозможно быть не только великимъ, но и порядочнымъ поэтомъ,—но равно достовѣрно и то, что, при самомъ сильномъ дарѣ бессознательнаго творчества, поэтъ не создастъ ничего великаго, если не одаренъ также замѣчательнымъ умомъ, сильнымъ здравымъ смысломъ и тонкимъ вкусомъ. То же самое, что о критическихъ статьяхъ Пушкина, надобно сказать и о журнальной дѣятельности людей, составлявшихъ его литературную партію. Всѣ эти дѣятели нашей критики отличались, подобно своему корифею, тонкимъ вкусомъ, какъ и вообще походили на него многими прекрасными чертами своего литературнаго характера,—напримѣръ, готовностью съ нелицепріятнымъ благородствомъ отдавать каждому должное. Такимъ образомъ, Пушкинъ и его сподвижники обладали многими изъ качествъ, необходимыхъ для того, чтобы оказывать сильное вліяніе на мнѣнія читающей публики,—и, однако же, ихъ мнѣнія имѣли и на публику и на развитіе литературы менѣе вліянія, нежели какъ должно было бы ожидать: и большинство читателей и новое поколѣніе писателей поддавались преимущественно вліянію другихъ литературныхъ мнѣній. Каковы были эти мнѣнія, мы старались показать подробными характеристиками критическихъ направленій, которыя преобладали

въ нашей литературѣ до той эпохи, когда пріобрѣла въ ней рѣшительное господство критика «Отеч. Записокъ», или усиливались бороться противъ литературныхъ мнѣній этого журнала. Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что Пушкинъ и его сподвижники высказывали очень много вѣрнаго и прекраснаго. Почему жъ ихъ мнѣнія не имѣли болѣе значительнаго вліянія на литературу и массу публики? Отвѣтъ готовъ у каждаго читателя: журналъ, бывшій органомъ пушкинскаго направленія критики, не проникалъ въ массу публики, какъ не проникала въ публику и «Литературная Газета» Дельвига, предшествовавшая этому журналу, «Современнику» 1836—1846 годовъ. Подробное объясненіе этого явленія, принадлежащее исторіи пушкинскаго періода русской литературы, лежитъ внѣ предѣловъ нашей задачи. Потому изъ многихъ причинъ малоизвѣстности кратко укажемъ только одну, спеціально касающуюся формальной стороны пушкинскаго направленія критики: указывать причины, лежащія въ самомъ содержаніи, въ самомъ духѣ этой критики, мы не будемъ, потому что это завлекло бы насъ слишкомъ далеко. Для распространенія въ публикѣ какихъ бы то ни было, хотя бы самыхъ простыхъ и справедливыхъ, мнѣній необходимо высказывать ихъ очень настойчиво, упорно, съ энтузіазмомъ страстнаго увлеченія, не утомляющагося скучными для самого критика, но нужными для массы повтореніями, не пренебрегающаго подробнымъ разборомъ книгъ и сужденій, которыя важны только по своему внѣшнему значенію — по вліянію на публику, а не по внутреннему интересу для искусства, наконецъ не отвращающагося, ради интересовъ публики, даже отъ споровъ съ людьми, вступать въ споръ съ которыми вовсе не пріятно и не почетно. Однимъ словомъ, критическая дѣятельность, подобно всякой другой общественной дѣятельности, имѣетъ много сторонъ, тѣмъ болѣе полезныхъ для публики, чѣмъ непріятнѣе онѣ для самого дѣятеля. Критикъ, который хочетъ говорить только о томъ, о чемъ интересно говорить для него самого, который хочетъ сохранить въ своей дѣятельности столько же гордаго спокойствія и достоинства, сколько сохраняетъ поэтъ или ученый, — такой критикъ пишетъ для немногихъ. Пушкинъ и его литературные друзья знали это; дѣйствуя на поприщѣ критики, они и не хотѣли подчиняться условіямъ, несомнѣстимымъ съ ихъ понятіями о собственномъ достоинствѣ; они знали, что чрезъ это отказываются отъ средствъ достигнѣ

господства надъ массою публики,—да они и не стремились къ такому господству: они поставили себѣ цѣлью довольствоваться спокойнымъ сочувствіемъ немногихъ читателей, которыхъ считали избранными, и гордо думали, что качества ихъ слушателей вознаграждаютъ за количество. Это было положительно ими высказываемо много разъ. Ограничиваемся указаніемъ этого принципа ихъ критической дѣятельности, потому что и его было бы достаточно для объясненія незначительности ея вліянія на публику, если бы даже не было другихъ причинъ, еще болѣе важныхъ, разборъ которыхъ завлекъ бы насъ слишкомъ далеко за предѣлы нашей задачи.

Такимъ образомъ, несмотря на многія несомнѣнные достоинства критики пушкинскаго направленія, она не имѣла обширнаго вліянія, — отчасти, какъ мы сказали, оттого, что и не хотѣла имѣть его. Кто вздумалъ бы писать исторію развитія литературныхъ мнѣній не въ русскомъ обществѣ, а въ кругу дилетантовъ, довольствовавшимся замкнутою для остальной массы публики жизнью, тотъ нашелъ бы много матеріаловъ для свѣтлаго изображенія критической дѣятельности этого тѣснаго избраннаго круга, — нашелъ бы, что многія истины, введеніе которыхъ въ сознаніе большинства совершено (другими людьми) только послѣ жестокой борьбы, всегда признавались школою Пушкина. Насъ теперь занимаетъ другая задача: собрать матеріалы для исторіи распространенія справедливыхъ литературныхъ идей въ массѣ публики. Потому, ограничиваясь тѣми краткими указаніями на характеръ критики пушкинскаго направленія, которыя нашли себѣ мѣсто въ началѣ этой и въ концѣ предыдущей нашей статьи, мы должны обратить все наше вниманіе на тотъ журналъ, который былъ распространителемъ господствующихъ нынѣ литературныхъ понятій въ огромномъ большинствѣ публики, и на его достойныхъ предшественниковъ.

Читателямъ извѣстно, что эта заслуга принадлежитъ критикѣ, которая, образовавшись въ «Телескопѣ» и явившись совершенно самостоятельно въ «Московскомъ Наблюдателѣ» второй редакціи (1838 — 1839 г.), достигла полнаго своего развитія въ «Отечественныхъ Запискахъ», бывшихъ ея органомъ втеченіе семи лѣтъ (1840—1846 г.), потомъ около года одушевляла нашъ журналъ. *Итакъ, показавъ ея зародыши въ «Телескопѣ», предшественникамъ котораго были статьи Надоумко (покойнаго Н. И. Надеждина) въ*

«Вѣстникъ Европы», вторую эпоху ея развитія въ «Московскомъ Наблюдателѣ», мы должны будемъ говорить преимущественно объ «Отечественныхъ Запискахъ». Читателямъ извѣстно, что отношенія между «Отечественными Записками» и нашимъ журналомъ были не всегда дружелюбны, или, вѣрнѣе сказать, почти всегда недружелюбны; они также знаютъ, которому журналу принадлежала постоянно роль наступательная и которому оборонительная. Но читатели, конечно, должны ожидать, что въ томъ отдѣлѣ «Очерковъ», къ которому мы теперь приступаемъ, не найдутъ они ни малѣйшаго отголоска этихъ отношеній. Мы пишемъ исторію не журнальной полемики, а литературныхъ мнѣній; слѣдовательно совершенно неумѣстно обращать здѣсь вниманіе на то, что происходило отъ причинъ чисто внѣшнихъ и случайныхъ. Притомъ же, мы не имѣемъ не только охоты, но и хронологической возможности обращать здѣсь какое бы то ни было вниманіе на эту полемику, относящуюся къ позднѣйшему времени: мы ограничиваемся теперь какъ сказали, блестящею эпохою «Отечественныхъ Записокъ», когда въ этомъ журналѣ дѣйствовали всѣ тѣ люди, которые отдѣлились отъ него при основаніи нашего журнала. Послѣ 1847 года русская критика вообще замѣтно ослабѣла: она уже не шла впереди общественнаго мнѣнія,—она была счастлива, если успѣвала быть хотя позднимъ и хотя слабымъ отголоскомъ его; иногда и это счастье не доставалось ей на долю; она не имѣла вліянія, она сама подвергалась вліянію: оттого вовсе не имѣетъ той важности для исторіи литературы, какъ предшествовавшая ей критика 1840—1847 годовъ, которая одна доселѣ сохранила свою жизненность. Вообще, въ критикѣ послѣднихъ лѣтъ только то и было здороваго, что сохранилось отъ прежней критики. Всѣ остальные направленія были тунеедными, пустоцвѣтными растеніями. Потому одна критика 1840—1847 годовъ заслуживаетъ нашего вниманія, она одна достойна того, чтобы называться «критикою гоголевскаго періода нашей литературы»: пусть же, за отсутствіемъ собственнаго имени, это названіе будетъ для нея собственнымъ именемъ.

Литературныя стремленія, одушевлявшія критику 1840—1847 годовъ, или, какъ мы согласились называть, критику гоголевскаго періода, кажутся намъ, какъ и всѣмъ здравомыслящимъ людямъ *настоящаго времени*, вполне справедливыми; мы всѣ привязаны къ *ней* горячею любовью преданныхъ и благодарныхъ учениковъ. И

если у каждаго изъ насъ есть предметы, столь близкіе и дорогіе сердцу, что, говоря о нихъ, онъ старается наложить на себя холодность и спокойствіе, старается избѣжать выраженій, въ которыхъ бы слышалась его слишкомъ сильная любовь, напередъ увѣренный, что, при соблюденіи всей возможной для него холодности, рѣчь его будетъ очень горяча,—если, говоримъ мы, у каждаго изъ насъ есть такіе дорогіе сердцу предметы, то критика гоголевскаго періода занимаетъ между ними одно изъ первыхъ мѣстъ, наравнѣ съ самимъ Гоголемъ. Каждый любящій свою литературу и слѣдившій за ея развитіемъ признаетъ, что это «мы» относится и къ нему. Потому-то будемъ говорить о критикѣ гоголевскаго періода какъ можно холоднѣе; въ настоящемъ случаѣ, намъ не нужны и противны громкія фразы: есть такая степень уваженія и сочувствія, когда всякія похвалы отвергаются, какъ нѣчто не выражающее всей полноты чувства.

Много было достоинствъ у критики гоголевскаго періода; но всѣ они приобрѣтали жизнь, смыслъ и силу отъ одной одушевлявшей ихъ страсти—отъ пламеннаго патріотизма. Какъ всѣ высокія слова, какъ любовь, добродѣтель, слава, истина, слово патріотизмъ иногда употребляется во зло непонимающими его людьми для обозначенія вещей, не имѣющихъ ничего общаго съ истиннымъ патріотизмомъ; потому, употребляя священное слово «патріотизмъ», часто бываетъ необходимо опредѣлять, что именно мы хотимъ разумѣть подъ нимъ. Для насъ идеалъ патріота—Петръ Великій; высочайшій патріотизмъ—страстное, безпредѣльное желаніе блага родинѣ, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю дѣятельность этого великаго человѣка. Понимая патріотизмъ въ этомъ единственномъ истинномъ смыслѣ, мы замѣчаемъ, что судьба Россіи въ отношеніи къ задушевнымъ чувствамъ, руководившимъ дѣятельностью людей, которыми наша родина можетъ гордиться, доселѣ отличалась отъ того, что представляетъ исторія многихъ другихъ странъ. Многіе изъ великихъ людей Германіи, Франціи, Англіи заслуживаютъ свою славу, стремясь къ цѣлямъ, не имѣющимъ прямой связи съ благомъ ихъ родины; напримѣръ (чтобы ограничиться сферою дѣятельности, доступной частнымъ людямъ), многіе изъ величайшихъ ученыхъ, поэтовъ, художниковъ имѣли въ виду служеніе чистой наукѣ или чистому искусству, а не какимъ нибудь исключительнымъ потребностямъ своей родины. Бэконъ, Декартъ, Галилей, Лейбницъ,

Ньютонъ, нынѣ Гумбольдтъ и Либихъ, Кювье и Фареде трудились и трудятся, думая о пользахъ науки вообще, а не о томъ, что именно въ данное время нужно для блага извѣстной страны, бывшей ихъ родиною. Мы не знаемъ и не спрашиваемъ себя, любили ли они родину: такъ далеко ихъ слава отъ связи съ патриотическими заслугами. Они, какъ дѣятели умственнаго міра, космополиты. То же надобно сказать о многихъ великихъ поэтахъ западной Европы. Укажемъ въ примѣръ на величайшаго изъ нихъ—Шекспира. Неизмѣримо велики его заслуги для развитія чистаго искусства: по своему художественному совершенству и психологическому глубокомыслію, его произведенія имѣли огромное и благодѣтельное дѣйствіе на судьбу искусства и, чрезъ то, косвеннымъ образомъ, вообще на развитіе человѣчества,—и въ Англіи конечно, какъ въ Германіи, Франціи, Россіи. Но что хотѣлъ онъ сдѣлать специально для современной ему Англіи? Въ какомъ отношеніи былъ онъ къ вопросамъ ея тогдашней исторической жизни? Онъ, какъ поэтъ, не думалъ объ этомъ: онъ служилъ искусству, а не родинѣ; не патриотическія стремленія, а только художественно-психологическіе вопросы были двинуты впередъ Макбетомъ и Лиромъ, Ромео и Отелло. Изъ другихъ великихъ поэтовъ о многихъ надобно сказать тоже самое. Назовемъ Аріосто, Корнеля, Гёте. О художественныхъ заслугахъ передъ искусствомъ, а не особенныхъ, преимущественныхъ стремленій дѣйствовать во благо родины, напоминаютъ ихъ имена. У насъ не то: историческое значеніе каждаго русскаго великаго человѣка измѣряется его заслугами родинѣ, его человѣческое достоинство—силою его патриотизма. Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Пушкинъ справедливо считаются великими писателями,—но почему? «Потому что оказали великія услуги просвѣщенію или эстетическому воспитанію своего народа». Ломоносовъ страстно любилъ науку, но думалъ и заботился исключительно о томъ, что нужно было для блага его родины. Онъ хотѣлъ служить не чистой наукѣ, а только отечеству. Державинъ даже считалъ себя имѣющимъ право на уваженіе не столько за поэтическую дѣятельность, сколько за благія свои стремленія въ государственной службѣ. Да и въ своей поэзіи что цѣнилъ онъ? Служеніе на пользу общую. То же думалъ и Пушкинъ. Любопытство въ этомъ отношеніи сравнить, какъ они видоизмѣняютъ существующую мысль гораціевой оды «Памятникъ», выставляя свои права на

безсмертіе. Горацийъ говоритъ: «я считаю себя достойнымъ славы за то, что хорошо писалъ стихи»; Державинъ замѣняетъ это другимъ: «я считаю себя достойнымъ славы за то, что говорилъ правду и народу и царямъ»; Пушкинъ— «за то, что я благодѣтельно дѣйствовалъ на общество и защищалъ страдальцевъ»:

.....
 Всякъ будетъ помнить то,
 Что первый я дерзнулъ...
 О добродѣтеляхъ Фелицы возгласить...
 И истину царямъ съ улыбкой говорить. (Д.)

 И долго буду я народу тѣмъ любезенъ,
 Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
 Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
 И милость къ падшимъ призывалъ. (П.)

Но ни въ комъ изъ нашихъ великихъ писателей не выражалось такъ живо и ясно созданіе своего патріотическаго значенія, какъ въ Гоголѣ. Онъ прямо себя считалъ человѣкомъ, призваннымъ служить не искусству, а отечеству; онъ думалъ о себѣ:

„Я не поэтъ, я гражданинъ“.

Невозможно, чтобы наши великіе поэты ошибались въ этой мысли о своемъ призваніи и дѣятельности, которая руководила всѣми ими. Невозможно, чтобы все отечество ошибалось втеченіи слишкомъ ста лѣтъ, о каждомъ изъ своихъ замѣчательныхъ писателей, ученыхъ и поэтовъ одинаково говоря: «онъ великъ потому, что дѣятельность его была направлена къ общей пользѣ». Дѣйствительно, до сихъ поръ для русскаго человѣка единственная возможная заслуга передъ высокими идеями правды, искусства, науки— содѣйствіе распространенія ихъ въ его родинѣ. Современемъ будутъ и у насъ, какъ у другихъ народовъ, мыслители и художники, дѣйствующіе чисто только въ интересахъ науки или искусства; но, пока мы не станемъ по своему образованію наравнѣ съ наиболѣе успѣвшими націями, есть у cadaго изъ насъ другое дѣло, болѣе близкое къ сердцу—содѣйствіе, по мѣрѣ силъ, дальнѣйшему развитію того, что начато Петромъ Великимъ. Это дѣло до сихъ поръ *требуетъ и, вѣроятно, еще долго будетъ требовать всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ силъ, какими обладаютъ наиболѣе одаренные сыны нашей родины. Русскій у кого есть здравый умъ и*

живое сердце, до сихъ поръ не могъ и не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ патріотомъ, въ смыслѣ Петра Великаго, — дѣятелемъ въ великой задачѣ просвѣщенія русской земли. Всѣ остальные интересы его дѣятельности—служеніе чистой наукѣ, если онъ ученый, чистому искусству, если онъ художникъ, даже идеѣ общечеловѣческой правды, если онъ юристъ—подчиняются у русскаго ученаго, художника, юриста великой идеѣ служенія на пользу своего отечества.

Въ этомъ смыслѣ, не много найдется въ нашей литературной исторіи явленій, вызванныхъ такимъ чистымъ патріотизмомъ, какъ критика гоголевскаго періода. Любовь къ благу родины была единственною страстью, которая руководила ею: каждый фактъ искусства цѣнила она по мѣрѣ того, какое значеніе онъ имѣетъ для русской жизни. Эта идея—паеосъ всей ея дѣятельности. Въ этомъ паеосѣ и тайна ея собственного могущества.

Но если дѣятельность человѣка бесплодна и ничтожна, когда не одушевлена высокою идеею, то идея получаетъ цѣнность въ дѣйствительности только тогда, когда въ человѣкѣ, посвящающемъ себя служенію высокой идеѣ, есть достаточныя силы для ея удовлетворительнаго осуществленія. Посмотримъ же, какими силами располагала критика гоголевскаго періода.

Человѣка, который былъ органомъ этой критики, невозможно не признать гениальнымъ. Мы не слишкомъ щедры въ употребленіи этого эпитета: гениальныхъ людей очень мало. Въ людяхъ съ самыми, повидимому, блестящими силами ума оказываются большею частью признаки нѣкоторой ограниченности, не въ томъ, такъ въ другомъ отношеніи. Исключеній очень мало, и въ новой русской литературѣ ихъ не болѣе двухъ: кромѣ указаннаго нами человѣка, Гоголь,—и только. Быть можетъ, Кольцовъ былъ бы третьимъ въ этомъ ряду, если бы прожилъ долѣе или обстоятельства позволили его уму развиться ранѣе. Гениальный человѣкъ производитъ на насъ впечатлѣніе совершенно особеннаго рода, какого не производятъ самые умные, самые даровитые изъ другихъ людей: вы видите въ немъ такой умъ, которому ясны самые трудные вопросы, который даже не понимаетъ, что въ нихъ труднаго; когда онъ говоритъ, и для васъ становится ясно и просто все, — вы дивитесь не тому, что онъ разрѣшилъ вопросъ, а только тому, что вы сами не разрѣшили этого вопроса безъ всякаго труда: вѣдь стоило только

взглянуть на дѣло простыми, вовсе не мудрыми глазами. Вѣдь камень летитъ къ землѣ,—ясно, что земля притягиваетъ его къ себѣ. Вѣдь поставить яйцо на остромъ концѣ—самая простая вещь, надъ которой и думать нечего. Вѣдь каждый глупецъ, кажется, могъ бы знать не хуже Наполеона, что рѣшеніе войны зависитъ отъ сосредоточенія всѣхъ силъ въ главномъ пунктѣ. Вѣдь каждый глупецъ могъ бы, кажется, догадаться, что жизнь есть рядъ перемѣнъ, что все въ мірѣ измѣняется и что одна крайность влечетъ за собою другую; а въ открытіи этихъ истинъ заключается едва ли не главная тайна гегелевской философіи. Необычайная простота, необычайная ясность — удивительнѣйшее качество гениальнаго ума. Но дѣло въ томъ, что онъ берется за существенную сторону вопроса, отъ рѣшенія которой все зависитъ, а изъ всѣхъ вопросовъ опять берется за существеннѣйшій въ дѣлѣ, отъ рѣшенія котораго зависитъ пониманіе остальныхъ вопросовъ, потому-то и ясенъ для него каждый вопросъ, каждое дѣло. Удивительно, подумаешь, какъ и мнѣ и вамъ не случается каждый день дѣлать гениальныхъ открытій: вѣдь, кажется, будь каждый изъ насъ на мѣстѣ Колумба, Ньютона, или Наполеона, у каждаго достало бы ума догадаться о томъ, о чемъ они догадались и за что называютъ ихъ гениальными людьми? Просто, они были люди не безъ здраваго смысла.

И, если хотите, это такъ: гений—просто человѣкъ, который говоритъ и дѣйствуетъ такъ, какъ должно на его мѣстѣ говорить и дѣйствовать человѣку съ здравымъ смысломъ; гений—умъ, развившійся совершенно здоровымъ образомъ, какъ высочайшая красота—форма, развившаяся совершенно здоровымъ образомъ. Если хотите, красотѣ и гению не нужно удивляться; скорѣе надобно было бы дивиться только тому, что совершенная красота и гений такъ рѣдко встрѣчаются между людьми: вѣдь для этого человѣку нужно только развиваться, какъ бы ему всегда слѣдовало развиваться. Непонятно и мудрено заблужденіе и тупоуміе, потому что они неестественны, а гений простъ и понятенъ, какъ истина: вѣдь естественно человѣку видѣть вещи въ ихъ истинномъ видѣ.

Такое впечатлѣніе совершенной простоты и ясности производитъ критика гоголевскаго періода. Она провела въ наше литературное сознаніе самыя простыя истины, нынѣ ясныя, какъ свѣтлый день, для каждаго здравомыслящаго человѣка, значеніе которыхъ очень велико. Итакъ, мы дошли до вопроса о системѣ литератур-

ныхъ возрѣній въ критикѣ гоголевскаго періода и постараемся изложить, по возможности, ясно и точно этотъ предметъ, важнѣйшій въ исторіи нашей литературы: только Гоголь равняется своимъ значеніемъ для общества и литературы значенію автора статей о Пушкинѣ.

Фактъ, столь значительный, какъ критика гоголевскаго періода, не могъ возникнуть внезапно, въ одно прекрасное утро: такъ являются только литературные грибы; не могъ возрасти изъ ничего: такъ надуваются собственно пустотою только литературные мыльные пузыри, которыхъ мы видывали довольно, и которые лопались въ глазахъ насмѣшливо улыбающейся публики, не смотря на всѣ крики своихъ записныхъ поклонниковъ, которые, впрочемъ, на другой же день забывали о ихъ эфемерномъ существованіи. Критика гоголевскаго періода росла долго, прежде нежели достигла своего полного развитія: предшественникомъ «Отечественныхъ Записокъ» былъ «Телескопъ», образователемъ автора статей о Пушкинѣ — покойный Надеждинъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей въ исторіи нашей литературы, человекъ замѣчательнаго ума и учености.

До послѣдняго времени, не было у насъ отдаваемо должной справедливости заслугамъ Надеждина въ наукѣ и литературѣ. Вина эта равно падаетъ и на журналы, по преимуществу называемые литературными, и на специалистовъ. Специалисты слишкомъ мало обращали вниманія на его труды по различнымъ отраслямъ науки; отчасти, быть можетъ, потому, что они были разсѣяны въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ, такъ что трудно было собрать и обозрѣть, какъ одно цѣлое, его статьи, напримѣръ, по русской исторіи или этнографіи, отчасти, потому, что онѣ въ свое время едва ли могли быть поняты и прошли мало замѣченными по тому самому, что были глубокомысленнѣе, того, что требовалось двадцать лѣтъ назадъ. Только тѣ специалисты, которые лично знали Надеждина, всегда думали о немъ, какъ объ ученомъ, у котораго каждый изъ нихъ можетъ учиться, но только думали, а не писали. Въ журналахъ имя Надеждина упоминалось очень рѣдко, да и то развѣ вскользь, и всегда эти бѣглые отзывы были неблагоприятны ему: его считали какимъ-то зоиломъ, бранившимъ дивныя созданія нашей поэзіи, которыхъ не могъ онъ цѣнить по своему безвкусію. Въ прошедшемъ году, нашъ журналъ заговорилъ о немъ иначе.

Излагая исторію развитія понятій о значеніи Пушкина, мы объясняли основанія, по которымъ Надеждинъ, писавшій въ 1828—1831 годахъ подъ псевдонимомъ эксъ-студента Надоумко, произносилъ строгій приговоръ всей тогдашней нашей литературѣ. Это былъ едва ли не первый голосъ въ защиту энергическаго критика, многими забытаго, всѣми другими осуждаемаго. Тогда мы не нашли себѣ товарищей въ дѣлѣ возстановленія доброй славы этого имени. И когда, назавтра тому всего три мѣсяца, во второй статьѣ нашихъ «Очерковъ», мы упоминали о немъ, нашъ голосъ по прежнему оставался единственнымъ, возвышавшимся въ его защиту. Теперь нѣтъ нужды защищать его: смерть явилась печальной возстановительницей общаго уваженія къ нему въ нашей литературѣ: всѣ соединились въ похвалахъ умершему, котораго не чтити при жизни. Прекрасная статья г. Савельева, напечатанная въ № 5-мъ «Русскаго Вѣстника», встрѣчена общимъ одобреніемъ и сочувствіемъ... Жаль только, что хвалы не проникаютъ въ могилы.

Теперь не нужно защищать Надеждина; но похвалы общими фразами недостаточны: надобно опредѣлить его значеніе въ русской литературѣ, показать мѣру заслугъ его наукъ и изящной словесности. Если бы здѣсь должно было представить полную оцѣнку всей его ученой дѣятельности, мы отказались бы отъ такой задачи, превышающей силы наши. По многимъ и разнороднѣйшимъ отраслямъ науки, особенно касающимся Россіи, онъ былъ первымъ нашимъ специалистомъ; по многимъ другимъ, общимъ намъ съ западною Европою, равнялся съ лучшими нѣмецкими или французскими специалистами. Всѣ отрасли нравственно-историческихъ наукъ, отъ философіи до этнографіи, были такъ глубоко изучены имъ, какъ рѣдкому специалисту удастся изучить одну свою частную науку. Этимъ страшнымъ запасомъ знанія располагалъ умъ необыкновенно сильный, свѣтлый и пронизательный, и потому, о чемъ бы онъ ни писалъ, онъ проливалъ новый свѣтъ на предметъ, какой бы науки ни касался, двигалъ ее впередъ. А писалъ онъ обо всемъ, отъ богословія до русской исторіи и этнографіи, отъ философіи до археологіи. Такой многосторонней ученой дѣятельности не можетъ вполне оцѣнить одинъ человекъ. Когда исполнится высказанное многими желаніе, чтобы издано было полное собраніе сочиненій Надеждина, почти каждый изъ нашихъ ученыхъ, чѣмъ бы ни занимался онъ, *найдетъ*, что многіе важные вопросы его специальной науки лучше,

нежели къмъ нибудь у насъ, объяснены Надеждинымъ, и будетъ изучать его труды: тогда одинъ ученый объяснить намъ важность его услугъ богословскихъ наукъ въ Россіи; другой оцѣнить его важные труды по русской исторіи, третій—по археологіи, четвертый—по филологіи, и изъ десяти-двадцати частныхъ характеристикъ составитъ достойный памятникъ его заслугамъ наукѣ въ Россіи.

Мы должны показать значеніе только одной изъ различныхъ сторонъ его ученой дѣятельности, разсмотрѣть, какое вліяніе имѣлъ онъ, какъ критикъ, на развитіе у насъ здравыхъ литературныхъ понятій.

Едва ли кому изъ критиковъ удавалось начать свою литературную карьеру такимъ блестящимъ образомъ, какъ Надеждину. Первая его критическая статья, помѣщенная въ №№ 21-мъ и 22-мъ «Вѣстника Европы» 1828 года, произвела чрезвычайно сильное впечатлѣніе на весь тогдашній литературный міръ. Это были знаменитыя «Литературныя опасенія за будущій годъ». Все въ ней было необычайно, все показалось странно и дико: и греческій эпиграфъ изъ Софокла, и подпись: «Экъ-студентъ Никодимъ Надоумко. Писано между студенства и поступленія на службу. Ноября 22, 1828. На патріаршихъ Прудахъ»,—и діалогическая форма: статья начинается довольно длиннымъ вступленіемъ въ повѣствовательномъ родѣ, разговоромъ, какъ экъ-студентъ Никодимъ Аристарховичъ Надоумко, въ своей одинокой каморкѣ, на Патріаршихъ Прудахъ, размышляя о наступающемъ новомъ годѣ, какъ влетѣлъ въ эту каморку его знакомецъ, записной поэтъ Тлѣнскій, осыпавъ его брызгами съ опущеннаго снѣгомъ воротника шубы и какъ завязался между Тлѣнскимъ и экъ-студентомъ разговоръ о литературѣ. На вопросъ о здоровьѣ, хозяинъ шутливо отвѣчалъ: «Слава Эскулапу!»—Тлѣнскій не зналъ, кто такой Эскулапъ и, узнавъ, что это «эпидаврскій грекъ», началъ упрекать экъ-студента, что онъ все бредитъ греками, перетряхаетъ старинную труху, не обращая вниманія «на новый міръ дивныхъ чудесъ нашей поэзіи», на что хозяинъ отвѣчаетъ, что эти чудеса ему кажутся просто «озорными чудищами», по выраженію Тредьяковскаго. Необычайна была и вся внѣшность статьи, наполненной латинскими фразами, латинскими, нѣмецкими и англійскими стихами, усѣянной упоминаніями объ извѣстныхъ и малоизвѣстныхъ историческихъ именахъ и фактахъ,

проникнутой стремленіемъ къ невѣдомому тогда у насъ юмору. Но нелѣпѣ всего показалось самое направленіе статьи: въ ней доказывалось, что блестящая, повидимому, тогдашняя литература наша въ сущности представляетъ очень мало утѣшительнаго; что лучшіе наши тогдашніе поэты не выдерживаютъ критики, потому что таланты ихъ не развиты ни образованіемъ, ни жизнью, такъ что сами они не знаютъ, какъ, что, зачѣмъ и почему они пишутъ: доказывалось, что ихъ прославленные поэмы состоятъ изъ безсвязныхъ, сшитыхъ бѣлыми нитками клочковъ; что ихъ содержаніе не прочувствовано, потому фальшиво и пусто; что поэты наши не понимаютъ Байрона, которому подражаютъ, уродуютъ заимствованные изъ него мысли и характеры, и т. д. Все это было высказано чрезвычайно рѣзко, съ безчисленными, самыми ясными и очень дерзкими намеками на поэмы Пушкина и критическіе панегирики имъ въ «Телеграфѣ» Полеваго.

Намъ, привыкшимъ видѣть въ печати самыя рѣзкіе отзывы о наиболѣе уважаемыхъ нами писателяхъ, привыкшимъ хотя до нѣкоторой степени къ терпимости относительно мнѣній, несходныхъ съ нашими, трудно себѣ вообразить, какъ великъ былъ скандалъ, надѣланный этою статьею. Крики негодованія раздались противъ нея отовсюду; она была осыпана бранью, еще болѣе рѣзкою, нежели сама статья. Никодимъ Надоумко былъ не такой человекъ, котораго легко было запугать или переспорить: на выходки противъ его статьи отвѣчалъ онъ въ томъ же тонѣ и продолжалъ печатать въ «Вѣстникѣ Европы» одну статью за другой: въ первыхъ же книжкахъ 1829 года явились разборы поэмы Баратынскаго «Балъ» и Пушкина «Графъ Нулинъ» и статья «Сонмище Нигилистовъ» (Полевой, Пушкинъ и проч.), потомъ разборъ поэмы Подолинскаго «Борскій», «Полтавы» Пушкина, и рядъ этихъ частныхъ нападеній въ 1829 году завершился общею атакою въ статьѣ «Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ». Въ 1830 году продолжалась битва статьями «О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи», о русской исторіи Полеваго, о поэмѣ Подолинскаго «Нищій», о VII-й главѣ «Евгенія Онѣгина» *). Всѣ онѣ (кромя послѣдней,

*) Кроме полемическихъ, въ „Вѣстникѣ Европы“ есть еще чисто учебныя статьи Надеждина „О Высокомъ“ и „Платонъ“ Мы называемъ только важнѣйшія и обширнѣйшія статьи изъ помѣщенныхъ Надеждинымъ въ

писанной въ защиту Пушкина отъ нелѣпыхъ нападеній со стороны прежнихъ его льстецовъ), и по внѣшней формѣ, и по тону, и по духу, точно таковы же, какъ «Литературныя Опасенія»: Надеждинъ, опираясь на эстетическія начала, ищетъ, есть ли высшія художественныя достоинства въ разбираемыхъ имъ поемахъ, и находить, что въ нихъ нѣтъ ни тѣни художественнаго единства, нѣтъ идеи, нѣтъ лицъ, которыя были бы ясно поняты самимъ авторомъ, нѣтъ выдержанныхъ характеровъ, наконецъ нѣтъ и дѣйствія,—все безсвязно, наполнено промахами противъ природы и условій искусства, все вяло, блѣдно, натянуто и холодно, не смотря на кажущійся блескъ и жаръ: этотъ блескъ и жаръ искусственный, поддѣльный и потому фальшивъ. Чтобы дать читателямъ понятіе объ этихъ замѣчательныхъ статьяхъ, отъ которыхъ, по выраженію Надоумко, сыры боры загорѣлись въ нашей литературѣ, приведемъ нѣсколько отрывковъ изъ двухъ или трехъ.

Главные мѣста изъ первой статьи Надоумко «Литературныя Опасенія» были уже приведены въ нашемъ журналѣ («Совр.» 1855 г., № VII, Критика). Смыслъ ихъ мы представили выше; потому перейдемъ къ слѣдующимъ разборамъ знаменитыхъ тогда поэмъ и, не желая безъ крайней необходимости касаться нападеній на Пушкина, уважаемого нами не менѣе, нежели кѣмъ бы то ни было, взглянемъ на разборы поэмъ Баратынскаго «Баль» и Подолинскаго «Борскій». Первый начинается такъ:

«Напрасно восклицаютъ брюзгливые старики, что міръ старѣется. Они судятъ по себѣ и думаютъ, что когда сами подвигаются впередъ, то и все туда же за ними движется. Ничего не бывало! Міръ идетъ совершенно обратною дорогою: чѣмъ долѣе онъ живетъ, тѣмъ болѣе молодится. Оглянитесь хоть на минутку назадъ: что вы тамъ увидите? Сѣдую древность, коей старушечье чело изрыто глубокими браздами суроваго размышленія и строгой отчетливости. Это

„Вѣстникъ Европы“, не упоминая о многихъ другихъ, отчасти не отмѣченныхъ его подписью. Если бы кому нибудь вдумалось напечатать полный списокъ всего, что помѣщено было Надеждинымъ въ этомъ и другихъ журналахъ до 1831 года, когда начался „Телескопъ“, мы могли бы сообщить нѣкоторыя соображенія относительно анонимныхъ статей Надеждина. Что касается статей, писанныхъ имъ для „Телескопа“, сомнѣнія, остающіяся у насъ относительно многихъ рецензій, особенно въ первыхъ трехъ годахъ этого изданія, вѣроятно, могли бы быть разрѣшены положительнымъ указаніемъ лицъ, бывшихъ тогда близкими къ этому журналу или его издателю, изъ нихъ назовемъ М. П. Погодина.

страшилище, коимъ можно только пугать настоящее цвѣтущее время дѣтской шаловливости! У насъ нынѣ живутъ, дѣйствуютъ, абонируются на славу и бессмертіе, не потѣя, по старинному, въ тяжелыхъ и бесполезныхъ трудахъ *), а попросту, припѣваючи. Оттого и произведенія настоящаго времени отличаются не стародавнюю грубостью, прочностью и полновѣсностью, а ээирною легкостью и миниатюрностью. Посмотрите на настоящія явленія книжнаго міра: это не книги, а книжечки, или, лучше сказать, книжончки, въ собственнѣйшемъ смыслѣ слова! Печать, чернила, бумага, обертка—заглядѣнье! Форматъ умѣстится въ самомъ маленькомъ дамскомъ работномъ ящичкѣ; толщина не утомитъ самыхъ нѣжныхъ, бѣленькихъ ручекъ; содержаніе—не затруднитъ ни одною мыслию самой вѣтренной и рѣзвой головки!

Въ старину—продолжаетъ Надоумко—разборы начинались опредѣленіемъ, къ какому роду относится произведеніе. Это нынѣ было бы совершенно неумѣстнымъ педантизмомъ: наши геніи пустились въ погоню за славой, какъ рьяный конь въ баснѣ Крылова, закусивъ узду,

. Не взвидя свѣта, ни дорогъ,

и смѣшно измѣрять циркулемъ бурный бѣгъ ихъ. «Произведенія подобныхъ геніевъ всегда бывають изъ ряду вонъ». Также смѣшно было бѣ искать въ нихъ «идеи, которая составляла бы ихъ эстетическую душу; это значило бы искать порожняго мѣста. Сотни Пигмалионовъ самыми жарчайшими лобзаніями не могли бы пробудить малѣйшей жизненной искорки въ этихъ разряженныхъ куколкахъ». Да и къ чему искать въ нашихъ поэмахъ идеи? «Статочное ли налагать на поэта тяжкую обязанность говорить *о чемъ нибудь?*»—у насъ говорятъ *ни о чемъ*. «У насъ главный законъ: пиши, пока пишется, не размышляя о томъ, что пишется. Чѣмъ менѣе холоднаго смысла, тѣмъ огненнѣе поэзія». Можно вообразить, каково продолженіе разбора, начинающагося подобнымъ образомъ. Язвительно восхищаясь въ поэмѣ всѣмъ, Надоумко обнаруживаетъ, что все въ ней фальшиво, натянуто и неправдоподобно: и сдѣленіе событій, и характеры, и разговоры. Вотъ одинъ примѣръ: повѣсть состоитъ въ томъ, что княгиня Нина, женщина страстная до наглости, до совершеннаго презрѣнія къ мнѣнію свѣта, съ улыбкою мѣняющая своихъ любовниковъ, которую поэтъ изображаетъ такъ:

Въ ней жаръ упившейся вакханки,

любитъ Арсенія, который, «нося на челѣ»

*) Т. е. не трудясь надъ собственнымъ образованіемъ и не думая о томъ что поэтъ долженъ глубоко изучать жизнь и людей.

Слѣды мучительныхъ страстей,
Слѣды печальныхъ размышлений,

любить, въ свою очередь, Олиньку, которая описывается имъ самимъ такъ:

..... Жеманная дѣвчонка,
Со сладкой глупостью въ глазахъ.

Нина адски ревнуетъ Арсенія и отравляетъ себя ядомъ, когда онъ женится на Олинькѣ. Кто не видитъ, какое широкое полѣ насмѣшекъ дается этимъ сплеленіемъ неправдоподобныхъ событій и каррикатурныхъ снимковъ съ непонятыхъ героевъ и героинь Байрона?

Вотъ какъ рассказываетъ Надоумко содержаніе «Борскаго». Народныя сказки, созданныя простодушными нашими пращѣдами—говорить онъ, — отличаются въ рассказѣ событій спокойствіемъ и обыкновенно кончаются поговоркою: «Стали жить да поживать, да добра наживать». Нынѣшнія такъ называемыя романтическія поэмь не таковы:

„Нѣтъ ни одной изъ нихъ, которая бы не гремѣла проклятіями, не корчилась судорожно, не заговаривалась во снѣ и наяву и кончилась бы не смертоубійствомъ. Душегубство есть любимая тема нынѣшней поэзіи, разыгрываемая въ безчисленныхъ вариацияхъ: рѣзанья, стрѣлянья, утопленничества, давки, заморозенья. Самый изобрѣтательнѣйшій инквизиторъ вѣка Филиппа II подивился бы неистощимому разнообразію убійствъ и самоубійствъ, измышляемыхъ настоящими гениями въ услажденіе и назиданіе наше. Сей поэтической кровожадности не чуждъ и „Борскій“. Содержаніе его есть слѣдующее: Владиміръ Борскій любитъ Елену, происходящую изъ рода, враждебнаго и ненавистнаго Борскимъ. Отецъ Владиміровъ не благославляетъ страсти сей, и несчастный три года скитается по Европѣ съ безнадежно болящей душой. Возвратясь домой, онъ не застаётъ въ живыхъ отца, но получаетъ изъ рукъ священника, присутствовавшаго при его кончинѣ, завѣщаніе, заключающее въ себѣ прошеніе Владиміру, если онъ не будетъ мыслить объ Еленѣ, и—проклятіе, если послѣдняя воля отца не будетъ для него священна. Владиміръ не можетъ противиться искушенію любви, распаленной увѣренностью въ ненарушимой Елениной вѣрности. Онъ женится; но въ самый часъ вѣнчанія совѣсть пробуждается въ груди виновнаго. Онъ смущается, трепещетъ, съ мрачнымъ безчувствіемъ отвѣчаетъ на первое дозваніе юной супруги, и—Елена съ перваго дня брака разочарована. Она преслѣдуетъ своими подозрѣніями Владиміра, и въ омраченномъ сердцѣ его на подозрѣнія отъливаются подозрѣнія. Въ одну несчастную ночь, когда сонъ бѣжалъ отъ возмущеннаго ревностью Владиміра, Елена

..... вдругъ встаетъ,
Какъ призракъ въ сумракѣ проходитъ

И тихо стала у окна.
 Все видит Борскій; онъ не сводить
 Съ нея дозорливыхъ очей,
 Онъ притаился, онъ чуть дышитъ,—
 Вотъ слышитъ шопоть—и яснѣй;
 Потомъ Елены голосъ слышитъ:
 „Мой другъ! постой! постой! побудь
 „Со мной еще одно мгновенье!
 „Позволь прижать уста и грудь
 „Въ послѣдній разъ!.. Мое моленье
 „Ты отвергаешь... ты молчишь!
 „Жестокій! стой! куда бѣжишь?
 „Я за тобой готова всюду;
 „Какая бъ ни была страна,
 „Тебя преслѣдовать я буду!“

Владиміръ, испуганный, бросается на свою жертву. По несчастію, мѣсяцъ освѣтилъ висящій надъ нимъ кинжалъ:

„Стой!“ грянулъ голосъ.—Стой! не далѣ!“
 И вотъ свергнуло лезвее,
 И кровь Елены на кинжалѣ,
 И рана въ сердцѣ у нее!

Убийца вторгается въ хижину священника, прерываетъ его благочестивыя размышленія на мирномъ ложѣ и получаетъ отъ него извѣщеніе ужаснѣйшей тайны:

..... Твоя жена
 Невинна! знай: она была
 Лунатикъ!

Всѣ, конечно, ахнутъ, всѣ воскликнутъ вмѣстѣ съ Борскимъ:

..... Лунатикъ!..

И мы должны будемъ, пожавъ плечами, повторить отвѣтъ священника:

..... Знаемъ,
 Ударъ жестокой совершаемъ;
 Но мы не лжемъ—свидѣтель Богъ!

Мудрено ли послѣ того, что Владимира нашли подъ снѣгомъ, замерзшаго у могилы Елены?... У кого не застынетъ и среди жаркаго лѣта кровь въ жилахъ при столь ужасной катастрофѣ? Зарѣзать добрую жену — ни за что, ни про что!..

Мы потому приводимъ содержаніе этихъ поэмъ, что нынѣ онѣ забыты: немногія нынѣ перечитываютъ «Эду», «Валь», «Налож-

ницу», «Чернеца», «Наталью Долгорукую», «Борскаго», «Нищаго». Авторъ статей о Пушкинѣ, лѣтъ уже двѣнадцать тому назадъ, утверждалъ, будто бы нѣтъ возможности безъ крайней необходимости перечитать даже «Руслана», «Кавказскаго Плѣнника» и проч. А, между тѣмъ, до сихъ поръ о Надоумѣ говорили, какъ о скиѣ, какъ вандалѣ, безъ вкуса, безъ совѣсти, даже безъ таланта писать умно, и взвалили на него всѣ эти обвиненія за то, что не говорилъ съ благоговѣніемъ о художественныхъ красотахъ «Борскаго», «Нищаго», «Наложницы» и т. д., и т. д. Послѣ приведенныхъ нами выписокъ, большая часть изъ нашихъ читателей, вѣроятно, не будутъ сомнѣваться, что Надоумко зналъ, за что и почему онъ осуждаетъ эти поэмы, зналъ, на какія стороны поэтическаго произведенія надобно обращать вниманіе, чтобы рѣшить, выдерживаетъ ли оно эстетическую критику, понималъ, въ чемъ состоитъ художественная красота. На всякій случай, помѣщаемъ въ приложеніи существенныя мѣста изъ статей о «Борскомъ». Намъ пора хладнокровно судить о дѣлахъ, отъ которыхъ мы отдѣлены двадцатью- семью годами, и о столкновеніяхъ между людьми, мнѣнія которыхъ давно примилены, споры давно кончены. Величіе Пушкина не въ томъ, что онъ былъ равенъ Байрону или похожъ на этого мизантропа, страдающаго отъ любви къ людямъ; мы знаемъ теперь, что Байронъ былъ бы у насъ тогда невозможенъ и бесполезенъ, потому что не былъ бы понятъ ни публикою, ни даже даровитѣйшими литераторами. У Пушкина есть другія качества, другія великія заслуги. И, кажется, давно пора намъ прекратить свое негодованіе на Надеждина за то, что онъ замѣтилъ рѣшительное несходство между этими великими поэтами, въ самомъ дѣлѣ немало не похожими другъ на друга. Пора намъ перестать негодовать на Надеждина и за то, что онъ разоблачилъ бѣдность нашей тогдашней литературы: во-первыхъ, теперь литература у насъ достигла большаго развитія, отчасти благодаря его справедливымъ указаніямъ на лживость того, чѣмъ такъ обольщались, — слѣдовательно, намъ нечего обижаться его словами, которыя теперь уже не прилагаются къ намъ вполне, какъ прилагались тогда; во-вторыхъ, и это всего важнѣе, въ сущности высказывалъ онъ правду. Говоря просто и коротко, Надеждинъ сдѣлалъ относительно пушкинскаго періода нашей литературы то же, что критики романтическаго направленія, изъ которыхъ послѣднимъ и важнѣйшимъ былъ

Полевой, сдѣлали относительно предъидущаго періода: подвергъ его строгой критикѣ и тѣмъ приготовилъ возможность дальнѣйшаго литературнаго развитія для нашей публики. То и другое дѣло были одинаково законны и необходимы; то и другое равно даютъ право на нашу признательность тѣмъ людямъ, силами которыхъ были они совершены. То и другое одинаково возбудило вопли негодованія со стороны людей, которые не могли возвыситься до пониманія новыхъ идей.

Но зачѣмъ Надоумко говорилъ такимъ жесткимъ тономъ? Развѣ не могъ онъ высказать то же самое въ мягкихъ формахъ? Удивительное дѣло — наши литературныя да и всякія другія понятія. Вѣчно предлагаются вопросы, почему земледѣлецъ пашетъ поле грубымъ желѣзнымъ плугомъ или сошникомъ! Да чѣмъ же иначе можно вспахать плодородную, но тяжелую на подъемъ почву? Уже ли можно не понимать, что безъ войны не рѣшается ни одинъ важный вопросъ, а война ведется огнемъ и мечемъ, а не дипломатическими фразами, которыя умѣстны только тогда, когда цѣль борьбы, вѣденной оружіемъ, достигнута? Беззаконно нападать только на безоружнаго и беззащитнаго, на старцевъ и калѣкъ; а поэты и литераторы, противъ которыхъ выступилъ Надеждинъ, были не таковы: они были люди сильные и умѣвшіе владѣть оружіемъ. За нападенія ему заплатятъ нападеніями, по крайней мѣрѣ, не менѣе жесткими.

Полемика, возбужденная статьями Надоумко, составляетъ едва ли не важнѣйшій эпизодъ этого рода въ исторіи всего пушкинскаго періода. Всѣ журналы, кромѣ «Атеней», не посѣщаемаго никѣмъ, почти всѣ альманахи единодушно ополчились противъ «Вѣстника Европы». Всѣ затронутые Надеждинымъ литераторы соединились противъ его статей. «Московскій Телеграфъ» и «Сѣверные Цвѣты» были главными дѣйствующими въ этой борьбѣ за собственную честь и жизнь. Пушкинъ и Полевой были предводителями нападающихъ. Оставляя безъ вниманія многихъ бойцовъ, не достойныхъ памяти, сосредоточимъ вниманіе на подвигахъ, совершенныхъ этими главными и ихъ сподвижниками.

Первымъ, какъ и слѣдовало ожидать, вышелъ на дерзкій вызовъ Полевой. На него Надоумко нападалъ съ перваго раза еще прямо *и жестоко, нежели на Пушкина*. Всѣ насмѣшки надъ тѣмъ, что у насъ *не понимаютъ пустоты и бѣдности нашей литературы, напротивъ,*

называютъ нашихъ поэтовъ Байронами, относились прямо къ нему, главѣ тогдашней журналистики. Онъ не замедлилъ отвѣтомъ: въ первомъ же номерѣ «Телеграфа», вышедшемъ послѣ той книжки «Вѣстника Европы», гдѣ находилось начало первой статьи Надеждина («Литературныя Опасенія за будущій годъ»), онъ помѣстилъ очень хорошо и ѣдко написанную тираду, въ которой, впрочемъ, говорилось болѣе о редакторѣ «Вѣстника Европы», Каченовскомъ, нежели о статьѣ Надоумко или ея авторѣ. Надеждинъ отвѣчалъ на его возраженія также ѣдко. Онъ могъ отвѣчать, потому что сознавалъ свою силу. Но Каченовскій вздумалъ для своей защиты прибѣгнуть не къ обыкновенному литературному оружію, а къ странному и вовсе непохвальному средству и объявилъ объ этомъ въ примѣчаніи къ возраженіямъ Надоумки на статейку «Телеграфа». Разумѣется, дѣло кончилось къ его собственному стыду, рѣшительною неудачею. Тогда то градомъ посыпались на него, и справедливо, насмѣшки и упреки со всѣхъ сторонъ. Полевой напечаталъ длинную статью «Литературныя Опасенія за кое-что», въ которой была подробно просмотрѣна вся его литературная и ученая дѣятельность, и доказано, что его произведенія, до той поры (1829) напечатанныя, ни числомъ своимъ, ни тѣмъ болѣе качествами, вовсе не оправдываютъ громкой извѣстности, которою онъ пользуется. Самъ Пушкинъ помѣстилъ въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» превосходно написанную статью, въ которой изложилъ приключеніе Каченовскаго въ самомъ смѣшномъ видѣ. Такъ какъ эта статья не вошла ни въ изданіе Пушкина, сдѣланное г. Анненковымъ, ни въ прежнее изданіе, то мы въ приложеніи II сообщаемъ ее читателямъ, окруживъ, для большей ясности, другими отрывками, касающимися этого случая. Эпиграммы, ѣдкія статьи и статейки сыпались на «Вѣстникъ Европы» со всѣхъ сторонъ, сначала преимущественно падая на редактора, но вскорѣ еще въ гораздо большемъ количествѣ и на автора статей, когда всѣ увидѣли, что Надоумко не просто прислужникъ Каченовскаго, а самостоятельное лицо, которому нельзя зажать ротъ, нападая на Каченовскаго. Всѣ знаменитѣйшія эпиграммы Пушкина написаны по этому случаю. Изъ нихъ большая часть еще направлены на Каченовскаго и вообще на его журналъ, прямо не касаясь эксъ-студента, потому что, когда другіе обратили на него главное вниманіе, Пушкинъ уже пересталъ писать эпиграммы по поводу статей Надоумки, увидѣвъ своего славнѣйшаго

защитника въ томъ, кого считалъ злѣйшимъ врагомъ.—По случаю статей Надоумки явилось и «Собраніе Насѣкомыхъ», въ которомъ стихи:

Вотъ **** злой паукъ,

надобно читать:

Вотъ Каченовскій, злой паукъ.

и «Литературное Извѣстіе» (въ самомъ заглавіи показано отношеніе къ «Литературнымъ Опасеніямъ»).

Въ Элизіи Василій Тредьяковскій
 (Преострый мужъ, достойный много хвалъ)
 Съ усердіемъ принялся за журналъ.
 Въ сотрудники самъ вызвался Поповскій,
 Свои статьи Елагинъ общалъ;
 Кургановъ самъ надъ критикой хлопочеть:
 Влещуть умомъ «Письмовникъ» снова хочеть,
 И, говорятъ, на дняхъ они начнутъ,
 Благословясь, сей преполезный трудъ,—
 И только ждетъ Василій Тредьяковскій,
 Чтобъ подоспѣлъ Михайло **** (*Каченовскій*).

Къ нему относится также эпиграмма, написанная по поводу того что въ одной изъ статей «Русскаго Вѣстника» было упомянуто о предъидущихъ эпиграммахъ, какъ о «камешкахъ, которыми Пушкинъ бросаетъ въ людей, говорящихъ ему правду».

Какъ сатирой безъимянной
 Ликъ Зоила я пятналъ,
 Признаюсь, на вызовъ бранный
 Возраженій я не ждалъ.
 Справедливы ль эти слухи?
 Отвѣчалъ онъ? Точно ль такъ?
 Въ полученіи ошлеухи
 Расписался мой дуракъ?

Кромѣ того, еще одна приведена нами въ приложеніи II. Къ этимъ четыремъ, вошедшимъ въ «Полное Собраніе Сочиненій Пушкина», прибавимъ пятую, не вошедшую въ него и уже приведенную нами въ № VII «Современника» прошедшаго года:

Тамъ, гдѣ древній Кочерговскій
 Подъ Роленомъ опочилъ,
 Дней новѣйшихъ Тредьяковскій
 Колдовалъ и ворожилъ.

Дурень къ солнцу ставъ спиною,
 Подъ холодный „Вѣстникъ“ свой
 Прыскалъ мертвою водою,
 Прыскалъ живицу живою.

Читателю извѣстно, что Каченовскій вздумалъ попробовать, нельзя ли русскую ореографію приучить къ соблюденію въ греческихъ словахъ буквъ греческой ореографіи, какъ соблюдается она въ западныхъ языкахъ; потому онъ писалъ въ «Вѣстникѣ Европы»: енеусіасмъ, Евгений, политика и проч. Противъ самого Надоумки написана «Притча»:

Картину разъ высматривалъ сапожникъ и т. д.

имѣющая въ рукописи, по замѣчанію г. Анненкова, эпиграфъ: «По всему видно, что онъ семинаристъ» (не приводимъ ея вполнѣ, потому что напечатана была она ужъ много лѣтъ спустя послѣ того, какъ написана), и другая:

Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ.
 «Охота есть, да мало мозгу.
 А сколько лѣтъ ему?» вопросъ.
 — Пятнадцать. «Только-то? Эй, розгу!»
 За симъ принесъ семинаристъ
 Тетрадь лакейскихъ диссертаций,
 И Фебу вслухъ прочелъ Горацій,
 Кусая губы, первый листъ.
 Отяжелѣвъ, какъ отъ дурмана,
 Сердито Фебъ его прервалъ
 И тотчасъ взрослога болвана
 Поставить въ палки приказалъ.

Горацій, а не кто другой, читаетъ «лакейскія диссертациі болвана-семинариста» не для одной рюмки, а потому, что Надоумко очень часто цитовалъ Горація. А самая эпиграмма возникла изъ извѣстной эпиграммы Василья Львовича, дяди Пушкина:

Какой-то стихотворъ (довольно ихъ у насъ), и проч.

по тому случаю, что въ первой статьѣ Надоумки о «Полтавѣ» есть слѣдующее мѣсто: Флюгеровскій (романтикъ) говоритъ, что Пушкинъ—геній. Незнакомецъ-старикъ, въ словахъ котораго излагаются собственныя мысли автора, говоритъ, что признаетъ Пушкина геніемъ тогда, когда онъ создаетъ что нибудь истинно великое, а теперь въ немъ видѣнъ только огромный талантъ. Недоумко спрашиваетъ его: неужели же ошибается «Сынъ Отечества»:

..Тамъ напечатано, помнится такъ: „Сомнѣваюсь, чтобы между явными противниками Пушкина были такіе которые бы не сознались, что онъ гений. Пушкинъ началъ писать въ такихъ лѣтахъ, когда невозможно дѣлать усилій, чтобы быть стихотворцемъ“. Что вы на это скажете?

Незнакомецъ. То, что сей наборъ словъ едва ли понятенъ самому тому, съ чьего пера онъ стекъ. Начать писать слишкомъ рано — еще не признакъ генія. Въ противномъ случаѣ, пятнадцатилѣтній юноша, котораго исторію разсказалъ такъ забавно почтеннѣйшій дядюшка обсуживаемаго нами теперь поэта (*въ примѣчаніи прибавлено: Незнакомецъ, вѣроятно, разумѣлъ прекрасную басню В. Л. Пушкина, къ коей Аполлонъ вершить судъ свой надъ однимъ пятнадцатилѣтнимъ поэтомъ*), былъ бы, по всѣмъ признакамъ—гений.

Это самая грубая изъ всѣхъ выходокъ Надоумки, относящихся къ Пушкину, и мы вовсе не хотимъ доказывать, что она деликатна. Мы хотимъ только дать читателю сравнить, въ чьихъ словахъ больше жесткости—въ словахъ ли критика, или въ словахъ поэта. Но другой такой выходки на Пушкина мы не найдемъ у Надоумки, и едва ли можно сказать, чтобы въ полемикѣ своей противъ Пушкина онъ, кромѣ этого случая, переступалъ границы, возлагаемыя—не говоримъ: тогдашними, но и нынѣшними понятіями о литературныхъ приличіяхъ.

Всѣ были душевно возмущены статьями Надоумки, какъ мы сказали, и даже «почтеннѣйшій дядюшка» Василій Львовичъ почелъ своею обязанностью написать, по случаю, о которомъ мы упоминали, стихотвореніе, въ оправданіе себя отъ возведеннаго на него соумышленничества съ Надоумкою и въ защиту обижаемаго племянника.

Посмотримъ теперь, какъ возставалъ противъ Надеждина другой, сильнѣйшій тогда послѣ Пушкина человекъ, Н. А. Полевой, журналъ котораго былъ единственнымъ, имѣвшимъ серьезное вліяніе на публику.

Въ приложеніи II у насъ вполнѣ приведены изъ статьи «Телеграфа» по поводу «Литературныхъ Опасеній» всѣ замѣчанія, прямо относящіяся къ Надоумкѣ. Онъ опровергъ ихъ совершенно, наговоривъ новыхъ колкостей и разоблачивъ нѣсколько промаховъ «Телеграфа». «Телеграфъ» обѣщалъ дать о «Литературныхъ Опасеніяхъ за будущій годъ» особенную подробную статью; но она не являлась. Только во второй, подробнѣйшей статьѣ «Телеграфа» противъ Каченовскаго, которой, въ насмѣшку надъ статью Надоумки, дано было заглавіе «Литературныя Опасенія за кое-что» (то-есть за уче-

ную славу редактора «Вѣстника Европы»), выведенъ былъ «Желтякъ» (житель желтаго дома, сумасшедшій), который усиливался защищать ученые труды Каченовскаго и говорилъ фразами Надоумки, но принужденъ былъ соглашаться, что Каченовскій—самый плохой ученый. Греческій эпиграфъ къ этой статьѣ былъ также насмѣшкою надъ Надоумкой. Но тѣмъ и ограничились опроверженія, которыми ему грозили. Долго послѣ того, несмотря на множество жестокихъ нападеній отъ него на Полеваго, полемикъ противъ него не было посвящено и нѣсколькихъ строкъ къ ряду. Всѣ возраженія ему ограничивались тѣмъ, что довольно часто имя Надоумки презрительно упоминалось кстати, когда дѣло шло о какихъ нибудь бездарныхъ писакахъ или оскорбителяхъ, которые не достойны отвѣта. Чему приписать такую скромность? Во-первыхъ, скажемъ къ великой чести Н. А. Полеваго, тому, что онъ не любилъ полемики: онъ прибѣгалъ къ ней только въ рѣдкихъ случаяхъ и только по необходимости. Другою причиною было дѣйствительное презрѣнiе къ такому безсильному врагу, какъ «Вѣстникъ Европы»: этотъ журналъ имѣлъ самую жалкую репутацію въ публикѣ и едва ли имѣлъ читателей на бѣломъ свѣтѣ. Мы сдѣлаемъ читателю вопросъ можно ли предполагать еще третью причину того, что Полевой такъ долго не возражалъ Надеждину, когда увидимъ характеръ возраженій, сдѣланныхъ ему «Телеграфомъ» впоследствии времени. Болѣе полугода прошло такимъ образомъ безъ отвѣта Надоумѣ. Наконецъ явилось замѣчаніе о стихахъ, помѣщенныхъ Надеждинымъ въ «Русскомъ Зрителѣ» *) съ полной подписью его имени. Кто такой этотъ Н. И. Надеждинъ?—спрашивала рецензія. Никому не извѣстно, чтобы существовалъ такой писатель. Мы спрашивали о немъ—никто не могъ отвѣчать. «Одинъ литераторъ утверждалъ что имя Н. И. Надеждинъ должно быть псевдонимическое, и стихи, вѣроятно, заимствованы изъ ненапечатанныхъ до нынѣ бумагъ покойнаго профессора элоквенціи В. К. Тредьяковскаго, а не сочинены въ наше время. Кто когда либо кромѣ Тредьяковскаго писалъ такіе стихи? Кто, особенно въ наше время, станетъ писать такіе стихи?» Потомъ опять встрѣчаются только бѣглыя упомина-

*) Въ первые два или три года своей литературной дѣятельности Надеждинъ печаталъ довольно много стиховъ. Направленіе въ нихъ было *шиллеровское*; художественная сторона, дѣйствительно, слаба.

нія о жалкомъ зоицѣ Надоумкѣ. Еще черезъ полгода былъ помѣщенъ довольно большой разборъ отрывка изъ его готовившейся къ изданію диссертациі о романтической поэзіи. Разборъ носилъ заглавіе «Литературные Прииски» и объявлялъ, что всѣ основныя мысли диссертациі похищены у Аста и Штуцмана, что было подтверждено обширною выпискою изъ послѣдняго философа. Наконецъ явилась самая диссертациія (на латинскомъ языкѣ), и Н. А. Полевой написалъ ея разборъ, памятный въ исторіи нашей полемики по остроумію и чрезвычайной рѣзкости. Латинская диссертациія Надеждина разбирается вмѣстѣ съ полуграмотною книжкою: «О трагедіи грековъ, французовъ и романтиковъ. Сочиненіе белебѣвскаго уѣзднаго землемѣра Виктора-Фомы Товарицкаго», и начинается благодарностью Товарицкому «за его шутку, весьма милую и острую»,—Полевой называетъ книжку Товарицкаго пародією на сочиненіе Надеждина, котораго считаютъ защитникомъ классицизма; но, говоритъ Полевой, въ пародіи остроумнаго белебѣвскаго землемѣра упущена изъ виду отличительная черта русскихъ классиковъ: она состоитъ въ томъ, что «все прильнуло къ нимъ снаружи, что ихъ мнѣнія, будучи не слѣдствіемъ внутренняго убѣжденія, не собственной (хотя неправильно развитой) мысли, представляютъ нелѣпую смѣсь, разнородную, странную сложность противорѣчій, лишенную всякой формы и всякихъ приличій».

„Русскій классикъ долженъ, во-первыхъ, уграсть что нибудь у нѣмцевъ французовъ, англичанъ, перевертъ это и потомъ утверждать что нибудь самое нелѣпое, самое пошлое, передъ чѣмъ лагарповы, баттёвы, бауръ-лорміановы сужденія казались бы солнцемъ свѣтозарнымъ, во-вторыхъ, онъ долженъ цитоваться, особенно латинью (если же можно, по гречески: это еще лучше) и засыпать свои доказательства фразами, нахватаанными изъ Горациа, Лукана, Буало, Блера и проч.; третье—и самое важнѣйшее—онъ долженъ громко вопіять о развратѣ, о погибели вкуса, долженъ искусно соединять съ этимъ мысль, что романтизмъ есть то же, что атеизмъ, шеллингизмъ, либерализмъ, терроризмъ, чадо безвѣрія и революціи; долженъ сильно вопіять о славіи Державина, Ломоносова, Хераскова, Поповскаго, Кострова, Петрова, Майкова. Къ этому надобно съ горечью прибавить, что нынѣ пишутъ разбойничьи поэмы, а не гремятъ торжественными одами. Тутъ должно исчислить наши побѣды въ которыхъ, разумѣется, классикъ столько же участвовалъ душою и тѣломъ, сколько онъ понимаетъ что говорить. Въ заключеніе, четвертое, надобно какъ можно надутѣе заговорить о славіи Россіи вообще, о возвышеніи нашемъ надъ *всѣми народами*, о величіи предковъ, о просвѣщеніи Россіи при Ярославіи и

Мономахъ, о Баявъ, о Петръ Могилъ, „Словъ о Полку Игоревомъ“, Сильвестръ Кулябкѣ, яко доводахъ нашей славы“.

«Если бы г. уѣздный белебѣвскій землемѣръ написалъ свою пародію по этой программѣ (продолжаетъ Полевой), она еще ближе подходила бы къ нашимъ классическимъ диссертациямъ. И пусть не думаютъ читатели, что на классиковъ взводится небывальщина: диссертация Надеждина—свѣжее доказательство, что разсужденія ихъ дѣйствительно таковы, какъ предписываетъ эта программа. Опровергать Надеждина не стоитъ: что смѣшно, то опасно».

„Вотъ основаніе этой диссертации, годной въ кунсткамеру литературныхъ рѣдкостей: г. Надеждинъ начиталъ гдѣ-то, что донныя поэзія бывала первобытная, классическая и романтическая; начиталъ онъ еще, что классическая поэзія кончилась съ греками; узналъ въ добавокъ, что поэзія, начавшаяся въ новомъ мірѣ, среднихъ временъ, названа романтическою. Тутъ началъ г. Надеждинъ мыслить—и что же вымыслилъ? что и романтическая поэзія рѣшительно кончилась. Что же такое творенія Гёте, Байроновъ, Муровъ, Пушкиныхъ? Положимъ, что вы правы; но чего же вы хотите? Признаемся, мы ничего не поняли. Кажется, что г. Надеждинъ хочетъ какого-то соединенія романтизма съ классицизмомъ; но какъ, для чего—пусть это разгадываютъ другіе. Видимъ, что мысль въ основаніи нелѣпа; но, за всѣмъ тѣмъ, лучше сознаться, что мы худо ее понимаемъ. Гдѣ нѣтъ ни логическаго, ни грамматическаго смысла, тамъ не стыдно сознаться въ незнаніи. Одно только весьма ясно замѣтно у г. Надеждина: слѣды школьной ферулы, и подъ эту ферулу хочется ему подвести всѣхъ. Неудачный опытъ ея надъ г. Надеждинымъ едва ли можетъ быть доказательствомъ справедливости его словъ.“

„Изученіе древности добывается *не безъ кроваваго пота*“. Ясно, что кровавый потъ намекаетъ на ферулу и скамейку, вразумляющія бурсаковъ. Но кто еще сомнѣвается, пусть читаетъ далѣе:

«Сей флейтчикъ, пѣснями плѣняющій собранье,

«Учился и терпѣлъ *старѣйшихъ наказанье*».

«Итакъ, прежде нежели приниматься за письмо, должно учиться, учиться, не прѣмѣнно учиться». Очень рады и совѣтуемъ; только надобно доучиться, а иначе будемъ походить на какого нибудь недоумку, который, что слово скажетъ, то и видно, что онъ въ бурсѣ и не досѣченъ и не друченъ!»

Стбитъ ли такое разсужденіе опроверженій? продолжаетъ Полевой.—Нѣтъ! пародія г. Товарищцаго «померкаетъ передъ этимъ оригиналомъ», который вполне осуществляетъ «представленный нами выше сего планъ для русской классической диссертации, ибо:

«1) Основныя мысли въ ней чужія, взятая у Штуцмана и Аста (*ссылка на Литературные Прииски, о которыхъ говорили мы выше*). 2) Сія мысль не понятя г. Надеждинымъ, и выводъ изъ нихъ есть этому доказательство. 3) Не-нужныхъ разноязычныхъ цитатъ въ диссертации конца нѣтъ. 4) Романтизмъ

представляется исчадіемъ безбожія и революціи. 5) Говорено вкривъ и вкось о всѣхъ европейцахъ, всѣ обруганы, и указано на Россію, на упадокъ патриотизма въ Россіи, на Баяна, Петрова, Кострова, Ломоносова, Румянцова. Этотъ приторный патриотизмъ есть вѣнецъ теоріи г. Надеждина. И такое созданіе осмѣлился онъ представить на судъ почтенныхъ профессоровъ Московскаго Университета! Изъ этого созданія помѣстили отрывки два почтенные профессора въ издаваемыхъ ими журналахъ!... Стыдимся за почтенныхъ издателей «Вѣстника Европы» и «Атеней», и предоставляемъ диссертацию г. Надеждина ученикамъ латинскаго класса въ уѣздныхъ училищахъ».

Разборъ этотъ былъ написанъ съ большимъ умомъ, не только съ чрезвычайною ѣдкостью. Онъ убилъ диссертацию во мнѣніи публики. И, однако же, на какихъ основаніяхъ идеи Надеждина были объявлены нелѣпными? Полевой самъ объяснилъ это: когда впоследствии между «Телеграфомъ» и «Телескопомъ» велась жаркая полемика, Полевой напомнилъ публикѣ о «нелѣпой» диссертации Надеждина слѣдующимъ объявленіемъ:

Въ книжной лавкѣ Амоса Курносова принимается подписка на новую книгу, подъ названіемъ: «Сорванная маска съ философа-самозванца, или Кузень передъ судомъ Аристарха Николаевича Надоумки, филологико-критико-историческо-ирритабельно-сатирическое изслѣдованіе, сочиненное Иваномъ Бѣломутовымъ, съ эпиграфомъ изъ повѣсти М. П. Погодина: „Гдѣ я? въ вертепѣ нищихъ, воровъ, площадныхъ мошенниковъ! И вотъ какія происшествія, другъ мой, не производятъ во мнѣ никакого болѣзненнаго ощущенія! Удивительное явленіе!“ („Телескопъ“ 1872 г., № 7, стр. 362). Въ семъ новомъ, достойномъ особеннаго вниманія твореніи г. Бѣломутова доказывается явно, что Кузень есть шарлатанъ и обманщикъ, что онъ обокралъ нѣмецкихъ философовъ, не понявъ ихъ, перевралъ и только гнуснымъ краснорѣчіемъ своимъ заставилъ Европу думать, будто и онъ не послѣдняя спица въ колесницѣ современнаго мышленія. Ясно также доказывается и подтверждается тутъ, что, каждый русскій студентъ смыслить философію больше Кузена“ *).

*) Бѣломутовъ—потому, что подъ нѣкоторыми статьями Недоумки выставлено, для обозначенія мѣста, откуда онъ присланъ, «Бѣлый Омуть» (имя села, въ которомъ родился Надеждинъ). Эпиграфъ взятъ изъ повѣсти г. Погодина, вѣроятно, потому, что однимъ изъ первыхъ поводовъ къ полемикѣ была статья г. Погодина „о Московской Выставкѣ“. Филологико-критико и т. д.—пародія многосложнаго заглавія диссертации Надеждина: *Dissertatio historico-critico-eleptica* (историко-критико-полемическая); но дѣло въ томъ, что, по обычаю новыхъ латинистовъ, подобная многосложность требуется для изящности латинскаго слога. Не нужно прибавлять, что „обокралъ, перевралъ“ и проч.—буквальное повтореніе выраженій, употребленныхъ Полевымъ въ разборѣ диссертации Надеждина.

Итакъ, вотъ почему мысли Надеждина показались нелѣпы Полевому: онѣ были несогласны съ философіею Кузена; а основная ошибка Надеждина, какъ видимъ, состояла, по мнѣнію Полеваго, въ томъ, что онъ предпочиталъ нѣмецкихъ философовъ Кузену, философію котораго осмѣливался признавать не заслуживающею вниманія.

Послѣ этого «Телеграфъ» чаще прежняго упоминаетъ о Надумѣ и Надеждинѣ, но по прежнему всегда только въ нѣсколькихъ словахъ. Когда Надеждинъ сталъ издавать «Телескопъ», Полевой мало по малу вовлеченъ былъ въ болѣе обширную полемику съ нимъ и иногда по нѣскольку мѣсяцевъ не выпускалъ ни одной книжки «Телеграфа» безъ статей и статейекъ противъ Надеждина. Надобно признаться, что онъ былъ вынуждаемъ къ тому безпрестанными нападеніями. Но, между тѣмъ, какъ нападенія «Телескопа» очень часто касались предметовъ серьезныхъ, изобличали важные промахи въ «Телеграфѣ», чѣмъ отвѣчалъ на это «Телеграфъ»? Онъ нападалъ на слогъ, на непонятность различнхъ философскихъ терминовъ. Однажды; когда въ «Телескопѣ» была напечатана статья Гульянова, переведенная съ французскаго, съ приложеніемъ къ русскому переводу и французскаго текста, «Телеграфъ» началъ доказывать, что въ переводѣ есть грубыя ошибки, что, слѣдовательно, Надеждинъ не знаетъ по-французски. Улики въ незнаніи были такого рода: вмѣсто «овальные рамки соприкасаются» надобно было перевести «продолговатые ободочки соединяются между собою», и т. п. Но и въ этомъ потерпѣлъ «Телеграфъ» неудачу: оказалось, что русскій переводъ статьи Гульянова былъ сдѣланъ самимъ же Гульяновымъ. Потомъ, когда Надеждинъ, въ 1832 году, сталъ печатать обертку своего журнала безъ знаковъ прерыванія въ строкахъ крупнаго шрифта (какъ это и вошло теперь въ обычай), «Телеграфъ» сталъ смѣяться надъ «1832-рымъ Телескопомъ», доказывая, что «Телескопъ» не знаетъ правилъ объ употребленіи точки: видите ли, грамматика требуетъ, чтобы было напечатано такъ:

1832.

ТЕЛЕСКОПЪ.

а не просто (безъ точки):

1833

ТЕЛЕСКОПЪ

Когда «Телескопъ» шутливо отвѣчалъ на это, что несчастная точка въ заглавіи есть пунктъ, на которомъ запнулся «Телеграфъ», журналъ Полеваго, не понимая, что противникъ въ этомъ случаѣ играетъ словами, серьезно началъ доказывать, что «Телескопъ» не знаетъ, что «точка» и «пунктъ»—одно и то же слово, и не понимаетъ смысла слова «пунктъ». Въ третій разъ, по случаю того, что Надеждинъ, въ насмѣшку надъ романами одного тогдашняго писателя, сталъ иронически увѣрять, что произведенія Александра Анфимовича Орлова лучше этихъ романовъ, и Пушкинъ, вздумавъ продолжить эту шутку, напечаталъ въ «Телескопѣ» свои знаменитыя статейки, подписанныя псевдонимомъ Теофилакта Косичкина, «Телеграфъ» серьезно началъ увѣрять, что Надеждинъ хвалитъ А. А. Орлова, и доказывать тѣмъ безвкусіе Надеждина. Не будемъ продолжать этого исчисленія: намъ ни мало не пріятно говорить о неудачахъ «Телеграфа», которому такъ много обязана русская литература. Мы не стали бы приводить и этихъ примѣровъ, если бы увѣрены были, что безъ всякихъ доказательствъ читатели повѣрятъ основательности нашего мнѣнія. Оно состоитъ въ томъ, что Н. А. Полевой могъ играть только жалкую роль въ спорахъ съ своимъ противникомъ. Впрочемъ, ошибся бы тотъ, кто вздумалъ бы выводить изъ этого слѣдствія, неблагоприятныя именно для Н. А. Полеваго: не онъ одинъ, а рѣшительно никто въ тогдашней нашей литературѣ не могъ быть достойнымъ противникомъ Надеждину. Въ этомъ согласится каждый, кто знаетъ нашу тогдашнюю литературу. Мы избавляемъ читателя отъ подробнѣйшихъ доказательствъ, предполагая, что они нужны развѣ для немногихъ. Мы боимся, что утомили читателя выписками, да и статья наша приняла уже объемъ болѣе обширный, нежели мы того хотѣли бы.

Мы останавливались такъ долго на полемикѣ, возбужденной статьями Надоумки, и сдѣланномъ Полевымъ разборѣ диссертации Надеждина потому, что эти факты имѣли рѣшительное вліяніе на мнѣніе огромнаго большинства публики и литераторовъ о Надеждинѣ, какъ критикѣ. Тогда всѣ ахнули и возопили: «зоилъ, педантъ, шарлатанъ!» и до послѣдняго времени, не вникая въ сущность дѣла, повторяли: «Надеждинъ былъ хулителемъ Пушкина—о, варваръ безъ вкуса и стыда! Надеждинъ выдавалъ мысли, взятыя изъ Аста и Штудмана, за свои собственныя—о, шарлатанъ! Надеждинъ го-

ворилъ школьною латынью, шпиговаль свои статьи греческими цитатами—о, педантъ!»

На самомъ дѣлѣ такъ много горячиться намъ не изъ чего. Если Надеждинъ былъ чѣмъ неправъ, то развѣ тѣмъ, что съ жаромъ увлеченія заговорилъ о предметахъ, которые не стоили того, чтобы серьезно ими заниматься. Онъ и самъ очень хорошо понималъ это: оттого у него часто среди горькихъ или пламенныхъ тирадъ вырывается невольная улыбка, — вдругъ онъ вспомнить: «да надъ чѣмъ я хлопочу? да стоитъ ли горячиться? Да не смѣшонъ ли я, говоря съ любовью и гнѣвомъ?» — и все-таки онъ не могъ удержаться: привязанность къ самому родному брала верхъ надъ шопотомъ разсудка: «не стоитъ объ этомъ говорить!»—и онъ опять бился съ жаромъ, достойнымъ болѣе крупнаго предмета страсти, нежели наша тогдашняя литература. Простимъ ему увлеченіе: вѣдь онъ тогда былъ молодъ; притомъ же, и всѣ другіе, увлекавшіеся потомъ подобно ему, ошибались подобно ему: игра не стоила свѣтъ. Ну, что они выиграли? То, что мы съ вами, читатель; вспоминаемъ о нихъ съ признательностью? Да стоило ли убиваться для приобрѣтенія признательности той маленькой горсти людей, которая составляетъ у насъ такъ-называемую публику? Ну, какую пользу принесли они? Ту, что мы отъ нихъ научились чему нибудь доброму? Да многому ли мы научились? Многому, очень многому, нечего сказать! Стоило портить свою грудь, пренебрегать другими, лучшими карьерами, для того, чтобы образоватъ умъ и сердце пяти съ половиной человѣкъ, которые, къ довершенію счастья, забыли почти все, о чемъ толковали имъ съ такою горячностью! Нѣтъ, здравый разсудокъ говорить, что лучше было бы покачать головой и не поднимать гласа вопіющаго въ пустынѣ.

Однакожь, такъ какъ они уже сдѣлали ту ошибку, что любили насъ съ вами, читатель, и хотѣли намъ добра, то постараемся же припомнить хотя часть того, чему они желали научить насъ. Теперь рѣчь зашла у насъ о Надеждинѣ: посмотримъ же, чего, хотѣлъ онъ, какъ критикъ.

Въ то время, какъ онъ готовился выступить на литературное поприще, литература наша страдала чрезвычайною поверхностностью. Литератору нѣтъ необходимости быть особенно ученымъ; но онъ не долженъ быть человѣкомъ легкомысленнымъ и поверхностнымъ. А тогда почти всѣ лучшіе люди были таковы. Самъ Н. А. Полевой,

серьезнѣйшій изъ нихъ, такъ пылко желалъ осуществленія того, чего желалъ для русской литературы, что воображаемое принималъ уже за осуществленное и раздѣлялъ общее упоеніе нашими дивными подвигами въ области литературы. Къ чему вело это самообольщеніе? ровно ни къ чему хорошему. Никто не понималъ того, чѣмъ онъ восхищался; никто не понималъ, что радоваться, собственно говоря, было еще нечему. А всѣ радовались и восхищались. Сами не могли въ прозѣ написать ни о чемъ порядочной статейки, въ двадцать страничекъ, не говоримъ: книги,—въ поэзіи имѣли только нѣсколько лирическихъ пьесъ истинно прекрасныхъ, а больше ничего выдерживающаго критику,—не имѣли ни одной сносной прозаической повѣсти, не говоримъ ужъ: романа,—ни одной поэмы въ стихахъ, которая была бы прочувствована, а не пропѣта съ чужого голоса, — а ужъ воображали, что постигли всю мудрость земную, что имѣютъ довольно хорошую литературу; то были невинныя,

Златяя игры первыхъ дней!

Юныя мечты, сладкія мечты, какъ наивно прекрасны вы были!

Есть законная пора самообольщеній. Но всякое самообольщеніе, должно имѣть свой срокъ, или оно станетъ вреднымъ. Срокъ этотъ приближался. Новое поколѣніе подростало, съ новыми требованіями, съ болѣе глубокими стремленіями. Веневитиновъ былъ раннимъ провозвѣстникомъ этого поколѣнія; но онъ умеръ, едва сказавъ первое свое слово, еще ничего не успѣвъ совершить...

Все продолжалось, повидимому, прежнимъ порядкомъ. И опять явился человекъ, все еще нѣсколькими годами опередивъ поколѣніе, которое должно было понять его. Онъ не погибъ такъ рано какъ Веневитиновъ, не успѣвъ подать руку новому поколѣнію; но когда онъ явился, никто еще не могъ ему сочувствовать, и долго онъ былъ предметомъ общаго изумленія. И самъ онъ не могъ еще указать ни на кого, кто былъ бы человекомъ, какихъ желалъ онъ. Все, что видѣлъ онъ вокругъ себя, было достойно только разрушенія и отрицанія. И онъ явился какимъ-то злымъ духомъ отрицанія и разрушенія. Таково было положеніе Надоумки въ нашей литературѣ.

Онъ одинъ тогда понималъ вещи въ ихъ истинномъ видѣ. Его не понималъ никто: и потому, что онъ высказывалъ истину очень *горькую для тѣхъ*, кому говорилъ ее, и потому, что высказывалъ

ее горько, и, болѣе всего, потому, что основанія, на которыхъ опирались его приговоры, были незнакомы никому. Нѣмецкая филозофія, питомцемъ которой онъ былъ, неизвѣстна была никому. Всѣ видѣли только, что онъ противорѣчитъ французскимъ книжкамъ, изъ которыхъ была почерпнута вся наша тогдашняя мудрость — и его объявили безумцемъ. Чего онъ хочетъ, не понималъ никто, потому что у насъ не было ничего подобнаго тому, чего хотѣлъ онъ, — и всѣмъ показалось, что онъ только хочетъ бранить и унижать нашу литературу.

И, однако же, чѣмъ онъ былъ недоволенъ въ литературѣ? Тѣми поэтами, надъ сочиненіемъ которыхъ тратились всѣ наши силы, восхищеніе которыми отнимало всякую мысль о возможности чего нибудь лучшаго. Нынѣ кто не называетъ этихъ поэмъ дѣтскими произведеніями? Онъ возставалъ противъ Пушкина; но извѣстны ли были тогда созданія Пушкина, передъ которыми мы теперь преклоняемся? «Бориса Годунова», «Каменнаго Гостя», «Мѣднаго Всадника», повѣстей въ прозѣ, — ничего этого еще не было. Были только поэмы въ байроновскомъ родѣ, надъ которыми потомъ смѣялся самъ Пушкинъ, — поэмы не прочувствованныя, странныя подражанія байроновской формѣ, безъ всякаго пониманія байроновскаго духа. И развѣ потому возставалъ онъ противъ этихъ поэмъ, что хотѣлъ унижить талантъ Пушкина? Напротивъ, никто такъ рѣзко не замѣчалъ безграничной разницы между Пушкинымъ и другими тогдашними знаменитостями; а вѣдь тогда никто, кромѣ его, не замѣчалъ этой разницы. И развѣ онъ унижалъ въ поэмахъ Пушкина то, что въ нихъ есть хорошаго? Напротивъ, онъ безусловно хвалилъ въ нихъ отдѣльныя картины природы и граціозныя сцены изъ современнаго быта, — единственное, что мы теперь находимъ въ нихъ прекраснымъ. Онъ такъ хорошо понималъ это, что «Графа Нулина» ставилъ выше «Бахчисарайскаго Фонтана». Но онъ все-таки осуждалъ Пушкина? Однако, за что же? за то, что предполагалъ, будто Пушкинъ удовлетворяется своими прежними произведеніями и не думаетъ о томъ, что еще не создалъ произведеній, вполне достойныхъ своего великаго таланта. Вѣдь это недовольство, котораго источникъ — очень высокое мнѣніе о талантѣ Пушкина. А когда Пушкинъ издалъ «Бориса Годунова», онъ одинъ оцѣнилъ это произведение, въ послѣдней статьѣ, подпisanной именемъ Надоумки. И, наконецъ, развѣ онъ возставалъ

именно противъ Пушкина? Онъ доказывалъ только, что вся наша тогдашняя литература вовсе не такъ богата, какъ тогда всё были увѣрены. И если мы вникнемъ въ сущность его статей, мы увидимъ, что если никто не судилъ о нашей литературѣ такъ строго, какъ онъ, то и никто не превозносилъ такъ Пушкина, какъ онъ. Онъ первый высказалъ о характерѣ и силахъ его таланта тѣ понятія, которыя господствуютъ до сихъ поръ. Кажется, этого довольно, чтобы не считать его зиломъ.

Статьи Надоумки были печальны — онъ ли виноватъ въ томъ? Но онъ содѣйствовали приготовленію лучшей будущности. Развѣ онъ отчаявался въ лучшей будущности, развѣ не призывалъ ее? Прочтите хотя окончаніе его мрачной, жолчной статьи: «Сонмище Нигилистовъ». На Васильевъ вечеръ, наканунѣ того дня, когда солнце поворачиваетъ на лѣто, въ тотъ вечеръ, когда на Руси гадаютъ о будущемъ, выходитъ Надоумко изъ беспорядочнаго сонмища, гдѣ всё кричатъ, подъ хлопанье пробокъ, о талантахъ другъ друга, всё упоены чадомъ взаимныхъ похвалъ своимъ дивнымъ произведеніямъ, всё толкуютъ о пустякахъ, всё кричатъ о томъ, чего не понимаютъ; онъ идетъ домой, грустно думая объ общемъ ничтожествѣ всей этой превозносимой литературы. Нѣтъ ей выхода изъ безсильнаго и шумнаго хаоса... «Какъ нѣтъ? вдругъ спрашиваетъ онъ себя: ужели, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ?»

„Неужели для бѣдной нашей литературы не будетъ возврата съ зимы на лѣто? неужели ей вѣчно мыкаться въ мрачной преисподней губительнаго нигилизма?—Нѣтъ, подумалъ я: нѣтъ, это невозможно:

...Какъ бы ночь
Ни длилася и неба ни темнила,
А все разсвѣта намъ не миновать!

Будетъ время, когда слово, наилучшее произведеніе наилучшаго созданія Божія, проливаться будетъ отъ избытка сердца чистаго, раствореннаго святою любовью ко всему добруму, истинному и прекрасному!

Еще лежитъ на небѣ тѣнь,
Еще далеко свѣтлый день!
Но живъ Господь! Онъ знаетъ срокъ!
Онъ вышлетъ утро на востокъ!

„Это будетъ, это будетъ, непременно!“—повторялъ я самъ въ себѣ, взбираясь домой по высокой лѣстницѣ.—Но—прибавилъ я съ горестнымъ вздохомъ, *отворяя двери передней—*

...Но когда жь тому случиться?«

Тутъ раздался изъ сосѣдней комнаты звонкіе голоса дѣвушекъ, пѣвшихъ подблюдныя пѣсни:

Кому вынется, тому сбудется,
Тому сбудется, не минуется!

Дай Богъ, чтобы сбылось поскорѣе! вскричалъ я, довершая остальное путешествіе до своей каморки.—Между тѣмъ, дремать нечего! Можетъ быть, если я разъ-другой подамъ голосъ,—

И пѣтухи начнутъ мнѣ откликаться,
И воздухъ утренній начнетъ въ лицо мнѣ дуть!⁴

Безпристрастный читатель. вѣроятно, согласится съ нами, что Надоумку нельзя считать зоиломъ, бросавшимъ грязью въ знаменитыхъ людей, изъ одного тщеславнаго желанія надѣлать шуму. Остается сказать нѣсколько словъ о его диссертациі.

Къ сожалѣнію, она у насъ очень мало извѣстна, потому что написана на латинскомъ языкѣ. Его называли за то педантомъ; но латинской диссертациі требовали правила докторскаго экзамена,— слѣдовательно, Надеждинъ не виноватъ въ томъ, что написалъ свое разсужденіе не по русски. Зная, что латынь не найдетъ у насъ много читателей, онъ перевелъ любопытнѣйшіе отрывки своего изслѣдованія на русскій языкъ и помѣстилъ въ журналахъ: чего же требовать больше? Только эти отрывки и были прочитаны людьми, которые такъ рѣшительно судили о его диссертациі. Это бѣда была, впрочемъ, не главная: хуже всего было то, что ни Н. А. Полевой, ни другіе противники Надеждина не знали и не могли понять нѣмецкой философіи. А если бы знали, не пришло бы имъ въ голову говорить, что онъ выдалъ чужія мысли за свои и исказилъ ихъ. Основная идея у Надеждина, конечно, та же, что и во всей нѣмецкой философіи, отъ Фихте до нашего времени. И то правда, что ближайшимъ образомъ онъ былъ послѣдователемъ Шеллинга. Но дѣло въ томъ, что онъ пошелъ далѣе Шеллинга и приблизился, силою самостоятельнаго мышленія, къ Гегелю, котораго, какъ по всему видно, не изучалъ. Развивать эту мысль было бы здѣсь неумѣстно. Но кто сличитъ диссертацию Надеждина съ «Эстетикою» Гегеля (изданною черезъ пять лѣтъ послѣ диссертациі Надеждина), тотъ увидитъ, какъ близко къ нему подошелъ Надеждинъ. Это фактъ.

Узнавъ его, нечего говорить объ Астахъ и Штудманахъ *). Надеждинъ, тогда двадцати-пятилѣтній юноша, стоялъ уже выше этихъ людей, не очень значительныхъ въ исторіи философіи. Это былъ умъ глубокій — вотъ все, что мы можемъ сказать по его первому философскому сочиненію, оставшемуся единственнымъ. И Полевой, думая сказать насмѣшку, сказалъ чистую правду: этотъ «русскій студентъ смыслилъ въ философіи больше Кузена», и не только Кузена, а многихъ мыслителей, которые и въ Германіи успѣли приобрѣсть себѣ извѣстность, какъ самостоятельные ученики того или другаго великаго философа.

И вотъ этотъ челоуѣкъ, не только хорошо знакомый съ нѣмецкою эстетикою, но имѣвшій силу двигать эту науку впередъ, занялся критикою: могъ ли онъ не произвестъ рѣшительно новой эпохи въ нашей критикѣ, которая до него знала только поверхностныя французскіе приемы? И дѣйствительно, онъ заговорилъ о такихъ вещахъ, о которыхъ до него и не слыхивали: объ идеѣ, какъ душѣ художественнаго созданія, о художественности, какъ сообразности формы съ идеею, и т. д., и т. д. Мудрость неслышанная тогдашними нашими писателями и неостижимая для нихъ. О, наивныя времена, когда все это было новостью! Всѣ слушали, соображали, изумлялись, оскорблялись, махнули наконецъ рукою и рѣшили, что все это нелѣпость, порожденная педантизмомъ. Это было истинное «Горе отъ Ума».

Статьями Надоумки была рѣшена судьба Надеждина въ литературномъ мірѣ. Онъ возсталъ противъ всей литературы, — вся литература возстала противъ него. Онъ явился слишкомъ рано и оставался одинокъ, пока не выступило на сцену новое поколѣніе, предшественникомъ котораго былъ онъ. Когда онъ сталъ издавать «Телескопъ», публика знала его только по презрительнымъ отзывамъ «Телеграфа», «Сына Отечества», «Сѣверныхъ Цвѣтовъ» и всѣхъ остальныхъ журналовъ, газетъ и альманаховъ. Очень естественно, что «Телескопъ», лишенный всякой помощи со стороны

*) Впрочемъ, Астъ и Штудманъ сдѣланы въ „Телеграфѣ“ учителями Надеждина явно по незнанію. Это очевидно каждому, имѣющему понятіе объ исторіи новой философіи. Доказывать это и не стоять. Отъ улыбки въ *похищеніяхъ* Надеждина изъ Аста Полевой самъ скоро отказался; а книги *Штудмана Надеждина* и не видывалъ, потому что не считалъ его заслуживающимъ вниманія, въ чемъ и не ошибался.

литераторовъ, имѣлъ только ограниченный успѣхъ. Критика его, продолжавшая развивать идеи, выраженные Надеждинымъ прежде, долгое время не могла достигь до публики. Но вотъ начало выступать на сцену молодое поколѣніе: Надеждинъ въ немъ нашелъ себѣ помощниковъ. «Телескопу» предстояла, по всей вѣроятности блистательная будущность. Но онъ пересталъ существовать.

Едва ли теперь надобно объяснять, почему критика Надеждина не имѣла, въ свое время, особеннаго вліянія на публику. Она явилась слишкомъ рано. Публика еще не была настолько развита, чтобы сочувствовать ей. И, притомъ, «Вѣстникъ Европы», въ которомъ Надеждинъ помѣстилъ значительныхъ статей гораздо болѣе, нежели потомъ въ собственномъ журналѣ, былъ почти совершенно неизвѣстенъ публикѣ. Онъ и заслуживалъ этой судьбы, потому что былъ очень плохъ. А если кому и попадалась въ руки книжка этого журнала, едва ли изъ десяти читателей одинъ могъ безъ смѣха читать ея страницы, изукрашенныя, по замысловатой ореографіи Каченовскаго, оитами и ижицами. Мы упоминали объ эпиграммѣ, написанной на Каченовскаго Баратынскимъ, по случаю статей Надоумки. Вотъ она, съ сохраненіемъ того правописанія, которое придавало ей соль въ «Телеграфѣ»:

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА.

Хвала, мастытый нашъ Зоилъ!
 Когда-то Дмитріевъ бѣсилъ
 Тебя счастливыми струнами;
 Бѣсилъ Жуковский въ слѣдъ за нимъ;
 Вотъ бѣсилъ Пушкинъ: какъ любимъ
 Ты дальновидными Судьбами!
 Три поколѣнія пѣвцовъ
 Тебя, красой своіхъ вѣнцовъ,
 Въ негодованье приводилі:
 Печись о здравіи своемъ,
 Чтобы, подобно первымъ тремъ,
 Другіе три тебя бѣсилі.

Многіе ли могли безъ смѣха взять въ руки журналъ, самая ореографія котораго подаетъ поводъ къ подобнымъ пародіямъ?

Но вредъ Надеждину оттого, что онъ первое и самое дѣятельное время своей критики отдалъ «Вѣстнику Европы», состоялъ не

только въ томъ, что статьи его остались почти никѣмъ не прочитаны или возбуждали своею нелѣпою внѣшностью улыбку въ тѣхъ немногихъ, которымъ попадались на глаза: былъ нанесенъ ему участіемъ въ «Вѣстникѣ Европы» и другой вредъ, еще болѣе важный. Этотъ журналъ считался защитникомъ всего устарѣлаго и бездарнаго въ литературѣ, врагомъ всего современнаго и даровитаго. Статьи Надеждина, существенный смыслъ которыхъ такъ трудно было угадать неприготовленной публикѣ, получали самый невыгодный смыслъ ужь отъ одного того, что являлись въ такомъ журналѣ. Да и самъ Надеждинъ подавалъ еще новый поводъ къ недоразумѣніямъ: чтобы кольнуть тогдашнихъ писателей, онъ иногда иронически превозносилъ старыхъ писателей. Для насъ иронія очень понятна,—въ то время она многими не была понята.

Но все это только внѣшнія причины неуспѣха. Были и внутреннія. Одну изъ нихъ мы уже видѣли: Надеждинъ явился слишкомъ рано для публики и литературы. Теперь прибавимъ другую: онъ явился слишкомъ рано и для себя. Образъ мыслей его не совершенно еще установился въ то время, когда онъ началъ свою литературную дѣятельность. Основныя воззрѣнія его были тверды и справедливы; но много осталось еще въ немъ слѣдовъ прежняго образованія, и почти вся его послѣдующая журнальная дѣятельность представляется, какъ исторія постепеннаго его освобожденія отъ различныхъ остатковъ той «старой трухи» (по его выраженію), которая такъ связываетъ движенія мысли. Въ началѣ, онъ часто, самъ того не замѣчая, выражалъ понятія, несообразныя съ его истиннымъ образомъ мыслей, съ его основными идеями.

Это придавало еще больше двусмысленности многимъ страницамъ его статей, и безъ того уже бывшимъ слишкомъ трудными для разумѣнія тѣхъ наивныхъ людей, съ которыми онъ говорилъ. Но если это было вредно для его первыхъ статей, то мы видимъ новое доказательство силы его въ быстромъ и неудержимомъ стремленіи впередъ. Немногимъ, и только самымъ сильнымъ изъ насъ, возможно совершенно перевоспитать себя. Надеждину было дано это. Силою мысли и знанія достигъ онъ того, что, бывъ въ двадцать лѣтъ челоуѣкомъ XVII вѣка, въ двадцать-пять лѣтъ, при началѣ своей литературной дѣятельности, бывъ челоуѣкомъ XIX вѣка *въ одеждѣ* XVII вѣка, въ тридцать лѣтъ сталъ вполнѣ челоуѣкомъ XIX вѣка. Кто знаетъ, какъ трудно это перерожденіе, тотъ пой-

меть сколько душевной силы нужно, чтобы пройти этотъ путь и стать у цѣли свѣжимъ и бодрымъ, безъ подчиненія прошедшему, съ однимъ нераздѣльнымъ стремленіемъ къ будущему.

Чтобы указать опредѣленнѣе на характеръ этого перевоспитанія, обратимъ вниманіе хотя на внѣшность. Нельзя не согласиться, что мысли Надеждина, по сущности своей чужды схоластики, выражались иногда въ первыхъ его статьяхъ подъ формою схоластическою. Въ послѣднихъ его статьяхъ вы не найдете никакихъ слѣдовъ схоластики; а какъ трудно достигъ этого! Скажите, много ли найдется въ исторіи литературы людей, которые успѣвали бы совершенно сбросить съ себя иго схоластики, если когда нибудь носили его?

Въ своемъ журналѣ Надеждинъ помѣщалъ значительныя статьи гораздо рѣже, нежели прежде, въ «Вѣстникѣ Европы». Конечно, тому мѣшали мелочныя труды по редижированію журнала, занятія по званію профессора и, вѣроятно, различныя случайныя обстоятельства. Но вообще онъ писалъ для журнала много, и, какъ видно по всему, энергія его не ослабѣла,—напротивъ, въ послѣднее время, онъ и значительныхъ статей началъ печатать болѣе, нежели когда нибудь. Видно, что участіе молодаго поколѣнія придало новыя силы этому замѣчательному человѣку, который, впрочемъ, и самъ только еще вступалъ въ періодъ полнѣйшаго развитія силъ: въ тридцать два года, для большей части людей, только еще начинается истинная дѣятельность, для Надеждина — время литературной дѣятельности кончилось.

«Телескопъ» не пользовался особеннымъ успѣхомъ, хотя и не былъ журналомъ совершенно безъ читателей; онъ пользовался нѣкоторымъ, но не очень значительнымъ, вліяніемъ на публику. Но вліяніе Надеждина на литературный нашъ кругъ было очень значительно. Всѣ возставали противъ него — и, однако же, противъ воли, подчинялись его мнѣнію, на сколько могли понимать его. Чтобы не обременять статьи нашей множествомъ примѣровъ, укажемъ только на «Телеграфъ», который, до самаго конца своего существованія, пользовался предпочтительною любовью публики: черезъ годъ или полтора послѣ того, какъ Надеждинъ началъ писать свои статьи, въ журналѣ Полеваго стала ощутительна значительная перемѣна. Прежде почти не бывало критическихъ статей *большаго объема; о самыхъ значительныхъ писателяхъ, по случаю*

изданія собранія ихъ сочиненій, высказывалось лишь нѣсколько краткихъ замѣчаній; теперь чаще и чаще начали являться большія статьи о томъ или другомъ писателѣ, и разборы значительныхъ книгъ не ограничивались, какъ прежде, двумя-тремя страницами. Развитие критики «Телеграфа» не ограничивалось расширеніемъ объема: самые приемы ея сдѣлались основательнѣе. Самое направленіе ея измѣнилось: Полевой видимо учился многому у своего противника. Такъ напримѣръ, «Телеграфъ» началъ говорить, что мы не романтики и не классики, что въ наше время романтизмъ и классицизмъ должны соединиться, изъ ихъ сліянія должна возникнуть новая литература, и т. д. Все это чисто мысли Надеждина. Исчезло и прежнее самообольщеніе въ богатствѣ нашей литературы: начались толки о томъ, что она скудна. «Телеграфъ», прежде восхищавшійся «гигантскими шагами, которые дѣлають нашъ вѣкъ и наша литература», началъ подсмѣиваться надъ медленнымъ и часто попятнымъ ходомъ этого развитія, быстротою котораго еще недавно восхищался; началъ отдавать справедливость тому, что было хорошаго въ старой литературѣ; началъ говорить, что литературѣ нашей всего нужнѣе солидное образование и привычка къ серьезному образу мыслей въ писателяхъ, что нынѣшніе писатели не удовлетворяютъ этимъ условіямъ, потому, не смотря на свои таланты, не могутъ произвести ничего великаго, и т. д., и т. д. — всего нельзя и перечестъ — и всѣ эти понятія были навѣяны Надеждинымъ. Едва ли можно найти хотя одну мысль его, которая не была бы повторена въ «Телеграфѣ». Какъ любопытный примѣръ, приводимъ въ приложеніи III извлеченіе изъ той статьи, которая служитъ заключеніемъ «Новаго Живописца Общества и Литературы». Полевой, конечно, хотѣлъ завершить эти очерки изложеніемъ своихъ общихъ выводовъ, своихъ существенныхъ понятій о литературѣ,—и что же? онъ буквально повторилъ то, что за три или четыре года говорилъ Надоумко. Но конечно, всѣ эти навѣянные мысли остались въ «Телеграфѣ» только навѣянными мыслями. Сущность свою онъ измѣнить уже не могъ, и подъ новою одеждою онъ остался старымъ.

Вполнѣ привились основныя идеи критики Надеждина только къ дѣятелямъ новаго поколѣнія, важнѣйшій изъ которыхъ образовался подъ его непосредственнымъ руководствомъ и чрезъ «Оте-

чественныя Записки» влилъ новую жизнь въ нашу литературу и въ нашу публику.

Если за Н. А. Полевымъ неоспоримо остается та заслуга, что онъ первый сдѣлалъ критику существенною и важною частью нашей журналистики, то Надеждину принадлежитъ заслуга, еще болѣе важная: онъ первый далъ прочныя основанія нашей критикѣ. До него повторялись у насъ непрочувствованныя, непрожитыя мысли, и повторялись съ голоса учителей очень поверхностныхъ, которые сами не понимали хорошенько и себя, не только другихъ. Эти учителя были французскіе романтики. Надеждинъ первый прочно ввелъ въ нашу мыслительность глубокій философскій взглядъ. Онъ далъ нашей критикѣ глубокіе всеобъемлющіе принципы, открытые для эстетики нѣмецкою наукою. Онъ первый объяснилъ нашей критикѣ, что такое поэзія, что такое художественное произведеніе. Отъ него узнали у насъ, что поэзія есть воплощеніе идеи, что идея есть зерно, изъ котораго вырастаетъ художественное произведеніе, есть душа, его оживляющая; что красота формы состоитъ въ соответствіи ея съ идеею. Онъ первый началъ строго и вѣрно разсматривать, понята ли и прочувствована ли идея, выраженная въ произведеніи, есть ли въ немъ художественное единство, выдержаны ли и вѣрны ли человѣческой природѣ, условіямъ времени и народности характеры дѣйствующихъ лицъ, истекаютъ ли подробности произведенія изъ его идеи, естественно ли, по закону поэтической необходимости, развивается весь ходъ событій, воплощающихъ идею автора, изъ данныхъ характеровъ и положеній,—словомъ, онъ первый далъ русской критикѣ всѣ эстетическія основанія, на которыхъ должна была она развиться, и показалъ примѣры, какъ прилагать эти принципы къ сужденію о поэтическомъ произведеніи. Это первая, общая заслуга его критики, Вторая, частная, состоитъ въ томъ, что онъ подвергъ этой критикѣ, которой научилъ насъ, всю нашу литературу тридцатыхъ годовъ, высказалъ свои выводы громко и, объяснивъ, чѣмъ была наша литература до появленія Гоголя и другихъ великихъ талантовъ, ознаменовавшихъ своимъ появленіемъ начало гоголевскаго періода, приготовилъ послѣдующую критику къ справедливой оцѣнкѣ того развитія, которое дано нашей литературѣ этими новыми писателями.

Но онъ дѣйствовалъ въ самое неблагопріятное для нашей поэзіи время—во время перехода отъ прежняго направленія къ но-

вону. Ему дано было только призывать новое время, но не быть его дѣйствователемъ. Его критическая дѣятельность прекратилась въ то самое время, когда гений Гоголя началъ выражаться произведеніями, составившими эпоху въ нашей литературѣ, въ то самое время, когда начиналась дѣятельность Кольцова и Лермонтова. Потому его критика произносила почти исключительно приговоры только отрицательные. Она доказала, что прежнее наше богатство ложно; она не могла еще воодушевить нашу публику указаніемъ и объясненіемъ новыхъ пріобрѣтеній. Онъ явился слишкомъ рано и потому не могъ имѣть непосредственнаго вліянія на мнѣнія публики, еще не приготовленной къ тому, чтобы сочувствовать ему. Онъ кончилъ тогда, когда только еще начиналась истинная пора для критики того направленія, которое ввелъ онъ въ нее. Потому существенное значеніе его критической дѣятельности состоитъ только въ томъ, что она была приготовительницею послѣдующей критики,— и главнѣйшая заслуга Надеждина-критика въ нашей литературѣ состоитъ въ томъ, что онъ былъ образователемъ автора статей о Пушкинѣ. Выражаясь любимымъ его языкомъ классической поэзіи, онъ незабвененъ для насъ, какъ Хронъ, воспитатель Ахиллеса.

Критика была только одна изъ многихъ сторонъ его, разнообразной литературной дѣятельности. Она принесла уже свой плодъ. Другіе, быть можетъ, еще значительнѣйшіе труды его по другимъ отраслямъ науки до сихъ поръ остаются еще неоцѣненными. Прійдетъ время, будутъ оцѣнены и они.

П Р И Л О Ж Е Н І Я.

I.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ СТАТЬИ ЭКС-СТУДЕНТА НИКОДИМА НАДОУМКИ.

Къ стр. 179.

Борскій, сочиненіе А. Подолинскаго. *Спб.* 1829.

(Статья 2. „Вѣстникъ Европы“ 1829 г., № 7. Стр. 200—220).

Прежде всего замѣтимъ, что Подолинскій возбуждалъ въ то время самыя блестящія ожиданія. Многие думали, что въ немъ является достойный соперникъ Пушкина. Потому-то Надоумко и обращаетъ вниманіе на его поэму, которую превозносили до небесъ.

Эпиграфъ разбора, взятый изъ гораціевой „Науки Стихотворства“:

Nunc satis est dixisse: ego mira roemata pungo,—

по обыкновенію опять заключаетъ въ себѣ двусмысленную колкость. Проще всего его надобно перевести: „Теперь довольствуются словами: я пишу удивительныя поэмы“; но, по смыслу статей Надоумко, должно перевести его такъ: „Просто скажу: объ удивительныхъ поэмахъ пишу я“, — т. е. Надоумко. Это еще болѣе язвительно, потому что относится уже не къ одному Подолинскому, а ко всѣмъ тогдашнимъ знаменитымъ поэтамъ.

Первая статья начинается общими размышленіями о тогдашней нашей поэзіи и оканчивается, какъ мы видѣли, рассказомъ содержанія поэмы Подолинскаго, послѣ чего Надоумко начинаетъ вторую статью такъ.

„Спрашивается: что за удовольствіе представлять подобныя кровавыя зрѣлища?... Ужасныя картины кровопролитія и убійствъ весьма рѣдки въ общественной нашей жизни: какъ же могутъ онѣ обратиться во всеобщую прихоть вкуса? Справедливѣе бы, кажется, можно было упрекнуть насъ въ недостатокъ вкуса, чѣмъ въ подобномъ развращеніи оного. У насъ доселѣ, несмотря на неослабно распространяющіеся успѣхи просвѣщенія, господствуетъ еще какая-то мудреная апатія къ истинно изящнымъ наслажденіямъ. Наши театры полны бываютъ только при представленіяхъ Кіарини (фокусника) и изъ нашихъ періодическихъ изданій больше всѣхъ расходятся — „Московскія Вѣдомости“. Не эта ли слишкомъ замѣтная скудость чувствительности вынуждаетъ нашихъ поэтовъ прибѣгать къ насильственнымъ средствамъ для пробужденія въ нашихъ непросыпныхъ душахъ привѣтнаго отклика?... Но отчего бы нашимъ поэтамъ не попытаться прибѣгнуть къ другому, менѣ шумному, но болѣе надежному средству возбуждать эстетическое участіе?... Отчего бы не допустить имъ въ поэтической механизмъ свой, кромѣ кинжала и яда, другихъ пружинъ, менѣе смертоносныхъ, но не менѣе дѣйствительныхъ?... Не могло ли бы съ избыткомъ замѣнить всю эту *романтическую* стужотню и рѣзню—существенное достоинство и величіе изображаемыхъ предметовъ, наставительная знаменательность драпировки, не ослѣпительная для умственного взора свѣтлость мыслей, не удушительная теплота ощущеній?... А этого-то, по несчастію, и недостаетъ въ нашихъ новыхъ поэтическихъ произведеніяхъ! — Они обращаются около предметовъ совершенно ничтожныхъ: одѣваются въ маскарадные костюмы, представляющіе уродливое смѣшеніе этнографическихъ и хронологическихъ противорѣчій; блестятъ пошлыми двуличными островами; дышатъ чадными и нерѣдко смрадными чувствами. Отъ двухъ первыхъ обвинительныхъ пунктовъ не оправдается и *Борскій*. Что за предметъ для поэмы?... Ревнивый мужъ убиваетъ жену-лунатика и замерзаетъ самъ на ея могилѣ... Что тутъ интереснаго?... И въ психологическомъ отношеніи—это не великое дѣло, и въ эстетическомъ—не весьма занимательное зрѣлище! Будь это событіе историческое или по крайней мѣрѣ основанное на народномъ преданіи,—тогда бъ оно могло имѣть для насъ важность истины или прелесть наслѣдственной собственности—прелесть роднаго... Но—*сочинять* нарочно такія *исторіи* значить изнушать воображеніе надъ пустяками!—Недостатокъ сей можно было бы, однако же, искупить счастливымъ выборомъ, живописною полнотою, изящною отдѣлкой поэти-

ческаго костюма. Мы разумѣемъ здѣсь подъ *костюмомъ* всё тѣ многочисленныя, многоразличныя черты и картины, кои сообщаютъ поэтическую *индивидуальность* повѣствованію, опредѣляя *мѣсто* и *время*, къ коимъ оно относится. Происшествіе, само по себѣ ничтожное, можетъ служить генію канвою для поэтическаго изображенія цѣлой эпохи, цѣлой страны, цѣлаго народа: и тогда ничтожность его совершенно теряется изъ виду. Такъ ли поступлено въ *Борскому*?... *Владиміръ Борскій* и весь причтъ *лицъ*, составляющихъ историческое бытіе сей поэмы, суть, какъ видно по именамъ и прозваніямъ, люди *русскіе*. Переимѣните сіи имена и прозванія—кто узнаетъ въ нихъ русскихъ?.. Ни одной малѣйшей черты народнаго характера русскаго! Переименуйте *Владиміра* въ *Адольфа*—это будетъ французъ во всѣхъ статьяхъ! О прекрасной *Еленѣ* и говоритъ нечего: она отлита въ обыкновенной формѣ *красавицы*, заказываемыхъ для историческихъ романовъ à la Madame Genlis. А добрый деревенскій *священникъ*!.. Его дружеское отношеніе къ *Владиміру* у насъ, на святой Руси, есть совершенный анахронизмъ, взятый изъ будущаго, можетъ быть XX вѣка!—Но пусть *историческая живопись Борскаго* слаба, неопредѣленна, безцвѣтна: не замѣняетъ ли онъ ее живописью *ландшафтной*?... Кажись бы, такъ и слѣдовало! Дѣйствіе совершается на цѣвѣтущихъ берегахъ широкаго Днѣпра, подъ благословеннымъ малороссійскимъ небомъ. Какая богатая сцена! какая неистощимая жатва для генія!... Сколько поэтическихъ красоть могло бы представить живописное изображеніе величественнаго Днѣпра, носившаго на зыблющемся хребтѣ своемъ младенчествующую Русь въ колыбели! Сіи маститые холмы, на которыхъ возлегаеть древняя мать градовъ русскихъ; сіи сыпучіе пески, разстилающіеся перловою бахромою вскрай водъ днѣпровскихъ, не освящены ли на каждомъ шагу воспоминаніями, драгоцѣннѣйшими для каждаго русскаго сердца?.. И что же?... Величественнаго Днѣпра какъ будто-бъ и не было. А мирная, *идиллическая* жизнь добрыхъ нашихъ малороссіянъ, о ней и вовсе ни слуху, ни духу!—Такъ ли надобно поступать поэтамъ, провозглашающимъ себя *борниками романтизма*? *Романтизмъ*, въ чистѣйшемъ своемъ знаменованіи, тѣмъ преимущественно и отличается отъ *классицизма*, что исчерпываетъ мощное лоно природы *всеобъемлющимъ* окомъ, со всѣхъ точекъ, во всѣхъ направленіяхъ. Посмотрите на творенія чуднаго Байрона!.. Его „*Чайльдъ-Гарольдъ*“ есть богатѣйшая ткань идеализированной исторіи человечества, убранная драгоцѣннѣйшими воспоминаніями, собранными изъ всѣхъ вѣковъ, подъ всѣми земными поясами. Его „*Джауръ*“ дышетъ палящимъ зноемъ Востока; въ его „*Мазепъ*“ кипитъ буйная кровь сарматская; его „*Кавнъ*“ предстоитъ во всей суровой наготѣ первобытнаго міра. Отчего бы и *Борскому* не окостюмиваться равно полнымъ, равно вѣрнымъ, равно занимательнымъ образомъ?... Это право, сообщило бы ему больше *романтической* прелести и произвело бы живѣйшій и прочнѣйшій эффектъ, чѣмъ подобныя эвменидистическія сцены:

. Изступленный
Онъ далѣ въ бѣшенствѣ бѣжить;
То здѣсь, то тамъ кинжалъ блеститъ
Въ рукѣ, луною озаренный —

Нѣтъ жертвы болѣ!

 Онъ стоитъ,
 Недвиженъ взоръ, ужасенъ видъ—
 Въ его рукъ окровавленной
 Рука *Елены*, но она
 Уже недвижна и холодна
 И костенѣть постепенно....

Отчего бы... Но увы!—это легко сказать, но легко ли сдѣлать?... Чтобы дать полную, опредѣленную, выразительную физиономію поэтической картинѣ, не довольно одного юнаго, свѣжаго и мощнаго таланта: нужно еще — *ученіе*... проклятое *ученіе*!... Безъ него не обогнать ни на шагъ сильнаго, могучаго богатыря «Илью Муромца!»...

Искусство мыслить—къ искусству сочинять.

Такъ учивалъ въ старину Гораціи! А у насъ теперъ?

Не знавшій грамоты стихи кропаютъ смѣло!...
 «И для чего не такъ?... Я вольностью дышу!
 Я знатенъ, я богатъ, я баринъ.... и пишу!»

Повторимъ снова приведенный нами эпитафъ:

Nunc satis est dixisse: «ego mira roemata pungo!»...
 Мудрецъ нашъ мыслить такъ: «предъ смѣлымъ награждение!
 Погибни всякій трудъ: могу и безъ него
 Казаться знатокомъ, не зная ничего!»

«Но, говорятъ, поэтической инстинктъ можетъ замѣнить для генія всю школьную пыль учености!—Природа-де познается не изъ книгъ и не за скамьями: сердце свое можно изучать самому, безъ указки профессорской; посему живописцемъ природы, историографомъ сердца легко сдѣлаться, не прошедши ни физики Страхова, ни исторіи Шрекка. Вѣдь *Гомеръ* и *Шекспиръ* не учились въ университетахъ!»—Просимъ извиненія, мм. гг.! *Гомеръ* учился всю жизнь свою: его «Иліада» и «Одиссея» написаны не по однимъ слухамъ, а съ собственныхъ долговременныхъ наблюденій надъ обычаями различныхъ странъ и народовъ. Что до *Шекспира*, то пора бы также перестать ссылаться на него какъ на образецъ генія-неуча. *Шекспиру* не совсѣмъ была чужда классическая древность, составлявшая издавна родовое наслѣдіе всѣхъ европейскихъ націй, и едва ли кому изъ нашихъ автодидактическихъ всезнаекъ удалось смести столько пыли со старинныхъ отечественныхъ лѣтописей, какъ творцу *Генриха IV* и двухъ *Ричардовъ*; *Гомеръ* и *Шекспиръ* звали, слѣдовательно, природу и сердце не по одному только инстинкту. Оттого-то ихъ творенія дышатъ поэтической истиною и составляютъ наслѣдственное богатство всего человѣчества. А наши молодые поэты? Они знаютъ природу и сердце лишь по наслышкѣ: вотъ почему и творенія ихъ представляютъ не исторію природы и сердца, а различныя исторіи о природѣ и о сердцѣ. Неестественность и нелѣпость составляютъ ихъ отличительное качество. Возьмемъ за *Борскаго*: какъ неудачно

состеганы кусочки, изъ которыхъ счита сія поэмка; рука художника не умѣла даже прикрыть швовъ, которые вездѣ въ глаза мечутся. *Владимиръ* есть единственный герой, или лучше единственное живое *лицо* поэмы: ибо всѣ прочія суть *восковыя фигуры*. Его характеръ долженъ, слѣдовательно, быть средоточіемъ, изъ котораго должна развиваться вся поэма. Спрашивается: что это за характеръ?... Господь одинъ знаетъ. Въ *первой главѣ первой части Владимиръ* представляется состарѣвшимся юношею: по крайней мѣрѣ онъ такъ говоритъ самъ о себѣ:

.. Едва довѣрчивую младость
До половины ожилъ я,
Ужь знаю тягость бытія
И сердцу чуждо слово: радость!

Непонятно, отчего онъ такъ скоро состарѣлся. Его любовь не была любовью обманутая, разочарованная, безнадежная. Правда, онъ преслѣдуемъ былъ гнѣвомъ раздраженного отца; но сей гнѣвъ не раздражался еще надъ нимъ въ убійственномъ проклятіи. Это доказываютъ собственные чувства его при вскрытіи роковаго письма, заключающаго послѣднюю волю отца его:

. долго онъ,
Въ волненьи страха перемѣнномъ,
Не смѣетъ робкою рукой
Раскрыть бумаги роковой.
Отца таинственныя строки
Его тревожатъ и страшатъ:
Черты завѣтныя хранить,
Быть можетъ, горькіе *упреки!*

Упреки!—слышите ли: не болѣе?... Это все, что только могъ онъ представить себѣ ужаснѣйшаго при видѣ таинственнаго завѣщанія. До того—онъ и о нихъ мало думалъ. Его тревожили только одни любовническія сомнѣнія о вѣрности Елены.

Не разъ, сомнѣвьямъ предана,
Моя душа изнемогла:
Теперь.... опять.... но вѣтъ, не знала
Притворства хитраго *она!*...

«Статочное ли дѣло, чтобы подобныя сомнѣнія, которыя, по свидѣтельству опытныхъ знатоковъ любви, не разрушаютъ, а питаютъ блаженство любящихъ сердце, могли «разоблачить до ужасной *наготы* всю жизнь» для *Владимира*?... И если бы это была правда, если, по собственному сознанію *Владимира*, въ *крови* его уже не было.

.... Жара первыхъ впечатлѣній,

то какъ бы онъ, угрожаемый проклятіемъ скончавшагося отца, могъ сказать *въ ту же пору:*

Но если долго такъ она (*Елена*)
Объту пребыла вѣрна,
Ее отвергнуть я не смѣю!
Я на *преступную* главу
Проклятій *новыхъ* не зову!

Нѣтъ! это не исторія сердца! Какъ бы, однако, то ни было, при окончаніи *первой* части поэмы *Владиміръ* женится. — Замѣтимъ, что сія первая, *седмиглавая*, часть есть не болѣе, какъ длинныя сѣни съ переходами ко второй, *пятиглавой*, части составляющей главный корпусъ всего поэтическаго зданія *Борскаго*. И что же сія *вторая* часть? Тѣ же противорѣчія, та же невѣроятность, та же невозможность!... Бракъ для *Елены* есть источникъ несчастія: она не можетъ изгнать изъ своей памяти того страшнаго мгновенія, когда.

... озаренъ свѣчей вѣнчальной,
Ея супругъ, у алтара,
Стоялъ недвижный, думы полный,
И принявъ, блѣдный и безмолвный,
Лобзанья жаркія ея.

Разстерзанное сердце ея предается подозрѣніямъ ревности. Это очень естественно. Не возможно также было и *Владимиру*, коего несчастная *подозрительность* уже извѣстна, отозваться подобнымъ чувствомъ на неизяснимую тоску *Елены*. Но естественно ли, вѣроятно ли, возможно ли по законамъ самаго необузданнаго поэтическаго своеволія, чтобы послѣ дышащаго истиннымъ огнемъ страсти разговора *Елены* съ *Владиміромъ*, составляющаго содержаніе *второй главы* второй части *Борскаго*, сей послѣдній могъ предаться столь страшному, столь несправедливому, столь неблагоразумному гнѣву:

. . . . „Въ чемъ еще сомнѣнье?
Я ей наскучилъ—мало ей
И дружбы и любви моей!
Быть можетъ, страстію позорной
Давно душа ея горить,
Но мыслить: мужа усыпить
Она любовью притворной....
Да, это вѣрно! мнѣ она
Не даромъ Римъ напоминала!
Она мечтала—та страна
Меня давно очаровала
И увлечетъ опять меня....
Ошиблась!—Здѣсь останусь я!
Я вижу замыселъ коварной—
Еще *открытие* одно—
И пусть я гибну—все равно,—
Я не щажу неблагодарной!...

И это *открытие*?... Это *открытие*, от котораго зависѣла жизнь или смерть—
сколь ничтожно!... Бредъ *лунатика*... бредъ безсвязный, безмысленный, без-
жизненный —и...

И вотъ сверкнуло лезвее
И кровь *Елены* на кинжалѣ—
И рана въ сердцѣ у нее!

Не всякъ ли видить, что поэту хотѣлось только довести *Владимира* до убійства
и до самоубійства, во что бы то ни стало!... Онъ и успѣлъ въ томъ! Но ка-
кимъ новымъ фактомъ, какимъ новымъ открытіемъ можетъ все это обогатить
исторію сердца?... Какъ вамъ угодно, гг. *романтики*, а намъ, слѣпымъ людямъ,
кажется, что ежели истиннаго знаніе *природы* и *сердца* разрождается по-
добными слѣдствіями, то оно—никуда не годится!

II.

Къ стр. 184.

ПЕРВЫЯ ПОСЛѢДСТВІЯ ПЕРВОЙ СТАТЬИ ЭКСЪ-СТУДЕНТА НАДОУМКО.

№ 21 «Вѣстника Европы» 1828 г., въ которомъ было помѣщено
начало статьи «Литературныя опасенія», вышелъ 14 ноября; пер-
вымъ вышедшимъ послѣ того номеромъ «Телеграфа» былъ 20-й,
явившійся 28 ноября, въ одинъ день съ № 22 «Вѣстника Европы»,
въ которомъ было окончаніе статьи Надоумко. Полевой слѣпшилъ
съ перваго же разу оборвать выскочку, рѣшившагося заговорить
такъ дерзко, и хотѣлъ внушить ему надлежащій страхъ, не ожидая,
какъ видимъ, окончанія его «Опасеній».

Тирада «Телеграфа» составляла эпизодъ въ общемъ обзорѣни
журналовъ. Полевой не считалъ нужнымъ входить въ подробныя
объясненія съ писателемъ, еще не имѣющимъ извѣстности, и, упо-
мянувъ о немъ кратко и презрительно, главныя свои нападенія
обратилъ на Каченовскаго, котораго, какъ видно, считалъ и глав-
нымъ виновникомъ «Литературныхъ опасеній». Каченовскій, какъ
извѣстно, былъ главнымъ врагомъ романтиковъ, и Полевому есте-
ственно было предполагать, что онъ подучилъ или заставилъ На-
доумко написать дерзкую статью. Вотъ тирада «Телеграфа», очень
интересная по своей ѣдкости:

(„Телеграфъ“ 1828 г. № 20. Стр. 490—493).

Извѣстно, что съ давняго времени „Вѣстникъ Европы“ упалъ, валился,
и нынѣшній годъ, въ кунныхъ мордакахъ и ученическихъ изслѣдованіяхъ объ
исторіи русской, всѣ думали слышать послѣдній вздохъ „Вѣстника Европы“...
Но духъ перемѣвъ грянулъ и надъ нимъ, и 16 доля № 18 занята объявленіемъ:
„Желаю еще потрудиться, беру на свою отвѣтственность составленіе и печат-

таніе"... Все это возбуждает какое-то унизительное чувство при мысли, что *такъ* говорит издатель журнала, 26 лѣтъ издающагося и—падающаго. Издатель увѣряетъ, что въ неизмѣримой области исторіи едва проложены тропы; „съ другой стороны видимъ безпомощное состояніе литературы, усилія партій водрузить свои знамена на землѣ, которая не была воздѣлываема ихъ трудами. Законы словесности молчатъ при звукахъ журнальной полемики. Надобно, чтобы голосъ ихъ доходилъ до слуха любознательнаго, который не услаждается звуками кимвала бряцающаго и мѣди звенящей“. Слѣдуютъ обѣщанія, какія всегда даетъ и не исполняетъ издатель „Вѣстника Европы“. Но до обѣщаній его дѣло читателямъ, а не намъ. Мы напоминаемъ только „Вѣстнику Европы“, что не такъ должно ему братья за законы словесности. Если бы онъ, старецъ по лѣтамъ, признался въ незнаніи своемъ, принялся за дѣло скромно, поучился, бросилъ свои смѣшныя предразсудки, заговорилъ голосомъ безпристрастія, мы всѣ охотно уважили бы его сознаніе въ слабости, желаніе учиться и познавать истину, всѣ охотно стали бы слушать его.

Но что сдѣлалъ до сихъ поръ издатель „Вѣстника Европы“? гдѣ *ею* права и на какой воздѣланной его трудами землѣ онъ водрузить свои знамена? гдѣ, за какимъ океаномъ эта обтѣлованная земля? Юноши, обогнавшіе издателя „Вѣстника Европы“, не виноваты, что они шли впередъ, когда издатель „Вѣстника Европы“ засѣлъ на одномъ мѣстѣ и неподвижно просидѣлъ болѣе 20 лѣтъ. Дивиться ли, что теперь „Вѣстнику Европы“ видятся чудныя распри, грезятся кимвалы бряцающіе и мѣдь звенящая?

Съ 1805 года нынѣшній издатель „Вѣстника Европы“ началъ свое дѣло и—теперь только задумалъ, что уже время трудиться самому. Оспаривая у другихъ право литературнаго суда, онъ даетъ поводъ у него потребовать доказательствъ на *ею* права: гдѣ они?

Журнальныя статейки, выходы на Карамзинныхъ, Жуковскихъ, Буле, Калайдовичей, подложныя диссертациі изъ чужихъ матеріаловъ, передѣлка статей Баузе, переводъ вздорнаго романа („Тереза и Фальдони“), перекроеніе съ польскаго „Хрестоматіи“ Якобса, смѣшныя споры, коими пестрился иногда „Вѣстникъ Европы“—вотъ все чѣмъ утѣлалъ себя издатель „Вѣстника Европы“ дорогу въ храмъ литературнаго бессмертія, въ теченіе 25 лѣтъ! Ни одной книги, достойной вниманія, ни одной самобытной замѣчательной статьи въ 25 лѣтъ—и г. издатель говоритъ о кимвалахъ бряцающихъ и мѣди звенящей!

Впрочемъ, посмотримъ: можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ „Вѣстникъ Европы“ вдругъ оживится, возстанетъ... Но нѣтъ! кажется, это уже невозможно. Въ № 21 сего года едва ли не начато преобразование, и—безъ смѣха нельзя читать испещренной греческими, латинскими, французскими, нѣмецкими цитатами, статьи о литературѣ русской. Въ греческомъ эпиграфѣ въ трехъ строкахъ пять ошибокъ (самъ издатель „Вѣстника Европы“ знаетъ по гречески очень плохо: на это есть вѣрныя доказательства; а г. Надуумко, сочинитель статьи, какъ студентъ, разумѣется, не большой знатокъ греческихъ трагиковъ), и самое лучшее въ статьѣ есть то, что говоритъ сочинителю разговаривающее съ нимъ лицо: „не стыдно ли тебѣ такъ далеко отстать отъ своего вѣка и перетряхивать на бездѣлье старинную труху!“ Впрочемъ, эта драгоцѣнная статья стоитъ особливаго разбора.

Статья «Телеграфа» подписана была псевдонимомъ «Бенигна». Каченовскій имѣлъ слабость отвѣчать на нее слѣдующимъ курьезнымъ примѣчаніемъ къ статьѣ Надоумко «Откликъ съ Патриаршихъ Прудовъ».

Здѣсь приличнымъ почитаю обвинить, что препираться съ Бенигною я не имѣю охоты, отказавшись навсегда отъ безплодной полемики; а теперь не имѣю на то и права, предпринявъ другія мѣры къ охраненію своей личности отъ игриваго произвола сего Бенигны и всѣхъ прочихъ. Я даже не читалъ бы статьи Телеграфической, еслибъ не былъ увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и къ достоинству мѣста, при которомъ имѣю счастье продолжать оную. *Рдръ.*

Черезъ нѣсколько времени послѣ того, какъ жалкая попытка Каченовскаго оградиться тѣмъ, чѣмъ не слѣдуетъ и невозможно оградиться въ спорахъ чисто литературныхъ, получила рѣшеніе какого заслуживала: Пушкинъ напечаталъ въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» 1830 года свою превосходно написанную статью, которую приводимъ здѣсь вполнѣ, съ нѣкоторыми поясненіями. Вотъ первая половина ея:

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ЛѢТОПИСЕЙ.

Распря между двумя извѣстными журналистами надѣлала шуму. Постараемся изложить исторически все дѣло, *sine ira et studio*.

Въ концѣ минувшаго года, редакторъ „Вѣстника Европы“ желая въ слѣдующемъ 1829 году потрудиться еще и въ качествѣ *издателя*, объявилъ о томъ публикѣ, все еще худо понимающей различіе между сими двумя ученными званіями. Убѣдившись единогласнымъ мнѣніемъ критиковъ въ односторонности и скудости „Вѣстника Европы“, сверхъ того, „движимый глубокимъ чувствомъ состраданія, при видѣ безпомощнаго состоянія литературы“, онъ обѣщаль „употребить наконецъ свои старанія, чтобы сдѣлать журналъ сей обширнѣе и разнообразнѣе“. Онъ надѣялся „отнынѣ далѣе видѣть, свободнѣе соображать и рѣшительнѣе дѣйствовать“. Онъ собирался „пуститься въ неизмѣримую область бытописанія“, по которой Карамзинъ, какъ всѣмъ извѣстно, „проложилъ тропинку, теряющуюся въ тундрахъ безплодныхъ“. — „Предполагаю, работать самъ—говорилъ почтенный редакторъ—не отказывая, однакожъ, и другимъ литераторамъ участвовать въ трудахъ моихъ“. Сія позднія, но тѣмъ не менѣе благія намѣренія, сія великодушная снисходительность къ соотрудникамъ тронули и обрадовали насъ чрезвычайно. Приятно было бы намъ привѣтствовать первые успѣхи знаменитаго редактора „Вѣстника Европы“. Его глубокія познанія (думали мы), столь извѣстныя намъ по слуху, дадутъ плодъ во время свое (въ нынѣшнемъ 1829 году). Свѣтильникъ исторической его критики озарить вышеупомянутыя тундры области бытописанія, а законы словесности „умолкшіе при звукахъ журнальной полемики“, заговорятъ устами ученаго редактора. Онъ не ограничитъ своихъ глубокомысленныхъ изслѣдованій замѣча-

ниями о заглавномъ листѣ „Исторіи Государства Россійскаго“ или даже разсужденіями о кунныхъ мордахъ, но вѣрнымъ взоромъ обвинить наконецъ твореніе Карамзина, опѣнить истину его разтѣсканій, указать источники новыхъ соображеній, дополнить недосказанное. Въ критикахъ собственно литературныхъ мы не будемъ слышать то брюзгливаго ворчанья какого нибудь стараго педанта, то непристойныхъ криковъ пьянаго семинариста. Критики г. Каченовскаго должны будутъ имѣть рѣшительное вліяніе на словесность. Молодые писатели не будутъ ими забавляться, какъ пошлыми шуточками журнальнаго гаера. Писатели извѣстные не будутъ ими презирать, ибо услышатъ окончательный судъ своимъ произведеніямъ, оцѣненнымъ ученостью, вкусомъ и хладнокровіемъ.

Можемъ смѣло сказать, что мы ни единой минуты не усомнились въ исполненіи плановъ г. Каченовскаго, изложенныхъ поэтическимъ слогомъ въ газетномъ объявленіи о подпискѣ на „Вѣстникъ Европы“. Но г. Полевой, долгое время наблюдавшій литературное поведеніе своихъ товарищей - журналистовъ, худо повѣрилъ новымъ обѣщаніямъ „Вѣстника“. Не ограничиваясь безмолвными сомнѣніями, онъ напечаталъ во 2-й книжкѣ „Московского Телеграфа“ прошедшаго года статью, въ которой сильно напалъ на почтеннаго редактора „Вѣстника Европы“. Давъ замѣтить неприличіе нѣкоторыхъ выраженій употребленныхъ, вѣроятно, неумышленно, г. Каченовскимъ, онъ говоритъ:

„Если бы онъ („Вѣстникъ Европы“), старецъ по лѣтамъ, признался въ „незнаніи своемъ, принялся за дѣло скромно, поучился, бросилъ свои смѣшныя „предразсудки, заговорилъ голосомъ безпристрастія, мы всѣ охотно уважали бы „его сознаніе въ слабости, желаніе учаться и познавать истину, всѣ охотно „стали бы слушать его“.

Странныя требованія! Въ лѣтахъ „Вѣстника Европы“ уже не учатся и не бросаютъ предразсудковъ закоренѣлыхъ. Скромность, украшеніе сѣдинъ, не есть необходимость литературная; а если сознанія, требуемыя г. Полевымъ, и заслуживаютъ какого нибудь уваженія, то можно ли намъ оныя слушать изъ устъ почтеннаго старца безъ болѣзненнаго чувства стыда и состраданія?

„Но что сдѣлалъ до сихъ поръ издатель „Вѣстника Европы?“—продолжаетъ г. Полевой.—Гдѣ *ею* права и на какой воздѣланной *ею трудами* землѣ „онъ водрузитъ свои знамена? гдѣ, за какимъ океаномъ эта обѣтованная „земля? Юноши, обогнавшіе издателя „Вѣстника Европы“, не виноваты, что „они шли впередъ, когда издатель „Вѣстника Европы“ засѣлъ на одномъ мѣстѣ и неподвижно просидѣлъ болѣе 20 лѣтъ. Дивиться ли, что теперь „Вѣстнику Европы“ видятся чудныя распри, грезятся кимвалы бряцающіе и мѣдъ „звенящая?“

На сіе отвѣтствуемъ:

Если г. Каченовскій, не написавъ ни одной книги, достойной нѣ котораго вниманія, не напечатавъ, втеченіе 26 лѣтъ, ни одной замѣчательной статьи спискаль, однакожь, себѣ безсмертную славу, то чего же должно намъ ожидать отъ него, когда наконецъ онъ примется за дѣло не на шутку? Г. Каченовскій просидѣлъ 26 лѣтъ на одномъ мѣстѣ,—согласенъ; но какъ могли юноши обогать его, если онъ ни зачѣмъ и не гнался? Г. Каченовскій ошибочно сч-

диль о музыкѣ Верстовскаго, но развѣ онъ виновать? Г. Каченовскій перевелъ „Терезу и Фальдоня“—что за бѣда?

Доселѣ казалось намъ, что г. Полевой неправъ, ибо обнаруживаетъ какое-то пристрастіе въ замѣчаніяхъ, которыя съ перваго взгляда являются довольно основательными. Мы ожидали отъ г. Каченовскаго возраженій неоспоримыхъ или благороднаго молчанія, каковымъ нѣкоторые извѣстные писатели всегда отвѣтствовали на неприличныя и пристрастныя выходки нѣкоторыхъ журналистовъ. Но сколь изумились мы, прочитавъ въ № 24-мъ „Вѣстника Европы“ слѣдующее примѣчаніе редактора къ статьѣ своего почтеннаго сотрудника, г. Надоумки (одного изъ великихъ писателей, приносящихъ истинную честь и своему вѣку и журналу, въ коемъ они участвуютъ):

(Выписано примѣчаніе Каченовскаго къ отвѣту Надеждина на статью Бенигны, приведенное нами выше, на стр. 212).

Сіе загадочное примѣчаніе привело насъ въ большое безпокойство. Какія „мѣры къ охраненію своей личности отъ игриваго произвола г. Бенигны“ предпринялъ почтенный редакторъ? Что значить, „игривый произволъ г. Бенигны?“ что такое: „былъ увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и достоинству мѣста?“ (Впрочемъ, смыслъ послѣдней фразы донынѣ остается темень, какъ въ логическомъ, такъ и въ грамматическомъ отношеніи).

Многочисленные почитатели „Вѣстника Европы“ затрепетали, прочитавъ сіи мрачныя, грозныя, безпощадныя строки. Не смѣли вообразить, на что могло рѣшиться рыцарское негодованіе Міхаила Трофімовича. Къ счастью, скоро все объяснилось...

Какимъ образомъ объяснилось дѣло, и въ чемъ оно состояло, статья Пушкина не говоритъ. Полевой (въ разборѣ „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“) намекаетъ, что въ этомъ мѣстѣ статьи есть довольно значительный пропускъ. Въ чемъ состояла сущность дѣла, изложено было статейкою одной петербургской газеты о ссорѣ нѣкоего китайскаго журналиста-мандарина съ другимъ журналистомъ, который не былъ мандариномъ. Статью эту перепечаталъ въ свое время „Телеграфъ“. (1829 г. № 5). Ея содержаніе таково: китайскій журналистъ Гай-Чанъ жаловался на другаго китайскаго же журналиста Чуна за то, что Чунъ доказалъ въ своемъ журналѣ, что онъ, Гай-Чанъ, „ничего не знаетъ и ничего хорошаго не сочинилъ“; въ доказательство своихъ знаній, Гай-Чанъ представилъ Хань-Линю, ученому собранію южной столицы Небесной имперіи, членомъ котораго онъ служитъ, „золотой шарикъ своей мандаринской шляпы, четыре жалованья ему павлиньи пера и двѣнадцать большихъ пуговицъ съ изображеніемъ дракона“; ученое собраніе Хань-Линь убѣдившись этими доказательствами учености рѣшило, что Чунъ своей критикою „обидѣлъ личную честь мандарина-журналиста Гай-Чана и достоинство его золотыхъ шариковъ, павлиньихъ перьевъ и большихъ позолоченныхъ пуговицъ, и тѣмъ нарушилъ правила пяти добродѣтелей, шести обязанностей и семи приличій“, потому ученое сословіе Хань-Линь за оскорбленіе своего сочлена Гай-Чана жаловалось палатѣ стиховъ и прозы южной столицы; но въ палатѣ стиховъ и прозы мѣняла объ этомъ

дѣлѣ были разногласны; потому палата стиховъ и прозы южной столицы представила затруднительный вопросъ на разрѣшеніе палаты перемоній сѣверной столицы; палата перемоній нашла справедливымъ сужденіе тѣхъ членовъ палаты стиховъ и прозы, которые полагали, что мнѣніе ученаго сословія Хань-Линя неосновательно, и что „можно быть набитымъ невѣждою, нося золотые шарикъ не только на верхушкѣ шляпы, но и на концѣ носа и на оконечностяхъ всѣхъ двадцати пальцевъ, и имѣя сверхъ того все тѣло покрытое павильными перьями“, и что журналистъ Чунъ, говорившій исключительно о литературныхъ занятіяхъ журналиста-мандарина Гай-Чана, нимало не оскорбилъ ни личной его чести, ни его шариковъ, перьевъ и пуговицъ, а потому и не подлежитъ осужденію.—Короче и еще яснѣе дѣло изложено въ знаменитой эпиграмѣ Пушкина, которая помѣщена была въ „Телеграфѣ“ 1829 года:

Обиженный журналами жестоко,
 Зонль Пахомъ печалился глубоко,
 Вотъ подалъ онъ на цензора доносъ;
 Но цензоръ правъ. Намъ смѣхъ—Зонлу носъ.
 Иная брань, конечно, неприличность.
 Нельзя писать: *такой-то де старикъ*
Козель въ очкахъ, пятавый клеветникъ,
И зонль, и подлъ—все это будетъ личность;
 Но можете печатать, напримѣръ,
 Что „*господимъ парнаскій старовѣръ*
 (Въ своихъ статьяхъ) безмыслицы ораторъ,
 Отмѣнно вяль, отмѣнно скучновать,
 Тяжеловать и даже глуповать“:
 Тутъ не лицо, а просто литераторъ.

Зонломъ назывался Каченовскій собственно потому, что осмѣлился говорить, будто бы „Исторія Государства Россійскаго“ Карамзина не есть твореніе идеальнаго совершенства, а имѣетъ въ ученомъ отношеніи, нѣкоторые недостатки. Долго лежала за то на Каченовскомъ ученая опала, какъ до сихъ поръ лежитъ за то же на Полевомъ, который черезъ нѣсколько лѣтъ рѣшился сказать то самое, за чтѣ прежде укорялъ Каченовскаго. Съ Каченовскаго теперь опала снята, благодаря прекрасному заступничеству послѣдователей новаго воззрѣнія на русскую исторію, развитаго гг. Соловьевымъ, Кавелинымъ и другими. Заслуги Каченовскаго въ русской исторіи признаны. Не пора ли сказать, что и въ „Исторіи Русскаго Народа“ Полеваго есть свои хорошія, и даже очень хорошія, стороны? Этого требовала бы справедливость. Здѣсь, впрочемъ, должны мы о Каченовскомъ замѣтить, что его важнѣйшіе труды явились послѣ того, какъ написана статья о немъ въ „Телеграфѣ“, и потому, признавая важность ихъ, мы находимъ статью Полеваго въ сущности справедливою. Сдѣлавъ эти замѣчанія, казавшіяся намъ нужными, помѣщаемъ вторую половину статьи Пушкина.

Успокоившись насчетъ ужаснаго смысла вышепомянутаго примѣчанія, мы сожалѣли о бесполезномъ дѣйствіи почтеннаго редактора. Всѣ предвидѣли послѣдствія оного. Въ статьѣ г. Полеваго личная честь г. Каченовскаго не была оскорблена. Говоря съ неуваженіемъ о его занятіяхъ литературныхъ, издатель „Московскаго Телеграфа“ не упоминалъ ни о его службѣ, ни о тайнахъ домашней жизни, ни о качествахъ его души.

Между тѣмъ ожесточенный издатель „Московскаго Телеграфа“ напечаталъ другую статью, въ коей дерзновенно подтвердилъ и оправдалъ первыя свои показанія. Вся литературная жизнь г. Каченовскаго была разобрана по годамъ, всѣ занятія оцѣнены, всѣ простодушныя обмолвки выведены на позоръ. Г. Полевой доказалъ, что почтенный редакторъ пользуется славой ученаго мужа, такъ сказать, на честное слово, а донинѣ, кромѣ переводовъ съ переводовъ и кой-какихъ заимствованныхъ кое-гдѣ статей, ничего не произвелъ. Скучность, болѣе достойная сожалѣнія, нежели укоризны! Но что всего важнѣе, г. Полевой доказалъ, что Михаилъ Трофімовичъ нѣсколько разъ дозволялъ себѣ личности въ своихъ критическихъ статейкахъ, что онъ упрекалъ издателя „Московскаго Телеграфа“ виновнымъ его заводомъ (пятномъ ужаснымъ, какъ извѣстно всему нашему дворянству!), что онъ неоднократно съ упрекомъ повторялъ г. Полевому, что сей послѣдній—купецъ (другое, столь же ужасное обвиненіе!), и все сіе въ непристойныхъ, оскорбительныхъ выраженіяхъ. Тутъ уже мы приняли совершенно сторону г. Полеваго. Никто, болѣе нашего, не уважаетъ истиннаго, родоваго дворянства, коего существованіе столь важно въ смыслѣ государственномъ: но въ мирной республикѣ наукъ какое намъ дѣло до гербовъ и пыльных грамотъ? Потомки Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессоръ, честный аудиторъ и странствующій купецъ равны передъ законами критики. Князь Вяземскій уже далъ однажды замѣтить неприличность сихъ аристократическихъ выходокъ; но не худо повторять полезныя истины.

Однакожь, таково дѣйствіе долговременнаго уваженія! И тутъ мы укоряли г. Полеваго въ запальчивости и неумѣренности. Мы съ умиленіемъ взирали на почтеннаго старца, разстроенаго до такой степени что для поддержанія ученой своей славы принужденъ онъ былъ обратиться къ русскому букварю и преобразовать оный удивительнымъ образомъ. Утѣшительно для насъ, по крайней мѣрѣ, то, что свѣдѣнія Михаила Трофімовича въ греческой азбукѣ не подлежатъ уже никакому сомнѣнію.

Съ нетерпѣніемъ ожидали мы развязки дѣла. Наконецъ водворилось спокойствіе въ области словесности и прекратилась междоусобная война миромъ, равно выгоднымъ для побѣдителей и побѣжденных...

III.

Къ стр. 202.

ЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ «НОВАГО ЖИВОПИСЦА ОБЩЕСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ» (ПРИ «ТЕЛЕГРАФЪ»).

(«Телеграфъ» 1832 г. «Нов. Живописецъ», № 24).

Заключительная статья „Новаго Живописца“ состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: „Бесѣда у стараго литератора“, „Бесѣда у молодого литератора“, „Разговоръ послѣ бесѣдъ съ литераторами“. („Новый Живописецъ“, №№ 17, 21 и 1). Самая форма—совершенное подражаніе статьямъ Надоумки. Два друга, еонидъ и Филоея, отправляются сначала на литературный вечеръ къ Родосову, у котораго собираются старыя литераторы. Тамъ читаютъ оды, посланія адригалы, говорятъ о лагарповыхъ правилахъ и проч.,—все это скучно, но совершенно прилично и чинно, совершенно безвредно и отчасти даже хорошо своей усыпительности. Оттуда друзья идутъ къ одному изъ своихъ друзей, молодому литератору Сплетнину. Они предполагали застать его дома одного; но у него также собралось общество. Это повергаетъ въ ужасъ разсудительнаго Филоея.

„Уйдемъ отсюда назадъ!“ говоритъ онъ, когда, едва вошедши въ залъ слышалъ шумъ гостей, собравшихся въ другой комнатѣ.—Какой вздоръ! возмущаетъ добродушный Леонидъ: „ты слышишь по голосамъ, что здѣсь создался сокъ лучшей молодежи. Вѣдь здѣсь общество не хуже Родосова“.—Куже, отвѣчаетъ Филоея:—тамъ только скучно, а здѣсь несносно; тамъ только смѣешься, а здѣсь невольно разсердишься“. Но выходитъ Сплетнинъ и начинаетъ рассказывать литературные слухи; выходятъ гости, Талантинъ и другіе, кричатъ, что Пушкинъ выше Байрона, что философія, эстетика и вообще наука—вздоръ, лишняя тягость для поэта, что поэтъ не подчиненъ въ своемъ творчествѣ никакимъ законамъ, кромѣ собственной необузданной фантазіи, называютъ Талантина гениемъ, и т. д.,—однимъ словомъ, повторяютъ почти то же самое, что у Надоумки говорили Тлѣвскій, Флюгеровскій, Чадскій; толкуютъ, что люди прежнихъ поколѣній ничто предъ ними, людьми новаго поколѣнія, что Державинъ писалъ дрянно, что литература наша громадными шагами бѣжитъ къ высочайшему совершенству. Всѣ эти шумные толки ронсходятъ подъ звонъ стакановъ, подъ хлопанье пробокъ шампанскаго. Вся эта бесѣда точнѣйшій сколокъ съ „Сонмища Нигилистовъ“ Надоумки. Разгрозенные дикою безтолковостью, буйною пустотою молодыхъ литераторовъ друзья возвращаются домой. Леонидъ въ отчаяніи отъ жалкаго положенія нашей бѣдной литературы. „Да, это грустно, это нестерпимо!“ съ горестью восклицаетъ онъ.—Филоея улыбается и насмѣшливо говоритъ:

„Ф. Послушай Леонидъ, не спросить ли у тебя:

Скажи, что сдѣлалось съ тобой?

Л. Право, твои шутки совсѣмъ не кстати, и вотъ, позволь мнѣ сказать, два изъ главныхъ причинъ жалкаго положенія литературы русской: съ нею *негда и всѣ шутать*.

Ф. Я готовъ доказывать противное. Мнѣ кажется, главная бѣда въ томъ — что на нее *слишкомъ важно смотрять*.

Л. Но какъ же иначе? Литература—это важная часть общественной жизни, это голосъ общества,—и ты хочешь, чтобы мы не уважали литературы?

Ф. Пусть же это уваженіе походитъ на сознаніе собственныхъ достоинствъ, какое всегда должно таиться въ душѣ человѣка умнаго и образованнаго. Но что такое литература и литераторы въ русской землѣ? Наши литераторы, какъ дѣти, ѣздятъ на палочкахъ верхомъ и высоко задираютъ головы, думая, что они рыцари и великіе паладины.

Л. Мнѣ досадно слышать отъ тебя такую холодную насмѣшку насчетъ предмета собственныхъ нашихъ занятій. Можемъ ли мы надѣяться создать чтонибудь хорошее, если не будемъ уважать предмета трудовъ своихъ? И можно ли съ такимъ убійственнымъ хладнокровіемъ говорить о томъ поприщѣ на которомъ являлися Державины, Ломоносовы, Фонвизины, Крыловы, Грибоѣдовы?

Ф. Продолжай; не забудь еще когонибудь изъ этихъ заветныхъ лебедей, по которымъ ты думаешь, что лѣто литературы нашей настало... Эти случайности, эти преждевременныя искры волкана, изрѣдка вылетавшія изъ могучей души русскаго народа и предвѣщающіе намъ, что будетъ нѣкогда литература русская, почитаемъ мы уже страшнымъ изверженіемъ... Какая тутъ литература? Всѣ эти люди были-ль слѣдствія общаго образованія и стремленія? Нѣтъ это мимолетныя явленія людей,—геніальныхъ, если угодно, но они не образуютъ собою литературы, а потому...

Л. Не хочешь ли ты сказать, что литературы русской нѣтъ?

Ф. Этого я не хочу сказать. Въ самомъ младенествѣ народовъ, даже когда они не знаютъ грамоты, начала литературъ у нихъ уже существуютъ.

Л. Слѣдственно, и у насъ *есть литература!*

Ф. Нѣтъ, *есть начало литературы*, опыты, а не полныя явленія.

Л. Чѣмъ ты докажешь это?

Ф. И обществомъ нашимъ, и самими литераторами, и такъ называемою русскою литературою.... Тогда только назову я литературу голосомъ общества, когда литература будетъ необходимою потребностью общества. Нашему обществу... право, мало дѣла до литературы. Довнынъ книга для русскаго человѣка такая же вещь, какъ игрушки дѣтскія, или такое же занятіе, какъ гулянье подъ Новинскимъ. Такъ же хотять почитать, какъ покупаютъ дѣтямъ коньковъ и куколокъ, и ѣздятъ смотрѣть паяцовъ.

Л. Ну, пусть такъ. Обратимся къ литераторамъ.

Ф. Да гдѣ они? Я не вижу, не знаю литераторовъ. Я вижу ученыхъ по званію, то есть учителей, въ высшемъ или низшемъ значенія этого слова; свѣтскихъ людей, которые мимоходомъ пишутъ въ альбомы и альманахи какъ играютъ въ вистъ; людей, добывающихъ писаньемъ деньгу, и которые охотно примутся за карты, за ножницы, если только это будетъ имъ прибыльнѣе пера; *чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ, которые отъ скуки, для забавы, для донегъ, кое-что пописываютъ*. Послѣ этого, ты позволишь мнѣ сѣяться какъ

литературною нашею спѣсью и надъ твоею литературною іереміадою.... Все деть своимъ чередомъ. Литературѣ у насъ время еще не пришло.

Л. Время, время! Да время и никогда не прійдетъ....

Ф. Какая нелѣпица! Придетъ оно, милый другъ, и его ничто не остано-вить... И оно идетъ, движется незамѣтно, непрерывно, движеть и насъ съ обою. Посмотри на то, что сдѣлано въ литературѣ съ 1732 по 1832 годъ.... Все это мало, недостаточно; но начало сдѣлано, и *Дмитрій Донской* стоитъ въ такомъ же великомъ разстояніи отъ *Семиры*, въ какомъ отъ него находится *Юрисъ Годуновъ*; *Грибоѣдовъ* съ своимъ *Горю отъ Ума* такъ же выше *Фонвизина* съ его *Недорослемъ*, какъ *Фонвизинъ* былъ выше *Сумарокова* съ его *удовищами*.

Мы уже не доживемъ, милый другъ, до того времени, когда въ Россіи литература займетъ важную степень между общественными отношеніями, когда общество поставитъ литературу въ число необходимостей жизни... Теперь намъ еще некогда и думать объ этомъ. У насъ столько другихъ дѣлъ и занятій. Не тѣшно ли требовать литературы, когда мы едва грамотѣ знаемъ? или созданій великихъ, когда образованіе и просвѣщеніе не даютъ къ тому средствъ?

....Взгляни на общество, опредѣли степень нашего образованія и просвѣщенія, ожидай въ будущемъ, дѣлай самъ что можешь, въ надеждѣ: не мнѣ, а къ *внукамъ* пригодится, а между тѣмъ не требуй, чтобы дитя въ пеленкахъ являло минуетъ. Я нимало не дивлюсь, замѣчая у насъ мелкость литературную и находя повсюду безцвѣтность, холодность, подражательность. Отъ этихъ и пестрыхъ куколъ, отъ этихъ ли человѣчковъ на восковыхъ ножкахъ ждешь высокихъ сильныхъ порывовъ души, глубокаго восторга, самобытныхъ созданій! У нихъ всѣ дѣтскіе пороки! Самохвальство, горделивость, подражательность, все это найдешь ты въ литературѣ нашей, и ни одной добродѣтели, уже ни одного порока взрослого человѣка.... Да что я заговорилъ такимъ языкомъ? Съ литературою русскою надо шутить и смѣяться, потому что на этой сердиться смѣшно и грѣшно. Пусть критика ставитъ иногда русскихъ литераторовъ въ уголъ, за шалости; пусть публика иногда даритъ вниманіемъ къ *стишкамъ и твореньицамъ*, какъ дарятъ дѣтей обновками къ празднику, — и лѣтко!"

— Все это буквальное повтореніе того, что говорилось въ статьяхъ *Наумко*.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Критикою «Телескопа» было положено основаніе критикѣ гоголевскаго періода. Это внутреннее родство мысли выразилось и внѣшнимъ образомъ въ первоначальныхъ отношеніяхъ людей, изъ которыхъ одному досталось на долю начать, а другому—совершить дѣло водворенія у насъ справедливыхъ литературныхъ понятій. Но какъ вполнѣдствіи времени эти люди стали чужды другъ другу, такъ и мысль, черезъ нихъ выражавшаяся, достигнувъ полнаго развитія въ словѣ бывшаго ученика, раскрыла въ себѣ содержаніе, существенно различное отъ того, что обнаруживала въ первыхъ, еще несовершенныхъ своихъ проявленіяхъ у бывшаго учителя. Коренныя черты родства между этими двумя ея фазисами указать очень легко: стоитъ только припомнить общую точку зрѣнія критики Надеждина. Существеннымъ основаніемъ всѣхъ его воззрѣній служили идеи, выработывавшіеся германскою философіею. Сообразно духу этой философіи, онъ разсматривалъ литературу, какъ одно изъ частныхъ проявленій общей народной жизни, въ связи съ другими сторонами жизни; требовалъ, чтобъ она сознала свое назначеніе—быть не праздною игрою личной фантазіи поэта, а выразительницею народнаго самосознанія и одною изъ могущественнѣйшихъ силъ, движущихъ народъ по пути историческаго развитія. Вслѣдствіе такихъ высокихъ понятій о назначеніи литературы, нѣмецкая философія поставляла необходимостію, чтобы въ ея произведеніяхъ значительность идеи, безъ которой форма пуста, соединялась съ художественностью формы, осуществляющей идею. Отъ этихъ эстетическихъ аксіомъ критика гоголевскаго періода никогда не отступала. Напротивъ, чѣмъ болѣе она развивалась, тѣмъ глубже, полнѣе и сильнѣе понимала и выражала эти идеи. Сходство,

какъ видимъ, заключалось въ особенности общаго начала. Оно очень значительно; его можно назвать настоящимъ кровнымъ родствомъ. Различіе было еще гораздо болѣе важно. Оно зависѣло отъ степени развитія этого общаго начала; оно состояло въ глубинѣ и цѣлости возрѣнія, въ послѣдовательности его приложеній и въ важности выводовъ, какіе давало его примѣненіе къ фактамъ, представляемымъ литературою. Чтобы видѣть, какое огромное разстояніе, уже по необходимости, лежавшей въ духѣ времени, не говоря о причинахъ различія, зависѣвшихъ отъ личнаго характера критиковъ, отдѣляло критику гоголевскаго періода отъ критики «Телескопа», надобно сообразить, какому измѣненію подверглись въ своемъ прогрессивномъ движеніи тѣ элементы нашей умственной жизни, изъ взаимнаго проникновенія которыхъ слагается критика, съ той поры, когда кончилась журнальная дѣятельность Надеждина (1834—1836), до той эпохи, когда критика гоголевскаго періода достигла (1844—1847) крайнихъ предѣловъ развитія, положенныхъ ей не столько границами силъ и слишкомъ кратковременной жизни человѣка, бывшаго главнымъ ея представителемъ (силы эти были огромны и раскрывались передъ нами далеко не во всей полнотѣ), сколько границами потребностей и требованій нашей публики. Надобно припомнить ходъ постепеннаго развитія у насъ научныхъ понятій и литературы въ этотъ періодъ времени, очень непродолжительный, обнимающій всего какихъ нибудь двѣнадцать лѣтъ, но ознаменованный въ нашей умственной жизни многими очень важными фактами.

Надеждинъ ввелъ въ наше литературное сознаніе идеи, вырабатанныя нѣмецкою философіею *). Это заслуга очень важная. Но

*) Задолго до Надеждина, нѣмецкая философія имѣла послѣдователей между русскими учеными. Особеннаго вниманія заслуживаетъ то, что ею съ любовью занимались въ нашихъ духовныхъ академіяхъ. По случаю изданія „Логикъ“ Бахмана въ русскомъ переводѣ Надеждинъ говоритъ („Молва“ 1832, № 20), что въ одной изъ духовныхъ академій давно ужъ переведены сочиненія Канта, Шеллинга, Фихте, Якоби. Повднѣ въ Кіевской Духовной Академіи, исторія философій отъ Канта до Регеля преподавалась по извѣстному сочиненію Мишелета (берлинскаго). Имена высокопресвященнаго Филарета, митрополита московскаго, и пресвященнаго Иннокентія одесскаго должны занимать въ исторіи философій у насъ такое же мѣсто, какъ и въ исторіи богословія. Протоіерей Г. П. Павскій, оказавшій незабвенныя услуги богословскимъ наукамъ въ Россіи, заслуживаетъ величайшаго нашего уваже-

Надежди́нъ былъ послѣдователемъ Шеллинга, и если принадлежать — какъ мы говорили, къ тѣмъ изъ учениковъ этого философа, кото— рые развивали его понятія сообразно духу времени, то все, однак— же, въ сущности оставался ученикомъ Шеллинга. Но система этого мыслителя сама по себѣ неудовлетворительна, и главное значеніе ея состоитъ только въ томъ, что она была зародышемъ, изъ кото— раго развилась система Гегеля. Этого философа Надежди́нъ, какъ по всему видно, никогда не признавалъ своимъ руководителемъ, считая его не болѣе, какъ даровитымъ послѣдователемъ Шеллинга. Понятъ Гегеля, который далъ истинный смыслъ и настоящую цѣну неопредѣленнымъ и отрывочнымъ мыслямъ Шеллинга, было представлено уже слѣдующему поколѣнію, обратившемуся къ изученію нѣмецкой философіи отчасти по самостоятельному стремленію, отчасти, конечно, благодаря дѣятельности Надеждина и Павлова. Нѣсколько времени эти юноши абсолютно истинною считали ученіе Гегеля въ такомъ видѣ, какъ излагалъ его этотъ мыслитель. Но скоро познакомились они съ сочиненіями учениковъ Гегеля, которые, съ строгою послѣдовательностію развивая существенныя идеи учителя, отвергли все, что въ его системѣ противорѣчило этимъ основнымъ принципамъ, и наконецъ преобразовали его систему такъ, какъ прежде онъ преобразовалъ систему Шеллинга. Безъ всякаго преувеличенія, надобно сказать, что такъ называемую школу Гегеля образовано было совершенно новое философское

ніа и какъ мыслитель; въ послѣднее время, очень много было говорено о его трудахъ по русской филологіи чрезвычайную важность которыхъ всѣ признаютъ. Но филологія послужила ему только развлеченіемъ отъ занятій богословіемъ и философіею, дающихъ ему еще гораздо болѣе правъ на славу между нашими учеными. Всѣмъ явѣстны заслуги протоіерея Ѳ. А. Голубинскаго, знаменитаго профессора философіи въ Московской Духовной Академіи. Наконецъ назовемъ Ѳ. А. Сидонскаго. Изъ свѣтскихъ ученыхъ, до Надеждина, нельзя не вспомнить о Феселерѣ, Велланскомъ и въ особенности И. Я. Кроненбергѣ и М. Г. Павловѣ. Послѣдній имѣлъ даже значительное вліяніе на молодое поколѣніе, воспитывавшееся въ Московскомъ Университетѣ, и ему быть можетъ, даже болѣе, нежели Надеждину, принадлежитъ слава распространенія любви къ философіи между молодыми литераторами, о которыхъ мы будемъ говорить. Тѣмъ не менѣе, когда выступилъ Надежди́нъ, нѣмецкая философія не только для большинства публики, но и для большей части образованнѣйшихъ писателей нашихъ оставалась еще предметомъ *неслышаннымъ и непостижимымъ*.

ученіе, которому система самого Гегеля служила не болѣе, какъ предшественницею, только въ этомъ ученіи получившею свой смыслъ и оправданіе. Тѣмъ завершилось развитіе нѣмецкой философіи, которая, теперь въ первый разъ достигнувъ положительныхъ рѣшеній, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признавъ тожество своихъ результатовъ съ ученіемъ естественныхъ наукъ, слилась съ общей теоріею естествовѣдѣнія и антропологіею.

Тогда и увлеченіе системою Гегеля, которому навремя совершенно подчинялись молодые русскіе приверженцы нѣмецкой философіи, уступило мѣсто новымъ воззрѣніямъ, высказаннымъ его учениками. Предметъ этотъ имѣетъ высокую важность для исторіи нашей литературы, потому что изъ тѣснаго дружескаго кружка, о которомъ мы говоримъ и душою котораго былъ Н. В. Станкевичъ, скончавшійся въ первой порѣ молодости, вышли или впослѣдствіи примкнули къ нему почти всѣ тѣ замѣчательные люди, которыхъ имена составляютъ честь нашей новой словесности, отъ Кольцова до г. Тургенева. Безъ сомнѣнія, когда нибудь, этотъ благороднѣйшій и чистѣйшій эпизодъ исторіи русской литературы будетъ разсказанъ публикѣ достойнымъ образомъ. Въ настоящую минуту еще не пришла пора для того.

Такимъ образомъ, втеченіе семи или восьми лѣтъ, научныя понятія, на которыхъ должна основываться критика, прошли два великіе фазиса развитія и достигли той окончательной ясности, полноты и послѣдовательности, которой недоставало имъ въ системѣ самого Гегеля, не только въ системѣ Шеллинга. И если Шеллингъ въ настоящее время имѣетъ значеніе только какъ непосредственный учитель Гегеля, то и самъ Гегель, въ свою очередь, имѣетъ значеніе только какъ предшественникъ стройнаго и полнаго ученія, выработаннаго его школою изъ тѣхъ принциповъ, которые въ его системѣ высказывались не болѣе, какъ въ видѣ темныхъ предчувствій, оставались безъ приложеній и даже были подавляемы противорѣчащими ихъ существенному смыслу трансцендентальными понятіями, наслѣдіемъ односторонняго идеализма. Только трудами новѣйшихъ нѣмецкихъ мыслителей философія получила содержаніе, соотвѣтствующее требованіямъ точныхъ наукъ, и основалась, подобно естествовѣдѣнію, на строгомъ анализѣ фактовъ.

Но нѣмецкая философія занималась по преимуществу только

самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы общей системы воззрѣній на міръ были наконецъ найдены ею и приложены къ разъясненію нравственныхъ и отчасти историческихъ вопросовъ; зато другія части науки, не менѣе важныя, оставляемы были въ Германіи безъ особеннаго вниманія,—преимущественно должно сказать это о практическихъ вопросахъ, порождаемыхъ матеріальною стороною человѣческой жизни. Французскихъ мыслителей занимали всегда эти предметы болѣе, нежели нѣмецкихъ, но очень долго не постигались ими во всей глубинѣ и разрѣшались или поверхностнымъ, или фантастическимъ образомъ. Наконецъ, когда результаты нѣмецкой философіи проникли во Францію, а наблюденія, собранныя французами, въ Германію, пришло время искать положительныхъ и точныхъ рѣшеній. Тогда односторонность науки исчезла; ея содержаніе было уяснено относительно всѣхъ ея существенныхъ задачъ. Матеріальныя и нравственныя условія человѣческой жизни и экономическіе законы, управляющіе общественнымъ бытомъ, были изслѣдованы съ цѣлью опредѣлить степень ихъ соответственности съ требованіями человѣческой природы и найти выходъ изъ житейскихъ противорѣчій, встрѣчаемыхъ на каждомъ шагу, и получены довольно точныя рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ жизни. Этотъ новый элементъ также вошелъ въ наше умственное развитіе; критика воспользовалась имъ, и ея основныя воззрѣнія во многихъ случаяхъ получили большую опредѣленность и жизненность.

Таковъ былъ ходъ науки вообще. Мы, на сколько то было возможно, слѣдовали развитію общечеловѣческихъ понятій, которыя подъ конецъ періода, здѣсь обозрѣваемаго, ни мало уже не походили на то, что было намъ извѣстно въ его началѣ. Тѣ отрасли науки, которыя, имѣя предметомъ русскій міръ, должны быть обрабатываемы силами русскихъ ученыхъ, также слѣдали въ этотъ промежутокъ времени очень значительные успѣхи, преимущественно русская исторія, отъ истинныхъ понятій о которой такъ много зависитъ и справедливое пониманіе историческаго хода нашей литературы. Около 1835 года, мы, подлѣ безусловнаго поклоненія Карамзину, встрѣчаемъ, съ одной стороны скептическую школу, заслуживающую великаго уваженія за то, что первая стала хлопотать о разрѣшеніи вопросовъ внутренняго быта, но разрѣшавшую ихъ безъ надлежащей основательности; съ другой—«высшіе

взгляды» Полеваго на русскую исторію, — черезъ десять лѣтъ, ни о высшихъ взглядахъ, ни о скептицизмѣ нѣтъ уже и рѣчи: вмѣсто этихъ слабыхъ и поверхностныхъ попытокъ, мы встрѣчаемъ строго ученый взглядъ новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьевъ и Кавелинъ: тутъ въ первый разъ намъ объясняется смыслъ событій и развитіе нашей государственной жизни. Около того же времени, или нѣсколько раньше, подвергается основательному изслѣдованію вопросъ о значеніи важнѣйшаго явленія нашей исторіи—реформы Петра Великаго, о которой до того времени повторялись только наивныя сужденія Голикова или Карамзина. Нѣтъ надобности объяснять, какъ тѣсно связана съ этимъ дѣломъ участь общаго взгляда на нашу литературу. Изданія Археографической Комиссіи дали каждому возможность изучать русскую исторію по источникамъ. Самые упорные противники всего новаго соглашаются, что изученіе русской исторіи сдѣлало значительные успѣхи втеченіе десяти или двѣнадцати лѣтъ, о которыхъ мы говоримъ.

Но ближайшій предметъ критики, русская литература, измѣнилась еще значительноѣе. Пушкинъ явился въ совершенно новомъ свѣтѣ, когда по смерти его обнародованы были произведенія, въ художественномъ отношеніи превышающія все, что было имъ напечатано при жизни. Гоголь напечаталъ «Ревизора». Явились Кольцовъ и Лермонтовъ. Всѣ прежнія знаменитости померкли передъ этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавшихся подъ вліяніемъ Гоголя. Гоголь издалъ «Мертвыя души». Почти въ одно время явились «Кто виноватъ?», «Бѣдные люди», «Записки охотника», «Обыкновенная исторія», первыя повѣсти г. Григоровича. Переворотъ былъ совершенный. Литература наша въ 1847 году была такъ же мало похожа на литературу 1835 года, какъ эпоха Пушкина на эпоху Карамзина.

Въ литературахъ западной Европы также совершались великія перемѣны. Виктора Гюго, Ламартина и Шатобріана, которыхъ прежде считали величайшими поэтами нашего вѣка, стали находить слишкомъ фальшивыми, приторными или натянутыми, ихъ не только перестали превозносить, перестали даже бранить. Вмѣсто ихъ, первую славою французской литературы явилась Жоржъ Сандъ, съ которой началась совершенно новая эпоха. Въ англійской литературѣ, вмѣсто историческихъ романовъ Вальтера Скотта,

этнографических романов Купера и фешенэбльных издѣлій Бульвера, общее вниманіе привлекли романы Диккенса. Въ нѣмецкой литературѣ не нашлось преемниковъ не только Гете, но даже и Гофману. Въ тридцатыхъ годахъ славу нѣмецкой поэзіи отчасти поддерживалъ Гейне; но скоро и онъ оказался человѣкомъ отсталымъ отъ своего времени; о нѣмецкой беллетристикѣ въ сороковыхъ годахъ не было и слуховъ за границами нѣмецкой земли. Эти факты должны были оказать сильное вліяніе на понятія объ искусствѣ: кто прочиталъ и умѣлъ оцѣнить Диккенса и Жоржа Санда, тотъ не такъ будетъ понимать литературу, какъ поклонникъ Вальтера Скотта и Купера, не говоря уже о Ламартинѣ и Викторѣ Гюго.

Словомъ, все кругомъ совершенно перемѣнилось, и болѣе всего перемѣнились именно тѣ элементы нашей умственной жизни, отъ которыхъ непосредственно зависятъ характеръ и содержаніе критики: научныя понятія, служащія ей основаніемъ, и отечественная литература.

Условія, въ которыхъ дѣйствовала критика гоголевскаго періода, были, какъ видимъ, столь новы, что, по необходимости, возлагаемой самою сущностью дѣла, она должна была раскрывать собою для нашего литературнаго сознанія совершенно новое содержаніе. Понятія, на которыхъ она должна была опираться, факты, о которыхъ должна была судить, до такой степени превышали свою глубину и значительностью все, о чемъ прежде могла говорить русская критика, что всѣ предшествовавшіе ей періоды нашей критики должны были померкнуть въ нашихъ глазахъ, какъ мало-важныя въ сравненіи съ нею.

Главнымъ дѣятелемъ критики гоголевскаго періода былъ Бѣлинскій. Читатели, быть можетъ, извинятъ насъ, что въ настоящей статьѣ мы не даемъ ни біографическихъ свѣдѣній объ этомъ писателѣ, ни даже его характеристики, потому что сообщеніе біографическихъ подробностей не входитъ въ планъ нашихъ «Очерковъ», ограничивающихся только разсмотрѣніемъ произведеній и не вдающихся въ изслѣдованія о частной жизни и личномъ характерѣ писателей. Мы сами первые чувствуемъ неполноту и, такъ сказать, отвлеченность этого плана и утѣшаемся только тѣмъ, что и неполный и сухой разборъ все-таки имѣетъ нѣкоторое, хотя *временное, значеніе*, пока не являются труды болѣе живые и цол-

ные.—Впрочемъ, при изложеніи развитія и смысла критики гоголевскаго періода, быть можетъ, менѣе, нежели въ какомъ бы то ни было другомъ случаѣ, чувствуется потребность въ біографическихъ соображеніяхъ: въ дѣлахъ, имѣющихъ истинно важное значеніе, сущность не зависитъ отъ воли, или характера, или житейскихъ обстоятельствъ дѣйствующаго лица; ихъ исполненіе не обусловливается даже ничьей личностью. Личность тутъ является только служительницею времени и исторической необходимости.

Кто вникнетъ въ обстоятельства, среди которыхъ должна была дѣйствовать критика гоголевскаго періода, ясно пойметъ, что характеръ ея совершенно зависѣлъ отъ историческаго нашего положенія; и если представителемъ критики въ это время былъ Бѣлинскій, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь онъ не таковъ, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себѣ другаго служителя, съ другою фамиліею, съ другими чертами лица, но не съ другимъ характеромъ: историческая потребность вызываетъ къ дѣятельности людей и даетъ силу ихъ дѣятельности, а сама не подчиняется никому, не измѣняется никому въ угоду. «Время требуетъ слуги своего», по глубокому изреченію одного изъ такихъ слугъ.

Итакъ, оставимъ въ сторонѣ личность Бѣлинскаго: онъ былъ только слугою исторической потребности, и съ нашей отвлеченной точки зрѣнія насъ интересуетъ только развитіе содержанія русской критики, во всемъ существенно важномъ съ необходимостью опредѣлявшееся обстоятельствами, созданными исторіею. И если мы будемъ иногда упоминать имя Бѣлинскаго, говоря о той или другой идеѣ, то вовсе не потому, чтобы собственно отъ его личности зависѣло выраженіе этой идеи: напротивъ, въ томъ, что есть существеннаго въ его критикѣ, лично ему, какъ отдѣльному человѣку, принадлежать только тѣ или другія слова, употребленіе того или другого оборота рѣчи, но вовсе не самая мысль: мысль всецѣло принадлежитъ его времени; отъ его личности зависѣло только то, удачно-ли, сильно-ли высказывалась мысль.

Бѣлинскій явился на литературное поприще сотрудникомъ Надеждина, какъ его ученикъ и подражатель. Началъ онъ съ того самаго, на чемъ остановился Надеждинъ—съ чрезвычайно рѣзкаго и горькаго отрицанія всей нашей литературы, до самого Гоголя, который и самъ тогда еще не доказалъ, что его дѣятельность положить конецъ этому отрицанію. Первая значительная статья новаго критика—«Литературныя мечтанія. Элегія въ прозѣ»—помѣщенная въ «Молвѣ» 1834 года, имѣетъ самый мрачный и безпошадный тонъ. Уже заглавіе указываетъ на ея прямое происхожденіе отъ «Литературныхъ опасеній» Надеждина, намекаетъ, что наша такъ называемая литература не болѣе, какъ мечта, и говорить, что думать о ней значитъ наводить на себя тоску. Еще рѣзче высказываютъ общее направленіе статьи эпиграфы, выставленные надъ нею. Ихъ два:

Я правду о тебѣ поразскажу такую,
Что хуже всякой лжи.

Грибоѣдовъ. „Горе отъ ума“.

«Есть-ли у васъ хорошія книги?»—Нѣтъ; но у насъ есть великіе писатели.—«Такъ, по крайней мѣрѣ, у васъ есть словесность?»—Нѣтъ, у насъ есть только книжная торговля». *Баронъ Брамбеусъ*».

Статья, объявляющая о своемъ содержаніи такимъ заглавіемъ и такими эпиграфами, заключаетъ обзоръ всей исторіи нашей литературы отъ ея начала до 1834 года. Нужно-ли говорить, что она совершенно уничтожаетъ ее? Вообще, только четыре писателя по мнѣнію автора, имѣютъ право называться русскими писателями: Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ. Да и тѣ—что такое успѣли сдѣлать? Державина спасло отъ совершенной пустоты только его невѣжество,—а невѣжество можетъ-ли создать что-нибудь хорошее? Пушкинъ показалъ, что у него есть великій талантъ, но не произвелъ ничего, достойнаго своихъ силъ, а теперь (1832—1834) не печатаетъ ничего хорошаго: «теперь онъ умеръ, или, быть можетъ, только обмеръ на время,—судя по «Анджело» и сказкамъ, умеръ». Крыловъ хорошъ въ басняхъ—важное богатство для литературы! Грибоѣдовъ написалъ одну комедію, въ которой главное достоинство—ѣдкость, а не художественность. Итакъ, у насъ еще нѣтъ литературы. Могутъ-ли четыре человѣка состав-

лять литературу, особенно, если явились, какъ то было у насъ, случайно, безъ предшественниковъ и продолжателей? Литература явится у насъ тогда, когда просвѣщеніе укоренится на нашей почвѣ; а теперь намъ рано и думать о такой роскоши. «Теперь намъ нужно ученіе! ученіе! ученіе! а не литература». Тѣмъ же духомъ проникнуто и другое обзорѣніе, явившееся въ «Телескопѣ» черезъ полтора года (1836). Существенная мысль его достаточно выражается самымъ заглавіемъ: «Ничто о ничемъ, или отчетъ г. издателю «Телескопа» за послѣднее полугодіе (1835) русской литературы». Но Гоголь и Кольцовъ («Миргородъ», «Арабески» и «Стихотворенія Кольцова» явились въ 1835 году), уже вынуждаютъ у автора нѣкоторыя уступки въ пользу надежды на близость лучшей будущности. Обоихъ онъ привѣтствовалъ съ восторгомъ, и съ самаго начала, когда самые проникательные изъ другихъ цѣнителей еще не замѣчали Кольцова и отзывались о Гоголѣ съ благосклонною снисходительностью, какъ о человѣкѣ, который пишетъ очень порядочно, онъ уже оцѣнилъ ихъ вполне, увидѣлъ въ ихъ первыхъ произведеніяхъ начало новой эпохи для русской литературы и предсказалъ, какое высокое мѣсто они займутъ въ ней. А, между тѣмъ, Кольцовъ тогда напечаталъ только маленькую тетрадку съ восемнадцатью пьесами, изъ числа которыхъ развѣ шесть или семь были удачны, а Гоголь издалъ только «Миргородъ» и «Арабески», ни «Ревизора», ни бѣльшей половины его повѣстей, ни драматическихъ сценъ еще не было,—и, однако же, молодой критикъ не усомнился и тогда назвать его «главою нашей литературы». Эта проникательность, впрочемъ, покажется намъ совершенно естественною, если мы захотимъ сообразить, что молодому сотруднику Надеждина были даны природою силы сдѣлаться главою нашей критики въ начинавшемся тогда новомъ періодѣ: само собою разумѣется, что онъ только потому и исполнилъ свое назначеніе, что былъ готовъ къ нему, что носилъ въ своей душѣ идеаль будущаго, истолкователемъ котораго былъ, когда оно осуществилось: трудно-ли человѣку, наполненному предчувствіемъ, узнать и оцѣнить съ перваго же взгляда то, чего онъ ждалъ, о чемъ мечталъ? Вообще, человѣкъ очень легко понимаетъ все сродное съ его собственною натурою *).

*) Вотъ существенныя мѣста изъ замѣчательной статьи «О русской по-

Въ этомъ открываются уже рѣшительные признаки самостоятельности Бѣлинскаго, при самомъ началѣ его дѣятельности, когда онъ, повидимому, еще совершенно слѣдовалъ вліянію своего учителя. На Кольцова Надеждинъ не обратилъ вниманія; а что касается первыхъ повѣстей Гоголя, онъ понималъ, что «Вечера на Хуторѣ» и «Миргородъ»—произведенія прекрасныя, но всей важности этихъ явленій не замѣчалъ: находилъ ихъ автора замѣчательнымъ писателемъ, отъ котораго надобно ожидать много прекраснаго, но и не предполагалъ въ немъ корифея совершенно новой будущности. Эта разница объясняется тѣмъ, что одинъ въ душѣ совершенно былъ человѣкомъ новаго періода, въ умѣ другаго стремленіе къ будущему боролось съ привычками прошедшаго и если побѣждало ихъ, то послѣ борьбы, помощью умозаключеній и соображеній, а не мгновеннымъ инстинктивнымъ влеченіемъ родственной природы.

вѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя»: «Арабески и Миргородъ». («Телескопъ», томъ XXVII).

«Романъ и повѣсть суть единственные роды, которые появились въ нашей литературѣ не столько по духу подражательности, сколько вслѣдствіе потребности... Романъ все поглотилъ, а повѣсть, пришедшая вмѣстѣ съ нимъ изгладилъ даже и слѣды всего этого, и самъ романъ съ почтеніемъ посторонился и далъ ей дорогу впереди себя. Въ русской литературѣ повѣсть еще гостя, но гостя, которая вытѣсняетъ давнишнихъ хозяевъ изъ жилища...

«У насъ еще нѣтъ повѣсти, въ собственномъ смыслѣ этого слова... Первенство поэта-повѣтствователя остается за г. Полевымъ. Но въ его повѣстяхъ есть одинъ важный недостатокъ: въ нихъ замѣтно большое участие ума, для котораго самая фантазія есть какъ бы средство (*т. е. они сочинены, а не созданы, въ нихъ нѣтъ поэтическаго творчества*). Посмотримъ, нѣтъ-ли между нашими писателями такого, который былъ бы поэтъ по призванію... Мнѣ кажется, что изъ современныхъ писателей—я не вѣлочаю въ это число Пушкина, который уже свершилъ кругъ своей художественной дѣятельности (*такъ тогда думали, потому что послѣ „Бориса Годунова“ Пушкинъ отеченіе пяти или четырехъ лѣтъ печаталъ мало замѣчательнаго*)—никого не можно назвать поэтомъ съ большою увѣренностью и ни мало не задумываясь, какъ г. Гоголя...

«Способность творчества есть великій даръ природы. Творчество безцѣльно съ цѣлью, бессознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью. Вотъ его основныя законы. (*Излагается эстетическая теорія немецкой философіи, введенная къ намъ Надеждинымъ*).

«Очень нетрудно къ этому приложить сочиненія г. Гоголя, какъ факта

Сотрудничество съ Надеждинымъ оставило навсегда довольно рѣзкій отпечатокъ на нѣкоторыхъ привычкахъ критики гоголевскаго періода. Самою существенною изъ этихъ принятыхъ по наслѣдству особенностей была безопасная и непрерывная полемика противъ романтизма. У Надеждина она была едва ли не самою главною задачею всей критики и, очевидно, происходила изъ самаго положенія нашей литературы. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что черезъ десять лѣтъ въ этихъ непрерывныхъ филиппикахъ уже не было настоящей надобности. Романтизмъ, повидимому, уже пересталъ быть опаснымъ, его пора было бы оставить въ покоѣ, и несправедливо было бить лежачаго врага. Но это заключеніе окажется ошибочно, если мы пристальнѣе вникнемъ въ сущность дѣла. Во первыхъ, романтизмъ сдѣлалъ только наружныя уступки: отказался отъ своего имени, не болѣе, но вовсе не исчезъ

въ теоріи. Скажите, какое впечатлѣніе прежде всего производитъ на васъ повѣсть г. Гоголя? Не заставляетъ-ли она васъ говорить: Какъ все это просто, обыкновенно, естественно и вѣрно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оригинально и ново! Не удивляетесь-ли вы и тому, что вамъ самимъ не пришла въ голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ же самыхъ лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, и окружить ихъ этими самыми обстоятельствами, такъ повседневными? Вотъ первый признакъ истинно-художественнаго произведенія? Потомъ не знакомитесь-ли вы съ каждымъ персонажемъ его повѣсти такъ коротко, какъ будто вы давно знали его, долго жили съ нимъ вмѣстѣ? Не вѣрите-ли вы на слово, не готовы-ли вы побожиться, что все рассказанное авторомъ есть чистая правда безъ всякой примѣси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти созданія озаглавлены печатью истиннаго таланта. Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія—вѣрные признаки творчества. Эта поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной... И возьмите почти всѣ повѣсти г. Гоголя; какой отличительный характеръ ихъ? Что почти каждая изъ его повѣстей? Смѣшная комедія, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется *жизнью*. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно. И такова жизнь наша сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи сколько истины!

Въ художественныхъ произведеніяхъ должно различать характеръ творчества, общій всѣмъ изысканнымъ произведеніямъ, и характеръ колорита, сообщенный индивидуальностью автора. Я уже сказалъ, что отличительныя черты характера произведеній г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность,—все это черты общія; потомъ комическое одушевленіе, побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и *унынія*—черта индивидуальная.

и очень долго старался оспаривать побѣду у новаго направленія; онъ имѣлъ еще многихъ послѣдователей въ литературѣ и многихъ приверженцевъ въ публикѣ. Чтобы указать на фактъ, относящійся уже къ самому послѣднему времени критики гоголевскаго періода, припомнимъ, какою ожесточенною и всеобщою враждою встрѣчена была отъ всѣхъ журналовъ (кромѣ «Отечественныхъ Записокъ» и потомъ «Современника») натуральная школа, которая на самомъ дѣлѣ, а не только на словахъ, отказалась отъ романтическихъ прикрасъ: всѣ возмущались тѣмъ, что она описываетъ дѣйствительную жизнь въ ея истинномъ видѣ, а не повѣствуетъ о небывалыхъ въ мірѣ злодѣяхъ и герояхъ и невиданныхъ красотахъ природы,—всѣ эти нападенія проистекали изъ привязанности къ преданіямъ романтизма. Да и до сихъ поръ романтизмъ еще живетъ во всѣхъ тѣхъ, которые, по добродушной робости или по любви къ ми-

«Комизмъ, или юморъ, г. Гоголя имѣетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, спокойный, простидушный, спокойный въ самомъ своемъ негодovanii, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ...

«Портретъ» есть неудачная попытка г. Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ; но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Вообще надобно сказать, что фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается г. Гоголю.

«Какой же общій результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Если я сказалъ, что г. Гоголь поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ (*Пушкина авторъ исключилъ, какъ мы видимъ, изъ числа дѣйствовавшихъ тогда писателей*). Поэтъ—высокое и святое слово: въ немъ заключается неумирающая слава!.. Задача критики: опредѣлить степень, занимаемую художникомъ въ кругу своихъ собратьевъ. Но г. Гоголь только еще началъ свое поприще: слѣдовательно, наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подастъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время, онъ является главою литературы, главою поэтовъ; онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ...

«Поэты бываютъ двухъ родовъ: одни только доступны поэзіи, у другихъ даръ поэзіи есть нѣчто составляющее нераздѣльную часть ихъ бытія. Первые иногда одинъ разъ въ цѣлую жизнь выскажутъ какую-нибудь прекрасную поэтическую грѣзу и ослабѣваютъ въ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ. Другіе съ каждымъ новымъ произведеніемъ возвышаются и крѣпнуть. Г. Гоголь принадлежитъ къ числу этихъ послѣднихъ поэтовъ: этого *довольно*».

шуръ, не любятъ правды, высказываемой безъ прикрасъ, и находятъ, что какъ поле красно рожью, такъ рѣчь—ложью, что отрицаніе бесплодно, что, впрочемъ, оно ужъ сдѣлало свое дѣло, что пора намъ обратиться къ болѣе благосклонному взгляду на жизнь, и т. д.,—т. е. тоскуютъ по блаженной порѣ Гремныхъ и Лирныхъ, съ прочими аркадскими принадлежностями. Если вы хотите испытать, на самомъ ли дѣлѣ много еще осталось у насъ романтиковъ, есть для того средство очень легкое: пробный камень для романтизма—критика гоголевскаго періода; кто не доволенъ ея мнимою излишнею суровостью (разумѣется, не по какимъ нибудь личнымъ разсчетамъ или лицемѣрію—о подобныхъ людяхъ нечего и говорить—а по искреннему убѣжденію), въ томъ не умеръ романтизмъ. А такихъ людей еще набирается довольно много. Нынѣ можно не обращать на нихъ вниманія: для большинства публики ихъ мнѣнія забавны и только, а никакъ неопасны. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ было не то: мнѣнія, которыя нынѣ составляютъ лишь забаву, утѣшающую отдѣльныхъ людей, не имѣющихъ вліянія на публику, были очень сильны въ литературѣ. Стоитъ припомнить, какъ одинъ изъ тогдашнихъ критиковъ не хотѣлъ печатать повѣстей Гоголя въ журналѣ, которому давалъ направленіе, и не хотѣлъ даже писать разбора его комедіи, считая эту пьесу низкимъ фарсомъ. Основаніемъ его наивныхъ понятій были, конечно, романтическія требованія возвышенныхъ страстей и идеальныхъ личностей въ искусствѣ. А этотъ критикъ въ то время считался представителемъ современной науки. Каковы же были понятія другихъ литературныхъ судей, даже и не подозрѣвавшихъ въ искусствѣ ничего, кромѣ французскихъ мелодраматическихъ издѣлій? «Отечественныя Записки» однѣ боролись противъ всѣхъ журналовъ въ этомъ случаѣ, продолжая дѣло «Телескопа».

Но борьба съ романтизмомъ, которая въ критикѣ гоголевскаго періода болѣе всего остальнаго могла бы казаться простымъ продолженіемъ мысли Надеждина, сохранила только наружное сходство съ его филиппиками, получивъ мало-по-малу совершенно новое содержаніе. Надеждинъ возставалъ противъ романтизма съ учено-литературной точки зрѣнія, доказывая только, что французскій новѣйшій романтизмъ такъ же мало похожъ на романтизмъ среднихъ вѣковъ, какъ псевдо-классическая литература на греческую, и потому, подобно ей, присваиваетъ себѣ ложное имя, а соб-

ственно долженъ считаться не болѣе, какъ псевдо-романтизмомъ, жалкой поддѣлкой подъ истинный романтизмъ, невозможный въ наше время, и потому прославленные псевдо-романтическія произведенія нелѣпы въ эстетическомъ отношеніи. Этою отвлеченною точкою зрѣнія ограничивалась его полемика. Критика гоголевскаго періода смотрѣла на вопросъ шире: она возставала на романтизмъ какъ на выраженіе натянутыхъ, экзальтированныхъ, живыхъ понятій о жизни, какъ на извращеніе умственныхъ и нравственныхъ силъ человѣка, ведущее къ фантазерству и пошлости, самообольщеніямъ и кичливости. Надеждинъ и не предчувствовалъ, что сущность псевдо-романтизма заключается не въ нарушеніи эстетическихъ условій, а въ искаженномъ понятіи объ условіяхъ человѣческой жизни; онъ самъ не былъ свободенъ въ этомъ отношеніи отъ заблужденій, которыя ничѣмъ не отличались отъ основной ошибки романтиковъ, считавшихъ только колоссальныя страсти и эффектныя явленія достойными вниманія поэта. Хорошо понимая мелочность того, что романтики воображали себѣ титаническимъ, Надеждинъ слишкомъ склоненъ былъ искать поэзію въ одномъ только возвышенномъ, далеко превышающемъ явленія обыкновенной дѣйствительности. Не нужно говорить о томъ, какъ мало могли подходить подъ этотъ идеалъ писатели, подобные Диккенсу или Гоголю, изображающіе повседневную жизнь,—да и не было такихъ поэтовъ во времена Надеждина. Всѣ были тогда экзальтированы или старались прикинуться экзальтированными,—разочарованность была только особеннымъ и едва ли не самымъ натянутымъ родомъ экзальтаціи,—никто не догадывался о живости экзальтированнаго взгляда на жизнь. Потому то и недовольство романтизмомъ возбуждалось болѣе формальными недостатками его произведеній, нежели фальшивостью основнаго его взгляда на жизнь. Только слѣдующему поколѣнію, воспитанному болѣе положительною философіею и наслаждавшемуся болѣе здоровыми созданіями искусства, предоставлено было возстать противъ романтическихъ фантазій не съ одной литературной, но и съ житейской точки зрѣнія. Словомъ, Надеждинъ имѣлъ дѣло съ романтизмомъ, какъ противу-эстетическимъ явленіемъ въ литературѣ; критика гоголевскаго періода, раздѣляя этотъ взглядъ, обращала главное свое вниманіе на романтиковъ, какъ людей, губящихъ жалкимъ образомъ свои силы, какъ на людей, по заблужденію дѣлающихся вредными для самихъ себя и

смѣшными. Она заклемила осмѣяннымъ именемъ романтизма всякую аффектацію, натянутость, болѣзненную апатію, величающую себя гордымъ разочарованіемъ, всякую пошлость, прикрывающую себя пышными фразами, всякую реторику въ словахъ и дѣлахъ, въ чувствахъ и поступкахъ. Борьба съ этимъ романтизмомъ должна быть вмѣнена въ заслугу исключительно ей. Въ этомъ дѣлѣ критика гоголевскаго періода не имѣла предшественниковъ и своими вѣдими насмѣшками оказала несомнѣнную услугу не только литературѣ, но и самой жизни; въ немъ доселѣ имѣетъ она и долго будетъ имѣть ревностнымъ своимъ послѣдователемъ cadaго здравомыслящаго писателя, потому что борьба противъ болѣзненнаго романтическаго направленія въ жизни доселѣ необходима и будетъ еще необходима и тогда, когда совершенно забудется имя литературнаго романтизма. Борьба эта продолжится до той поры, когда люди совершенно отвыкнутъ обольщаться аффектаціею въ жизни, когда они привыкнутъ смѣяться надъ всѣмъ неестественнымъ, какъ пошлымъ, какими бы выгодными фразами и формами ни прикрывалась его внутренняя пошлость.

Малосвѣдующіе или увлеченные горячностью споровъ противники съ дикимъ негодованіемъ вопіяли, что критика гоголевскаго періода святотатственно посягаетъ на славу знаменитыхъ людей нашей литературы, что она разрушаетъ пьедесталы, на которыхъ стоятъ ихъ величественныя статуи, топчетъ въ грязь все, чѣмъ должна гордиться наша прошедшая литература, и т. д., и т. д. Если-бъ эти крики были справедливы, мы имѣли бы другую точку очень близкаго сходства между дѣятельностью Надеждина и его бывшаго ученика. Къ сожалѣнію, они основаны только на незнаніи или безпамятности. Дѣло уничтоженія литературныхъ авторитетовъ вовсе нельзя причислять къ новымъ и существенно-важнымъ дѣламъ, достигнуть которыхъ хотѣла критика гоголевскаго періода, и если она когда дѣлала что нибудь въ этомъ родѣ, то развѣ относительно авторитетовъ, далеко не первостепенныхъ и нисколько не освященныхъ древностью лѣтъ,—напр., относительно Марлинскаго и Полеваго. Конечно, для иныхъ и это непріятно, но ужь рѣшительно никому не можетъ казаться важнымъ преступленіемъ, по незначительности самаго предмета. Что же касается до святотатственнаго, по мнѣнію нѣкоторыхъ, посягательства на Ломоносова, *Державина* и другихъ дѣйствительно первоклассныхъ писателей,

критика гоголевскаго періода совершенно лишена была возможности придумать что нибудь въ уменьшеніе ихъ славы, по очень простой причинѣ: все, что можно было сказать въ этомъ смыслѣ давно ужъ было высказано или Полевымъ, или Надеждинымъ. Обвинять въ этомъ критику гоголевскаго періода значить приписывать ей заслугу, вовсе не ей принадлежащую *). Ей предстояло дѣло совершенно другаго рода: не увлекаясь ни старымъ отрицаніемъ, ни еще болѣе старыми панегириками, показать историческое значеніе различныхъ періодовъ нашей литературы и замѣчательнѣйшихъ ея дѣятелей, дать намъ исторію нашей литературы, чего еще не было сдѣлано никѣмъ изъ предшествовавшихъ критиковъ. Взглядъ на литературу, предшествовавшую Пушкину, у критики гоголевскаго періода былъ умѣреннѣе и снисходительнѣе, нежели у критики романтическаго періода; а что касается Пушкина и его сподвижниковъ, критика гоголевскаго періода почти постоянно должна была противорѣчить рѣзкимъ приговорамъ Надеждина. Словомъ, она не разрушала, а напротивъ, возсоздала все, что въ прошедшемъ заслу-

*) Вообще надобно замѣтить, что отрицаніе, выражающееся печатнымъ образомъ, принимаетъ формы, гораздо менѣе жесткія, нежели тѣ, которыми облается оно въ разговорахъ и частной перепискѣ. Литература и въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, пролагаетъ путь къ примиренію, какъ скоро даетъ просторъ выраженію чувства, которое, оставаясь безвыходнымъ не знало бы границъ своей враждебности. Напрасно было бы воображать что, напримѣръ, Полевой, разрушитель устарѣвшихъ литературныхъ авторитетовъ, цѣнилъ писателей, предшествовавшихъ Пушкину, менѣе, нежели всякій другой изъ его современниковъ, имѣвшихъ хотя нѣкоторое литературное образованіе и не лишенныхъ вкуса. Напротивъ, надобно признаться, что каждый изъ нихъ втихомолку выражался гораздо рѣче нежели говорилъ Полевой. Вотъ какъ, напримѣръ, думалъ о Державинѣ еще въ 1825 году самъ Пушкинъ, великій поклонникъ старины:

«По твоемъ отзывѣдѣ перечелъ я Державина всего. Вотъ мое окончательное мнѣніе: этотъ чужакъ не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка. У Державина должно будетъ сохранить одъ восемь да нѣсколько отрывковъ, а прочее сжечь. Жаль, что нашъ поэтъ слишкомъ часто кричалъ пѣтухомъ». (*Отрывокъ изъ письма къ Дельвигу, изд. 1855 г. часть I, стр. 56*).

Кажется, рѣче этого трудно придумать что нибудь, и, навѣрное, въ «Телеграфѣ» не найдется ни одного выраженія, которое бы хотя сколько нибудь подходило къ словамъ Пушкина своею жесткостью. А кто знаетъ «Телеграфъ» и «Телескопъ», тотъ знаетъ, что критика гоголевскаго періода вообще отзывалась о прежнихъ нашихъ писателяхъ съ гораздо большею умѣренностью, нежели Полевой и Надеждинъ.

живало уваженія. Иначе и быть не могло: нападать на Ломоносова и Державина, на Карамзина и Пушкина уже было не нужно и неумѣстно; если когда-то ихъ и превозносили безотчетными панегириками, то это слѣпое поклоненіе въ образованной части публики давно уже было уничтожено «Телеграфомъ» и «Телескопомъ», и когда явился Гоголь, наступило время говорить о прошедшемъ съ уваженіемъ, потому что разившееся изъ него настоящее стало заслуживать уваженія. Такъ съ уваженіемъ начинаютъ говорить объ отцахъ, когда потомки ихъ заслужаютъ славу.

Откуда же взялось мнѣніе, что однимъ изъ дѣлъ критики гоголевскаго періода было уничтоженіе прежнихъ авторитетовъ? Не будемъ говорить о побужденіяхъ, происшедшихъ изъ самолюбія многихъ раздраженныхъ ею тогдашнихъ писателей, которые находили удобнымъ кричать: «вы не вѣрьте, читатели, тому, что говоритъ этотъ человѣкъ о моихъ сочиненіяхъ; онъ бранитъ не только меня, онъ бранитъ и Державина и Ломоносова, онъ всѣхъ великихъ писателей (въ томъ числѣ и меня) хочетъ унижить»; не будемъ также указывать другихъ подобныхъ расчетовъ, какіе внушаемы были завистью или враждою: всѣ эти жалкіе факты незаслуживаютъ того, чтобы вспоминать о нихъ. Обратимъ вниманіе только на законныя, такъ сказать, причины, отъ которыхъ происходило ошибочное мнѣніе, будто уничтоженіе прежнихъ литературныхъ авторитетовъ было однимъ изъ существенныхъ дѣлъ критики гоголевскаго періода. «Отечественныя Записки» имѣли гораздо болѣе обширный кругъ читателей, нежели «Телескопъ» или «Телеграфъ»; потому даже изъ старыхъ читателей многіе, не знавшіе прежнихъ журналовъ, изъ «Отечественныхъ Записокъ» въ первый разъ вычитали сужденія о нашей старой литературѣ, непохожія на безотчетныя и нелѣпыя похвалы, какія долго повторялись въ разныхъ книжкахъ, называвшихъ себя исторіями русской словесности, піитивами и т. п. Сюда надобно причислить и большую часть молодаго поколѣнія, не просматривавшаго старыхъ журналовъ и видѣвшаго, что изъ новыхъ только «Отечественныя Записки» говорятъ о Ломоносовѣ и т. д. безпристрастно, между тѣмъ, какъ всѣ остальные нападаютъ за то на этотъ журналъ. Молодое поколѣніе, конечно, не ставило этого въ вину «Отечественнымъ Запискамъ»,—напротивъ; зато иные сердечно негодовали на молодое поколѣніе, восхищающееся «Отечественными Записка-

ми», и на «Отечественныя Записки», поселяющія въ молодыхъ людяхъ непочтительность къ Ломоносову и т. д. Эти добряки должны были бы помнить, что во время ихъ молодости «Телеграфъ» говорилъ о старой литературѣ безъ подобострастія, котораго они требовали, впрочемъ, сами не зная, чего требуютъ; они должны были бы помнить, что уничтоженіе авторитетовъ, существующихъ до Пушкина, было дѣломъ «Телеграфа», а существовавшихъ при Пушкинѣ—дѣломъ Надеждина. Что однажды исполнено, того не было уже надобности, да и не могло быть охоты дѣлать во второй разъ. Когда явились Гоголь, Лермонтовъ и писатели такъ называемой натуральной школы, возвышать или унижать предшествовавшихъ писателей было уже поздно: надобно было только показать ходъ постепеннаго развитія русской литературы, въ существованіи которой до того времени сомнѣвались, и опредѣлить отношенія между различными ея періодами— вотъ что, дѣйствительно, было дѣломъ новымъ и необходимымъ. И оно было исполнено Бѣлинскимъ. До него существовала критика, но исторія литературы у насъ еще не было. Ему обязаны мы тѣмъ, что имѣемъ о ней вѣрныя и точныя понятія.

Но русская литература до Гоголя находилась еще въ первыхъ періодахъ своего развитія, изъ которыхъ каждый предъидущій имѣетъ значеніе не столько по безусловному совершенству ознаменованныхъ его явленій, сколько потому, что служилъ приготовленіемъ къ слѣдующему, болѣе высокому развитію *). Сущность понятій критики гоголевскаго періода объ исторіи русской литературы состояла въ приведеніи этого основнаго взгляда чрезъ всѣ факты. Это послужило для людей, не знавшихъ рѣзкаго тона предъ-

*) Чтобы не подать повода къ недоразумѣнію, будто мы безъ мѣры превозносимъ новое насчетъ стараго, скажемъ здѣсь кстати, что и настоящій періодъ русской литературы, несмотря на всѣ свои неотъемлемыя достоинства, имѣетъ существенное значеніе болѣе всего только потому, что служитъ приготовленіемъ къ дальнѣйшему будущему развитію нашей словесности. Мы на столько вѣримъ въ будущее лучшее, что даже о Гоголѣ не сомнѣваясь говоримъ: будутъ у насъ писатели, которые станутъ на столько же выше его, насколько выше своихъ предшественниковъ сталъ онъ. Вопросъ только въ томъ, скоро ли прійдетъ это время. Хорошо было бы, еслибъ нашему поколѣнію суждено было дожидаться этого лучшаго будущаго. Если мы *будемъ говорить о школѣ Гоголя, то постараемся объяснить причины такого мнѣнія подробно.*

идущей критики, новою причиною предполагать, будто бы критика гоголевскаго періода уничтожаетъ прежніе авторитеты: она, видите ли, доказывала, что Державинъ имѣеть огромное историческое значеніе, какъ представитель екатерининскаго вѣка въ литературѣ и какъ одинъ изъ предшественниковъ и учителей Пушкина, а не говорила—какое преступленіе!—что Державинъ имѣеть болѣе эстетическихъ достоинствъ, нежели Пушкинъ. Добрые люди, находившіе такія слова дерзкими и унижающими Державина, не догадывались, что этимъ сужденіемъ возвращалось Державину право на славу, которую прежняя критика совершенно отнимала у него, потому что, отрицая эстетическія достоинства его произведеній, не замѣчала и исторической ихъ цѣны. Эти добрые люди не знали того, какъ судили о Державинѣ писатели пушкинскаго періода. Тогда безъ дальнихъ разсужденій рѣшали, что Державинъ «кричалъ пѣтухомъ», и потому его сочиненія «должно сжечь». Послѣ такихъ рѣшеній, критика, доказывавшая, что Державинъ имѣеть большое историческое значеніе, уничтожала или восстанавливала его славу? Когда утверждали, что она стремилась уничтожить прежніе авторитеты, ей приписывали чужую заслугу,—заслугу, говоримъ мы, потому что уничтоженіе слѣпаго поклоненія кумирамъ (кумирами называемъ старые литературные авторитеты не мы: это опять выраженіе Пушкина о Державинѣ) всегда бываетъ великою заслугою для умственной жизни общества. Но у критики гоголевскаго періода такъ много своихъ собственныхъ правъ на высокое мѣсто въ исторіи литературы, что она не нуждается въ присвоеніи чужихъ. Кромѣ безпамятности или незнакомства съ прежнею критикою, была, впрочемъ, еще причина считать Бѣлинскаго первымъ человѣкомъ, заговорившимъ у насъ, что періодъ Пушкина безконечно выше всей предшествовавшей нашей литературы: онъ излагалъ свой взглядъ на исторію русской литературы ясно, опредѣлительно и подкрѣплялъ его доказательствами, а романтическая критика ни о чемъ не могла говорить безъ громкихъ фразъ и доказательствъ не представляла, а вмѣсто того скрашивала свои жестокіе приговоры разсужденіями о брилліантахъ и изумрудахъ, о потомкахъ Багрима и яркихъ искрахъ, вылетающихъ изъ могущественной груди русскаго волкана.

Есть также мнѣніе, будто бы критика гоголевскаго періода простерла свои отрицанія до того, что подвергла сомнѣнію существо-

ваніе русской литературы до Гоголя. Это опять было вовсе не ея дѣло. Известно, что романтическіе критики прямо утверждали, что русская литература не существуетъ. Это говорилъ, еще до появленія «Телеграфа», Марлинскій. Позднѣе то же самое еще сильнѣе высказывалъ Надеждинъ. Словомъ, это была общая тема всей нашей критики до самаго того времени, когда русская литература получила новое направленіе, благодаря дѣятельности Гоголя. Бѣлинскій сначала раздѣлялъ это мнѣніе, потому что въ немъ было, для тридцатыхъ годовъ, очень много справедливаго. Но заслуга-ли, или преступленіе избобрѣсть мысль: «русская литература доселѣ не существуетъ», ни мало не принадлежитъ это избобрѣтеніе Бѣлинскому. Напротивъ, ему принадлежитъ та заслуга, что, когда черезъ нѣсколько лѣтъ положеніе русской литературы измѣнилось, онъ первый понялъ важность этого измѣненія и сказалъ: до сихъ поръ надобно было сомнѣваться въ существованіи русской литературы; теперь должно положительно сказать, что она существуетъ. Ему, а не кому-нибудь другому досталось на долю высказать это отрадное убѣжденіе потому, что ему, изъ нашихъ замѣчательныхъ критиковъ, первому судьба назначила дѣйствовать въ такое время, когда безусловное отрицаніе всего въ нашей литературѣ слѣдалось уже несправедливо. Въмѣсто обыкновенной фразы, что онъ былъ въ нашей критикѣ органомъ отрицанія, надобно сказать, напротивъ, что онъ первый, сообразно измѣнившемуся положенію нашей литературы, положилъ границы отрицанію, которое у Надеждина не имѣло границъ.

Когда литература наша втеченіе гоголевскаго періода начала становиться тѣмъ, чѣмъ должна быть—выраженіемъ народнаго самосознанія и, такимъ образомъ, достигла, хотя до нѣкоторой степени, цѣли, къ которой стремилась, тогда и предъидущее развитіе ея получило смыслъ, котораго нельзя было замѣтить въ немъ прежде; только тогда можно было замѣтить, что одни явленія смѣнялись въ ней другими не напрасно и не случайно, что она имѣетъ свою исторію. Критика гоголевскаго періода замѣтила и высказала это. Она первая начала утверждать, что наша литература постоянно развивалась, что ея періоды имѣютъ между собою связь, что Державинъ и Пушкинъ явились не случайно, какъ то казалось прежде, и, какъ мы замѣтили, Бѣлинскій былъ первымъ исто-

рикомъ нашей литературы *). Недаромъ его первая значительная статья, отрицающая существованіе русской литературы, содержаніемъ своимъ имѣла подробный обзоръ ея фактовъ отъ Ломоносова до Пушкина.

Но если мы говоримъ о томъ, что критика гоголевскаго періода положила границы отрицанію и дала намъ въ первый разъ исторію русской литературы, считавшейся до того времени не болѣе, какъ случайнымъ, безжизненнымъ и почти всегда бессмысленнымъ отраженіемъ различныхъ явленій иноземныхъ литературъ, то мы говоримъ это о позднѣйшей порѣ развитія критики гоголевскаго періода, когда она достигла уже полной самостоятельности и когда положеніе русской литературы существенно измѣнилось вліяніемъ Гоголя, дѣятельностью Лермонтова и многочисленныхъ писателей новаго поколѣнія, воспитанныхъ отчасти Пушкинымъ и Лермонтовымъ, а болѣе всего твореніями Гоголя и критикою Бѣлинскаго. Но въ 1834—1836 г. это будущее едва можно было неопредѣленнымъ образомъ только предвидѣть, и почти все оставалось въ настоящемъ неподвижно. Не было еще достаточныхъ при-

*) Интересно прослѣдить, по статьямъ Бѣлинскаго, какъ измѣняющееся положеніе нашей литературы постепенно приводило критику отъ надеждинскаго отрицанія, справедливаго въ свое время (1834), къ убѣжденію, сдѣланному столь же справедливымъ черезъ десять лѣтъ: «есть у насъ, наконецъ, нѣчто достойное называться литературою; она получила, наконецъ, значеніе, какого не имѣла прежде, и мы теперь можемъ видѣть, къ какому результату веди, какой смыслъ имѣли тѣ литературныя явленія, которыя прежде казались бесплодными и случайными». Вотъ нѣкоторыя выписки приблизительно обозначающія эпохи этого движенія:

1834. (До Гоголя). «У насъ нѣтъ литературы». *Литературныя мечтанія*. „*Молва*“ 1834 г., № 39, стр. 190.

1840. (Гоголь издалъ свои повѣсти и „Ревизора“, но еще не имѣетъ рѣшительнаго вліянія на литературу). У насъ нѣтъ литературы въ точномъ значеніи этого слова, какъ выраженія духа и жизни народной, но у насъ есть уже начало литературы». *Русская литература въ 1840 г.* „*Отечественныя Записки*“ 1841 г., томъ XIV, стр. 33).

1848. (Изданы „Мертвыя Души“; школа Гоголя начинаетъ занимать видное мѣсто). Несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе; слѣдственно, у нея есть исторія. Мы ждемъ хоть намекнуть на это развитіе и проложимъ другимъ дорогу тамъ, гдѣ еще не протоптано и тропинки. *Первая статья о Пушкинѣ*. „*Отечественныя Записки*“ 1843 г., томъ XXVIII, стр. 24).

1847. (Вліяніе Гоголя рѣшительно торжествуетъ). Было время, когда во-

чинъ существеннымъ образомъ измѣнять мнѣній, представителемъ которыхъ былъ Надеждинъ, и авторъ статей о Пушкинѣ началъ, какъ мы замѣтили, почти тѣмъ же самымъ, что говорилъ Надеждинъ. Какъ то всегда бываетъ, если человекъ молодого поколѣнія принимаетъ мысль, выраженную его учителемъ, онъ придастъ этой мысли еще больше опредѣлительности, нежели она имѣла у самого Надеждина.

Однако, по исторической необходимости, это скоро должно было измѣниться: новый періодъ для русской литературы уже начинался. Мы видѣли, какъ быстро и вѣрно предугадывалъ ученикъ Надеждина, по «Миргороду» и «Арабескамъ», какого писателя мы будемъ имѣть въ Гоголѣ; скоро «Ревизоръ» долженъ былъ оправдать это предчувствіе. Кольцовъ уже явился, Лермонтовъ скоро долженъ былъ явиться. Мы видѣли, какое существенное различіе между учителемъ и ученикомъ выказалось во взглядѣ на значеніе Гоголя и достоинства первыхъ стихотвореній Кольцова: одинъ еще не замѣчалъ фактовъ, на которыхъ другой уже основывалъ свои понятія о русской литературѣ.

Но коренное различіе между понятіями ученика и учителя о русской литературѣ заключалось тогда (1835—1836) не только въ томъ, что одинъ замѣчалъ необыкновенную важность новыхъ фактовъ, на которые другой медлилъ обратить надлежащее вниманіе: и тѣ коренныя воззрѣнія, на основаніи которыхъ произносится сужденіе о фактахъ, были уже не одинаковы. Сотрудникъ «Телескопа» сдѣлался приверженцемъ Гоголя, между тѣмъ, какъ изда-

прось: есть-ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разрѣшенъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ... Одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы открыли, что у Россіи была своя исторія. То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы... Литература наша дошла до такого положенія, что успѣхи ея въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодovitѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей вѣрлости, то уже наша, наступающая, такъ сказать, прямая дорога къ ней; а это великій успѣхъ съ ея стороны». *Взглядъ на русскую литературу. „Современникъ“ 1847 г., № 1, Критика, стр. 4 и 28.*

тель, не будучи враждебенъ этому новому фазису развитія нѣмецкой науки, оставался, однакожь, въ сущности ученикомъ Шеллинга.

Биографическія монографіи, необходимость которыхъ въ настоящее время чувствуется живѣе, нежели когда-нибудь, должны объяснить намъ, когда и какъ начались тѣсныя дружескія отношенія между Н. В. Станкевичемъ и Бѣлинскимъ. Мы теперь можемъ положительно сказать только, что они начались очень рано; что первымъ распространителемъ энтузіазма къ Гегелю между молодымъ поколѣніемъ въ Москвѣ былъ Станкевичъ; что онъ былъ другомъ Кольцова; что когда Надеждинъ, въ 1835 году, уѣхалъ за границу и завѣдываніе «Телескопомъ» поручилъ Бѣлинскому, тотчасъ появились въ этомъ журналѣ стихотворенія Кольцова, передъ тѣмъ самымъ временемъ отысканнаго Станкевичемъ въ Воронежѣ, и чаще прежняго стали являться упоминанія о Гегелѣ, а скоро было напечатано и обширное изложеніе системъ этого мыслителя. Наконецъ, самое содержаніе статей, писанныхъ въ 1835—1836 годахъ молодымъ сотрудникомъ Надеждина, обнаруживаетъ, что онъ тогда уже находился подъ сильнымъ вліяніемъ этой новой у насъ философіи. Вообще, нельзя не видѣть, что, въ это время, если сохранялись еще въ образѣ воззрѣній Бѣлинскаго многія черты непосредственнаго родства съ понятіями, собственно принадлежащими Надеждину, то еще гораздо болѣе находилось тождественнаго съ тѣми идеями, которыя потомъ съ такою пылкостью излагались людьми молодаго поколѣнія въ «Московскомъ Наблюдателѣ», и, во многихъ частностяхъ продолжая быть ученикомъ Надеждина, его сотрудникъ совершенно принадлежалъ всѣмъ стремленіямъ своимъ новымъ идеямъ, тогда проникавшимъ въ молодое поколѣніе.

Различіе въ характерѣ книжекъ «Телескопа», изданныхъ въ отсутствіе Надеждина его сотрудникомъ, отъ предъидущихъ номеровъ бросается въ глаза. Оно такъ рѣзко, что если бы издатель былъ человекъ неподвижный въ умственной жизни, то, по возвращеніи, остался бы рѣшительно недоволенъ направленіемъ, приданнымъ его журналу. Но, сколько то видно изъ фактовъ, представляемыхъ самимъ журналомъ, этого не было. Напротивъ, оправдывая передъ публикою неисправность выхода журнала въ свое отсутствіе непредвидѣнными обстоятельствами, Надеждинъ указывалъ на достоинство содержанія изданныхъ безъ него номеровъ, какъ на доказательство того, что передъ отъѣздомъ имъ были приняты

ры, чтобы читатели ничего не потеряли отъ его поѣздки за ду. Сотрудникъ, издавшій эти нумера, сохранилъ свое положеніе журналѣ, даже приобрѣлъ на его направленіе болѣе вліятели имѣлъ до поѣздки Надеждина. Критика, относящаяся произведеніямъ изящной словесности и литературнымъ журналамъ, перешла совершенно въ руки Бѣлинскаго и получила болѣе развитіе. Себѣ Надеждинъ оставилъ только критическіе разсужденія ученыхъ сочиненій. Все, что начато было Бѣлинскимъ въ отсутствіе редактора, продолжалось и при редакторѣ, до конца «Телескопа». Молодые сотрудники, введенные въ журналъ Бѣлинскимъ, продолжали помѣщать свои статьи въ немъ и увлекали журналъ вперед; Надеждинъ отдался молодому поколѣнію. Разногласія отъ литературныхъ причинъ не было и, сколько можно судить по самому журналу, не предвидѣлось *).

«Что было бы, если бы не случилось того, что случилось?» Что было бы, если бы «Телескопъ» не прекратился? Вопросы подобнаго рода не пользуются репутаціею особеннаго глубокомыслия, и отвѣты на нихъ не принимаются въ особенное уваженіе, хотя очень часто такіе вопросы сами собою навязываются воображенію, и отвѣты на нихъ иногда очень легко подсказываются здравымъ смысломъ. Признаемся, намъ хотѣлось бы, подобно Кифѣ Мокіевичу, «обратиться къ умозрительной сторонѣ» и поразмыслить о «философическомъ», по его выраженію, вопросѣ, который намъ представился. Но мы вспомнили одно изъ основныхъ положеній гегелевой философіи, къ которой приводитъ насъ «Московскій Наблюдатель»: «все дѣйствительное разумно и все разумное дѣйствительно», и заключили, что продолженіе существованія «Теле-

*) Эти выводы основываются на матеріалахъ, представляемыхъ содержаніемъ „Телескопа“ и „Молвы“. Мы очень хорошо понимаемъ, что одинъ этотъ источникъ недостаточенъ и долженъ быть дополненъ воспоминаніями лицъ, бывшихъ тогда близкими къ „Телескопу“, и мы были бы очень рады, если бы такіа воспоминанія явились въ печати, хотя бы и обнаружилось, что въ томъ или другомъ случаѣ мы ошиблись. Впрочемъ, каковы ни были отношенія редактора „Телескопа“ съ его главнымъ сотрудникомъ молодыми друзьями послѣдняго, литературная сторона этихъ отношеній, которая здѣсь исключительно важна для насъ, съ удовлетворительною ностью характеризуется данными, находимыми въ самомъ журналѣ, и *эти* *данные*, представленные выше, едва-ли могутъ быть существенно измѣнены *біографическими* воспоминаніями.

скопа» было бы неразумно. Потому, оставляя умозрѣнія, будемъ продолжать исторію «разумной» дѣйствительности, въ «Московскомъ Наблюдателѣ»—рѣдкій случай!—являвшейся на самомъ дѣлѣ разумною.

Въ «Телескопѣ» молодое поколѣніе пользовалось очень значительнымъ вліяніемъ, получило наконецъ рѣшительный перевѣсъ, но все еще не было и не могло быть полнымъ хозяиномъ. По прекращеніи этого журнала, оно нѣсколько времени не имѣло органа въ литературѣ, но въ 1838 году получило въ полное свое распоряженіе «Московскій Наблюдатель». Матеріальныя средства этого журнала были въ то время совершенно истощены жалкимъ трехлѣтнимъ существованіемъ. Молодое поколѣніе располагало богатымъ запасомъ энтузіазма и дарованій, но не капиталами; потому «Московскій Наблюдатель» скоро прекратился. Но его кратковременная жизнь при второй редакціи была блистательна. Онъ былъ прекраснымъ выраженіемъ стремленій молодежи, пылкой и благородной. Главными сотрудниками Вѣлинскаго были въ этомъ журналѣ: г. К. Аксаковъ, г. Боткинъ, г. Катковъ, Ключниковъ (— е —), Красовъ и г. Кудрявцевъ. Нбвозможно отказать въ уваженіи и сочувствіи кружку, состоявшему изъ такихъ людей. А мы еще пропустили нѣкоторыя имена, еще болѣе выразительныя *). Душею ихъ круга былъ Станкевичъ. Завѣдываніе журналомъ принадлежало Вѣлинскому. Всѣ эти люди были тогда еще юношами. Всѣ были исполнены вѣры въ свои благородныя стремленія, надеждъ на близость прекраснаго будущаго. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшаго, какъ имъ казалось, все примирившаго Гегеля, раскрыла передъ ними тайны дотолѣ непостижимыя людямъ. Поэзією упоены были ихъ сердца; слава готовила имъ вѣнцы за благую вѣсть, провозглашаемую отъ нихъ людямъ, и, увлекаемые силою энтузіазма, стремились они впередъ:

Какъ смѣло, съ бодрою охотой,
Мечты надѣясь достигнуть,
Еще не связанный заботой,
Пускался юноша въ свой путь!
Какъ онъ легко впередъ стремился!
Что для счастливца тяжело?

*) Напримѣръ, Кольцова.

Какой воздушный рой тѣснился
 Вокругъ свѣтлаго пути его!
 Любовь съ улыбкой благосклонной
 И счастье съ золотымъ вѣнцомъ,
 И слава съ звѣздною короной
 И въ свѣтѣ истина живомъ.... *)

.
 Могучая сила
 Въ душѣ ихъ кипитъ;
 На блѣдныхъ ланитахъ
 Румянецъ горитъ;
 Ихъ очи, какъ звѣзды
 По небу, блестятъ;
 Ихъ думы—какъ тучи;
 Ихъ рѣчи горятъ.
 И съ неба, и съ время
 Покровы сняты...
 Шумна ихъ бесѣда
 Разумно идетъ;
 Роскошная младость
 Здравьемъ цвѣтеть... **)

И кто хочетъ перенестись на нѣсколько минутъ въ ихъ благородное общество, пусть перечитаетъ въ «Рудинѣ» рассказъ Лезнева о временахъ его молодости и удивительный эпилогъ повѣсти г. Тургенева.

*) „Идеалы“ Шиллера, переводъ К. Аксакова. „Московский Наблюдатель“, томъ XVI. стр. 548.

**) Изъ стихотворенія Кольцова въ память Станкевича.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

«Московскій Наблюдатель» былъ переданъ въ распоряженіе друзей Станкевича уже тогда, когда матеріальныя средства къ продолженію изданія были совершенно истощены, и только безкорыстная энергія новыхъ сотрудниковъ могла продлить еще на годъ существованіе журнала, доведеннаго до гибели прежнею редакціею. Но этотъ послѣдній, слишкомъ краткій, періодъ жизни «Московского Наблюдателя» былъ таковъ, что никогда еще ничего подобнаго за исключеніемъ развѣ послѣднихъ книжекъ «Телескопа», не бывало въ русской журналистикѣ. Даже «Телеграфъ» въ свое лучшее время не былъ такъ проникнутъ единствомъ задушевной мысли, не былъ одушевленъ такимъ пламеннымъ стремленіемъ служить истинѣ и искусству; и если бывали у насъ до того времени альманахи и журналы, имѣвшіе гораздо большее число сотрудниковъ, уже пользовавшихся громкою знаменитостью, какъ напримѣръ, «Библиотека для Чтенія» въ 1834, пушкинскій «Современникъ» въ 1836 году, то никогда еще не соединялись въ русскомъ журналѣ столько истинно замѣчательныхъ дарованій, столько истиннаго знанія и неподдѣльной поэзіи, какъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» второй редакціи (томы XVI, XVII и XVIII прежней нумераціи и томы I и II новой). Въ 1838—1839 годахъ новые сотрудники «Наблюдателя» были юношами, еще почти совершенно безвѣстными; но почти всѣ они оказались людьми сильными и даровитыми, почти каждому изъ нихъ суждено было составить себѣ прочную, благородную, безукоризненную извѣстность въ нашей литературѣ, а нѣкоторымъ и пріобрѣсти блестящую славу; будущность принадлежала имъ, какъ и теперь настоящее принадлежитъ имъ и тѣмъ людямъ, которые впоследствии примкнули къ нимъ.

«Московскій Наблюдатель» менѣе извѣстенъ, нежели «Телеграфъ» и «Телескопъ»; потому не излишне будетъ, прежде нежели говорить подробно объ его учено-критическихъ воззрѣнiяхъ, сказать два-три слова объ общей физиономiи послѣднихъ томовъ журнала, изданныхъ людьми новаго поколѣнiя, дѣятельность которыхъ теперь занимаетъ насъ.

До того времени, когда рѣшительное влiянiе Гоголя на молодые таланты обратило большинство даровитыхъ писателей къ предпочтенiю прозаической формы разсказа, стихотворенiя были блестящею стороною нашей изящной литературы. «Московскій Наблюдатель» не имѣлъ между своими сотрудниками Пушкина, какъ альманахи 1823—1833 годовъ или первые годы «Библиотеки» и (пушкинскаго) «Современника». Но если взять поэтическiй отдѣлъ «Наблюдателя» весь вмѣстѣ и сравнить его съ тѣмъ, что представляла наша поэзiя въ прежнихъ столь знаменитыхъ ею альманахахъ и въ самомъ пушкинскомъ «Современникѣ» (не говоря уже о «Библиотекѣ», далеко уступавшей въ этомъ отношенiи «Современнику», «Сѣвернымъ цвѣтамъ» и проч.), то нельзя не признать, что по отдѣлу поэзiи «Московскiй Наблюдатель» былъ гораздо выше всѣхъ прежнихъ нашихъ журналовъ и альманаховъ, гдѣ, кромѣ произведенiй Пушкина и переводовъ Жуковскаго, только немногiя стихотворенiя возвышаются надъ уровнемъ безцвѣтной и пустой посредственности, между тѣмъ, какъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» мы почти не найдемъ стихотворенiй, которыхъ нельзя было бы съ удовольствiемъ прочитать и нынѣ, а напротивъ, кромѣ дивныхъ созданiй Кольцова, многiя другiя пьесы остаются до сихъ поръ замѣчательны и прекрасны *).

*) Кромѣ стихотворенiй Кольцова, въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ помѣщались:

Переводъ изъ Гёте и Шиллера, г. К. А. Аксакова, котораго надобно называть однимъ изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ-переводчиковъ. Мнѣнiе, иногда высказываемое нынѣ, будто стихъ этихъ переводовъ былъ тяжелъ, не совершенно основательно; намъ кажется, напротивъ, что мало найдется такихъ прекрасныхъ и поэтическихъ переводовъ, какъ, напримѣръ, слѣдующая пьеса изъ Гёте („М. Н.“ XVI, 92):

НА ОЗЕРѢ.

Какъ освѣжается душа
И кровь течетъ быстрѣй!

Мало того, что изъ многочисленныхъ стихотвореній, помѣщен-ныхъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» второй редакціи, только развѣ немногія могутъ быть названы слабыми,—достоинство, ко-торымъ не могъ похвалиться до того времени ни одинъ изъ на-шихъ журналовъ,—есть въ этой массѣ пьесъ другое качество, еще болѣе новое для того времени: пустыхъ стихотвореній въ ней не найдется рѣшительно ни одного, каждая лирическая пьеса дѣйстви-тельно проникнута чувствомъ и мыслью, такъ что стихотворный отдѣлъ «Московского Наблюдателя» не можетъ быть и сравни-ваемъ съ тѣмъ, что встрѣчаемъ въ другихъ тогдашнихъ журналахъ.

О, какъ природа хороша!
Я на груди у ней!

Качаетъ нашъ челнокъ волна,
Въ ладъ съ нею весла бьютъ,
И горы въ мшистыхъ пеленахъ
Навстрѣчу намъ встаютъ.

Что же, мой взоръ, опускаешься ты?
Вы ли опять, золотыя мечты?
О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно!
Здѣсь все такъ любовью и жизнью полно!

Свѣтлою толпою
Звѣзды въ волнахъ глядятся.
Туманы градою
На дальнихъ высяхъ ложатся;
Вѣтеръ утра качаетъ
Деревья надъ зеркаломъ водъ;
Тихо отражаетъ
Озеро спящій плодъ.

Привода это стихотвореніе, мы имѣемъ дѣлю не только представить доказательство, что не напрасно причисляемъ переводы г. К. Аксакова въ «М. Н.» къ произведеніямъ, имѣющимъ положительное достоинство: для насъ «На озерѣ» служить поэтическимъ выраженіемъ самой характеристической особенности того міросозерцанія, которое господствовало въ «Московскомъ Наблюдателѣ».

Переводы г. Каткова изъ Гейне и отрывки изъ его прекраснаго пере-вода «Ромео и Джульетта» Шекспира;

Стихотворенія Ключникова (—Θ—) и нѣсколькихъ другихъ болѣе или менѣ замѣчательныхъ талантовъ;

Стихотворенія Красова, который былъ едва ли не лучшимъ изъ нашихъ второстепенныхъ поэтовъ въ эпоху дѣятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: онѣ очень заслуживаютъ того, и напрасно мы забываемъ объ этомъ замѣчательномъ поэтѣ.

ваніе русской литературы до Гоголя. Это опять было вовсе не ея дѣло. Извѣстно, что романтическіе критики прямо утверждали, что русская литература не существуетъ. Это говорилъ, еще до появленія «Телеграфа», Марлинскій. Позднѣе то же самое еще сильнѣе высказывалъ Надеждинъ. Словомъ, это была общая тема всей нашей критики до самаго того времени, когда русская литература получила новое направленіе, благодаря дѣятельности Гоголя. Бѣлинскій сначала раздѣлялъ это мнѣніе, потому что въ немъ было, для тридцатыхъ годовъ, очень много справедливаго. Но заслуга-ли, или преступленіе изобрѣсть мысль: «русская литература доселѣ не существуетъ», ни мало не принадлежитъ это изобрѣтеніе Бѣлинскому. Напротивъ, ему принадлежитъ та заслуга, что, когда черезъ нѣсколько лѣтъ положеніе русской литературы измѣнилось, онъ первый понялъ важность этого измѣненія и сказалъ: до сихъ поръ надобно было сомнѣваться въ существованіи русской литературы; теперь должно положительно сказать, что она существуетъ. Ему, а не кому-нибудь другому досталось на долю высказать это отрадное убѣжденіе потому, что ему, изъ нашихъ замѣчательныхъ критиковъ, первому судьба назначила дѣйствовать въ такое время, когда безусловное отрицаніе всего въ нашей литературѣ слѣдалось уже несправедливо. вмѣсто обыкновенной фразы, что онъ былъ въ нашей критикѣ органомъ отрицанія, надобно сказать, напротивъ, что онъ первый, сообразно измѣнившемуся положенію нашей литературы, положилъ границы отрицанію, которое у Надеждина не имѣло границъ.

Когда литература наша втеченіе гоголевскаго періода начала становиться тѣмъ, чѣмъ должна быть—выраженіемъ народнаго самосознанія и, такимъ образомъ, достигла, хотя до нѣкоторой степени, цѣли, къ которой стремилась, тогда и предыдущее развитіе ея получило смыслъ, котораго нельзя было замѣтить въ немъ прежде; только тогда можно было замѣтить, что одни явленія смѣнялись въ ней другими не напрасно и не случайно, что она имѣетъ свою исторію. Критика гоголевскаго періода замѣтила и высказала это. Она первая начала утверждать, что наша литература постоянно развивалась, что ея періоды имѣютъ между собою связь, что Державинъ и Пушкинъ явились не случайно, какъ то казалось прежде, и, какъ мы замѣтили, Бѣлинскій былъ первымъ исто-

рикомъ нашей литературы *). Недаромъ его первая значительная статья, отрицающая существованіе русской литературы, содержаніемъ своимъ имѣла подробный обзоръ ея фактовъ отъ Ломоносова до Пушкина.

Но если мы говоримъ о томъ, что критика гоголевскаго періода положила границы отрицанію и дала намъ въ первый разъ исторію русской литературы, считавшейся до того времени не болѣе, какъ случайнымъ, безжизненнымъ и почти всегда бессмысленнымъ отраженіемъ различныхъ явленій иноземныхъ литературъ, то мы говоримъ это о позднѣйшей порѣ развитія критики гоголевскаго періода, когда она достигла уже полной самостоятельности и когда положеніе русской литературы существенно измѣнилось вліяніемъ Гоголя, дѣятельностью Лермонтова и многочисленныхъ писателей новаго поколѣнія, воспитанныхъ отчасти Пушкинымъ и Лермонтовымъ, а болѣе всего твореніями Гоголя и критикою Бѣлинскаго. Но въ 1834—1836 г. это будущее едва можно было неопредѣленнымъ образомъ только предвидѣть, и почти все оставалось въ настоящемъ неподвижно. Не было еще достаточныхъ при-

*) Интересно прослѣдить, по статьямъ Бѣлинскаго, какъ измѣняющееся положеніе нашей литературы постепенно приводило критику отъ надеждинскаго отрицанія, справедливаго въ свое время (1834); къ убѣжденію, сдѣланному столь же справедливымъ черезъ десять лѣтъ: «есть у насъ, наконецъ, нѣчто достойное называться литературою; она получила, наконецъ, значеніе, какого не имѣла прежде, и мы теперь можемъ видѣть, къ какому результату веди, какой смыслъ имѣли тѣ литературныя явленія, которые прежде казались безплодными и случайными». Вотъ нѣкоторые выписки приблизительно обозначающія эпохи этого движенія:

1834. (До Гоголя). «У насъ нѣтъ литературы». *Литературныя мечтанія*. „Молва“ 1834 г., № 39, стр. 190.

1840. (Гоголь издалъ свои повѣсти и „Ревизора“, но еще не имѣетъ рѣшительнаго вліянія на литературу). У насъ нѣтъ литературы въ точномъ значеніи этого слова, какъ выраженія духа и жизни народной, но у насъ есть уже начало литературы». *Русская литература въ 1840 г.* „Отечественныя Записки“ 1841 г., томъ XIV, стр. 33).

1848. (Изданы „Мертвые Души“, школа Гоголя начинаетъ занимать видное мѣсто). Несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть живое движеніе и органическое развитіе; слѣдственно, у нея есть исторія. Мы желаемъ хоть намекнуть на это развитіе и продолжить другимъ дорогу тамъ, гдѣ еще не протоптано и тропинки. *Первая статья о Пушкинѣ*. „Отечественныя Записки“ 1843 г., томъ XXVIII, стр. 24).

1847. (Вліяніе Гоголя рѣшительно торжествуетъ). Было время, когда во-

чине существеннымъ образомъ измѣнять мнѣній, представителемъ которыхъ былъ Надеждинъ, и авторъ статей о Пушкинѣ началъ, какъ мы замѣтили, почти тѣмъ же самымъ, что говорилъ Надеждинъ. Какъ то всегда бываетъ, если человѣкъ молодого поколѣнія принимаетъ мысль, выраженную его учителемъ, онъ придастъ этой мысли еще больше опредѣлительности, нежели она имѣла у самого Надеждина.

Однако, по исторической необходимости, это скоро должно было измѣниться: новый періодъ для русской литературы уже начинался. Мы видѣли, какъ быстро и вѣрно предугадывалъ ученикъ Надеждина, по «Миргороду» и «Арабескамъ», какого писателя мы будемъ имѣть въ Гоголѣ; скоро «Ревизоръ» долженъ былъ оправдать это предчувствіе. Кольцовъ уже явился, Лермонтовъ скоро долженъ былъ явиться. Мы видѣли, какое существенное различіе между учителемъ и ученикомъ выказалось во взглядѣ на значеніе Гоголя и достоинства первыхъ стихотвореній Кольцова: одинъ еще не замѣчалъ фактовъ, на которыхъ другой уже основывалъ свои понятія о русской литературѣ.

Но коренное различіе между понятіями ученика и учителя о русской литературѣ заключалось тогда (1835—1836) не только въ томъ, что одинъ замѣчалъ необыкновенную важность новыхъ фактовъ, на которые другой медлилъ обратить надлежащее вниманіе: и тѣ коренныя воззрѣнія, на основаніи которыхъ произносится сужденіе о фактахъ, были уже не одинаковы. Сотрудникъ «Телескопа» сдѣлался приверженцемъ Гоголя, между тѣмъ, какъ изда-

прось: есть-ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разрѣшенъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ... Одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы открыли, что у Россіи была своя исторія. То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы... Литература наша дошла до такого положенія, что успѣхи ея въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пища для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодovitѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, то уже наша, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней; а это великій успѣхъ съ ея стороны». *Взглядъ на русскую литературу. „Современникъ“ 1847 г., № 1, Критика, стр. 4 и 28.*

тель, не будучи враждебенъ этому новому фазису развитія нѣмецкой науки, оставался, однакожь, въ сущности ученикомъ Шеллинга.

Биографическія монографіи, необходимость которыхъ въ настоящее время чувствуется живѣе, нежели когда-нибудь, должны объяснить намъ, когда и какъ начались тѣсныя дружескія отношенія между Н. В. Станкевичемъ и Бѣлинскимъ. Мы теперь можемъ положительно сказать только, что они начались очень рано; что первымъ распространителемъ энтузіазма къ Гегелю между молодымъ поколѣніемъ въ Москвѣ былъ Станкевичъ; что онъ былъ другомъ Кольцова; что когда Надеждинъ, въ 1835 году, уѣхалъ за границу и завѣдываніе «Телескопомъ» поручилъ Бѣлинскому, тотчасъ появились въ этомъ журналѣ стихотворенія Кольцова, передъ тѣмъ самымъ временемъ отысканнаго Станкевичемъ въ Воронежѣ, и чаще прежняго стали являться упоминанія о Гегелѣ, а скоро было напечатано и обширное изложеніе системъ этого мыслителя. Наконецъ, самое содержаніе статей, писанныхъ въ 1835—1836 годахъ молодымъ сотрудникомъ Надеждина, обнаруживаетъ, что онъ тогда уже находился подъ сильнымъ вліяніемъ этой новой у насъ философіи. Вообще, нельзя не видѣть, что, въ это время, если сохранялись еще въ образѣ возрѣвній Бѣлинскаго многія черты непосредственнаго родства съ понятіями, собственно принадлежащими Надеждину, то еще гораздо болѣе находилось тождественнаго съ тѣми идеями, которыя потомъ съ такою пылкостью излагались людьми молодаго поколѣнія въ «Московскомъ Наблюдателѣ», и, во многихъ частностяхъ продолжая быть ученикомъ Надеждина, его сотрудникъ совершенно принадлежалъ всѣмъ стремленіямъ своимъ новымъ идеямъ, тогда проникавшимъ въ молодое поколѣніе.

Различіе въ характерѣ книжекъ «Телескопа», изданныхъ въ отсутствіе Надеждина его сотрудникомъ, отъ предъидущихъ номеровъ бросается въ глаза. Оно такъ рѣзко, что если бы издатель былъ человекъ неподвижный въ умственной жизни, то, по возвращеніи, остался бы рѣшительно недоволенъ направленіемъ, приданнымъ его журналу. Но, сколько то видно изъ фактовъ, представляемыхъ самимъ журналомъ, этого не было. Напротивъ, оправдывая передъ публикою неисправность выхода журнала въ свое отсутствіе непредвидѣнными обстоятельствами, Надеждинъ указывалъ на достоинство содержанія изданныхъ безъ него номеровъ, какъ на доказательство того, что передъ отъѣздомъ имъ были приняты

всѣ мѣры, чтобы читатели ничего не потеряли отъ его поѣздки за границу. Сотрудникъ, издавшій эти нумера, сохранилъ свое положеніе въ журналѣ, даже приобрѣлъ на его направленіе болѣе вліянія, нежели имѣлъ до поѣздки Надеждина. Критика, относящаяся къ произведеніямъ изящной словесности и литературнымъ журналамъ, перешла совершенно въ руки Бѣлинскаго и получила большее развитіе. Себѣ Надеждинъ оставилъ только критическіе разборы ученыхъ сочиненій. Все, что начато было Бѣлинскимъ въ отсутствіе редактора, продолжалось и при редакторѣ, до конца «Телескопа». Молодые сотрудники, введенные въ журналъ Бѣлинскимъ, продолжали помѣщать свои статьи въ немъ и увлекали журналъ впередъ; Надеждинъ отдался молодому поколѣнію. Разногласія отъ литературныхъ причинъ не было и, сколько можно судить по самому журналу, не предвидѣлось *).

«Что было бы, если бы не случилось того, что случилось?» Что было бы, если бы «Телескопъ» не прекратился? Вопросы подобнаго рода не пользуются репутаціею особеннаго глубокомыслия, и отвѣты на нихъ не принимаются въ особенное уваженіе, хотя очень часто такіе вопросы сами собою навязываются воображенію, и отвѣты на нихъ иногда очень легко подсказываются здравымъ смысломъ. Признаемся, намъ хотѣлось бы, подобно Кифѣ Мокіевичу, «обратиться къ умозрительной сторонѣ» и поразмыслить о «философическомъ», по его выраженію, вопросѣ, который намъ представился. Но мы вспомнили одно изъ основныхъ положеній гегелевой философіи, къ которой приводитъ насъ «Московскій Наблюдатель»: «все дѣйствительное разумно и все разумное дѣйствительно», и заключили, что продолженіе существованія «Теле-

*) Эти выводы основываются на матеріалахъ, представляемыхъ содержаніемъ „Телескопа“ и „Молвы“. Мы очень хорошо понимаемъ, что одинъ этотъ источникъ недостаточенъ и долженъ быть дополненъ воспоминаніями лицъ, бывшихъ тогда близкими къ „Телескопу“, и мы были бы очень рады, если бы такіа воспоминанія явились въ печати, хотя бы и обнаружилось ими, что въ томъ или другомъ случаѣ мы ошиблись. Впрочемъ, каковы бы ни были отношенія редактора „Телескопа“ съ его главнымъ сотрудникомъ и молодыми друзьями послѣдняго, литературная сторона этихъ отношеній, которая здѣсь исключительно важна для насъ, съ удовлетворительною точностью характеризуется данными, находимыми въ самомъ журналѣ, и выводы, представленные выше, едва-ли могутъ быть существенно измѣнены *біографическими* воспоминаніями.

«скопа» было бы неразумно. Потому, оставляя умозрѣнія, будемъ продолжать исторію «разумной» дѣйствительности, въ «Московскомъ Наблюдателѣ»—рѣдкій случай!—являвшейся на самомъ дѣлѣ разумною.

Въ «Телескопѣ» молодое поколѣніе пользовалось очень значительнымъ вліяніемъ, получило наконецъ рѣшительный перевѣсъ, но все еще не было и не могло быть полнымъ хозяиномъ. По прекращеніи этого журнала, оно нѣсколько времени не имѣло органа въ литературѣ, но въ 1838 году получило въ полное свое распоряженіе «Московскій Наблюдатель». Матеріальныя средства этого журнала были въ то время совершенно истощены жалкимъ трехлѣтнимъ существованіемъ. Молодое поколѣніе располагало богатымъ запасомъ энтузіазма и дарованій, но не капиталами; потому «Московскій Наблюдатель» скоро прекратился. Но его кратковременная жизнь при второй редакціи была блистательна. Онъ былъ прекраснымъ выраженіемъ стремленій молодежи, пылкой и благородной. Главными сотрудниками Вѣлинскаго были въ этомъ журналѣ: г. К. Аксаковъ, г. Ботвинъ, г. Катковъ, Ключниковъ (— о —), Красовъ и г. Кудрявцевъ. Нѣвозможно отказать въ уваженіи и сочувствіи кружку, состоявшему изъ такихъ людей. А мы еще пропустили нѣкоторыя имена, еще болѣе выразительныя *). Душею ихъ круга былъ Станкевичъ. Завѣдываніе журналомъ принадлежало Вѣлинскому. Всѣ эти люди были тогда еще юношами. Всѣ были исполнены вѣры въ свои благородныя стремленія, надеждъ на близость прекраснаго будущаго. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшаго, какъ имъ казалось, все примирившаго Гегеля, раскрыла передъ ними тайны дотошъ непостижимыя людямъ. Поэзію упоены были ихъ сердца; слава готовила имъ вѣнцы за благую вѣсть, провозглашаемую отъ нихъ людямъ, и, увлекаемые силою энтузіазма, стремились они впередъ:

Какъ смѣло, съ бодрою охотою,
 Мечты надѣясь достигнуть,
 Еще не связанный заботой,
 Пускался юноша въ свой путь!
 Какъ онъ легко впередъ стремился!
 Что для счастливица тяжело?

*) Напримѣръ, Кольцова.

Какой воздушный рой тѣснился
 Вкругъ свѣтлаго пути его!
 Любовь съ улыбкой благосклонной
 И счастье съ золотымъ вѣнцомъ,
 И слава съ звѣздною короной
 И въ свѣтѣ истина живомъ.... *)

.
 Могучая сила
 Въ душѣ ихъ кипитъ;
 На блѣдныхъ ланитахъ
 Румянецъ горитъ;
 Ихъ очи, какъ звѣзды
 По небу, блестятъ;
 Ихъ думы—какъ тучи;
 Ихъ рѣчи горятъ.
 И съ неба, и съ время
 Покровы сняты...
 Шумна ихъ бесѣда
 Разумно идетъ;
 Роскошная младость
 Здравьемъ цвѣтеть... **)

И кто хочетъ перенестись на нѣсколько минутъ въ ихъ благородное общество, пусть перечитаетъ въ «Рудинѣ» рассказъ Лажнева о временахъ его молодости и удивительный эпилогъ повѣсти г. Тургенева.

*) „Идеалы“ Шпллера, переводъ К. Аксакова. „Московский Наблюдатель“, томъ XVI. стр. 548.

**) Изъ стихотворенія Кольцова въ память Станкевича.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

«Московский Наблюдатель» былъ переданъ въ распоряженіе друзей Станкевича уже тогда, когда матеріальныя средства къ продолженію изданія были совершенно истощены, и только безкорыстная энергія новыхъ сотрудниковъ могла продлить еще на годъ существованіе журнала, доведеннаго до гибели прежнею редакціею. Но этотъ послѣдній, слишкомъ краткій, періодъ жизни «Московского Наблюдателя» былъ таковъ, что никогда еще ничего подобнаго за исключеніемъ развѣ послѣднихъ книжекъ «Телескопа», не бывало въ русской журналистикѣ. Даже «Телеграфъ» въ свое лучшее время не былъ такъ проникнутъ единствомъ задушевной мысли, не былъ одушевленъ такимъ пламеннымъ стремленіемъ служить истинѣ и искусству; и если бывали у насъ до того времени альманахи и журналы, имѣвшіе гораздо большее число сотрудниковъ, уже пользовавшихся громкою знаменитостью, какъ напримѣръ, «Библиотека для Чтенія» въ 1834, пушкинскій «Современникъ» въ 1836 году, то никогда еще не соединялись въ русскомъ журналѣ столько истинно замѣчательныхъ дарованій, столько истиннаго знанія и неподдѣльной поэзіи, какъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» второй редакціи (томы XVI, XVII и XVIII прежней нумераціи и томы I и II новой). Въ 1838—1839 годахъ новые сотрудники «Наблюдателя» были юношами, еще почти совершенно безвѣстными; но почти всѣ они оказались людьми сильными и даровитыми, почти каждому изъ нихъ суждено было составить себѣ прочную, благородную, безукоризненную извѣстность въ нашей литературѣ, а нѣкоторымъ и пріобрѣсти блестящую славу; будущность принадлежала имъ, какъ и теперь настоящее принадлежитъ имъ и тѣмъ людямъ, которые впоследствии примкнули къ нимъ.

«Московскій Наблюдатель» менѣе извѣстенъ, нежели «Телеграфъ» и «Телескопъ»; потому не излишне будетъ, прежде нежели говорить подробно объ его учено-критическихъ воззрѣнiяхъ, сказать два-три слова объ общей физиономіи послѣднихъ томовъ журнала, изданныхъ людьми новаго поколѣнiя, дѣятельность которыхъ теперь занимаетъ насъ.

До того времени, когда рѣшительное вліяніе Гоголя на молодые таланты обратило большинство даровитыхъ писателей къ предпочтенію прозаической формы разсказа, стихотворенiя были блестящею стороною нашей изящной литературы. «Московскій Наблюдатель» не имѣлъ между своими сотрудниками Пушкина, какъ альманахи 1823—1833 годовъ или первые годы «Библіотеки» и (пушкинскаго) «Современника». Но если взять поэтическій отдѣлъ «Наблюдателя» весь вмѣстѣ и сравнить его съ тѣмъ, что представляла наша поэзія въ прежнихъ столь знаменитыхъ ею альманахахъ и въ самомъ пушкинскомъ «Современникѣ» (не говоря уже о «Библіотекѣ», далеко уступавшей въ этомъ отношеніи «Современнику», «Сѣвернымъ цвѣтамъ» и проч.), то нельзя не признать, что по отдѣлу поэзіи «Московскій Наблюдатель» былъ гораздо выше всѣхъ прежнихъ нашихъ журналовъ и альманаховъ, гдѣ, кромѣ произведеній Пушкина и переводовъ Жуковскаго, только немногія стихотворенiя возвышаются надъ уровнемъ безцвѣтной и пустой посредственности, между тѣмъ, какъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» мы почти не найдемъ стихотвореній, которыхъ нельзя было бы съ удовольствіемъ прочитать и нынѣ, а напротивъ, кромѣ дивныхъ созданій Кольцова, многія другія пьесы остаются до сихъ поръ замѣчательны и прекрасны *),

*) Кромѣ стихотвореній Кольцова, въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ помѣщались:

Переводъ изъ Гёте и Шиллера, г. К. А. Аксакова, котораго надобно называть однимъ изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ-переводчиковъ. Мнѣніе, иногда высказываемое нынѣ, будто стихъ этихъ переводовъ былъ тяжелъ, не совершенно основательно; намъ кажется, напротивъ, что мало найдется такихъ прекрасныхъ и поэтическихъ переводовъ, какъ, напримѣръ, слѣдующая пьеса изъ Гёте („М. Н.“ XVI, 92):

НА ОЗЕРѢ.

Какъ освѣжается душа
И кровь течетъ быстрѣй!

Мало того, что изъ многочисленныхъ стихотвореній, помѣщен-ныхъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» второй редакціи, только развѣ немногія могутъ быть названы слабыми,—достоинство, которыми не могъ похвалиться до того времени ни одинъ изъ нашихъ журналовъ,—есть въ этой массѣ пьесъ другое качество, еще болѣе новое для того времени: пустыхъ стихотвореній въ ней не найдется рѣшительно ни одного, каждая лирическая пьеса дѣйстви-тельно проникнута чувствомъ и мыслью, такъ что стихотворный отдѣлъ «Московского Наблюдателя» не можетъ быть и сравни-ваемъ съ тѣмъ, что встрѣчаемъ въ другихъ тогдашнихъ журналахъ.

О, какъ природа хороша!
Я на груди у ней!
Качаетъ нашъ челнокъ волна,
Въ ладъ съ нею весла бьютъ,
И горы въ мшистыхъ пеленахъ
Навстрѣчу намъ встаютъ.

Что же, мой взоръ, опускаешься ты?
Вы ли опять, золотыя мечты?
О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно!
Здѣсь все такъ любовью и жизнью полно!

Свѣтлою толпою
Звѣзды въ волнахъ глядятся.
Туманы градою
На дальнихъ высяхъ ложатся;
Вѣтеръ утра качаетъ
Деревья надъ зеркаломъ водъ;
Тихо отражаетъ
Озеро спѣющій плодъ.

Привода это стихотвореніе, мы имѣемъ цѣлью не только представить доказательство, что не напрасно причисляемъ переводы г. К. Аксакова въ «М. Н.» къ произведеніямъ, имѣющимъ положительное достоинство: для насъ «На озерѣ» служить поэтическимъ выраженіемъ самой характеристической особенности того міросозерцанія, которое господствовало въ «Московскомъ Наблюдателѣ».

Переводы г. Каткова изъ Гейне и отрывки изъ его прекраснаго пере-вода «Ромео и Джульетта» Шекспира;

Стихотворенія Ключникова (—Θ—) и нѣсколькихъ другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ талантовъ;

Стихотворенія Красова, который былъ едва ли не лучшимъ изъ нашихъ второстепенныхъ поэтовъ въ эпоху дѣятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: онъ очень заслуживаетъ того, и напрасно мы забываемъ объ этомъ замѣчательномъ поэтѣ.

«Московскій Наблюдатель» менѣе извѣстенъ, нежели «Телеграфъ» и «Телескопъ»; потому не излишне будетъ, прежде нежели говорить подробно объ его учено-критическихъ воззрѣнiяхъ, сказать два-три слова объ общей физиономiи послѣднихъ томовъ журнала, изданныхъ людьми новаго поколѣнiя, дѣятельность которыхъ теперь занимаетъ насъ.

До того времени, когда рѣшительное влiянiе Гоголя на молодые таланты обратило большинство даровитыхъ писателей къ предпочтенiю прозаической формы разсказа, стихотворенiя были блестящею стороною нашей изящной литературы. «Московскій Наблюдатель» не имѣлъ между своими сотрудниками Пушкина, какъ альманахи 1823—1833 годовъ или первые годы «Библиотеки» и (пушкинскаго) «Современника». Но если взять поэтическiй отдѣлъ «Наблюдателя» весь вмѣстѣ и сравнить его съ тѣмъ, что представляла наша поэзiя въ прежнихъ столь знаменитыхъ ею альманахахъ и въ самомъ пушкинскомъ «Современникѣ» (не говоря уже о «Библиотекѣ», далеко уступавшей въ этомъ отношенiи «Современнику», «Сѣвернымъ цвѣтамъ» и проч.), то нельзя не признать, что по отдѣлу поэзiи «Московскій Наблюдатель» былъ гораздо выше всѣхъ прежнихъ нашихъ журналовъ и альманаховъ, гдѣ, кромѣ произведенiй Пушкина и переводовъ Жуковскаго, только немногiя стихотворенiя возвышаются надъ уровнемъ безцвѣтной и пустой посредственности, между тѣмъ, какъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» мы почти не найдемъ стихотворенiй, которыхъ нельзя было бы съ удовольствiемъ прочитать и нынѣ, а напротивъ, кромѣ дивныхъ созданiй Кольцова, многiя другiя пьесы остаются до сихъ поръ замѣчательны и прекрасны *),

*) Кромѣ стихотворенiй Кольцова, въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ помѣщались:

Переводъ изъ Гёте и Шиллера, г. К. А. Аксакова, котораго надобно называть однимъ изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ-переводчиковъ. Мнѣнiе, иногда высказываемое нынѣ, будто стихъ этихъ переводовъ былъ тяжелъ, не совершенно основательно; намъ кажется, напротивъ, что мало найдется такихъ прекрасныхъ и поэтическихъ переводовъ, какъ, напримѣръ, слѣдующая пьеса изъ Гёте („М. Н.“ XVI, 92):

НА ОЗЕРѢ.

Какъ освѣжается душа
И кровь течетъ быстрѣй!

Мало того, что изъ многочисленныхъ стихотвореній, помѣщен-ныхъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» второй редакціи, только развѣ немногія могутъ быть названы слабыми,—достоинство, ко-торымъ не могъ похвалиться до того времени ни одинъ изъ на-шихъ журналовъ,—есть въ этой массѣ пьесъ другое качество, еще болѣе новое для того времени: пустыхъ стихотвореній въ ней не найдется рѣшительно ни одного, каждая лирическая пьеса дѣйстви-тельно проникнута чувствомъ и мыслью, такъ что стихотворный отдѣлъ «Московского Наблюдателя» не можетъ быть и сравни-ваемъ съ тѣмъ, что встрѣчаемъ въ другихъ тогдашнихъ журналахъ.

О, какъ природа хороша!

Я на груди у ней!

Качаетъ нашъ челнокъ волна,
Въ ладъ съ нею весла бьютъ,
И горы въ мшистыхъ пеленахъ
Навстрѣчу намъ встаютъ.

Что же, мой взоръ, опускаешься ты?

Вы ли опять, золотыя мечты?

О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно!

Здѣсь все такъ любовью и жизнью полно!

Свѣтлою толпою

Звѣзды въ волнахъ глядятся.

Туманы грядю

На дальнихъ высяхъ ложатся;

Вѣтеръ утра качаетъ

Деревья надъ зеркаломъ водъ;

Тихо отражаетъ

Озеро спѣющій плодъ.

Приводи это стихотвореніе, мы имѣемъ цѣлью не только представить доказательство, что не напрасно причисляемъ переводы г. Е. Аксакова въ «М. Н.» къ произведеніямъ, имѣющимъ положительное достоинство: для насъ «На озерѣ» служить поэтическимъ выраженіемъ самой характеристической особенности того міросозерцанія, которое господствовало въ «Московскомъ Наблюдателѣ».

Переводы г. Каткова изъ Гейне и отрывки изъ его прекраснаго пере-вода «Ромео и Джульетта» Шекспира;

Стихотворенія Ключникова (—Θ—) и нѣсколькихъ другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ талантовъ;

Стихотворенія Красова, который былъ едва ли не лучшимъ изъ нашихъ второстепенныхъ поэтовъ въ эпоху дѣятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было собрать и издать: онѣ очень заслуживаютъ того, и напрасно мы забываемъ объ этомъ замѣчательномъ поэтѣ.

Беллетристическою журналы не могли тогда похвалиться: хороших повѣстей писалось очень мало, потому что всего три-четыре человѣка умѣли тогда писать прозою такъ, что ихъ произведенія можно теперь перечитывать безъ улыбки. Но и по отдѣлу беллетристики «Московскій Наблюдатель» былъ едва-ли не выше всѣхъ остальныхъ своихъ собратій, печатая повѣсти Нестроева (г. Кудрявцева), за которыми должно остаться одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ въ исторіи возникновенія нашей изящной прозаической литературы. Въ настоящей статьѣ не мѣсто оцѣнивать талантъ Нестроева: это мы надѣемся сдѣлать впоследствии; но въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что повѣсти его по своему художественному достоинству должны были занять въ исторіи русской прозы почетное мѣсто. Нестроевъ—писатель съ дарованіемъ самостоятельнымъ и сильнымъ, какихъ тогда было очень немного, или, лучше сказать, почти вовсе не было, кромѣ такихъ колоссальныхъ талантовъ, какъ Пушкинъ, Гоголь и Лермонтовъ.

Такимъ образомъ, изящная словесность въ «Московскомъ Наблюдателѣ» замѣчательна по художественному достоинству; но еще гораздо интереснѣе она въ томъ отношеніи, что служитъ вообще вѣрнымъ и полнымъ отраженіемъ принциповъ, одушевлявшихъ общество молодыхъ людей, которые собрались вокругъ Станкевича. До того времени только очень немногіе изъ нашихъ поэтовъ и нувеллистовъ умѣли приводить смыслъ своихъ произведеній въ гармонію съ идеями, которыя казались имъ справедливы: обыкновенно, повѣсти или стихотворенія имѣли очень мало отношенія съ такъ называемымъ «міросозерцаніемъ» автора, если только авторъ имѣлъ какое-нибудь «міросозерцаніе». Въ примѣръ, укажемъ на повѣсти Марлинскаго, въ которыхъ самый внимательный розыскъ не откроетъ ни малѣйшихъ слѣдовъ принциповъ, которые, безъ сомнѣнія, были дороги ихъ автору, какъ человѣку. Обыкновенно жизнь и возбуждаемая ею убѣжденія были сами по себѣ, а поэзія сама по себѣ: связь между писателемъ и человѣкомъ была очень слаба, и самые живые люди, когда принимались за перо въ качествѣ литераторовъ, часто заботились только о теоріяхъ изящнаго, а вовсе не о смыслѣ своихъ произведеній, не о томъ, чтобы «привести живую идею» въ художественномъ созданіи (какъ любила *выражаться* критика гоголевскаго періода). Этимъ недостаткомъ—*отсутсіемъ связи между жизненными убѣжденіями автора и его*

произведениями — страдала вся наша литература до того времени, когда влияние Гоголя и Бѣлинскаго преобразовало ее. Литературный отдѣлъ «Московского Наблюдателя» является едва-ли не первымъ зародышемъ постоянной гармоніи убѣжденій человѣка со смысломъ, его художественныхъ произведеній, — той гармоніи, которая нынѣ владычествуетъ въ нашей литературѣ и придаетъ ей силу и жизнь. Молодые поэты и беллетристы, участвовавшіе въ этомъ журналѣ, писали именно о томъ, что ихъ занимало, а не о какихъ нибудь сюжетахъ, навѣянныхъ другими поэтами, смыслъ которыхъ оставался, бывало, совершенно непонятенъ для подражателей, очень усердно копировавшихъ внѣшнюю сторону иностранныхъ произведеній: они понимали то, что писали — качество, которое очень рѣдко замѣчается у прежнихъ нашихъ литераторовъ. Изъ этого общаго правила писать произведенія, или не имѣющія живаго смысла, или произведенія, смыслъ которыхъ остается непостижимою тайною для самого автора, исключеній бывало очень мало и «Московский Наблюдатель» — первый журналъ, въ которомъ мысль и поэзія гармонируютъ между собою, и въ литературномъ отдѣлѣ котораго постоянно отражаются сознательныя стремленія. Это первый въ ряду такихъ журналовъ, какіе имѣемъ мы теперь, въ которыхъ поэзія, беллетристика и критика согласно идутъ къ одной цѣли, поддерживая другъ друга. Глубокая потребность истины и добра съ одной стороны, съ другой — свѣжая и здоровая готовность любить все, что дѣйствительная жизнь представляетъ удовлетворительнаго, — предпочтеніе дѣйствительной жизни отвлеченному фантазированію съ одной стороны, съ другой — чрезвычайное сочувствіе тому, что въ стремленіяхъ фантазіи является здоровымъ отраженіемъ истинной потребности полнаго наслажденія дѣйствительною жизнью, — эти основныя черты критической мысли «Московского Наблюдателя» составляютъ существенный характеръ и литературнаго отдѣла въ этомъ журналѣ. Стремленіе, одушевляющія его поэзію и беллетристику, видимо проникнуты философскою мыслью, которая владычествуетъ надъ всѣмъ.

Дѣйствительно, философское міросозерцаніе нераздѣльно владычествовала надъ умами въ томъ дружескомъ кружкѣ, органомъ котораго были послѣдніе томы «Московского Наблюдателя». Эти люди рѣшительно жили только философіею, день и ночь толковали о ней, когда сходились вмѣстѣ, на все смотрѣли, все рѣшали съ философ-

ской точки зрѣнія. То была первая пора знакомства нашего съ Гегелемъ, и энтузіазмъ, возбужденный новыми для насъ, глубокими истинами, съ изумительною силою діалектики развитыми въ системѣ этого мыслителя, на нѣкоторое время натурально долженъ былъ взять верхъ надъ всѣми остальными стремленіями людей молодаго поколѣнія, сознавшихъ на себѣ обязанность быть провозвѣстниками невѣдомой у насъ истины, все озаряющей, какъ имъ казалось въ пылу перваго увлеченія, все примиряющей, дающей человѣку и невозмутимый внутренній міръ и бодрую силу для внѣшней дѣятельности. Главное значеніе «Московского Наблюдателя» состоитъ въ томъ, что онъ былъ органомъ гегелевской философіи.

Философскія стремленія теперь почти забыты нашею литературою и критикою. Мы не хотимъ рѣшать, на сколько литература и критика выиграли отъ этой забывчивости,—кажется, не выиграли ровно ничего, потерявъ очень много; но какъ бы ни рѣшалъ кто вопросъ о значеніи философскаго міросозерцанія для настоящаго времени каждый согласится, что господство философіи надъ всею умственною нашею дѣятельностью въ началѣ настоящаго періода нашей литературы есть замѣчательный историческій фактъ, заслуживающій внимательнаго изученія. «Московскій Наблюдатель» представляетъ первую эпоху этого владычества философіи, когда непогрѣшительнымъ истолкователемъ ея представлялся Гегель, когда каждое слово Гегеля являлось несомнѣнною истиною и каждое изреченіе великаго учителя принималось его новыми учениками въ буквальномъ смыслѣ, когда не было еще ни заботы о повѣркѣ этихъ истинъ, ни предчувствія, что Гегель былъ непослѣдователенъ, противорѣчилъ самъ себѣ на каждомъ шагу, что, принимая его принципы, послѣдовательному мыслителю надобно придти къ выводамъ совершенно различнымъ отъ выставленныхъ имъ выводовъ. Позднѣе, когда это было замѣчено, фальшивые выводы были отвергнуты лучшими изъ бывшихъ послѣдователей Гегеля у насъ, и нѣмецкая философія явилась совершенно въ другомъ свѣтѣ. Но то была уже другая эпоха—эпоха «Отечественныхъ Записокъ», и мы будемъ говорить о ней въ слѣдующей статьѣ, а теперь посмотримъ, какова была гегелева система, пламеннымъ проповѣдникомъ которой былъ «Московскій Наблюдатель».

Программою журнала была первая статья его—предисловіе къ переводу «Гимназическихъ рѣчей Гегеля» («М. Н.», XVI, стр. 5—20).

Мы приводимъ въ выноскѣ существенныя мѣста изъ этого предисловія, присоединяя къ нимъ объясненіе техническихъ терминовъ гегелевскаго языка, которые могли бы затруднить тѣхъ читателей, которые не привыкли къ этой терминологіи: они, надѣемся, увидятъ, что дѣло было очень просто и понятно, и что различные толки о мнимой темнотѣ гегелевой философіи—чистый предрассудокъ: нужно только знать смыслъ нѣсколькихъ техническихъ словъ, и трансцендентальная философія становится для людей нашего времени ясна и проста *).

*) Умъ — только одна изъ способностей человѣка; знаніе — только одно изъ его стремленій; потому одно умствованіе объ отвлеченныхъ вопросахъ не удовлетворяетъ человѣка: онъ хочетъ также любить и жить, не только знать, но и наслаждаться, не только мыслить, но и дѣйствовать. Нынѣ это понятно каждому — таковъ духъ вѣка, такова сила времени, все объясняющаго. Но въ XVII вѣкѣ наука была дѣломъ кабинетныхъ труженниковъ, которые знали только книги, думали только объ ученыхъ вопросахъ, чуждаясь жизни и не понимая житейскихъ дѣлъ. Когда жизнь, въ XVIII вѣкѣ, предъявила свои права съ такою силою, что пробудила даже нѣмецкихъ ученыхъ, они увидѣли недостаточность прежней философской методы, основывавшей все на умозаключеніяхъ, принимавшей мѣрою всему отвлеченныя понятія. Но не могли они однимъ шагомъ перейти изъ пыльнаго кабинета на форумъ жизни; они были еще слишкомъ далеки отъ мысли, что *есть* естественныя способности и стремленія человѣка должны дѣйствовать, должны помогать другъ другу въ разрѣшеніи вопросовъ науки и жизни. Имъ показалось, что довольно будетъ измѣнить методу умозаключеній, оставляя по прежнему и сердца и тѣло человѣка безъ вниманія. Они думали, что умъ не обнималъ живую истину во всей ея полнотѣ не потому, что одной головы, безъ груди и рукъ, безъ сердца и осязанія недостаточно человѣку: они вадумали попробовать, не удастся ли головѣ обойтись безъ помощи остальныхъ членовъ живаго организма, если только голова возьмется за дѣла, которыя принадлежатъ сердцу, желудку и рукамъ,—я голова, дѣйствительно, придумала „спекулятивное мышленіе“. Сущность этой попытки состояла въ томъ, что умъ старался, отвергая отвлеченныя понятія, мыслить по такъ-называемымъ „конкретнымъ“ понятіямъ, — напримѣръ, думая о человѣкѣ, основывать свои заключенія не на прежней фразѣ: „человѣкъ есть существо, одаренное разумомъ“, но на понятіяхъ о дѣйствительномъ человѣкѣ, съ руками и ногами, съ сердцемъ и желудкомъ. Это былъ большой шагъ впередъ. Гегель является послѣднимъ и важнѣйшимъ изъ мыслителей, остановившихся на этомъ первомъ фазисѣ превращенія кабинетнаго ученаго въ живаго человѣка. Конечно, система, основанная на этомъ способѣ замѣненія прежнихъ отвлеченныхъ понятій болѣе живыми возрѣтніями, была гораздо свѣжѣе и полнѣе прежнихъ, совершенно отвлеченныхъ системъ, занимавшихся не людьми, каковы люди въ

Содержаніе гегелевой философіи, въ томъ видѣ, какъ изложена она у самого Гегеля, и какъ до мельчайшихъ подробностей принималась за безспорную истину друзьями Станкевича въ 1838—1839 годахъ, кажется совершенною противоположною тому образу мыслей, который съ такимъ жаромъ и успѣхомъ излагался потомъ критикою гоголевскаго періода въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1840—1846) и нашемъ журналѣ (1847—1848); оттого и статьи «Московского Наблюдателя», написанныя Бѣлинскимъ и его товарищами по убѣжденіямъ подѣ исключительнымъ вліяніемъ сочиненій Гегеля, представляются на первый взглядъ совершенно противорѣчащими статьямъ, которыя тотъ же самый Бѣлинскій писалъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Это разнорѣчіе зависитъ, какъ мы сказали, отъ двойственности самой системы Гегеля, отъ разнорѣчія между

дѣйствительности, а призраками, которые созданы прежнею методою мышленія, отвергавшею въ человѣкѣ всякія способности и стремленія, кромѣ ума, и изъ всѣхъ органовъ человѣческаго существа признававшюю достойнымъ своего вниманія только мозгъ. Потому „трансцендентальное“, или „спекулятивное“ мышленіе (стремящееся основывать свои умозаключенія на понятіи о дѣйствительныхъ предметахъ) справедливо гордилось тѣмъ, что оно гораздо живѣе прежней схоластической методы, и старинный методъ основывать все на отвлеченныхъ понятіяхъ былъ заклеименъ прозваніемъ „призрачнаго мышленія“, принадлежащаго „отвлеченному уму, или разуму“ (Verstand). Всѣ понятія и выводы, составленные на основаніи этого „отвлеченнаго призрачнаго мышленія“, были опозорены именемъ „призрачныхъ понятій“, „призрачныхъ выводовъ“, и ученики Гегеля съ презрѣніемъ говорили о всѣхъ тѣхъ философахъ, которые строили свои системы не на основаніи, „спекулятивнаго мышленія“: эти люди, по мнѣнію Гегеля и его послѣдователей, не заслуживаютъ даже имени философовъ, а ихъ системы—„призрачныя построенія“, въ которыхъ вмѣсто живой истины даются „отвлеченные призраки“. Особенному негодованію подвергалась французская философія, которая, совершивъ свое дѣло, перестала занимать сильные умы, стала занятіемъ фантаверовъ и болтуновъ и, дѣйствительно, жалкимъ образомъ намеждала и опоздилась при Наполеонѣ и во время Реставраціи. Тогда во Франціи, дѣйствительно, каждый подѣ философіею понималъ всякій вздоръ, какой только приходилъ въ голову, и, по произволу переиѣшивая этотъ вздоръ съ торопливо набранными чужими мыслями, провозглашалъ себя гениемъ и творцомъ новой философской системы. Противъ этихъ-то фантавій, чуждыхъ научнаго достоинства, преимущественно и направлено предисловіе къ рѣчамъ Гегеля, служащее программю „Московскому Наблюдателю“. Вотъ существенныя мѣста изъ этой программы:

„Кто не воображаетъ себя нынче философомъ, кто не говоритъ теперь

ея принципами и ея выводами, духомъ и содержаніемъ. Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его генія, у великаго мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общія идеи, но недостало уже силы неуклонно держаться этихъ основаній и логически развить изъ нихъ всё необходимыя слѣдствія. Онъ провидѣлъ истину, но только въ самыхъ общихъ, отвлеченныхъ, вовсе неопредѣлительныхъ очертаніяхъ; увидѣть ее лицомъ къ лицу досталось на долю только уже слѣдующему поколѣнію. И не только выводовъ изъ своихъ принциповъ не могъ онъ сдѣлать — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были

съ утвердительною о томъ, что такое истина и въ чемъ заключается истина? Всякій хочетъ имѣть свою собственную, партикулярную систему; кто не думаетъ по своему, по своему личному произволу, тотъ не имѣетъ самостоятельнаго духа, тотъ безцвѣтный человѣкъ; кто не выдумалъ своей собственной идеи, тотъ не геній, въ томъ нѣтъ глубокомыслия, а нынче куда вы ни обернетесь, вездѣ встрѣчаете геніевъ. И что же выдумали эти геніи-самозванцы, какой плодъ ихъ глубокомысленныхъ идейъ и взглядовъ, что двинули они впередъ, что сдѣлали они дѣйствительнаго?

«Шумимъ, братецъ, шумимъ», — отвѣчаетъ за нихъ Репетиловъ, въ комедіи Грѣбодова. Да, шумъ, пустая болтовня — вотъ единственный результатъ этой ужасной, бессмысленной анархіи умовъ, которая составляетъ главную больъ нашего новаго поколѣнія, отвлеченнаго, призрачнаго, чуждаго всякой дѣйствительности; и весь этотъ шумъ, вся эта болтовня происходитъ во имя философіи. И мудрено-ли, что умный, дѣйствительный русскій народъ не позволяетъ ослѣплять себя этимъ фейерверочнымъ огнемъ словъ безъ содержанія и мыслей безъ смысла? мудрено-ли, что онъ не довѣряетъ философіи, представленной ему съ такой невыгодной, призрачной стороны? До сихъ поръ философія и отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой дѣйствительности были тождественны: кто занимается философіею, тотъ необходимо протиснулся съ дѣйствительностью и бродитъ въ этомъ болѣзненномъ отчужденіи отъ всякой естественной и духовной дѣйствительности, въ какихъ-то фантастическихъ, произвольныхъ, небывалыхъ мірахъ, или вооружается противъ дѣйствительнаго міра и мнитъ, что своими призрачными силами онъ можетъ разрушить его мощное существованіе, мнитъ, что въ осуществленіи конечныхъ (*ограниченныхъ, одностороннихъ*) положеній (*суждений*) его конечнаго (*ограниченнаго, односторонняго, отвлеченнаго*) разсудка и конечныхъ цѣлей его конечнаго произвола заключается все благо человѣчества, и не знаетъ, бѣдный, что дѣйствительный міръ выше его жалкой и бессильной индивидуальности (*личности*)... Жизнь его есть рядъ безпрестанныхъ мученій, безпрестанныхъ разочарованій, борьба безъ выхода и конца, — и это внутреннее распаденіе, эта внутренняя разорванность есть необходи-

Содержаніе гегелевой философіи, въ томъ видѣ, какъ изложена она у самого Гегеля, и какъ до мельчайшихъ подробностей принималась за безспорную истину друзьями Станкевича въ 1838—1839 годахъ, кажется совершенною противоположностью тому образу мыслей, который съ такимъ жаромъ и успѣхомъ излагался потомъ критикою гоголевскаго періода въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1840—1846) и нашемъ журналѣ (1847—1848); оттого и статьи «Московского Наблюдателя», написанныя Бѣлинскимъ и его товарищами по убѣжденіямъ подъ исключительнымъ вліяніемъ сочиненій Гегеля, представляются на первый взглядъ совершенно противорѣчащими статьямъ, которыя тотъ же самый Бѣлинскій писалъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Это разнорѣчіе зависитъ, какъ мы сказали, отъ двойственности самой системы Гегеля, отъ разнорѣчія между

дѣйствительности, а призраками, которые созданы прежнею методою мышленія, отвергавшею въ человѣкѣ всякія способности и стремленія, кромѣ ума, и изъ всѣхъ органовъ человеческого существа признававшюю достойнымъ своего вниманія только мозгъ. Потому „трансцендентальное“, или „спекулятивное“ мышленіе (стремящееся основывать свои умозаключенія на понятіи о дѣйствительныхъ предметахъ) справедливо гордилось тѣмъ, что оно гораздо живѣе прежней схоластической методы, и старинный методъ основывать все на отвлеченныхъ понятіяхъ былъ заклейменъ прованіемъ „призрачнаго мышленія“, принадлежащаго „отвлеченному уму, или разуму“ (Verstand). Всѣ понятія и выводы, составленные на основаніи этого „отвлеченнаго призрачнаго мышленія“, были опозорены именемъ „призрачныхъ понятій“, „призрачныхъ выводовъ“, и ученики Гегеля съ презрѣніемъ говорили о всѣхъ тѣхъ философахъ, которые строили свои системы не на основаніи „спекулятивнаго мышленія“: эти люди, по мнѣнію Гегеля и его послѣдователей, не заслуживаютъ даже имени философовъ, а ихъ системы—„призрачныя построенія“, въ которыхъ вмѣсто живой истины даются „отвлеченные призраки“. Особенному негодованію подвергалась французская философія, которая, совершивъ свое дѣло, перестала занимать сильные умы, стала занятіемъ фантаверовъ и болтуновъ и, дѣйствительно, жалкимъ образомъ измелчала и опозилась при Наполеонѣ и во время Реставраціи. Тогда во Франціи, дѣйствительно, каждый подъ философіею понималъ всякій вздоръ, какой только приходилъ въ голову, и, по произволу переиначивая этотъ вздоръ съ торпливо набранными чужими мыслями, провозглашалъ себя гениемъ и творцомъ новой философской системы. Противъ этихъ-то фантавій, чуждыхъ научнаго достоинства, направлено предисловіе къ рѣчамъ Гегеля, служащее программою „Московскому Наблюдателю“. Вотъ существенныя мѣста изъ этой программы:

„Кто не воображаетъ себя нынче философомъ, кто не говоритъ теперь

ея принципами и ея выводами, духомъ и содержаніемъ. Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его генія, у великаго мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общія идеи, но недостало уже силы неуклонно держаться этихъ основаній и логически развить изъ нихъ всѣ необходимыя слѣдствія. Онъ провидѣлъ истину, но только въ самыхъ общихъ, отвлеченныхъ, вовсе неопредѣлительныхъ очертаніяхъ; увидѣть ее лицомъ къ лицу досталось на долю только уже слѣдующему поколѣнію. И не только выводовъ изъ своихъ принциповъ не могъ онъ сдѣлать — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были

съ утвердительною о томъ, что такое истина и въ чемъ заключается истина? Всякій хочетъ имѣть свою собственную, партикулярную систему; кто не думаетъ по своему, по своему личному произволу, тотъ не имѣетъ самостоятельнаго духа, тотъ безцвѣтный человѣкъ; кто не выдумалъ своей собственной идеи, тотъ не геній, въ томъ нѣтъ глубокомыслія, а нынче куда вы ни обернетесь, вездѣ встрѣчаете геніевъ. И что же выдумали эти геніи-самозванцы, какой плодъ ихъ глубокомысленныхъ идей и взглядовъ, что двинули они впередъ, что сдѣлали они дѣйствительнаго?

«Шумимъ, братецъ, шумимъ», — отвѣчаетъ за нихъ Репетиловъ, въ комедіи Грибоедова. Да, шумъ, пустая болтовня — вотъ единственный результатъ этой ужасной, бессмысленной анархіи умовъ, которая составляетъ главную болязнь нашего новаго поколѣнія, отвлеченнаго, призрачнаго, чуждаго всякой дѣйствительности; и весь этотъ шумъ, вся эта болтовня происходитъ во имя философіи. И мудро-ли, что умный, дѣйствительный русскій народъ не позволяетъ ослѣплять себя этимъ фейерверочнымъ огнемъ словъ безъ содержанія и мыслей безъ смысла? мудро-ли, что онъ не довѣряетъ философіи, представленной ему съ такой невыгодной, призрачной стороны? До сихъ поръ философія и отвлеченность, призрачность и отсутствіе всякой дѣйствительности были тождественны: кто занимается философіею, тотъ необходимо простился съ дѣйствительностью и бродитъ въ этомъ болѣзненномъ отчужденіи отъ всякой естественной и духовной дѣйствительности, въ какихъ-то фантастическихъ, произвольныхъ, небывалыхъ мірахъ, или вооружается противъ дѣйствительнаго міра и мнитъ, что своими призрачными силами онъ можетъ разрушить его мощное существованіе, мнитъ, что въ осуществленіи конечныхъ (*ограниченныхъ, одностороннихъ*) положеній (*суждений*) его конечнаго (*ограниченнаго, односторонняго, отвлеченнаго*) разсудка и конечныхъ цѣлей его конечнаго произвола заключается все благо человечества, и не знаетъ, бѣдный, что дѣйствительный міръ выше его жалкой и бессильной индивидуальности (*личности*)... Жизнь его есть рядъ безпрестанныхъ мученій, безпрестанныхъ разочарованій, борьба безъ выхода и конца, — и это внутреннее распаденіе, эта внутренняя разорванность есть необходи-

для него туманны. Слѣдующее поколѣніе мыслителей сдѣлало еще шагъ впередъ, и принципы, неопредѣленно, односторонне и отвлеченно высказанные Гегелемъ, явились во всей своей полнотѣ и ясности: тогда колебаніямъ не осталось мѣста, двойственность исчезла, фальшивые выводы, внесенные въ науку непоследовательностью Гегеля въ развитіи основныхъ положеній, были отстранены, и содержаніе приведено въ гармонію съ основными истинами. Таковъ былъ ходъ дѣла въ Германіи, таковъ же былъ онъ и у насъ. Развитіе послѣдовательныхъ возрѣній изъ двусмысленныхъ и лишенныхъ всякаго примѣненія намековъ Гегеля совершилось у насъ отчасти вліяніемъ нѣмецкихъ мыслителей, явившихся послѣ Гегеля, отчасти—мы съ гордостью можемъ сказать это—собственными си-

мое слѣдствіе отвлеченности и призрачности конечнаго разсудка, для котораго нѣтъ ничего конкретнаго и который превращаетъ всякую жизнь въ смерть. И еще разъ повторю: общая недовѣрчивость къ философіи весьма основательна, потому что то, что намъ выдавали до сихъ поръ за философію, разрушаетъ человѣка, вмѣсто того, чтобы оживлять его, вмѣсто того, чтобы образовать изъ него полезнаго и дѣйствительнаго члена общества.

«Начало этого зла скрывается въ реформаціи. Когда назначеніе папизма—замѣнить недостатокъ внутренняго центра внѣшнимъ центромъ—кончилось... реформація потрясла его авторитетъ... пробужденный умъ, освободившись отъ пеленокъ авторитета, отдѣлившись отъ дѣйствительнаго міра и погрузившись съ самого себя, захотѣлъ вывести все изъ самого себя, найти начало и основу знанія въ самомъ себѣ... Но умъ человѣческій, только что пробудившійся отъ долгаго сна, не могъ вдругъ познать истину: дѣйствительный міръ истины былъ не по силамъ ему, онъ еще не доросъ до него и долженъ былъ необходимо пройти черезъ долгій путь испытаній, борьбы и страданій, прежде чѣмъ достигъ своей возмужалости; истина не дается даромъ: нѣтъ! она есть плодъ тяжкихъ страданій, долгаго мучительнаго стремленія... Результатомъ философіи разсудка было (въ Германіи, у Фихте) разрушеніе всякой объективности, всякой дѣйствительности и погруженіе отвлеченнаго пустаго Я въ самолюбивое эгоистическое самосоверщаніе, разрушеніе всякой любви, а слѣдовательно и всякой жизни и всякой возможности блаженства... Но германскій народъ слишкомъ силенъ, слишкомъ дѣйствителенъ для того, чтобы сдѣлаться жертвою призрака... Система Гегеля вѣнчала долгое стремленіе ума къ дѣйствительности:

Что дѣйствительно, то разумно; и
Что разумно, то дѣйствительно,—

Вотъ основа философіи Гегеля.

«Обратимся теперь къ Франціи и посмотримъ, какимъ образомъ проявилось въ ней это разьединеніе Я съ дѣйствительностью... Разсудокъ человѣка,

лами. Тутъ въ первый разъ русскій умъ показалъ свою способность быть участникомъ въ развитіи общечеловѣческой науки.

Пересмотримъ же теперь тѣ принципы гегелевой философіи, которые могуществомъ и истинностью своею увлекли людей «Московского Наблюдателя» до такой степени, что, въ пылу энтузіазма, возбужденнаго этими высокими стремленіями, были забыты на время всѣ остальные требованія разума и жизни, было принято все со-

неспособный проникнуть въ глубокое и святое таинство жизни, отвергнувъ все, что было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все дѣйствительное. Вся жизнь Франціи есть ничто иное, какъ сознаніе своей пустоты и мучительное стремленіе наполнить ее чѣмъ бы то ни было, и всѣ средства, употребляемыя ею для наполненія себя, призрачны и бесплодны... Французы (*когда принимаютъ философствовать*) превращаютъ всякую истину въ пустыя, бессмысленныя фразы, въ произвольность и анархію мышленія и въ страпаніе новыхъ идеекъ...

Эта болѣзнь распространилась, къ несчастію, и у насъ... Пустота нашего воспитанія есть главная причина призрачности нашего новаго поколѣнія. вмѣсто того, чтобы разжигать въ молодомъ человѣкѣ искру Божію... вмѣсто того, чтобы образовывать въ немъ глубокое эстетическое чувство, которое спасаетъ человѣка отъ всѣхъ грязныхъ сторонъ жизни,—вмѣсто всего этого, его наполняютъ пустыми, бессмысленными французскими фразами... вмѣсто того, чтобы приучать молодой умъ къ дѣйствительному труду, вмѣсто того, чтобы разжигать въ немъ любовь къ знанію... его приучаютъ къ пренебреженію трудомъ... Вотъ источникъ нашей общей болѣзни, нашей призрачности! Разверните какое вамъ угодно собраніе русскихъ стихотвореній и посмотрите, что составляетъ пищу для ежедневнаго вдохновенія нашихъ самозванцевъ-поэтовъ... Одинъ объявляетъ, что онъ не вѣритъ въ жизнь, что онъ разочарованъ; другой, что онъ не вѣритъ дружбѣ; третій, что онъ не вѣритъ любви...

Счастіе не въ призракѣ, не въ отвлеченномъ снѣ, а въ живой дѣйствительности; возставать противъ дѣйствительности и убивать въ себѣ всякій источникъ жизни—одно и то же; примиреніе съ дѣйствительностью во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ сферахъ жизни есть главная задача нашего времени, и Гегель и Гёте—главы этого примиренія, этого возвращенія изъ смерти въ жизнь. Будемъ надѣяться, что наше новое поколѣніе также выйдетъ изъ призрачности, что оно оставитъ пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознаетъ, что истинное знаніе и анархія умовъ и произвольность въ мнѣніяхъ совершенно противоположны; что въ знаніи царствуетъ строгая дисциплина, и что безъ этой дисциплины нѣтъ знанія. Будемъ надѣяться, что новое поколѣніе сроднится наконецъ съ нашею прекрасною русскою дѣйствительностью, и что, оставивъ всѣ пустыя претензіи на гениальность, оно ощутитъ, наконецъ, въ себѣ законную потребность быть *дѣйствительными русскими людьми.*

держаніе системы, хвалившейся тѣмъ, что она основана на этихъ глубокихъ истинахъ.

Мы столь же мало послѣдователи Гегеля, какъ и Декарта или Аристотеля. Гегель нынѣ уже принадлежитъ исторіи, настоящее время имѣетъ другую философію и хорошо видитъ недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелемъ, дѣйствительно, были очень близки къ истинѣ, и нѣкоторыя стороны истины были выставлены на видъ этимъ мыслителемъ съ истинно поразительною силою. Изъ этихъ истинъ, открытіе иныхъ составляетъ личную заслугу Гегеля; другія, хотя и принадлежать не исключительно его системѣ, а всей нѣмецкой философіи со временъ Канта и Фихте, но никѣмъ до Гегеля не были формулированы такъ ясно и высказываемы такъ сильно, какъ въ его системѣ.

Прежде всего укажемъ на плодотворнѣйшее начало всякаго прогресса, которымъ столь рѣзко и блистательно отличается нѣмецкая философія вообще и въ особенности гегелева система отъ тѣхъ лицемѣрныхъ и трусливыхъ возрѣній, какія господствовали въ тѣ времена (начало XIX вѣка) у французовъ и англичанъ: «истина — верховная цѣль мышленія; ищите истины, потому что въ истинѣ благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что неистинно; первый долгъ мыслителя: не отступить ни передъ какими результатами; онъ долженъ быть готовъ жертвовать истинѣ самыми любимыми своими мнѣніями. Заблужденіе—источникъ всякой пагубы; истина—верховное благо и источникъ всѣхъ другихъ благъ». Чтобы оцѣнить чрезвычайную важность этого требованія, общаго всей нѣмецкой философіи со времени Канта, но особенно энергически высказаннаго Гегелемъ, надобно вспомнить, какими странными и узкими условіями ограничивали истину мыслители другихъ тогдашнихъ школъ: они принимались философствовать не иначе, какъ за тѣмъ, чтобы «оправдать дорогія для нихъ убѣжденія», т. е. искали не истины, а поддержки своимъ предубѣжденіямъ; каждый бралъ изъ истины только то, что ему нравилось, а всякую непріятную для него истину отвергалъ, безъ церемоніи признаваясь, что пріятное заблужденіе кажется ему гораздо лучше безпристрастной правды. Эту манеру заботиться не объ истинѣ, а о *подтвержденіи* пріятныхъ предубѣжденій, нѣмецкіе философы (особенно Гегель) прозвали «субъективнымъ мышленіемъ», фило-

софствованьемъ для личнаго удовольствія, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличалъ эту пустую и вредную забаву. Какъ необходимое предохранительное средство противъ посползновеній уклониться отъ истины въ угожденіе личнымъ желаніямъ и предрасудкамъ, былъ выставленъ Гегелемъ знаменитый «діалектическій методъ мышленія». Сущность его состоитъ въ томъ, что мыслитель не долженъ успокаиваться ни на какомъ положительномъ выводѣ, а долженъ искать, нѣтъ-ли въ предметѣ, о которомъ онъ мыслить, качествъ и силъ, противоположныхъ тому, что представляется этимъ предметомъ на первый взглядъ: такимъ образомъ, мыслитель былъ принужденъ обозрѣвать предметъ со всѣхъ сторонъ, и истина являлась ему не иначе, какъ слѣдствіемъ борьбы всевозможныхъ противоположныхъ мнѣній. Этимъ способомъ, вмѣсто прежнихъ одностороннихъ понятій о предметѣ, мало-по-малу являлось полное, всестороннее изслѣдованіе и составлялось живое понятіе о всѣхъ дѣйствительныхъ качествахъ предмета. Объяснить дѣйствительность стало существенною обязанностью філософскаго мышленія. Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ дѣйствительности, надъ которою прежде не задумывались, безъ всякой церемоніи искажая ее въ угодность собственнымъ одностороннимъ предубѣжденіямъ. Такимъ образомъ, добросовѣстное, неутомимое изысканіе истины стало на мѣстѣ прежнихъ произвольныхъ толкованій. Но, въ дѣйствительности, все зависитъ отъ обстоятельствъ, отъ условій мѣста и времени, — и потому Гегель призналъ, что прежнія общія фразы, которыми судили о добрѣ и злѣ, не рассматривая обстоятельствъ и причинъ, по которымъ возникало данное явленіе, — что эти общія, отвлеченныя изрѣченія не удовлетворительны: каждый предметъ, каждое явленіе имѣетъ свое собственное значеніе, и судить о немъ должно по соображенію той обстановки, среди которой оно существуетъ; это правило выражалось формулою: «отвлеченной истины нѣтъ; истина конкретна», т. е. опредѣлительное сужденіе можно произносить только объ опредѣленномъ фактѣ, рассмотрѣвъ всѣ обстоятельства, отъ которыхъ онъ зависитъ *).

*) Напримѣръ: «блага или зло дождь?» — это вопросъ отвлеченный; опредѣлительно отвѣчать на него нельзя: иногда дождь приноситъ пользу, иногда хотя рѣже, приноситъ вредъ; надобно спрашивать опредѣлительно: «спосаѣ того, какъ посѣвъ хлѣба оконченъ, въ продолженіе пяти часовъ шелъ сильный

Само собою разумѣется, что это бѣглое исчисленіе нѣкоторыхъ принциповъ гегелевой философіи не можетъ дать понятія о паразитическомъ впечатлѣніи, которое производятъ творенія великаго философа, который въ свое время увлекалъ самыхъ недовѣрчивыхъ учениковъ необыкновенною силою и возвышенностью мысли, покоряющей своему владычеству всѣ области бытія, открывающей въ каждой сферѣ жизни тождество законовъ природы и исторіи съ своимъ собственнымъ закономъ діалектическаго развитія, обнимающей всѣ факты религіи, искусства, точныхъ наукъ, государственнаго и частнаго права, исторіи и психологіи сѣтью систематическаго единства, такъ что все является объясненнымъ и примиреннымъ. Время той философіи, послѣднимъ и величайшимъ представителемъ которой былъ Гегель, прошло для Германіи. При помощи результатовъ, выбранныхъ ею, наука сдѣлала, какъ мы сказали, шагъ впередъ; но новая наука эта явилась только какъ дальнѣйшее развитіе гегелевой системы, которая навсегда сохраняетъ историческое значеніе, какъ переходъ отъ отвлеченной науки къ наукѣ жизни.

Таково было значеніе гегелевой философіи у насъ: она послужила переходомъ отъ бесплодныхъ схоластическихъ умствованій, граничившихъ съ апатією, къ простому и свѣтлому взгляду на литературу и жизнь, потому что въ ея принципахъ заключались,

дождь, — полезенъ-ли былъ онъ для хлѣба?» — только тутъ отвѣтъ ясенъ и имѣетъ смыслъ; «этотъ дождь былъ очень полезенъ». — «Но въ то же лѣто, когда настала пора уборки хлѣба, цѣлую недѣлю шелъ проливной дождь, — хорошо-ли было это для хлѣба?» Отвѣтъ также ясенъ и также справедливъ «нѣтъ, этотъ дождь былъ вреденъ». Точно также рѣшаются въ гегелевой философіи всѣ вопросы. «Пагубна или благотворна война?» Вообще, нельзя отвѣчать на это рѣшительнымъ образомъ: надобно знать, о какой войнѣ идетъ дѣло, все зависитъ отъ обстоятельствъ, времени и мѣста. Для дикихъ народовъ вредъ войны менѣе чувствителенъ, польза ощутительнѣе; для образованныхъ народовъ война приноситъ обыкновенно менѣе пользы и болѣе вреда. Но, напримѣръ, война 1812 года была спасительна для русскаго народа; мараетонская битва была благодѣлнѣйшимъ событіемъ въ исторіи человѣчества. Таковъ смыслъ аксіомы: отвлеченной истины нѣтъ; истина конкретна — конкретно понятіе о предметѣ тогда, когда онъ представляется со всѣми качествами и особенностями и въ той обстановкѣ, среди которой существуетъ, а не въ отвлеченіи отъ этой обстановки и живыхъ своихъ особенностей (какъ представляетъ его отвлеченное мышленіе, сужденія котораго поэтому не имѣютъ смысла для дѣйствительной жизни).

какъ мы старались показать, зародыши этого взгляда. Пылкіе и рѣшительные умы, какъ Бѣлинскій и нѣкоторые другіе, не могли долго удовлетворяться тѣми узкими выводами, которыми ограничивалось приложеніе этихъ принциповъ въ системѣ самого Гегеля; скоро замѣтили они недостаточность и самыхъ принциповъ этого мыслителя. Тогда, отказавшись отъ прежней безусловной вѣры въ ему систему, они пошли впередъ, не останавливаясь, какъ остановился Гегель, на половинѣ дороги. Но навсегда сохранили они уваженіе къ его философіи, которой, въ самомъ дѣлѣ, были обязаны очень многимъ.

Но мы уже говорили, что содержаніе системы Гегеля совершенно не соотвѣтствуетъ тѣмъ принципамъ, которые провозглашались ею, и которые мы указали. Въ пылу перваго увлеченія, Бѣлинскій и его друзья не замѣтили этого внутренняго противорѣчія, и ненатурально было бы, еслибы оно было замѣчено ими съ перваго же раза: оно чрезвычайно хорошо прикрыто необычайною силою гегелевой діалектики, такъ что въ самой Германіи только самыя зрѣлыя и сильныя умы и только послѣ долгаго изученія замѣтили это внутреннее несогласіе основныхъ идей Гегеля съ его выводами. Величайшіе изъ современныхъ нѣмецкихъ мыслителей, не уступающіе самому Гегелю геніальностью, долго были безусловными приверженцами всѣхъ его мнѣній, и много времени прошло, пока они успѣли возратить себѣ самостоятельность, и открывъ ошибки Гегеля, положить основаніе новому направленію въ наукѣ. Такъ всегда бываетъ: самъ Гегель долго былъ безусловнымъ поклонникомъ Шеллинга, Шеллингъ—поклонникомъ Фихте, Фихте—Канта; Спиноза, далеко превосходившій геніальностью Декарта, очень долго считалъ себя его вѣрнѣйшимъ ученикомъ.

Мы все это говоримъ къ тому, чтобы показать естественность и необходимость безусловной приверженности къ Гегелю, на нѣкоторое время овладѣвшей Бѣлинскимъ и его друзьями. Они въ этомъ случаѣ раздѣляли общую участь величайшихъ мыслителей нашего времени. И если потомъ Бѣлинскій негодовалъ на себя за прежнее безусловное увлеченіе Гегелемъ, то и въ этомъ случаѣ имѣеть онъ товарищей, не уступающихъ силою ума ни ему, ни Гегелю *).

*) Одинъ изъ современныхъ мыслителей говоритъ о своихъ прежнихъ сочиненіяхъ, написанныхъ въ духѣ Гегеля: „этой путаницы теперь не могу“

Всѣ нѣмецкіе философы, отъ Канта до Гегеля, страдаютъ тѣмъ же самымъ недостаткомъ, какой мы указали въ системѣ Гегеля: выводы, дѣлаемые ими изъ полагаемыхъ ими принциповъ, совершенно не соотвѣтствуютъ принципамъ. Общія идеи у нихъ глубоки, плодотворны, величественны, выводы мелки и отчасти даже пошловаты. Но ни у кого изъ нихъ эта противоположность не доходитъ до такого колоссальнаго противорѣчія, какъ у Гегеля, который, превосходя всѣхъ своихъ предшественниковъ возвышенностью началъ, оказывается едва-ли не слабѣе всѣхъ въ своихъ выводахъ. И въ Германіи, и у насъ, люди ограниченные и апатичные успокоились на выводахъ, забывая о принципахъ; но и у насъ, какъ въ Германіи, эти ученики, слишкомъ вѣрные буквѣ и потому невѣрные духу, нашлись только между людьми второстепенными, лишенными силъ на историческую дѣятельность и не могшими имѣть никакого вліянія. Напротивъ, и у насъ, какъ въ Германіи, всѣ истинно даровитые и сильные люди, когда прошло первое увлеченіе, отбросили фальшивые выводы, радостно жертвуя ошибками учителя требованіямъ науки, и бодро пошли впередъ. Потому ошибки Гегеля, подобно ошибкамъ Канта, не имѣли важ-

я никакъ распутать; остается одно: или совершенно зачеркнуть ее, или оставить въ прежнемъ видѣ—предпочитаю послѣднее: многие до сихъ поръ еще считаютъ мудростью то, что и мнѣ казалось мудростью, когда я писалъ эти сочиненія,—пусть же они, перечитывая ихъ, видятъ путь, которымъ я дошелъ до своихъ настоящихъ убѣжденій—по моимъ слѣдамъ, этимъ людямъ легче будетъ дойти до истины“. Точно также и мы должны думать о статьяхъ, писанныхъ Бѣлинскимъ въ 1838—1839 годахъ: кто не въ состояніи раздѣлять зрѣлыхъ и самостоятельныхъ убѣжденій Бѣлинскаго, какія выражалъ онъ въ послѣднее время, тому принесетъ пользу чтеніе его статей въ хронологическомъ порядкѣ, начиная съ тѣхъ, которыми самъ Бѣлинскій впоследствии былъ недоволенъ: кто стоитъ еще слишкомъ низко, тому необходимы лѣстницы, чтобы стать въ уровень съ своими вѣкомъ.

Кстати, замѣтимъ, что въ настоящей статьѣ мы пользовались воспоминаніями, которыя сообщилъ намъ одинъ изъ ближайшихъ друзей Бѣлинскаго, г. А., и потому ручаемся за совершенную точность фактовъ, о которыхъ упоминаемъ. Мы надѣемся, что интересныя воспоминанія г. А.—а временемъ сдѣлаются извѣстны нашей публикѣ и спѣшимъ предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся не болѣе, какъ развитіемъ его мыслей. За ту помощь, какую оказали намъ его воспоминанія при составленіи настоящей статьи, мы обязаны принести здѣсь искреннѣйшую *благодарность* глубокоуважаемому нами г. А.—у.

ныхъ послѣдствій, между тѣмъ, какъ здоровая часть его ученія дѣйствовала очень плодотворно.

Мы нарушили бы законъ исторической перспективы, если бы стали говорить о предметѣ, не имѣвшемъ исторической важности, каковы ошибки Гегеля, съ такою же подробностью, какъ о тѣхъ его идеяхъ, которыя оказали сильное вліяніе на ходъ умственнаго развитія. Но такъ какъ эти ошибки все-таки историческій фактъ, хотя и маловажный, то мы не можемъ совершенно умолчать о нихъ. Ниже читатели увидятъ, въ одной изъ приводимыхъ нами выписокъ, въ чемъ состояла сущность этихъ ошибокъ. Здѣсь мы должны только повторить, что друзья Станкевича раздѣляли заблужденіе со всѣми замѣчательнѣйшими нѣмецкими мыслителями современнаго имъ поколѣнія: на нѣкоторое время, гениальная діалектика Гегеля ослѣпила всѣхъ, такъ что выводы, противорѣчившіе принципамъ, всѣми принимались ради этихъ принциповъ, будто необходимое ихъ слѣдствіе.

Нельзя не признаться, что и въ Германіи и у насъ люди, принимавшіе все содержаніе гегелевой системы за чистую истину, вовлекались этимъ авторитетомъ во многія и очень важныя заблужденія. Нимало не защищая того, что дѣйствительно было дурнаго въ этихъ ошибкахъ, надобно, однакожь, замѣтить, что двадцать лѣтъ назадъ не все то было дѣйствительно вреднымъ заблужденіемъ, что нынѣ было бы непростительнымъ ослѣпленіемъ: для многихъ мнѣній, которыя въ наше время были бы рѣшительно несправедливыми предубѣжденіями, тогда еще существовали дѣльныя основанія,—быть можетъ, одностороннія, быть можетъ, нѣсколько устарѣвшія, но все-таки заключавшія въ себѣ много справедливаго. Уважемъ одинъ примѣръ. Строгіе приверженцы нѣмецкой философіи со временъ Канта, особенно строгіе гегеліанцы, презирали и отчасти даже ненавидѣли все французское. Друзья Станкевича раздѣляли это отвращеніе, и «Московскій Наблюдатель» весь проникнутъ «французоѣдствомъ» (Franzosenfresserei), какъ выражались нѣмцы. Французоѣдству посвящены многія страницы предисловія къ гегелевымъ рѣчамъ, служащаго, какъ вы видѣли, программю журнала. Въ примѣчаніи мы приводимъ одну изъ такихъ страницъ *). И нельзя не сказать, что «Московскій Наблюдатель», рев-

*) «Французы никогда не выходили изъ области произвольныхъ рассуж-

ностно выполняя всѣ другіе пункты своей программы, не менѣе ревностно выполнялъ и этотъ пунктъ. Онъ пользовался каждымъ случаемъ, каждымъ предлогомъ, чтобы произнести грозную филиппику или вставить презрительную выходку противъ французовъ. Говорить ли онъ, напримѣръ, въ разборѣ «Современника» о статьѣ Пушкина «Мильтонъ», — главное вниманіе онъ обращаетъ на тѣ эпизоды, въ которыхъ Пушкинъ подсмѣивается надъ французами, — тотчасъ же выписываются насмѣшки надъ Альфредомъ де-Виньи и

деній, и все святое, великое и благородное въ жизни упало подъ ударами слѣпаго мертвого разсудка. Результатомъ французскаго философізма былъ матеріализмъ, торжество неодухотворенной плоти. Во французскомъ народѣ исчезла послѣдняя искра откровенія. Христіанство, это вѣчное и непроходящее доказательство любви Творца къ творенію, сдѣлалось предметомъ общихъ насмѣшекъ, общаго презрѣнія, и бѣдный разсудокъ человѣка, неспособный проникнуть въ глубокое и святое таинство жизни, отвергнулъ все, что только было ему недоступно, а ему недоступно все истинное и все дѣйствительное. Онъ требовалъ ясности, — но какой ясности! — не той, которая лежитъ въ глубинѣ предмета: нѣтъ, — а на поверхности его; онъ вдумалъ объяснить религію — и религія, недоступная для конечныхъ усилій его, исчезла и унесла съ собою счастье и спокойствіе Франціи; онъ вдумалъ превратить святилище науки въ общенародное знаніе — и таинственный смыслъ истиннаго знанія скрылся, и остались одни пошлыя, безплодныя, призрачныя разсужденія, — и Жанъ-Жакъ Руссо объявилъ, что просвѣщенный человѣкъ есть развращенное животное, и революція была необходимымъ послѣдствіемъ этого духовнаго развращенія. Гдѣ нѣтъ религіи, тамъ не можетъ быть государства, и революція была отрицаніемъ всякаго государства, всякаго законнаго порядка, и гильотина провела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть нѣсколько возвышалось надъ безмысленною толпою».

Въ «Послѣднемъ Новосельѣ» Лермонтовъ буквально переложилъ эти слова въ стихи:

Негодованію и чувству давъ свободу

 Мнѣ хочется сказать великому народу
 «Ты жалкій и пустой народъ!
 Ты жаждешь потому, что вѣра, слава, гений,
 Все, все великое, священное земли,
 Съ насмѣшкой глупою ребяческихъ сомнѣній
 Тобой растоптано въ пыли.
 Изъ славы сдѣлалъ ты игрушку лицемѣрья,
 Изъ вольности — орудье палача,
 И всѣ завѣтныя отцовскія повѣрья
 Ты имъ рубилъ, рубилъ съ плеча...

Викторомъ Гюго, замѣчанія о недостаткахъ мольеровыхъ комедій, и т. д.,—за то прибавляетъ «Московскій Наблюдатель», что у Пушкина былъ вѣрный взглядъ на искусство и безконечное эстетическое чувство». Разбирается ли другой томъ «Современника», въ которомъ есть отрывокъ изъ «Хроники русскаго въ Парижѣ»,—почти вся рецензія состоитъ изъ выписокъ тѣхъ страницъ Хроники, которыя особенно неблагопріятны для французовъ. Разбирается ли романъ г. Вельтмана «Виргинія»—оказывается, что этотъ романъ можно похвалить только за одно: «многія черты французскаго верхоглядства схвачены въ немъ превѣрно»; говорится ли о «Сборникѣ на 1838 годъ»—въ этомъ сборникѣ очень много стиховъ, и отчасти даже хорошихъ стиховъ, но интереснѣе всего въ немъ переводъ эпиграммы Шиллера, въ которой французы называются вандалами. Выписавъ это стихотвореніе и похваливъ за него Шиллера, критикъ торжественно восклицаетъ, обращаясь къ читателямъ:

«Французы вандалы!!!—слышите ли?»

Для бѣльшей знаменательности, это восклицаніе напечатано даже отдѣльною строкою, что и соблюли мы. Говорится ли о возвращеніи молодыхъ профессоровъ нашихъ изъ-за границы—пріятнѣе всего «Московскому Наблюдателю» то, что они слушали лекціи въ Берлинѣ, а не въ Парижѣ. Нечего и говорить, пользуется ли «Московскій Наблюдатель» случаемъ изблечить французское фразерство и легкомысліе, когда является переводъ «Исторіи Франціи» Мишле... тутъ филиппика достигаетъ страшной безопасности: едва нѣкоторые спеціальные ученые получаютъ за свои спеціальныя труды прощеніе въ томъ, что они французы,—но французскіе литераторы, поэты, мыслители, всѣ казнятся безъ всякой милости, отъ дѣвицы Сюдери до Мишле, отъ Ронсара до Лерминье. Общаго приговора избѣгаетъ только Беранже, «гуляка праздный»: праздная гульба—французское дѣло, объ этомъ они умѣютъ складывать веселенькія пѣсенки—лучшаго у нихъ не нужно и искать. Однимъ словомъ, о чемъ бы рѣчь ни шла, «Московскій Наблюдатель» таки найдетъ предлогъ поразить или кольнуть французовъ, и общимъ выводомъ изъ всей этой неутомимой полемики выставляется заключеніе, что, между тѣмъ, какъ «вліяніе нѣмцевъ на насъ благожелательно во многихъ отношеніяхъ, и со стороны науки и со стороны

искусства, и со стороны духовно-нравственной, съ французами мы находимся въ обратномъ отношеніи: мы враждебно противоположны съ ними по сущности нашего національнаго духа» («Моск. Набл.» томъ XVIII, стр. 200).

Нынѣ, когда лучшіе изъ французовъ отказываются отъ заносчивыхъ претензій, отъ презрѣнія къ другимъ народамъ, когда вся нація оставляетъ свое прежнее легкомысліе, оставляетъ даже фразерство, которымъ такъ долго жила, когда національная жизнь обратилась къ разрѣшенію истинно-глубокихъ вопросовъ, подобная вражда противъ французовъ была бы совершенно неосновательна. Но тогда настроеніе умовъ во Франціи было совершенно не таково. Тѣ направленія мысли, которыя нынѣ пріобрѣтаютъ Франціи сочувствіе серьезныхъ людей, едва только начинали еще обнаруживаться, и, притомъ, въ странныхъ, еще не опредѣлившихся формахъ, не оказывали еще никакого вліянія на жизнь націи, напротивъ, были осмѣиваемы литературою, презираемы государственною жизнью. Все, чѣмъ блистала Франція временъ первой Имперіи и Реставраціи, было фальшиво и поверхностно или противорѣчило истиннымъ потребностямъ нравственной и общественной жизни; все основывалось на недоразумѣніи съ одной стороны, на обманѣ или насиліи съ другой. Въ литературѣ, на примѣръ, господствовали двѣ школы, равно фальшивыя: одна, — въ духѣ Шатобріана и Ламартина, накидывала на себя маску искусственныхъ восторговъ ученіями, которыхъ не понимала и о которыхъ въ сущности очень мало заботилась; другая накидывала на себя маску утонченной развращенности и мелкаго сатанинства (*école satanique*). Тѣ, которые не были лицеѣрами идеализма или цинизма, болтали о пустякахъ. Только Беранже составлялъ исключеніе, но Беранже не понимали, считая его не болѣе, какъ пѣвцомъ гризетокъ. Въ наукѣ понятія страшно измельчали, — ученые знаменитости тогдашняго времени были шарлатаны и фразеры, хлопотавшіе о примиреніи непримиримаго, объ оправданіи наукою предрасудковъ, о сочетаніи научной истины съ произвольными фантазіями. Время теперь обнаружило, что за люди были и чего хотѣли Кузенъ, Гизо, Тьеръ; а они были еще самыми лучшими изъ тогдашнихъ знаменитостей.

Кстати припомнимъ, что такое былъ знаменитый тогда «либерализмъ, за который особенно прославлялись эти знаменитости. Событія обнаружили пустоту и рѣшительную бесполезность этого

либерализма, хлопотавшаго только объ отвлеченныхъ правахъ, а не о благѣ народа, самое понятіе о которомъ оставалось ему чуждо. У лучшихъ проповѣдниковъ его это было легкомысленное заблужденіе относительно истинныхъ потребностей націи; другіе пользовались этимъ такъ называемымъ либерализмомъ, какъ приманкою для привлеченія націи въ свою удочку, — а для чего нужно было имъ привлечь націю, оказалось потомъ, когда они успѣли захватить власть: они искали власти для того, чтобы набить себѣ карманы.

Таково было положеніе Франціи и во время Реставраціи и въ первые годы орлеанской династіи. Повсюду гремѣли фразы, лишеныя смысла, во всемъ владычествовали легкомысліе и обманъ. Но болѣе всего должны были возмущаться люди съ горячими убѣжденіями и высокими принципами тѣмъ, что у тогдашнихъ французскихъ знаменитостей не было ни рѣшительныхъ принциповъ, ни строгой послѣдовательности въ образѣ мыслей: всему, чему они вѣрили, вѣрили они только на половину, робко и церемонно, все, что отрицали, отрицали также только на половину, все это были люди въ родѣ тѣхъ, которыхъ изображалъ у насъ Пушкинъ въ своихъ герояхъ, — въ родѣ тѣхъ, которыхъ Лермонтовъ заставляетъ говорить:

Богаты мы, едва изъ колыбели
 Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ....
 Къ добру и злу постыдно равнодушны,
 Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы....
 Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
 Надежды лучшія и голосъ благородный
 Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
 Едва касались мы до чаши наслажденья,
 Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
 Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
 Мы лучшій сокъ на вѣки извлекли....
 И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
 Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
 И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный....

Отъ этихъ безсильныхъ въ своемъ узкомъ и пресыщенномъ эгоизмѣ людей, конечно, нельзя было надѣяться ничего хорошаго; отъ этихъ вырожденковъ, оставшихся послѣ великой внутренней борьбы, которая поглотила всѣ благороднѣйшія силы французскаго народа, конечно, нельзя было ожидать, чтобъ они влили новую жизнь въ

свой народъ; они не должны были служить идеалами для насъ, чувствовавшихъ въ себѣ избытокъ свѣжихъ, еще нетронутыхъ силъ. Къ такимъ людямъ, конечно, не могло лежать сердце пламенныхъ юношей, готовыхъ и любить до самоотверженія и ненавидѣть смертельно, жаждавшихъ дѣятельности и блага. Вражда усиливалась особенно тѣмъ, что эти разочарованные, блазирванные, пробѣденные эгоизмомъ люди считались у насъ оракулами: всѣ у насъ кричали о французахъ, всѣ восхищались французами, — а ни для себя, ни тѣмъ болѣе для насъ французы такого разбора не были ровно ни на что годны. Намъ нуженъ былъ энтузіазмъ, передъ нами было широкое поле дѣятельности: какъ же не возненавидѣть было этихъ людей, которые могли передать намъ только свое безсиліе, разочарованіе и бездѣйствіе?

Нелюбовь, заслуженная французами времянь первой Имперіи и Реставраціи, незаслуженнымъ образомъ распространялась и на ихъ предковъ, и столь же незаслуженнымъ образомъ подвергались общему осужденію свѣжія направленія мысли, возникавшія въ молодомъ поколѣніи мыслителей, не имѣвшихъ ничего общаго съ прежними знаменитостями, людей съ твердыми и возвышенными убѣжденіями, со свѣжими силами. Виною этой несправедливости былъ отчасти недостатокъ знакомства съ возникавшими во французской литературѣ новыми стремленіями, отчасти также и предубѣжденіе, составившееся противъ всѣхъ вообще французовъ, — а болѣе всего — безусловное поклоненіе гегелевой системѣ, какъ верховной и единственной истинѣ, внѣ которой ничто не заслуживаетъ вниманія.

Поклоненіе Гегелю въ кругу друзей Станкевича доходило, какъ мы сказали, до крайности, въ которой люди талантливые, одаренные самостоятельнымъ умомъ и стремившіеся впередъ, не могли долго оставаться. Признаки бессознательнаго недовольства системою, которою продолжали восхищаться, обнаружались въ даровитѣйшихъ членахъ дружескаго круга тѣмъ, что они говорили въ гегелевскомъ смыслѣ рѣшительнѣе и безпощаднѣе, нежели самъ Гегель, сдѣлались, какъ говорится, ревностнѣйшими гегелианцами, нежели самъ Гегель. Особенно отличался этимъ Бѣлинскій, который вообще былъ не таковъ, чтобы отказываться отъ логическихъ *выводовъ изъ* боязни уклониться отъ точныхъ словъ какого бы то *ни было* авторитета. Это свидѣтельство людей, знавшихъ его лично,

подтверждается многими его страницами, написанными совершенно въ духѣ Гегеля, но съ такою рѣшительностью, которой не одобрилъ бы самъ Гегель. Да и вообще Гегель, говорящій обо всемъ съ безпристрастіемъ посѣдѣвшаго мудреца, смотрящій на все исключительно глазами кабинетнаго ученаго, чуждаго волненіямъ жизни, не могъ долго удержать въ безусловной покорности такого пламеннаго, проникнутаго жизненными стремленіями двадцатипятилѣтняго человѣка, какъ Бѣлинскій. Натуры учителя и ученика, потребности двухъ различныхъ обществъ, среди которыхъ они дѣйствовали, были слишкомъ несогласны. Бѣлинскій скоро отбросилъ все, что въ ученіи Гегеля могло стѣснять его мысль, и вскорѣ послѣ переезда въ Петербургъ является уже дѣйствителемъ совершенно самостоятельнымъ.

Два обстоятельства помогли этому переходу, необходимому по натурѣ самого Бѣлинскаго, совершиться быстрѣе, нежели совершился бы онъ безъ этихъ обстоятельствъ: сближеніе друзей Станкевича съ г. Огаревымъ и его друзьями и переездъ Бѣлинскаго изъ Москвы въ Петербургъ.

Первоначальныя вліянія, подъ которыми совершалось развитіе г. Огарева и его друзей, были совершенно различны отъ вліяній, которымъ подчинялся кружокъ Станкевича. Нѣмецкая философія мало ихъ занимала, какъ предметъ слишкомъ отвлеченный. Ихъ вниманіе было устремлено на тѣ науки, которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ жизни націй. Въ то время во Франціи возникали, какъ противорѣчіе бездушному и убійственному ученію экономистовъ, новыя теоріи національнаго благосостоянія. Идеи, одушевлявшія новую науку, высказывались еще въ фантастическихъ формахъ, и предубѣжденнымъ или руководившимся своекорыстными побужденіями противникамъ легко было, оставляя безъ вниманія здравыя и высокія основныя идеи новыхъ теоретиковъ и выставляя въ утрированномъ видѣ мечтательныя увлеченія, которыхъ въ началѣ не избѣгаетъ ни одна новая наука, осмѣивать системы, имъ ненавистныя. Но подъ видимыми странностями и подъ фантастическими увлеченіями скрывались въ этихъ системахъ истины и глубокія и благодѣтельныя. Огромное большинство и ученыхъ людей и европейской публики, повѣривъ пристрастнымъ и поверхностнымъ отзывамъ экономистовъ, не хотѣли понять смысла *новой науки*, всѣ смѣялись надъ несбыточными утопіями, и почти

никто не считалъ нужнымъ основательно и безпристрастно изучать ихъ. Г. Огаревъ и его друзья занялись этими вопросами, понимая чрезвычайную ихъ важность для жизни. Съ тѣмъ вмѣстѣ вниманіе г. Огарева и его друзей было занято исторією, особенно новѣйшею, то-есть именно важнѣйшею для жизни частью ея; и такъ какъ въ послѣднее время главнымъ театромъ историческаго развитія была Франція, то они интересовались преимущественно ея исторією. Въ литературѣ они также не отдавали безусловнаго предпочтенія нѣмцамъ, зная и цѣня французскихъ новыхъ писателей, которые тогда еще не господствовали въ литературѣ, но уже доказали, что будутъ господствовать надъ нею. Подъ вліяніемъ этихъ занятій составились у нихъ твердыя и послѣдовательныя учено-литературныя убѣжденія.

Такимъ образомъ, дѣятели молодого поколѣнія въ Москвѣ были раздѣлены на два кружка, съ двумя различными направленіями: въ одномъ господствовала гегелева философія, въ другомъ — занятія современными вопросами исторической жизни. Много было пунктовъ, въ которыхъ два эти направленія могли сталкиваться враждебно; но подъ видимою противоположностью таилось существенное тождество стремленій, несогласныхъ между собою только въ томъ, что было у каждаго изъ нихъ односторонностью, недостаткомъ, но одинаково ставившихъ себѣ цѣлью дѣятельность, плодотворную для развитія русскаго общества, одинаково считавшихъ единственнымъ средствомъ для достиженія этой цѣли оживленіе нашей литературы и возбужденіе нашей мыслительной дѣятельности, одинаково имѣвшихъ свой идеаль въ будущемъ, а не въ прошедшемъ, относившихся между собою, какъ теорія и практика, которыя должны служить взаимнымъ дополненіемъ. Важный вопросъ: побѣдитъ-ли чувство существеннаго единства, или противорѣчіе во второстепенныхъ, но, однакожь, очень важныхъ вопросахъ, долженъ былъ разрѣшиться такъ или иначе, смотря по тому, дѣйствительно ли люди, служившіе представителями этихъ различныхъ направленій, достойны были сдѣлаться замѣчательными дѣятелями въ исторіи развитія русскаго общества, и дѣйствительно-ли принципы, ихъ воодушевляющіе, были плодотворны. Исторія говоритъ намъ, что обыкновенное явленіе при паденіи принципа—непримиримая вражда между его приверженцами изъ-за второстепенныхъ вопросовъ, а при развитіи принципа — дружное дѣйствованіе людей, соглас-

ныхъ въ главномъ, какъ бы ни были важны второстепенные вопросы, ихъ раздѣляющіе. Отверженіе узкаго самолюбія, готовность признать правду, которой не замѣчалъ прежде, и сдѣлать эту указанную другимъ правду своимъ задушевнымъ дѣломъ—такое существенное качество истинно замѣчательныхъ историческихъ дѣятелей.

Люди, о которыхъ мы говорили, были призваны играть дѣйствительно важную роль въ развитіи нашего общества; принципы, ихъ одушевлявшіе, дѣйствительно были живы и плодотворны,—потому эти принципы необходимо должны были слиться, эти люди соединиться. И дѣйствительно, люди соединились съ такою благородною искренностью и самоотреченіемъ отъ своихъ односторонностей, принципы слились въ одно общее направленіе съ такою совершенною гармоніею, что фактъ этотъ принадлежитъ къ числу самыхъ рѣдкихъ и возвышающихъ душу примѣровъ совершеннаго торжества общей правды надъ частными недоразумѣніями, общаго стремленія служить истинѣ надъ личными столкновеніями.

Первыя чувства были, натурально, недружелюбны: обоюдная исключительность мнѣній возбуждала взаимную неприязнь. Тѣ и другіе были недовольны другъ другомъ и долго удерживались отъ сношеній между собою. Друзья Станкевича осуждали г. Огарева и его друзей за то, что они не предаются изученію нѣмецкой философіи и не признаютъ, что вся истина заключена въ системѣ Гегеля. Друзья г. Огарева осуждали кругъ Станкевича за то, что въ немъ всѣ мысли направлены исключительно къ слишкомъ отвлеченнымъ вопросамъ и вопросы жизни или оставляются безъ всякаго вниманія, или рѣшаются въ томъ апатическомъ смыслѣ, какъ велить рѣшать ихъ Гегель. Одни говорили про другихъ: «они пренебрегаютъ истинными принципами»; эти говорили про первыхъ: «они проповѣдуютъ апатію въ жизни и примиряются со всѣми недостатками дѣйствительности, восхищаясь тѣмъ, что ихъ система оправдываетъ все на свѣтѣ». Различныя внѣшнія обстоятельства содѣйствовали тому, что личныхъ сношеній—которыхъ не желала сначала ни та, ни другая партія—очень долго не существовало между людьми того и другаго направленія.

Станкевича уже не было въ Москвѣ, когда г. Огаревъ вошелъ въ кругъ, душою котораго прежде былъ Станкевичъ, и *взвѣлъ за собою своихъ друзей. Если бы Станкевичъ, кроткій и любящій, былъ*

еще между своихъ друзей, вѣроятно, сближеніе произошло бы тогда же. Теперь посредникомъ и примирителемъ былъ только г. Огаревъ. Онъ одинъ, не имѣя ни въ комъ помощниковъ, не успѣлъ переселить противниковъ, каждое свиданіе которыхъ было жаркимъ споромъ. Вслѣдствіе одного изъ такихъ споровъ, когда Бѣлинскій, на всѣ вопросы, имѣвшіе цѣлю вынудить у него признаніе, что не все въ дѣйствительности можетъ быть оправдано разумомъ, отвѣчалъ, съ обычною своею неумолимою послѣдовательностью, признаніемъ разумности всѣхъ тѣхъ явленій, на которыя ему было указано,—вслѣдствіе этого спора, доказавшаго невозможность поколебать его убѣжденія, попытки примиренія кончились—на время, какъ увидимъ, и на очень короткое время.

Между тѣмъ, попытки эти не остались безплодными, хотя повидимому, привели къ полному разрыву. Люди, спорившіе съ Бѣлинскимъ и его друзьями, были изумлены тою непоколебимостью, съ какою встрѣчаются послѣдователями Гегеля самыя, повидимому, неопровержимыя возраженія противъ системы Гегеля,—тою легкостью, съ какою послѣдователи Гегеля находятъ вполнѣ удовлетворительный для себя отвѣтъ на все, что, повидимому, должно бы, смутить и затруднять ихъ. Противники результатовъ, до которыхъ доходитъ гегелева система, увидѣли, что Гегеля можно побѣдить только его собственнымъ оружіемъ, и принялись за глубокое изученіе этого мыслителя. Они приступили къ нему съ силами ума, совершенно зрѣлаго, съ пронизательностью, изощренною привычкою къ самостоятельному мышленію и богатымъ опытомъ жизни, наполненной всевозможными столкновеніями,—съ запасомъ твердыхъ убѣжденій, данныхъ жизнью и строгою наукою. И, какъ ни трудно устоять противъ діалектики исполина нѣмецкой философіи,—этой изумительно сильной діалектики, облакающей всю его систему броней неразрушаемаго, повидимому, единства,—эти люди открыли пробѣлы и непоследовательности системы Гегеля, увидѣли погрѣшности въ ея выводахъ, несогласіе принциповъ ея съ результатами, основныхъ идей съ примѣненіями, постигли и односторонность принциповъ,—и могли наконецъ сказать: «теперь мы постигаемъ все, что постигалъ Гегель, но постигаемъ яснѣе и полнѣе, нежели онъ». Такимъ образомъ, была, по выраженію нѣмецкой философіи, превзойдена (*überwunden*), очищена отъ односторонности по смыслу *собственныхъ своихъ основныхъ началъ*, подвергнута критикѣ и воз-

ведена къ высшей истинѣ философія Гегеля сильнѣйшими послѣдователями одного изъ направленій, между которыми до того времени преградою была система Гегеля. Но глубина и странность нѣмецкихъ философскихъ системъ произвела сильное впечатлѣніе на умы тѣхъ, которые взялись за изученіе философіи не столько по расположенію къ ней, сколько по необходимости открыть слабую ея сторону; сильнѣйшіе изъ друзей г. Огарева сами получили философское направленіе; не покидая своихъ прежнихъ стремленій, напротивъ, еще болѣе утвердившись въ нихъ, они возвели свои убѣжденія къ общимъ философскимъ принципамъ и, увидѣвъ, какъ много выигрываютъ оттого ихъ идеи и въ прочности и въ стройности, сдѣлались ревностными приверженцами нѣмецкой философіи,—конечно, уже не системы Гегеля, на которой не могли они остановиться, а новой философіи, послѣднимъ переходомъ къ которой была система Гегеля.

Съ другой стороны, подобное расширеніе умственного горизонта совершилось около того же времени и въ сильнѣйшихъ изъ друзей Станкевича. До сихъ поръ они, какъ мы говорили, были связаны между собою совершенною одинаковостью понятій и стремленій, такъ что особенности отдѣльныхъ личностей исчезали въ единствѣ общаго настроенія. Характеризуя «Московскій Наблюдатель», дѣятельнѣйшимъ участникомъ и распорядителемъ котораго былъ Бѣлинскій, мы большую часть нашихъ выписокъ заимствовали изъ предисловія къ рѣчамъ Гегеля, писаннаго не Бѣлинскимъ, а однимъ изъ тогдашнихъ его друзей, потому что тогда всѣ эти люди писали совершенно въ одномъ и томъ же духѣ: разница была только въ томъ, что одни умѣли писать лучше другихъ, но все, что говорилъ Бѣлинскій, говорили всѣ друзья Станкевича, и, наоборотъ, Бѣлинскій высказывалъ только то, въ чемъ одинаково были убѣждены всѣ. Такъ продолжалось до пріѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ. Тутъ вскорѣ онъ сдѣлался совершенно самобытенъ, и теперь мы должны говорить уже не объ общей дѣятельности прежняго кружка, котораго Бѣлинскій былъ только представителемъ, а о личной дѣятельности Бѣлинскаго, ставшаго во главѣ нашего литературнаго движенія и управлявшаго этимъ движеніемъ, въ союзѣ съ новыми сподвижниками, присоединившимися къ нему не по духу какого-нибудь кружка, а по самобытному стремленію къ одинаковому цѣ-

лямъ, съ сохраненіемъ личныхъ особенностей натуры каждаго изъ союзниковъ.

Въ Москвѣ Бѣлинскій, подобно своимъ друзьямъ, былъ совершенно погруженъ въ теоретическія умствованія и обращалъ очень мало вниманія на то, что дѣлается въ дѣйствительной жизни. Онъ твердилъ, что дѣйствительность значительнѣе всѣхъ мечтаній, но, подобно своимъ друзьямъ, смотрѣлъ на дѣйствительность глазами идеалиста, не столько изучалъ ее, сколько переносилъ въ нее свой идеалъ, и вѣрилъ, что идеалъ этотъ имѣетъ себѣ соответствіе въ нашей дѣйствительности, что, по крайней мѣрѣ, важнѣйшіе элементы дѣйствительности сходны съ тѣми идеалами, какіе найдены для нихъ въ системѣ Гегеля. Петербургъ, какъ извѣстно всѣмъ, пережившимъ идеалистическій періодъ возрѣвній, нимало не удобенъ для сохраненія такихъ мечтаній. Въ Петербургѣ дѣйствительная жизнь настолько шумна, безпокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ея сущности, трудно не разубѣдиться въ томъ, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы, трудно остаться идеалистомъ. Петербургъ, съ обычно своею готовностью услужить новому жителю всѣми возможными разочарованіями, не замедлилъ доставить Бѣлинскому обильные матеріалы для повѣрки благосклонныхъ къ дѣйствительности выводовъ гегелевской системы и внушить ему, что филистерскіе нѣмецкіе идеалы не имѣютъ ровно никакого сходства съ русскою жизнью. Пришлось отказаться отъ увѣренности, что гегелевы построенія — вѣрныя изображенія дѣйствительной жизни, пришлось критически посмотрѣть и на дѣйствительность и на гегелеву систему *). Результатомъ этой повѣрки было, для теоретическихъ

*) «Москвичъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если переѣдетъ въ него жить. Куда дѣваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургъ, въ этомъ отношеніи, пробный камень человѣка: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворотомъ призрачной жизни, умѣлъ сберечь и душу и сердце не на счетъ здраваго смысла, сохранить свое человѣческое достоинство, не предаваясь донкихотству, — тому смѣло можете вы протянуть руку, какъ человѣку. Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала, кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденные праздною живнію и рѣшительнымъ невнаніемъ дѣйствительности, — и вы остаетесь, можете быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человѣческаго... Что

убѣжденій—очищеніе принциповъ Гегеля отъ ихъ односторонности, отверженіе фальшиваго содержанія, прилѣпленнаго къ нимъ, и выводъ новыхъ слѣдствій, въ духъ строгой современной науки; для жизненныхъ стремленій — отверженіе прежняго квіетизма разрушаемаго дѣйствительностью, сохраненію высокаго убѣжденія, что разумъ и правды должны и будутъ владычествовать въ жизни, хотя мы далеки еще отъ этого времени. Бѣлинскій убѣдился, что дѣйствительность заключаетъ въ себѣ очень много ложныхъ и вредныхъ элементовъ, и, посвятивъ всю свою дѣятельность водворенію въ жизни владычества ума и правды, началъ неутомимую, беспощадную борьбу со всѣмъ, что препятствовало достиженію этой цѣли. Для такой живой натуры, какъ Бѣлинскій, переходъ отъ абстрактной идеальности, доводившей до квіетизма и апатіи, къ живому понятію о дѣйствительности былъ естественъ и легокъ. Система Гегеля на нѣкоторое время увлекла его своимъ величіемъ, и мы старались показать, что увлеченіе оправдывалось новостью и глубиною истинъ, заключавшихся въ ея основныхъ идеяхъ; но никогда не удовлетворяла она его своимъ положительнымъ содержаніемъ, онъ всегда рвался впередъ, негодуя на стѣснительное безстрастіе Гегеля, всегда вносилъ въ это холодное созерцаніе патетическій жаръ своей живой натуры. Таково же было отношеніе къ Гегелю и другихъ сильныхъ людей между друзьями Станкевича. Изъ записокъ, нами приведенныхъ, можно видѣть, чѣмъ особенно увлекались они въ системѣ Гегеля, почему особенно дорожили ею. Въ каждомъ теоретическомъ ученіи соединяются двѣ стороны: отвлеченное понятіе объ истинѣ и отношеніе этого знанія къ живой дѣятельности. Гегель ставитъ знаніе первую, почти исключительною цѣлью своей системы; слѣдствія этого знанія для жизни стоять у него на второмъ планѣ. Этотъ порядокъ, съ самаго же начала былъ измѣненъ сильнѣйшими изъ друзей Станкевича; они съ самаго начала говорили: «философія Гегеля благотворна для жизни, потому надобно изучать истины, ею открываемыя»—ясно, что дѣйствительная жизнь стоитъ для нихъ на первомъ планѣ, отвле-

мечты! самыя обольстительныя изъ нихъ не стоять въ глазахъ *дѣльнаго* (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому что счастье глупца—есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка — есть истина, и притомъ плодотворная въ будущемъ... («Статья Бѣлинскаго «Москва и Петербургъ» въ «Физиологіи Петербурга»).

ченное знаніе имѣеть уже только второстепенную важность. Люди съ такими натурами не могли долго удовлетворяться системою Гегеля: тѣмъ или другимъ путемъ, они должны были выйти изъ зависимости отъ нея,—и, дѣйствительно, вышли, кто тѣмъ, кто другимъ путемъ. Насъ здѣсь занимаетъ Бѣлинскій, и мы видѣли, что его вывело изъ безусловнаго поклоненія Гегелю ближайшее знакомство съ дѣйствительностью, быть двигателемъ которой всегда стремился и былъ назначенъ онъ.

Прежніе споры въ Москвѣ съ друзьями г. Огарева также имѣли свою долю участія въ расширеніи взглядовъ Бѣлинскаго. Правда, во время самыхъ споровъ никакія возраженія не могли ни мало поколебать его вѣры въ безусловную справедливость выводовъ, представляемыхъ системою Гегеля; напротивъ, какъ то всегда бываетъ съ людьми сильными и безстрашными въ своей послѣдовательности, споры только утвердили его въ прежнемъ образѣ мнѣній, заставили его быть еще послѣдовательнѣе и строже въ своихъ понятіяхъ, внушили ему сильнѣйшее желаніе настаивать на нихъ и доказывать неосновательность всѣхъ сомнѣній въ томъ, что казалось ему истиною. Нѣкоторыя изъ статей, напечатанныхъ Бѣлинскимъ тотчасъ по переѣздѣ въ Петербургъ, написаны подъ влияніемъ этого полемическаго одушевленія, и мнѣнія принадлежавшія всѣмъ сотрудникамъ «Московскаго Наблюдателя», доведены въ этихъ статьяхъ, которыя помѣщены были въ «Отечественныхъ Запискахъ», до крайности, возбудившей изумленіе и объясняемой только ихъ полемическимъ происхожденіемъ. Но важно было уже то, что возраженія, предложенныя Бѣлинскому его московскими противниками, сильно занимали его, не были имъ забыты. Когда первые порывы полемики миновались, когда сближеніе съ дѣйствительною жизнью начало изобличать односторонность прежняго отвлеченнаго идеализма, Бѣлинскій долженъ былъ безпристрастнѣе взглянуть на мнѣнія своихъ бывшихъ противниковъ, еще такъ недавно отвергнутыя ими съ высоты идеалистическихъ воззрѣній. Онъ увидѣлъ, что эти понятія, казавшіяся безусловному послѣдователю системы Гегеля узкими и поверхностными, гораздо лучше выдерживаютъ повѣрку фактами, нежели выводы, предлагаемыя гегелевою философіею, и что мыслящій человекъ ничего иного, кромѣ этихъ понятій, не можетъ вывести изъ жизни. Дѣятели *умственной міра* раздѣляются на два класса: однимъ истина не-

пріятна, если она прежде ихъ высказана кѣмъ-нибудь другимъ,— они готовы брать привилегію на свои мысли, вѣроятно, по сознанию того, что производительность ихъ въ этомъ отношеніи слаба,— другіе заботятся только объ истинѣ, не считая нужнымъ заботиться о привилегіяхъ,—вѣроятно, потому, что чужды опасенія оскудѣть умомъ и обдѣвѣть мыслями, одни не любятъ отказываться отъ своихъ ошибокъ,—вѣроятно, по сознанию того, что всѣ ихъ претензіи—самолюбивая ошибка; другіе чужды этой щепетильности, потому что истина всегда лежала въ основаніи ихъ стремленій. Бѣлинскій принадлежалъ ко вторымъ. Онъ при первомъ же случаѣ, съ обычною своею прямою признался, что Петербургъ научилъ его цѣнить воззрѣнія на дѣйствительность, о которыхъ прежде онъ не хотѣлъ знать, и что въ тѣхъ вопросахъ о которыхъ шли нѣкогда споры, правда была на сторонѣ людей, отвергавшихъ выводы гегелевой системы, какъ несообразныя съ фактами дѣйствительной жизни.

Такимъ образомъ, исчезли причины раздѣленія, еще незадолго до того времени бывшія препятствіемъ дружному дѣйствованію лучшихъ людей молодого поколѣнія. Одни, прежде не обращавшіе вниманія на нѣмецкую философію, сдѣлались теперь ревностными послѣдователями ея, найдя въ ея принципахъ твердое основаніе для убѣжденій, которые были пріобрѣтены изученіемъ новой исторіи и современнаго быта. Представитель другаго направленія въ литературномъ движеніи, Бѣлинскій, былъ приведенъ наблюденіемъ дѣйствительности къ различенію справедливыхъ началъ гегелевой философіи отъ ея одностороннихъ выводовъ, увидѣлъ чрезвычайную важность тѣхъ вопросовъ, на которые въ кругу Станкевича обращали слишкомъ мало вниманія, и удержалъ изъ гегелевой системы только тѣ убѣжденія, которыя выдержали повѣрку живыми явленіями дѣйствительности. Всѣ даровитѣйшіе изъ бывшаго круга Станкевича послѣдовали за нимъ, если не вышли на ту же дорогу самостоятельно *). Односторонность обоихъ направленій совершенно сгладилась.

*) Читатель понимаетъ, что, говоря здѣсь исключительно о литературномъ движеніи, мы не имѣемъ права упоминать о людяхъ иначе, какъ по отношеніямъ ихъ къ литературѣ. Безъ сомнѣнія, въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ на различныхъ поприщахъ дѣятельности было много людей, замѣчательныхъ не менѣе Бѣлинскаго; положимъ, что были такіе люди и въ

При такомъ единствѣ понятій и стремленій, должны были сблизиться и люди. Около этого времени возвратился изъ-за границы Грановскій. Чѣмъ Станкевичъ былъ для своего круга, тѣмъ онъ сталъ равно для друзей Станкевича и г. Огарева. Грановскаго невозможно было не полюбить всею душою каждому благородному человѣку. Все, что было въ Москвѣ благороднѣйшаго между людьми молодого поколѣнія, соединилось вокругъ него. Гдѣ былъ Грановскій—тамъ могло быть только одно чувство—чувство братства. Помощникомъ его въ этомъ дѣлѣ былъ г. Огаревъ. Скоро ихъ вліянію подчинились и тѣ, которые жили въ Петербургѣ и провинціяхъ.

Вліяніемъ Грановскаго, Бѣлинскаго и другихъ присоединились къ ихъ литературному кругу почти всѣ даровитые люди молодого поколѣнія, уже дѣйствовавшіе въ литературѣ или выступавшіе на этотъ путь.

Такимъ образомъ, изъ прежнихъ дружескихъ круговъ Станкевича и г. Огарева, съ присоединеніемъ новыхъ дѣятелей, составилось одно большое литературное общество, главнымъ органомъ котораго въ литературѣ, до начала нашего журнала, были «Отечественныя Записки» (съ 1840, особенно 1841 до 1846 года); главнымъ дѣйствователемъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» того времени былъ Бѣлинскій. Съ нимъ достойнымъ образомъ раздѣляли съ самаго начала честь быть распространителями новыхъ и здравыхъ идей въ русской публикѣ нѣкоторые другіе люди, о которыхъ мы отчасти уже упомянули, отчасти надѣемся сказать,—именно, кромѣ Грановскаго, г. Галаховъ, г. Катковъ, г. Кетчеръ, г. Коршъ, г. Кудрявцевъ, г. Огаревъ и другіе. Станкевичъ умеръ еще до начала этого сліянія, Ключниковъ и Кольцовъ пережили Станкевича лишь немногими годами, какъ и Лермонтовъ, который самостоятельными симпатіями своими принадлежалъ новому направленію, и только потому, что послѣднее время своей жизни провелъ на Кавказѣ, не могъ раздѣлять дружескихъ бесѣдъ Бѣлинскаго и его друзей. Потери эти были вознаграждены присоединеніемъ новыхъ людей, которые или примкнули къ Бѣлинскому, Грановскому, г. Огареву, или были воспитаны ихъ вліяніемъ. Изъ нихъ надобно назвать, между про-

кругу Станкевича. Но читатель согласится, что мы можемъ называть представителемъ этого круга только Бѣлинскаго. Мы вовсе не имѣемъ охоты *вызвать Бѣлинскаго* насчетъ кого бы то ни было—онъ въ томъ вовсе не *нуждается*—а только излагаемъ его литературную дѣятельность.

чимъ, г. Анненкова, г. Григоровича, г. Кавелина, покойныхъ Кронеберга и В. Милютина, г. Некрасова, г. Панаева и г. Тургенева. Болѣе или менѣе примыкали къ тому же кругу или воспитывались вліяніемъ Бѣлинскаго или Грановскаго почти всѣ безъ исключенія даровитые люди новаго поколѣнія. Г. Краевскій, какъ редакторъ журнала, служившаго органомъ дѣятельности Бѣлинскаго, Грановскаго, г. Огарева и ихъ друзей, занялъ очень почетное мѣсто въ русской литературѣ, которая, мы съ удовольствіемъ можемъ сказать это, многимъ обязана ему была въ это время, за то, что онъ предоставилъ Бѣлинскому въ своемъ журналѣ положеніе сообразное, въ литературномъ отношеніи, съ преобладающею важною этого лица для журнала.

Около того же самаго времени, когда произошло у насъ соединеніе одностороннихъ направленій въ одну общую, всеобъемлющую систему воззрѣній, подобное явленіе происходило и въ Европѣ. Нѣмецкіе ученые начали сознавать, что жизнь имѣетъ свои права не только надъ дѣятельностью, но и надъ наукою; французскіе ученые и литераторы стали понимать необходимость глубоко изслѣдовать общія понятія, о которыхъ до того времени мало заботились. Въ той и другой странѣ прежнія одностороннія ученія стали уступать мѣсто новымъ идеямъ, которыя уже не принадлежали исключительно тому или другому народу, а равно были собственностью каждаго истинно-современнаго человѣка, въ какой бы странѣ онъ ни родился, на какомъ бы языкѣ ни писалъ. Такое направленіе умовъ во всѣхъ странахъ образованнаго міра къ одинаковымъ воззрѣніямъ на всѣ существенные вопросы служило сильною поддержкою единства стремленій у всѣхъ истинно современныхъ людей въ каждой странѣ. Такъ и у насъ, изученіемъ новыхъ явленій, возникавшихъ въ умственной жизни главныхъ народовъ западной Европы, и при всемъ различіи своего происхожденія и формы, проникнутыхъ совершенно однимъ и тѣмъ же духомъ, укрѣплялось единство понятій, которыми связывались люди съ современнымъ образомъ мыслей.

Но единство понятій и людей у насъ только укрѣплялось, а не рождено было вѣдшими вліяніями. Дѣятели, стоявшіе тогда во главѣ нашего умственнаго движенія, конечно, ободрялись тѣмъ, что согласіе съ ними всѣхъ современныхъ мыслителей Европы подтверждало справедливость ихъ понятій; но эти люди уже не за-

висѣли ни отъ какихъ постороннихъ авторитетовъ въ своихъ понятіяхъ. Мы уже говорили, что тотъ прогрессъ въ понятіяхъ, который сгладилъ прежнюю разрозненность, совершился у насъ самостоятельнымъ образомъ. Тутъ въ первый разъ умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли на ряду съ мыслителями Европы, а не въ свитѣ ихъ учениковъ, какъ бывало прежде. Прежде каждый у насъ имѣлъ между европейскими писателями оракула или оракуловъ; одни находили ихъ во французской, другіе—въ нѣмецкой литературѣ. Съ того времени, какъ представители нашего умственного движенія самостоятельно подвергли критикѣ гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.

Бѣлинскій и главнѣйшіе изъ его сподвижниковъ стали людьми вполнѣ самостоятельными въ умственномъ отношеніи.

Этотъ фактъ — самостоятельность, которой достигла русская мысль въ Бѣлинскомъ и главныхъ его сподвижникахъ, интересенъ не потому только, что приятенъ для нашей народной гордости: онъ важенъ въ исторіи нашихъ литературныхъ мнѣній потому, что имъ объясняются нѣкоторыя отличительныя качества трудовъ Бѣлинскаго и его союзниковъ, — качества, которыхъ прежде не имѣла наша критика; имъ отчасти объясняется и быстрое распространеніе литературныхъ мнѣній Бѣлинскаго въ нашей публикѣ.

Человѣкъ, мысль котораго достигла самостоятельности, опредѣлительностью своихъ понятій и вѣрностью ихъ приложенія всегда превосходитъ тѣхъ людей, которые слѣдуютъ чужимъ понятіямъ, не будучи въ состояніи подвергнуть критикѣ принципы, которыхъ держатся. До Бѣлинскаго наша критика была отраженіемъ то французскихъ, то нѣмецкихъ теорій, потому вовсе не имѣла ясности и опредѣлительности въ своихъ основныхъ воззрѣніяхъ, а при оцѣнкѣ существеннаго смысла и достоинства литературныхъ явленій, если высказывала много вѣрнаго, то почти всегда или оставляла многое недосказаннымъ, или примѣшивала къ вѣрнымъ замѣчаніямъ странныя недоразумѣнія. Вообще, мнѣнія лучшихъ критиковъ, предшествовавшихъ Бѣлинскому, очень скоро, втеченіе какихъ нибудь пяти-шести лѣтъ, оказывались устарѣвшими, неосновательными или односторонними. Такъ, «Телеграфъ» былъ основанъ въ 1825 году, а въ 1829 году человѣкъ, читавшій статьи Надеждина въ «Вѣстникѣ Европы», уже не могъ безъ улыбки думать о «высшихъ взглядахъ»

дахъ» Полеваго, не могъ не убѣдиться, что Полевой слишкомъ неудовлетворительно понималъ значеніе важнѣйшихъ явленій въ современной ему русской литературѣ. Сужденія самого Надеждина представляютъ странный хаосъ, ужасную смѣсь чрезвычайно вѣрныхъ и умныхъ замѣчаній съ мнѣніями, которыхъ невозможно защищать, такъ что часто одна половина статьи разрушается другою половиною. Напротивъ, сужденія Бѣлинскаго до сихъ поръ сохраняютъ всю свою цѣну, и вѣрность ихъ вообще такова, что люди, возстававшіе противъ него, почти всегда правы были только въ томъ, что заимствовали у него же самого. Въ послѣдніе годы, у насъ много говорили о неудовлетворительности понятій Бѣлинскаго; въ числѣ этихъ эпигоновъ, воображавшихъ, что поплы далѣе Бѣлинскаго, были люди умные и даровитые; но нужно только сличить ихъ статьи съ статьями Бѣлинскаго, и каждый убѣдится, что всѣ эти люди живутъ только тѣмъ, чего наслушались отъ Бѣлинскаго: они толкуютъ вѣчно только о томъ же самомъ, что говорилъ Бѣлинскій, и если толкуютъ иначе, такъ это потому, что вдаются или въ односторонность, или въ очевидное пристрастіе. Со времени Бѣлинскаго матеріалы для исторіи литературы дѣятельно разрабатываются; но вообще каждое новое изслѣдованіе ведетъ только къ новому подтвержденію сужденій, высказанныхъ имъ.

Самостоятельность его мысли была также одною изъ главныхъ причинъ сочувствія, съ которыми принимались его мнѣнія. Слабая сторона людей, повторяющихъ чужія мысли, состоитъ въ томъ, что болѣею частію они толкуютъ о предметахъ не возбуждающихъ интереса въ публикѣ. Правда всегда правда, но не всякая правда вездѣ и всегда равно важна и равно способна возбудить вниманіе: у каждаго вѣка, у каждаго народа есть свои потребности; то, что интересно нѣмцу, часто бываетъ вовсе не интересно французу или русскому, потому что не имѣетъ прямаго отношенія къ потребностямъ его жизни. Надобно говорить о томъ, что нужно нашей публикѣ въ наше время. Прежде, наша литература слишкомъ часто говорила о предметахъ, имѣющихъ для насъ слишкомъ мало интереса, служа не столько выразительницею нашихъ собственныхъ мыслей, не столько разрѣшительницею нашихъ собственныхъ недоумѣній, сколько отголоскомъ чужихъ сужденій о чуждыхъ намъ дѣлахъ. Бѣлинскій всегда говорилъ о томъ, что слышать нужно и интересно было именно той публикѣ, которой онъ говорилъ.

Въ слѣдующей главѣ намъ должно будетъ излагать его дѣятельность въ порѣ зрѣлаго развитія. Характеризуя литературныя воззрѣнія Бѣлинскаго, мы будемъ обращать главное наше вниманіе на его позднѣйшія статьи, потому что до самой смерти своей этотъ человѣкъ шелъ впередъ, и чѣмъ далѣе, тѣмъ полнѣе и точнѣе выражались его мысли; и, конечно, мы должны будемъ принимать въ основаніе своихъ соображеній самое зрѣлое ихъ выраженіе. Но прежде намъ остается обозначить путь, которымъ шло развитіе его воззрѣній съ того времени, какъ начали появляться его статьи въ «Отечественныхъ Запискахъ», до той высоты, на которой достигнуть онъ былъ смертью. Въ нѣсколькихъ словахъ, существеннѣйшая черта развитія критики Бѣлинскаго съ 1840 года можетъ быть опредѣлена такъ:

Критика Бѣлинскаго все болѣе и болѣе проникалась живыми интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явленія этой жизни, все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе стремилась къ тому, чтобы объяснить публикѣ значеніе литературы для жизни, а литературѣ тѣ отношенія, въ которыхъ она должна стоять къ жизни, какъ одна изъ главныхъ силъ, управляющихъ ея развитіемъ.

Съ каждымъ годомъ въ статьяхъ Бѣлинскаго мы находимъ все менѣе и менѣе разсужденій объ отвлеченныхъ предметахъ или хотя о живыхъ предметахъ, но съ отвлеченной точки зрѣнія; все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе становится преобладаніе элементовъ, данныхъ жизнью.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Путь развитія, которымъ шла критика Бѣлинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современникѣ», опредѣляется тою существенною чертою, что она все болѣе и болѣе проникалась живыми интересами нашей дѣйствительности и вслѣдствіе того становилась все болѣе и болѣе положительною. Въ примѣчаніи мы приводимъ нѣсколько мѣстъ изъ послѣднихъ статей Бѣлинскаго, выражающихъ самыя зрѣлыя и точныя понятія его о томъ, какую преобладающую важность должна имѣть дѣйствительность въ умственной и нравственной жизни, главнымъ органомъ которой до послѣдняго времени была (и до сихъ поръ остается) у насъ литература, а здѣсь скажемъ нѣсколько о томъ, какъ надобно понимать «дѣйствительность» и «положительность», которымъ, по современнымъ понятіямъ, должно принадлежать такое важное значеніе во всѣхъ отрасляхъ и умственной и нравственной дѣятельности *).

*) .Если бы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной русской литературы, мы отвѣчали бы: въ болѣе и въ болѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнью, съ дѣйствительностью, въ болѣе и болѣе близости къ зрѣлости и возмужалости. («Взглядъ на русскую литературу въ 1846 г.». «Современникъ» 1847 г., № 1, Критика, стр. 1).—Итакъ, зрѣлость измѣряется степенью близости къ дѣйствительности.

«Все движеніе русской литературы (до Пушкина) заключалось въ стремленіи сблизиться съ жизнью, съ дѣйствительностью». (Тамъ же, стр. 4).—Итакъ, цѣль литературнаго движенія есть дѣйствительность.

«Въ отношеніи къ искусству, поэзіи, творчеству литература наша всего ближе къ той зрѣлости и возмужалости, рѣчью о которыхъ начали мы эту статью. Такъ называемую натуральную школу нельзя упрекнуть въ риторикѣ, разумія подъ этимъ словомъ вольное или невольное искаженіе дѣйствительности, фальшивое иделизированіе жизни... Не въ талантахъ, не въ

«Понятіе о дѣйствительности совершенно новое»,—говоритъ Бѣлинскій («Современникъ» 1847 г., № 1. Критика, стр. 18),—и, въ самомъ дѣлѣ, оно опредѣлилось и вошло въ науку опять недавно, именно съ того времени, какъ объяснены были современными намъ мыслителями темные намеки трансцендентальной философіи, признававшей истину только въ конкретномъ осуществленіи. Какъ и всѣ верховныя истины современной науки, этотъ взглядъ на дѣйствительность очень простъ, но чрезвычайно плодотворенъ.

Были времена, когда мечты фантазіи ставились гораздо выше того, что представляетъ жизнь, и когда сила фантазіи считалась беспредѣльною. Но современные мыслители внимательнѣе прежняго рассмотрѣли этотъ вопросъ и дошли до результатовъ, совершенно противоположныхъ прежнимъ мнѣніямъ, которыя оказались рѣшительно не выдерживающими критики. Сила нашей фантазіи чрезвычайно ограничена, и созданія ея очень блѣдны и слабы въ сравненіи съ тѣмъ, что представляетъ дѣйствительность. Самое пылкое воображеніе подавляется представленіемъ о милліонахъ миль, отдѣляющихъ землю отъ солнца, о чрезвычайной быстротѣ свѣта и электрическаго тока; самыя идеальныя фигуры Рафаэля оказались портретами съ живыхъ людей; самыя уродливыя созданія миеологии и народныхъ суевѣрій оказались далеко не столь

числѣ ихъ мы видимъ собственно прогрессъ литературы, а въ ихъ направленіи, ихъ манерѣ писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали дѣйствительность, т. е. изображали несуществующее, рассказывали о небываломъ; а теперь они воспроизводятъ жизнь и дѣйствительность въ ихъ истинѣ. Отъ этого литература получила важное значеніе въ глазахъ общества». (Тамъ же, стр. 10).—Итакъ, положительности противно фальшивое идеализированіе; искусство достигаетъ зрѣлости тогда, когда воспроизводитъ жизнь и дѣйствительность въ ихъ истинѣ.

«Вмѣсто того, чтобы думать о невозможномъ, гораздо лучше, признавъ неотразимую и неизмѣнную (т. е. не подчиняющуюся фантазіямъ) дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями». (Тамъ же, стр. 14).

«Важность теоретическихъ вопросовъ зависитъ отъ ихъ отношеній къ дѣйствительности... У себя, въ себѣ, вокругъ себя—вотъ гдѣ мы должны искать и вопросовъ, и ихъ рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно». (Тамъ же, стр. 28).

«Жаль, что источникъ вдохновенія этого таланта (одною изъ поэмъ, котораго стихотворенія были изданы въ 1846 г.) не жизнь, а мечта, и что по-

непохожими на окружающих насъ животныхъ, какъ чудовища, открытыя естествоиспытателями; исторіею и внимательнымъ наблюденіемъ современнаго быта доказано было, что живые люди, даже вовсе не принадлежащіе къ числу отъявленныхъ изверговъ или героевъ добродѣтели, совершаютъ преступленія, гораздо ужаснѣйшія, и подвиги, гораздо болѣе возвышенные, нежели все, что было выдумано поэтами. Фантазія должна была смириться передъ дѣйствительностію; мало того: принуждена была сознаться, что мнимыя созданія ея только копія съ того, что представляется явленіями дѣйствительности.

Но явленія дѣйствительности чрезвычайно разнородны и разнообразны. Она представляетъ много такого, что сообразно съ желаніями потребностями человѣка, и много такого, что рѣшительно противорѣчитъ имъ. Прежде, когда пренебрегали дѣйствительностію, слишкомъ гордясь фантастическими богатствами, полагали, что предѣлать дѣйствительность по фантастическимъ мечтамъ очень легко. Но, когда фантастическая гордость смирилась, ученые и поэты должны были убѣдиться въ томъ, что всегда было ясно въ практической жизни для людей, одаренныхъ здравымъ смысломъ. Самъ по себѣ, человѣкъ очень слабъ; всю свою силу заимствуетъ онъ

этому онъ не имѣетъ никакого отношенія къ жизни и бѣденъ поэзіею... На высотѣ, куда ему такъ хочется, и пусто, и холодно, и нѣтъ воздуха для дыханія. То ли дѣло земля! на ней намъ и свѣтло и тепло, на ней все наше и понятно намъ, на ней наша жизнь и наша поэзія. За то кто отворачивается отъ нея, не умѣя понимать ее, тотъ не можетъ быть поэтомъ и можетъ ловить въ холодной пустотѣ однѣ холодныя и пустыя фразы». (Тамъ же, стр. 31).

«Литература наша... постоянно стремилась изъ реторической сдѣлаться естественною, натуральною. Это стремленіе, ознаменованное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляетъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы не обинуясь скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя, этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ (прежнихъ) русскихъ поэтовъ можно, хотя и съ натяжкою, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіи, какъ «украшенной природы»; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства—какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея истинѣ». («Взглядъ на русскую литературу 1847 г.»—*«Современникъ»* 1848 г., № 1. Критика, стр. 17).

только отъ знанія дѣйствительной жизни и умѣнья пользоваться силами неразумной природы и врожденными, независимыми отъ человѣка качествами человѣческой природы. Дѣйствуя сообразно съ законами природы и души и при помощи ихъ, человѣкъ можетъ постепенно видоизмѣнять тѣ явленія дѣйствительности, которыя несообразны съ его стремленіями, и, такимъ образомъ, постепенно достигать очень значительныхъ успѣховъ въ дѣлѣ улучшенія своей жизни и исполненія своихъ желаній.

Но не всякія желанія находятъ себѣ пособіе въ дѣйствительности. Многія противорѣчатъ законамъ природы и человѣческой природы; ни философскаго камня, который бы обращалъ всѣ металлы въ золото, ни жизненнаго эликсира, который бы на вѣки сохранялъ намъ юность, невозможно добыть изъ природы; напрасны и всѣ наши требованія, чтобы люди отказались отъ эгоизма, отъ страстей: человѣческая натура не подчиняется такому, повидимому, превосходнымъ требованіямъ.

Это обстоятельство, полагающее очевидную разницу между нашими желаніями, заставило пристальнѣе всмотрѣться въ тѣ изъ нихъ, достиженію которыхъ отказываются служить природа и люди съ здравымъ смысломъ — въ самомъ ли дѣлѣ необходимо для человѣка исполненіе такихъ желаній? Очевидно, нѣтъ, потому что онъ, какъ мы видимъ, и живетъ и даже, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, бываетъ очень счастливъ, не обладая ни философскимъ камнемъ, ни жизненнымъ эликсиромъ, ни тѣми очаровательными благами и качествами, какими манитъ его волшебство фантазіи, заносющейся за облака. А если человѣкъ можетъ обходиться, какъ показываетъ жизнь, безъ этихъ благъ, которыя выставляются фантазіею, будто необходимы для него, — если обнаружилось уже, что она обманула человѣка въ отношеніи необходимости, то нельзя было не заподозрить ея и съ другой стороны: дѣйствительно-ли пріятно было бы человѣку исполненіе тѣхъ мечтаній, которыя противорѣчатъ законамъ внѣшней природы и его собственной природы? и при внимательномъ наблюденіи оказалось, что исполненіе такихъ желаній не вело бы ни къ чему, кромѣ недовольства или мученій; оказалось, что все ненатуральное вредно и тяжело для человѣка, и что нравственно здоровый человѣкъ, инстинктивно чувствуя это, вовсе не желаетъ въ дѣйствительности

осуществленія тѣхъ мечтаній, которыми забавляется праздная фантазія.

Какъ найдено было, что мечты фантазіи не имѣютъ цѣнности для жизни, точно также найдено было, что не имѣютъ значенія для жизни многія надежды, внушаемыя фантазією.

Прочное наслажденіе дается человѣку только дѣйствительностью; серьезное значеніе имѣютъ только тѣ желанія, которыя основаніемъ своимъ имѣютъ дѣйствительность; успѣха можно ожидать только въ тѣхъ надеждахъ, которыя возбуждаются дѣйствительностью, и только въ тѣхъ дѣлахъ, которыя совершаются при помощи силъ и обстоятельствъ, представляемыхъ ею.

Достичь до такого убѣжденія и дѣйствовать сообразно съ нимъ значитъ сдѣлаться человѣкомъ положительнымъ.

Но часто тѣ самыя, которые воображаютъ себя людьми положительными, заблуждаются въ этомъ высокомъ мнѣніи о себѣ самымъ жестокимъ и постыднымъ образомъ, впадая въ особеннаго рода фантазерство именно по узкости своихъ понятій о дѣйствительности.

Напримѣръ, несправедливо было бы считать положительнымъ человѣкомъ холоднаго эгоиста. Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастію окружающихъ насъ людей и огорчаться ихъ страданіями) такъ же врождены человѣку, какъ и эгоизмъ. Кто дѣйствуетъ исключительно по расчетамъ эгоизма, тотъ дѣйствуетъ наперекоръ человѣческой природѣ, подавляетъ въ себѣ врожденныя и неискоренимыя потребности. Онъ въ своемъ родѣ такой же фантазеръ, какъ и тотъ, кто мечтаетъ о заоблачныхъ самоотверженіяхъ; разница только въ томъ, что одинъ—злой фантазеръ, другой—приторный фантазеръ, но оба они сходны въ томъ, что счастье для нихъ недостижимо, что они вредны и для себя и для другихъ. Голодный человѣкъ, конечно, не можетъ чувствовать себя хорошо; но и сытый человѣкъ не чувствуетъ себя хорошо, когда вокругъ него раздаются несносныя для человѣческаго сердца стоны голодныхъ. Искать счастья въ эгоизмѣ — ненатурально, и участь эгоиста нисколько не завидна: онъ уродъ, а быть уродомъ неудобно и непріятно.

Точно также вовсе нельзя назвать положительнымъ и того человѣка, который, понявъ, что силы придаются человѣку только дѣйствительностью и прочныя наслажденія доставляются только

ею, вздумалъ бы объявлять, что нѣтъ въ дѣйствительности такихъ явленій, которыя нужно и возможно человѣку измѣнить, что въ дѣйствительности, все пріятно и хорошо для человѣка, и что онъ совершенно безсиленъ передъ каждымъ фактомъ: это опять своего рода фантазерство, столь же нелѣпое, какъ и мечты о воздушныхъ замкахъ. Равно ошибаются человѣкъ, который хлопочеть о замѣненіи обыкновенной здоровой пищи амвросіею и нектаромъ, и тотъ, который утверждаетъ, что всякая пища вкусна и здорова для человѣка, что въ природѣ нѣтъ ядовитыхъ растеній, что пустыя щи съ лебедю хороши, что невозможно очищать полей отъ камней и бурьяна, чтобы засѣвать пшеницею, что не должно и невозможно очищать пшеницу отъ плевелъ.

Всѣ эти люди — одинаковы фантазеры, потому что одинаково увлекаются одностороннею крайностью, одинаково отвергаютъ очевидные факты, одинаково хотятъ нарушать законы природы и человеческой жизни. Неронъ, Калигула, Тиверій были такъ же близки къ сумасшествію, какъ рыцарь Тоггенбургъ и индѣйскій факирь. Вителлій, который объѣдался до того, что каждый день долженъ былъ прибѣгать къ помощи рвотнаго, терпѣлъ отъ желудка не меньше мученій, нежели терпитъ человѣкъ, не имѣющій сытнаго обѣда. Развратникъ точно такъ же лишенъ лучшихъ наслажденій жизни, какъ и кастратъ. Положительнаго въ жизни всѣхъ этихъ людей очень мало. Положителенъ только тотъ, кто хочетъ быть вполне человѣкомъ: заботясь о собственномъ благосостояніи, любить и другихъ людей (потому что одинокаго счастья нѣтъ); отказываясь отъ мечтаній, несообразныхъ съ законами природы, не отказывается отъ полезной дѣятельности; находя многое въ дѣйствительности прекраснымъ, не отрицаетъ также, что многое въ ней дурно, и стремится, при помощи благопріятныхъ человѣку силъ и обстоятельствъ, бороться противъ того, что неблагопріятно человѣческому счастью. Положительнымъ человѣкомъ въ истинномъ смыслѣ слова можетъ быть только человѣкъ любящій и благородный. Въ комъ отъ природы нѣтъ любви и благородства, тотъ жалкій уродъ, шекспировъ Калибанъ, недостойный имени человеческого, — но такихъ людей очень мало, можетъ быть, вовсе нѣтъ; въ комъ обстоятельства убиваютъ любовь и благородство, тотъ человѣкъ жалкій, несчастный, нравственно больной; кто преднамѣренно подавляетъ

въ себѣ эти чувства, тотъ фантазеръ, чуждый положительности и противорѣчащій законамъ дѣйствительной жизни.

По отверженіи фантазерства, требованія и надежды человѣка дѣлаются очень умѣренными; онъ становится снисходителенъ и отличается терпимостью, потому что излишняя взыскательность и фанатизмъ—порожденія болѣзненной фантазіи. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы положительность ослабляла силу чувства и энергію требованій,—напротивъ, тѣ чувства и требованія, которыя вызываются и поддерживаются дѣйствительностью, гораздо сильнѣе всѣхъ фантастическихъ стремленій и надеждъ: человѣкъ, мечтающій о воздушныхъ замкахъ, и въ сотую долю не такъ сильно занятъ своими слишкомъ радужными мечтами, какъ человѣкъ, заботящійся о постройкѣ для себя скромнаго (лишь бы только уютнаго) домика, занятъ мыслью объ этомъ домикѣ. О томъ ужъ нечего и говорить, что мечтатель обыкновенно проводитъ время лежа на боку; а человѣкъ, одушевленный разсудительнымъ желаніемъ, трудится безъ отдыха для его осуществленія. Чѣмъ дѣйствительнѣе и положителнѣе стремленія человѣка, тѣмъ энергичнѣе борется онъ съ обстоятельствами, препятствующими ихъ осуществленію. И любовь и ненависть даются и возбуждаются въ высшей степени тѣми предметами, которые принадлежатъ къ области дѣйствительной жизни. Фантастическая Елена, при всей своей невообразимой красотѣ, не возбуждаетъ въ здоровомъ человѣкѣ и слабой тѣни того чувства, которое возбуждается дѣйствительною женщиною, даже не принадлежащею къ числу блистательныхъ красавицъ. Съ другой стороны, звѣрства каннибаловъ, о которыхъ мы, къ счастью, знаемъ только по слухамъ, далеко не въ такой степени волнуютъ насъ, какъ довольно невинные въ сравненіи съ ними подвиги Сквозниковъ-Дмухановскихъ и Чичиковыхъ, совершаемые въ нашихъ глазахъ.

Бѣлинскій былъ человѣкъ сильный и рѣшительный; онъ говорилъ очень энергически, съ чрезвычайнымъ одушевленіемъ, но нелѣпою ошибкою было бы называть его, какъ то дѣлали, бывало, иные, человѣкомъ неумѣреннымъ въ требованіяхъ или надеждахъ. Тѣ и другія имѣли у него основаніе въ потребностяхъ и обстоятельствахъ нашей дѣятельности, потому, при всей своей силѣ, были очень умѣренны. Насъ здѣсь занимаетъ русская литература, потому *будемъ говорить о ней.* Бѣлинскій восхищался «Ревизоромъ» и

«Мертвыми Душами». Подумаемъ хорошенько, могъ ли бы восхищаться этими произведеніями человѣкъ неумѣренный въ своихъ желаніяхъ? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, сарказмъ Гоголя не знаетъ никакихъ границъ? Напротивъ, стоить вспомнить хотя о Диккенсѣ, не говоря уже о французскихъ писателяхъ прошлаго вѣка, и мы должны будемъ признаться, что сарказмъ Гоголя очень скромнѣе и ограниченѣе. Бѣлинскій желалъ развитія нашей литературѣ,—но какими предѣлами ограничивались его требованія и надежды? Требовалъ ли онъ, чтобъ наша литература при нашихъ глазахъ стала такъ же глубока и богата, какъ напримѣръ, современная французская или англійская (хотя и та и другая далеки отъ совершенства)? Вовсе нѣтъ: онъ прямо говорилъ, что въ настоящее время нечего объ этомъ думать, какъ о вещи невозможной; очень хорошо, по его мнѣнію, было ужъ и то, что наша литература становится сколько нибудь похожа въ самомъ дѣлѣ на литературу; успѣхи, ею совершаемые, были, по его мнѣнію, очень быстры и похвальны; онъ постоянно радовался этой быстротѣ нашего развитія, а вѣдь, по правдѣ говоря, быстрота эта была таки довольно медленная: и въ 1846 и 1856 году мы еще далеки отъ этой «зрѣлости», къ которой стремимся. Да, Бѣлинскій былъ человѣкъ очень терпѣливый и умѣренный. Примѣровъ тому можно найти множество: они на каждой страницѣ его статей. Напрасно также было бы воображать его критикомъ слишкомъ строгимъ; напротивъ, онъ былъ очень снисходителенъ. Правда, онъ былъ одаренъ чрезвычайно вѣрнымъ и тонкимъ вкусомъ, не могъ не замѣчать недостатковъ и высказывалъ о нихъ свое мнѣніе безъ всякихъ пустыхъ прикрасъ; но если хотя какое нибудь положительное достоинство находилось въ разбираемомъ произведеніи, онъ готовъ былъ за это достоинство извинять ему всѣ недостатки, для которыхъ существуетъ хотя какое нибудь извиненіе. Едва ли у кого изъ русскихъ критиковъ было и столько терпимости къ чужимъ мнѣніямъ, какъ у него: лишь бы только убѣжденія не были совершенно нелѣпы, онъ всегда говорилъ о нихъ съ уваженіемъ, какъ бы ни разнились они отъ его собственныхъ убѣжденій. Примѣровъ тому множество. Укажемъ на одинъ, о которомъ придется намъ говорить—на полемику его съ славянофилами, въ которой со стороны Бѣлинскаго постоянно было гораздо больше доброжелательства, нежели со стороны его противниковъ. Онъ даже видѣлъ угѣшитель-

ное явленіе въ томъ, что число приверженцевъ этой школы увеличивается. (Бѣлинскій, впрочемъ, ошибся въ этомъ случаѣ: нынѣ оказалось, что славянофильство лишено способности привлекать послѣдователей). Точно также онъ съ полною готовностью признавалъ всѣ достоинства произведеній словесности, которыя были написаны не въ томъ духѣ, какой казался ему сообразнѣйшимъ съ потребностью нашей литературы, лишь бы только эти произведенія имѣли положительное достоинство. Для примѣра, напомнимъ его отзывъ о романѣ г. Гончарова «Обыкновенная Исторія». Въ приложеніи къ настоящей статьѣ мы помѣстили отрывокъ изъ послѣдняго обзора русской литературы, написаннаго Бѣлинскимъ. Онъ припомнитъ читателямъ, что Бѣлинскій не признавалъ «чистаго искусства» и поставлялъ обязанностью искусства служеніе интересамъ жизни. А, между тѣмъ, онъ въ томъ же самомъ разборѣ съ равнымъ благорасположеніемъ говоритъ о романѣ г. Гончарова, въ которомъ видитъ исключительное стремленіе къ такъ называемому чистому искусству, и о другомъ романѣ, явившемся около того времени, написанномъ въ духѣ, который наиболѣе нравился Бѣлинскому; онъ даже болѣе снисходителенъ къ «Обыкновенной Исторіи». Можно также припомнить, съ какимъ чрезвычайнымъ сочувствіемъ говорилъ всегда Бѣлинскій о Пушкинѣ, хотя совершенно не раздѣляя его понятій. Но бесполезно увеличивать число этихъ примѣровъ, которыхъ множество представляется каждому, сохранившему отчетливое воспоминаніе о статьяхъ Бѣлинскаго.

Мнѣніе, будто бы Бѣлинскій не былъ очень умѣренъ въ своихъ понятіяхъ или сурово преслѣдовалъ всякій образъ мыслей, несогласный съ его собственнымъ рѣшительно несправедливо. Въ этомъ каждому легко убѣдиться, просмотрѣвъ нѣсколько его статей. Фанатиковъ у насъ въ литературѣ было довольно много; но Бѣлинскій не только не имѣлъ никакого сходства съ ними, а, напротивъ, постоянно велъ съ ними самую упорную борьбу, какого бы цвѣта ни былъ ихъ фанатизмъ, къ какой бы партіи ни принадлежали они,— даже фанатиковъ такъ называемой «тенденціи» онъ осуждалъ такъ же строго, какъ и фанатиковъ противоположнаго направленія *).

*) Мы говоримъ объ умѣренности Бѣлинскаго не для того, чтобы хвалить или осуждать его, а просто потому, что умѣренность эта фактъ, очень важный и неоспоримый, а между тѣмъ, слишкомъ часто опускаемый изъ виду при сужденіяхъ о Бѣлинскомъ.

Отчего же могло возникнуть мнѣніе, будто Бѣлинскій не былъ человѣкомъ очень умѣренныхъ мыслей о нашей литературѣ и связанныхъ съ нею вопросахъ, между тѣмъ, какъ чтеніе его статей неопровержимо убѣдитъ cadaго, что онъ понималъ вещи не иначе какъ ихъ вообще понимаютъ почти всѣ здравомыслящія люди въ наше время? Тутъ надобно многое приписать неосновательнымъ обвиненіямъ, какія ввоздвигались на него личными его противниками, которыхъ самолюбіе было оскорблено его критикою: его называли они человѣкомъ неумѣреннымъ по тѣмъ же самымъ побужденіямъ и точно съ такою же основательностью, какъ и твердили о немъ, будто бы онъ нападалъ на старыхъ нашихъ писателей, тогда какъ, напротивъ, онъ возстановлялъ ихъ славу. Но этими личными и мелочными расчетами нельзя ограничить поводовъ, по которымъ возникло мнѣніе, признаваемое нами несправедливымъ.

Требованія Бѣлинскаго были очень умѣренны, но тверды и послѣдовательны, высказывались съ одушевленіемъ, энергически. Нѣтъ надобности говорить, что самыя рѣзкія сужденія могутъ быть прикрываемы цвѣтистыми фразами. Бѣлинскій, человѣкъ прямого и рѣшительнаго характера, пренебрегалъ этою хитростью. Онъ писалъ такъ, какъ думалъ, заботясь только о правдѣ и употребляя именно тѣ слова, которыя точнѣе выражали его мысль. Дурное онъ прямо называлъ дурнымъ, не прикрывая своего сужденія дипломатическими оговорками и двусмысленными намеками. Потому людямъ, которымъ всякое правдивое кажется жесткимъ, какъ бы ни было оно умѣренно, мнѣнія Бѣлинскаго казались рѣзкими: что дѣлать — многіе прямогу считаютъ всегда рѣзкостью. Но тѣ, которые понимаютъ смыслъ читаемаго, очень хорошо всегда понимали, что желанія и надежды Бѣлинскаго были очень скромны. Вообще, онъ не требовалъ ничего такого, что не казалось бы совершенною необходимостью для cadaго человѣка съ развитымъ умомъ. Этимъ и объясняется сильное сочувствіе ему въ публикѣ, которая у насъ вообще очень скромна въ своихъ желаніяхъ.

Въ спорахъ съ противниками Бѣлинскій не имѣлъ привычки уступать, и въ полемикѣ, которую онъ велъ, не было ни одного случая, когда споръ не кончался бы совершеннымъ пораженіемъ противника во всѣхъ пунктахъ; ни одинъ литературный споръ не оканчивался безъ того, чтобы противникъ Бѣлинскаго не терялъ *совершенно уваженія* лучшей части публики. Но должно только

припомнить, съ какими мнѣніями велъ онъ борьбу, и надобно будетъ признаться, что иначе споръ не могъ кончатся. БѢЛИНСКІЙ спорилъ только противъ мнѣній, положительно вредныхъ и рѣшительно ошибочныхъ: нельзя указать ни одного случая, когда бы онъ считалъ нужнымъ возставать противъ убѣжденій, которыя были безвредны или не нелѣпы. Стало быть, вовсе не онъ, а его противники были виноваты въ томъ, если полемика (обыкновенно начинаемая не БѢЛИНСКИМЪ) кончалась совершеннымъ ихъ пораженіемъ: зачѣмъ они защищали мнѣнія, которыхъ невозможно защищать и не должно защищать? Зачѣмъ они возставали противъ очевидныхъ истинъ? зачѣмъ они литературные вопросы такъ часто старались переносить въ область юридическихъ обвиненій? Всѣ случаи, когда БѢЛИНСКІЙ велъ упорную полемику, подводятся подъ одно опредѣленіе: БѢЛИНСКІЙ говоритъ, что $2 \times 2 = 4$; его за это обвиняютъ въ невѣжествѣ, безвкуси и неблагонамѣренности, намекая, что изъ провозглашаемаго имъ парадокса—парадоксъ состоитъ въ томъ, что $2 \times 2 = 4$ —напримѣръ, въ томъ, что произведенія Пушкина по художественному достоинству выше произведеній Державина, а «Герой Нашего Времени» выше «Брянскаго Лѣса» или «Симеона Кирдяпы», что изъ этого страшнаго парадокса произойдутъ самыя пагубныя послѣдствія для русскаго языка, для отечественной литературы, и что—чего добраго!—всему міру грозитъ смертельная опасность отъ такой неосновательной и злонамѣренной выдумки. При защитѣ отъ такихъ нападеній, конечно, невозможно было признавать, что на сторонѣ нападающихъ есть хотя какая нибудь частица справедливости. Если бы предметомъ ихъ негодованія выбиралось что нибудь сомнительное, если бы замѣчались БѢЛИНСКОМУ какіе нибудь односторонности или недосмотры, дѣло могло бы быть ведено иначе: БѢЛИНСКІЙ, соглашаясь или не соглашаясь на замѣчанія противниковъ, охотно признавался бы, что ихъ слова не совершенно лишены здраваго смысла, что мнѣнія ихъ заслуживаютъ уваженія: когда онъ замѣчалъ свои ошибки, онъ не колебался самъ первый обнаруживать ихъ. Но что оставалось ему дѣлать, когда, напримѣръ, одинъ изъ его противниковъ возмущался отсутствіемъ всякихъ убѣжденій въ статьяхъ БѢЛИНСКАГО, когда тотъ же самый противникъ утверждалъ, что БѢЛИНСКІЙ пишетъ самъ не понимая смысла своихъ словъ, — потомъ твердилъ, что БѢЛИНСКІЙ *замыкаетъ у него свои понятія* (когда дѣло было совершенно наобо-

ротъ, что очевидно каждому при сличеніи стараго «Москвитянина» съ «Отечественными Записками»), — когда другіе возставали на Бѣлинскаго за мнимое неуваженіе къ Державину и Карамзину (которыхъ онъ первый оцѣнилъ), и т. д., — тутъ, при всей готовности быть уступчивымъ, невозможно было увидѣть въ замѣчаніяхъ противниковъ ни искры правды, и невозможно было не сказать, что они совершенно ошибочны. Таково же бывало положеніе дѣла, когда Бѣлинскій, въ свою очередь, начиналъ полемику: могъ ли онъ не говорить, что мнѣнія, противъ которыхъ онъ возстаетъ, совершенно лишены всякаго основанія, когда эти мнѣнія были такого рода: «Гоголь писатель безъ всякаго таланта, — лучшее лицо въ «Мертвыхъ Душахъ» кучеръ Чичикова Селифанъ, — гегелева философія заимствована изъ «Завѣщанія» Владиміра Мономаха, — писатели, подобные г. Тургеневу и г. Григоровичу, достойны сожалѣнія потому, что берутъ содержаніе своихъ произведеній не изъ русскаго быта, — Лермонтовъ былъ подражателемъ г. Бенедиктова и плохо владѣлъ стихомъ, — романы Диккенса произведенія уродливой бездарности — Пушкинъ былъ плохой писатель, — величайшіе поэты нашего вѣка Викторъ Гюго и г. Хомяковъ — г. Соловьевъ не имѣетъ понятія о русской исторіи — нѣмцы должны быть истреблены — VII глава «Евгенія Онѣгина» есть рабское подражаніе одной изъ главъ «Ивана Выжигина» — лучшее произведеніе Гоголя его «Вечера на Хуторѣ» (по мнѣнію однихъ) или «Переписка съ друзьями» (по мнѣнію другихъ), остальные же гораздо слабѣе — Англія погибла около 1827 года, такъ что не осталось и слѣдовъ ея существованія, какъ не осталось слѣдовъ платоновой Атлантиды — Англія единственное живое государство въ западной Европѣ (мнѣніе того же писателя, который открылъ, что она погибла) — лукавый западъ гнѣтъ, и мы должны поскорѣе обновить его мудростью Сковороды — Византія должна быть нашимъ идеаломъ — просвѣщеніе приносить вредъ» — и т. д., и т. д.» — Можно ли найти хотя какую нибудь частицу правды въ такихъ сужденіяхъ? Можно ли дѣлать имъ уступки? Возставать противъ нихъ значить ли обнаруживать духъ нетерпимости? Когда одному изъ людей, воображающихъ себя учеными, и пользовавшемуся сильнымъ вліяніемъ въ журналѣ, который имѣлъ своею спеціальностью борьбу противъ Бѣлинскаго и «Отечественныхъ Записокъ», вздумалось утверждать, что Галилей и Ньютонъ поставили астрономію на ложный путь,

неужели можно было бы вести съ нимъ споръ такимъ образомъ: «Въ нашихъ словахъ есть много справедливаго; мы должны сознаться, что въ прежнихъ нашихъ понятіяхъ объ астрономическихъ законахъ были ошибки; но, соглашаясь съ вами въ главномъ, мы должны сказать, что нѣкоторыя подробности въ вашихъ замѣчаніяхъ кажутся намъ не совсѣмъ ясны»: говорить такимъ образомъ значило бы измѣнять очевидной истинѣ и дѣлать себя предметомъ общей насмѣшки. Возможно ли было говорить такимъ тономъ и о тѣхъ сужденіяхъ, образцы которыхъ представили мы выше, и которыя въ своемъ родѣ ничуть не хуже опроверженія ньютоновой теоріи? Нѣтъ, тутъ невозможно соединять отрицаніе съ уступчивостью, потому что нѣтъ ни малѣйшей возможности открытъ въ словахъ противника что нибудь похожее на правду. Относительно такихъ мнѣній нѣтъ середины: или надобно молчать о нихъ, или прямо, безъ малѣйшихъ уступокъ высказывать, что они лишены всякаго основанія. Разумѣется, нападенія на Галилея и Ньютона можно было оставить безъ вниманія — не было опасности, чтобы кто нибудь введенъ былъ ими въ заблужденіе. Но другія сужденія не были такъ невинны — обнаружить ихъ неосновательность было необходимо. Изъ того, что Бѣлинскій не видѣлъ возможности соглашаться, что Гоголь бездарный писатель, и пьянаго Селифана должно считать представителемъ русской народности, слѣдуетъ ли заключать, что онъ не имѣлъ терпимости?

Люди, которые возставали противъ Бѣлинскаго, нападали на истины слишкомъ очевидныя и важныя; самъ онъ возставалъ только противъ того, что было рѣшительно нелѣпо и вредно; будучи человѣкомъ твердыхъ убѣжденій и прямаго характера, онъ высказывалъ свои мнѣнія сильно.

Но кто смѣшиваетъ эти качества съ неумѣренностью мнѣній, тотъ совершенно ошибается. Напротивъ, мнѣнія Бѣлинскаго высказывались съ особенною силою именно потому, что въ сущности были очень умѣренны.

Сдѣлавъ это необходимое замѣчаніе о характерѣ общихъ возрѣній Бѣлинскаго, мы должны были бы теперь заняться вопросомъ о томъ, какъ онъ смотритъ на отношенія литературы къ обществу и занимающимъ его интересамъ. Но въ одной изъ послѣднихъ статей своихъ самъ Бѣлинскій высказалъ свои мнѣнія *объ этомъ предметѣ* съ такою полнотою и точностью, что лучше

всего будетъ представить въ приложеніи къ нашей статьѣ его собственныя слова. А здѣсь остается намъ сдѣлать только нѣсколько замѣчаній, которыя послужатъ объясненіемъ къ предлагаемому отрывку изъ статьи Бѣлинскаго.

Мнѣнія, которыя такъ сильно и убѣдительно выражены Бѣлинскимъ въ этомъ отрывкѣ, совершенно противоположны идеямъ трансцендентальной философіи, въ особенности системы Гегеля, основывавшей все свое эстетическое ученіе на томъ принципѣ, что искусство имѣетъ исключительнымъ предметомъ своимъ осуществленіе идеи прекраснаго; искусство, по этимъ идеалистическимъ понятіямъ, должно было сохранять совершенную независимость отъ всѣхъ другихъ стремленій человѣка, кромѣ стремленія къ прекрасному. Такое искусство называлось чистымъ искусствомъ.

И въ этомъ случаѣ, какъ почти во всѣхъ другихъ, гегелева система останавливалась на половинѣ пути и, отказываясь отъ строгаго вывода послѣдствій изъ своихъ коренныхъ положеній, допускала въ себя устарѣвшія мысли, противорѣчившія этимъ положеніямъ. Такъ, она говорила, что истина существуетъ только въ конкретныхъ явленіяхъ, а, между тѣмъ, въ эстетикѣ своей ставила верховною истинною идею прекраснаго, какъ будто идея эта существуетъ сама по себѣ, а не въ живомъ дѣйствительномъ человѣкѣ. Это внутреннее противорѣчіе, повторявшееся почти во всѣхъ другихъ частяхъ гегелевой системы, и послужило причиною ея неудовлетворительности. Дѣйствительно, существуетъ человѣкъ, а идея прекраснаго есть только отвлеченное понятіе объ одномъ изъ его стремленій. А такъ какъ въ человѣкѣ, живомъ органическомъ существѣ, всѣ части и стремленія неразрывно связаны другъ съ другомъ, то изъ этого и слѣдуетъ, что основывать теорію искусства на одной исключительной идеѣ прекраснаго, значитъ впадать въ односторонность и строить теорію, несообразную съ дѣйствительностью. Въ каждомъ человѣческомъ дѣйствіи принимаютъ участіе всѣ стремленія человѣческой природы, хотя бы одно изъ нихъ и являлось преимущественно заинтересованнымъ въ этомъ дѣлѣ. Потому и искусство производится не отвлеченнымъ стремленіемъ къ прекрасному (идею прекраснаго), а совокупнымъ дѣйствіемъ всѣхъ силъ и способностей живаго человѣка. А такъ какъ, въ человѣческой жизни, потребности, напимѣръ, правды, любви и улучшенія *быта гораздо сильнѣе*, нежели стремленіе къ изящному, то искус-

ство не только всегда служить до нѣкоторой степени выраженіемъ этихъ потребностей (а не одной идеи прекраснаго), но почти всегда произведенія его (произведенія человѣческой жизни, этого нельзя забывать), создаются подъ преобладающими вліяніями потребностей правды (теоретической или практической), любви и улучшенія быта, такъ что стремленіе къ прекрасному, по натуральному закону человѣческаго дѣйствованія, является служителемъ этихъ и другихъ сильныхъ потребностей человѣческой натуры. Такъ всегда производились всѣ созданія искусства, замѣчательныя по своему достоинству. Стремленія, отвлеченныя отъ дѣйствительной жизни, безсильны; потому, если когда стремленіе къ прекрасному и усиливалось дѣйствовать отвлеченнымъ образомъ (разрывая свою связь съ другими стремленіями человѣческой природы), то не могло произвести ничего замѣчательнаго даже и въ художественномъ отношеніи. Исторія не знаетъ произведеній искусства, которыя были бы созданы исключительно идеею прекраснаго: если и бываютъ или бывали такія произведенія, то не обращаютъ на себя никакого вниманія современниковъ и забываются исторіею, какъ слишкомъ слабыя,—слабыя даже и въ художественномъ отношеніи.

Таковъ взглядъ положительной науки, почерпающей свои понятія изъ дѣйствительности. Отрывокъ, представляемый нами въ приложеніи, доказываетъ, что окончательный взглядъ Бѣлинскаго на искусство и литературу былъ совершенно таковъ. Онъ былъ уже совершенно чистъ отъ всякой фантастичности и отвлеченности.

Но мы видѣли, что сначала Бѣлинскій былъ страстнымъ послѣдователемъ гегелевой системы, сильную сторону которой составляетъ стремленіе къ дѣйствительности и положительности (чѣмъ преимущественно и очаровывала она Бѣлинскаго, какъ и всѣхъ сильныхъ людей тогдашняго молодаго поколѣнія въ Германіи и отчасти у насъ), а слабую сторону то, что это стремленіе остается неосуществленнымъ, такъ что почти все содержаніе системы отвлеченно и недѣйствительно. Вскорѣ послѣ переѣзда своего въ Петербургъ Бѣлинскій освободился отъ безусловнаго поклоненія Гегелю; но мысль и исполненіе, принципъ и выводъ слѣдствій—два различные фазиса, всегда отдѣленные другъ отъ друга долгимъ періодомъ развитія. Сказать: «я понимаю, что дѣйствительность, должна быть источникомъ и мѣриломъ нашихъ понятій», и *пересоздать всѣ свои понятія на основаніи дѣйствительности — дѣлѣ*

вещи, совершенно различныя. Вторая задача, быть может, еще важнѣе первой и достигается только посредствомъ продолжительнаго труда.

Въ петербургскихъ журналахъ Бѣлинскій дѣйствовалъ около восьми лѣтъ. Слѣдить за всѣми постепенностями и подробностями развитія его въ это время значило бы анализировать всѣ его статьи, — по крайней мѣрѣ, сто или полтораста важнѣйшихъ. Но и того еще недостаточно: нужно было бы прибѣгать къ помощи соображеній, которыя могутъ быть доставлены только подробною біографіею. А наши статьи приняли уже и безъ того объемъ, гораздо обширнѣйшій, нежели мы предполагали, начиная ихъ; собираніемъ біографическихъ свѣдѣній замедлилось бы ихъ окончаніе на неопредѣленное время; разсмотрѣніе всего написаннаго Бѣлинскимъ потребовало бы сотни и сотни страницъ. Потому мы только въ общихъ чертахъ обозначимъ главные два періода петербургской дѣятельности Бѣлинскаго: въ первой половинѣ, отвлеченный элементъ въ его статьяхъ еще довольно силенъ; во второй половинѣ онъ почти совершенно и подъ конецъ этой половины совершенно исчезаетъ, и система положительныхъ воззрѣній становится совершенно послѣдовательною. Матеріалы для характеристики перваго періода будутъ намъ доставлены обзорнѣмъ содержанія нѣсколькихъ статей Бѣлинскаго, написанныхъ въ первое время по приѣздѣ въ Петербургъ; подробное разсмотрѣніе послѣднихъ его статей послужитъ средствомъ сдѣлать, по возможности, полный очеркъ окончательныхъ его понятій о русской литературѣ; годовые обзоры русской литературы, являвшіяся постоянно съ 1841 года, и статьи о Пушкинѣ, которые писались въ продолженіе трехъ лѣтъ (1843—1846), будутъ соединительными звеньями между первымъ и вторымъ очеркомъ. Такимъ образомъ, мы, не опустивъ изъ виду важнѣйшихъ точекъ зрѣнія, окончимъ первую часть нашихъ «Очерковъ» до конца нынѣшняго дня.

Для первой книжки «Отечественныхъ Записокъ» 1840 года Бѣлинскій написалъ разборъ комедіи Грибоѣдова, около того времени вышедшей вторымъ изданіемъ. Статья эта принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ и блестящихъ. Она начинается изложеніемъ теоріи искусства, написаннымъ исключительно съ отвлеченной, ученой точки зрѣнія, хотя весь онъ проникнутъ стремленіемъ къ *дѣйствительности* и сильными нападеніями на фантазерство, пре-

зирающее дѣйствительность. Вотъ для примѣра отрывокъ, слѣдующій за объясненіемъ (совершенно еще въ духѣ Гегеля), что «произведенія поэзіи суть высочайшая дѣйствительность»:

„Есть люди, которые отъ всей души убѣждены, что поэзія есть мечта, а не дѣйствительность, и что въ нашъ вѣкъ, какъ *положительный и индустриальный*, поэзія невозможна. Образцовое невѣжество! нелѣпость первой величины! Что такое мечта? Призракъ, форма безъ содержанія, порожденіе разстроеннаго воображенія, праздною головою, колобродствующаго сердца! И *такая* мечтательность наша поэтовъ въ Ламартинахъ и свои поэтическія произведенія въ идеально-чувствительныхъ романахъ, въ родѣ „Аббадонны“; Но развѣ Ламартинъ поэтъ, а не мечта,—и развѣ „Аббадонна“ поэтическое произведение, а не мечта?... И что за жалкая, что за устарѣлая мысль о *положительности* и *индустриальности* нашего вѣка, будто бы враждебныхъ искусству? Развѣ не въ нашемъ вѣкѣ явились Байронъ, Вальтеръ Скоттъ, Куперъ, Томасъ Муръ, Уордсвортъ, Пушкинъ, Гоголь, Мицкевичъ, Гейне, Беранже, Эленшлегеръ, Тегнеръ и другіе? Развѣ не въ нашемъ вѣкѣ дѣйствовали Шиллеръ и Гёте? Развѣ не нашъ вѣкъ оцѣнилъ и повялъ созданія классическаго искусства и Шекспира? Неужели это еще не факты? Индустриальность есть только одна сторона многосторонняго XIX вѣка, и она не помѣшала ни дойти поэзіи до своего высочайшаго развитія въ лицѣ поименованныхъ нами поэтовъ, ни музыкѣ въ лицѣ ея Шекспира-Бетховена, ни философіи въ лицѣ Фихте, Шеллинга и Гегеля. Правда, нашъ вѣкъ врагъ мечты и мечтательности, но потому-то онъ и великій вѣкъ! Мечтательность въ XIX вѣкѣ такъ же смѣшна, пошла и приторна, какъ и сантиментальность. *Дѣйствительность*—вотъ пароль и лозунгъ нашего вѣка, дѣйствительность во всемъ—и въ вѣрованіяхъ, и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ жизни. Могучій, мужественный вѣкъ, онъ не терпитъ ничего ложнаго, поддѣльнаго, слабаго, расплывающагося, но любитъ одно мощное, крѣпкое, существенное. Онъ смѣло и безтрепетно выслушалъ безотрадныхъ пѣсни Байрона и, вмѣстѣ съ ихъ мрачнымъ пѣвцомъ, лучше рѣшился отречься отъ всякой радости и всякой надежды, нежели удовольствоваться нищенскими радостями и надеждами прошлаго вѣка. Онъ выдержалъ разсудочный критицизмъ Канта, разсудочное положеніе Фихте; онъ перестрадалъ съ Шиллеромъ всѣ болѣзни внутренняго, субъективнаго духа, порывающагося къ дѣйствительности путемъ отрицанія. И зато въ Шеллингѣ онъ увидѣлъ зарю безконечной дѣйствительности, которая въ ученіи Гегеля осіяла міръ роскошнымъ и великолѣпнымъ днемъ, и которая, еще прежде обоихъ великихъ мыслителей, непонятая, явившаяся непосредственно въ созданіяхъ Гете...“ („Отечественныя Записки“, томъ VIII. Критика, стр. 11—12).

Хотя и говорится въ этой статьѣ постоянно, что поэзія нашего времени есть «поэзія дѣйствительности, поэзія жизни»; но главною задачею новѣйшаго искусства поставляется, однако же, задача, совершенно отвлеченная отъ жизни: «примиреніе романтическаго съ

классическимъ», потому что и вообще нашъ вѣкъ есть «вѣкъ примиренія» во всѣхъ сферахъ. Самая дѣйствительность понимается еще одностороннимъ образомъ: она обнимаетъ собою только духовную жизнь человѣка, между тѣмъ, какъ вся матеріальная сторона жизни признается «призрачною»: «человѣкъ ѣсть, пьетъ, одѣвается—это міръ призраковъ; потому что въ этомъ нисколько не участвуетъ духъ его; человѣкъ «чувствуетъ, мыслитъ, сознаетъ себя органомъ, сосудомъ духа, конечною частностью общаго и безконечнаго—это міръ дѣйствительности»,—все это чистый гегелизмъ. Но въ объясненіе теоріи надобно дать примѣненіе ея къ произведеніямъ искусства; Бѣлинскій выбираетъ образцами истинно поэтическаго эпоса повѣсти Гоголя и потомъ подробно разбираетъ «Ревизора», какъ лучший образецъ художественнаго произведенія въ драматической формѣ. Этотъ разборъ занимаетъ большую половину статьи—около 30 страницъ. Видно, что Бѣлинскому нетерпѣливо хотѣлось говорить о Гоголѣ, и это одно уже служить достаточнымъ свидѣтельствомъ за направленіе, еще тогда преобладавшее въ немъ. Разборъ этотъ написанъ превосходно, и трудно найти что-нибудь лучше его въ своемъ родѣ. Но комедія Гоголя, которая такъ непреодолимо вызываетъ живыя мысли, разсматривается исключительно въ художественномъ отношеніи. Бѣлинскій объясняетъ, какъ одна сцена вытекаетъ изъ другой, почему каждая изъ нихъ необходима на своемъ мѣстѣ, показываетъ, что характеры дѣйствующихъ лицъ выдержаны, вѣрны самимъ себѣ, вполне обрисованы самимъ дѣйствіемъ безъ всякихъ натяжекъ со стороны Гоголя, что комедія полна живаго драматизма, и т. д. Объяснивъ примѣромъ «Ревизора» качества художественнаго произведенія, Бѣлинскій уже очень легко доказываетъ, что «Горе отъ ума» не можетъ быть названо художественнымъ созданіемъ, онъ обнаруживаетъ, что сцены этой комедіи часто не связаны одна съ другою, положенія и характеры дѣйствующихъ лицъ не выдержаны, и т. д.,—словомъ, критика опять ограничивается исключительно художественною точкою зрѣнія. На то, какое значеніе для жизни имѣетъ «Ревизоръ» и имѣло «Горе отъ ума», не обращено почти никакого вниманія.

Во второй книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» того же года помещенъ разборъ сочиненій Марлинскаго, надѣлавшій въ свое время

чрезвычайно много шуму. Онъ написанъ также исключительно съ художественной точки зрѣнія.

Точно также почти исключительно съ художественной точки зрѣнія разсматривается и «Герой нашего времени» Лермонтова (въ книжкахъ 7 и 8-й 1840 года). Бѣлинскій замѣчаетъ, что Печоринъ порожденъ отношеніями, въ которыхъ совершается развитіе его характера, что онъ дитя нашего общества; но этимъ сказаннымъ вскользь замѣчаніемъ и ограничивается онъ, не вдаваясь въ объясненіе вопроса о томъ, почему именно такой, а не другой типъ людей производится нашею дѣйствительностью. Онъ говоритъ только съ общей исторической точки зрѣнія, равно прилагающейся ко всякому европейскому обществу, о томъ, что Печорины принадлежатъ періоду рефлексіи, періоду внутренняго распадѣнія человѣка, когда гармонія, влагаемая въ человѣка природою, уже разрушена сознаниемъ, но сознание не достигло еще полной власти надъ жизнью, чтобы дать ей новое, разумное единство, новую, высшую гармонію. Бѣлинскій прекрасно понимаетъ характеръ Печорина, но только съ отвлеченной точки зрѣнія, какъ характеръ европейца вообще, дошедшаго до извѣстной поры духовнаго развитія, и не отыскиваетъ въ немъ особенностей, принадлежащихъ ему, какъ члену нашего русскаго общества. Вотъ важнѣйшее изъ того, что говоритъ онъ о Печоринѣ,—выписавъ то мѣсто изъ дневника Печорина, въ которомъ онъ размышляетъ о прелести обладанія молододою душою, о томъ, какое развлеченіе для его скуки и какую отраду для его гордости доставляютъ отношенія къ княжнѣ Мери, о томъ, что нужно же имѣть занятіе для силъ, требующихъ дѣятельности, Бѣлинскій восклицаетъ:

„Какой страшный человѣкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельность ищетъ пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка! „Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безнравственный человѣкъ!..“—хоромъ закричатъ, можетъ быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопочете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человѣку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростью: онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаемѣ не за пороки—въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе—но за тѣ смѣлую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о вамъ.

Вы позволяете человѣку дѣлать все, что ему угодно, быть всѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и развратъ, но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него *моральныхъ сентенцій* о томъ какъ долженъ человѣкъ думать и дѣйствовать, и какъ онъ въ самомъ дѣлѣ и не думаетъ и не дѣйствуетъ... И зато ваше инквизиторское ауто-да-фе готово для всякаго, кто имѣетъ благородную привычку смотрѣть дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатѣ, въ своей комнатѣ, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою, въ домашнемъ разчетѣ съ своею совѣстью. И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ неглиже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ и общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человѣку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чѣмъ самому себѣ кажется, и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человѣкѣ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нѣтъ; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человѣческое чувство возстаетъ на него. Ему другое назначеніе, другой путь, чѣмъ вамъ. Его страсти—бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они, острыя болѣзни въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бѣдные, такъ бесплодно страдаете. Пусть онъ клевететь на вѣчные законы разума, поставляя высшее счастье въ насыщенной гордости; пусть онъ клевететь на человѣческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клевететь на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смѣшная юность съ возмужалостію, — пусть!... Настанетъ торжественная минута, и противорѣчіе разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ". („Отеч. Зап.", томъ XI, Критика, стр. 9—10.)

Досказавъ содержаніе романа, онъ прибавляетъ:

„Большая часть читателей, навѣрное, воскликнетъ: „Хорошъ же герой!“—
А чѣмъ же онъ дурень?—смѣемъ васъ спросить.

Зачѣмъ же такъ неблагоприятно
Вы отзываетесь о немъ?
За то-ль, что мы неуговорно
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
Что пылкихъ думъ неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ,
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ,
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла.

Что глупость вѣтрена и зла,
 Что важнымъ людямъ важны вздоры,
 И что посредственность одна
 Намъ по плечу и не странна?

„Вы говорите противъ него, что въ немъ нѣтъ вѣры. Прекрасно! но вѣдь это то же самое, что обвинять нищаго за то, что у него нѣтъ золота: онъ бы и радъ имѣть его, да не дается оно ему. И, притомъ, развѣ Печоринъ радъ своему безвѣрью? развѣ онъ гордится имъ? развѣ онъ не страдалъ отъ него? развѣ онъ не готовъ цѣною жизни и счастья купить эту вѣру, для которой еще не настала чаша его?.. Вы говорите, что онъ эгоистъ?— Но развѣ онъ не презираетъ и не ненавидитъ себя за это? развѣ сердце его не жаждетъ любви чистой и безкорыстной? Нѣтъ, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ себя, но доволенъ собою, радъ себѣ. Эгоизмъ не знаетъ мученія: страданіе есть удѣлъ одной любви. Душа Печорина не каменная почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлитъ ее страданіе и ороситъ благодатный дождь,—и она произраститъ изъ себя пышные роскошные цвѣты небесной любви... Этому человѣку стало больно и грустно, что его всѣ не любятъ,—и кто же эти „всѣ?“—пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушить въ себѣ ложный стыдъ, голосъ свѣтской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветѣ готовъ былъ простить Грушницкому, человѣку, сейчасъ только выстрѣлившему въ него пулю и безстыдно ожидающему отъ него холостого выстрѣла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи, у тѣла издохшаго коня?—нѣтъ, все это не эгоизмъ? Но его — скажете вы—холодная разчетливость, систематическая разсчитанность, съ которою онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмѣяться надъ нею и чѣмъ-нибудь занять свою праздность?—Такъ; но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставять его образцомъ и высокимъ идеаломъ чистѣйшей нравственности: мы только хотимъ сказать, что въ человѣкѣ должно видѣть человѣка и что идеалы нравственности существуютъ въ однихъ классическихъ трагедіяхъ и морально-сантиментальныхъ романахъ прошлаго вѣка. Судя о человѣкѣ, должно брать въ разсмотрѣніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отношеніяхъ, дурное настоящее обѣщаетъ прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ парохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою?—и хотите потомъ стричать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушаетъ, какъ зерно жорновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значить-ли это противорѣчить самимъ себѣ? опасность отъ парохода есть результатъ его чрезырной быстроты; слѣдовательно, порокъ его выходитъ изъ его достоинства“. („Отечественныя Записки“, томъ XI, Критика, стр. 33—34).

Точка зрѣнія все еще слишкомъ отвлеченна; она вполне прилагается къ русской жизни, но только ровно на столько же, на-

сколько не болѣе, какъ и къ англійской, французской и т. д. жизни. Но уже одни эти мѣста могли бы служить достаточнымъ ручательствомъ, что Бѣлинскій никогда не любилъ останавливаться на половинѣ пути, изъ боязни, что съ развитіемъ соединены свои опасности, какъ соединены онѣ со всѣми вещами на свѣтѣ: все-таки эти опасности, по его мнѣнію, вовсе не такъ страшны, какъ та нравственная порча, которая бываетъ необходимымъ слѣдствіемъ неподвижности; притомъ же, онѣ съ неизмѣримымъ избыткомъ вознаграждаются положительными благами, какія даетъ развитіе.

Точка зрѣнія, съ которой Бѣлинскій разсматривалъ въ 1840 году произведенія нашей поэзіи, должна, какъ видимъ, назваться отвлеченною. Но мы ошиблись бы, если бы вывели изъ этого заключеніе, что заботы объ отношеніяхъ литературы къ обществу не преобладали уже и тогда въ Бѣлинскомъ. Въ третьей книги «Отечественныхъ Записокъ» того же года онъ посвящаетъ большую критическую статью разбору двухъ дѣтскихъ книгъ: съ жаромъ онъ объясняетъ, каково должно быть истинное воспитаніе, обличаетъ результаты неразумнаго воспитанія, какое обыкновенно дается дѣтямъ и показываетъ, какъ велики обязанности родителей въ отношеніи къ дѣтямъ. Не надобно говорить, что все это проникнуто самыми гуманными и плодотворными для нашей жизни понятіями. Вотъ отрывокъ, по которому можно судить о тонѣ и содержаніи статьи:

„Воспитаніе! Оно вездѣ, куда ни посмотри, и его нѣтъ нигдѣ, куда ни посмотрите. Конечно, вы его можете увидѣть даже во всѣхъ слояхъ общества, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, но какъ рѣдкость, какъ исключеніе изъ общаго правила. Отчего же это? Да оттого, что на свѣтѣ бездна родителей, множество парас et пашанс, но мало отцовъ и матерей. „Вотъ прекрасно!“—восклицаете вы: „какая же разница между родителями и отцомъ и матерью?“—Какъ какая?—взгляните лѣтомъ на мухъ: какая бездна родителей, но гдѣ же отцы и матери? Грибоѣдовъ давно уже сказалъ:

Чтобъ имѣть дѣтей,
Кому ума не доставало!

„Право рожденія—священное право на священное имя отца и матери — противъ этого никто и не спорить; но не этимъ еще все оканчивается: тутъ человѣкъ еще не выше животнаго; есть высшее право — родительской любви. „Да какой же отецъ или какая мать не любитъ своихъ дѣтей!“—говорите вы. *Такъ; но позвольте васъ спросить, что вы называете любовью? какъ вы понимаете любовь?—Вѣдь и овца любитъ своего агненка: она кормитъ его своимъ*

молокомъ и облизываетъ языкомъ; но какъ скоро онъ мѣняетъ ея молоко на злакъ полей—ихъ родственныя отношенія оканчиваются. Вѣдь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она нещадно была по щекамъ старую Еремѣвну и за то, что дитя много кушало, и за то, что дитя мало кушало; она любила его такъ, что если бы онъ вздумалъ ее бить по щекамъ, она стала бы горько плакать, что милое, ненаглядное дѣтище только обколотить объ нее свои ручки. Итакъ, развѣ чувство овцы, которая кормитъ своимъ молокомъ ягненка, чувство г-жи Простаковой, которая, бывъ и овцою и коровою, готова еще сдѣлаться и лошадкою, чтобы возить въ колясочкѣ свое двадцатилѣтнее дитя,—развѣ все это не любовь?—Да, любовь, но какая?—любовь чувственная, животная, которая въ овцѣ, какъ въ животномъ, отличающемся и животною фигурою, имѣетъ свою истинную, разумную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая въ г-жѣ Простаковой, какъ въ животномъ, отличающемся человѣческою фигурою, вмѣсто овечьей, — безмысленна, безобразна и отвратительна. Далѣе: вѣдь и Павелъ Аеонасьевичъ Фамусовъ любилъ свою дочь, Софью Павловну: посмотрите, какъ онъ хлопочетъ, чтобы выгоднѣе сбрыз ее съ рукъ, подороже продать... Продать?—какое ужасное слово!.. отецъ продаетъ свою дочь, торгуетъ ею, конечно, не по мелочи, но одинъ разъ навсегда, и не больше, какъ для одного человѣка, который будетъ называться ея мужемъ!.. Но вѣдь это онъ дѣлаетъ не для себя, а для ея же счастья?—скажутъ многіе. Прекрасно! Но послѣ этого и разбойникъ, который для приданого дочери зарѣжетъ передъ ея свадьбою нѣсколькихъ человѣкъ, будетъ правъ, потому что сдѣлаетъ это изъ любви къ дочери?... Послѣ этого и иная матушка, которая, не желая видѣть въ нищетѣ свою нѣжно любимую дочь, научитъ или принудитъ ее сдѣлать выгодный промыселъ изъ своей красоты,—тоже будетъ правъ, потому что поступитъ такъ изъ любви къ дочери?... И развѣ этого не бываетъ въ самомъ дѣлѣ? Развѣ старый подъячій, закоренѣвшій въ лихоимствѣ и казнокрадствѣ, не поставлялъ первымъ и священнымъ долгомъ своего родительскаго званія передать свое подлое ремесло нѣжно любимому сынку? Мы опять соглашаемся, что источникъ всего этого любовь, но *какая*—вотъ вопросъ! („Отечественныя Записки“, томъ IX, Критика, стр. 4—5)

Вся статья о дѣтскихъ книгахъ имѣетъ самое живое отношеніе къ нашей дѣйствительности. И такихъ статей найдется у Бѣлинскаго очень много уже и въ то время.

Нѣтъ надобности говорить, что и взглядъ Бѣлинскаго въ 1840 году на произведенія беллетристики и поэзіи мы называемъ отвлеченнымъ только по сравненію съ тѣмъ, что дано было намъ его послѣдующимъ развитіемъ. Если же сравнимъ его тогдашнія статьи съ предшествовавшей ему критикою, то найдемъ, что до того времени никто еще не проникался элементами нашей дѣйствительности такъ глубоко и живо, какъ и въ то время была уже проникнута ими критика Бѣлинскаго. Если онъ еще не останавливался исклю-

тельно на фактахъ, свойственныхъ именно нашему, а не какомунибудь другому быту, то постоянно онъ касался ихъ и на каждой страницѣ затрогивалъ частные вопросы нашей жизни. Доказательства тому постоянно встрѣчаются даже въ сдѣланныхъ нами выпискахъ, которыя приводятся у насъ въ примѣръ отвлеченности. Укажемъ, для примѣра, и на то, что, желая показать подробнымъ разборомъ качества художественнаго произведенія, Бѣлинскій выбираетъ не драму Шекспира, какъ сдѣлалъ бы всякій другой на его мѣстѣ, а комедію русскаго писателя. Изъ этого одного уже ясно было бы, что явленія нашей жизни занимаютъ его болѣе, нежели что бы то ни было другое. Но — и это главное — не будемъ сами судить отвлеченнымъ образомъ, а сообразимъ положеніе нашей литературы и публики въ то время, когда Бѣлинскій началъ писать въ «Отечественныхъ Запискахъ»; мы должны будемъ признаться, что вопросы, которые для настоящаго времени представляются отвлеченными, тогда были дѣйствительными и живыми, какъ и теперь для русской публики самый живой и важный интересъ имѣютъ еще вопросы, которые въ другихъ странахъ давно уже считаются или отвлеченными, или мелкими, напримѣръ, хотя бы литературные вопросы, за которыми всѣ мы слѣдимъ съ такимъ живымъ интересомъ, и которые у другихъ народовъ не имѣютъ силы возбуждать такого напряженнаго участія. Въ каждой странѣ, у cadaго времени свои интересы. Мы, напримѣръ, радуемся, и справедливо радуемся, тому, что наши молодые люди, избирающіе ученое поприще, снова начинаютъ посѣщать Европу для довершенія своего образованія—явленіе, напоминающее времена Петра Великаго; а французамъ, англичанамъ ровно нѣтъ никакого дѣла до того, ѣздить ли за границу ихъ молодые ученые, или не ѣздить. Правда, у нихъ число такихъ путешественниковъ во сто разъ больше, нежели у насъ, — и, однако же, это нисколько не обращаетъ на себя ихъ вниманія. Мы, напримѣръ, восхищаемся и получаемся «Горемъ отъ ума», «Ревизоромъ», «Мертвыми Душами», какъ произведеніями, въ которыхъ очень полно и вѣрно отразилась наша жизнь; а французы, англичане, нѣмцы о произведеніяхъ своей литературы, въ которыхъ жизнь общества была бы воспроизведена въ тѣхъ границахъ, какъ въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ Душахъ», сказали бы, что они отражаютъ жизнь очень неполно и отрывочно, — они сказали бы даже, что это произведенія очень отвлеченныя отъ

жизни: вѣдь находятъ же нѣмцы, что «Коварство и Любовь» Шиллера произведеніе довольно отвлеченное, а въ немъ нѣмецкая жизнь изображена полнѣе, нежели русская у Гоголя и Грибоѣдова *). О французяхъ и англичанахъ мы уже не говоримъ. Для нихъ поэтическія произведенія имѣютъ нынѣ вообще меньше живаго значенія, нежели для нѣмцевъ.

Потребность стать по своимъ понятіямъ въ уровень съ образованною Европою и теперь у насъ составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ жизни. Тѣмъ живѣе была она пятнадцать лѣтъ тому назадъ. Нынѣ романъ Диккенса или Теккерея далеко не возбуждаетъ того интереса у насъ, какой бы возбуждалъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ. Нынѣ, вѣроятно, никто не въ состояніи былъ бы осилить «Витторію Аккоромбону» Тика,—а пятнадцать лѣтъ тому назадъ и этотъ романъ казался живымъ и интереснымъ чтеніемъ. Переворотъ этотъ произведенъ Гоголемъ, Бѣлинскимъ и писателями, образовавшимися подъ ихъ вліяніемъ. Но само собою разумѣется что начало не бываетъ подобно концу, и Бѣлинскій долженъ былъ необходимо начать съ того, чтобы знакомить нашу публику и литературу съ современными понятіями объ искусствѣ; долженъ былъ начать съ того, чтобы толковать, что такое «художественное произведеніе», въ чемъ состоятъ истинныя достоинства романа, драмы, и т. д., и т. д.,—вѣдь въ то время, какъ онъ началъ писать въ «Отечественныхъ Запискахъ», публика еще и не слыхивала объ этихъ вещахъ. «Телескопъ» читался мало; и, притомъ, въ немъ все еще было спутано въ самомъ поэтическомъ безпорядкѣ: современныя понятія съ отсталыми, восторженныя похвалы Гоголю со статьями г. А. Хиджеу о малороссійскомъ философѣ Сквородѣ. «Московского Наблюдателя» не читалъ почти никто, по словамъ самого Бѣлинскаго. Для исторіи литературы эти журналы являются предшественниками «Отечественныхъ Записокъ»; но для публики «Отечественныя Записки» были первымъ журналомъ, заговорившимъ о вещахъ, до того времени неслыханныхъ: о прекрасномъ, объ идеѣ, о различіи разумнаго и непосредственнаго существованія, о дѣйствительности въ поэзіи, и т. д., и т. д.

*) Читатели видятъ, конечно, что мы говоримъ единственно о полнотѣ, а не о художественныхъ совершенствахъ воспроизведенія жизни. Быть можетъ, по формѣ «Ревизоръ» живѣе, нежели «Коварство и Любовь»: объ этомъ каждый можетъ думать, какъ ему угодно.

Бѣлинскій по необходимости долженъ былъ начать дѣло съ самаго начала—съ потопа и раздѣленія языкъ, съ объясненія того, что называется литературою, что такое называется поэтомъ, съ подробныхъ разсужденій о томъ, чѣмъ литературное произведеніе отличается отъ нелѣпой сказки или вздорнаго пустословія: все это намъ нужно еще было узнать, все это возбуждало сомнѣнія и недоумѣнія, все приводило однихъ читателей въ восторгъ, другихъ въ гнѣвъ; эти разсужденія, кажущіяся нынѣ отвлеченными, были въ то время самою живою, насущною потребностью публики. Но да не возгордимся мы своими успѣхами: гордость пагубный грѣхъ подумаемъ лучше о томъ, какими вопросами до сихъ поръ мы сами интересуемся, будто важнѣйшими и живѣйшими: вѣдь книжка журнала составляетъ для самыхъ живыхъ изъ насъ самое живое явленіе—да и то хорошо, потому что для многихъ изъ насъ чуть ли не интереснѣйшая въ газетахъ статья—номенклатура новыхъ коллегскихъ и надворныхъ совѣтниковъ—да и то хорошо: все-таки привыкаютъ къ печатной грамотѣ, все таки убѣждаются, что типографскій станокъ хотя для чего нибудь нуженъ.

Бѣлинскій долженъ былъ начать свое дѣло съ самаго начала, какъ начиналъ свое дѣло Ломоносовъ—съ разсужденій о томъ, что называется стихотворнымъ размѣромъ и каковъ долженъ быть стихотворный размѣръ; онъ долженъ былъ прежде всего объяснить намъ, что такое литература, что такое критика, что такое журналъ, что такое поэзія и т. д.—Спору нѣтъ, что азбука—вещь отвлеченная: живаго смысла еще нѣтъ въ ея буквахъ; но для того, кто еще не знаетъ ихъ, настоятельнѣйшая потребность состоитъ въ ихъ изученіи, и оно составляетъ самый живой и дѣйствительный вопросъ его жизни. Такъ, для нашей публики было чрезвычайно хорошо то, что Бѣлинскій началъ свои критическіе разборы въ «Отечественныхъ Запискахъ» не прямо съ полного погруженія въ нашу дѣйствительность, а съ общихъ разсужденій, которыя по сравненію съ характеромъ его послѣдующихъ статей могутъ назваться отвлеченными, но могутъ назваться такимъ именемъ также только по отвлеченному понятію о качествахъ критики вообще, а не по соображенію дѣйствительныхъ обстоятельствъ, которыя, напротивъ, придавали имъ самое живое значеніе. Стоять только припомнить, *какое сильное и живое дѣйствіе* производили они на публику и

литературу, и мы убѣдимся, что именно то было нужно, что дѣлалъ онъ.

Да и для самой критики Бѣлинскаго нужно было, чтобы она довольно долго сосредоточивала свое вниманіе на теоретическихъ вопросахъ: именно тѣмъ, что непоколебимо утвердилась въ общечеловѣческихъ понятіяхъ, она приобрѣла силу пронизательно и вѣрно смотрѣть на явленія нашей дѣйствительности. Въ одной изъ послѣднихъ своихъ статей Бѣлинскій отвѣчаетъ на вопросъ, возбужденный исключительными поклонниками нашей народной поэзіи: не лучше ли было бы для нашей литературы, еслибъ она началась прямо въ духѣ народности, а не была сначала простымъ отраженіемъ западной европейской поэзіи? Не лучше ли было бы, еслибъ Ломоносовъ, вмѣсто того, чтобы изучать оды Гюнтера, изучалъ наши народныя пѣсни? Изъ этого не произошло бы ровно никакихъ послѣдствій, не только полезныхъ, но и ровно никакихъ. Въ томъ именно и состоитъ заслуга Ломоносова, что онъ познакомилъ насъ съ литературою; а еслибъ онъ вздумалъ писать въ духѣ народныхъ пѣсенъ (кромѣ того, что это было для него чистою невозможностью), онъ не далъ бы намъ ровно ничего новаго и интереснаго, и его произведенія остались бы такъ же чужды историческому развитію нашей литературы, какъ пѣсни сибирскихъ казаковъ о битвахъ съ силами богдойскими (богдыханскими), сочиненныя въ духѣ пѣсенъ о Владимірѣ: онъ ровно ничего къ нимъ не прибавили и ни на шагъ не подвинули нашего развитія. Только потому и могъ впослѣдствіи Лермонтовъ написать пѣсню о купцѣ Калашниковѣ, что Ломоносовъ писалъ оды въ родѣ Гюнтера, Карамзинъ повѣсти въ родѣ Мармонтеля, Пушкинъ поэмы въ родѣ Байрона. Конецъ именно потому и конецъ, что онъ не похожъ на начало, — стало быть, начало должно же отличаться отъ конца, — иначе не было бы ни цѣлей, ни стремленій, ни исторіи *).

*) Но какимъ же чудомъ—спросятъ насъ—вышнее, абстрактное существованіе чужаго и искусственное перенесеніе его на родную почву,—какимъ чудомъ могло породить оно живой, органическій плодъ?—Въ отвѣтъ на это скажемъ: рѣшеніе этого вопроса, безъ сомнѣнія, интересно; но намъ нѣтъ дѣла до него: для насъ довольно сказать, что такъ, именно такъ было, что это историческій фактъ, достовѣрности котораго не можетъ и подумать опровергать тотъ, у кого есть глаза, чтобы видѣть, и уши, чтобы слышать. *Писатели, въ которыхъ выразилось прогрессивное движеніе черезъ освобожденіе*

Въ критикѣ Бѣлинскаго какъ бы повторилась вся исторія русской литературы. Полевой, Надеждинъ были представителями каждый только одного фазиса развитія. Критика Бѣлинскаго прошла, какъ мы видимъ, нѣсколько фазисовъ, и, начавъ съ отвлеченныхъ понятій, доведенныхъ до крайности встѣдствие споровъ съ друзьями г. Огарева, она достигла совершенной положительности. Если сравнить статью объ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія», напечатанную Бѣлинскимъ въ послѣдней книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, съ статью о «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями», напечатанною во 2-ой книжкѣ «Современника» за 1847

литературы русской от Ломоносовскаго влiянiя, нисколько не думали объ этомъ; это дѣлалось у нихъ безсознательно; за нихъ работалъ духъ времени, котораго они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, какъ поэта, благоговѣли передъ его гениемъ, старались подражать ему—и все-таки больше и больше отходили отъ него. Разительный примѣръ этого — Державинъ. Но въ томъ-то и состоитъ живенность европейскаго начала, привитаго къ нашей народности Петромъ Великимъ, что оно не коснѣетъ въ мертвой стоячести, но движется, идетъ впередъ, развивается. Если бы Ломоносовъ не вдумалъ писать одъ по образцу современныхъ ему нѣмецкихъ поэтовъ и французскаго лирика Жакъ-Ватиста Руссо, не вдумалъ писать своей «Петриады» по образцу виргилиевой «Энеиды», гдѣ, вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ, героемъ своей поэмы, сдѣлалъ дѣйствующимъ лицомъ и Нептуна, засадивъ его съ тритонами и наядами на дно прохладнаго Бѣлаго моря; если бы, говоримъ мы, вмѣсто всѣхъ этихъ кѣжжнихъ, школярныхъ несообразностей, онъ обратился бы къ источникамъ нашей народной поэзи—къ «Слову о Полку Игоревомъ», къ русскимъ сказкамъ (извѣстнымъ теперь по сборнику Кирши Данилова), къ народнымъ пѣснямъ, и, вдохновленный, проникнутый ими, на ихъ чисто народномъ основанiи, рѣшился бы построить вданiе новой русской литературы: что бы тогда вышло?—Вопросъ, повидимому, важный, но въ сущности препустой, похожiй на вопросы въ родѣ слѣдующихъ: что было бы, если бы Петръ Великiй родился во Францiи, а Наполеонъ—въ Россiи, или: что было бы, если бы за зимою слѣдовала не весна, а прямо лѣто? и т. п. Мы можемъ знать, что было и что есть, но какъ намъ знать, чего не было, или чего нѣтъ? Разумѣется, и въ сферѣ исторiи все мелкое, ничтожное, случайное могло бѣ быть и не такъ, какъ было; но ея великiя событiя, имѣющiя влiянiе на будущность народовъ, не могутъ быть иначе, какъ именно такъ, какъ они бывають, разумѣется, въ отношенiи къ главному ихъ смыслу, а не къ подробностямъ проявленiя. Петръ Великiй могъ построить Петербургъ, пожалуй, тамъ, гдѣ теперь Шлиссельбургъ, или по крайней мѣрѣ, хоть немного выше, т. е. дальше отъ моря, чѣмъ теперь; *могъ сдѣлать новою столицей Ревель или Ригу; во всемъ этомъ играла большую роль случайность, равныя обстоятельства, но сущность дѣла была не*

годъ, насъ удивить безмѣрное разстояніе, отдаляющее первую отъ послѣдней: мы не найдемъ между ними ничего общаго, кромѣ того, что обѣ написаны съ жаромъ залушевнаго убѣжденія, и написаны человѣкомъ очень даровитымъ; но духъ и все содержаніе одной совершенно противоположны духу другой, какъ «Пѣсня о Калашниковѣ» составляетъ совершенную противоположность «Одѣ на взятіе Хотина»; но какъ между Ломоносовымъ и Лермонтовымъ найдется связь, если мы будемъ изучать писателей, бывшихъ имъ посредниками: нѣтъ нигдѣ перерыва или пробѣла, всякій новый шагъ впередъ основывается на предъидущемъ, такъ и критика Бѣлинскаго развивалась совершенно послѣдовательно и постепенно: статья объ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія» противоположна статьѣ о «Выбранныхъ мѣстахъ», потому что онѣ составляютъ двѣ крайнія точки пути, пройденнаго критикою Бѣлинскаго; но если мы будемъ перечитывать его статьи въ хронологическомъ порядкѣ, мы нигдѣ не замѣтимъ крутаго перелома или перерыва: каждая послѣдующая статья очень тѣсно примыкаетъ къ предъидущей, и прогрессъ совершается, при всей своей огромности, постепенно и совершенно логически *).

въ томъ, а въ необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы намъ средство легко и удобно сноситься съ Европою. Въ этой мысли уже не было ничего случайнаго, ничего таковаго, что могло бы равно и быть и не быть, или быть иначе, нежели какъ было. Но для тѣхъ, для кого не существуетъ разумной необходимости великихъ историческихъ событій, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, еслибъ Ломоносовъ основалъ новую русскую литературу на народномъ началѣ?—и отвѣтимъ имъ, что изъ этого ровно ничего не вышло бы. Однообразныя формы нашей народной повѣи были достаточны для выраженія ограниченнаго содержанія племенной, естественной, непосредственной, полупатріархальной жизни старой Руси; но новое содержаніе не шло къ нимъ, не улегалось въ нихъ; для него необходимы были и новыя формы. Тогда опасеніе наше зависѣло не отъ народности, а отъ европеизма; ради нашего спасенія, тогда необходимо было не задушить, не истребить (дѣло или невозможное, или гибельное, если возможно) нашу народность, а, такъ сказать, задержать на время ея ходъ и развитіе, чтобы привить къ ея почвѣ новыя элементы. Пока эти элементы относились къ нашимъ роднымъ, какъ масло къ водѣ, у насъ, естественно, все было риторикою: и нравы и—ихъ выраженіе—литература. Но тутъ было живое начало органическаго сращенія, черезъ процессъ усвоиванія, и потому литература отъ абстрактнаго начала мертвой подражательности двигалась все къ живому началу самобытности».—(«Соврем.» 1847 г., № 1, стр. 7—9).

*) «Чужое, явивъ взятое содержаніе никогда не можетъ замѣнять, ни

Годичные обзоры русской литературы, которые постоянно дѣлалъ Бѣлинскій, могутъ служить для насъ соединительными звеньями между первыми статьями и статьями, выразившими зрѣлыя и окончательныя его убѣжденія.

Обозрѣніе за 1840 годъ («Отеч. Зап.» 1841 г., № 1) начинается размышленіемъ о чрезвычайной бѣдности нашей литературы — мысль, которою внушена была первая изъ большихъ статей Бѣлинскаго—«Литературныя Мечтанія», напечатанная въ «Молвѣ». Но сознание этой бѣдности уже не вселяетъ въ Бѣлинскаго безнадежности: сознание недостатка есть уже залогъ его исправленія. Бѣлинскій вспоминаетъ о томъ, какъ «лѣтъ шесть тому назадъ» было высказано сомнѣніе въ существованіи русской литературы, и, кратко пересказавъ содержаніе своихъ «Литературныхъ Мечтаній» (что и было нужно, потому что статья оставалась мало извѣстна, а въ исторіи развитія понятій о литературѣ была очень важнымъ фактомъ), останавливается на объясненіи того, что называется литературою, и доходитъ до заключенія, что у насъ есть только начало литературы. Для существованія литературы необходима публика. Онъ опять объясняетъ, что такое публика: это масса людей развитыхъ, сильно сочувствующихъ литературѣ, которая вы-

въ литературѣ, ни въ жизни, отсутствія своего собственнаго, національнаго содержанія; но оно можетъ переродиться въ него современемъ, какъ пища, извнѣ принимаемая человѣкомъ, перерождается въ его кровь и плоть и подерживаетъ въ немъ силу, здоровье и жизнь. Не будемъ распространяться, какимъ образомъ это сдѣлалось съ Россіею, созданною Петромъ, и русскою литературою, созданною Ломоносовымъ; но что это дѣйствительно сдѣлалось и дѣлается съ ними—это историческій фактъ, истина фактически-очевидная. Сравните басни Крылова, комедію Грибоѣдова, произведенія Пушкина, Лермонтова и, въ особенности, Гоголя,—сравните ихъ съ произведеніями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общаго, никакой связи. Между писателями, которыхъ мы поименовали выше, и между Ломоносовымъ и его школою, дѣйствительно, нѣтъ ничего общаго, никакой связи, если сравнить ихъ, какъ двѣ крайности; но между ними сейчасъ же явится передъ вами живая кровная связь, какъ скоро вы будете изучать, въ хронологическомъ порядкѣ, всѣхъ русскихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движеніе русской литературы заключалось въ стремленіи, хотя и безсознательномъ освободиться отъ вліянія Ломоносова и сблизиться съ жизнію, съ дѣйствительностію, слѣдовательно, сдѣлаться самобытною, національною русскою».— («Соврем.» 1847, № 1, *Крит.*, стр. 3—4).

ражаетъ ихъ твердыя убѣжденія. У насъ нѣтъ еще и такой публики, но есть уже начало ея въ немногочисленныхъ образованныхъ людяхъ, которые разсѣяны по Россіи; теперь они еще заслоняются массою людей неразвитыхъ, но скоро ихъ голосъ пріобрѣтетъ уваженіе въ толпѣ, число ихъ увеличится. Далѣе онъ объясняетъ, что такое критика и почему критика «Отеч. Записокъ» возбуждаетъ недоумѣніе другихъ журналовъ, которые, впрочемъ, мало похожи на журналы. Развитіе этихъ элементарныхъ понятій занимаетъ почти всю статью; въ концѣ ея, не болѣе пяти страницъ удѣлены перечисленію замѣчательныхъ произведеній прошедшаго года.

Въ слѣдующемъ годичномъ обзорѣ (1841 года. «Отеч. Зап.» за 1842 г., № 1) двѣ трети страницъ посвящены обширному очерку исторіи русской литературы отъ Кантамира до Гоголя. Очеркъ этотъ имѣетъ форму разговора г. А. и г. В.; г. А., выражающій мнѣнія автора, говоритъ много новаго сравнительно съ «Литературными Мечтаніями». Бѣлинскій уже видитъ внутреннюю историческую послѣдовательность въ явленіяхъ нашей литературы; но все-таки содержаніе очерка имѣетъ очень тѣсное родство съ «Литературными Мечтаніями», и общая тема выражается эпиграфомъ, взятымъ изъ Пушкина:

Сокровища роднаго слова,
 (Замѣтать важные умы)
 Для лепетанія чужаго,
 Пренебрегли безумно мы,
 Мы любимъ музъ чужихъ игрушки,
 Чужихъ нарѣчій погремушки,
 А не читаемъ книгъ своихъ.
 — *Да идъ жь отъ? Давайте ихъ!*

Съ обзоромъ предъидущаго года очеркъ этотъ имѣетъ еще болѣе близости, такъ что можетъ назваться подробнымъ развитіемъ нѣкоторыхъ страницъ его, которыя кратко исчисляли прежнихъ нашихъ писателей, и заключеніе очерка совершенно могло бы быть заключеніемъ и прошлогодней статьи:

„Вы говорите, что я нашелъ въ нашей литературѣ даже внутреннюю историческую послѣдовательность: правда, но все это еще не составляетъ литературы въ полномъ смыслѣ слова. Литература есть народное сознаніе, выраженіе

внутренних, духовных интересов общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Нѣсколько человѣкъ еще не составляет общества, а нѣсколько идей приобретенных знакомствомъ съ Европою, еще менѣе можетъ назваться національнымъ сознаниемъ. Наша публика безъ литературы: потому что въ годъ пять-шесть хорошихъ сочиненій на нѣсколько сотенъ дурныхъ—еще не литература; наша литература безъ публики, потому что наша публика что-то загадочное: одинъ читалъ Пушкина, другой въ восторгѣ отъ г. Бенедиктова, а третій былъ безъ ума отъ мистерій г. Тимофѣева; одинъ понимаетъ Гоголя, другой еще въ полномъ удовольствіи отъ Марлинскаго, а третій не знаетъ ничего лучше романовъ гг. Зотова и Воскресенскаго... Театральные судьи равно хлопаютъ и „Гамлету“, и водевилямъ г. Коровкина, и „Парашъ“ г. Полеваго И не думайте, чтобъ это были люди разныхъ сферъ и классовъ общества,—нѣтъ, они всѣ перемѣшаны и перетасованы, какъ колода картъ... Историческій ходъ свой наша литература совершила въ самой же себѣ: ея настоящею публикою былъ самъ пишущій классъ, и только самыя великія явленія въ литературѣ находили болѣе или менѣе разумный откликъ во всей массѣ грамотнаго общества... Но будемъ смотрѣть на литературу просто какъ на постоянный предметъ занятія публики, слѣдовательно, какъ на непрерывный рядъ литературныхъ новостей: что жъ это за литература! Да занимайте вы десять должностей, утопайте въ практической дѣятельности, а на чтеніе посвятите время между обѣдомъ и кофе,—и тогда не на одинъ день останетесь вы безъ чтенія. Въ журналахъ все—переводы, а оригинальнаго развѣ три-четыре порядочныя повѣсти въ годъ, да нѣсколько стихотвореній, да книгъ съ подложныи, включая сюда и ученыя—вотъ и все. Тогда, читая въ журналахъ статьи о процвѣтаніи русской литературы, по неволѣ восклицаете, протязно зѣвая: „Да гдѣ жъ онѣ?—давайте ихъ!“ (Отеч. Зап.“ 1842 г. № 1. Крит., стр. 37—38).

Но надежды на будущее высказываются рѣшительнѣе, нежели въ прошлогоднемъ году:

„Въ нашей грустной эпохѣ много утѣшительнаго. Пора дѣтскихъ очарованій теперь миновалась безъ возврата и если теперь огромные авторитеты составляются иногда въ одинъ день, за то они часто и пропадаютъ безъ вѣсти на слѣдующій же день... Теперь очень трудно стало прослыть за человѣка съ дарованіемъ: такъ много писано во всѣхъ родахъ, столько было опытовъ и попытокъ, удачныхъ и неудачныхъ, во всѣхъ родахъ, что, дѣйствительно, надо что нибудь получить отъ природы, чтобъ обратитъ на себя общее вниманіе... Пушкинъ и Гоголь дали намъ такіе критеріумы для сужденія объ изящномъ, съ которыми трудно отъ чего нибудь разъахаться... Хорошую сторону современной литературы составляетъ и обращеніе ея къ жизни, къ дѣйствительности: теперь уже всякое, даже посредственное, дарованіе силится изображать и описывать не то, что приснится ему во снѣ, а то, что есть или бываетъ въ обществѣ, въ дѣйствительности. Такое направленіе много обѣщаетъ въ будущемъ. Но современная литература теряетъ оттого, что у ней нѣтъ головы; даже яркіе таланты поставлены въ какое то неловкое положеніе: ни одинъ изъ нихъ не можетъ стать первымъ и по необходимости терается въ числѣ,

какъ бы оно ни было. Гоголь давно ничего не печатаетъ; Лермонтова уже нѣтъ“.

Произведеніямъ минувшаго года посвящено въ три или четыре раза болѣе мѣста, нежели въ прошлый разъ. Журналы оцѣниваются подробно; тонъ, которымъ говорится о нихъ, гораздо живѣе, нежели прежде: тогда БѢлинскій въ общихъ чертахъ излагалъ свои понятія о недостаткахъ русской журналистики вообще, теперь касается частныхъ достоинствъ и недостатковъ каждаго журнала. О многихъ изъ вышедшихъ въ прошломъ году сочиненіяхъ говорится уже довольно подробно.

Изложивъ въ первыхъ двухъ отчетахъ свой общій взглядъ на русскую литературу, въ третьемъ, за 1842 годъ, («Отечественныя Записки» 1843 г., № 1) БѢлинскій подробно говоритъ о русской критикѣ и почти исключительно занимается послѣднимъ (стало быть, имѣющимъ наиболѣе живаго интереса) періодомъ ея—романтической критикою. До какой степени понятія его близки къ тѣмъ, которыя выражалъ онъ въ предъидущемъ году, можно убѣдиться, сличивъ съ послѣднею изъ приведенныхъ нами выписокъ слѣдующее мѣсто изъ третьяго отчета, заключающее въ себѣ характеристику новой литературы сравнительно съ литературою романтической эпохи:

„Послѣдній періодъ русской литературы, періодъ прозаическій, рѣзко отличается отъ романтическаго какою-то мужественною зрѣlostію. Если хотите, онъ не богатъ числомъ произведеній, но зато все, что явилось въ немъ посредственнаго и обыкновеннаго, все это или не пользовалось никакимъ успѣхомъ, или имѣло только успѣхъ мгновенный; а все то небольшое, что выходило изъ ряда обыкновеннаго, ознаменовано печатью зрѣлой и мужественной силы, осталось навсегда и въ своемъ торжественномъ, побѣдоносномъ ходѣ, постепенно приобретаая вліяніе, прорывало на почвѣ литературы и общества глубокіе слѣды. Сближеніе съ жизнью, съ дѣйствительностію есть прямая причина мужественной зрѣlosti послѣдняго періода нашей литературы. Слово „идеалъ“ только теперь получило свое истинное значеніе. Прежде подъ этимъ словомъ разумѣли что-то въ родѣ *не любо не слушай, мать не жмиай*—какое-то соединеніе въ одномъ предметѣ всевозможныхъ добродѣтелей или всевозможныхъ пороковъ. Если герой романа, такъ ужъ и собой-то красавецъ, и на гитарѣ играетъ чудесно, и поетъ отлично, и стихи сочиняетъ, и дерется на всякомъ оружіи, и силу имѣетъ необыкновенную:

Когда жъ о честности высокой говорить,
Какимъ-то демономъ внушаемъ—
Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ!

Если же злодѣй, то не подходите близко: съѣсть, непременно съѣсть васъ живаго, извергъ такой, какого не увидишь и на сценѣ Александринскаго Театра, въ драмахъ нашихъ доморощенныхъ трагиковъ... Теперь подъ „идеаломъ“ разумѣютъ не преувеличеніе, не ложь, не ребяческую фантазію, а фактъ дѣйствительности, такой, какъ она есть; но фактъ, не списанный съ дѣйствительности, а проведенный черезъ фантазію поэта, озаренный свѣтомъ общаго (а не исключительнаго, частнаго и случайнаго) значенія, *возведенный въ перлъ созданія*, и потому болѣе похожій на самого себя, болѣе вѣрный самому себѣ, нежели самая рабская копія съ дѣйствительности вѣрна своему оригиналу. Такъ, на портретѣ, сдѣланномъ великимъ живописцемъ, человекъ болѣе похожъ на самого себя, чѣмъ даже на свое отраженіе въ дагерротипѣ, ибо великій живописецъ рѣзкими чертами вывелъ наружу все, что таится внутри того человека и что, можетъ быть, составляетъ тайну для самого этого человека. Теперь дѣйствительность относится къ искусству и литературѣ, какъ почва къ растеніямъ, которая она возвращаетъ на своемъ лонѣ.

Литературнымъ явленіямъ минувшаго года посвящена уже половина статьи. О «Мертвыхъ Душахъ» Вѣлинскій не хочетъ говорить подробно, готовясь писать о нихъ отдѣльную статью; но то, что говоритъ онъ о нихъ, написано съ точки зрѣнія, очень сильно напоминающей разборъ «Ревизора», сдѣланный за три года:

Какъ мнѣніе публики, такъ и мнѣніе журналовъ о „Мертвыхъ Душахъ“ раздѣлились на три стороны: одни видятъ въ этомъ твореніи произведеніе, котораго хуже еще не писывалось ни на одномъ языкѣ человѣческомъ; другіе, наоборотъ, думаютъ, что только Гомеръ да Шекспиръ являются, въ своихъ произведеніяхъ, столь великими, какамъ явился Гоголь въ „Мертвыхъ Душахъ“; третьи (самъ Вѣлинскій) думаютъ, что это произведеніе дѣйствительно великое явленіе въ русской литературѣ, хотя и не идущее, по своему содержанію, ни въ какое сравненіе съ вѣковыми всемірно-историческими твореніями древнихъ и новыхъ литературъ Западной Европы. Кто эти—одни, другіе и третьи, публика знаетъ, и потому мы не имѣемъ нужды никого называть по имени. Всѣ три мнѣнія равно заслуживаютъ большаго вниманія и равно должны подвергаться разсмотрѣнію, ибо каждое изъ нихъ явилось не случайно, а по необходимымъ причинамъ. Какъ въ числѣ изступленныхъ хвалителей „Мертвыхъ Душъ“ есть люди, и не подозревающіе въ простотѣ своего дѣтскаго энтузіазма истиннаго значенія, слѣдовательно, и истиннаго величія этого произведенія, такъ и въ числѣ ожесточенныхъ хулителей „Мертвыхъ Душъ“ есть люди, которые очень и очень хорошо смекаютъ всю огромность поэтическаго достоинства этого творенія. Но отсюда-то и выходятъ ихъ ожесточеніе. Нѣкоторые сами когда-то тянулись въ храмъ поэтическаго безсмертія; за новостію и дѣтствомъ нашей литературы, они имѣли свою долю успѣха, даже могли радоваться и хвалиться, что имѣютъ поклонниковъ,—и вдругъ является, неожиданно, непредвидѣнно, *совершенно новая сфера творчества, особенный характеръ искусства, аскетическіе*

чего идеальныя и чувствительныя произведенія нашихъ поэтовъ вдругъ оказываются ребяческою болтовнею, дѣтскими невинными фантазіями... Согласитесь, что такое паденіе, безъ натиска критики, безъ недоброжелательства журналовъ, очень и очень горько?... Другіе подвизались на сатирическомъ поприщѣ, если не съ славою, то не безъ выгодъ иного рода; сатиру они считали своей монополіей, смѣхъ—исключительно имъ принадлежащимъ орудіемъ,—и вдругъ остроты ихъ не смѣшны, картины ни на что не похожи, у ихъ сатиры какъ будто повыпали зубы, охрипъ голосъ, ихъ уже не читаютъ, на нихъ не сердятся, они уже стали употребляться вмѣсто какого-то аршина для измѣренія бездарности... Что тутъ дѣлать? перечинить перья, начать писать на новый ладъ?—но вѣдь для этого нуженъ талантъ, а его не купишь, какъ пучекъ перьевъ... Какъ хотите, а осталось одно: не признавать талантомъ виновника этого крутого поворота въ ходѣ литературы и во вкусѣ публики, увѣрять публику что все написанное имъ—вздоръ, неаѣдность, пошлость.... Но это не помогаетъ; время уже рѣшило страшный вопросъ—новый талантъ торжествуетъ, молча, не отвѣчая на брани, не благодаря за хвалы.

„Твореніе, которое возбудило столько толковъ и споровъ, раздѣлило на котеріи и литераторовъ и публику, приобрѣло себѣ и жаркихъ поклонниковъ и ожесточенныхъ враговъ, на долгое время сдѣлалось предметомъ сужденій и споровъ общества, — твореніе, которое прочтено и перечтено не только тѣми людьми, которые читаютъ всякую новую книгу или всякое новое произведеніе, сколько нибудь возбуждившее общее вниманіе, но и такими лицами, у которыхъ нѣтъ ни времени, ни охоты читать стихи и сказочки, гдѣ несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпѣніи разныхъ бѣдствій, и въ довольствѣ, почетѣ и счастіи проводятъ остальное время жизни,—твореніе, которое, въ числѣ почти 3,000 экземпляровъ, все разошлось въ какіе нибудь полгода;—такое твореніе не можетъ не быть неизмѣримо выше всего, что въ состояніи представить современная литература, не можетъ не произвести важнаго вліянія на литературу“. („Отеч. Зап. 1843 г., № 1. Крит. стр. 13—15).

Бѣлинскаго, какъ видимъ, еще занимаетъ болѣе всего эстетическій вопросъ: дѣйствительно ли Гоголь выше всѣхъ нашихъ писателей, и каковы отношенія его къ искусству. Главными причинами вражды отсталыхъ писателей противъ Гоголя онъ находитъ литературные расчеты и, очевидно, еще полагаетъ, что отношенія Гоголя къ нашей жизни не такъ сильно возбуждаютъ ненависть отсталыхъ критиковъ, какъ эти расчеты. Однако же, онъ уже замѣчаетъ, что по поводу «Мертвыхъ Душъ» не только писатели, но публика раздѣлилась на враждебныя партіи, говоритъ, что «Мертвыя Души» вовсе не то, что «сказочки, въ которыхъ несчастные любовники соединяются законными узами брака».

Отвлеченный элементъ кажется все еще силенъ; но прямо за мнѣніемъ о «Мертвыхъ Душахъ» слѣдуетъ (стр. 15) отзывъ о со-

браніи стихотвореній одного изъ нашихъ поэтовъ, который прежними опытами показалъ способность писать прекрасныя антологическія стихотворенія. Бѣлинскій въ этомъ отзывѣ уже прямо говорить, что безъ «живаго, кровнаго сочувствія къ современному міру» нельзя быть въ наше время замѣчательнымъ поэтомъ.

Очерки исторіи русской литературы, представленные Бѣлинскимъ въ первыхъ двухъ его годичныхъ обзорѣніяхъ, останавливались на поэтахъ эпохи Пушкина. Въ четвертомъ обзорѣніи («Русская литература за 1843 годъ». — «Отечественныя Записки» 1844 г., № 1) онъ даетъ очеркъ дѣятельности нашихъ прозаиковъ, явившихся въ послѣднюю половину пушкинскаго періода, потому четвертый отчетъ его является какъ бы продолженіемъ втораго. Сравнивая ихъ, можно найти много параллельныхъ мѣстъ; отъ третьяго отчета четвертый отличается еще меньше, по своему духу. Мы не будемъ представлять примѣровъ тожества въ направленіи того и другаго, довольно того, что мы уже дѣлали это два раза, и каждый желающій легко можетъ къ выпискамъ, приведеннымъ у насъ въ доказательство близости каждаго слѣдующаго отчета съ предъидущимъ, отыскать десятки подобныхъ мѣстъ. Но Гоголь занимаетъ въ четвертомъ обзорѣ болѣе мѣста, нежели все общее обзорѣніе прошедшаго періода прозаической литературы. Мнѣніе, высказанное о немъ Бѣлинскимъ въ предъидущемъ году, сохраняется совершенно; но особенное развитіе получаютъ прежнія краткія замѣчанія о томъ, что «Мертвыя Души» должны имѣть рѣшительное вліяніе на литературу и публику; слово «должны имѣть», конечно, уже замѣняется словомъ «имѣютъ», и къ прежнимъ объясненіямъ негодованія, во многихъ возбужденнаго Гоголемъ, присоединяется новая, на которую въ прошедшемъ году былъ сдѣланъ только легкій намекъ,—теперь же она является на первомъ планѣ. Эта причина—живость и мѣткость гоголева юморизма:

„Прежде сатира смѣло разгуливала между народомъ, среди бѣлаго дня и даже не заботилась объ инкогнито, но прямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. *сатирою*,—и никто не сердился на нее, никто даже не замѣчалъ ея гримасъ и кривляній. Отчего это? — оттого, что никто не узнавалъ себя въ ней; оттого, что она нападала на пороки общіе, которыхъ всякій имѣетъ полное право не принять на свой счетъ; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невиннымъ школьнымъ упражненіемъ по классу реторики... И давно-ли правоописательные, нравственно-сатирическіе романы, юмористическія статьи и статейка являлись

стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье горло?—и на нихъ никто не сердился, даже какъ сердятся лѣтомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называлъ себя сатирикомъ, гонителемъ людскихъ пороковъ,—и гонимые люди безъ боязни подходили къ своему гонителю, къ драхлону, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шеѣ и охотно кормили его избыткомъ своей трапезы. Отчего это?—оттого, что пороки, которые гналъ сатирикъ, были совсѣмъ не пороки, а развѣ отвлеченныя идеи о порокахъ, риторическія тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, съ которыми храбро и отважно сражался сатирической донъ-Кихотъ, —такъ же, какъ добродѣтель, за которую онъ ратовалъ, была для него воображаемою Дульцинею, а для другихъ—толстою, безобразною коровницею. Теперь нѣтъ сатиры, и только развѣ какой-нибудь старый сочинитель рѣшится величаться вышедшимъ изъ моды именемъ „сатирика“: теперь пишутся романы и повѣсти, безъ всякихъ сатирическихъ намѣреній и цѣлей,—а, между тѣмъ, всѣ на нихъ сердятся. Отчего же это?—оттого, что теперь и великіе и малые таланты, и посредственность и бездарность — всѣ стремятся изображать дѣйствительныхъ, не воображаемыхъ людей; но такъ какъ дѣйствительные люди обитаютъ на землѣ и въ обществѣ, а не на воздухѣ, не въ облакахъ, гдѣ живутъ призраки, то, естественно, писатели нашего времени, вмѣстѣ съ людьми изображаютъ и общество. Общество также — нѣчто дѣйствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляютъ не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятія, отношенія и т. д. Человѣкъ, живущій въ обществѣ, зависитъ отъ него и въ образѣ мыслей и въ образѣ его дѣйствованія. Писатели нашего времени не могутъ не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человѣка, они стараются выискать въ причины, отчего онъ таковъ или не таковъ, и т. д. Вслѣдствіе этого, естественно, они изображаютъ не частныя достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдѣльно взятому, но явленія общія. Большинство же публики именно тамъ-то и видитъ личности, гдѣ ихъ нѣтъ и быть не можетъ. Прежніе такъ называемые сатирики именно списывали съ извѣстныхъ имъ лицъ и казались въ глазахъ всѣхъ не подлежащими упреку къ личностямямъ. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копіяхъ, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельство того или другого лица и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будучи *отвлечены* отъ живой личности, превращались въ образы безъ лицъ. При томъ же, эти *сатирики* смотрѣли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какъ на что-то произвольное, что это лицо могло имѣть и не имѣть по своей волѣ и что приобрести или отчего избавиться оно легко могло по прочтеніи убѣдительной сатиры, гдѣ ясно, по пальцамъ, доказана выгода и сладость добродѣтели и опасныя, пагубныя слѣдствія порока. Вотъ почему эти добрые сатирики брали человѣка, не обращая вниманія на его воспитаніе, на его отношенія къ обществу, и тормозили на досугъ это созданное ихъ воображеніемъ чучело. Въ основаніе своего сатирическаго донъ-кихотства они положили общественную нравственность, добродушно не *поморзявая* того, что ихъ сатиры, опирающіяся на общественность, ужасно прот-

ворѣчили этой нравственности. Такъ, напримѣръ, въ числѣ первыхъ добродѣтелей они полагали безусловное повиновеніе родительской власти и въ то же время толковали юношеству, что бракъ по расчету — дѣло безнравственное, что низкопоклонство, лесть изъ выгодъ, взяточничество и казнокрадство—тоже дѣла безнравственныя. Очень хорошо; но что же иному юношѣ дѣлать, если онъ съ малолѣтства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговѣніе къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мѣстамъ, къ значительности въ обществѣ, къ богатству, къ хорошей партіи, блестящей карьерѣ; если его младенческій слухъ былъ оглушенъ не словами любви, чести самоотверженія, истины, а словами: *взялъ, получилъ, приобрѣлъ, надулъ* и т. п.? Положимъ, что *такому* юношѣ природа не отказала въ человѣческихъ чувствахъ и стремленіяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но бѣдной, простаго званія дѣвушкѣ,—любовь, запрещающая ему соединиться съ противною ему богатою душою, на которой, по расчетамъ, приказываютъ ему жениться; положимъ, что въ юношѣ пробудилось человѣческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту или чиновному негодяю; положимъ, что въ немъ пробудилась совѣсть, запрещающая употреблять во зло вѣренныя ему высшею властію вѣсы правосудія и расхищать вѣренныя его безкорыстію общественныя суммы: что ему тутъ дѣлать? Сатирикъ не затруднится отъ такого вопроса и, не задумавшись, отвѣтитъ: „жениться на предметѣ любви своей, служить честно и вѣрно отечеству...“ Прекрасно; но гдѣ же повиновеніе родительской власти, гдѣ уваженіе къ родительскому благословенію, на вѣки нерушимому, гдѣ страхъ тяжкаго отцовскаго проклятія?.. И потомъ, гдѣ уваженіе къ общественному мнѣнію, къ общественной нравственности? Вѣдь общество не спрашиваетъ васъ, по любви или не по любви женились вы, а спрашиваетъ, сколько вы взяли за женою, и приличная ли она вамъ партія, общество не спрашиваетъ васъ, какимъ образомъ сдѣлались вы богачемъ, когда ему извѣстно, что вашъ батюшка не оставилъ вамъ ни копейки, а за супругою вы взяли не Богъ знаетъ что, или и вовсе ничего не взяли: общество знаетъ только, что вы богачъ, и *потому* считаетъ васъ очень хорошимъ—„благонамѣреннымъ“ человѣкомъ... Послушайся нашъ юноша сатирика, чтобы вышло?—отецъ его бросилъ бы, жалуясь на неповиновеніе и презрѣніе къ его власти, потомъ онъ прошелъ бы, съ женою и дѣтьми, черезъ всѣ мытарства, черезъ всѣ униженія голодной, неопрятной, оборванной бѣдности; видѣлъ бы къ себѣ презрѣніе общества, а за свою правоту, за свое безкорыстіе былъ бы заклейменъ отъ всѣхъ страшными названіями безпокойнаго, опаснаго и „благонамѣреннаго“ человѣка, вольнодумца, и проч., и проч. И неужели вы, „благонамѣренные“ сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощая и обезсилѣвъ въ тяжелой и бесплодной борьбѣ, онъ дойдетъ до страшнаго убѣжденія, что его бѣдность, его несчастія—необходимыя слѣдствія отцовскаго гнѣва, заслуженная кара за презрѣніе общественнаго мнѣнія и общественной нравственности?.. Но, къ счастью или къ несчастію,—не знаемъ, право—такіе случаи весьма рѣдки, какъ исключенія изъ общаго правила. По большей части бываетъ такъ: юноша не долго колеблется между *любовью и выгодною женитьбою*, между „завиральными идеями“ о безкорыстіи *и правотѣ и уваженіемъ общества*: онъ женится на комъ прикажутъ *дражай-*

шіе родители, живеть съ женою, какъ всѣ, т. е. прилично содержитъ ее, воспитываетъ дѣтей своихъ, какъ всѣ, т. е. прилично кормить и одѣваетъ ихъ, учить по французски и танцовать, а послѣ этого перваго и важнѣйшаго періода воспитанія отдаеть въ учебное заведеніе, потомъ выгодно пристроиваетъ въ службу, выгодно женить (или выдаетъ замужъ) и, умирая, отказываетъ имъ „благопробрѣтенное“ по службѣ имѣніе. И что же? Въ началѣ его поприща всѣ превозносятъ его, какъ почтительнаго сына, въ концѣ поприща — какъ нѣжнаго супруга, примѣрнаго отца, „благонамѣреннаго“ чиновника и заключаютъ такъ: „вотъ что значить уваженіе къ общественной нравственности! вотъ что значить родительское благословеніе, навѣки нерушимое!“ И такъ, нашъ „благонамѣренный“ сатирикъ, бичъ пороковъ, самымъ великимъ образомъ противорѣчилъ самому себѣ: поставивъ выше всѣхъ добродѣтелей повиновеніе не Богу, не истинѣ, а эгоистическимъ расчетамъ, онъ въ то же время училъ юношу слѣдовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещалъ ему торговать священнѣйшими склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь и уваженіе общества, онъ въ то же время училъ юношу оскорблять основныя правила этого самаго общества... Впрочемъ, онъ это дѣлалъ, самъ не зная, что дѣлаетъ и потому его сатиры не производили никакихъ слѣдствій.

Надобно обратить вниманіе особенно на послѣднюю половину этого отрывка: она написана въ духѣ совершенной положительности.

Общая часть пятаго обозрѣнія («Отечественныя Записки» 1845 г., № 1) представляетъ сводъ того, что было говорено во второмъ и четвертомъ. Она можетъ казаться чистымъ повтореніемъ сказаннаго Бѣлинскимъ въ первыхъ трехъ обозрѣніяхъ; но кто внимательнѣе всмотрится въ эти очень сходныя мысли, замѣтитъ значительную разницу между понятіями, какія имѣлъ Бѣлинскій въ 1842, и какія имѣлъ онъ въ 1845. Труднѣе замѣтитъ различіе между 1844 и 1845 годами; но и тутъ есть движеніе впередъ. Чтобы показать его въ примѣрѣ, взятomъ на удачу, приводимъ самое начало пятаго обозрѣнія:

„Вотъ уже пятое обозрѣніе годоваго бюджета русской литературы представляемъ мы нашимъ читателямъ. Обязавшись передъ публикою быть вѣрнымъ зеркаломъ русской литературы, постоянно отдавая отчетъ во всякой вновь выходящей въ Россіи книгѣ, во всякомъ литературномъ явленіи, „Отечественныя Записки“ не вполне исполнили бы свое назначеніе—быть полною и подробною лѣтописью движенія русскаго слова, еслибъ не вмѣнили себѣ въ обязанность этихъ годичныхъ обозрѣній, въ которыхъ обо всемъ, о чемъ впро-

шедшемъ, и въ которыхъ всѣ отдѣльныя и разнообразныя явленія цѣлаго года подводятся подъ одну точку зрѣнія. Не ставимъ себѣ этого въ особенную заслугу, потому что видимъ въ этомъ только должное выполненіе добровольно принятой на себя обязанности; но не можемъ не замѣтить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знаютъ, что большая часть этихъ годовичныхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературѣ и, слѣдовательно, о всѣхъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературу—главный предметъ статьи, всегда занималъ ей меньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по двумъ причинамъ: во первыхъ, потому, что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому, что по поводу цѣлой русской литературы еще можно написать не одно, а даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговаривать. И это-то составляетъ особенную трудность подобныхъ статей. Легко пересчитывать богатства истинныя или мнимыя, много можно говорить о нихъ; но что сказать о бѣдности, близкой къ нищетѣ? Да, о совершенной нищетѣ, потому что теперь нѣтъ уже и мнимыхъ, воображаемыхъ богатствъ. А, между тѣмъ, о чемъ же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературѣ? Вѣдь у насъ литература составляетъ единственный интересъ, доступный публикѣ, если не упоминать о преферансѣ, говоря о немногихъ, исключительныхъ и какъ бы случайныхъ ея интересахъ. Итакъ, будемъ же говорить о литературѣ,—и если, читатели, этотъ предметъ уже кажется вамъ нѣсколько истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ, если толки о немъ уже доставляютъ вамъ только то магнитическое удовольствіе, которое такъ близко къ усыпленію,—поздравляемъ васъ съ прогрессомъ и пользуемся случаемъ увѣрить васъ, что мы, въ свою очередь, совсѣмъ не чужды этого прогресса, и что, въ этомъ отношеніи, вы не правы, если вздумаете упрекнуть насъ въ отсталости отъ духа времени и въ наивной запоздалости касательно его интересовъ... Еще разъ: будемъ разсуждать о русской литературѣ—предметъ и новый и любопытный“.. („Отечественныя Записки“ 1845 г., № 1, стр. 1—2).

Эта иронія, съ которою говоритъ Вѣлинскій о своихъ обозрѣніяхъ, о своей обязанности критика—чувство, совершенно различное отъ сарказма, съ которымъ онъ говорилъ въ 1841 году о русской литературѣ, самъ будучи совершенно доволенъ тѣмъ, что изобличаетъ эту бѣдность. Теперь онъ груститъ уже не о бѣдности русской литературы: ему грустно, что надобно разсуждать объ этой литературѣ; онъ чувствуетъ, что границы литературныхъ вопросовъ тѣсны, онъ тоскуетъ въ своемъ кабинетѣ, подобно Фаусту: ему тѣсно въ этихъ стѣнахъ, уставленныхъ книгами, — все равно, *хорошими или дурными*; ему нужна жизнь, а не толки о достоин-

ствахъ поэмъ Пушкина или недостаткахъ повѣстей Марлинскаго и Полеваго.

И дѣйствительно: главный предметъ его статьи—стихотворенія Языкова и г. Хомякова, которыя привлекли его вниманіе вовсе не по эстетическимъ соображеніямъ: нельзя же было, въ самомъ дѣлѣ, опасаться, что наши поэты станутъ образцы художественности видѣть не въ произведеніяхъ Пушкина и Лермонтова, а въ стихотвореніяхъ Языкова и г. Хомякова, и начнутъ подражать ихъ манерѣ; этой опасности вовсе не предвидѣлось, но важно было отношеніе стихотвореній Языкова и г. Хомякова къ нашей жизни.

Неудовлетворительность литературныхъ вопросовъ для Бѣлинскаго отразилась въ слѣдующемъ году и на самомъ объемѣ его обзора: шестой отчетъ его («Отечественныя Записки» 1846 г., № 1) очень коротокъ въ сравненіи съ предъидущими. Въ главныхъ частяхъ своихъ, онъ представляетъ развитіе нѣкоторыхъ страницъ предъидущаго обзоренія, говорившихъ, что только та мысль можетъ назваться мыслью, которая имѣетъ тѣсное родство съ жизнью. Вотъ, на примѣръ, отрывокъ, тѣсную связь котораго съ предъидущимъ обзореніемъ легко замѣтитъ каждый читатель.

«Въ наше время, — говоритъ Бѣлинскій, — особенно много людей мечтающихъ и разсуждающихъ, о которыхъ, впрочемъ, не всегда можно сказать, чтобы они были въ то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и разсуждать о жизни—вотъ въ чемъ заключается ихъ жизнь,—

„Между этими „романтиками“ бываютъ люди умные, даже очень, хотя и бесплодно умные. Они толкуютъ не о чувствахъ и не о себѣ только: они разсуждаютъ вообще о жизни. Стремленіе весьма похвальное, когда оно имѣетъ прочную основу, практической характеръ! Но романтики вообще враги всего практическаго, которое они съ презрѣніемъ отдали на долю „толпы“, не понимая въ своемъ ослѣпленіи, что всякій гений, всякій великій дѣятель есть человѣкъ практической, хотя бы онъ дѣйствовалъ даже въ сферѣ отвлеченнаго мышленія. Разладъ съ дѣйствительностью—бѣдѣзна этихъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спѣшить жить, они, вмѣсто этого, только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздно: именно въ то время, когда человѣкъ не годится уже ни на что лучшее, какъ только на то, чтобы разсуждать о жизни, которой онъ никогда не зналъ, никогда не извѣдалъ. Толпа живетъ не мысля и оттого живетъ пошло; но мыслить, не живя—развѣ это лучше? развѣ это не такая же или даже еще не большая уродливость?..

„Но теперь всё заговорили о действительности. У всех на языкъ одна и та же фраза: „надо дѣлать“! И, между тѣмъ, все-таки нието ничего не дѣлается! Это показываетъ, что во что бы ни нарядился романтикъ, онъ все останется романтикомъ. Не понимая этого, романтики обѣими руками начали хвататься за маски и костюмы,—и вышелъ пестрый маскарадъ, гдѣ на одинъ вечеръ такъ легко быть чѣмъ угодно — и туркомъ, и жидомъ, и рыцаремъ. Нѣкоторые, говорятъ, не шутя надѣли на себя терлигъ, охабень и шапку мурмолку; болѣе благоразумные довольствуются только тѣмъ, что ходятъ дома въ татарской ермолкѣ, татарскомъ халатѣ и желтыхъ сафьянныхъ сапожкахъ—все же историческій костюмъ! Назвались они „партиями“ и думаютъ, что дѣлать значить—разсуждать на пріятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они—удивительные люди, и что кто думаетъ не по ихъ, тотъ бродить во тѣмѣ.

„Во всемъ этомъ видно одно: стремленіе жить мимо жизни, глубокой внутренней разладъ съ действительностью“. („Отечественныя Записки 1846 г., № 1. Критика, стр. 3—4).

«Взглядъ на русскую литературу 1846 года» былъ помѣщенъ уже не въ «Отечественныхъ Запискахъ», какъ первые шесть годичныхъ обзоровъ, а въ «Современникѣ». На этомъ внѣшнемъ раздѣлѣ дѣятельности Бѣлинскаго мы и остановимся теперь, потому что въ развитіи его съ 1841 года нельзя найти внутреннихъ крутыхъ поворотовъ, по которымъ можно было бы точно опредѣлить границы между двумя періодами его самостоятельной дѣятельности, указанными въ началѣ нашей статьи.

П Р И Л О Ж Е Н І Е.

Отрывки изъ послѣдней статьи Бѣлинскаго: «Взглядъ на русскую литературу 1847 года». («Современникъ» 1848 г., №№ 1 и 3).

„Остается упомянуть еще о нападкахъ на современную литературу и на натурализмъ вообще съ эстетической точки зрѣнія, во имя чистаго искусства, которое само себя цѣль и вѣдъ себя не признаетъ никакихъ цѣлей. Въ этой мысли есть основаніе; но ея преувеличенность замѣтна съ перваго взгляда. Мысль эта чисто нѣмецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа созерцательнаго, мыслящаго и мечтающаго, и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всѣхъ и cadaго представляетъ широкое поле для живой дѣятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т. е. искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухаго, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнѣнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотвореніе, какъ бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если въ немъ нѣтъ поэзіи, въ немъ не можетъ быть ни прекрасныхъ мыслей и никакихъ вопросовъ, и все, что можно замѣтить въ немъ, это развѣ прекрасное намѣреніе, дурно выполненное. Когда въ романѣ или повѣсти нѣтъ образовъ и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего *типическаго*,—какъ бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдетъ тутъ никакой натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно подмѣченнаго, ловко схваченнаго. Лица будутъ перемѣшиваться между собою въ его глазахъ; въ разсказѣ онъ увидитъ путаницу непонятныхъ происшествій. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать вѣрно съ натуры, мало умѣть писать, т. е. владѣть искусствомъ писта или писаря; надобно умѣть явленія дѣйствительности провести черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и вѣрно изложенное слѣдственное дѣло, имѣющее романтическій интересъ, не есть романъ, и можетъ служить развѣ только матеріаломъ для романа, т. е. подать поэту поводъ написать романъ. Но для этого онъ долженъ проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дѣла, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія эти лица дѣйствовать такъ, схватить ту точку этого дѣла, которая составляетъ центръ круга этихъ событій, даетъ имъ смыслъ чего-то одинаго, полнаго, цѣлаго, замкнутаго въ самомъ себѣ. А это можетъ сдѣлать только поэтъ. Кажется, чего бы легче было вѣрно списать портретъ человѣка? И иной цѣлый вѣкъ упражняется въ этомъ родѣ живописи, а все не можетъ списать знакомаго ему лица такъ, чтобы и другіе узнали, чей это портретъ».

треть. Умѣть списать вѣрно портретъ есть уже своего рода талантъ; но этимъ не оканчивается все. Обыкновенный живописецъ сдѣлалъ очень сходно портретъ вашего знакомаго; сходство не подвергается ни малѣйшему сомнѣнію въ томъ смыслѣ, что вы не можете не узнать съ разу, чей это портретъ, а все какъ-то недовольны имъ, вамъ кажется, будто онъ и похожъ на свой оригиналъ и не похожъ на него. Но пусть съ него же сниметъ портретъ Тырановъ или Брюловъ — и вамъ покажется, что зеркало далеко не такъ вѣрно повторяетъ образъ вашего знакомаго, какъ этотъ портретъ, потому что это будетъ уже не только портретъ, но и художественное произведеніе, въ которомъ схвачено не одно внѣшнее сходство, но вся душа оригинала. Итакъ, вѣрно списывать съ дѣйствительности можетъ только талантъ, и какъ бы ни ничтожно было произведеніе въ другихъ отношеніяхъ, но чѣмъ болѣе оно поражаетъ вѣрностію натуръ, тѣмъ несомнѣннѣе талантъ его автора. Что не все должно оканчиваться вѣрностію натуръ, особенно въ поэзіи,—это другой вопросъ. Въ живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умѣнье вѣрно писать съ натуры можетъ служить часто признакомъ необыкновеннаго таланта. Въ поэзіи это не совсѣмъ такъ: не умѣя вѣрно писать съ натуры, нельзя быть поэтомъ, но и одного этого умѣнья тоже мало, чтобъ быть поэтомъ, по крайней мѣрѣ, замѣчательнымъ.

„Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусствомъ, мы тѣмъ не менѣе думаемъ, что мысль о какомъ-то чистомъ, отрѣшенномъ искусствѣ, живущемъ въ своей собственной сферѣ, не имѣющей ничего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигдѣ не бывало. Безъ всякаго сомнѣнія, жизнь раздѣляется и подраздѣляется на множество сторонъ, имѣющихъ свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна съ другою живымъ образомъ, и нѣтъ между ними рѣзкой раздѣляющей ихъ черты. Какъ ни дробите жизнь, она всегда едина и цѣльна. Говорятъ: для науки нуженъ умъ и разумъ, для творчества — фантазія, и думаютъ, что этимъ порѣшили дѣло начисто, такъ что хоть сдавай его въ архивъ. А для искусства не нужно ума и разсудка? А ученый можетъ обойтись безъ фантазіи? Неправда! Истина въ томъ, что въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль; а въ наукѣ — умъ и разумъ. Бываютъ, конечно, произведенія поэзіи, въ которыхъ ничего не видно, кромѣ сильной блестящей фантазіи; но это вовсе не общее правило для художественныхъ произведеній. Въ твореніяхъ Шекспира не знаешь, чему больше дивиться — богатству ли творческой фантазіи, или богатству всеобъемляющаго ума. Есть роды учености, которые не только не требуютъ фантазіи, въ которыхъ эта способность могла бы только вредить; но никакъ этого нельзя сказать объ учености вообще. Искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности, повторенный, какъ бы вновь созданный міръ; можетъ ли же оно быть какою-то одинокою, изолированою отъ всѣхъ чуждыхъ ему явленій дѣятельностію? Можетъ ли поэтъ не отразиться въ своемъ произведеніи, какъ человѣкъ, какъ характеръ, какъ натура, — словомъ, какъ личность? Разумѣется, нѣтъ, потому что и самая способность изображать *явленія дѣйствительности* безъ всякаго отношенія къ самому себѣ — есть опять-

таки выраженіе натуры поэта. Но и эта способность имѣть свои границы. Личность Шекспира просвѣчиваетъ сквозь его творенія, хотя и кажется, что онъ такъ же равнодушенъ къ изображаемому имъ міру, какъ и судьба, спасающая или губящая его героевъ. Въ романахъ Вальтера Скотта невозможно не увидѣть въ авторѣ человѣка болѣе замѣчательнаго талантомъ, нежели сознательно-широкимъ пониманіемъ жизни, тори, консерватора и аристократа по убѣжденію и привычкамъ. Личность поэта не есть что нибудь безусловное, особо стоящее, внѣ всякихъ явленій извнѣ. Поэтъ прежде всего — человѣкъ, потому гражданннъ своей земли, сынъ своего времени. Духъ народа и времени на него не могутъ дѣйствовать менѣе, чѣмъ на другихъ. Шекспиръ былъ поэтомъ *старой и веселой* Англїи, которая, впродолженіе немногихъ лѣтъ, вдругъ сдѣлалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движеніе имѣло сильное вліяніе на его послѣднія произведенія, наложивъ на нихъ отпечатокъ мрачной грусти. Изъ этого видно, что родился онъ десятилѣтіями двумя позже, гений его остался бы тотъ же, но характеръ его произведеній былъ бы другой. Поэзія Мильтона явно произведеніе его эпохи: самъ того не подозрѣвая, онъ въ лицѣ своего гордаго и мрачнаго сатаны написалъ апофеозу возстанія противъ авторитета, хотя и думалъ сдѣлать совершенно другое. Такъ сильно дѣйствуетъ на поэзію историческое движеніе обществъ.

„Въ наше время, искусство и литература больше, чѣмъ когда либо прежде сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общее, доступнѣе всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ. Это разумѣется, не могло не измѣнить общаго направленія искусства во вредъ ему. Такъ самые гениальныя поэты, увлекаясь рѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляютъ иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство нисколько не соответствуетъ ихъ таланту или, по крайней мѣрѣ, обнаруживается только въ частностяхъ, а цѣлое произведеніе слабо, растянато, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Санда: *Le Meunier d'Angibault*, *Le Pêché de Monsieur Antoine*, *Isidore*. Но и здѣсь бѣда произошла собственно не отъ вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а оттого, что авторъ существующую дѣйствительность хотѣлъ замѣнить утопіею, и вслѣдствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его воображеніи. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ характерами возможными, съ лицами, всѣмъ знакомыми, онъ вывелъ характеры фантастическіе, лица небывалыя, и романъ у него, смѣшался со сказкою, натуральное заслонилось неестественнымъ, поэзія смѣшалась съ риторикою. Но изъ этого еще нѣтъ причины вонить о паденіи искусства: тотъ же Жоржъ Сандъ послѣ *Le Meunier d'Angibault* написалъ *Теврино*, а послѣ *Изидоры* и *Le Pêché de Monsieur Antoine* — *Дукрецию Флоріани*. Порча искусства вслѣдствіе вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ могла бы скорѣе обнаружиться на талантахъ низшей степени; но и тутъ она обнаруживается только въ неумѣннн отличать существующее отъ небывалаго, возможное отъ невозможнаго, и еще болѣе—въ страсти къ мелодрамѣ, къ натянутымъ эффектамъ. Что особенно хорошо въ романахъ Евгенія Сю?—вѣрныя картины современнаго общества, въ которыхъ больше всего видно

влияніе современныхъ вопросовъ. А что составляетъ ихъ слабую сторону, портитъ ихъ до того, что отбиваетъ всякую охоту читать ихъ? — Преувеличенія, мелодрама, эффекты, небывалые характеры въ родѣ принца Родольфа, — словомъ, все ложное, неестественное, ненатуральное, — а все это выходитъ отнюдь не изъ влияния современныхъ вопросовъ, а изъ недостатка таланта, котораго хватаетъ только на частности, и никогда на цѣлое произведеніе. Съ другой стороны, мы можемъ указать на романы Дикенса, которые такъ глубоко проникнуты задушевными симпатіями нашего времени, и которымъ это нисколько не мѣшаетъ быть превосходными художественными произведеніями.

„Мы сказали, что чистаго, отрѣшеннаго, безусловно, или, какъ говорятъ философы, *абсолютнаго* искусства никогда и нигдѣ не бывало. Если нѣчто подобное можно допустить, такъ это развѣ художественныя произведенія тѣхъ эпохъ, въ которыя искусство было главнымъ интересомъ, исключительно занимавшимъ образованнѣйшую часть общества. Таковы, напримѣръ, произведенія живописи итальянскихъ школъ въ XVI столѣтіи. Ихъ содержаніе, повидимому, преимущественно религіозное; но это болѣею частію миражъ, и на самомъ дѣлѣ предметъ этой живописи — красота какъ красота, болѣе въ пластическомъ или классическомъ, нежели въ романическомъ смыслѣ этого слова. Возьмемъ, напримѣръ, мадонну Рафаэля. этотъ *chef d'oeuvre* итальянской жизни XVI вѣка. Кто не помнитъ статьи Жуковскаго объ этомъ дивномъ произведеніи, кто съ молодыхъ лѣтъ не составилъ себѣ о немъ понятія по этой статьѣ? Кто, стало быть, не былъ увѣренъ, какъ въ несомнѣнной истинѣ, что это произведеніе по превосходству романическое, что лицо мадонны — высочайшій идеалъ той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанію и то въ рѣдкія мгновенія чистаго восторженнаго вдохновенія?... Авторъ предлагаемой статьи недавно видѣлъ эту картину. Не будучи знаткомъ живописи, онъ не позволилъ бы себѣ говорить объ этой удивительной картинѣ съ цѣлію опредѣлить ея значеніе и степень ея достоинства; но какъ дѣло идетъ только о его личномъ впечатлѣніи и о романическомъ или не романическомъ характерѣ картины, то онъ думаетъ, что можетъ позволить себѣ на этотъ счетъ нѣсколько словъ. Статьи Жуковскаго онъ не читалъ уже давно, можетъ быть болѣе десяти лѣтъ, но какъ до того времени онъ читалъ и перечитывалъ ее со всѣмъ страстнымъ увлеченіемъ, со всею вѣрою молодости, и зналъ ее почти наизусть, то и подошелъ къ знаменитой картинѣ съ ожиданіемъ уже известнаго впечатлѣнія. Долго смотрѣлъ онъ на нее, оставляя, обращаясь къ другимъ картинамъ и снова подходилъ къ ней. Какъ ни мало знаетъ онъ толку въ живописи, но первое впечатлѣніе его было рѣшительно и опредѣленно въ одномъ отношеніи: онъ тотчасъ же почувствовалъ, что послѣ этой картины трудно понять достоинства другихъ и заинтересоваться ими. Два раза былъ онъ въ Дрезденской Галлерей и въ оба видѣлъ только эту картину, даже когда смотрѣлъ на другія и когда ни на что не смотрѣлъ. И теперь, когда ни вспомнить онъ о ней, она словно стоитъ передъ его глазами, и память почти замѣняетъ дѣйствительность. Но чѣмъ дольше и пристальнѣе всматривался онъ въ эту картину, чѣмъ болѣе думалъ тогда и послѣ, тѣмъ болѣе убѣждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковскимъ подъ именемъ ра-

фазлевою,—двѣ совершенно различныя картины, не имѣющія между собою ничего общаго, ничего сходнаго. Мадонна Рафаэля—фигура строго классическая и нисколько не романическая. Лицо ея выражаетъ ту красоту, которая существуетъ самостоятельно, не заимствуя своего очарованія отъ какого нибудь нравственнаго выраженія въ лицѣ. На этомъ лицѣ, напротивъ, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ея фигура, исполнены невыразимаго благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознаниемъ и своего высокаго сана и своего личнаго достоинства. Въ ея взорѣ есть что-то строгое, сдержанное, нѣтъ благодати и милости, но нѣтъ гордости, презрѣнія, а вмѣсто всего этого какое-то незабывающее своего величія снисхожденіе. Это какъ бы сказать—*idéal sublime du comme il faut*. Но ни тѣни неуловимаго, таинственнаго, туманнаго, мерцающаго,—словомъ, романическаго, напротивъ, во всемъ такая отчетливая, ясная опредѣленность, оконченность, такая строгая правильность и вѣрность очертаній и вмѣстѣ съ этимъ такое благородство, изящество кисти! Религіозное созерцаніе выразилось въ этой картинѣ только въ лицѣ божественнаго младенца, но созерцаніе, исключительно свойственное только католицизму того времени. Въ положеніи младенца, въ протянутыхъ къ предстоящимъ (разумію зрителей картины) рукахъ, въ расширенныхъ зрачкахъ глазъ его видны гнѣвъ и угроза, а въ приподнятой нижней губѣ горделивое презрѣніе. Это не Богъ прощенія и милости, не искупительный агнецъ за грѣхи міра,—это Богъ судящій и карающій... Изъ этого видно, что и въ фигурѣ младенца нѣтъ ничего романическаго; напротивъ, его выраженіе такъ просто и опредѣленно, такъ удивно, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Развѣ только въ лицахъ ангеловъ, отличающихся необыкновеннымъ выраженіемъ разумности и задумчиво созерцающихъ явленіе Божества, можно найти что нибудь романическое.

„Всего естественнѣе искать такъ называемаго чистаго искусства у грековъ. Дѣйствительно, красота, составляющая существенный элементъ искусства, была едва-ли не преобладающимъ элементомъ жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякаго другаго къ идеалу такъ называемаго чистаго искусства. Но, тѣмъ не менѣе, красота въ немъ была больше существенною формою всякаго содержанія, нежели самимъ содержаніемъ. Содержаніе же ему давали и религія и гражданская жизнь, но только всегда подъ очевиднымъ преобладаніемъ красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе другихъ къ идеалу абсолютнаго искусства, но нельзя назвать его абсолютнымъ, т. е. независимымъ отъ другихъ сторонъ національной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте, какъ на представителей свободнаго, чистаго искусства; но это одно изъ самыхъ неудачныхъ указаній. Что Шекспиръ величайшій творческій геній, поэтъ по преимуществу, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но тѣ плохо понимаютъ его, кто изъ-за его поэзіи не видитъ богатаго содержанія, неистощимаго рудника уроковъ и фактовъ для психолога, философа, историка, государственнаго человѣка и т. д. Шекспиръ все передаетъ черезъ поэзію, но передаваемое далеко отъ того, чтобы принадлежать одной поэзіи. Вообще характеръ новаго искусства—перевѣсъ важности содержанія надъ важностью формы, тогда какъ характеръ древняго искусства—

равновѣсіе содержанія и формы. Ссылка на Гёте еще неудачнѣе, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажемъ это двумя примѣрами. Въ „Современникѣ“ прошлаго года напечатанъ былъ переводъ гетевскаго романа „Wahlverwandschaften“, о которомъ и на Руси было иногда толковано печатно; въ Германіи же онъ пользуется страшнымъ почетомъ, о немъ написаны тамъ горы статей и цѣлыя книги. Не знаемъ, до какой степени понравился онъ русской публикѣ, и даже понравился-ли онъ ей: наше дѣло было познакомить ее съ замѣчательнымъ произведеніемъ великаго поэта. Мы даже думаемъ, что романъ этотъ больше удивилъ нашу публику, нежели понравился ей. Въ самомъ дѣлѣ, тутъ многому можно удивиться! Дѣвушка переписываетъ отчеты по управленію имѣніемъ; герой романа замѣчаетъ, что въ ея копіи, чѣмъ дальше, тѣмъ больше почеркъ ея становится похожъ на его почеркъ. „Ты любишь меня!“ восклицаетъ онъ бросаясь ей на шею. Повторяемъ: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публикѣ не можетъ не показаться странною. Но для нѣмцевъ она нисколько ни странна, потому что это черта нѣмецкой жизни, вѣрно схваченная. Такихъ чертъ въ этомъ романѣ найдется довольно; многіе сочтутъ, пожалуй и весь романъ не за что иное, какъ за такую черту... Не значитъ ли это, что романъ Гёте написанъ до того подъ вліяніемъ нѣмецкой общественности, что въ Германіи онъ кажется чѣмъ-то странно-необыкновеннымъ? Но *Фаустъ* Гёте, конечно, вездѣ—великое созданіе. На него въ особенности любятъ указывать какъ на образецъ чистаго искусства, не подчиняющагося ничему, кромѣ собственныхъ одному ему свойственныхъ законовъ. И, однакожъ — не въ осудъ будь сказано почтеннымъ рыцарямъ чистаго искусства—*Фаустъ* есть полное отраженіе всей жизни современнаго ему нѣмецкаго общества. Въ немъ выразилось все философское движеніе Германіи въ концѣ прошлаго и началѣ настоящаго столѣтія. Недаромъ послѣдователи школы Гегеля цитовали безпрестанно въ своихъ лекціяхъ и философскихъ трактатахъ стихи изъ *Фауста*. Не даромъ также, во второй части *Фауста*, Гёте безпрестанно впадалъ въ аллегорію, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Гдѣ жъ тутъ чистое искусство?

„Мы видѣли, что и греческое искусство только ближе всякаго другого къ идеалу такъ называемаго чистаго искусства, но не осуществляетъ его вполне что же касается до новѣйшаго искусства, оно всегда было далеко отъ этого идеала, а въ настоящее время еще больше отдалилось отъ него; но это-то и составляетъ его силу. Собственно художественный интересъ не могъ не уступить мѣста другимъ важнѣйшимъ для человѣчества интересамъ, и искусство благородно взялось служить имъ, въ качествѣ ихъ органа. Но отъ этого оно нисколько не перестало быть искусствомъ, а только получило новый характеръ. Отнимать у искусства право служить общественнымъ интересамъ, значить не возвышать, а унижать его, потому что это значить лишать его самой живой силы, т. е. мысли, дѣлать его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія игрушкою праздныхъ лѣнливцевъ. Это значить даже убивать его, чему доказательствомъ можетъ служить жалкое положеніе живописи нашего времени. Какъ будто не замѣчая кипящей вокругъ него жизни, съ закрытыми глазами на все живое, современное, дѣйствительное, это искусство ищетъ вдохновенія въ ст-

жившемъ прошедшемъ, беретъ оттуда готовые идеалы, къ которымъ люди давно уже охладѣли, которые никого уже не интересуютъ, не грѣютъ, ни въ комъ не пробуждаютъ живаго сочувствія.

„Платонъ считалъ униженіемъ, профанаціею науки приложеніе геометріи къ ремесламъ. Это понятно въ такомъ восторженномъ идеалистѣ и романтикѣ; гражданинъ маленькой республики, гдѣ общественная жизнь была такъ проста и немногосложна; но въ наше время она не имѣетъ даже оригинальности милой нелѣпости. Говорятъ, Диккенсъ своими романами сильно способствовалъ въ Англіи улучшенію учебныхъ заведеній, въ которыхъ все основано было на безпощадномъ драніи розгами и варварскомъ обращеніи съ дѣтьми. Что жъ тутъ дурнаго, спросимъ мы, если Диккенсъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ какъ поэтъ? Развѣ отъ этого романы его хуже въ эстетическомъ отношеніи? Здѣсь явное недоразумѣніе: видятъ, что искусство и наука не одно и то же, а не видятъ, что ихъ различіе вовсе не въ содержаніи, а только въ способѣ обработывать данное содержаніе. Философъ говоритъ силлогизмами, поэтъ—образами и картинами, а говорятъ оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружась статистическими числами, *доказываетъ*, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось, вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружась живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, *показываетъ*, въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ, дѣйствительно, много улучшилось или ухудшилось, отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ *доказываетъ*, другой *показываетъ*, оба *убѣждаютъ*, только одинъ логическими доводами, другой—картинками. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другаго—всѣ. Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на каждого изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію—сознаніе, а сознанію искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не можетъ замѣнить искусства, ни искусство науки.

„Дурное, ошибочное пониманіе истины не уничтожаетъ самой истины. Если мы видимъ иногда людей, даже умныхъ и благонамѣренныхъ, которые берутся за изложеніе общественныхъ вопросовъ въ поэтической формѣ, не имѣя отъ природы ни искры поэтическаго дарованія, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что такіе вопросы чужды искусству и губятъ его. Если бы эти люди вздумали служить чистому искусству, ихъ паденіе было бы еще разительнѣе. Плохъ, напримѣръ, былъ забытый теперь романъ *Панъ Подстолничъ*, вышедшій назадъ тому больше десяти лѣтъ и написанный съ похвальною цѣлю—представить картину состоянія бѣлорусскихъ крестьянъ; но все же онъ былъ не совсѣмъ бесполезенъ, и хоть съ страшною скукою, но прочли же иные. Конечно, авторъ лучше достигъ бы своей благородной цѣли, если бы содержаніе своего романа изложилъ въ формѣ записокъ или замѣтокъ наблюдателя, не спускаясь въ прозу; но если бы онъ взялся написать романъ чисто-поэтической, онъ еще меньше достигъ бы своей цѣли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Бываютъ писатели, пользующіеся незавиднымъ счастьемъ ни въ комъ не возбуждать неудовольствія своими сочиненіями, не вызывать никого на противорѣчіе себѣ, не имѣть противниковъ. Незавидно это счастье, потому что оно достается только людямъ пустымъ, занимающимся единственно риторическими распространеніями банальныхъ фразъ. Истина только потому и называется истиною, что противоположна заблужденію, лжи; а если существуетъ заблужденіе, то люди, его раздѣляющіе, станутъ, конечно, возражать противъ истины; если есть ложь, то люди, ее поддерживающіе, станутъ вооружаться противъ человѣка, ее разрушающаго. Не только въ искусствѣ, не только въ нравственныхъ, философскихъ, общественныхъ вопросахъ ни одна дѣльная мысль не можетъ быть высказана, не подавая повода къ возраженіямъ, даже въ математическихъ наукахъ, столь точныхъ и доказательныхъ, истина никогда не принималась безъ противорѣчій со стороны многихъ. Ньютоновъ законъ тяготѣнія долго казался нелѣпостью большинству астрономовъ. «Небесная Механика» Лапласа до сихъ поръ возбуждаетъ споры. Только учебники ариеметики не находятъ противорѣчія, потому что все ихъ содержаніе ограничивается осязательными истинами. Только писатели безъ убѣжденій, безъ образа мыслей, безъ содержанія и смысла умѣютъ говорить такъ, что ни въ комъ не пробуждаютъ желанія спорить противъ ихъ пустословія.

Вѣлинскій, человѣкъ съ твердыми убѣжденіями,—человѣкъ, *высказывавшій* много важныхъ и новыхъ въ нашей литературѣ ис-

тинъ, не могъ не имѣть многихъ противниковъ. Онъ касался живыхъ вопросовъ; потому во многихъ людяхъ, интересы которыхъ основывались на господствующихъ заблужденіяхъ, вражда противъ него доходила до непримиримаго ожесточенія. Не широки размѣры русской литературы, но горы бумаги были исписаны возраженіями и обвиненіями противъ Бѣлинскаго.

Каждый человѣкъ имѣетъ свои недостатки, каждый можетъ ошибаться; у всякаго писателя есть свои слабыя стороны. Надобно было бы предполагать, что въ сотняхъ обвиненій, въ тысячахъ возраженій противъ Бѣлинскаго найдутся нѣкоторые справедливыя указанія на его недостатки и ошибки: вѣдь, натурально не былъ же онъ изъять отъ общей человѣческой участи не быть непогрѣшительнымъ. Между противниками Бѣлинскаго были люди очень умные, напр., Н. А. Полевой, были люди, считавшіеся учеными (которыхъ не исчисляемъ, потому что людямъ, считающимся учеными, нѣтъ числа: ихъ у насъ едва ли не больше, нежели людей грамотныхъ). Много лѣтъ, со всевозможною старательностію, они искали у Бѣлинскаго ошибокъ, чтобъ имѣть случай побранить его. Какъ бы, казалось, не найти? И находили. Но удивительны были эти находки. О нѣкоторыхъ обвиненіяхъ мы уже говорили: это чистыя выдумки, — напримѣръ, фраза, будто бы онъ возстаетъ противъ славныхъ нашихъ писателей, когда, напротивъ, онъ упрочилъ за ними въ исторіи литературы почетное, можетъ быть, даже слишкомъ почетное мѣсто; другая фраза, будто бы его требованія были слишкомъ велики, когда напротивъ, они были чрезвычайно умѣренны *) — странно и вспомнить о такихъ несообразныхъ съ фактами обвиненіяхъ. А это были едва ли еще не самыя лучшія; другія еще гораздо болѣе странны. Неудачность всѣхъ нападеній на Бѣлинскаго объясняется, впрочемъ, очень просто: во первыхъ, во всемъ существенномъ правда была на его сторонѣ, какъ то всегда бываетъ въ дѣятельности, служащей дѣйствительному прогрессу; а

*) Нѣтъ сомнѣнія, что если теперь желанія образованнѣйшей части публики таковы, что могутъ быть удовлетворены очень легко (доказательства тому были даны публикою въ послѣднее время очень осозательнымъ образомъ), за это надо много благодарить Бѣлинскаго, всѣми силами старавшася пріучить насъ предпочитать дѣйствительное, хотя бъ и скромное удовлетвореніе фантазерскимъ желаніямъ, и положительно указавшаго намъ мѣру разумныхъ требованій.

мелочныхъ недостатковъ не могли его противники открыть у него, потому что были люди отсталые или непроницательные и вообще не понимали дѣйствительнаго положенія ученыхъ вопросовъ, о которыхъ шла рѣчь, а жизненные вопросы понимали превратнымъ или пристрастнымъ образомъ. Оттого-то обвиненія, которыя высказывались ими, были направлены совершенно неудачно. Два-три примѣра мы уже видѣли. Не менѣе забавно то обвиненіе, которое относилось къ предмету, изложенному нами во второй половинѣ предъидущей статьи.

Каждый, кто перечитываетъ статьи Бѣлинскаго въ хронологическомъ порядкѣ, видитъ, что онѣ тѣсно связаны между собою, что въ развитіи его мнѣній нѣтъ ни перерыва, ни внезапныхъ поворотовъ, что это развитіе совершалось правильно и совершенно постепенно, почти неуловимымъ образомъ; а, между тѣмъ, находились люди, съ удивительною мѣткостію обвинявшіе Бѣлинскаго въ томъ, что «нынѣ онъ самъ противорѣчитъ тому, что говорилъ за мѣсяць». Какъ могло возникнуть мнѣніе, столь очевидно противорѣчившее всѣмъ извѣстной твердости и послѣдовательности убѣжденій Бѣлинскаго? Дѣло въ томъ, что люди, не одаренные излишнею проницательностію, вѣчно останавливаются на отдѣльныхъ фразахъ, не вникая въ связь и смыслъ рѣчи, и потому имъ постоянно грезятся противорѣчія. Въ одной статьѣ Бѣлинскаго говорилось, на примѣръ, что, по сравненію съ англійскою, французскою, нѣмецкою литературами, русская все еще *очень бѣдна*; въ другой статьѣ говорилось, что нынѣ стала она *богаче* содержаніемъ, нежели была прежде. Вотъ и найдено противорѣчіе: Бѣлинскій иногда говоритъ, что наша литература бѣдна, иногда, что она богата. Таковы-то всегда были противорѣчія, въ которыхъ упрекали Бѣлинскаго. Иногда онъ и самъ наводилъ своихъ обвинителей на подобныя открытія: замѣтивъ какую нибудь ошибку въ той или другой изъ прежнихъ своихъ статей, онъ безъ всякой ложной робости самъ указывалъ эту ошибку. Особенную радость доставилъ его противникамъ слѣдующій случай. Когда вышелъ «Тарантасъ» гр. Соллогуба, Бѣлинскому сначала показалось, что авторъ вѣрнѣе въ разумность тѣхъ преобразованій въ нравахъ, предположенія о которыхъ излагаются въ его книгѣ, и въ краткомъ извѣщеніи о выходѣ «Тарантаса» мнѣніе о книгѣ произносится съ этой точки зрѣнія. Когда Бѣлинскій внимательнѣе вдумался въ идею «Тарантаса»,

ему показалось, что во многих странных мнѣніяхъ можно оправдать автора, предположивъ, что онъ высказываетъ ихъ иронически; потому въ большой критической статьѣ о «Тарантасѣ» (которая помѣщена въ слѣдующей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ») было сказано: «беремъ назадъ свои слова» — какой превосходный случай кричать о шаткости убѣжденій Бѣлинскаго! А, между тѣмъ, стоять только сличить рецензію, которая отвергалась критическою статьею, съ соответствующими мѣстами этой послѣдней, и мы увидимъ, что различіе между ними ничтожно: если бы самъ Бѣлинскій не высказалъ, что взглядъ его измѣнился, никто бы того и не могъ замѣтить *).

*) Въ краткой рецензіи («Отечественныя Записки» 1845 г., № 4) говорилось:

«Тарантасъ» графа Соллогуба — сочиненіе оригинальное и интересное. Это пестрый калейдоскопъ парадоксовъ, иногда оригинальныхъ, иногда странныхъ, замѣтокъ самыхъ вѣрныхъ, наблюденій самыхъ тонкихъ, съ выводами, иногда поражающими своею истинностью, мыслей необыкновенно умныхъ, картинъ яркихъ, художественно набросанныхъ, разсужденій дѣльныхъ, чувствъ горячихъ и благородныхъ, иногда доводящихъ автора до крайности и односторонности въ убѣжденіяхъ. Это книга живая, пестрая, одушевленная, равнообразная, — книга, которая возбуждаетъ въ душѣ читателя вопросы, тревожитъ его убѣжденія, вызываетъ его на споры и заставляетъ его съ уваженіемъ смотрѣть даже и на тѣ мысли автора, съ которыми онъ не соглашается. Это не романъ, не повѣсть, не путешествіе, не философскій трактатъ, не журнальная статья, но и то, и другое, и третье вмѣстѣ. Авторъ является въ своей книгѣ и литераторомъ, и художникомъ, и публицистомъ, и мыслителемъ».

А въ критической статьѣ, появившейся черезъ мѣсяцъ («Отечественныя Записки» 1845 г., № 5) было сказано:

«Многіе видятъ въ «Тарантасѣ» какое-то двойственное произведеніе, въ которомъ сторона непосредственнаго, художественнаго представленія дѣйствительности превосходна, а сторона возврѣній автора на эту дѣйствительность, его мыслей о ней, будто бы исполнена парадоксовъ, оскорбляющихъ въ читателѣ чувство истины. Подобное мнѣніе несправедливо. Тѣ, кому оно принадлежитъ, не довольно глубоко вникли въ идею автора, и объективную вѣрность, съ какою изобразилъ онъ характеръ одного изъ героевъ «Тарантаса» — *Ивана Васильевича* — приняли за выраженіе его личныхъ убѣжденій, тогда какъ на самомъ дѣлѣ авторъ «Тарантаса» столько можетъ отвѣчать за мнѣнія героя своего юмористическаго разсказа, сколько, напримѣръ, Гоголь можетъ отвѣчать за чувства, понятія и поступки дѣйствующихъ лицъ въ его *Ревизорѣ* или *Мертвыхъ Душахъ*. Между тѣмъ, ошибочный взглядъ лучшѣ

Обстоятельство это само по себѣ вовсе не важно, и только такой строгій къ себѣ человекъ, какъ Бѣлинскій, могъ почестъ нужнымъ указывать ошибку, и незначительную и незамѣтную. А еслибъ вздумалось ему совершенно прикрыть ее, это было бы очень легко:

части читателей на „Тарантасъ“ очень понятенъ: при первомъ чтеніи, можетъ показаться, будто бы авторъ не чуждъ желанія, хотя и не прямо, а предположительно, высказать, черезъ Ивана Васильевича, нѣкоторыя изъ своихъ воззрѣній на русское общество,—и тѣмъ легче увлечься подобнымъ ошибочнымъ мнѣніемъ, что необыкновенный талантъ автора и его мастерство живописать дѣйствительность лишаютъ читателя способности спокойно смотрѣть на картины, которыя такъ быстро и живо проходятъ передъ его глазами. Мы сами на первый разъ увлеклись рѣзкимъ противорѣчіемъ, которое находится между этими беспрестанно смѣняющимся и беспрестанно поражающими новымъ удивленіемъ картинами и между странными—чтобъ не сказать: недѣльными—мнѣніями Ивана Васильевича. Это заставило насъ забыть, что мы читаемъ не легкіе очерки, не сцены, а произведеніе, въ которомъ характеры дѣйствующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ которомъ нѣтъ ничего произвольнаго, но все необходимо проистекаетъ изъ глубокой идеи, лежащей въ основаніи произведенія. Такимъ образомъ, беремъ назадъ свое выраженіе въ рецензіи о „Тарантасѣ“ (въ 4-й книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“), что въ немъ, вмѣстѣ съ дѣльными мыслями, много и парадоксовъ. Только въ XV и XVI главахъ авторъ „Тарантаса“ говоритъ съ читателемъ отъ своего лица; и вотъ—кстати замѣтить—эти-то главы больше всего сбиваютъ читателя съ толку, раздвоя въ его умѣ произведеніе графа Соллогуба и ужасая его множествомъ страшныхъ парадоксовъ. Но мы не скажемъ, чтобъ это были парадоксы: это скорѣе мнѣнія, съ которыми нельзя согласиться безусловно и которыя вызываютъ на споръ. Последнее обстоятельство даетъ имъ полное право на книжное существованіе: съ чѣмъ можно спорить и что стѣдить спора, то имѣетъ право быть написаннымъ и напечатаннымъ. Есть книги, имѣющія удивительную способность смертельно наскучать читателю, даже говоря всю истину и правду, съ которою читатель вполне соглашается; и, наоборотъ, есть книги, которыя имѣютъ еще болѣе удивительную способность заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностью ихъ направленія съ его убѣжденіями; онѣ служатъ для читателя повѣрною его собственныхъ вѣрованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ или вовсе отказывается отъ своего убѣжденія, или умѣряетъ его, или, наконецъ, еще болѣе въ немъ утверждаетъ. Такой книгѣ охотно можно простить даже и парадоксы, тѣмъ болѣе, если они искренны и авторъ ихъ далекъ отъ того, чтобъ подозрѣвать въ нихъ парадоксы. Вотъ другое дѣло—парадоксы умышленные, порожденные эгоистическимъ желаніемъ поддержать вопіющую ложь въ пользу касты или лица: такіе парадоксы не стѣбятъ опроверженія и спора; презрительная насмѣшка—единственное достойное ихъ *каваніе...*“

стоило только употребить въ критической статьѣ оборотъ такого рода: «въ предъидущей книжкѣ мы сказали, что «Тарантасъ» наполненъ парадоксами», и, перифразировавъ прежнее сужденіе, продолжать: «да, авторъ часто вдается въ крайности, въ односторон-

Разница, какъ видимъ, состоитъ единственно въ томъ, что прежде Бѣлинскому многія изъ мыслей, излагаемыхъ Иваномъ Васильевымъ, казались мнѣніями самого автора; потомъ ему вдумалось, что можно предполагать въ изложеніи этихъ мнѣній тонкую иронию со стороны графа Соллогуба, и что только въ двухъ главахъ (разсказывающихъ воспитаніе Василія Ивановича и Ивана Васильевича) графъ Соллогубъ прямо излагаетъ свои собственныя понятія,—только изъ этихъ главъ можно заключать объ истинныхъ мнѣніяхъ автора: въ другихъ случаяхъ кажущіеся парадоксы, быть можетъ, скрываютъ подъ собою иронию. Но отъ этого новаго предположенія измѣняется только сужденіе о соображеніяхъ, руководившихъ авторомъ „Тарантаса“, и только. Взглядъ самого Бѣлинскаго на вещи нимало не измѣняется отъ того, будетъ ли онъ спорить противъ одного Ивана Васильевича, или будетъ думать, что мысли, высказываемыя Иваномъ Васильевичемъ, отчасти раздѣляются и авторъ „Тарантаса“. И, дѣйствительно, критическая статья о „Тарантасѣ“ безпощадно опровергаетъ парадоксы, все равно, отъ лица ли Ивана Васильевича, или отъ лица автора они высказываются. Вотъ, на примѣръ, начало разбора XV главы, разсказывающей біографію Василія Ивановича: иронія критика нимало не смягчается тѣмъ, что мнѣнія, имъ опровергаемыя, излагаются прямо отъ лица автора.

Изобразивъ съ такою поразительною вѣрностью „воспитаніе“ *Василія Ивановича* и сказавъ, что даже и оно не испортило его доброй натуры, авторъ удивляется тому, что всѣ наши дѣды и прадѣды воспитывались такъ же, какъ и *Василій Ивановичъ*, а, между тѣмъ, не въ примѣръ намъ, были отличнѣйшіе люди, съ твердыми правилами, что особенно доказывается тѣмъ, что они «крѣпко хранили, не по логическому убѣжденію, а по *какому-то странному (?) внушенію (!)*, любовь ко всѣмъ нашимъ отечественнымъ постановленіямъ“ (стр. 179). Здѣсь авторъ что-то темновато разсуждаетъ: но сколько можемъ мы понять, подъ отечественными постановленіями онъ разумѣетъ старыя обычая, которыхъ наши дѣды и прадѣды, дѣйствительно, крѣпко держались. Кому не извѣстно, чего стоило Петру Великому сбрить бороду только съ малѣйшей части своихъ подданныхъ? Впрочемъ, добродѣтель, которая возбуждаетъ такой энтузіазмъ въ авторѣ „Тарантаса“, и которая заключается въ крѣпкомъ храненіи старыхъ обычаевъ, именно изъ того и вытекала, что наши дѣды и прадѣды, какъ говоритъ графъ Соллогубъ, были точно „люди не грамотные“ (стр. 179). Мы не можемъ прійти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же авторъ тутъ удивляется... Эта добродѣтель и теперь еще сохранилась на Руси, именно между старообрядцами разныхъ толковъ, которые, какъ извѣстно, въ грамотѣ очень не сильны. *Китайцы* тоже отличаются этою добродѣтелью, именно потому, что они, *пре*

ность,—это тѣмъ страннѣе, что самъ онъ очень часто и удачно подсмѣивается надъ этою односторонностью, выставляя съ тонкою ироніею нелѣпость понятій своего героя, Ивана Васильевича». Читатель согласится, что посредствомъ этого оборота легко было бы выразить все, что выражено въ выписанномъ нами отрывкѣ критической статьи, и съ тѣмъ сохранить совершенное внѣшнее согласіе этой статьи съ прежнимъ отзывомъ. Такъ постоянно и дѣлаютъ почти всѣ писатели. Только немногіе, слишкомъ твердые въ своихъ основныхъ убѣжденіяхъ, слишкомъ ясно понимающіе, что они идутъ во всемъ существенномъ по прямой дорогѣ, не боятся сами выставлять на видъ всѣ свои ошибки *).

своей грамотности, ужасные невѣжды и обскуранты. Но еще больше китайцевъ отличаются этою добродѣтелью безчисленныя породы бессловесныхъ, которыя совсѣмъ не способны знать грамотѣ, и которыя до сихъ поръ живутъ точь-въ-точь, какъ жили ихъ предки съ перваго дня созданія... Вотъ, если бы авторъ „Тарантаса“ нашелъ гдѣ-нибудь людей просвѣщенныхъ и образованныхъ, но которые крѣпко держатся старыхъ обычаевъ, и удивился бы этому, тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и вполне раздѣлили бы его...

Мы не будемъ говорить, какъ *Василій Ивановичъ* служилъ въ Казани плясалъ на одномъ балу *казачка* и влюбился въ свою даму: но мы не можемъ пропустить *рацеи* его „дражайшаго родителя“, въ отвѣтъ на „покорнѣйшую“ просьбу „послушнѣйшаго“ сына о благословеніи на бракъ: „Вишь, щенокъ, что затѣялъ; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ о бабѣ думаетъ“. Отъ матери онъ услышалъ то же самое. Воля мужа была ей закономъ. „Даромъ, что пьяница“, думала она, „а все-таки мужъ“. При этомъ, авторъ не могъ удержаться отъ восклицанія: „такъ думали въ старину!“ Хорошо думали въ старину! прибавимъ мы отъ себя. Когда милый „тятенька“ *Василій Ивановича* умеръ отъ сивухи, добрые его крестьяне горько о немъ плакали: картина была умилительная... Авторъ очень остроумно замѣчаетъ, что „любовь мужика къ баринѣ есть любовь врожденная и почти неизъяснимая“: мы въ этомъ столько же увѣрены, какъ и онъ. Наконецъ, *Василій Ивановичъ* женился и поѣхалъ въ *Мордасы*; на границѣ помѣстья, всѣ мужики, *стоя на колѣняхъ*, ожидали молодыхъ съ хлѣбомъ и солью. „Русскіе крестьяне—говоритъ авторъ—не кричатъ виватовъ, не выходятъ изъ себя отъ восторга, но *тихо и трогательно* выражаютъ свою преданность, и *жалокъ тотъ, кто* видитъ въ нихъ только лукавыхъ, бессловесныхъ рабовъ и не вѣруетъ въ ихъ искренность“ (стр. 187). Объ этомъ предметѣ мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Еслибъ *Василій Ивановичъ* спросилъ у своего старосты, отчего крестьяне такъ радуются, староста, навѣрное, отвѣтилъ бы:

. они

На радости, тебя увида, пляшутъ.

*) Говоря строго, надобно признаться что ошибки въ настоящемъ случаѣ

Исторія съ «Тарантасомъ», нами рассказанная была самымъ важнымъ изъ тѣхъ случаевъ, на которые ссылались противники Бѣлинскаго въ доказательство шаткости его мнѣній; другіе доводы ихъ были еще забавнѣе; но было бы слишкомъ долго припоминать эти другіе случаи. Наша литература вообще имѣетъ еще слишкомъ мало опытности, и только этимъ объясняется возможность до чрезвычайности странныхъ недоразумѣній и невѣроятныхъ промаховъ, примѣры которыхъ такъ часты въ ней. Въ самомъ дѣлѣ, правдоподобное ли дѣло, чтобы писателя, подобнаго Бѣлинскому, могли обвинять въ шаткости мнѣній, когда скорѣе можно было говорить о чрезвычайномъ упорствѣ его? Ни въ одной изъ западно-европейскихъ литературъ, болѣе опытныхъ, такое странное недоразумѣніе невозможно.

Мы не безъ намѣренія останавливаемся на обвиненіяхъ противъ Бѣлинскаго, хотя они по своей совершенной пустотѣ не заслуживаютъ ни малѣйшаго вниманія: для характеристики положенія нашей литературы они имѣютъ свою цѣну. Важность истори-

не было вовсе, и что Бѣлинскій не имѣлъ основательной причины брать назадъ прежнія слова. Авторъ „Тарантаса“ очевидно подмѣшивается во многихъ случаяхъ надъ Иваномъ Васильевичемъ; но столь же очевидно, что во многихъ случаяхъ онъ выставляетъ его сужденія, какъ основательныя и справедливыя. Потому обѣ фразы: въ парадоксахъ „Тарантаса“ „скрывается иронія“ и „парадоксы эти высказываются какъ положительная истина“,—обѣ эти фразы равно могутъ быть употреблены, равно близки къ правдѣ: на однихъ страницахъ „Тарантаса“ выставляется нелѣпымъ то самое, что на другихъ представляется глубокою мудростью. Противорѣчіе въ книгѣ, а не въ критикѣ.

Мы изложили дѣло въ томъ видѣ, какъ оно было понято большинствомъ тогдашней публики и литераторовъ, принявшихъ оговорку Бѣлинскаго въ серьезномъ смыслѣ. На самомъ же дѣлѣ ближе къ правдѣ было бы другое понятіе о ея смыслѣ. Критическая статья о „Тарантасѣ“ написана очень ѣдко; нелѣпость мнѣній Ивана Васильевича обнаруживается въ ней самымъ колымъ образомъ. Потому слова: „эти мнѣнія не должны быть приписываемы автору, онъ самъ вмѣстѣ съ нами смѣется надъ нами и написалъ книгу свою именно съ тою цѣлію, чтобы обнаружить ихъ нелѣпости“,—слова эти, по всей вѣроятности, внушены только желаніемъ оказать возможную пощадку писателю, эти слова внушены деликатностію,—другаго смысла не слѣдовало бы и искать въ нихъ. Такимъ образомъ, всѣ громкія выходки противъ Бѣлинскаго, будто бы въ самомъ дѣлѣ отказывавшагося отъ мнѣнія, высказаннаго за мѣсяцъ,—всѣ эти выходки были, по настоящему основаны на недогадливости о смыслѣ его оговорки. Примѣрами такой недогадливости богата бѣдная исторія нашей литературы.

ческаго явленія опредѣляется не только его безотносительнымъ содержаніемъ, но и сравненіемъ его съ другими окружающими явленіями. Отсталость, мелочность или пустота направленій, которыя существовали въ русской литературѣ внѣ критики Бѣлинскаго, заставляютъ насъ вдвойнѣ дорожить этою критикою *).

Чѣмъ внимательнѣе будемъ мы сравнивать въ хронологическомъ порядкѣ всѣ статьи, написанныя Бѣлинскимъ, тѣмъ очевиднѣе будетъ обнаруживаться, что развитіе его понятій совершалось совершенно логически, постепеннымъ, почти неувидимымъ образомъ. Но и представленное въ предыдущей статьѣ сравненіе шести годичныхъ отчетовъ его о русской литературѣ, въ «Отеч. Запискахъ» служить уже достаточнымъ доказательствомъ тому. Продолжать это сравненіе и на два послѣдніе отчета, помѣщенные въ «Современникѣ», было бы излишне, потому что никто не утверждалъ, чтобы въ послѣднее время мнѣнія Бѣлинскаго измѣнялись; напротивъ того, подъ конецъ его жизни многіе стали говорить, что Бѣлинскій началъ повторяться, что его новыя статьи не болѣе, какъ перифразы прежнихъ—мнѣніе, столь же основательное, какъ и всѣ упреки, рассмотрѣнные нами прежде. Повторимъ: наша литература такъ молода и неопытна, что безпрестанно встрѣчаются въ ней самыя наивныя недоразумѣнія, для разъясненія которыхъ надобно бываетъ серьезно и подробно разсуждать о самыхъ элементарныхъ понятіяхъ.

Бѣлинскій писалъ критическія статьи о русской литературѣ въ продолженіе четырнадцати лѣтъ. Они разсѣяны по нѣсколькимъ журналамъ. Читатели журналовъ постоянно смѣняются одни другими. Изъ пятидесяти человекъ, читавшихъ «Отечественныя Записки» 1845 года, едва ли одинъ былъ знакомъ съ «Телескопомъ»

*) Нѣтъ надобности повторять, что Бѣлинскаго должно считать только дальнѣйшимъ представителемъ направленія, считавшаго между своими послѣдователями почти всѣхъ даровитыхъ и образованныхъ русскихъ писателей, и что говоря: „внѣ критики Бѣлинскаго были только пустота и отсталость“, мы говоримъ только: „внѣ направленія, представителемъ котораго въ критикѣ былъ Бѣлинскій, нѣтъ ничего замѣчательнаго или плодотворнаго“, а вовсе не имѣемъ желанія уменьшать заслуги другихъ полезныхъ дѣятелей того времени, раздѣлявшихъ съ Бѣлинскимъ честь быть выразителями *живыхъ мыслей*. Бѣлинскій былъ, какъ мы уже говорили, только одинъ, первый или дѣятельнѣйшій изъ многихъ.

1835 года и едва ли пять человекъ слѣдили за «Отеч. Записками» съ 1840 года; изъ десяти человекъ, читавшихъ «Современникъ» 1847 года, едва ли одинъ читаль «Отеч. Записки» за всѣ предъидущіе годы. Возможно ли было бы въ статьѣ «Отеч. Зап.» 1845 г. уклониться отъ необходимаго объясненія того или другаго понятія на томъ основаніи, что оно ужь объяснено въ «Телескопѣ» 1845 г., когда изъ людей, для которыхъ писана статья 1845 г., только очень немногіе были знакомы съ этимъ прежнимъ объясненіемъ? Критическая статья пишется для публики, она должна имѣть въ виду, что различные годы даже одного и того же журнала имѣютъ постоянно измѣняющійся кругъ читателей. Оттого повторенія въ критическихъ статьяхъ неизбѣжны. Такъ всегда и бываетъ у всѣхъ писателей, занимающихся критикою. Конечно, если соединить въ одинъ переплетъ всѣ статьи Бѣлинскаго, многія страницы этого сборника будутъ заключать повторенія, — но должно помнить, что эти статьи были разбѣяны по сотнямъ книгъ. Избѣгать повтореній было бы въ критическомъ писателѣ страннымъ педанствомъ—безъ повтореній ни одна изъ его статей не была бы понятна и для десятой доли своихъ читателей. Возьмите любой сборникъ критическихъ статей автора, писавшаго въ продолженіе многихъ лѣтъ, и вы увидите, что половина его страницъ заключаютъ повтореніе сказаннаго въ другой половинѣ. У насъ теперь въ модѣ критическія статьи Маколея—укажемъ хотя на нихъ: просматривая этотъ сборникъ, вы въ двадцати мѣстахъ найдете одни тѣ же разсужденія о временахъ Елисаветы, о реформаціи въ Англіи, о вліяніи на ходъ англійской исторіи островитянскаго положенія Англіи, о вліяніи того обстоятельства, что въ Англіи долго не было постоянной арміи, и т. д., и т. д. Но въ Англіи никому не можетъ придти въ голову упрекать за то Маколея, говорить, что онъ повторяется, что онъ исписался; а у насъ говорилось это о Бѣлинскомъ, и говорившіе не подозрѣвали, что говорятъ несообразно съ здравымъ смысломъ.

Впрочемъ, мало сказать, что повторенія для Бѣлинскаго были стольже необходимы, какъ, напримѣръ, для Маколея: они были для русскаго критика гораздо необходимѣе, нежели для англійскаго. Это зависитъ отъ различнаго положенія и литературы нашей и публики.

Мнѣнія, которыя излагаетъ Маколей, излагаются сотнями дру-

гихъ англійскихъ писателей; они занесены въ книги, которыя находятся въ библиотекѣ каждаго имѣющаго библиотеку, хотя изъ сотни книгъ (а число такихъ людей въ Англии въ тысячу разъ больше, нежели у насъ).—и однако же, Маколею было необходимо двадцать разъ повторять одну и ту же мысль. У насъ не то. Миѣній, которыя излагались Бѣлинскимъ, вы не могли найти ни въ одной русской книгѣ, ни въ одномъ журналѣ, кромѣ того, въ которомъ писалъ онъ.

Европейская публика привыкла къ дѣятельной умственной жизни. Она приготовлена ко всякой новой мысли, готова съ перваго раза замѣтить и оцѣнить ее. У насъ — мы хотѣли бы сказать: у насъ то же самое, но факты говорятъ совершенно не то. У насъ даже старыя мысли, если только въ нихъ есть что нибудь живое, возбуждаютъ недоумѣніе, будто неслышанная новость — вотъ и свидѣтельство о томъ, съ какимъ успѣхомъ бывали замѣчены и оцѣнены эти старыя мысли, когда являлись въ нашей литературѣ новыми. Намъ нужно твердить, твердить и твердить, чтобы въ нашемъ вниманіи, въ нашей памяти утвердилось наконецъ то, о чемъ мы читаемъ.

Не споримъ, есть у насъ люди, составляющіе исключеніе изъ этого правила--слишкомъ грустно было бы если и того не было — но журнальныя статьи пишутся не для людей, составляющихъ исключеніе. А если кто вздумалъ бы сомнѣваться въ справедливости сказаннаго нами, то очень легко привести доказательства, не покидая рѣчи о Бѣлинскомъ: сколько въ послѣдніе годы было слычаевъ, что однихъ писателей хвалили, другихъ осуждали за новыя, будто бы мысли, а, между тѣмъ, эти мысли были заимствованы изъ статей Бѣлинскаго, да, въ довершеніе эффектности доказательства въ нашу пользу, обыкновенно принадлежали къ числу мыслей, которыя чаще всего повторялъ онъ. Примѣровъ легко набрать десятки. Укажемъ только одинъ, истинно восхитительный: когда была мода на библиографію, прославившіеся въ то время библиографы были превозносимы особенно за то, что чрезъ нихъ критическая исторія нашей литературы воздвигается на основаніи совершенно новомъ—на основаніи разработки фактовъ, о необходимости которой (будто бы) прежде у насъ и не думали, считая (будто бы) *подробное изслѣдованіе фактовъ* бесполезнымъ. Къ этимъ похваламъ присоединялись упреки Бѣлинскому за то, что онъ, самъ (будто

бы) пренебрегая разработкою фактовъ, доказывалъ (будто бы) бесполезность ея. Говорить это можно было только забывъ или вовсе никогда не имѣвъ понятія, что, при всякомъ удобномъ случаѣ, Бѣлинскій твердилъ о необходимости разработки фактовъ, возбуждалъ къ ней неутомимо, ободрялъ каждый сколько нибудь сносный опытъ въ этомъ родѣ. Надобно прибавить, что онъ самъ неутомимо занимался этою разработкою и собралъ для исторіи нашей литературы во сто разъ больше фактовъ, нежели кто нибудь изъ современныхъ ему или позднѣйшихъ писателей по части исторіи литературы. Такихъ восхитительныхъ примѣровъ можно было бы найти очень много въ журналахъ нашихъ за пятидесятые годы. Эти ошибки, кажется, слишкомъ ясно доказываютъ, что память у насъ довольно коротка, и что слишкомъ упорно нужно твердить намъ одну и ту же мысль, чтобы она сколько нибудь вошла въ наше сознаніе.

По необходимому условію критической дѣятельности, у Бѣлинскаго часто встрѣчаются повторенія основныхъ мыслей, и тѣ, которые видѣли въ этомъ неизбѣжномъ качествѣ всякой критики особенный недостатокъ Бѣлинскаго, обнаруживали только свое незнание съ понятіями объ условіяхъ, сообразно съ которыми должны дѣйствовать критикъ. Но тѣ, которые выводили изъ этихъ повтореній заключеніе, что въ послѣдніе годы Бѣлинскій только повторялъ сказанное имъ прежде, не прибавляя ничего новаго, что онъ исписался,—эти строгіе судьи обнаруживали, что они не въ состояніи даже понимать смысла читаемыхъ статей и въ своихъ сужденіяхъ руководятся только отыскиваніемъ сходныхъ словъ. Въ 1842 году Бѣлинскій говорилъ о значеніи Ломоносова, и въ 1847 также—этого было для нихъ довольно: они рѣшали, что въ 1847 году онъ не сказалъ о Ломоносовѣ ничего больше, какъ то, что говорилъ за пять лѣтъ. А между тѣмъ, стоило бы только сравнить соответствующія страницы въ двухъ обзорахъ, и они увидѣли бы, что въ 1847 году Бѣлинскій, кратко упоминая о тѣхъ вопросахъ по поводу Ломоносова, которые объяснилъ прежде, главное вниманіе обращаетъ на вопросы, которыхъ прежде не касался. Общаго между двумя этими эпизодами только то, что они говорятъ объ одномъ писателѣ и написаны по одному и тому же общему понятію о характерѣ его сочиненій,—они согласны между собою въ общемъ взглядѣ на Ломоносова; но ихъ содержаніе, частная

мысли, въ нихъ развиваемыя, совершенно различны. Въ 1842 году Бѣлинскій доказывалъ, что оды Ломоносова внушены не жизнью, а подражаніемъ иноземной реторической поэзіи. Почему такъ было и могло ли быть иначе, при тогдашнемъ положеніи русской умственной жизни, объ этомъ онъ не говорилъ въ 1842 году. Въ 1847 году, кратко упомянувъ, что поэзія Ломоносова есть поэзія подражательная, Бѣлинскій не останавливается на этомъ фактѣ, а объясняетъ его необходимость, доказываетъ, что именно по своей подражательности оды Ломоносова удовлетворяли потребностямъ того времени, что подражаніе явленіямъ цивилизованной жизни было тогда для насъ необходимѣйшимъ и плодотворнѣйшимъ дѣломъ—спрашивается: неужели содержаніе этого эпизода не совершенно ново въ сравненіи съ содержаніемъ прежняго эпизода? Чудно устроенъ свѣтъ; и хорошо, что не нашимъ противникамъ Бѣлинскаго пришлось рѣшать вопросъ объ отношеніи на примѣръ, Нибура къ Титу Ливію или Адама Смита къ Ксенофонту: они тотчасъ бы открыли, что англійскій экономистъ не болѣе, какъ повторилъ греческаго, а нѣмецкій историкъ—латинскаго. Въ самомъ дѣлѣ, предметы одни и тѣ же у нихъ: Нибуръ и Титъ Ливій, оба говорятъ о Ромулѣ и Нумѣ, о Цинциннатѣ и Камиллѣ; Адамъ Смитъ и Ксенофонтъ, оба говорятъ о государственныхъ доходахъ и расходахъ, о земледѣліи и ремеслахъ. Какое намъ дѣло до того, что въ сочиненіи одного разсматриваются одни вопросы въ сочиненіи другаго—совершенно другіе? Обѣ книги имѣютъ одинъ общій предметъ, одинаковое заглавіе—чего же больше? Не ясно ли, что позднѣйшая изъ двухъ книгъ должна быть повтореніемъ болѣе старой? зачѣмъ вникать въ смыслъ?—это дѣло не безопасное, да и не всякому оно по силамъ.

Кто вникаетъ въ смыслъ, не ограничивая своего разумѣнія исключительно именами и словами, тому, конечно, всегда казался чистою нелѣпостію упрекъ Бѣлинскому за повтореніе стараго или даже и за неподвижность. Трудно даже повѣрить, чтобы кому нибудь могло придти на мысль выбрать такую тему для своихъ филиппикъ; а, между тѣмъ, Бѣлинскаго, дѣйствительно, постоянно упрекали въ томъ, что онъ вѣчно повторяетъ одно и то же, хотя для всякаго читавшаго его статьи поразительнѣйшею чертою въ *дѣятельности* этого писателя должно было бы представляться *постоянное стремленіе* его впередъ. Вообще, говоря объ упрекахъ,

какіе дѣлались Бѣлинскому, чувствуешь себя совершенно неловко, какъ бы рассуждалъ о томъ, справедливо ли упрекать Волгу за то, что вода стоитъ въ ней неподвижно. Что дѣлать съ такимъ мнѣніемъ о неподвижности воды Волги? Объяснять его неумѣстность кажется оскорбительнымъ для глазъ и здраваго смысла; а, между тѣмъ, попробуйте не отвѣчать, если ктонибудь выскажетъ его, — и человекъ, высказавшій этотъ остроумный упрекъ, будетъ воображать, что онъ остается правъ. А если такихъ остроумныхъ людей много, то на совѣсти вашей будетъ лежать тяжелый грѣхъ, когда вы оставите ихъ въ заблужденіи.

Мы приведемъ еще только одинъ примѣръ въ опроверженіе страннаго заблужденія о которомъ упомянули сейчасъ.

Рядъ статей Бѣлинскаго о Пушкинѣ, безъ всякаго сомнѣнія, представляетъ одно стройное цѣлое; всѣ эти статьи написаны подъ вліяніемъ одной мысли, по одному общему плану, и, кажется, до сихъ поръ никому еще не приходило въ голову утверждать, чтобы статьи эти въ чемънибудь противорѣчили одна другой или чтобы общій планъ не былъ въ нихъ строго соблюденъ. Однако же, перечитывая статьи о Пушкинѣ, изъ которыхъ первая помѣщена въ шестой книгѣ «Отеч. Зап.» 1843 года, а послѣдняя въ одиннадцатой книгѣ 1846 года, невозможно не замѣтить, что взглядъ Бѣлинскаго постепенно становится все шире и глубже, а содержаніе статей все рѣшительнѣе проникается интересами національной жизни. Такъ, напримѣръ, въ началѣ первой статьи значеніе Пушкина объясняется преимущественно съ художественной точки зрѣнія, а въ заключеніи послѣдней статьи сильнѣе, нежели чисто художественное достоинство произведеній Пушкина, выставляется на видъ значеніе его дѣятельности для нашего общества, въ которомъ его поэзію пробуждалась гуманность *). Четвертая статья, рассматри-

*) Вотъ окончаніе послѣдней изъ статей о Пушкинѣ:

„Заключаемъ. Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ, художникъ и больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. Потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человека, какъ человека. Несмотря на генеалогическіе свои предрасудки, Пушкинъ по самой натурѣ своей былъ существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каж-

вающая лицейскія стихотворенія Пушкина, занимается преимущественно формальнымъ объясненіемъ той связи, въ какой манера Пушкина находится съ манерами предшествовавшихъ ему поэтовъ. Шестая, говорящая о «Русланѣ и Людмилѣ», «Кавказскомъ Пльѣнникѣ», «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», «Братьяхъ Разбойникахъ», ограничивается чисто литературными сужденіями объ этихъ произведеніяхъ; но въ седьмой статьѣ («Цыганы», «Полтава»), понятія Алеко о любви уже служатъ поводомъ къ эпизоду о нравственныхъ понятіяхъ, а въ восьмой и девятой статьяхъ, заключающихъ разборъ «Онѣгина», эпизоды подобнаго рода занимаютъ уже наибольшее число страницъ. Такъ, перечитывая статьи, составляющія, повидимому, совершенно однородное цѣлое, строго выполненныя по заранѣе обдуманному плану, мы можемъ видѣть, какъ расширяется кругъ предметовъ, говорить о которыхъ Бѣлинскій считаетъ своею главною обязанностью, и какъ чисто литературный взглядъ его все болѣе и болѣе оживляется, соединяясь съ заботою о другихъ потребностяхъ общества, какъ самая литература все яснѣе и яснѣе является Бѣлинскому сослужительницею интересовъ не столько искусства, сколько общества.

Заговоривъ о тѣхъ упрекахъ, какіе дѣлались Бѣлинскому, мы хотимъ покончить съ этимъ предметомъ и для того должны сказать нѣсколько словъ относительно обвиненія, столь же неосновательнаго въ сущности, такъ и всѣ предъидущія, но имѣвшаго по крайней мѣрѣ, тѣнь внѣшняго правдоподобія для людей, которые судятъ объ умѣ и другихъ дарованіяхъ писателя не по его сочиненіямъ, а по формальнымъ обстоятельствамъ его жизни.

Лавуазье былъ генеральный откупщикъ, одинъ изъ самыхъ дѣльныхъ и дѣятельныхъ по финансовой части директоровъ огромнаго коммерческаго предпріятія; но онъ создалъ новѣйшую химію, и никто въ Европѣ не вздумалъ отвергать его заслуги наукѣ на томъ основаніи, что-де онъ былъ промышленникъ: некогда ему было основательно заниматься химіею. Вильгельмъ Гумбольдтъ былъ дипломатъ, былъ министръ; но онъ написалъ гениальныя сочиненія по филологіи,—никто въ Европѣ не думалъ отвергать достоин-

дому, кто казался ему „человѣкомъ“. Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характерѣ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дѣтски кроткаго, мягкаго и нѣжнаго, и все это отразилось въ его *двадцатыхъ* созданіяхъ.

ство этихъ сочиненій на томъ основаніи, что-де некогда было Гумбольдту основательно заниматься филологіею: онъ писалъ депеши, велъ переговоры и писалъ резолюціи на дѣловыхъ бумагахъ. Анкетиль Дюперронъ былъ матросомъ, потомъ слугою въ Остѣ-Индіи,—но онъ первый изучилъ зендскій языкъ и познакомилъ Европу съ огнепоклонническою цивилизаціею,—и опять никто не вздумалъ спорить противъ него на томъ основаніи, что-де некогда матросу и лакею заниматься науками. Яковъ Бемъ, получивъ такое воспитаніе, которое едва научило его читать и писать, занялся для своего пропитанія сапожнымъ мастерствомъ и до конца жизни шилъ очень хорошіе сапоги, но кромѣ того, написалъ гениальныя философскія творенія,—и опять-таки никто въ Европѣ не думалъ говорить, что должны быть они плохи, потому-де, что куда же сапожнику быть хорошимъ философомъ: его дѣло точать сапоги и сучить дратву.

Это происходитъ отъ недогадливости умныхъ и образованныхъ людей въ Европѣ. Они, бѣдняжки, не подумали о самомъ легкомъ и вѣрномъ средствѣ, судить, хороши ли ученныя сочиненія такого-то автора. А вѣрнѣйшее средство это состоитъ въ томъ, чтобы спросить у автора: «покажи-ка намъ свои дипломы, скажи-ка, гдѣ ты кончилъ курсъ, какія ученныя общества приняли тебя въ число своихъ членовъ, какую должность ты занимаешь»? Есть дипломы у автора, занимаетъ онъ ученую должность, — значитъ и ученныя его сочиненія прекрасны.

Это правило съ успѣхомъ было у насъ примѣняемо къ Н. А. Полевому, но еще съ большимъ успѣхомъ къ Бѣлинскому. «Человѣкъ-де былъ не получившій никакихъ дипломовъ,—ну, и значитъ, не могъ основательно писать объ ученыхъ предметахъ».

Бѣлинскій не былъ ни сапожникомъ или матросомъ, ни дипломатомъ или банкиромъ, никакое житейское ремесло не отвлекало его отъ книгъ, но у него не было дипломовъ: какая же тутъ можетъ быть ученость, посудите сами.

Да посмотрите, догадливые судьи, на самыя сочиненія и рѣшайте вопросъ объ учености писателя по его твореніямъ.

Этого способа повѣрки своихъ знаній Бѣлинскій не можетъ бояться. Будущіе біографы Бѣлинскаго расскажутъ намъ, когда и чѣмъ именно онъ занимался и какъ пользовался доступными ему средствами для пріобрѣтенія знаній, — мы пишемъ не біографію,

насъ занимаютъ здѣсь не люди, а только ихъ сочиненія, — и потому для насъ довольно знать, что изученіе сочиненій Бѣлинскаго самымъ неоспоримымъ образомъ опровергаетъ всякія сомнѣнія въ основательности его знаній. У насъ мало было писателей, которыхъ можно было бы сравнить съ нимъ въ этомъ отношеніи. Кажется, нельзя сказать, чтобы кругъ вопросовъ, обнимаемыхъ его сочиненіями, былъ тѣснѣе, а между тѣмъ, положительно видишь, перечитывая его статьи, что обо всѣхъ вопросахъ, какихъ ни казался онъ, онъ имѣлъ понятія очень основательныя, которымъ могли бы позавидовать многіе ученые писатели.

Что же касается его специальной науки—исторіи русской литературы, онъ былъ и до сихъ поръ остается первымъ знатокомъ ея. Въ этомъ отношеніи никто изъ нашихъ ученыхъ не могъ до сихъ поръ сравниться съ нимъ. Вообще надобно признаться, Бѣлинскій, будучи значительнѣйшимъ изъ всѣхъ нашихъ критиковъ, былъ и однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ ученыхъ. Это фактъ неоспоримо доказываемый его сочиненіями. Сомнѣваться въ томъ значить обнаруживать или недостатокъ научнаго образованія въ себѣ, или свое незнакомство съ сочиненіями Бѣлинскаго.

Для иныхъ (впрочемъ, можно быть увѣреннымъ, очень немногихъ) можетъ показаться излишнею суровостью съ нашей стороны то, что мы не дѣлали ни малѣйшихъ уступокъ въ пользу людей, ославившихъ Бѣлинскаго упреками и обвиненіями, — неужели, въ самомъ дѣлѣ, эти люди были совершенно неправы?—Совершенно неправы, — и тутъ нѣтъ ничего особеннаго или страннаго для людей, имѣющихъ понятіе объ исторіи, которая очень часто говоритъ о случаяхъ совершенно подобныхъ, часто показываетъ намъ, что одна изъ борющихся партій была совершенно права, и всѣ обвиненія, взводившіяся на нее противниками, были совершенно ложны, происходя единственно отъ недалковидности, невѣжества, неблагонамѣренности и тому подобныхъ отрицательныхъ качествъ. «Но неужели, могутъ спросить насъ далѣе, вы хотите доказать, что критическая дѣятельность Бѣлинскаго—полное осуществленіе абсолютнаго идеала критики?»—Дѣло вовсе не въ томъ. Каждый писатель сынъ своего вѣка, и когда развитіе мысли съ теченіемъ времени становится выше той степени, которая была свойственна его эпохѣ, когда являются воззрѣнія болѣе полныя и глубокія, нежели каковы были его воззрѣнія, тогда конечно, его произведенія не-

рестаютъ быть совершенно удовлетворительными. Мы нисколько не сомнѣваемся въ томъ, что будущее развитіе человѣческой мысли далеко превзойдетъ своею полнотою и глубиною все, что произвела мысль нашего вѣка; мы увѣрены и въ томъ, что русской литературѣ предстоитъ великое развитіе, и что для того времени, когда настанетъ эта эпоха высшаго развитія, будетъ казаться неудовлетворительнымъ все существовавшее или существующее нынѣ въ русской литературѣ, въ томъ числѣ и критика Бѣлинскаго. Соображая аналогическій ходъ развитія другихъ литературъ, мы можемъ даже предусматривать, какія именно стороны нашей нынѣшней литературы будутъ казаться слабыми для того времени, можемъ предвидѣть и то, чѣмъ критика, соотвѣтствующая духу того времени, будетъ отличаться отъ критики Бѣлинскаго: она будетъ гораздо требовательнѣе, и, сравнительно съ нею, критика Бѣлинскаго будетъ казаться слишкомъ умѣренною въ своихъ требованіяхъ, слишкомъ уклончивою или даже слишкомъ слабою по выраженію этихъ требованій; предметы, о которыхъ тогда будетъ вести рѣчь русская литература, будутъ важнѣе, нежели были до сихъ поръ,—потому и критика будетъ находить недостойнымъ своего вниманія многое, что кажется въ нынѣшней литературѣ дѣломъ великой важности. Но эта эпоха еще впереди, и скоро ли настанетъ она, трудно рѣшить: что будетъ, можно предвидѣть, скоро ли и какимъ образомъ будетъ, нельзя сказать.

Предварительныя объясненія наши кончены, и мы теперь можемъ приступить къ подробному изложенію литературныхъ мнѣній Бѣлинскаго. Въ этомъ дѣлѣ мы постоянно будемъ приводить его собственныя слова, и трудъ нашъ ограничивается только выборомъ важнѣйшихъ мѣстъ изъ его послѣднихъ статей. Для большей точности, мы не будемъ даже отступать ни отъ того порядка, въ которомъ писаны были онѣ, ни отъ того порядка, въ которомъ излагаются эти мысли въ каждой статьѣ: мы просто представимъ извлеченіе изъ послѣднихъ статей Бѣлинскаго, зная, что это будетъ пріятнѣе всего для читателей, полезнѣе всего для литературы.

Начинаемъ наши извлеченія анализомъ статьи Бѣлинскаго помѣщенной въ «Петербургскомъ Сборникѣ»—«Мысли и замѣтки о русской литературѣ».

Безотносительное достоинство нашей литературы, по мнѣнію Бѣлинскаго, еще не очень велико. Это понятие важно, потому что вы, радуясь своимъ успѣхамъ, слишкомъ склонны воображать, что уже недалеко осталось намъ до того, чтобы стоять на ряду съ образованнѣйшими народами и отдыхать на воображаемыхъ лаврахъ. Необходимо напоминать намъ, что эта высокая мечта не болѣе, какъ мечта. Если мы чѣмъ можемъ по справедливости гордиться, то, безъ сомнѣнія, литературою: она составляетъ лучшую сторону нашей жизни; а между тѣмъ, и литература наша до сихъ поръ находится въ состояніи, близкомъ къ младенчеству. Но, несмотря на свою слабость, для насъ она имѣетъ чрезвычайную важность:

„Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случаѣ, ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ей, вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферѣ перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

„Въ нашемъ обществѣ преобладаетъ духъ разъединенія: у каждого нашего сословія все свое, особенное—и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычай, и даже языкъ. Духъ разъединенія враждебенъ обществу: общество соединяетъ людей, каста разъединяетъ ихъ. Этотъ духъ особности такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка дѣлъ, основаннаго Петромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенныя оттѣнки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не походятъ, если иногда почти то же различіе существуетъ и между ученымъ и художникомъ?... У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются вѣрными благородной рѣшимости не понимать, что такое искусство и зачѣмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозреваютъ живой связи ихъ искусства съ наукою, съ литературою, съ жизнію. И потому сведите *такою* ученаго съ *такимъ* художникомъ, и вы увидите, что они будутъ или молчать, или перекидываться общими фразами... Несомнѣнно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу; а это уже важно. Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила стѣнъ, отдѣлявшихъ въ старомъ обществѣ одинъ классъ отъ другаго; но она подкопалась подъ основаніе этихъ стѣнъ и если не повалила, то наклонила ихъ на бокъ, — и теперь со дня на день онѣ все болѣе и болѣе клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромъ, такъ что починять ихъ значило бы придавать имъ тяжесть, которая, по причинѣ подрываго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того неизбежное, паденіе. И если теперь раздѣленные этими стѣнами сословія не могутъ переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могутъ перескакивать черезъ нихъ тамъ, гдѣ онѣ особенно пообвалились или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде дѣлалось медленно и незаметно, те-

перь дѣлается и быстрее и замѣтнѣе,—и близко время, когда все это очень скоро и начисто сдѣлается. Желѣзныя дороги пройдутъ и подъ стѣнами и черезъ стѣны, туннелями и мостами; усиленіемъ промышленности и торговли онѣ переплетутъ интересы людей всѣхъ сословій и классовъ и заставятъ ихъ вступить между собою въ тѣ живыя и тѣсныя отношенія, которыя невольно сглаживаютъ всѣ рѣзкія и ненужныя различія.

„Но начало этого сближенія сословій между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежитъ исключительно нашему времени: оно сливается съ началомъ нашей литературы. Общественное просвѣщеніе потекло у насъ въ началѣ ручейкомъ мелкимъ и едва замѣтнымъ, но зато изъ высшаго и благороднѣйшаго источника—изъ самой науки и литературы. Наука у насъ и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда какъ образованіе только еще не разрослось, но уже укоренилось. Листъ его мелокъ и рѣдокъ, стволъ не высокъ и не толстъ, но корень уже такъ глубоко, что его не вырвать никакой бурѣ, никакому потоку, никакой силѣ: вырубите этотъ лѣсокъ въ одномъ мѣстѣ, но корень дастъ отпрыски въ другомъ, и вы скорѣе устанете вырубать, нежели устанетъ онъ давать новые отпрыски и разрастаться..

„Говоря объ успѣхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ успѣхахъ нашей литературы, потому что наше образованіе есть непосредственное дѣйствіе нашей литературы на понятія и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько поколѣній, рѣзко отличающихся одно отъ другаго, положила начало внутреннему сближенію сословій, образовала родъ общественнаго мнѣнія и произвела нѣчто въ родѣ особеннаго класса въ обществѣ, который отъ обыкновеннаго *средняго сословія* отличается тѣмъ, что состоитъ не изъ купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословій, сблизившихся между собою черезъ образованіе которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературѣ.

„Различіе литературнаго образованія общества перешло въ жизнь и раздѣлило людей на различно дѣйствующія, мыслящія и убѣжденные поколѣнія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріальныхъ интересовъ, являютъ собою признаки возникающей и развивающейся въ обществѣ духовной жизни. И это великое дѣло есть дѣло нашей литературы!...

„Литература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ нравственныхъ идей. Она началась сатирою и въ лицѣ Кантемира объявила нещадную войну невѣжеству, предрасудкамъ, сутяжничеству, ябедѣ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которыя она застала въ старомъ обществѣ не какъ пороки, но какъ правила жизни, какъ моральныя убѣденія. Каковъ бы ни былъ талантъ Сумарокова, но его сатирическія нападки на „красивую сѣмя“ всегда будутъ заслуживать почетнаго упоминованія отъ историка русской литературы. Комедіи Фонвизина были еще болѣе заслугою передъ обществомъ, нежели передъ литературою. Отчасти тоже можно сказать и объ „Ябедѣ“ Капниста. Басня потому такъ хорошо и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзіи. Самъ Державинъ, поэтъ по црѣ

имушеству лирической, былъ въ то же время и сатирическимъ поэтомъ, какъ, напримѣръ, въ „Фелиць“, „Вельможъ“ и другихъ пьесахъ. Наконецъ пришло время, когда въ нашей литературѣ сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведеніи житейской дѣйствительности. Конечно, смѣшно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, повѣсть или романъ могли исправить порочнаго человѣка; но нѣтъ сомнѣнія, что они открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробужденію его самосознанія, покрываютъ порочнаго презрѣніемъ и позоромъ. Не даромъ же многіе у насъ не могутъ безъ ненависти слышать имени Гоголя и его „Ревизора“ называютъ „безнравственнымъ“ сочиненіемъ, которое слѣдовало бы запретить. Равнымъ образомъ, теперь уже никто не будетъ такъ простодушень, чтобы думать, что комедія или повѣсть можетъ взяточника сдѣлать честнымъ человѣкомъ: нѣтъ! кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстѣло, не сдѣлаешь прямымъ; но вѣдь у взяточниковъ такъ же бываютъ дѣти, какъ и у невзяточниковъ: тѣ и другія, еще не имѣя причинъ считать безнравственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамѣтно для самихъ себя обогащаются такими впечатлѣніями, которыя не всегда оказываются безплодными въ ихъ послѣдующей жизни, когда они дѣлаются дѣйствительными членами общества. Впечатлѣнія юности сильны, и юность то и принимаетъ за несомнѣнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображеніе и умъ. И вотъ какимъ образомъ дѣйствуетъ литература уже не на одно образованіе, но и на нравственное улучшеніе общества. Какъ бы то ни было, но это фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, что только въ послѣднее время у насъ начало дѣлаться замѣтнымъ число людей, которые нравственныя убѣжденія стараются осуществлять на дѣлѣ, въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положенію...

„Не менѣе этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служитъ у насъ точкою соединенія людей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ *внутренно* раздѣленныхъ. Мѣщанинъ Ломоносовъ, за свой талантъ и свою ученость, достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускаютъ его въ свой кругъ. Бѣдный дворянинъ Державинъ, за свой талантъ, самъ дѣлается вельможею,—и между людьми, съ которыми сблизила его литература, онъ нашель не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій купецъ Каменевъ, написавшій балладу „Громвалъ“, пріѣхавъ въ Москву по дѣламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинымъ, а черезъ него перезнакомился со всѣмъ московскимъ литературнымъ кругомъ. Это было назадъ тому *сорокъ лѣтъ*, когда кушцы хаживали только въ переднія дворянскихъ домовъ, и то по дѣламъ, съ товарами или за должкомъ, объ уплатѣ котораго смиренно докучали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты, издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою чрезъ общую имъ всѣмъ страсть къ литературѣ. Образованность равняетъ людей. И въ наше время уже нисколько не рѣдкость встрѣтить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разночинецъ, и купецъ, и мѣщанинъ,—кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздѣляющія *ихъ внѣшнія различія* и взаимно уважаютъ другъ въ другѣ просто людей. Вотъ истинное начало образованной общественности, созданное у насъ литературою

Кто изъ имѣющихъ право на имя человѣка не пожелаетъ отъ всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по днямъ, а по часамъ, какъ росли наши сказочные богатыри! Какъ все живое, общество должно быть органическимъ, то есть множествомъ людей, связанныхъ между собою *внутренно*. Денежные интересы, торговля, акціи, балы, собранія, танцы — тоже связь, но только внѣшняя, слѣдовательно, не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренно связываютъ людей общіе нравственные интересы, сходство въ понятіяхъ, равенство въ образованіи и, при этомъ, взаимное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. Но всѣ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сихъ поръ и еще долго будетъ сосредоточиваться исключительно въ литературѣ: она живой источникъ, изъ котораго просачиваются въ общество всѣ человѣческія чувства и понятія...

„Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ—одно изъ свойствъ еще не установившейся природы русской: русскій человѣкъ любить или не въ мѣру хвастаться, или не въ мѣру скромничать.

„Пристаньте къ одной изъ этихъ партій, она сейчасъ же произведетъ васъ въ великіе люди, въ геніи, тогда какъ другая возненавидитъ и объявитъ бездарнымъ человѣкомъ. Но, во всякомъ случаѣ, имѣя враговъ, вы будете имѣть и друзей. Держась же безпристрастнаго, *трезваго* мнѣнія объ этомъ предметѣ, вы возстановите противъ себя обѣ стороны. Одна изъ нихъ обременитъ васъ своимъ моднымъ, поугайнымъ презрѣніемъ; другая, пожалуй, объявитъ васъ человѣкомъ безпокойнымъ, опаснымъ, подозрительнымъ, ренегатомъ и будетъ писать на васъ литературныя донесенія—разумѣется, публикѣ... Самое неприятное тутъ то, что вы не будете поняты, и въ вашихъ словахъ будутъ находить то неумѣренныя похвалы, то неумѣренную брань, но не будутъ видѣть въ нихъ вѣрной характеристики факта дѣйствительности, какъ онъ есть, со всѣми его добромъ и зломъ, достоинствами и недостатками, со всѣми противорѣчіями, которыя онъ носитъ въ самомъ себѣ. Это особенно прилагается къ нашей литературѣ, которая представляетъ собою столько крайностей и противорѣчій, что, сказавъ о ней что нибудь утвердительное, тотчасъ же должно сдѣлать оговорку, которая большинству публики больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можетъ показаться отрицаніемъ или противорѣчіемъ. Такъ, напримѣръ, сказавъ о сильномъ и благотворномъ вліяніи нашей литературы на общество и, слѣдовательно, о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому вліянію и этой важности не приписали большихъ размѣровъ, нежели какіе мы разумѣли, и, такимъ образомъ, не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенія, что мы не только имѣемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смѣло можетъ стать наравнѣ съ любой европейскою литературою. Подобное заключеніе было бы всячески ложно. У насъ есть литература, и литература, богатая талантами и произведеніями, если брать въ соображеніе ея средства и молодость,—но наша литература существуетъ только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и они имѣютъ полное право не признавать ея существованія, потому что они не могутъ черезъ нее изучать и узнавать насъ, какъ народъ, какъ общество. Литература

наша слишком молода, неопредѣленна и безцвѣтна для того, чтобы иностранцы могли видѣть въ ней фактъ нашей умственной жизни.

„Для иностранцевъ интереснѣе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тѣ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ, *Евгеній Онегинъ* былъ бы для иностранцевъ интереснѣе *Моцарта и Сальери, Скупая Рыцаря и Каменная Гостия*. И вотъ почему самый интересный для иностранцевъ русскій поэтъ есть Гоголь. Этотъ успѣхъ понятенъ: кромѣ огромности своего художническаго таланта, Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской *житетской* дѣятельности. А это-то всего и интереснѣе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэтазнакомиться съ страной, которая произвела его. Въ этомъ отношеніи Гоголь—самый національный изъ русскихъ поэтовъ, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причинѣ самой національности его сочиненій, и въ лучшемъ переводѣ не можетъ не ослабиться ихъ колоритъ.

„Но и этимъ успѣхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочетъ, чтобы геній его былъ признанъ вездѣ и всѣми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіе: необходимо еще, чтобы, будучи *национальнымъ*, онъ въ то же время былъ и *всемирнымъ*, то есть, чтобы національность его твореній была формою, тѣломъ, плотью, физиономіею, личностію духовнаго и безплотнаго міра общечеловѣческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобы національный поэтъ имѣлъ великое *историческое* значеніе не для одного только своего отечества, но чтобы его явленіе имѣло *всемирно-историческое* значеніе. Такіе поэты могутъ являться только у народовъ, призванныхъ играть въ судьбахъ человечества всемирно-историческую роль, то есть своею національною жизнію имѣть вліяніе на ходъ и развитіе всего человечества. И потому, если, съ одной стороны, безъ великаго генія отъ природы, нельзя быть всемирно-историческимъ поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не всемирно-историческимъ поэтомъ, то есть имѣть важность только для одного своего народа. Здѣсь значеніе поэта зависитъ уже не отъ него самого, не отъ его дѣятельности, направленія, генія, но отъ значенія страны, которая произвела его. Съ этой точки зрѣнія, у насъ нѣтъ ни одного поэта, котораго мы имѣли бы право поставить наравнѣ съ первыми поэтами Европы“.

Таланты есть повсюду и всегда; но не одни только таланты нужны для того, чтобы литература имѣла положительное достоинство, только содержаніе придаетъ истинную цѣну, ея произведеніямъ.

„Почти каждый образованный французъ считаетъ необходимымъ имѣть въ своей библиотекѣ всѣхъ своихъ писателей, которыхъ общественное мнѣніе признало классическими. И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь свою. У насъ—что грѣха таить?—не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имѣть старыхъ писателей. И вообще у насъ всѣ охотнѣе покупаютъ новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всѣхъ громче кричатъ о ихъ геніи и славѣ. Это отчасти *происходитъ оттого*, что наше образованіе еще не установилось и образова-

ныя потребности еще не обратились у насъ въ привычку. Но тутъ есть и другая, можетъ быть, еще болѣе существенная причина, которая не только объясняетъ, но частію и оправдываетъ это нравственное явленіе. Французы до сихъ поръ читаютъ, напримѣръ, Рабле, или Паскаля, писателей XVI и XVII вѣка: тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что этихъ писателей и теперь читаютъ и изучаютъ не одни французы, но и нѣмцы, и англичане,—словомъ, люди всѣхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарѣлъ: но *содержаніе* ихъ сочиненій всегда будетъ имѣть свой живой интересъ, потому что оно тѣсно связано со смысломъ и значеніемъ цѣлой исторической эпохи. Это доказываетъ ту истину, что только *содержаніе* можетъ спасти отъ забвенія писателя“.

Источникъ, изъ котораго возникаетъ богатая литература—богатство и сила умственной жизни въ обществѣ. У насъ этого еще нѣтъ:

„Вообще, вмѣстѣ съ удивительными и быстрыми успѣхами въ умственномъ и литературномъ образованіи, проглядываютъ у насъ какая-то незрѣлость, какая-то шаткость и неопредѣленность. Истины, въ другихъ литературахъ давно сдѣлавшіяся аксиомами, давно уже не возбуждающія споровъ и не требующія доказательствъ, у насъ все еще не подвергались сужденію, еще не всѣмъ извѣстны.

„Вспомните только, что произведеніе, вѣрно схватывающее какія нибудь черты общества, считается у насъ часто пасквилемъ, то на общество, то на сословіе, то на лица. Отъ нашей литературы требуютъ, чтобы она видѣла въ дѣйствительности только героевъ добродѣтели да мелодраматическихъ злодѣевъ, и чтобы она и не подозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобы ему было широко и просторно жить, готовъ, еслибъ могъ, запретить другимъ жить. Явился у насъ писатель, юмористическій талантъ котораго имѣлъ до того сильное вліяніе на всю литературу, что далъ ей совершенно новое направленіе. Его стали порочить. Хотѣли увѣрить публику, что онъ—Поль-де-Кокъ, живописецъ грязной, неумытой и непричесанной природы. Онъ не отвѣчалъ никому и шелъ себѣ впередъ. Публика, въ отношеніи къ нему, раздѣлилась на двѣ стороны, изъ которыхъ самая многочисленная была рѣшительно противъ него, что, впрочемъ, нисколько не мѣшало ей раскупить, читать и перечитывать его сочиненія. Наконецъ и большинство публики стало за него: что дѣлать порицателямъ? они начали признавать въ немъ талантъ, даже большой, хотя, по ихъ словамъ, идущій и не по настоящему пути, но, вмѣстѣ съ этимъ, стали давать знать и намекали прямо, что онъ, будто бы, унижаетъ все русское, оскорбляетъ почтенное сословіе чиновниковъ, и т. п. Всѣ мнѣнія находятъ у насъ мѣсто, просторъ, вниманіе и даже послѣдователей. Что же это, если не незрѣлость и не шаткость общественнаго мнѣнія? Но, со всѣмъ этимъ, истина и здравый вкусъ все-таки идутъ твердыми шагами и овладѣваютъ полемъ этой беспорядочной битвы мнѣній. Все это доказываетъ, что и литература и общество наше еще слишкомъ молоды и незрѣлы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, общающей богатое развитіе въ будущемъ“.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ И ПОСЛѢДНЯЯ.

Продолжаемъ наши извлеченія изъ статей Бѣлинскаго. Намъ остается анализировать два послѣднія его годовыя обзоренія русской литературы—за 1846 и 1847 годы («Совр.» 1847 года, № 1, и 1848 года, №№ 1 и 3). Эти два обзоренія, вмѣстѣ съ статьей «Петербургскаго Сборника», отрывки изъ которой привели мы въ предъидущей главѣ, представляютъ довольно полное выраженіе общихъ литературныхъ воззрѣній Бѣлинскаго. Для перваго раза, эти извлеченія съ достаточною ясностью возобновляютъ въ памяти читателей личность гениальнаго нашего критика. Прійдетъ время, кто нибудь скажетъ намъ что нибудь новое, что нибудь лучшее. Въ нашемъ обществѣ, въ нашей литературѣ есть свѣжія силы, есть стремленіе впередъ, есть залогомъ для развитія болѣе живаго и широкаго, нежели все предъидущее. Пусть воспоминанія о Бѣлинскомъ утратятъ большую часть нынѣшняго живаго своего интереса для современности. Чѣмъ скорѣе это будетъ, тѣмъ лучше. А пока,— пока онъ все еще остается незамѣнимъ для нашей литературы.

«Взглядъ на русскую литературу 1846 года» начинается замѣчаніями о томъ, что характеръ современной русской литературы состоитъ въ болѣе и болѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнью и дѣйствительностью, и что подобная характеристика можетъ быть умѣстна только относительно литературы очень молодой, мало еще развившейся, и начавшейся въ подражаніе иностраннымъ литературамъ, а не изъ самостоятельной національной жизни, что отрѣшеніе отъ подражательности, постепенное достиженіе самобытности есть *главная черта въ исторіи нашей литературы*, что и доказывается фак-

тами. Выписки изъ этой части обзора были нами приводимы въ предъидущихъ главахъ. Наконецъ, говоритъ Бѣлинскій, въ произведеніяхъ Гоголя и писателей, имъ воспитанныхъ, наша литература явилась самобытною, стала вѣрнымъ изображеніемъ русской дѣйствительности и оттого получила въ глазахъ общества важное значеніе, какого прежде, по отсутствію живаго содержанія, она не имѣла. Въ беллетристикѣ старое риторическое направленіе совершенно безсилно; но внѣ беллетристики оно проявляется такъ называемымъ славянофильствомъ.

„Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россіи новой. Вотъ источникъ такъ называемаго славянофильства, которое мы впрочемъ, во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ, въ свою очередь, что время зрѣлости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена дѣтства литературы всѣхъ занимаютъ вопросы, если даже и важные сами по себѣ, то не имѣющіе никакого дѣльнаго примѣненія къ жизни. Такъ называемое славянофильство, безъ всякаго сомнѣнія касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится—это другое дѣло. Но прежде всего славянофильство есть убѣжденіе, которое, какъ всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полного уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе несогласны. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но разсмотрѣвъ его ближе, нельзя не увидѣть, что существованіе и важность этой литературной котеріи чисто-отрицательныя, что она вызвана и живетъ не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которою обрекла себя. Поэтому нѣтъ никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, что они хотятъ, да и сами они неохотно говорятъ и пишутъ объ этомъ, хотя и не дѣлаютъ изъ этого никакой тайны. Дѣло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то то предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія, не въ томъ, что они говорятъ противъ гнѣющаго будто бы Запада, но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ, напримѣръ, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно, отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, каковыя, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междуумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по французски, по нѣмецки, и по англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по-русски, и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. Все это справедливо до извѣстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого бы то ни было факта, а должна изслѣдовать его причины, въ надеждѣ въ самомъ злѣ найти и сред-

ства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не дѣлали и не сдѣлали; но зато они заставили если не сдѣлать, то дѣлать это своихъ противниковъ. И вотъ гдѣ ихъ истинная заслуга. Заснуть въ самолюбивыхъ мечтахъ, о чемъ бы онѣ ни были—о нашей ли народной славѣ, или о нашемъ европеизмѣ, равно безплодно и вредно, потому что сонъ есть не жизнь, а только грезы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прерветъ такой сонъ. Въ самомъ дѣлѣ, никогда изученіе русской исторіи не имѣло такого серьезнаго характера, какой приняло оно въ послѣднее время. Мы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и наметнуло о нашемъ будущемъ. Мы какъ будто испугались за нашу жизнь, за наше значеніе, за наше прошедшее или будущее, и скорѣе хотимъ рѣшить великій вопросъ: *Были или не были?* Тутъ уже дѣло идетъ не о томъ, откуда пришли варяги, съ запада или съ юга, изъ-за Балтійскаго, или изъ-за Чернаго моря, а о томъ, проходить ли черезъ нашу исторію какая нибудь живая органическая мысль, и если проходить, какая именно; какія наши отношенія къ нашему прошедшему, отъ котораго мы какъ будто оторваны, и къ Западу, съ которымъ мы какъ будто связаны. И результатомъ этихъ хлопотливыхъ и тревожныхъ изслѣдованій начинаетъ оказываться, что, во первыхъ, мы не такъ рѣзко оторваны отъ нашего прошедшаго, какъ думали, и не такъ тѣсно связаны съ Западомъ, какъ воображали. Съ другой стороны, обращаясь къ своему настоящему положенію, смотря на него глазами сомнѣнія и изслѣдованія, мы не можемъ не видѣть, какъ, во многихъ отношеніяхъ, смѣшно и жалко успокоилъ насъ нашъ русскій европеизмъ насчетъ нашихъ русскихъ недостатковъ, заблывая и зарумянивая, но вовсе не изглаживая ихъ. И въ этомъ отношеніи поѣздки за границу чрезвычайно полезны намъ: многіе изъ русскихъ отправляются туда рѣшительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная къѣмъ, и потому самому съ искреннимъ желаніемъ сдѣлаться русскими. Что же все это означаетъ?—Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великаго только лишила насъ народности и сдѣлала междуумками? И неужели они правы, говоря, что намъ надо воротиться къ общественному устройству и правамъ времени не то баснословнаго Гостомысла, не то царя Алексѣя Михайловича (насчетъ этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?..

„Нѣтъ, это означаетъ совсѣмъ другое, а именно то, что Россія вполнѣ исчерпала, исжила эпоху преобразованія, что реформа совершила въ ней свое дѣло, сдѣлала для нея все, что могла и должна была сдѣлать, и что настало для Россіи время развиваться самобытно, изъ самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, такъ сказать, эпоху реформы и воротиться къ предшествовавшимъ ей временамъ—неужели это значитъ развиваться самобытно? Смѣшно было бы такъ думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, какъ и перемѣнять порядокъ годовыхъ временъ, заставить за весною слѣдовать зиму, а за осенью—лѣто. Это значило бы еще признать явленіе Петра Великаго, его реформу и послѣдующія событія въ Россіи (можетъ быть, до самого 1812 года—эпохи, съ которой началась новая жизнь для Россіи), *признать ихъ случайными, какимы-то тяжелымъ сномъ, который тотчасъ исчезаетъ и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человекъ открываетъ глаза.*

Но такъ думать сродно только господамъ Маниловымъ. Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобъ быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Въмѣсто того, чтобъ думать о невозможномъ и смѣшить всѣхъ на свой счетъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавъ неотразимую и неизмѣнимую дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями. Не объ измѣненіи того, что совершилось безъ нашего вѣдома и что смѣется надъ нашею волею, должны мы думать, а объ измѣненіи самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшею насъ волею. Дѣло въ томъ, что пора намъ перестать *казаться*, а начать *быть*, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внѣшность принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно *человѣческое*, и, на этомъ основаніи, все европейское, въ чемъ нѣтъ чело-вѣческаго, отвергать съ такою же энергіею, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣтъ чело-вѣческаго.

„Повторяемъ: славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ: но тѣмъ не менѣе ихъ роль чисто-отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимаютъ за его результатъ, хотятъ видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листья безвкусными, объявляютъ плодъ гнилымъ и предлагаютъ огромный лѣсъ, разросшійся на необозримомъ пространствѣ, пересадить на другое мѣсто и приложить къ нему другаго рода угодъ. По ихъ мнѣнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая петровская Россія такъ же молода, какъ и Сѣверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чѣмъ въ прошедшемъ. Они забыли что въ разгарѣ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тѣ явленія, которыя, по окончаніи процесса, должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что въ послѣдствіи должно явиться результатомъ процесса. Въ этомъ отношеніи, Россію нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которыхъ исторія шла діаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвѣтъ и плодъ. Безъ всякаго сомнѣнія, русскому легче усвоить себѣ взглядъ француза, англичанина или нѣмца, нежели мыслить самостоятельно, по русски, потому что готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомить его и наука и современная дѣятельность, тогда какъ онъ, въ отношеніи къ самому себѣ, еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдѣ все зародыши, зачатки и ничего опредѣленнаго, развившагося, сформировавшагося. Разумѣется, въ этомъ есть нѣчто грустное, но зато какъ много и утѣшительнаго въ этомъ же самомъ! Дубъ растетъ медленно, зато живетъ вѣка. Человѣку сродно желать скораго свершенія своихъ желаній; но скороспѣлость ненадежна: намъ болѣе, чѣмъ кому другому, должно убѣдиться въ этой истинѣ. Извѣстно, что французы, англичане, нѣмцы такъ національны каждый по своему, что не въ состояніи понимать другъ друга,—тогда какъ

русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами, другие выводят из этого весьма печальныя заключения о безхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра: потому что, говорят они, у кого нѣтъ своей жизни, тому легко поддаваться подъ чужую, у кого нѣтъ своихъ интересовъ, тому легко принимать чужіе; но поддаваться подъ чужую жизнь не значитъ жить, понять чужіе интересы не значитъ усвоить ихъ себѣ. Въ послѣднемъ мнѣніи много правды, но не совсѣмъ лишено истины и первое мнѣніе, какъ ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажемъ, что рѣшительно не вѣримъ въ возможность крѣпкаго политическаго и государственнаго существованія народовъ лишенныхъ національности, слѣдовательно, живущихъ чисто-внѣшнею жизнью. Въ Европѣ есть одно такое искусственное государство, склеенное изъ многихъ національностей; но кому же неизвѣстно, что его крѣпость и сила—до поры до времени?.. Намъ, русскимъ, нечего сомнѣваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значеніи: изъ всѣхъ славянскихъ племенъ только мы сложились въ крѣпкое и могучее государство и какъ до Петра Великаго, такъ и послѣ него, до настоящей минуты, выдержали съ честью не одно суровое испытаніе судьбы, не разъ были на краю гибели и всегда успѣвали спастись отъ нея и потомъ являться въ новой и большей силѣ и крѣпости. Въ народѣ чуждомъ внутренняго развитія, не можетъ быть этой крѣпости этой силы. Да, в насъ есть національная жизнь; мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль; но каково это слово, какова мысль,—объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнаютъ это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими..

„Что же касается до многосторонности, съ какою русскій человѣкъ понимаетъ чуждыя ему національности,—въ этомъ заключается равно и его слабая и его сильныя стороны. Слабая потому, что этой многосторонности, дѣйствительно, много помогаетъ его настоящая независимость отъ односторонности собственныхъ національныхъ интересовъ. Но можно сказать съ достовѣрностью, что эта независимость только *помогаетъ* этой многосторонности; а едва-ли можно сказать съ какою нибудь достовѣрностью, чтобы она *производила* ее. По крайней мѣрѣ, какъ кажется, что было бы слишкомъ смѣло приписывать положенію то, что всего болѣе должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданій и мечтаній и пуще всего боясь произвольныхъ, личныхъ выводовъ, мы не утверждаемъ за непреложное, что русскому народу предназначено выразить въ своей національности наиболѣе богатое и многостороннее содержаніе, и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усвоивать себѣ все чуждое ему; но смѣемъ думать, что подобная мысль, какъ предположеніе, высказываемое безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основанія“..

„...На свѣтѣ нѣтъ ничего безусловно важнаго или неважнаго. Противъ этой истины могутъ спорить только тѣ исключительно теоретическія натуры, *которыя до тѣхъ поръ и умы, пока носятъ въ общихъ отвѣченностяхъ, а какъ скоро спустятся въ сферу приложеній общаго къ частному, словомъ, въ міръ*

дѣйствительность, тотчасъ оказываются сомнительными на счетъ нормальнаго состоянія ихъ мозга. Итакъ, все на свѣтѣ только относительно важно или не важно, велико или мало, старо или ново. „Какъ—скажутъ намъ—и истина, и добродѣтель—понятія относительныя“? Нѣтъ, какъ *понятіе*, какъ *мысль*, онѣ безусловны и вѣчны; но какъ *осуществленіе*, какъ *фактъ*, онѣ относительны. Идеи истины и добра признавались всѣми народами, во всѣ вѣка; но что непреложная истина, что добро для одного народа или вѣка, то часто бываетъ ложью и зломъ для другаго народа, въ другой вѣкъ. Поэтому безусловный или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный; теперь онъ называется абстрактнымъ или отвлеченнымъ. Ничего нѣтъ легче, какъ опредѣлить, чѣмъ долженъ быть человекъ въ нравственномъ отношеніи; но ничего нѣтъ труднѣе, какъ показать, почему вотъ этотъ человекъ сдѣлался тѣмъ, что онъ есть, а не сдѣлался тѣмъ, чѣмъ бы ему, по теоріи нравственной философіи, слѣдовало быть.

„Вотъ точка зрѣнія, съ которой мы находимъ признаки зрѣлости современной русской литературы въ явленіяхъ, повидимому, самыхъ обыкновенныхъ. Присмотритесь, прислушайтесь: о чемъ больше всего толкуютъ наши журналы?—о народности, о дѣйствительности. На что больше всего нападаютъ они?—на романтизмъ, мечтательность, отвлеченность. О нѣкоторыхъ изъ этихъ предметовъ много было толковъ и прежде, да не тотъ они имѣли смыслъ, не то значеніе. Понятіе о дѣйствительности совершенно новое; на романтизмъ прежде смотрѣли, какъ на альфу и омегу человѣческой мудрости, и въ немъ одномъ искали рѣшенія всѣхъ вопросовъ; понятіе о народности имѣло прежде исключительно литературное значеніе, безъ всякаго приложенія къ жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно въ сферѣ литературы, но разница въ томъ, что литература-то теперь сдѣлалась эхомъ жизни. Какъ судятъ теперь съ этихъ предметахъ—вопросъ другой. По обыкновенію, одни лучше, другіе хуже, но почти всѣ одинаково въ томъ отношеніи, что въ рѣшеніи этихъ вопросовъ видятъ какъ будто собственное спасеніе. Въ особенности, вопросъ о народности сдѣлался всеобщимъ вопросомъ и проявился въ двухъ крайностяхяхъ. Одни смѣшали съ народностью старинные обычаи, сохранившіеся теперь только въ простонародіи, и не любятъ, чтобы при нихъ говорили съ неуваженіемъ о курной и грязной избѣ, о рѣдкѣ и квасѣ, даже о сивухѣ; другіе сознавая потребность высшаго національнаго начала и не находя его въ дѣйствительности, хлопочуть выдумать свое, и неясно, намеками указываютъ намъ на *смиреніе*, какъ на выраженіе русской національности. Съ первыми смѣшно спорить; но вторымъ можно замѣтить, что смиреніе есть, въ извѣстныхъ случаяхъ, весьма похвальная добродѣтель для человека всякой страны; для француза какъ и для русскаго, для англичанина какъ и для турка; но что она едва-ли можетъ одна составить то, что называется „народностью“⁴. Притомъ же этотъ взглядъ, можетъ быть, превосходный въ теоретическомъ отношеніи, несомнѣнъ уживается съ историческими фактами. Удѣльный періодъ нашъ отличается скорѣе гордынею и драчливостью, нежели смиреніемъ; татарами поддались мы совсѣмъ не отъ смиренія (что было бы для насъ не честью, а *безчестіемъ*, какъ и для всякаго другаго народа), а по безсмію, *вслѣдствію*

раздѣленія нашихъ силъ родовымъ, кровнымъ началомъ, положеннымъ въ основаніе правительственной системы того времени. Іоаннъ Калита былъ хитеръ, а не смиренъ; Симеонъ даже прозванъ былъ „гордымъ“; а эти князья были первоначальниками силы Московскаго царства. Димитрій Довской мечемъ, а не смиреніемъ предсказалъ татарамъ конецъ ихъ владычества надъ Русью. Іоанны III и IV, оба прозванные „грозными“, не отличались смиреніемъ. Только слабыйъ Теодоръ составляетъ исключеніе изъ правила. И вообще, какъ то странно видѣть въ смиреніи причину, по которой ничтожное Московское княжество сдѣлалось сперва Московскимъ царствомъ, а потомъ Россійскою имперіею, пріосѣнивъ крыльями двуглаваго орла, какъ свое достояніе, Сибирь, Малороссію, Бѣлоруссію, Новороссію, Крымъ, Бессарабію, Лифляндію, Эстляндію, Курляндію, Финляндію, Кавказъ. Конечно, въ русской исторіи можно найти поразительныя черты смиренія, какъ и другихъ добродѣтелей, со стороны правительственныхъ и частныхъ лицъ; но въ исторіи какого же народа нельзя найти ихъ, и чѣмъ какойнибудь Людовикъ IX уступаетъ въ смиреніи Теодору Іоанновичу?... Толкуютъ еще о *любви*, какъ о національномъ началѣ, исключительно присущемъ однимъ славянскимъ племенемъ, въ ущербъ галльскимъ, тевтонскимъ и инымъ западнымъ. Эта мысль у нѣкоторыхъ обратилась въ истинную мономанію, такъ что кто-то изъ этихъ „нѣкоторыхъ“ рѣшился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью, отдѣлались мы не только отъ татаръ, но и отъ нашествія Наполеона. Мы, напротивъ, думаемъ, что любовь есть свойство человѣческой природы вообще и такъ же не можетъ быть исключительно принадлежностью одного народа или племени, какъ и дыханіе, зрѣніе, голодъ, жажда, умъ, слово. Ошибка тутъ въ томъ, что относительно принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основаніе европейскимъ государствамъ, тотчасъ же породила тамъ чисто юридическій бытъ, въ которомъ само насиліе и угнетеніе приняло видъ не произвола, а закона. У славянъ же, напротивъ господствовалъ обычай, вышедшій изъ „кроткихъ и любовныхъ“ патріархальныхъ отношеній. Но долго-ли продолжался этотъ патріархальный бытъ и что мы знаемъ о немъ достовѣрнаго? еще до удѣльнаго періода встрѣчаемъ мы въ русской исторіи черты вовсе не любовныя—хитраго воителя Олега, суроваго воителя Святослава, потомъ Святополка (убійцу Бориса и Глѣба), дѣтей Владиміра, возставшихъ на своего отца, и т. п. Это, скажутъ, занесли къ намъ варяги и—прибавимъ мы отъ себя—положили этимъ начало искаженію любовнаго патріархальнаго быта. Изъ чего же въ такомъ случаѣ хлопотать. Удѣльный періодъ такъ же мало періодъ любви, какъ и смиренія; это скорѣе періодъ рѣзни, обратившейся въ обычай. О татарскомъ періодѣ нечего и говорить: тогда лицемерное и предательское смиреніе было нужнѣе и любви и настоящаго смиренія. Пытки, казни періода Московскаго царства и послѣдующихъ временъ, до половины XVIII столѣтія, опять посылаютъ насъ искать любви въ до-историческія времена славянъ. Гдѣ жь тутъ любовь, какъ національное начало? Национальнымъ началомъ она никогда и не была, но была человѣческимъ *началомъ*, поддерживавшимся въ племени его историческимъ, или, лучше сказать, его *неисторическимъ* положеніемъ. Положеніе измѣнялось, измѣнялось и

патріархальныя нравы, а съ ними исчезла и любовь, какъ бытовая сторона жизни. Ужь не возвратится-ли намъ къ этимъ временамъ? Почему жь бы и не такъ, если это такъ же легко, какъ старику сдѣлаться юношей, а юношѣ—младенцемъ?..

„Что составляетъ въ человѣкѣ его высшую, его благороднѣйшую дѣйствительность?—Конечно, то, что мы называемъ его духовностью, то есть чувство, разумъ, воля, въ которыхъ выражается его вѣчная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается въ человѣкѣ низшимъ, случайнымъ, относительнымъ, преходящимъ?—Конечно, его тѣло. Извѣстно, что наше тѣло мы сьздѣства при-выкли презирать, можетъ быть, потому именно, что, вѣчно живя въ логическихъ фантазіяхъ, мы мало его знаемъ. Врачи, напротивъ, больше другихъ уважаютъ тѣло, потому что больше другихъ знаютъ его. Вотъ почему отъ болѣзней чисто нравственныхъ они лечатъ иногда средствами чисто матеріальными, и наоборотъ. Въ этомъ отношеніи они похожи на умнаго агронома, который съ уваженіемъ смотритъ не только на богатство получаемыхъ имъ отъ земли зеренъ, но и на самую землю, которая ихъ произрастала, и даже на грязный, нечистый и вонючій навозъ, который усилилъ плодотворность этой земли.—Вы, конечно, очень цѣните въ человѣкѣ чувство?—Прекрасно! такъ цѣните же и этотъ кусокъ мяса, который трепещетъ въ его груди, который вы называете сердцемъ, и котораго замедленное или ускоренное бѣненіе вѣрно соотвѣтствуетъ каждому движенію вашей души.—Вы, конечно, очень уважаете въ человѣкѣ умъ?—Прекрасно!—такъ останавливайтесь же въ благоговѣйномъ изумленіи и передъ этою массою мозга, гдѣ происходятъ всѣ умственныя отправленія, откуда по всему организму распространяются, чрезъ позвоночный хребетъ, нити нервъ, которыя суть органы ощущенія и чувствъ. Иначе, вы будете въ человѣкѣ удивляться слѣдствію мимо причины, или—что еще хуже—сочините свои небывалыя въ природѣ причины и удовлетворитесь ими. Психологія, не опирающаяся на физиологію, такъ же несостоятельна, какъ и физиологія, не знающая о существованіи анатоміи. Современная наука не удовольствовалась и этимъ химическимъ анализомъ, хочетъ она проникнуть въ таинственную лабораторію природы, а наблюденіемъ надъ эмбриономъ (зародышемъ) прослѣдить таинственный процессъ развитія организма. Но это внутренній міръ физиологической жизни человѣка; всѣ его сокровенныя отъ насъ дѣйствія, какъ результаты, высказываются наружъ въ лицѣ, взглядѣ, голосѣ, даже манерахъ человѣка. А между тѣмъ, что такое лицо, глаза, голосъ, манеры? Вѣдь это все—тѣло, внѣшность, слѣдовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что вѣдь все это—не чувство, не умъ, не воля?—такъ! но вѣдь во всемъ этомъ мы *видимъ* и *слышимъ* и чувство, и умъ, и волю. Умъ безъ плоти, безъ физиономіи, умъ, не дѣйствующій на кровь и не принимающій на себя ея дѣйствія, есть логическая мечта, мертвый абстрактъ. Умъ—это человѣкъ въ тѣлѣ, или лучше сказать, человѣкъ черезъ тѣло, словомъ, *личность*. Посмотрите: сколько нравственныхъ оттънковъ въ человѣческой натурѣ: у одного умъ едва замѣтенъ изъ-за сердца, у другаго сердце какъ будто помѣстилось въ мозгу; этотъ страшно уменъ и способенъ на дѣло, да ничего сдѣлать не можетъ, потому что нѣтъ у него воли; а у того страшная воля, да слабая голова, и изъ его

дѣятельности выходить или вздоръ, или зло. Перечестъ этихъ оттѣнковъ такъ же невозможно, какъ перечестъ различія фizioномiй: сколько людей, столько и лицъ, и двухъ совершенно схожихъ людей найти еще менѣе возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожіе между собою. Когда вы влюблены въ женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ея ума и сердца; иначе, когда вамъ укажутъ на другую, которой нравственныя качества выше, вы обязаны будете перевлюбится и оставить первый предметъ своей любви для новаго, какъ оставляютъ хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать вліянія нравственныхъ качествъ на чувство любви, но когда любятъ человѣка, любятъ его всего, не какъ идею, а какъ живую личность; любятъ въ немъ особенно то, чего не умѣютъ ни опредѣлить, ни назвать. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы опредѣлили и назвали вы, напримѣръ, то неуловимое выраженіе, ту таинственную игру его фizioномiи, его голоса, словомъ, все то, что составляетъ его способность, что дѣлаетъ его непохожимъ на другихъ, и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе, зачѣмъ бы вамъ было рыдать въ отчаяніи надъ трупомъ любимаго вами существа?— Вѣдь съ нимъ не умерло то, что было въ немъ лучшаго, благороднѣйшаго, что называли вы въ немъ духовнымъ и нравственнымъ, — а умерло только грубо матеріальное, случайное? Но объ этомъ-то случайномъ и рыдаете вы горько, потому что воспоминанія о прекрасныхъ качествахъ человѣка не замѣняютъ вамъ человѣка, какъ умирающаго отъ голода не насытитъ воспоминаніе о роскошномъ столѣ, которымъ онъ недавно наслаждался. Я охотно соглашусь съ спиритуалистами, что мое сравненіе грубо, но зато оно вѣрно, а это для меня главное. Державинъ сказалъ!

Такъ! весь я не умру; но часть моя большая,
Отъ тѣла убѣжавъ, по смерти станеть жить.

Противъ дѣйствительности такого безсмертія нечего сказать, хотя оно и не утѣшитъ людей, близкихъ поэту; но что передаетъ поэтъ потомству въ своихъ созданіяхъ, если не свою личность? Не будь онъ личность больше, чѣмъ что нибудь, личность по преимуществу, его созданія были бы безцвѣтны и блѣдны. Отъ этого творенія каждаго великаго поэта представляютъ собой совершенно особенный, оригинальный міръ, и между Гомеромъ, Шекспиромъ, Байрономъ, Сервантесомъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Гёте и Жоржъ-Сандомъ общаго только то, что всѣ они—великіе поэты...

„Но что же это за личность, которая даетъ реальность и чувству, и уму, и волѣ, и гению и безъ которой все или фантастическая мечта или логическая отвлеченность“? Я много могъ бы наговорить вамъ объ этомъ, читатели; но предпочитаю лучше откровенно сознаться вамъ, что чѣмъ живѣе созерцаю внутри себя сущность личности, тѣмъ менѣе умѣю опредѣлить ее словами. Это такая же тайна, какъ и жизнь: всѣ ее видятъ, всѣ ощущаютъ себя въ ея нѣдрахъ, и никто не скажетъ вамъ, что она такое. Такъ точно, ученые, хорошо зная дѣйствіе и силы дѣятелей природы, каковы электричество, гальванизмъ, магнетизмъ, и потому нисколько не сомнѣваясь въ ихъ существованіи, все-таки не умѣютъ сказать, что они такое. Страннѣе всего, что все, что мы можемъ

сказать о личности, ограничивается тѣмъ, что она ничтожна передъ чувствомъ, волею, добродѣтелью, красотою и тому подобными вѣчными и непреходящими идеями; но что безъ нея, преходящаго и случайнаго явленія, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродѣтели, ни красоты, такъ же, какъ не было бы ни безчувственности, ни глухости, ни безхарактерности, ни порока, ни безобразія...

„Что личность въ отношеніи къ *идеѣ* человѣка, то *народность* въ отношеніи къ *идеѣ* *человѣчества*. Другими словами: народности суть личности чело-вѣчества. Безъ національности чело-вѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу, я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманическихъ космополитовъ потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ, какъ такое-то изданіе такой-то логики... Но къ счастью, я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому.

„Человѣческое присуще чело-вѣку потому, что онъ чело-вѣкъ;—но оно проявляется въ немъ не иначе, какъ, во-первыхъ, на основаніи его собственной личности и въ той мѣрѣ, въ какой она его можетъ вмѣстить въ себя, а, во-вторыхъ, на основаніи его національности. Личность чело-вѣка есть исключеніе другихъ личностей и, потому самому, есть ограниченіе чело-вѣческой сущности: ни одинъ чело-вѣкъ, какъ бы ни велика была его гениальность никогда не исчерпаетъ самимъ собою не только всѣхъ сферъ жизни, но даже и одной какой нибудь ея стороны. Ни одинъ чело-вѣкъ не только не можетъ замѣнить самимъ собою всѣхъ людей (т. е. сдѣлать ихъ существованіе ненужнымъ), но даже и ни одного чело-вѣка, какъ бы онъ ни былъ ниже его въ нравственномъ или умственномъ отношеніи; но всѣ и каждый необходимы всѣмъ и каждому. На этомъ и основано и единство и братство чело-вѣческаго рода. Чело-вѣкъ силенъ и обезпеченъ только въ обществѣ, но чтобы и общество, въ свою очередь, было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь—*національность*. Она есть самобытный результатъ соединенія людей, но не есть ихъ произведеніе: ни одинъ народъ не создал своей національности, какъ не создалъ самого себя. Это указываетъ на кровное, родовое происхожденіе всѣхъ національностей. Чѣмъ ближе чело-вѣкъ или народъ къ своему началу, тѣмъ ближе онъ къ природѣ, тѣмъ болѣе онъ ея рабъ; тогда онъ не чело-вѣкъ, а ребенокъ, не народъ, а племя. Въ томъ и другомъ чело-вѣческое развивается по мѣрѣ ихъ освобожденія отъ естественной непосредственности. Этому освобожденію часто способствуютъ разныя внѣшнія причины; но чело-вѣческое тѣмъ не менѣе приходитъ къ народу не извнѣ, а въз него же самого, и всегда проявляется въ немъ національно.

„Собственно говоря, борьба чело-вѣческаго съ національнымъ, есть не болѣе, какъ риторическая фигура; но въ дѣйствительности ея нѣтъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается чрезъ заимствованіе у другаго, онъ тѣмъ не менѣе совершается національно. Иначе, нѣтъ прогресса. Въ наше время народныя вражды и антипатіи погасли совершенно. Французъ уже не питаетъ ненависти къ англичанину только за то, что онъ англичанинъ и на-

оборотъ. Напротивъ, со дня на день болѣе и болѣе обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это угѣнительное, гуманное явленіе есть результатъ просвѣщенія. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы просвѣщеніе сглаживало народности и дѣлало всѣ народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть, по преимуществу, время сильнаго развитія національностей. Французъ хочетъ быть французомъ, и требуетъ отъ нѣмца, чтобы тотъ былъ нѣмцемъ, и только на этомъ основаніи и интересуются имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всѣ европейскіе народы. А, между тѣмъ, они нещадно заимствуютъ другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Исторія говоритъ, что подобныя опасенія могутъ быть дѣйствительны только для народовъ нравственно-безсильныхъ и ничтожныхъ. Древняя Эллада была наслѣдницею всего предшествовавшаго ей древняго міра. Въ ея составъ вошли элементы египетскіе и финикійскіе, кромѣ основнаго пеласгическаго. Римляне приняли въ себя, такъ сказать, весь древній міръ, и все-таки остались римлянами, и если пали, то не отъ внѣшнихъ заимствованій, а отъ того, что были послѣдними представителями исчерпавшаго всю жизнь своего древняго міра, долженствовавшаго обновиться черезъ христіанство и тевтонскихъ варваровъ. Французская литература рабски подражала греческой и латинской, наввно грабала ихъ заимствованиями,—и все-таки осталась національно-французскою. Все отрицательное движеніе французской литературы XVIII вѣка вышло изъ Англіи, но французы до того умѣли его усвоить себѣ, наложивъ на него печать своей національности, что никто и не думаетъ оспаривать у ихъ литературы чести самобытнаго развитія. Нѣмецкая философія пошла отъ француза Декарта, нисколько не сдѣлавшись отъ этого французскою“.

Таково отношеніе Бѣлинскаго къ вопросу о народности. Онъ думаетъ, что въ сущности о ней нечего и заботиться народу, имѣющему нравственныя силы. Она такъ же неотъемлема и несокрушима, какъ фізіологическія особенности народа, потому что и сама, подобно имъ, врождена отъ природы. Мнимая борьба человѣческаго съ національнымъ — продолжаетъ онъ — въ сущности есть только борьба новаго со старымъ, современнаго съ отжившимъ.

Итакъ, толковать о народности едва-ли не значитъ попусту терять слова; но въ стремленіи, изъ котораго возникли эти толки, есть смыслъ: онъ заключается въ томъ, что каждый народъ долженъ заниматься изученіемъ и улучшеніемъ своей дѣйствительной жизни. Начатки этого направленія видитъ Бѣлинскій теперь въ нашей литературѣ, а въ этихъ начаткахъ — близость ея къ зрѣлости и возмужалости. Наша литература, съ появленіемъ Гоголя, занялась дѣломъ. «Въ этомъ отношеніи дошла она до такого положенія, что успѣхи ея въ будущемъ, ея движеніе впередъ зави-

сятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодovitѣе будетъ ея развитіе».

Этимъ оканчивается общая часть предпоследняго годичнаго обзора русской литературы. Слѣдующій, послѣдній обзоръ («Совр.» 1848, №№ 1 и 3) является въ своей общей части, какъ бы продолженіемъ предыдущаго. Читатели помнятъ, что направленіе, которое теперь владычествуетъ въ нашей литературѣ, получило, при своемъ появленіи, названіе натуральной школы, и что десять лѣтъ тому назадъ натуральная школа была предметомъ ожесточенныхъ нападеній со стороны всѣхъ отсталыхъ писателей. Теперь мы видимъ, что поднялись противъ такъ называемаго отрицательнаго направленія толки, совершенно подобные тѣмъ, какіе прежде поднимались противъ натуральной школы. Вся разница только въ замѣненіи термина «натуральная школа» другимъ, а предметъ неудовольствія отсталыхъ критиковъ остается одинъ и тотъ же. Бѣлинскій отвѣчаетъ на всѣ упреки противъ натуральной школы съ полнотою, которая не оставляетъ мѣста никакимъ сомнѣніямъ; онъ исторіею доказываетъ неизбѣжность нынѣшняго направленія литературы, эстетикою совершенную законность его, нравственными потребностями нашего общества необходимость его:

„Натуральная школа стоитъ теперь на первомъ планѣ русской литературы, нисколько не преувеличивая дѣла по какимъ вѣдудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика, т. е. большинство читателей за нее: это фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ: а какіе журналы пользуются большею извѣстностью, имѣютъ болѣе обширный кругъ читателей и большее вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикою съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которыя принадлежатъ натуральной школѣ, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повѣсти, не принадлежащія къ натуральной школѣ? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорятъ, спорятъ; на кого безпрестанно нападаютъ съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу?

„Все это нисколько не ново въ нашей литературѣ, но было не разъ и всегда будетъ. Карамзинъ первый произвелъ раздѣленіе въ едва возникавшей тогда русской литературѣ. До него всѣ были согласны во всѣхъ литературныхъ вопросахъ, и если бывали разногласія и споры, они выходили не изъ мнѣній и убѣжденій, а изъ мелкихъ и безпокойныхъ самолюбій Сумарокова и Тредьяковскаго. Но это согласіе доказывало только безжизненность тогдашней

такъ называемой литературы. Карамзинъ первый оживилъ ее, потому что перевелъ ее изъ книги въ жизнь, изъ школы въ общество. Тогда, естественно явились и партіи, началась война на перьяхъ, раздались вопли, что Карамзинъ и его школа губятъ русскій языкъ и вредятъ добрымъ русскимъ нравамъ. Въ лицѣ его противниковъ, казалось, вновь возсталъ русская упорная старина, которая съ такимъ судорожнымъ, и тѣмъ болѣе бесплоднымъ напряженіемъ, отстаивала себя отъ реформы Петра Великаго. Но большинство было на сторонѣ права, т. е. таланта и современныхъ нравственныхъ потребностей, вопли противниковъ заглушались хвалебными гимнами поклонниковъ Карамзина. Все группировалось около него, и отъ него все получало свое значеніе, свою значительность, все—даже противники. Онъ былъ героемъ, Ахилломъ того времени. Но что вся эта тревога въ сравненіи съ бурей, которая поднялась съ появленіемъ Пушкина на литературномъ поприщѣ? Она такъ памятна всѣмъ, что нѣтъ нужды и распространяться о ней. Скажемъ только, что противники Пушкина видѣли въ его сочиненіяхъ искаженіе русскаго языка, русской поэзіи, несомнѣнный вредъ не только для эстетическаго вкуса публики, но и—повѣрять ли теперь этому?—для общественной нравственности!.. Что же за причина, что противники всякаго движенія впередъ во всѣ эпохи нашей литературы говорили одно и тоже и почти одними и тѣми же словами?

„Причина этого скрывается тамъ же, гдѣ надобно искать и происхожденія натуральной школы—въ исторіи нашей литературы. Въ лицѣ Кантемира, русская поэзія обнаружила стремленіе къ дѣйствительности, къ жизни, какъ она есть, основала свою силу на вѣрности натурѣ. Въ Державинѣ (его оды „Къ Фелицѣ“, „Вельможѣ“, „На счастье“ едва ли не лучшія его произведенія, по крайней мѣрѣ, безъ всякаго сомнѣнія, въ нихъ больше оригинальнаго, русскаго, нежели въ торжественныхъ одахъ), въ басняхъ Химницера и въ комедіяхъ фонъ-Визина, отозвалось направленіе, представителемъ котораго, по времени, былъ Кантемиръ. Сатира у нихъ уже рѣже переходитъ въ преувеличеніе и карриатуру, становится болѣе натуральною, по мѣрѣ того, какъ становится болѣе поэтической. Въ басняхъ Крылова сатира дѣлается вполне художественною; натурализмъ становится отличительною характеристическою чертою его поэзіи. Зато онъ первый и подвергся упрекамъ за изображенія „низкой природы“. Наконецъ явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телегъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагими дѣтьми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ, былъ тоже неслыханною дотошъ сценою для кроваваго трагическаго событія. Но въ „Евгеніи Онегинѣ“ идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности, тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности, со всѣмъ ея добромъ и зломъ, со всѣми ея житейскими дразгами: около двухъ трехъ лицъ, опоэтизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмѣшище, какъ уроды, какъ исключеніе изъ общаго правила, а какъ

лица, составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами! Что же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ?

„Онъ всѣми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью, къ натуральности. Между этими попытками были очень замѣчательныя; но тѣмъ не менѣе всѣ онѣ отзываются переходною эпохою, стремились къ новому, не оставляя старой колѣи. Весь успѣхъ заключался въ томъ, что, несмотря на вопли старовѣровъ, въ романѣ стали появляться лица всѣхъ сословій, и авторы старались поддѣлываться подъ языкъ каждаго. Это называлось тогда *народностью*. Но эта народность слишкомъ отзывается тогда маскарадностью: русскія лица низшихъ сословій походили на перереженныхъ баръ, а бары только именами отличались отъ иностранцевъ. Нуженъ былъ гениальный талантъ, чтобы навсегда освободить русскую поэзію, изображающую русскіе нравы, русской бытъ, изъ-подъ чуждыхъ ей вліяній. Пушкинъ много сдѣлалъ для этого; но докончить, довершить дѣло предоставлено было другому таланту. Это появленіемъ „Миргорода“ и „Арабесокъ“ (въ 1835 году) и „Ревизора“ (въ 1836) начинается полная извѣстность Гоголя и его сильное вліяніе на русскую литературу. Вліяніе теорій и школъ было одною изъ главныхъ причинъ, почему многіе сначала спокойно, безъ всякой враждебности, искренно и добросовѣстно видѣли въ Гоголѣ не болѣе, какъ писателя забавнаго, но тривіальнаго и незначительнаго, и вышли изъ себя уже вслѣдствіе восторженныхъ похвалъ, расточавшихся ему другою стороною, и важнаго значенія, которое онъ быстро пріобрѣталъ въ общественномъ мнѣніи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни ново было въ свое время, направленіе Карамзина, оно оправдывалось образцами французской литературы. Какъ ни странно поразили всѣхъ баллады Жуковскаго, съ ихъ мрачнымъ колоритомъ, съ ихъ кладбищами и мертвецами, но за нихъ были имена корифеевъ нѣмецкой литературы. Самъ Пушкинъ, съ одной стороны, былъ подготовленъ предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себѣ легкіе слѣды ихъ вліянія; а съ другой стороны, его нововведенія оправдывались общимъ движеніемъ во всѣхъ литературахъ Европы и вліяніемъ Байрона—авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образца, не было предшественниковъ ни въ русской, ни въ иностранныхъ литературахъ. Всѣ теоріи, всѣ преданія литературныя были противъ него, потому что онъ былъ противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе ихъ выкинуть изъ головы, забыть о ихъ существованіи, а это для многихъ значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснѣе сдѣлать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ Гоголь находится къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно, и въ тѣхъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя представляютъ чуждыя русскому міру картины безъ всякаго сомнѣнія, есть элементы русскіе; но кто укажетъ ихъ? Какъ доказать, что, напримѣръ, поэмы: „Моцартъ и Сальери“, „Каменный Гость“, „Скупой Рыцарь“, „Галубъ“, могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? То же можно сказать о Лермонтовѣ. Всѣ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нѣтъ соперниковъ въ искусствѣ воспроизводить ее во всей ея истинности. Онъ ничего не смягчаетъ, не украшаетъ вслѣдствіе

любви къ идеаламъ, или какихъ нибудь заранѣе принятыхъ идей, или прѣвѣч-

ных пристрастій, какъ, напримѣръ, Пушкинъ въ „Онегинѣ“ идеализировалъ помѣщичій бытъ. Конечно, преобладающій характеръ его сочиненій — отрицаніе; всякое отрицаніе, чтобъ быть живымъ и поэтическимъ, должно дѣлаться во имя идеала, и этотъ идеалъ у Гоголя такъ же не свой, т. е. не туземный, какъ и у всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературѣ этотъ идеалъ. Но нельзя же не согласиться съ тѣмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ не возможно предположить вопроса: какъ доказать, что они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? Изображать русскую дѣйствительность, и съ такою поразительною вѣрностію и истиною, разумеется, можетъ только русскій поэтъ. И вотъ пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

„Литература наша началась подражательностію. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ реторической стремилась сдѣлаться естественною, *натуральною*. Это стремленіе, означенное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляютъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы не обинуясь скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только чрезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все вниманіе на толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныя только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняютъ поэтовъ на идеализированіе и носить на себѣ чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя; но это-то люди стараго образованія и вмѣняютъ ему въ великое преступленіе передъ законами искусства. Этими онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкою, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіи, какъ „украшенной природы“; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства, какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея истинѣ. Тутъ все дѣло въ *типахъ*, а *идеалъ* тутъ понимается не какъ украшеніе (слѣдовательно, ложь), а какъ отношенія, въ которыя становитъ другъ къ другу авторъ созданные имъ типы, сообразно съ мыслию, которую онъ хочетъ развить своимъ произведеніемъ.

„Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всѣ молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и нѣкоторые писатели, уже пріобрѣтшіе извѣстность, пошли по этому же пути, оставивъ свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники ея думали узидить названіемъ натуральной. Послѣ „Мертвыхъ Душъ“ Гоголь ничего не написалъ. На сценѣ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которыя прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дѣлаются выходы противъ него, то по поводу этой школы. Въ чемъ же обвиняютъ ее? Обвиненій немного, и они всегда одни и тѣ же. Сперва нападали на нее за ея будто бы постоянныя нападки на чиновниковъ. Въ ея изображеніяхъ была этого сословія, одни искренно, другіе умышленно, выдѣлки злона-

мѣренныя каррикатуры. Съ нѣкотораго времени эти обвиненія замолкли. Теперь обвиняютъ писателей натуральной школы за то, что они любятъ изображать людей низкаго званія, дѣлаютъ героями своихъ повѣстей мужиковъ, извожиковъ, дворниковъ, описываютъ *улы*, убѣжища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей, обвинители съ торжествомъ указываютъ на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитріева, избравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородныя. Мы же напомнимъ имъ, что первая замѣчательная русская повѣсть была написана Карамзинымъ, и ея героиня была обобщенная петиметромъ крестьянка—*бѣдная Лиза*... Но тамъ, скажутъ они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступитъ самой благовопитанной *барышнѣ*. Вотъ мы и дошли до причины спора: тутъ виновата, какъ видите, старая пѣтилка. Она позволяетъ изображать, пожалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одѣтыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говоритъ, а тѣмъ менѣе крестьяне. Старая пѣтилка позволяетъ изображать все, что вамъ угодно, но только предписываетъ при этомъ изображаемый предметъ такъ украсить, чтобы не было никакаго возможности узнать, что вы хотѣли изобразить. Слѣдуя строго ея урокамъ, поэтъ можетъ пойти дальше прославленнаго Дмитріевымъ маляра Ефрема, который Архипа писалъ Сидоромъ, а Луку Кузьмою: онъ можетъ снять съ Архипа такой портретъ, который не будетъ походить не только на Сидора, но и ни на что на свѣтѣ, даже на комокъ земли. Натуральная школа слѣдуетъ совершенно противоположному правилу: возможно близкое сходство изображаемыхъ ею лицъ съ ихъ образами въ дѣйствительности не составляетъ въ ней всего, но есть первое ея требованіе, безъ выполненія котораго уже не можетъ быть въ сочиненіи ничего хорошаго. Требованіе тяжелое, выполненное только для таланта! Какъ же, послѣ этого, не любить 'и не чтить старой пѣтилки тѣмъ писателямъ, которые когда-то умѣли и безъ таланта съ успѣхомъ подвизаться на поприщѣ поэзіи? Какъ не считать имъ натуральной школы самымъ ужаснымъ врагомъ своимъ, когда она ввела такую манеру писать, которая имъ недоступна? Это, конечно, относится только къ людямъ, у которыхъ въ этотъ вопросъ виѣшалось самолюбіе; но найдется много и такихъ, которые по искреннему убѣжденію не любятъ естественности въ искусствѣ, вслѣдствіе вліянія на нихъ старой пѣтилки. Эти люди съ особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначеніе. „Бывало—говорятъ они—поэзія поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостяхъ и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и смѣющіяся. Прежніе поэты представляли и картины бѣдности, но бѣдности опрятной, умной, выражающейся скромно и благородно; притомъ же, къ концу повѣсти всегда являлась чувствительная молодая дама или дѣвица, дочь богатыхъ и благородныхъ родителей, а не то благодѣтельный молодой человекъ, и во имя милаго или милой сердца водворяли довольство и счастье тамъ, гдѣ были бѣдность и нужда, и благородныя слезы орошали благодѣтельную рѣчку—и читатель неволью подносилъ свой батистовый платокъ къ глазамъ и чувствовалъ

что онъ становится добрее и чувствительнее... А теперь! посмотрите, что теперь пишутъ, мужики въ лаптяхъ и армякахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухю, баба—родъ центавра, по одеждѣ не вдругъ узнаешь, какого это пола существо; *улы*—убѣжище нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо доходить по двору грязному по колѣни; какой нибудь пьянюшка подъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы,—все это списывается съ природы, въ наготѣ страшной истины, такъ что если прочтешь—жди ночью тяжелыхъ сновъ"... Такъ или почти такъ говорятъ маститые питомцы старой шитяки. Въ сущности ихъ жалобы состоятъ въ томъ, зачѣмъ поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дѣтской сказки превратилась въ быль, не всегда приятную, зачѣмъ отказалась она быть гремушкою, подъ которую дѣтямъ приятно и прыгать и засыпать.. Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дѣтскими и даже въ старости быть несовершеннолѣтними, недорослями, — и вотъ они требуютъ, чтобы и всѣ походили на нихъ. Да читайте свои старыя сказки — никто вамъ не мѣшаетъ; а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннолѣтію. Вамъ ложь — намъ истина: раздѣлимся безъ спору, благо вамъ не нужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего... Но этому полюбившему раздѣлу мѣшаетъ другая причина — эгоизмъ, который считаетъ себя добродѣтелемъ. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ человѣка обезпеченнаго, можетъ быть, богатаго; онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поварь у него прекрасный), усѣлся спокойно въ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкою кофе, передъ пылающимъ каминомъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ, — и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея листы, — и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ такъ хорошо живутъ, какъ онъ, что есть *улы*, гдѣ подлхотьями отъ холоду дрожатъ цѣлое семейство, можетъ быть, недавно еще знавшее довольство,—что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нищету, что послѣдняя копѣйка идетъ на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія... И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣстно своего комфорта... А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку... Прочъ ее! „Книга должна приятно развлекать; я и безъ того знаю, что въ жизни много тяжелого и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!“ восклицаетъ онъ.—Такъ, милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забываетъ свое горе, голодный свой голодь, стоны страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ... Представьте теперь въ такомъ же положеніи другаго любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было, управляющій его, Никита Федорычъ, что-то замѣшкался высылкою. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его *лѣниво протягиваются къ книгѣ*. Опять та же исторія! Проклятая книга *разсказываетъ ему подвиги его Никиты Федорыча, поддаго холопа, съ дѣтства*

привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему-то поручено править имѣніемъ... Скорѣ прочь ее, скверную книгу!... Представьте теперь себѣ еще въ такомъ комфортномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ поды пятьдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣеть „малую толику“. Всѣ читають — надо и ему читать; но что находить онъ въ книгѣ?—свою біографію, да еще какъ вѣрно рассказанную, хотя, кромѣ его самого, темныя похождения его жизни — тайна для всѣхъ, и ни одному *сочинителю* неоткуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшонъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: „Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ дачего дошло вольнодумство! такъ-ли писали прежде? Штиль ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или возвышенныхъ, читать сладко и обидѣться нечѣмъ!..“

Есть особый родъ читателей, который не любитъ встрѣчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно незнающими приличія и хорошаго тона, не любитъ грязи и нищенствъ, по ихъ противоположности съ роскошными будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школѣ не иначе, какъ съ высокоумнымъ презрѣніемъ, ироническою улыбкою.. Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся „подлюдою чернью“? Не слѣдуетъ спрашивать о нихъ въ герольдическихъ книгахъ или при дворахъ европейскихъ: вы не найдете ихъ гербовъ, они если видали большой свѣтъ, то не иначе, какъ съ улицы, сѣвезъ ярко освѣщенные окна, на сколько позволяли сторы и занавѣски...

„Что за охота наводнять литературу мужиками?“ восклицаютъ они. Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникъ, которому какъ что закажутъ, такъ онъ и дѣлаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что, въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія, писатель не можетъ руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственнымъ произволомъ, ибо искусство имѣеть свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель былъ вѣренъ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи. А чѣмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой—мрачные, если не натурою, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чѣмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше и изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекають за выборъ предметовъ; оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслятъ въ искусствѣ и грубо смѣшиваютъ его съ ремесломъ. Природа — вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ — человѣкъ... Божественное слово любви и братства не втунѣ огласило міръ. То, что прежде было обязанностію только призванныхъ лицъ или добродѣтелю многихъ избранныхъ натуръ,—это самое дѣлается теперь обязанностію обществъ, служить признакомъ уже не одной добродѣтели, но и образованности частныхъ лицъ. Посмотрите, какъ, въ нашъ вѣкъ, вездѣ заняты всѣ участію низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя, богатая вѣрными средствами общества для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, какъ

пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбежнаго слѣдствія—безнравственности и разврата. Это общее движеніе, столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ порицателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косої патріархальности. Они говорятъ, что тутъ дѣйствуютъ мода, увлеченіе, тщеславіе, а не человѣколюбіе. Пусть такъ, да когда же и гдѣ же въ лучшихъ человѣческихъ дѣяствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ же сказать, что только такія побужденія могутъ быть причиною такихъ явленій? Какъ думать, что главные виновники такихъ явленій, увлекающіе своимъ примѣромъ толпу, не одушевлены болѣе высокими и благородными побужденіями? Разумѣется, нечего удивляться добродѣтели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщесавія; но это добродѣтель въ отношеніи къ обществу, которое исполнено такого духа, что и дѣятельность суетныхъ людей умѣетъ направлять къ добру! Это-ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности?

„Могло-ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе,—въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества? Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва-ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе учредила его, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна-ли и благородна-ли такая роль; но за все-то и нападаютъ на литературу иные. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходятъ эти нападки и чего они стоить... („Совр.“ 1848 года, т. VII „Русская Литер.“, стр. 10—26).

Послѣ того, Бѣлинскій оправдываетъ натуральную школу съ эстетической точки зрѣнія, развивая истинныя понятія о сущности и значеніи искусства. Этотъ эпизодъ былъ уже представленъ нами въ приложеніи къ седьмой главѣ «Очерковъ».

Мы привели въ извлеченіи всѣ важнѣйшія страницы общей части обоихъ послѣднихъ годичныхъ обзорѣній Бѣлинскаго. Во второй половинѣ того и другаго обзорѣнія, гдѣ дается оцѣнка замѣчательнѣйшихъ литературныхъ явленій предшествовавшаго года, особеннаго вниманія заслуживаетъ одна общая черта: ученые труды, преимущественно по русской исторіи, разсматриваются съ такою же подробностью, какъ и беллетристическія произведенія. Этого прежде не было: объ ученыхъ книгахъ представлялись только краткія сужденія. Въ самомъ дѣлѣ, въ послѣднее время дѣятельности Бѣлинскаго одна отрасль нашей ученой литературы, именно разработка русской исторіи, благодаря трудамъ новой исторической школы (*гг. Соловьевъ, Кавелинъ и другіе*), получила для общества важность, какой не имѣла прежде. Съ того времени это общее сочув-

ствіе къ ученымъ вопросамъ постепенно возрастаетъ, и мало по малу наше общество начинаетъ расширять кругъ своихъ умственныхъ интересовъ. Въ послѣднее время, мы даже видѣли, что журналъ, вызывающій къ себѣ вниманіе публики преимущественно статьями ученаго содержанія, пользуется въ публикѣ вниманіемъ не меньшимъ того, какое обращено на журналы, успѣхъ которыхъ основанъ преимущественно на беллетристикѣ и беллетристической критикѣ. Пятнадцать, даже десять лѣтъ тому назадъ едва ли было бы возможно такое явленіе. Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ новый прогрессъ въ умственной жизни нашей публики благотворнымъ образомъ отразится и на развитіи всей нашей литературы. Бѣлинскій предугадывалъ это, и вотъ причина того, что въ послѣднее время онъ почелъ необходимымъ расширить горизонтъ своихъ годовичныхъ обзорѣній, обративъ на труды по русской исторіи столько же вниманія, какъ и на произведенія изящной словесности. Если бы въ настоящее время мы имѣли критиковъ, подобныхъ ему, конечно, они увидѣли бы возможность и необходимость еще болѣе расширить кругъ нашей критики.

Выписки наши изъ статей Бѣлинскаго были многочисленны и обширны. Легко было бы замѣнить ихъ изложеніемъ ихъ содержанія; но читатель, вѣроятно, одобряетъ тотъ методъ, которому мы слѣдовали. Наши статьи имѣли цѣлью не только историческое изложеніе различныхъ направленій русской критики: мы хотѣли также указать на основанія, отъ которыхъ не должна уклоняться современная критика, если не хочетъ впадать въ безсиліе, мелочность, пустоту. Справедливыя понятія объ этомъ были высказываемы у насъ Бѣлинскимъ, и на его критику до сихъ поръ надобно смотрѣть не только какъ на замѣчательное историческое явленіе, но также и какъ на руководительный примѣръ. Наши собственныя слова не имѣли бы такого авторитета, какой имѣютъ его слова. Кромѣ того, если бы мы не приводили его мнѣній его собственными словами, инымъ, быть можетъ, вздумалось бы говорить, что мы приписываемъ Бѣлинскому мнѣнія, которыхъ онъ не имѣлъ: мы уже говорили, что память у многихъ изъ насъ очень коротка. Выписки изъ Бѣлинскаго предупреждаютъ возможность такого сомнѣнія, и придаютъ мыслямъ, которыя должны быть считаемы справедливыми, авторитетъ, который немногіе рѣшатся отвергать.

Два важные принципа особенно должны быть хранимы въ на-

шей памяти, когда дѣло идетъ о литературныхъ сужденіяхъ: понятіе объ отношеніяхъ литературы къ обществу и занимающимъ его вопросамъ; понятіе о современномъ положеніи нашей литературы и условіяхъ, отъ которыхъ зависитъ ея развитіе. Оба эти принципа были выставляемы Бѣлинскимъ, какъ важнѣйшія основанія нашей критики, разясняемы со всею силою его діалектики и постоянно примѣняемы имъ къ дѣлу, успѣхъ котораго и зависѣлъ въ значительной степени отъ ихъ соблюденія. Съ того времени, какъ писалъ Бѣлинскій, развитіе наше не сдѣлало столь значительныхъ успѣховъ, чтобы его мысли потеряли прямое отношеніе къ нашему настоящему, и кто заботится объ истинѣ, по необходимости до сихъ поръ держится литературныхъ воззрѣній, представителемъ которыхъ былъ онъ въ нашей критикѣ.

Во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности только тѣ направленія достигаютъ блестящаго развитія, которыя находятся въ живой связи съ потребностями общества. То, что не имѣетъ корней въ почвѣ жизни, остается вяло и блѣдно, не только не приобрѣтаетъ историческаго значенія, но и само по себѣ, безъ отношенія къ дѣйствию на общество, бываетъ ничтожно. Когда дѣло идетъ о стремленіяхъ и фактахъ, принадлежащихъ къ сферамъ матеріальной, научной и общественной жизни, эта истина признается безспорно всеми. Когда дѣло идетъ о живописи, скульптурѣ, архитектурѣ, также ни одинъ сколько нибудь свѣдущій человекъ не будетъ спорить противъ мысли, что каждое изъ этихъ искусствъ достигало блестящаго развитія только тогда, когда это развитіе условливалось общими требованіями эпохи. Скульптура процвѣтала у грековъ только потому, что была выраженіемъ господствующей черты въ ихъ жизни,—выраженіемъ страстнаго поклоненія красотѣ формъ человѣческаго тѣла. Готическая архитектура создала дивныя памятники только потому, что была служительницею и выразительницею средневѣковыхъ стремленій. Итальянская школа живописи произвела дивныя картины только потому, что была выразительницею стремленій общества въ томъ вѣкѣ и въ той странѣ, служила духу вѣка, состоявшему въ слияніи классическаго поклоненія красотѣ человѣческаго тѣла съ заоблачными стремленіями среднихъ вѣковъ.

Страннымъ исключеніемъ изъ общаго закона была бы литература, если бы могла производить что нибудь замѣчательное, отруб-

шаясь отъ жизни. Но мы уже говорили въ одной изъ прежнихъ статей, что такихъ случаевъ никогда и не бывало. Какимъ же образомъ можетъ находить себѣ защитниковъ такъ называемая теорія «чистаго искусства» (искусства небывалаго и невозможнаго), требующая отъ литературы, чтобъ она исключительно заботилась только о формѣ? Тутъ все основано на томъ, что приверженцы такъ называемаго чистаго искусства сами не замѣчаютъ истиннаго смысла своихъ желаній или хотятъ вводить другихъ въ заблужденіе, говоря о чистомъ искусствѣ, котораго никто не знаетъ и никто, ни сами они, не желаетъ. Не останавливаясь на общей фразѣ, которою завѣдомо или безъ вѣдома для самихъ себя прикрываютъ они свои истинныя желанія, надобно ближе всмотрѣться въ факты, свидѣтельствующіе о ихъ стремленіяхъ, надобно посмотрѣть, въ какомъ духѣ сами они пишутъ и въ какомъ духѣ написаны произведенія, одобряемыя ими, и мы увидимъ, что они заботятся вовсе не о чистомъ искусствѣ, независимомъ отъ жизни, а, напротивъ, хотятъ подчинить литературу исключительно служенію одной тенденціи, имѣющей чисто житейское значеніе. Дѣло въ томъ, что есть люди, для которыхъ общественные интересы не существуютъ, которымъ извѣстны только личныя наслажденія и огорченія, независимыя отъ историческихъ вопросовъ, движущихъ обществомъ. Для этихъ изящныхъ эпикурейцевъ жизнь ограничивается тѣмъ горизонтомъ, который обнимается поэзію Анакреона и Горація: веселая бесѣда за умѣреннымъ, но изысканнымъ столомъ, комфортъ и женщины,—больше не нужно для нихъ ничего. Само собою разумѣется, что для такихъ темпераментовъ равно скучны всѣ предметы, выходящіе изъ круга эпикурейскихъ идей; они хотѣли бы, чтобъ и литература ограничивалась содержаніемъ, которымъ ограничивается ихъ собственная жизнь. Но прямо выразить такое желаніе значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытія служатъ имъ фразы о чистомъ искусствѣ, независимомъ, будто бы, отъ интересовъ жизни. Но скажите, развѣ хорошій столъ, женщины и пріятная бесѣда о женщинахъ не принадлежатъ къ житейскимъ фактамъ, наравнѣ съ нищетою и порокомъ, злоупотребленіями и благородными стремленіями? развѣ поэзія, если бы рѣшилась ограничиться застольными пѣснями и эротическими бесѣдами, не была бы все-таки выразительницею извѣстнаго направленія въ жизни, служительницею извѣстныхъ идей? Она говорила бы намъ:

«пойте и любите, наслаждайтесь и забавляйтесь, не думая ни о чемъ больше»; она была бы проповѣдницею эпикуреизма, а эпикуреизмъ точно такъ же философская система, какъ стоицизмъ и платонизмъ, какъ идеализмъ и материализмъ и проповѣдывать эпикуреизмъ значить просто на просто быть проповѣдникомъ эпикуреизма, а не служителемъ чистаго искусства.

Итакъ, вотъ къ чему сводится вопросъ о такъ называемомъ чистомъ искусствѣ: не къ тому, должна или не должна литература быть служительницею жизни, распространительницею идей,—она не можетъ ни въ какомъ случаѣ отказаться отъ этой роли, лежащей въ самомъ существѣ ея,—нѣтъ, вопросъ сводится просто къ тому: должна ли литература ограничиваться эпикурейскою тенденціею, забывая обо всемъ, кромѣ хорошаго стола, женщинъ и бесѣды на аттическій манеръ съ миртовыми вѣнками на головахъ собесѣдниковъ и собесѣдницъ? *). Отвѣтъ, кажется, не можетъ быть затруднителенъ. Ограничивать литературу изящнымъ эпикуреизмомъ значить до нелѣпости стѣснять ея границы, впадать въ самую узкую односторонность и нетерпимость. Нѣтъ нужды на односторонность отвѣчать другою односторонностью; за остракизмъ, которому защитники такъ называемаго чистаго искусства хотѣли бы подвергнуть всѣ другія идеи и направленія литературы, кромѣ эпикурейскаго, нѣтъ нужды платить остракизмомъ, обращеннымъ противъ эпикурейской тенденціи, хотя она скорѣе всякой другой тенденціи заслуживала бы осужденія, какъ нѣчто праздное и пошловатое. Нѣтъ, избѣгая всякихъ односторонностей, скажемъ, что эпикурейское настроеніе духа, существуя въ жизни, имѣетъ право выражаться и въ литературѣ, которая должна обнимать собою всю жизнь. Но справедливость требуетъ сказать, что вообще эпикуреизмъ можетъ играть важную роль въ жизни только немногихъ людей, расположенныхъ къ нему по натурѣ и обставленныхъ въ жизни исключительно благоприятными обстоятельствами; потому и въ литературѣ эпикурейское направленіе можетъ приходиться по вкусу только немногимъ счастливымъ празднлюбцамъ, а для огромнаго большинства людей такая тенденція всегда казалась и будетъ ка-

*) Само собою разумѣется, мы здѣсь говоримъ только о томъ, какой смыслъ имѣетъ теорія чистаго искусства въ наше время. Здѣсь насъ занимаетъ настоящее, а не давно минувшее.

заться безвкусна или даже рѣшительно противна. Если же рѣчь переходитъ къ настоящему времени, то надобно замѣтить, что оно рѣшительно неблагопріятно для эпикуреизма, какъ время разумнаго движенія, а не празднаго застоя, и такъ какъ эпикуреизмъ въ жизни для нашего времени есть занятіе холодно-эгоистическое, слѣдовательно, вовсе не поэтическое, то и въ литературѣ эпикурейское направленіе нашего времени, по необходимости, запечатлѣвается холодною мертвенностью. Поэзія есть жизнь, дѣйствіе, страсть; эпикуреизмъ въ наше время возможенъ только для людей бездѣйственныхъ, чуждыхъ исторической жизни, потому въ эпикуреизмѣ нашего времени очень мало поэзіи. И если справедливо, что живая связь съ разумными требованіями эпохи даютъ энергію и успѣхъ всякой дѣятельности человѣка, то эпикуреизмъ нашего времени не можетъ создать въ поэзіи ровно ничего сколько нибудь замѣчательнаго. Дѣйствительно, всѣ произведенія, написанныя нашими современниками въ этой тенденціи, совершенно ничтожны въ художественномъ отношеніи: они холодны, натянуты, безцвѣтны и реторичны.

Литература не можетъ не быть служительницей того или другаго направленія идей: это назначеніе, лежащее въ ея натурѣ,—назначеніе, отъ котораго она не въ силахъ отказаться если бы и хотѣла отказаться. Послѣдователи теоріи чистаго искусства, выдаваемого намъ за нѣчто долженствующее быть чуждымъ житейскихъ дѣлъ, обманываются или притворяются: слова «искусство должно быть независимо отъ жизни» всегда служили только прикрытіемъ для борьбы противъ неправившихся этимъ людямъ направленій литературы, съ цѣлью сдѣлать ее служительницею другаго направленія, которое болѣе приходилось этимъ людямъ по вкусу. Мы видѣли, чего хотятъ защитники теоріи чистаго искусства въ наше время, и едва ли можно думать, чтобы ихъ слова могли имѣть какое нибудь вліяніе на литературу, какъ скоро смыслъ этихъ словъ открытъ. Нашему времени нѣтъ никакой охоты для эпикуреизма забыть обо всемъ остальномъ, и литература никакъ не можетъ подчиниться этому узкому и мелкому направленію, чуждому здоровымъ стремленіямъ вѣка.

Нельзя насильно дать себѣ одушевленія тѣмъ, что не возбуждаетъ одушевленія въ нашей натурѣ. Или врожденныя качества темперамента, или опытъ жизни, размышленіе и наука, а не про-

извольное напряженіе фантазіи приводятъ человѣка къ живому сочувствію всякой доброй, здоровой и благородной идеѣ. Есть люди, неспособные искренно одушевляться участіемъ къ тому, что совершается силою историческаго движенія вокругъ нихъ: для такихъ писателей бесполезно было бы накладывать на себя маску патетическаго одушевленія современными вопросами,—пусть они продолжаютъ быть, чѣмъ хотятъ: великаго ничего не произведутъ они ни въ какомъ случаѣ. Но тѣ писатели, въ которыхъ природа или жизнь соединила съ талантомъ живое сердце,—тѣ писатели должны дорожить въ себѣ этимъ прекраснымъ сочетаніемъ таланта съ мыслью, дающею силу и смыслъ таланту, дающею жизнь и красоту ея произведеніямъ. Они должны сознать, что ихъ благородное сердце, ихъ просвѣщенный умъ ведутъ ихъ по прямой, по единственной дорогѣ къ славѣ, внушая имъ потребность дѣйствовать на пользу историческаго развитія, быть служителями идеи гуманности и улучшенія человѣческой жизни.

Это равно относится къ литературѣ каждой страны, отъ Испаніи до Россіи, Швеціи и Италіи. Но кромѣ общихъ условій, зависящихъ отъ самой природы предмета, для литературной дѣятельности каждаго народа есть свои частныя условія, зависящія отъ особенныхъ обстоятельствъ народной жизни.

Въ Германіи, Англіи, Франціи, гдѣ умственная жизнь развилась уже на множество отдѣльныхъ самостоятельныхъ отраслей, дальнѣйшіе успѣхи каждой умственной дѣятельности зависятъ преимущественно отъ появленія гениальныхъ людей. Въ Германіи, на примѣръ, нынѣ нѣтъ беллетристовъ, подобныхъ Диккенсу и Теккерю, и въ этомъ состоитъ единственная причина жалкаго состоянія нѣмецкой беллетристики, которое и продлится до той поры, пока явятся гениальные писатели. Условія, отъ которыхъ зависитъ дальнѣйшее развитіе русской литературы, совершенно не таковы. Они лежатъ въ публикѣ. Литература можетъ вызывать публику къ умственной дѣятельности, но не можетъ ни замѣнить собою публику, ни существовать безъ поддержки со стороны публики. Мы говоримъ не о матеріальной поддержкѣ (хотя и въ этомъ отношеніи русская литература находится въ положеніи вовсе неудовлетворительномъ: въ пятнадцать лѣтъ вышли только два изданія *Пушкина*, и оба изданія вмѣстѣ не составляютъ и 10,000 экземпляровъ), но о нравственной поддержкѣ, которая гораздо важнѣе

и, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще очень слаба, чтобы не сказать: совершенно ничтожна. Помѣщались стихи въ журналахъ—публика читала стихи, находила, что книжка журнала безъ стиховъ какъ-то не полна; вдругъ журналы стали являться безъ стиховъ—публика ничего не сказала противъ этого; потомъ опять появились въ журналахъ стихи—публика нашла, что дѣйствительно, журналъ выигрываетъ, помѣщая стихотворенія.—Теперь пишутся романы изъ простонароднаго быта — публика находитъ это направленіе полезнымъ. Прекрасно. Но пусть перестанутъ писаться романы изъ простонароднаго быта, что скажетъ публика? — Теперь публика болѣе всего интересуется русскими повѣстями. Превосходный романъ Теккерея не читается съ такою жадностью, какъ посредственная русская повѣсть; а когда является повѣсть дѣйствительно хорошая, восторгъ публики безпредѣленъ. Но если бы вдругъ перестали писаться русскія повѣсти, какъ вы думаете, что сказала бы русская публика?

Нельзя упрекать нашу публику въ отсутствіи сочувствія къ литературѣ; нельзя упрекать ее и въ неразвитости вкуса. Напротивъ отъ особеннаго положенія нашей литературы, составляющей самую живую сторону нашей духовной дѣятельности, и отъ состава нашей публики, къ которой принадлежатъ всѣ наиболѣе развитые люди, въ другихъ странахъ мало интересующіеся беллетристикою и поэзіею,—отъ этихъ особенностей происходитъ то, что ни одна въ мірѣ литература не возбуждаетъ въ образованной части своего народа такой горячей симпатіи къ себѣ, какъ русская литература въ русской публикѣ, и едва ли какая нибудь публика такъ здраво и вѣрно судитъ о достоинствѣ литературныхъ произведеній, какъ русская. Самъ Байронъ не былъ для англичанина предметомъ такой гордости, такой любви, какъ для насъ Пушкинъ. Изданіе сочиненій Байрона не было для англичанина національное дѣло, какимъ недавно были для насъ изданія Пушкина и Гоголя. Вотъ вамъ факты относительно сочувствія публики; а за развѣтливость вкуса ручаются тысячи случаевъ. Не говоримъ объ оцѣнкѣ публикою нашихъ собственныхъ писателей, которая вообще очень справедлива. Но какую замѣчательную здравость вкуса обнаруживаетъ постоянно наша публика и въ оцѣнкѣ иностранныхъ писателей! Французы восхищаются до сихъ поръ Викторомъ Гюго и Ламартиномъ—кто у насъ раздѣляетъ эту ошибку? Англичане до сихъ

поръ ставятъ Бульвера наравнѣ съ Диккенсомъ и Теккереемъ—у насъ кто не видитъ разницы между этими писателями? Нечего намъ гордиться этимъ превосходствомъ: оно происходитъ единственно оттого, что у насъ занимается чисто литературными вопросами та часть общества, которая въ Англіи и Франціи уже не хочетъ удостоивать своимъ вниманіемъ этихъ, какъ тамъ кажется, мелочей. Но какъ бы то ни было, отчего бы то ни происходило, не подлежитъ сомнѣнію, что наша публика обладаетъ, въ нынѣшнемъ своемъ составѣ, двумя драгоцѣннѣйшими для развитія литературы качествами: горячимъ сочувствіемъ къ литературѣ и замѣчательно вѣрнымъ взглядомъ на нее. Недостааетъ нашей публикѣ только одного: сознанія своего вліянія на литературу. Потому литература зависитъ отъ каприза случайностей.

Девять лѣтъ, прошедшія послѣ смерти Бѣлинскаго, были безплодны для исторіи критики, и мы останавливаемся на обзорѣ дѣятельности Бѣлинскаго, потому что нечего больше сказать о русской критикѣ, лучшимъ и современнымъ выраженіемъ которой остаются до сихъ поръ его статьи. Но словесность наша не совершенно бездѣйствовала въ это время. Напротивъ, поэты и беллетристы, образовавшіеся въ школѣ Бѣлинскаго или дѣйствующіе въ духѣ, представительницею котораго была его критика, достигли первенства въ нашей литературѣ только уже въ послѣдніе годы его жизни или послѣ его смерти. Въ критикѣ не нашлось людей, способныхъ продолжать начатое имъ; но словесность, какъ могла, продолжала развиваться въ направленіи, на которое указывалъ онъ. Въ тѣ годы, писатели новаго направленія еще только завоевывали себѣ прочное положеніе въ литературѣ; теперь они рѣшительно господствуютъ въ ней. Если обстоятельства позволятъ намъ исполнить во всемъ размѣрѣ планъ, по которому начаты наши «Очерки», и первая часть котораго—обзорѣніе критики—нами кончена, то мы должны будемъ обзорѣвать во второй части нашего труда дѣятельность русскихъ поэтовъ и беллетристовъ, начиная съ Гоголя до настоящаго времени. Отдѣльныя изданія произведеній нѣкоторыхъ изъ этихъ писателей доставляютъ намъ случай опредѣлить ихъ значеніе для литературы въ отдѣльныхъ статьяхъ, которыя, *однакожь будутъ имѣть непосредственное отношеніе къ общей системѣ нашихъ «Очерковъ».*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ.

- А. 262.
Аксаковъ, К. 76, 77, 93, 94, 106, 245, 246, 248, 249.
Алипановъ. 74.
Анакреонъ. 377.
Анненковъ. 56, 161, 183, 185, 279.
Араго. 139.
Аристотель. 258.
Ариосто. 75, 113, 148, 149, 169.
Астъ. 188, 189, 192, 198.
- Байронъ. 11, 19, 68, 70, 71, 75, 87, 176, 179, 181, 188, 189, 206, 299, 309, 364, 369, 381.
Бальзакъ. 63.
Баратынский. 135, 137, 176, 199.
Батюшковъ. 82, 131, 135.
Баузе. 211.
Бахманъ. 221.
Баянъ. 189, 190.
Бемъ, Яковъ. 347.
Бенедиктовъ. 113, 135, 136, 141, 294, 314.
Бенигна (Полевой). 212, 214.
Беранже. 21, 265, 266, 299.
Бернетъ. 62.
Герцеліусъ. 139.
Бетховенъ. 299.
Блери. 188.
Боппъ. 138.
Боткинъ. 245.
Брамбеусъ, баронъ. 50—52, 54—63, 65—68, 71, 72, 77—79, 83—88, 90, 124, 228.
Брумъ, лордъ. 69.
Брюловъ. 326.
Буало. 47, 111, 112, 188.
Булгаринъ. 71.
Буде. 211.
- Бульверъ. 226, 382.
Буслаевъ. 138.
Быстровъ. Иванъ, 76.
Бѣлинскій. 226—228, 230, 238—241, 243—245, 251, 254, 261, 262, 268, 269, 272—284, 289—298, 300, 301, 304—313, 315, 316, 318, 321—325, 332—337, 339—350, 356, 357, 366, 367, 374—376, 382.
Бѣлкинъ, А. 50.
Бѣлоомутовъ, Иванъ (Надеждинъ), 190.
Бѣконъ. 168.
- Вайгерсгеймъ, докторъ. 76.
Велланскій. 222.
Вельтманъ. 120, 137, 265.
Венеитиновъ. 194.
Верстовскій. 214.
Вишберфорсъ. 127.
Вини, Альфредъ де. 264.
Воейковъ. 55.
Вольтеръ. 63.
Воскресенскій, М. 72, 314.
Востокъ. 138.
Вяземскій, князь. 54, 109, 123, 135, 157, 161, 216.
- Галаховъ. 278.
Галилей. 168, 294, 295.
Гаммеръ. 61.
Гегель. 24, 26, 47, 64, 110, 139, 146, 197, 221—223, 242, 248, 245, 252—263, 268, 269, 271—276, 296, 297, 299, 330.
Гейне. 226, 249, 299.
Геннаді. 45.
Гете. 14, 21, 22, 27, 40, 41, 70, 75, 142, 169, 189, 226, 248, 257, 299, 329, 330.
Гвидо Рени. 132.
Гизо. 226.

- Гильдебрандъ, И. 76.
 Глинка, Ѳ. 124, 135.
 Говардъ. 127.
 Гоггъ. 73.
 Гоголь. 1, 2, 4, 7—23, 30—46, 50, 51, 54—57, 61, 64, 65, 72—78, 81—86, 88, 90—92, 104, 113, 114, 120, 124, 129, 130, 134, 140—143, 145—163, 168, 170, 171, 173, 203, 204, 225, 229—232, 234, 238, 240—242, 248, 250, 251, 285, 290, 294, 295, 299, 300, 307, 312—318, 335, 352, 354, 357, 360, 369, 370, 381.
 Голиковъ. 225.
 Голубинскій, Ѳ. А. 222.
 Гомеръ. 75—77, 130, 148, 207, 316, 364.
 Гончаровъ. 19, 20, 116, 117, 149, 291.
 Горацій. 170, 185, 188, 207, 377.
 Гофмавъ. 141, 266.
 Грановскій. 278, 279.
 Гречъ. 71, 78, 124.
 Грибоѣдовъ. 3, 17, 18, 20, 81, 218, 219, 228, 255, 298, 304, 307, 312.
 Григоровичъ. 19, 20, 116, 117, 125—127, 149, 225, 279, 294.
 Григорьевъ, А. 51, 92.
 Гриммъ. 138.
 Грузиновъ, Иосифъ. 71.
 Гульяновъ. 191.
 Гумбольдтъ. 139, 169, 346, 347.
 Гюго, Викторъ. 29, 31, 40, 41, 47, 50, 225, 226, 265, 294, 381.
 Гюнтеръ. 309.
 Давыдовъ, Денисъ. 135, 136.
 Даниловъ, Кирша. 135, 310.
 Дантъ. 137, 148, 149.
 Декартъ. 25, 168, 258, 261.
 Дельвигъ. 137, 165, 236.
 Лемидовъ, М. 71.
 Державинъ. 131, 169, 170, 188, 217, 218, 228, 235—237, 239, 240, 293, 294, 310, 351, 352, 364, 368.
 Диккенсъ. 19, 21, 22, 38—40, 41, 47, 226, 234, 290, 294, 307, 328, 331, 380, 382.
 Димъ, Фанъ. 62.
 Дмитріевъ, М. 101, 120, 121, 138, 371.
 Дюперронъ, Анжелиль. 347.
 Дюреръ, Альбертъ. 147.
 Дэви. 139.
 Елагинъ. 184.
 Жаненъ, Жюль. 63, 66, 67, 68.
Жандисъ. 47.
Жанъ-Поль. 137.
Жоржъ-Зандъ. См. Сандъ, Жоржъ
- Жуковскій. 1, 2, 27, 45, 107, 120, 123, 131, 135, 136, 143, 157, 161, 211, 248, 328, 369.
 Genlis, madame. 206.
 Загоскинъ. 8, 12, 81, 120.
 Зотовъ, В. 62, 68, 70, 71, 72, 314.
 Зражевская. 120, 124.
 Иванчинъ-Писаревъ, Н. 138.
 Кавелинъ. 215, 225, 279, 374.
 Калайдовичъ. 211.
 Каменевъ. 352.
 Каменскій. 124, 137.
 Канова. 132.
 Кантемиръ. 17, 18, 313, 322, 368.
 Кантъ. 25, 103, 139, 221, 258, 261—263, 299.
 Капнистъ. 160, 161, 351.
 Карамзинъ. 12, 56, 111, 112, 115, 116, 123, 124, 128, 211—213, 215, 224, 225, 237, 294, 309, 357, 367—369, 371.
 Катковъ. 245, 249, 278.
 Каченовскій. 183—187, 199, 210, 212—216.
 Кендериъ. 139.
 Кетчеръ. 278.
 Кирѣевскій. 93—95, 97, 100, 105, 106.
 Ключниковъ. 245, 249, 278.
 Козловъ. 19, 55.
 Кокъ, Поль де. 76, 77, 88, 355.
 Колумбъ. 172.
 Кольриджъ. 120.
 Кольцовъ. 3, 20, 78, 137, 171, 204, 223, 225, 229, 230, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 278.
 Коперникъ. 139.
 Косичкинъ, Теофилакты (Пушкинъ). 192.
 Корнель. 169.
 Коровкинъ. 314.
 Коршъ. 278.
 Костровъ. 188, 190.
 Котельницкій, А. 39.
 Кошелевъ. 94.
 Краевскій. 279.
 Красовъ. 245, 249.
 Кроненбергъ, И. Я. 222, 279.
 Крыловъ. 17, 18, 178, 218, 228, 312, 368.
 Ксенофонтъ. 344.
 Кудрявцевъ. 245, 278.
 Кузень. 24—26, 50, 103, 190, 191, 198, 266.
 Кузичевъ, Федотъ. 74.
 Кукольникъ. 68—71, 87, 124.
 Кулябо, Сильвестръ. 189.

- Куперь. 226, 299.
 Кургановъ. 184.
 Кювье. 61, 71, 139, 169.
- Лавуазье. 346.
 Лагарпъ. 112.
 Лажечниковъ. 12.
 Ламартинъ. 21, 225, 226, 266, 299, 381.
 Лапласъ. 332.
 Лейбницъ. 168.
 Лемъ. 73.
 Лерминье. 265.
 Лермонговъ. 3, 20, 40, 41, 70, 71, 77, 113, 123, 124, 132—137, 139, 141, 142, 149, 204, 225, 238, 241, 242, 249, 250, 264, 267, 278, 294, 301, 309, 311, 312, 315, 323, 354, 369.
 Десаажъ. 63.
 Лессингъ. 27.
 Либихъ. 139, 169.
 Локъ. 25.
 Ломоносовъ. 115, 116, 129, 169, 188, 190, 218, 235, 237, 238, 241, 308—312, 322, 343, 344, 352.
 Луганскій, казакъ. 120.
 Луканъ. 188.
 Люминъ, Эммануиль. 72.
- М., Николай (Кулишъ). 45.
 Майковъ. 137, 188.
 Маколей. 341, 342.
 Максимовичъ. 45.
 Марлинскій. 13, 27, 54, 87, 136, 141, 235, 240, 250, 300, 314, 323.
 Мармонтель. 309.
 Марриетъ. 63.
 Масальскій. 124.
 Мерзляковъ. 111, 112.
 Милътонъ. 327.
 Милютинъ, В. 279.
 Мицкевичъ. 299.
 Мишелеть. 221.
 Мишле. 265.
 Могила, Петръ. 189.
 Мольеръ. 156.
 Морозовъ. 50.
 Муръ, Томасъ. 189, 299.
- Надоумко (Надеждинъ). 166, 174—179, 181—188, 190—192, 194—199, 202, 204, 205, 210—212, 214, 217, 219.
 Надеждинъ. 53—55, 59, 166, 173—177, 181, 183, 186—193, 197—204, 214, 220—222, 228—231, 233, 234, 236, 238, 240, 242—244, 280, 281, 310.
 Некрасовъ. 279.
 Нестроевъ (Жудравцевъ). 250.
- Нибуръ. 344.
 Ньвятенко. 125.
 Новиковъ. 56.
 Ньютонъ. 4, 139, 169, 172, 294, 295.
- Огаревъ. 269.—273, 276, 279.
 Озеровъ. 34.
 Орловъ, А. А. 74, 192.
 Осиповъ, Н. 39.
 Островскій. 19.
 Очкинъ. 62.
 Oulybucheff, E. 72.
- Павлова. 120.
 Павловъ, М. Г. 13, 222.
 Павскій, Г. П., протоіерей. 221.
 Панаевъ. 279.
 Паскаль. 355.
 Петровъ. 190.
 Петръ Великій. 102, 138, 168, 170, 171, 225, 306, 310, 312, 337, 350, 357, 358, 360, 368.
 Плетневъ. 157, 161, 162.
 Плюшаръ. 61.
 Погодинъ, М. П. 92, 93, 177, 190.
 Подолнскій. 176, 177, 204, 205.
 Покровскій, И. 128.
 Полевой, Н. А. 13, 15, 23—27, 29—33, 36—42, 44—47, 50, 52, 54, 55, 59, 66, 72, 73, 78—80, 82, 84, 87, 88, 91, 124, 151, 176, 182, 183, 186—193, 197, 198, 201—203, 210, 213—216, 225, 230, 235, 236, 231, 310, 314, 323, 333, 347.
 Поше. 111, 112.
 Поповскій. 184, 188.
 Поповъ. 188.
 Потерь, Поль. 158.
 Протопоповъ. 64.
 Пушкинъ, А. С. 1—3, 12, 15, 16, 18—22, 27, 34, 35, 45, 54—57, 62, 66, 68, 75, 77, 80—83, 85, 86, 91, 112, 115, 116, 118, 123, 124, 128, 130—133, 135, 142, 143, 49, 156, 157, 161, 164—166, 169, 170, 73, 174, 176, 181, 182—186, 189, 192, 194—196, 204, 212, 214, 215, 225, 228, 230, 232, 236—242, 248, 250, 264, 265, 267, 278, 283, 291, 293, 294, 298, 299, 309, 312—314, 318, 323, 345, 346, 354, 368—370, 380, 381.
 Пушкинъ, Вас. Льв. 185, 186.
 Рабле. 63, 355.
 Рафаэль. 132, 148, 149, 284, 328, 329.
 Ребо, Луи. 101.
 Ронсаръ. 265.
 Ростопчина. 120.
 Румяцевъ. 190.
 Руссо, Жанъ Батистъ. 310.

- Руссо, Жанъ Жакъ. 264.
 Саути. 27.
 Савельевъ. 174.
 Сандъ, Жоржъ. 19, 21, 22, 33—41, 47, 225, 226, 327, 364.
 Свиньинъ. 129.
 Сенковскій. 50, 53, 54, 59, 65, 78—80, 91.
 Сентъ-Бевъ. 101.
 Сервантесъ. 364.
 Скоттъ, Вальтеръ. 19, 21, 69, 85, 136, 149, 225, 226, 299, 327, 364.
 Сиговъ. 74.
 Сидонскій, О. А. 222.
 Скворода. 294, 307.
 Слюдери. 265.
 Смирдинъ, А. Ф. 56, 57, 78, 80, 81.
 Смитъ, Адамъ. 344.
 Соколовскій. 81.
 Соллогубъ, графъ. 334—337.
 Соловьевъ. 215, 225, 294, 374.
 Софокль. 175.
 Спинова. 261.
 Станкевичъ, Н. В. 223, 243, 245—247, 250, 254, 263, 268, 269, 271, 273, 275, 277, 278.
 Стернь. 73.
 Страховъ. 207.
 Студитскій, А. 101, 138.
 Стурдза, А. 138.
 Сумароковъ. 17, 35, 219, 351, 367.
 Сю, Евгений. 327.
 Т. Л. Н. (гр. Левъ Толстой). 19.
 Тальма. 69.
 Тальяндье, Сепъ-Рене. 101.
 Тегнеръ. 299.
 Теккерей. 19, 21, 307, 380—382.
 Генерани. 132.
 Теньеръ. 158.
 Тякъ. 141, 142, 307.
 Тятъ, Ливій. 344.
 Тимоосевъ. 62, 68, 314.
 Товарицкій, Викторъ-Юма. 188, 189.
 Толстой, Левъ. 19.
 Тредьяковскій, 65, 156, 175, 184, 187, 367.
 Тургеневъ. 19, 116, 117, 125—127, 137, 149, 223, 246, 279, 294.
 Тютюнджи-Оглу (Сенковскій) 50, 68.
 Тырановъ. 326.
 Тьеръ. 266.
 Уордсвортъ. 299.
 Фареде. 169.
 Феселеръ. 222.
 Фильдингъ. 63, 156.
 Фихте. 197, 221, 256, 258, 261, 299.
 Флюгеровскій. 185.
 Фонвизинъ. 12, 17, 18, 85, 129, 158, 218, 219, 351, 368.
 Фуксъ, Александра. 71.
 Хемницеръ. 368.
 Херасковъ. 188.
 Хиджеу, А. 307.
 Хомяковъ. 93, 94, 102, 106, 120, 137, 294, 323.
 Чернявскій, М. 72.
 Шаликовъ, князь. 128.
 Паль, Филаретъ. 101.
 Шампольионъ. 61, 71.
 Шатобрианъ. 21, 225, 266.
 Шевалье, Мишель. 101.
 Шенывревъ. 50—52, 60, 92, 93, 101, 106—108, 110—124, 126—130, 132—136, 138—140, 142—145, 150—155.
 Шекспиръ. 4, 19, 26, 35, 40, 130, 149, 169, 207, 249, 299, 306, 316, 326, 327, 329, 330, 364.
 Шеллингъ. 24, 25, 103, 197, 221—223, 261, 299.
 Шиллеръ. 27, 246, 248, 265, 299, 317.
 Шишкина. 124.
 Шишковъ. 123, 128, 129.
 Шреккъ. 207.
 Штуцманъ. 188, 189, 192, 193.
 Шленслегеръ. 299.
 Языковъ. 19, 55, 137, 323.
 Якоби. 221.
 Якобъ. 211.
 Ярославцевъ, А. 72.
 — О — (Ключниковъ). 215, 249.

Написано Н. Т. Чернышелевым.

Мне страшно не подвиги и свободу
Поразившему страну,
И за любовь свою к народу
Мне, как изиднику, был в плену!
Но думать? угрех торжества гонимой
Ке погасит мерцающая
Осталась иль еще твоя свободной
И непреклонной до конца!
Когда заметишь freedom's границы,
Съ подвигами твоими вольности.

Мне встанет не площадь подорожная,
Сидит краем кедра твоим.
Но ты видишь, предвещая будущее,
Душею прекрасная одна
Зажила все божественное и любовью,
Илеополиса жизни компаса!
Как символ истины вечной,
Ке твоя же когда устал венок,
Помощь та забыла о людях земли
И знала, что ждал не далеко!
Свой крест носил ты в край изгнания,
Изгнания, и томил, и ситил,
Изгнание твоё стало Справедливости
И всегубительною горю
Но ты жила в предвещании свободы...

xx

Прямое сердце и душа горели иль,
Как ты, великий сын народа,
Искренне вера; но свету твоим свету.
Идем дружно покаянием,
Твой урочище дух божий творил,
И вилуха глаз освобождала,
Там душа предвещания была

А. Лукьянов.

(Намечено издать № 50)

28 мая

To avoid fine this book should be returned on
STANFORD LIBRARIES
before the date last stamped below

10M-1-48-62661

APR 16 1958

~~NOV 5 1964~~

DEC 4 1964

HOOVER INSTITUTION

PG 3011

C 521

ed. 2

